



варлам шаламов
КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ

КОЛЫМСКИЕ
РАССКАЗЫ

VARLAM SHALAMOV

KOLYMA STORIES

WITH INTRODUCTION

by

MICHAEL HELLER



OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD
— LONDON 1978 —

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ
МИХАИЛА ГЕЛЛЕРА



OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD
— LONDON 1978 —

VARLAM SHALAMOV

KOLYMA STORIES

(in Russian)

© Russian edition — 1978

Overseas Publications Interchange, Ltd.
40, Elsham Rd., London W14 8HB

All Rights Reserved.

No part of this publication may be reproduced
or translated in any form or by any means,
without permission.

A number of stories assembled here appeared in the course of past years in the Russian language journals *Grani* (Frankfurt) and *Novyy Zhurnal* (New York).

This "samizdat" collection is being published without the author's knowledge and consent.

The publishers wish to express their appreciation to Mr. Gennady Andreev for his editorial work in preparing this publication.

* * *

Некоторые из рассказов были напечатаны на русском языке в журнале «Грани» (Франкфурт) и в «Новом Журнале» (Нью Йорк).

Эта книга издана в Англии без ведома и согласия автора, который не несёт никакой ответственности за её выход в свет.

ISBN: 0 903868 11 3

Printed in the U.K. for Overseas Publications Interchange Ltd.
by Multilingual Printing Services (UPL)
200, Liverpool Road, London, N1 1LF

ПРЕДИСЛОВИЕ

*Я вроде тех окаменелостей,
Что появляются случайно,
Чтобы доставить миру в целости
Геологическую тайну.*

Варлам Шаламов

Трагическая судьба русских писателей не удивляет уже давно. Она как бы стала их предназначением. Но даже в русской литературе трудно найти судьбу страшнее.

Варлам Шаламов, 22-летний студент МГУ, был впервые арестован в 1929 г. и впервые осужден — на 5 лет. Молодой писатель В. Шаламов, полностью отбыв первый срок, был в 1937 г. арестован вторично, «незаконно репрессирован», как деликатно констатирует «Краткая литературная энциклопедия». Снова — 5 лет. Если вспомнить время второго ареста, срок этот значит, что следователь даже не потрудился выдумать обвинение. В 1942 г. заключение продлевается «до конца войны», а в 1943 г. сочиняется новое «дело»: за утверждение, что Бунин — классик русской литературы — Шаламов приговаривается к 10 годам лагеря. За «анти-советскую агитацию».

Конец срока совпадает со смертью Сталина. Но еще несколько лет Варлам Шаламов будет биться за право выезда с Колымы на «материк». Возвращение в Москву 50-летнего писателя, почти половину жизни прошедшего в лагерях, приносит не только радость. Семейные узы не выдерживают многолетней разлуки. В. Шаламов остается один. Он пишет стихи, которые изредка публикуются (выходит несколько сборников), и рассказы, отвергаемые советскими издательствами.

И судьба наносит писателю, быть может, самый страшный удар. «Колымские рассказы», попав на Запад, не выходят книгой, а печатаются на протяжении многих лет, по одному-два, вразброс, бессистемно, нередко «ис-

правленные». Как если бы картина Рембрандта, обнаруженная на чердаке, была разрезана на мелкие куски, а потом демонстрировалась как куча обрезков. Возможно и по отдельным кускам — вот глаз, вот рука — удалось бы понять, что перед нами великое произведение искусства. Но картины — не было бы.

В 1967 г. два десятка рассказов В. Шаламова вышли на немецком языке, а потом они — в переводе с немецкого (!) и с ошибкой в фамилии автора — были напечатаны во Франции. В 1969 г. на французском языке вышел второй сборник Шаламова — 27 рассказов, переведенных на этот раз с русского. А на русском языке книги так и не было.

Мало того. В 1972 г. Борис Полевой, настоящий советский человек, редактор журнала «Юность», где изредка печатались стихи Шаламова, потребовал от писателя отказаться от «Колымских рассказов» и осудить их публикацию. Джордж Орвелл, великий писатель, до конца понявший суть тоталитарного режима, рассказывает в «1984», как палачи, желая окончательно, навсегда сломить человека, требуют от него не просто отречения, но предательства самого дорогого, единственно любимого.

От Варлама Шаламова потребовали отказа от «Колымских рассказов». И он подписал бумажку, в которой значится, что «проблематика «Колымских рассказов» снята жизнью». Так Колыма догнала своего вечного арестанта, свою упущенную жертву — в редакции московского журнала «Юность».

Историю о том, как писателя вынудили отказаться от книги, которая была смыслом его жизни, следовало бы назвать «Последний колымский рассказ».

Впервые книга Варлама Шаламова выходит на русском языке. Со всей возможной полнотой. Со всей возможной — в отсутствие автора — точностью, по рукописи, распространявшейся в самиздате. Гораций настоятельно рекомендовал поэтам держать рукопись в письменном столе 7 лет. По крайней мере трижды

семь лет ждала рукопись «Колымских рассказов». Время не оставило на ней следа.

«Колымские рассказы» — прежде всего свидетельство. В. Шаламов — свидетель привилегированный. Он видел рождение лагерной империи, отбывая первый срок в 4-м отделении СЛОНа — Соловецких лагерей особого назначения, в Вишерском лагере, где на строительстве первенцев советской индустрии, на первых стройках коммунизма, «проводился первый опыт новой лагерной системы», «великий эксперимент растления человеческих душ, распространенный потом на всю страну» («Визит мистера Поппа»). И он провел почти 17 лет на полюсе лютости — на Колыме. «Лагерный опыт Шаламова, — пишет А. Солженицын, — был горше и дольше моего, и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, к которому тянул нас весь лагерный быт».

«Колымские рассказы» — не только свидетельство. О Колыме рассказано немало. А. Солженицын отмечает в «Архипелаге ГУЛАГ»: «Я почти исключая Колыму из охвата этой книги... Да Колыме и «повезло»: там выжил Варлам Шаламов и уже написал много; там выжила Евгения Гинзбург, О. Слиозберг, Н. Суровцева, Н. Гранкина и другие — и все написали мемуары». Из этих мемуаров опубликован только «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург. Много места уделено Колыме в воспоминаниях Екатерины Олицкой. О Колыме писали иностранцы, счастливо выбравшиеся с Крайнего Севера. В 1950 г. в Лондоне вышли мемуары поляка Анатоля Краковецкого «Книга о Колыме», а в Цюрихе — воспоминания немки Элинор Липпер «Одиннадцать лет в советских тюрьмах и лагерях», через несколько лет в Оттаве появилась книга румына Мишеля Соломона «Магадан».

Свидетельств о Колыме было немало. Но Варлам Шаламов не писал мемуаров. Его книга — это «отражение виденного в вогнутом зеркале подземного мира.

Сюжет невообразим и все же реален, существует взаправду, живет рядом с нами» («Боль»).

Евгений Замятин утверждал в 1922 г., что «искусство, выросшее из сегодняшней действительности», может быть только фантастическим, похожим на сон, синтезом фантастики и быта.

На кошмарный, чудовищный сон похожа действительность, в которой работают и умирают герои «Колымских рассказов». Подземный мир, о котором рассказывает В. Шаламов, немедленно — и логично — ассоциируется с адом. После прочтения первых же рассказов книги невольно хочется сказать — это ад, последняя его ступень.

Да и сам Шаламов пишет: «Возвращался из ада» («Поезд»). Ибо кажется, что страшнее ада ничего быть не может.

Колыма не была адом. Во всяком случае не была адом в его религиозном значении, в том смысле, какой дала ему литература. В аду наказывают грешников, в аду мучаются виновные. Ад — торжество справедливости. Колыма — торжество абсолютного зла.

Колыма не была адом. Она была советским предприятием, заводом, который давал стране золото, уголь, олово, уран, питая землю трупами. Это было гигантское рабовладельческое хозяйство, отличавшееся от всех известных истории тем, что рабская сила была совершенно бесплатной. Лошадь на Колыме была неизмеримо дороже раба-зэка. Лопата — была дороже. Беспредельная жестокость в обращении с рабами объяснялась причинами идеологическими — желанием истребить тех, кого Вождь объявил «нелюдьми», и экономическими: резервуар рабской силы был безграничен.

Колыма — близнец гитлеровских лагерей смерти. Но и от них она отличается. Не тем, конечно, что в Освенциме и Трешлинке людей уничтожали в газовых камерах, а на крайнем советском Севере, на полюсе холода заключенных селили в брезентовых палатках. Разница в том, что в гитлеровских лагерях смерти жертвы

знали, почему их убивают. Конечно, человеку все равно не хочется умирать. Но убиваемый гитлеровцами знал, что он умирает потому, что был противником нацистского режима, или евреем, или русским военнопленным. Тот, кто умирал в колымских — и во всех других советских — лагерях, умирал недоумевая. И отбывал срок — недоумевая. «Аресты тридцатых годов, — пишет В. Шаламов, — были арестами людей случайных... У профессоров, партработников, военных, инженеров, крестьян, рабочих, наполнивших тюрьмы того времени до предела, не было за душой ничего положительного, кроме, может быть, личной порядности... Они не были ни врагами власти, ни государственными преступниками, и, умирая, они так и не поняли, почему им надо было умереть» («Последний бой майора Пугачова»). В гитлеровских лагерях смерти заключенные в то короткое время, что им оставалось жить — от входа в лагерные ворота, украшенные надписью «Работа освобождает», до входа в газовую камеру, — носили на груди знак, определявший причину их смерти: «политический», «еврей», «русский», «поляк»... В колымских лагерях смерти заключенные в то короткое время, что им предстояло заниматься нечеловечески мучительным трудом — от входа в ворота, украшенные сталинскими словами: «Труд — есть дело чести, дело доблести и геройства», до смерти в ледяном шурфе или на грязной больничной койке, — знали лишь, что на их делах стоят таинственные цифры: 58 и номер параграфа, либо загадочные литеры: КРД, КРТД, АСА...

Никогда еще в истории мировой литературы писателям не приходилось видеть ничего подобного: массовое истребление людей, не знающих, почему их убивают, выжав предварительно все соки.

Замятин писал о синтезе фантастики с бытом. На Колыме фантастика стала бытом. Реальность фантастики была более фантастичной, чем все то, что мог вообразить автор романа «Мы».

После публикации первых глав «Записок из Мертвого дома» председатель Петербургского цензурного комитета выразил неудовольствие тем, что Достоевский не показал ужасов каторги, и у читателей может создаться впечатление, что на каторге не так уж плохо, что она не представляет собой достаточного наказания для преступника. Председатель Петербургского цензурного комитета был бы доволен «Колымскими рассказами». В них показаны ужасы, о которых XIX в. даже представления не имел.

Варлам Шаламов пишет о человеке на последней черте, о человеке перед лицом неминуемой смерти. Которая приходит после унижений и мучений, истребляющих в человеке все человеческое. О лагерях смерти — гитлеровских и сталинских — написаны уже сотни книг. Лишь в нескольких рассказана правда о — лагере. Проще всего рассказать об ужасах. Но это еще не вся правда. Рассказ об ужасах — это рассказ о палачах и жертвах. Правда о лагерях — правда, которую открывает В. Шаламов: жертва нередко становится палачом, человек легко примиряется со своим рабским положением, с человеком можно сделать все.

У писателя нет иллюзий: «Лагерь был великой пробой нравственных сил человека, обыкновенной человеческой морали, и девяносто девять процентов людей той пробы не выдерживали» («Инженер Киселев»).

Лагерь — это другой мир, мир, в котором действует закон: ты умри сегодня, а я — завтра. Мир без морали. Лагерь — место, в котором люди без морали — палачи — создали условия, вынудившие отказаться от морали и жертвы. Колымский лагерь был местом особенным. По сравнению с каторжным лагерем, в котором «тянул срок» Иван Денисович, каторга Достоевского — курорт. Но когда Шаламов прочитал «Один день Ивана Денисовича», он послал Солженицыну письмо, в котором, как признает автор «Архипелага ГУЛАГ», «справедливо упрекнул»: «И что еще за больничный кот

ходит там у вас? Почему его до сих пор не зарезали и не съели?..»

В колымском лагере — живой кот немислим.

Как писать правду о лагере? Как рассказать о мире без морали? О мире, в котором людоедство далеко не самое страшное из того, что там происходит? О человеке, знающем, что он умрет очень скоро и в рабстве, замученный, затоптанный, потерявший человеческий облик?

Варлам Шаламов знает, что нужен новый жанр. Он мечтает о «прозе будущего». Он создает прозу, адекватную сюжету. Это одновременно рассказ, физиологический очерк, этнографическое исследование. Шаламов пишет необыкновенно просто, очень скупой, избегая пафоса и лобовой оценки. Писатель стремится к максимальной конденсации. Лучшие из рассказов сжаты до предела: 2-3 страницы. Заглавие — одно-два слова. Как правило писатель берет одно событие, одну сцену, даже один жест. В центре рассказа всегда — портрет. Палача или жертвы. Иногда и палача и жертвы. Вместо анализа психологии писатель предпочитает нарисовать действие или жест. Как правило последняя фраза, сжатая, лапидарная, как внезапный луч прожектора, освещает происшедшее, ослепляет ужасом.

Рассказ «На представку» начинается — почти дословно — как «Пиковая дама». Только вместо: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова» — «Играли в карты у коногона Наумова». Рассказ заканчивается убийством пильщика Гаркунова, гревшегося в бараке у блатных, где шла игра, и не пожелавшего отдать свой шерстяной свитер». «Игра была кончена, и я мог идти домой, — повествует рассказчик. — Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров». Это вся колымская эпитафия. Окончательно ослабевший от голода и непосильного труда 23-летний Дугаев ставится на «одиночный замер». Он не знает, что невыполнение этой нормы дневной выработки рассматривается как саботаж и наказывается расстрелом. Рассказ заканчивается: «И поняв, в чем дело, Дугаев

пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день». Это — единственная реакция человека, умершего еще до расстрела.

Быть может, самое страшное в книге Шаламова не описания зверств палачей или изуверской жестокости блатных, смертельного голода или убивающего ненавистного труда. Самое страшное — описания людей, живущих в лагере, в лагерных условиях. — Как вы можете жить? — спрашивает вольнонаемный Серафим, случайно, на несколько дней попавший в шкуру заключенного («Серафим»). Почему люди продолжают жить в лагере, где жить невозможно? — спрашивает писатель. Почему они не лишают себя жизни? — задает он вопрос, приведя всего несколько случаев самоубийств.

Одних, — отвечает В. Шаламов, — очень немногих, поддерживает вера в Бога. О верующих писатель говорит с великим уважением: «Более достойных людей, чем религиозники, в лагерях я не видел. Раствление охватило души всех, и только религиозники держались» («Курсы»). Он говорит о них с глубокой симпатией и с некоторым недоумением перед явлением, ему не понятным. Но истинная вера в Бога, позволявшая переносить страдания, на Колыме была явлением нечастым. Подавляющее большинство живет, ибо — надеется. Надежда поддерживает в них едва теплящийся огонек жизни. Шаламов видит в надежде зло, ибо смерть часто лучше жизни в лагере: «Надежда для арестанта — всегда кандалы. Надежда — всегда несвобода. Человек, надеющийся на что-то, меняет свое поведение, чаще кривит душой, чем человек, не имеющий надежды» («Житие инженера Кипреева»). Переживший Освенцим польский писатель Тадеуш Боровский, написавший жестокую гравду о человеке в лагере и покончивший самоубийством уже на свободе, и переживший Колыму Варлам Шаламов, подписавший отречение от своей книги, единодушны. «Никогда в истории человечества, — писал Т. Боровский, — надежда не

была такой сильной, но никогда она не причиняла столько зла, сколько в этой войне, в этом лагере. Нас не научили отказываться от надежды, и поэтому мы погибаем в газовых камерах». Боровский говорит о зле, причиненном неумением отказываться от надежды ради свободы. Шаламов пишет о зле, причиненном воспитанием, построенном на вере в будущее, в обмен на свободу.

На заре революции стены городов молодой советской республики украшались призывом: «Будьте беспощадны, чтобы детям улубнулось золотое солнце коммунизма». Надежда на «золотое солнце коммунизма» обернулась полярной ночью Колымы.

Вместе с «Колымскими рассказами» ходило в самиздате письмо Фриды Вигдоровой Шаламову: «Я прочитала ваши рассказы. Они самые жестокие из всех, что мне приходилось читать. Самые горькие и беспощадные. Там люди без прошлого, без биографии, без воспоминаний. Там говорится, что беда не объединяет людей. Что там человек думает только о себе, о том, чтобы выжить. Но почему же закрываешь рукопись с верой в честь, добро, человеческое достоинство? Это таинственно, я этого объяснить не могу, я не знаю, как это получается. Но это — так».

Тайна подлинного искусства необъяснима. Быть может, однако, необходимым его качеством является умение передать — несмотря ни на что — веру в честь, добро, человеческое достоинство.

Страшен, горек, безжалостен мир, представленный в книге Варлама Шаламова, сложенной, как мозаичная фреска, из камешков рассказов. Промыв сотни человеческих судеб, Шаламов бережно добывает из вечной мерзлоты злобы, ненависти, жестокости, равнодушия золотые крупички доброты, человечности, любви. Он запоминает навсегда взмах руки женщины, проходившей возле заключенных, мокших под холодным дождем в шурфе, и показавшей на небо со словами: «Скоро, ребята, скоро». Для заключенных этот жест, говоривший

всего лишь о том, что скоро кончится смена и можно будет вернуться в промерзший барак, был подлинным праздником. Он запоминает навсегда кружку кипятка, которую дал ему незнакомый эск, и доброе слово.

Писатель ценит, запоминает и заносит на страницы книги каждое проявление доброты не только потому, что они были необычайно редки, но и потому, что они были вызовом палачам. Доброта была — бунтом.

Варлам Шаламов пишет и о других, активных проявлениях бунта. Сотни портретов в «Колымских рассказах». Великолепных портретов жертв и палачей: чекистов, инженеров, старых большевиков, профессоров, крестьян, воров. Наиболее значителен портрет главного героя — рассказчика. У него много имен: Андреев, Голубев, Крист, Шаламов... Но это всегда один и тот же человек, который не хочет сдаться. Писатель скажет о нем: «Я никогда не был вольный, я был свободный во все взрослые годы моей жизни» («Необращенный»). Он никогда не был вольный, ибо в стране не было воли, но он — даже в тюрьме — был свободным, ибо ценил свободу больше жизни.

Не случайно с особой любовью написан рассказ «Последний бой майора Пугачова». Его герой — человек, решивший умереть свободным, в бою, с оружием в руках. И, в конечном счете, не имеет значения то, что побег майора Пугачова и его одиннадцати товарищей, нашедших силы поверить в ценность свободы, заканчивается боем, в котором все беглецы погибают. Они умирают свободными.

А. К. Толстой в предисловии к «Князю Серебряному» писал: «В отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже истории. Из уважения к искусству и к нравственному чувству читателя он набросил на них тень и показал их по возможности в отдалении. Тем не менее он сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук, и он бросал перо в негодование, не столько от мысли, что мог существовать Иван IV, сколько от того, что могло

существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования».

А. К. Толстой лишь по историческим источникам знал эпоху Ивана IV. В. Шаламов испытал на себе ужасы сталинского времени. «Колымские рассказы» — книга о лагере, но это книга об обществе, которое «без негодования» смотрит на лагерь. Считает его нормальным. И ребенок, рисуя мир вокруг себя, рисует проволоку, охранников с псами на поводках, заключенных и вышки («Детские картинки»). «Колымские рассказы» — зеркало, отражающее дно лагерного мира. Жизнь на этом дне состоит в ожидании смерти от непосильного труда, голода, невыносимого холода, пожирающего душу страха. Но этот лагерный мир — отражение жизни за проволокой. Только в лагере все грубее, жестче, откровеннее: отношения рабовладельцев к рабам, отношения между людьми.

Советское общество смотрит на лагерный мир без негодования, ибо он — порождение этого общества и концентрированное выражение его сути. А когда это общество не хочет смотреть на лагерный мир, оно делает вид, что лагерей нет. И не было. В 1975 г. в Магадане вышла «Историческая хроника Магаданской области. События и факты. 1917-1972». На 340 страницах книги, среди «2.300 фактов и событий, которые характеризуют деятельность Коммунистической партии, Советского правительства, местных партийных, советских, комсомольских и профсоюзных организаций по развитию экономики и культуры Магаданской области», нет ни одного «факта и события», нет ни одной строчки, ни одного слова — о лагерях и сотнях тысяч заключенных, погибших на Колыме.

«Прокуратор Иудеи» — рассказ о пароходе «Ким», вошедшем в бухту Нагаево 9 декабря 1947 г. На его борту было три тысячи человек. В пути они подняли бунт, и капитан приказал залить трюмы, в которых находились заключенные, водой. В сорокоградусный мороз. Через семнадцать лет хирург Кубанцев, присут-

ствовавший при выгрузке мороженой человечины, не мог вспомнить имени парохода. «У Анатоля Франса, — заключает Шаламов, — есть рассказ «Прокуратор Иудеи». Там Понтий Пилат не может через семнадцать лет вспомнить Христа».

Так советское общество не хочет помнить о Колыме. Не хочет помнить о лагерях. Существующих и поныне.

Варлам Шаламов принес из ледяного карцера Колымы — память. Его книга напоминает лабиринт, в котором нитью Ариадны служит память. Писатель не придерживается хронологии. Он уходит назад — и рассказывает о конце 20-х годов, о своей молодости в Вишерских лагерях, он уходит вперед и рассказывает о возвращении узников в Москву, о невозможности начать новую жизнь чудом уцелевшим. И он остается неизменно на Колыме, где ушли в вечную мерзлоту годы и люди. Многие события и люди — как занозы, застрявшие в памяти; боль от воспоминаний заставляет писателя возвращаться к ним. И нередко мы находим в разных рассказах знакомые персонажи и события. Но всегда они открываются с новой стороны, освещаются иначе, дополняются новыми подробностями. Клубок памяти разматывается, разматывается. Выхода из лабиринта нет.

Страшное свидетельство о том, что «люди сделали людям», написано поэтом. И, быть может, именно это делает книгу Шаламова не перечнем ужасов, а подлинной литературой. Пронизывает «Колымские рассказы» надеждой. Когда все чувства уже покинули человека, он все еще видит вокруг себя природу, небо, снег, непобедимый сибирский стланик, «дерево надежд». Видит цветы и травы буйного короткого колымского лета. И когда человек видит небо и землю, цветы и снег, рождается слово.

Природа и поэтическое слово — последняя надежда человека. Память об этом сохранил Варлам Шаламов.

Михаил ГЕЛЛЕР

ПЕРВАЯ СМЕРТЬ

ПО СНЕГУ

Как топчут дорогу по снежной целине? Впереди идет человек, потя и ругаясь, едва переставляя ноги, поминутно увязая в рыхлом глубоком снегу. Человек уходит далеко, отмечая свой путь неровными черными ямами. Он устает, ложится на снег, закуривает, и махорочный дым стелется синим облачком над белым блестящим снегом. Человек уже ушел дальше, а облачко все еще висит там, где он отдыхал, — воздух почти неподвижен. Дороги всегда прокладывают в тихие дни, чтоб ветры не замели людских трудов. Человек сам намечает себе ориентиры в бескрайности снежной — скалу, высокое дерево, — человек ведет свое тело по снегу так, как рулевой ведет лодку по реке с мыса на мыс.

По проложенному узкому и неверному следу двигаются пять-шесть человек в ряд плечом к плечу. Они ступают около следа, но не в след. Дойдя до намеченного заранее места, они поворачивают обратно и снова идут так, чтобы растоптать снежную целину, то место, куда еще не ступала нога человека. Дорога пробита. По ней могут идти люди, санные обозы, тракторы. Если идти по пути первого след в след, будет заметная, но едва проходимая узкая тропка, стезжка, а не дорога, — ямы, по которым пробираться труднее, чем по целине. Первому тяжелее всех, и когда он выбивается из сил, вперед выходит другой из той головной пятерки. Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели.

НА ПРЕДСТАВКУ

Играли в карты у коногона Наумова. Дежурные надзиратели никогда не заглядывали в барак коногонов, справедливо полагая свою главную службу в наблюдении за осужденными по пятьдесят восьмой статье. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Правда, начальники-практики втихомолку ворчали: они лишались лучших, заботливейших рабочих, но инструкция на сей счет была определена и строга. Словом, у коногонов было всего безопасней, и каждую ночь там собирались блатные для своих карточных поединков.

В правом углу барака на нижних нарах были разостланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горящая «колымка» — самодельная лампочка на бензинном паре. В крышку консервной банки впаивались три-четыре открытых медных трубки — вот и все приспособление. Для того чтобы эту лампу зажечь, на крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и бензинный газ горел, зажженный спичкой.

На одеялах лежала грязная пуховая подушка и по обеим сторонам ее, поджав по-бурятски ноги, сидели «партнеры» — классическая поза тюремной карточной битвы. На подушке лежала новенькая колода карт. Это не были обыкновенные карты: это была тюремная самодельная колода, которая изготавливается мастерами сих дел со скоростью необычайной. Для изготовления ее нужна бумага (любая книжка), кусок хлеба (чтобы его изжевать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала — склеивать листы), огрызок химического карандаша (вместо типографской краски) и нож (для вырезывания и трафаретов мастей и самих карт).

Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго — книжка была кем-то поза-

быта вчера в конторе. Бумага была плотная, толстая — листков не пришлось склеивать, что делается, когда бумага тонка. В лагере при всех обысках неукоснительно отбирались химические карандаши. Их отбирали и при проверке полученных посылок. Это делалось не только для «пресечения» возможности изготовления документов и штампов (было много художников и таких), но для уничтожения всего, что может соперничать с государственной карточной монополией. Из химического карандаша делали чернила и чернилами сквозь изготовленный бумажный трафарет наносили узоры на карту — дамы, валеты, десятки всех мастей... Масти не различались по цвету — да различие и не нужно игроку. Валету пик, например, соответствовало изображение пики в двух противоположных углах карты. Расположение и форма узоров столетиями было одинаковым — умение собственной рукой изготовить карты входит в программу «рыцарского» воспитания молодого блатаря.

Новенькая колода карт лежала на подушке, и один из играющих похлопывал по ней грязной рукой с тонкими белыми нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхестественной длины — тоже блатарский шик, так же, как «фиксы» — золотые, т. е. бронзовые коронки, надеваемые на вполне здоровые зубы. Водились даже мастера — самозванные зубопротезисты, немало подрабатывающие изготовлением таких коронок, неизменно находивших спрос. Что касается ногтей, то цветная полировка их бесспорно вошла бы в быт «преступного мира», если б можно было в тюремных условиях завести лак. Холеный желтый ноготь поблескивал, как драгоценный камень. Левой рукой хозяин ногтя перебирал липкие и грязные светлые волосы. Он был подстрижен «под бокс» самым аккуратнейшим образом. Низкий, без единой морщинки лоб, желтые кустики бровей, ротик бантиком — все это придавало его физиономии важное качество внешности вора — незаметность. Лицо было такое, что

запомнить его было нельзя. Поглядел на него — и забыл, потерял все черты — и не узнать при встрече. Это был Севочка, знаменитый знаток «терца», «стоса» и «буры» — трех классических карточных игр, вдохновенный истолкователь тысячи карточных правил, строгое соблюдение которых обязательно в настоящем сражении. Про Севочку говорили, что он «превосходно исполняет», т. е. показывает умение и ловкость шулера. Он был и шулер, конечно, — честная воровская игра это и есть игра на обман: следи и уличай партнера — это твое право, умей обмануть сам, умей «отспорить» сомнительный выигрыш.

Играли всегда двое — один на один. Никто из мастеров не унижал себя участием в групповых играх вроде «очка». Садиться с сильными «исполнителями» не боялись — так и в шахматах настоящий боец ищет сильнейшего противника.

Партнером Севочки был сам Наумов, бригадир конононов. Он был старше партнера (впрочем, сколько лет Севочке — двадцать? тридцать? сорок?), черно-волосый малый с таким страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз, что не знай я, что Наумов — железнодорожный вор с Кубани, — я принял бы его за какого-нибудь странника — монаха или члена известной секты «Бог знает», секты, что вот уже десятки лет встречается в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось при виде гайтана с оловянным крестиком, висевшего на шее Наумова, — ворот рубахи его был расстегнут. Этот крестик отнюдь не был кощунственной шуткой, капризом или импровизацией. В то время все блатные носили на шее алюминиевые крестики — это было опознавательным знаком ордена, вроде татуировки.

В двадцатые годы блатные носили технические фуражки, еще ранее — «капитанки». В сороковые годы зимой носили они «кубанки», подвертывали голенища валенок, а на шее носили крест. Крест обычно был гладким, но если случались художники — их застав-

ляли иглой расписывать по кресту узоры на любимые темы: сердце, карта, крест, обнаженная женщина... Наумовский крест был гладким. Он висел на темной обнаженной груди Наумова, мешая прочесть синюю «наколку» — татуировку — цитату из Есенина, единственного поэта, признанного и канонизированного «преступным миром»:

Как мало пройдено дорог,
Как много сделано ошибок.

— Что ты играешь? — процедил сквозь зубы Севочка с бесконечным презрением: это тоже считалось хорошим тоном начала игры.

— Вот, тряпки. Лепеху эту... — и Наумов похлопал себя по плечам.

— В пятистах играю, — оценил костюм Севочка.

В ответ раздалась громкая многословная ругань, которая должна была убедить противника в гораздо большей стоимости вещи. Окружающие игроков зрители терпеливо ждали конца этой традиционной увертюры. Севочка не оставался в долгу и ругался еще язвительней, сбивая цену. Наконец костюм был оценен в тысячу. Со съевой стороны Севочка «играл» несколько поношенных джемперов. После того как джемперы были оценены и брошены тут же на одеяло, Севочка стасовал карты.

Я и Гаркунов, бывший инженер-текстильщик, пилили для наумовского барака дрова. Это была ночная работа — после своего рабочего забойного дня надо было напилить и наколоть дров на сутки. Мы забирались к коногонам сразу после ужина — здесь было теплее, чем в нашем бараке. После работы наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную «юшку» — остатки от единственного и постоянного блюда, которое в меню столовой называлось «украинские галушки», и давал нам по куску хлеба. Мы садились на пол где-нибудь в углу и быстро съедали заработанное.

Мы ели в полной темноте — барачные «бензинки» освещали карточное поле — но, по точным наблюдениям тюремных старожилов, «ложку мимо рта не пронесешь». Сейчас мы смотрели на игру Севочки и Наумова.

Наумов проиграл свою «лепеху». Брюки и пиджак лежали около Севочки на одеяле. Игралась подушка. Ноготь Севочки вычерчивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова. Наумов был в нательной рубаше — сатиновая косоворотка ушла вслед за брюками. Услужливые руки накинули ему на плечи телогрейку, но резким движением плеч он сбросил ее на пол. Внезапно все затихло. Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем.

— Одеяло играю, — хрипло сказал Наумов.

— Двести, — безразличным голосом ответил Севочка.

— Тысячу, сука, — закричал Наумов.

— За что? Это — не вещь! Это — «локш», дрянь, — выговаривал Севочка. — Только для тебя — играю за триста.

Сражение продолжалось. По правилам, бой не может быть окончен, пока партнер еще может чем-нибудь «ответить».

— Валенки играю!

— Не играю валенок, — твердо сказал Севочка. — Не играю казенных тряпок.

В стоимости нескольких рублей был проигран какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытисненным профилем Гоголя — все уходило к Севочке. Сквозь темную кожу щек Наумова проступил густой румянец.

— На представку, — заискивающе сказал он.

— Очень нужно, — живо сказал Севочка и протянул назад руку: тотчас же в руку была вложена зажженная махорочная папироса. Севочка глубоко затянулся и закашлялся.

— Что мне твоя представка? Этапов новых нет — где возьмешь? У конвоя что ли?

Согласие играть «на представку», т. е. в долг, было необязательным одолжением по «закону», но Севочка не хотел обижать Наумова, лишать его последнего шанса на отыгрыш.

— В сотне, — сказал он медленно. — Даю час представки.

— Давай карту. — Наумов поправил крестик и сел. Он отыграл одеяло, подушку, брюки — и вновь проиграл все снова.

— Чифирку бы подварить, — сказал Севочка, укладывая выигранные вещи в большой фанерный чемодан. — Я подожду.

— Заварите, ребята, — сказал Наумов. Речь шла об удивительном северном напитке — крепком чае, когда на небольшую кружку заваривается пятьдесят и больше граммов чая. Напиток крайне горек, пьют его глотками и закусывают соленой рыбой. Он снимает сон и потому в почете у блатных и у северных шоферов в дальних рейсах. «Чифирь» должен бы разрушительно действовать на сердце, но я знал многолетних чифиристов, переносящих его почти безболезненно. Севочка отхлебнул глоток из поданной ему кружки.

Тяжелый черный взгляд Наумова обводил окружающих. Волосы спутались на его голове. Взгляд дошел до меня и остановился. Какая-то мысль сверкнула в мозгу Наумова.

— Ну-ка, выйди.

Я вышел на свет.

— Снимай телогрейку.

Было уже ясно, в чем дело, и все с интересом следили за попыткой Наумова.

Под телогрейкой у меня было только казенное нательное белье — гимнастерку выдавали года два назад, и она давно истлела. Я оделся.

— Выходи ты, — сказал Наумов, показывая пальцем на Гаркунова. Гаркунов снял телогрейку. Лицо его по-

белело. Под грязной нательной рубахой был одет шерстяной свитер — это была последняя передача от жены перед отправкой в дальнюю дорогу, и я знал, как берег его Гаркунов, стирая его в бане, суша на себе — ни на минуту не выпуская из своих рук: фуфайку украли бы сейчас же товарищи.

— Ну-ка, снимай, — сказал Наумов.

Севочка одобрительно помахивал пальцем — шерстяные вещи ценились. Если отдать выстирать фуфаечку, да выпарить из нее вшей, можно и самому носить — узор красивый.

— Не сниму, — сказал Гаркунов хрипло. — Только с кожей...

На него кинулись, сбили с ног.

— Он кусается, — крикнул кто-то.

С пола медленно поднялся Гаркунов, вытирая рукавом кровь с лица. И сейчас же Сашка, дневальный Наумова, тот самый Сашка, который час назад наливал нам «супчику» за пилку дров, чуть присел и выдернул что-то из-за голенища валенки. Потом он протянул руку к Гаркунову, и Гаркунов всхлипнул и стал валиться на бок.

— Не могли, что ли, без этого, — закричал Севочка.

В мерцающем свете бензинки было видно, как сеет лицо Гаркунова.

Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва заметна. Севочка бережно, чтоб не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была кончена, и я мог идти домой. Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров.



НОЧЬЮ

Ужин кончился. Глебов неторопливо вылизал миску, тщательно сгреб со стола хлебные крошки в левую ладонь и, поднеся ее ко рту, бережно слизал крошки с ладони. Не глотая, он ощущал, как слюна во рту густо и жадно обволакивает крошечный комочек хлеба. Глебов не мог бы сказать — было ли это вкусно. Вкус — это что-то другое, слишком бедное по сравнению с этим страстным, самозабвенным ощущением, которое давала пища. Глебов не торопился глотать: хлеб сам таял во рту и таял быстро.

Ввалившиеся, блестящие глаза Багрецова неотрывно глядели Глебову в рот — не было ни в ком такой могучей воли, которая помогла бы отвести глаза от пищи, исчезающей во рту другого человека. Глебов проглотил слюну, и сейчас же Багрецов перевел глаза к горизонту — на большую оранжевую луну, выползавшую на небо.

— Пора, — сказал Багрецов. Они молча пошли по тропе к скале и поднялись на небольшой уступ, огибавший сопку; хоть солнце зашло недавно, камни, днем обжигавшие подошвы сквозь резиновые галоши, надетые на босу ногу, сейчас уже были холодными. Глебов застегнул телогрейку. Ходьба не грела его.

— Далеко еще? — спросил он шепотом.

— Далеко, — негромко ответил Багрецов.

Они сели отдыхать. Говорить было не о чем, да и думать было не о чем — все было ясно и просто. На площадке, в конце уступа были кучи развороченных камней, сорванного, ссохшегося мха.

— Я мог бы сделать это и один, — усмехнулся Багрецов, — но вдвоем веселее. Да и для старого приятеля...

Их привезли на одном пароходе в прошлом году.

Багрецов остановился: «Надо лечь — увидят».

Они легли и стали отбрасывать в стороны камни.

Больших камней — таких, чтобы нельзя было поднять, переместить вдвоем, — здесь не было, потому что те люди, которые набрасывали их сюда утром, были не сильнее Глебова.

Багрецов негромко выругался. Он оцарапал палец, текла кровь. Он присыпал рану песком, вырвал клочок ваты из телогрейки, прижал — кровь не останавливалась.

— Плохая свертываемость, — равнодушно сказал Глебов.

— Ты врач, что ли? — спросил Багрецов, отсасывая кровь.

Глебов молчал. Время, когда он был врачом, казалось очень далеким. Да и было ли такое время? Слишком часто тот мир за горами, за морями казался ему каким-то сном, выдумкой. Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя — дальше он не загадывал и не находил в себе сил загадывать. Как и все.

Он не знал прошлого тех людей, которые его окружали, и не интересовался им. Впрочем, если бы завтра Багрецов объявил себя доктором философии или маршалом авиации, Глебов поверил бы ему, не задумываясь. Был ли он сам когда-нибудь врачом? Утрачен был не только автоматизм суждений, но и автоматизм наблюдений. Глебов видел, как Багрецов отсасывал кровь из грязного пальца, но ничего не сказал. Это лишь скользнуло в его сознании, а воли к ответу он в себе найти не мог и не искал. То сознание, которое у него еще оставалось и которое, возможно, уже не было человеческим сознанием, имело слишком мало граней и сейчас было направлено лишь на одно — чтобы скорее убраться камнями.

— Глубоко, наверно? — спросил Глебов, когда они улеглись отдыхать.

— Как она может быть глубокой? — сказал Багрецов.

И Глебов сообразил, что он спросил чепуху и что яма, действительно, не может быть глубокой.

— Есть, — сказал Багрецов. Он дотронулся до чело-

веческого пальца. Большой палец ступни выглядывал из камней — на лунном свете он был отлично виден. Палец был непохож на пальцы Глебова или Багрецова — но не тем, что был безжизненным и окоченелым, в этом-то было мало различия. Ногти на этом мертвом пальце были острижены, сам он был полнее и мягче Глебовского. Они быстро откинули камни, которыми было завалено тело.

— Молодой совсем, — сказал Багрецов.

Вдвоем они с трудом вытащили труп за ноги.

— Здоровый какой, — сказал Глебов, задыхаясь.

— Если бы он не был такой здоровый, — сказал Багрецов, — его похоронили бы так, как хоронят нас, и нам не надо было бы идти сюда сегодня.

Они разогнули мертвецу руки и стащили рубашку.

— А кальсоны совсем новые, — удовлетворенно сказал Багрецов.

Стащили и телогрейку. Глебов запрятал комок белья под телогрейку.

— Надень лучше на себя, — сказал Багрецов.

— Нет, не хочу, — пробормотал Глебов.

Они уложили мертвеца обратно в могилу и закидали ее камнями.

Синий свет взошедшей луны ложился на камни, на редкий лес тайги, показывая каждый уступ, каждое дерево в особом, не дневном виде. Все казалось по-своему настоящим, но не тем, что днем. Это был как бы второй, ночной облик мира.

Белье мертвеца согрелось за пазухой Глебова и уже не казалось чужим.

— Закурить бы, — сказал Глебов мечтательно.

— Завтра закуришь.

Багрецов улыбнулся. Завтра они продадут белье, променяют на хлеб, может быть, даже достанут немного табаку...

ПЛОТНИКИ

Круглыми сутками стоял белый туман такой густоты, что в двух шагах не было видно человека. Впрочем, ходить далеко в одиночку и не приходилось. Немногие направления — столовая, больница, вахта — угадывались неведомо как приобретенным инстинктом, сродни тому чувству направления, которым в полной мере обладают животные и которое в подходящих условиях просыпается и в человеке.

Градусника рабочим не показывали, да это было и не нужно — выходить на работу приходилось в любые градусы. К тому же старожилы почти точно определяли мороз без градусника: если стоит морозный туман, значит на улице 40 градусов ниже нуля; если воздух при дыхании выходит с шумом, но дышать еще нетрудно — значит 45 градусов; если дыхание шумно и заметна одышка — 50 градусов. Свыше 55° плевки замерзают на лету. Плевки замерзали на лету уже две недели.

Каждое утро Поташников просыпался с надеждой — не упал ли мороз: он знал по опыту прошлой зимы, что как бы ни была низка температура, для ощущения тепла важно резкое изменение, контраст. Если даже мороз упадет до 40-45° — дня два будет тепло, а дальше, чем на два дня, не имело смысла строить планы.

Но мороз не падал, и Поташников понимал, что выдержать дольше не может. Завтрака хватало, самое большее, на один час работы, потом приходила усталость, и мороз пронизывал все тело «до костей» — это народное выражение отнюдь не было метафорой. Можно было только махать инструментом и скакать с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть, до обеда. Горячий обед — «юшка» и две ложки каши — мало восстанавливал силы, но все же согревал. И опять силы для работы хватало на час, а затем Поташникова охватывал холод. День все же кончался, и после ужина, напившись

горячей воды с хлебом, который ни один рабочий не ел в столовой с супом, а уносил в барак, Поташников тут же ложился спать.

Он спал, конечно, на верхних нарах — внизу был ледяной погреб, и те, чьи места были внизу, половину ночи простаивали у печки, обнимая ее по очереди руками — печка была чуть теплая. Дров вечно не хватало — за дровами надо было идти за четыре километра после работы, и все всячески уклонялись от этой повинности. Вверху было теплее, хотя, конечно же, все спали в том, в чем работали, — в шапках, телогрейках, бушлатах, ватных брюках. Вверху было теплее, но и там за ночь волосы примерзали к подушке.

Поташников чувствовал, как с каждым днем сил становится все меньше и меньше. Ему, тридцатилетнему мужчине, уже трудно взбираться на верхние нары, трудно спускаться. Сосед его умер вчера, просто умер, и никто не поинтересовался, от чего он умер, как будто причина смерти была лишь одна, хорошо известная всем. Дневальный радовался, что умер он не вечером, а утром — суточное довольствие умершего оставалось дневальному. Все это понимали, и Поташников осмелел и подошел к дневальному. «Отломи корочку», но тот встретил его такой крепкой руганью, какой может ругаться только человек, ставший из слабого сильным и знающий, что ругань его безнаказанна. Только при чрезвычайных обстоятельствах слабый ругает сильного, и это смелость отчаяния. Поташников замолчал и отошел.

Надо было на что-то решаться, что-то выдумать своим ослабевшим мозгом. Или — умереть. Смерти Поташников не боялся. Но было страстное тайное желание, какое-то последнее упрямство — желание умереть где-нибудь в больнице, на койке, на постели при внимании других людей, но не на улице, не на морозе, под сапогами конвоя, в бараке среди брани, грязи и полном равнодушии всех. Он не винил людей за равнодушие.

Он понял давно, откуда эта душевная тупость, душевный холод. Мороз, тот самый, который обращал плевков на лету в лед, добирался и до человеческой души. Если могли промерзнуть кости, мог промерзнуть и отупеть мозг, могла промерзнуть и душа. На морозе нельзя было думать ни о чем. И душа — промерзла, сжалась, может быть, навсегда останется холодной. У Поташникова не оставалось ничего, кроме желания перетерпеть, переждать мороз живым.

Проглотив миску теплого супа, дожевывая хлеб, Поташников добрался до места работы, едва волоча ноги. Бригада была выстроена перед началом работы, и вдоль рядов ходил какой-то толстый краснорожий человек в оленьей шапке, якутских торбазах и в белом полушубке. Он вглядывался в изможденные, грязные лица. Бригадир подошел, что-то почтительно говоря человеку в оленьей шапке.

— А я вас уверяю, Александр Евгеньевич, что у меня нет таких людей. К Соболеву и бытовичкам сходите, а это ведь интеллигенция, Александр Евгеньевич, — одно мученье.

Человек в оленьей шапке перестал разглядывать людей и повернулся к бригадиру.

— Бригадир не знает своих людей, не хотят знать, не хотят нам помочь, — хрипло сказал он.

— Воля ваша, Александр Евгеньевич.

— Вот я тебе сейчас покажу. Как твоя фамилия?

— Иванов моя фамилия, Александр Евгеньевич.

— Вот гляди! Эй, ребята, внимание! — Человек в оленьей шапке встал перед бригадой. — Управлению нужны плотники — делать короба для возки грунта.

Все молчали.

— Вот видите, Александр Евгеньевич, — зашептал бригадир.

Поташников вдруг услышал свой собственный голос.

— Есть. Я плотник. — и сделал шаг вперед.

С правого фланга молча шагнул другой человек. Поташников знал его — это Григорьев.

— Ну, — человек в оленьей шапке повернулся к бригадиру, — ты шляпа и дерьмо? Ребята, пошли за мной.

Поташников и Григорьев поплелись за человеком в оленьей шапке. Он приостановился.

— Если так будем идти, — прохрипел он, — мы и к обеду не придем. Вот что. Я пойду вперед, а вы идите в мастерскую к прорабу Сергееву. Знаете, где столярная мастерская?

— Знаем, знаем, — закричал Григорьев. — Угостите закурить, пожалуйста.

— Знакомая просьба, — сквозь зубы пробормотал человек в оленьей шапке и, не вынимая коробки из кармана, вытащил две папиросы.

Поташников шел впереди и напряженно думал. Сегодня он будет в тепле столярной мастерской — точить топор и делать топорище. И точить пилу. Торопиться не надо. До обеда они будут «получать» инструмент, выписывать, искать кладовщика. А сегодня к вечеру, когда выяснится, что он топорище сделать не может, а пилу развести не умеет, его выгонят, и завтра он вернется в бригаду. Но сегодня он будет в тепле. А, может быть, и завтра, и послезавтра он будет плотником, если Григорьев — плотник. Он будет подручным у Григорьева. Зима уж кончается. Лето, короткое лето он как-нибудь проживет.

Поташников остановился, ожидая Григорьева.

— Ты можешь это... плотничать, — задыхаясь от внезапной надежды, выговорил он.

— Я, видишь ли, — весело сказал Григорьев, — аспирант Московского филологического института. Я думаю, что каждый человек, имеющий высшее образование, тем более гуманитарное, обязан уметь вытесать топор и развести пилу. Тем более, если это надо делать рядом с горящей печкой.

— Значит и ты...

— Ничего не значит. На два дня мы их обманем, а потом — какое тебе дело, что будет потом.

— Мы обманем на один день, а завтра нас вернут в бригаду...

Вдвоем они едва отворили примерзлую дверь. Посредине столярной мастерской горела раскаленная докрасна железная печка, и пять столяров на своих верстаках работали без телогреек и шапок. Пришедшие встали на колени перед открытой дверью печки, как перед богом огня, одним из первых богов человечества. Скинув рукавицы, они простирали к теплу руки, потерявшие чувствительность, и не сразу ощутили тепло. Через минуту Григорьев и Поташников сняли шапки и расстегнули бушлаты, не вставая с колен.

— Вы зачем? — недружелюбно спросил их столяр.

— Мы плотники. Будем работать тут, — сказал Григорьев.

— По распоряжению Александра Евгеньевича, — добавил поспешно Поташников.

— Это, значит, о вас говорил прораб, чтоб выдать вам топоры? — спросил Арнштрем, пожилой инструментальщик, стругавший в углу черенки к лопатам.

— О нас, о нас...

— Берите, — недоверчиво оглядев их, сказал Арнштрем. — Вот вам два топора, пила и разводка. Разводку потом назад отдайте. Вот мой топор, вытешьте топорище.

Арнштрем улыбнулся.

— Дневная норма мне на топорище — тридцать штук, — сказал он.

Григорьев взял чурку из рук Арнштрема и начал тесать. Загудел обеденный гудок. Арнштрем, не одеваясь, молча смотрел на работу Григорьева.

— Теперь ты, — сказал он Поташникову.

Поташников поставил полено на чурбан, взял топор из рук Григорьева и начал тесать.

Столяры уже ушли обедать, и в мастерской никого, кроме трех людей, не было.

— Возьмите вот два моих топорища, — Арнштрем

подал готовые топорщица Григорьеву, — и насадите топоры. Точите пилу. Сегодня и завтра грейтесь у печки. Послезавтра идите туда, откуда пришли. Вот вам кусок хлеба к обеду.

Сегодня и завтра они грелись у печки, а послезавтра мороз упал сразу до 30 градусов — зима уже кончалась.



ОДИНОЧНЫЙ ЗАМЁР

Вечером, сматывая рулетку, зритель сказал, что Дугаев получит на следующий день одиночный замёр. Бригадир, стоявший рядом и просивший зрителя дать в долг «десяток кубиков до послезавтра», внезапно замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем сопки вечернюю звезду. Баранов, «напарник» Дугаева, помогавший зрителю замерять сделанную работу, взял лопату и стал подчищать давно вычищенный забой.

Дугаеву было двадцать три года, и все, что он здесь видел и слышал, больше удивляло, чем пугало его.

Бригада собиралась на переключку, сдала инструмент и в арестантском неровном строю вернулась в барак. Трудный день был кончен. В столовой Дугаев, не садясь, выпил через борт миски порцию жидкого холодного крупяного супа. Хлеб выдавался утром на весь день и был давно съеден. Хотелось курить. Он огляделся, соображая, у кого бы выпросить окурок. На подоконнике Баранов собирал в бумажку махорочные крупинки из вывернутого кисета. Собрав их тщательно, Баранов свернул тоненькую папиросу и протянул ее Дугаеву.

— Кури, мне оставишь, — сказал он.

Дугаев удивился — они с Барановым не были дружны. Впрочем, при голоде, холоде и бессоннице никакая дружба не завязывается, и Дугаев, несмотря на молодость, понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедой. Для того, чтобы дружба была дружбой, нужно, чтоб крепкое основание ее было заложено тогда, когда условия быта еще не дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в человеке, а есть только недоверие, злоба и ложь. Дугаев хорошо помнил северную поговорку, три арестантских заповеди: не верь, не бойся, не проси...

Дугаев жадно всосал сладкий махорочный дым, и голова его закружилась.

— Слабею, — сказал он.

Баранов промолчал.

Дугаев вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Последнее время он спал плохо, голод не давал хорошо спать. Сны снились особенно мучительные — буханки хлеба, дымящиеся жирные супы... Забыть наступило нескоро, но все же — за полчаса до подъема Дугаев уже открыл глаза.

Бригада пришла на работу. Все разошлись по своим забоям.

— А ты подожди, — сказал бригадир Дугаеву. — Тебя смотритель сам поставит.

Дугаев сел на землю. Он уже успел утомиться настолько, чтобы с полным безразличием отнестись к любой перемене в своей судьбе.

Загремели первые тачки на трапе, заскрежетали лопаты о камень.

— Иди сюда, — сказал Дугаеву смотритель. — Вот тебе место. — Он вымерил кубатуру забоя и поставил метку — кусок кварца.

— Досюда, — сказал он. — Траповщик тебе доску до главного трапа дотянет. Возить туда, куда все. Вот тебе лопата, кайло, лом, тачка — вози.

Дугаев послушно начал работу.

Еще лучше, — думал он. — Никто из товарищей не будет ворчать, что он работает плохо. Бывшие хлеборобы не обязаны понимать и знать, что Дугаев — новичок, что сразу после школы он стал учиться в университете, а университетскую скамью променял на этот забой. Каждый за себя. Они не обязаны, не должны понимать, что он истощен и голоден уже давно, что он не умеет красть: умение красть — это главная северная добродетель во всех ее видах — начиная от хлеба товарища и кончая выпиской тысячных премий начальства за несуществующие, не бывшие достиже-

ния. Никому нет дела до того, что Дугаев не может выдержать 16-ти часового рабочего дня.

Дугаев возил, кайлил, сыпал, опять возил и опять кайлил и сыпал.

После обеденного перерыва пришел смотритель, поглядел на сделанное Дугаевым и молча ушел... Дугаев опять кайлил и сыпал. До кварцевой метки было еще очень далеко.

Вечером смотритель опять явился и размотал рулетку. Он смерил то, что сделал Дугаев.

— Двадцать пять процентов, — сказал он и посмотрел на Дугаева. — Двадцать пять процентов. Ты слышишь?

— Слышу, — сказал Дугаев. Его удивила эта цифра. Работа была так тяжела, так мало камня подцеплялось лопатой, так тяжело было кайлить. Цифра на двадцать пять процентов нормы показалась Дугаеву очень большой. Ныли икры, от упора на тачку нестерпимо болели руки, плечи, голова. Чувство голода давно покинуло его. Дугаев ел потому, что видел, как едят другие, что-то подсказывало ему: надо есть. Но он не хотел есть.

— Ну, что же, — сказал смотритель, уходя. — Желая здравствовать.

Вечером Дугаева вызвали к следователю. Он ответил на четыре вопроса: имя, фамилия, статья, срок. Четыре вопроса, которые по тридцать раз в день задают арестанту. Потом Дугаев пошел спать. На следующий день он опять работал с бригадой, с Барановым, а в ночь на послезавтра его повели солдаты за конбазу и повели по лесной тропке к лесу, к месту, где, почти перегораживая небольшое ущелье, стоял высокий забор с колючей проволокой, натянутой поверху, и откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотанье тракторов. И, поняв, в чем дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день.



ПОСЫЛКА

Посылки выдавали на вахте. Бригадиры удостоверяли личность получателя. Фанера ломалась и трещала по-своему, по-фанерному. Здешние деревья ломались не так, кричали не таким голосом. За барьером из скамеек люди с чистыми руками в чересчур аккуратной военной форме вскрывали, проверяли, встряхивали, выдавали. Ящики посылок, едва живые от многомесячного путешествия, подброшенные умело, падали на пол, раскалывались. Куски сахара, сушеные фрукты, загнивший лук, мятые пачки махорки разлетались по полу. Никто не подбирал рассыпанное. Хозяева посылок не протестовали — получить посылку было чудом из чудес.

Возле вахты стояли конвоиры с винтовками в руках — в белом морозном тумане двигались какие-то незнакомые фигуры.

Я стоял у стены и ждал очереди. Вот эти голубые куски — это не лед! Это — сахар! Сахар! Сахар! Пройдет еще час, и я буду держать в руках эти куски, и они будут таять. Они будут таять только во рту. Такого большого куска мне хватит на два раза, на три раза.

А махорка! Собственная махорка! Материковская махорка, ярославская «Белка» или «Кременчуг № 2». Я буду курить, буду угощать всех, всех, всех, а прежде всего тех, у кого я докуривал весь этот год. Материковская махорка! Нам ведь давали в пайке табак, снятый по срокам хранения с армейских складов, — авантюра гигантских масштабов: на лагерь списывалось все из продуктов, что вылежали «срок хранения». Но сейчас я буду курить настоящую махорку. Ведь если жена не знает, что нужна махорка покрепче, ей подскажут.

— Фамилия?

Посылка треснула, и из ящика высыпался чернослив, кожаные ягоды чернослива. А где же сахар? Да и чернослива — две-три горсти...

— Тебе бурки! Летчицкие бурки! Ха-ха-ха! С каучуковой подошвой! Ха-ха-ха! Как у начальника прииска! Держи, принимай!

Я стоял растерянный. Зачем мне бурки? В бурках здесь можно ходить только по праздникам — праздников-то и не было. Если б оленьи пимы, торбаза или обыкновенные валенки. Бурки — это чересчур шикарно... это — не подобает. Притом...

— Слышь ты, — чья-то рука тронула мое плечо.

Я повернулся так, чтобы было видно и бурки, и ящик, на дне которого было немного чернослива, и начальство, и лицо того человека, который держал мое плечо. Это был Андрей Бойко, наш горный смотритель.

А Бойко шептал торопливо:

— Продай мне эти бурки. Я тебе денег дам. Сто рублей. Ты ведь до барака не донесешь — отнимут, вырвут эти, и Бойко ткнул пальцем в белый туман. — Да и в бараке украдут. В первую ночь.

— Сам же ты и подошлешь, — подумал я. — Ладно. давай деньги.

— Видишь, какой я! — Бойко отсчитал деньги. — Не обманываю тебя, не как другие. Сказал сто и даю сто. — Бойко боялся, что переплатил лишнего.

Я сложил грязные бумажки вчетверо, ввосемьmero и упрятал в брючный карман. Чернослив пересыпал из ящичка в бушлат — карманы его давно были вырваны на кисеты.

Куплю масла! Килограмм масла! И буду есть с хлебом, супом, кашей. И сахару! И сумку достану у кого-нибудь — торбочку с бичевочным шнурком. Непременная принадлежность всякого приличного заключенного из фраеров. Блатные не ходят с торбочками.

Я вернулся в барак. Все лежали на нарах, только Ефремов сидел, положив руки на остывшую печку, и тянулся лицом к исчезающему теплу, боясь разогнуться. оторваться от печки.

— Что не растопляешь?

Подошел дневальный.

— Ефремовское дежурство! Бригадир сказал: пусть где хочет, там и берет, а чтоб дрова были. Я тебе спать все равно не дам. Иди, пока не поздно.

Ефремов выскользнул в дверь барака.

— Где ж твоя посылка?

— Ошиблись . . .

И побежал к магазину. Шапаренко, завмаг, еще торговал. В магазине никого не было.

— Шапаренко, мне хлеба и масла.

— Угробишь ты меня. — Ну, возьми, сколько надо.

— Денег у меня, видишь, сколько? — сказал Шапаренко.

— Что такой фитиль, как ты, можешь дать? Бери хлеб и масло и отрывайся быстро.

Сахару я забыл попросить. Масла килограмм. Хлеб — килограмм. Пойду к Семену Шейнину. Шейнин был бывший референт Кирова, еще не расстрелянный в это время. Мы с ним работали когда-то вместе, в одной бригаде, но судьба нас развела.

Шейнин был в бараке.

— Давай есть. Масло, хлеб.

Голодные глаза Шейнина заблестели:

— Сейчас я кипятку . . .

— Да не надо кипятку . . .

— Нет, я сейчас, — и он исчез.

Тут же кто-то ударил меня по голове чем-то тяжелым, и когда я вскочил, пришел в себя, сумки не было. Все оставались на своих местах и смотрели на меня со злобной радостью. Развлечение было самого лучшего сорта. В таких случаях — радовались вдвойне: во-первых, кому-то плохо, во-вторых, плохо не мне. Это не зависть, нет.

Я не плакал. Я еле остался жив. Прошло тридцать лет, и я помню отчетливо полутемный барак, злобные, радостные лица моих товарищей, сирсе полено на полу, бледные щеки Шейнина.

Я пришел снова в ларек. Я больше не просил масла и не спрашивал сахару. Я выпросил хлеба, вернулся в барак, «натаял» снегу и стал варить чернослив.

Барак уже спал: стонал, хрипел, кашлял. Мы трое варили у печки каждый свое. Синцов кипятил сбереженную от обеда корку хлеба, чтоб съесть ее вязкую, горячую и чтобы выпить потом с жадностью горячую снеговую воду, пахнущую дождем и хлебом. А Губарев натолкал в котелок листьев мерзлой капусты — счастливец и хитрец. Капуста пахла, как лучший украинский борщ! А я варил посылочный чернослив. Все мы не могли не глядеть в чужую посуду.

Кто-то пинком ноги распахнул двери барака. Из облака морозного пара вышли двое военных. Один помоложе — начальник лагеря Коваленко, другой постарше — начальник прииска Рябов. Рябов был в авиационных бурках — в моих бурках! Я с трудом сообразил, что это ошибка — что бурки рябовские.

Коваленко бросился к печке, размахивая кайлом, которое он принес с собой.

— Опять котелки! Вот я вам сейчас покажу котелки! Покажу, как грязь разводить!

Коваленко опрокинул котелки с супом, с коркой хлеба и с листьями капусты, с черносливом и пробил кайлом дно каждого котелка.

Рябов грел руки о печную трубу.

— Есть котелки — значит есть что варить, — глубокомысленно сказал начальник прииска. — Это, значит, признак довольства.

— Да ты бы видел, что они варят, — сказал Коваленко, растаптывая котелки.

Начальники вышли, и мы стали разбирать смятые котелки и собирать каждый свое: я — ягоды, Синцов — размокший, бесформенный хлеб, Губарев — крошки капустных листьев. Мы сразу все съели — так было надежней всего.

Я проглотил несколько ягод и заснул. Я давно научился засыпать раньше, чем согреются ноги, — когда-то я этого не мог, но опыт, опыт! Сон был похож на забвенье.

Жизнь возвращалась как сновиденье — снова раскрылись двери: белые клубы пара, прилегшие к полу, пробежавшие до дальней стены барака; люди в белых и темных полушубках, вонючих от новизны, необнощенности, и рухнувшее на пол что-то нешевелиющееся, но живое, хрюкающее.

Дневальный, в недоуменной, но почтительной позе склонившийся перед тулупами десятников.

— Ваш человек? — и смотритель показал на комок грязного тряпья на полу.

— Это Ефремов, — сказал дневальный.

— Будет знать, как воровать чужие дрова.

Ефремов много недель пролежал рядом со мной на нарах, пока его не увезли и он умер в инвалидном городке. Ему отбили «нутро» — мастеров этого дела на прииске было немало. Он не жаловался — он лежал и тихонько стонал.



ДОЖДЬ

Мы бурили на новом полигоне третий день. У каждого был свой шурф, и за три дня каждый углубился на полметра, не больше. До мерзлоты еще никто не дошел, хотя и ломы, и кайла заправлялись без всякой задержки — редкий случай: кузнецам было нечего «оттягивать» — работала только наша бригада. Все дело было в дожде. Дождь лил третьи сутки, не переставая. На каменистой почве нельзя узнать — час льет дождь или месяц. Холодный мелкий дождь. Соседние с нами бригады давно уже сняли с работы и увели домой — но то были бригады блатарей — даже для зависти у нас не было силы.

Десятник в намокшем огромном брезентовом плаще с капюшоном, угловатом, как пирамида, появлялся редко. Начальство возлагало большие надежды на дождь, на холодные плети воды, опускавшиеся на наши спины. Мы давно были мокры, не могу сказать до белья, потому что белья у нас не было. Примитивный тайный расчет начальства был таков. что дождь и холод заставят нас работать. Но ненависть к работе была еще сильнее, и каждый вечер десятник с проклятием опускал в шурф свою деревянную мерку с зарубками. Конвой стерег нас, укрывшись под «грибом» — известным лагерным сооружением.

Мы не могли выходить из шурфов, мы были бы застрелены. Ходить между шурфами мог только наш бригадир. Мы не могли кричать друг другу — мы были бы застрелены. И мы стояли молча, по пояс в земле, в каменных ямах, длинной вереницей шурфов растягиваясь по берегу высохшего ручья.

За ночь мы не успевали высушить наши бушлаты, а гимнастерки и брюки мы ночью сушили своим телом и почти успевали высушить.

Голодный и злой, я знал, что ничто в мире не за-

ставит меня покончить с собой. Именно в это время я стал понимать суть великого инстинкта жизни — того самого качества, которым наделен в высшей степени человек. Я видел, как изнемогали и *умирали* наши лошади, — я не могу выразиться иначе, воспользоваться другими глаголами. Лошади ничем не отличались от людей. Они умирали от севера, от непосильной работы, плохой пищи, побоев — и хоть всего этого было дано им в тысячу раз меньше, чем людям, — они умирали раньше людей. И я понял самое главное, что человек стал человеком не потому, что он божье создание, и не потому, что у него был удивительный большой палец на каждой руке. А потому, что он был **ФИЗИЧЕСКИ** крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил свое духовное начало успешно служить началу физическому.

Вот обо всем этом в сотый раз думал я в этом шурфе. Я знал, что я не покончу с собой потому, что проверил эту свою жизненную силу. В таком же шурфе, только глубоко, недавно я выкайлил огромный камень. Я много дней бережно освобождал его страшную тяжесть. Из этой тяжести недоброй я думал создать нечто прекрасное — по словам русского поэта. Я думал спасти свою жизнь, сломав себе ногу. Воистину это было прекрасное намерение, явление вполне эстетического рода. Камень должен был рухнуть и раздробить мою ногу. И я — навеки инвалид! Эта страстная мечта подлежала расчету, и я только подготовил место, куда поставлю ногу, представил, как легонько поверну кайлом — и... камень рухнет. День, час и минута были назначены и пришли. Я поставил правую ногу под висящий камень, похвалил себя за спокойствие, поднял руку и повернул, как рычаг, заложенное за камень кайло. И камень пополз по стене в назначенное и вычисленное место. Но сам не знаю, как это случилось, — я отдернул ногу в сторону. В тесном шурфе нога была помята. Два синяка, три ссадины — вот и весь результат так хорошо подготовленного дела.

И я понял, что я не гожусь ни в членовредители, ни в самоубийцы. Мне оставалось только ждать, пока маленькая неудача сменится маленькой удачей, пока большая неудача исчерпает себя. Ближайшей «удачей» был конец рабочего дня, три глотка горячего супу — если даже суп будет холодный, его можно подогреть на железной печке, а котелок — трехлитровая консервная банка — у меня есть. Закурить, вернее, докурить я попрошу у нашего дневального Степана.

Вот так, перемешивая в мозгу «звездные» вопросы и мелочь, я ждал, вымокший до нитки, но спокойный. Были ли эти рассуждения некой тренировкой мозга? Ни в коем случае. Все это было естественно, это была жизнь. Я понимал, что тело, а значит и клетки мозга получают питание недостаточное, мозг мой давно уже на голодном пайке, и что это неминуемо скажется — сумасшествием, ранним склерозом или как-нибудь еще... И мне весело было думать, что я не доживу, не успею дожить до склероза. Лил дождь.

Я вспомнил женщину, которая вчера прошла мимо нас по тропинке, не обращая внимания на окрики конвоя. Мы приветствовали ее, и она нам показалась красивой — первая женщина, увиденная нами за три года. Она помахала нам рукой, показала на небо, куда-то в угол небосвода и крикнула: «Скоро, ребята, скоро». Радостный рев был ей ответом. Я никогда ее больше не видел, но всю жизнь ее вспоминал — как могла она так понять и так утешить нас. Она указала на небо, вовсе не имея в виду загробный мир. Нет, она показывала только, что невидимое солнце спускается к западу, что близок конец трудового дня. Она по-своему повторила нам гетевские слова о горных вершинах. О мудрости этой простой женщины, какой-то бывшей или сущей проститутки — ибо никаких женщин, кроме проституток, в то время в этих краях не было, — вот о ее мудрости, о ее великом сердце я и думал, и шорох дождя был хорошим звуковым фоном для этих мыслей.

Серый каменный берег, серые горы, серый дождь, серое небо, люди в серой рваной одежде — все было очень мягкое, очень согласное друг с другом. Все было какой-то единой цветовой гармонией — дьявольской гармонией.

И в это время раздался слабый крик из соседнего шурфа. Моим соседом был некто Розовский, пожилой агроном, изрядные специальные знания которого, как и знания врачей, инженеров, экономистов не могли здесь найти применения. Он звал меня по имени, и я откликнулся ему, не обращая внимания на угрожающий жест конвоира — издалека, из-под «гриба».

— Слушайте, — кричал он, — слушайте! Я долго думал! И понял, что смысла жизни нет... Нет...

Тогда я выскочил из своего шурфа и подбежал к нему раньше, чем он успел броситься на конвойных. Оба конвоира приближались.

— Он заболел, — сказал я.

В это время донесся отдаленный заглушенный дождем гудок, и мы стали строиться.

Мы работали с Розовским еще некоторое время вместе, пока он не бросился под груженую вагонетку, катившуюся с горы. Он сунул ногу под колесо, но вагонетка просто перескочила через него, и даже синяка не осталось. Тем не менее за покушение на самоубийство на него завели «дело», он был судим, и мы расстались, ибо существует правило, что после суда осужденный никогда не направляется в то место, откуда он прибыл. Боятся мести — под горячую руку — следователю, свидетелям. Это — мудрое правило. Но в отношении Розовского его можно было бы и не применять.



КРАЖА

Шел серый снег, и небо было серым, и земля была серая, и цепочка людей, перебивавшихся с одного снегового холма на другой, растянулась по всему горизонту. Потом пришлось долго ждать, пока бригадир выстроит всю свою бригаду, как будто за холмом снега скрывался какой-нибудь генерал.

Бригада выстроилась попарно и свернула с тропинки, с кратчайшего пути домой, в барак — на другую, копкую дорогу. Недавно прошел здесь трактор, снег еще не успел засыпать его следы, похожие на отпечатки лап какого-то доисторического зверя. Идти было гораздо хуже, чем по тропке, все спешили, поминутно кто-нибудь оступался и, отстав, торопливо вытаскивал полные снега ватные бурки и бежал догонять товарищей. Вдруг за поворотом около большого сугроба показалась черная фигура человека в огромном белом тулупе. Только подойдя ближе, я увидел, что сугроб — это невысокий штабель из мешков муки. Должно быть, машина здесь увязла, сгрузилась, и трактор ее увел порожняком.

Бригада шла прямо на сторожа, мимо штабеля быстрым шагом. Потом шаг бригады немного замедлился, ряды ее сломались. Оступаясь в темноте, рабочие выбрались наконец на свет большой электрической лампы, висевшей в воротах лагеря.

Бригада выстроилась перед воротами торопливо и неровно, жалуясь на мороз и усталость. Вышел надзиратель, отпер ворота и впустил людей в зону. Люди и внутри лагеря до самого барака продолжали идти строем, а я все еще ничего не понимал.

И только под утро, когда стали раздавать муку из мешка, черпая котелком, вместо мерки, я понял, что впервые в жизни участвовал в краже.

Большого волнения это у меня не вызвало — некогда было об этом всем подумать: надо было варить свою долю любым способом, доступным нам тогда, — галушки, затируха, знаменитые «рванцы» или просто ржаные лепешки, блины или блинчики.



Сопки были белые с синеватым отливом, как сахарные головы. Круглые, безлесные, они были покрыты тонким слоем плотного снега, спрессованного ветрами. В ущельях снег был глубок и крепок — держал человека, а на склонах сопок он как бы вздувался огромными пузырями. Это были кусты стланика, распластавшегося по земле и улегшегося на зимнюю ночевку еще до первого снега. Они-то и были нам нужны.

Из всех северных деревьев я больше других любил стланик, кедрач.

Мне давно была понятна и дорогá та завидная торопливость, с какой бедная северная природа стремилась поделиться с нищим, как и она, человеком своим нехитрым богатством — процвести поскорее для него всеми цветами. В одну неделю, бывало, цвело всё взпуски, и за какой-нибудь месяц с начала лета горы в лучах почти незаходящего солнца краснели от брусники, чернели от темносиней голубизны. На низкорослых кустах — и руку поднимать не надо — наливалась желтая, крупная, водянистая рябина. Медовый горный шиповник — его розовые лепестки были единственными цветами здесь, которые пахли как цветы, все остальные пахли только сыростью, болотом, и это было подстать весеннему, безмолвию птиц, безмолвию лиственничного леса, где ветви медленно одевались зеленой хвоей. Шиповник берег плоды до самых морозов и из-под снега протягивал нам сморщенные мясистые ягоды, фиолетовая жесткая шкура которых скрывала сладкое темножелтое мясо. Я знал веселость лоз, меняющих окраску весной много раз, — то темнорозовых, то оранжевых, то бледнозеленых, будто обтянутых цветной лайкой. Лиственницы протягивали тонкие пальцы с зелеными ногтями, вездесущий жирный кипрей покрывал лесные пожарища. Все это прекрасно, доверчиво,

шумно и торопливо, но все это было летом — когда матовая зеленая трава мешалась с муравчатым блеском замшелых, блестящих на солнце скал, которые вдруг оказывались не серыми, не коричневыми, а зелеными.

Зимой все это исчезало, покрытое рыхлым, жестким снегом, что ветры наметали в ущелья и утрамбовывали так, что для подъема в гору надо было вырубать в снегу ступеньки топором. Человек в лесу был виден на версту — так все было голо. И только одно дерево было всегда зелено, всегда живо — стланик, вечно-зеленый кедрач. Это был предсказатель погоды. За два-три дня до первого снега, когда днем было еще по-осеннему жарко и безоблачно и о близкой зиме никому не хотелось думать, — стланик вдруг растягивал по земле свои огромные двухсаженные лапы, легко сгибал свой прямой черный ствол толщиной кулака в два и ложился плашмя на землю. Проходил день, другой, появлялось облако, а к вечеру задувала метель и падал снег. А если позднее осенью собирались снеговые низкие сизые тучи, дул холодный ветер, но стланик не ложился, можно было быть твердо уверенным, что снега не выпадет.

В конце марта, в апреле, когда весной еще и не пахло, и воздух был по-зимнему разрежен и сух, стланик вдруг поднимался, стряхивая снег со своей зеленой, чуть рыжеватой одежды. Через день-два менялся ветер, теплые струи воздуха приносили весну.

Стланик был инструментом очень точным, чувствительным до того, что порой он обманывался — поднимался в оттепель, когда оттепель затягивалась. Но еще не успевало похолодать, как он снова торопливо укладывался в снег. Бывало и такое: разведешь с утра костер пожарче, чтобы в обед было где согреть ноги и руки, заложишь побольше дров и уходишь на работу. Через два-три часа из-под снега протягивает ветви стланик и расправляется потихоньку, думая, что пришла весна. Еще не успел костер погаснуть, как стланик снова ложится на снег. Зима здесь двухцветна — блед-

носинее высокое небо и белая земля. Весной обнажается грязно-желтое прошлогоднее осеннее тряпье, и долго-долго земля одета в этот нищенский убор, пока новая зелень не наберет силу и все не станет цвести — торспливо и бурно. И вот среди этой унылой весны, безжалостной зимы — ярко и ослепительно зеленея, сверкал стланик. К тому же на нем росли орехи — мелкие кедровые орехи. Это лакомство делили между собой люди, кедровки, медведи, белки, бурундуки.

Выбрав площадку с подветренной стороны сопки, мы натаскали сучьев — мелких и покрупнее, нарвали сухой травы на «промётинках» — голых местах горы, с которых ветер сорвал снег. Мы принесли с собой из барака несколько дымящихся головешек, взятых перед уходом на работу из топящейся печки, — спичек здесь не было.

Головешки носили в большой консервной банке с приделанной ручкой из проволоки, тщательно следя, чтобы они не погасли по дороге. Вытащив головни из банки, обдув их и сложив тлеющие концы вместе, я раздул огонь и, положив головни на ветки, заложил костер — сухую траву и мелкие сучья. Все это было закрыто большими сучьями, и скоро синий дымок неуверенно потянулся по ветру.

Я никогда раньше не работал в бригадах, заготавливающих хвою стланика. Заготовка шла вручную, зеленые сухие иглы щипали, как перья у дичи, набивали хвоей мешки, а вечером сдавали выработку десятнику. Затем хвоя увозилась на таинственный «витаминный комбинат», где из нее варили темножелтый густой и вязкий экстракт непередаваемо противного вкуса. Этот экстракт нас заставляли пить или есть (кто как сумеет) перед каждым обедом. Вкусом экстракта бывал испорчен не только обед, но и ужин, и многие видели в этом «лечении» дополнительное средство лагерного «воздействия». Но без «стопки» этого лекарства в столовых нельзя было получить обед — за этим строго следили. Цинга была повсеместно, и стланик был единственным средством от цинги, одобренным меди-

циной. Вера все преодолевает и, хотя впоследствии была доказана полная несостоятельность этого «препарата» как противочинготного, и от него отказались, а «витаминный комбинат» закрыли, — в наше время люди пили эту вонючую дрянь, отплеывались и выздоравливали от цинги. Или не выздоравливали. Или не пили и выздоравливали. Везде была тьма шиповника, но его никто не заготавливал, не использовал как противочинготное средство — в московской инструкции ничего о шиповнике не говорилось. (Через несколько лет шиповник стали завозить с «материка», но собственной заготовки так и не было налажено.)

Представителем витамина «С» инструкция считала только хвою стланика. Нынче я был заготовщиком этого драгоценного сырья — я ослабел и из «золотого» забоя был переведен «щипать стланик».

— Походишь на стланик, — сказал утром нарядчик. — Дам тебе «каит» на несколько дней.

«Каит» — это широкораспространенный лагерный термин. Обозначает он что-то вроде временного отдыха, не то что полный отдых (в таком случае говорят: он «припухает», припух на сегодня), а такую работу, при которой человек не выбивается из сил, легкую, временную работу.

Работа «на стланике» считалась не только легкой — легчайшей рабстой, и притом она была бесконвойной.

После многих месяцев работы в обледенелых «разрезах», где каждый промороженный до блеска камешек обжигает руки, после шелканья винтовочных затворов, лая собак и матерщины смотрителей за спиной — работа на стланике была огромным, ощущаемым каждым усталым мускулом удовольствием. На стланик посылали позже обычного развода на работу, еще в темноте.

Хорошо было, грея руки о банку с дымящимися головешками, не спеша идти к сопкам, таким недостижимо далеким, как мне казалось раньше, и подниматься все выше и выше, все время ощущая как радостную не-

ожиданность свое одиночество и глубокую зимнюю горную тишину — как будто все дурное в мире исчезло, и есть только твой товарищ и ты, и узкая темная бесконечная полоска в снегу, ведущая куда-то высоко, в горы.

Товарищ мой неодобрительно смотрел на мои медленные движения. Он уже давно ходил на стланик и справедливо предполагал во мне неумелого и слабого «напарника». Работали парами, «заработок» был общий и делился пополам.

— Я буду рубить, а ты садись щипать, — сказал он. — И поживей ворочайся, а то мы не сделаем нормы. А идти отсюда снова в забой не хочу.

Он нарубил стланиковых веток и приволок огромную кучу зеленых лап к костру. Я отламывал сучья поменьше и, начиная с вершины ветки, обдираю иглы вместе с корой. Они были похожи на зеленую бахрому.

— Надо быстрее, — сказал мой товарищ, возвращаясь с новой охапкой.

Я и сам понимал, что плохо. Но я не мог работать быстрее. В ушах звенело, и отмороженные в начале зимы пальцы рук давно уже ныли знакомой тупой болью. Я драл иглы, ломал целые ветки на куски, не обдирая коры, и заталкивал добычу в мешок. Но мешок никак не хотел наполняться. Уже целая гора ободранных веток, похожих на обмытые кости, поднялась около костра, а мешок все раздувался и раздувался и принимал новые охапки стланика.

Товарищ сел помогать, дело пошло быстрее.

— Пора домой, — сказал он вдруг. — А то к ужину опоздаем. На норму тут не хватит. — И, взяв из золы костра большой камень, он затолкал его в мешок.

— Там не развязывают, — сказал он, хмурясь. — Теперь будет норма.

Я встал, раскидал горящие сучья в стороны и нагреб ногами снег на рдеющие угли. Костер зашипел, погас,

и сразу стало холодно и ясно, что вечер близок. Товарищ помог мне навалить на спину мешок. Я закачался под его тяжестью.

— Волоком волоки, — сказал товарищ. — Вниз ведь тащить, не вверх.

Мы едва успели получить свой суп. На этой легкой работе вторых блюд не полагалось.



СУХИМ ПАЙКОМ

Когда мы — все четверо — пришли на ключ «Дусканья», мы так радовались, что почти не говорили друг с другом. Мы боялись, что наше путешествие сюда — чья-то ошибка или чья-то шутка, что нас вернут назад в зловещие, залитые холодной водой — растаявшим льдом — каменные забои прииска. Казенные резиновые галоши «чуни» не спасали от холода наших многократно отмороженных ног.

Мы шли по тракторным следам, как по следам какого-то доисторического зверя, но тракторная дорога кончилась, и по старой пешеходной тропинке, чуть заметной, мы дошли до маленького сруба с двумя прорезанными окнами и дверью, висящей на одной петле из куска автомобильной шины, укрепленной гвоздями. У маленькой двери была огромная деревянная ручка, похожая на ручку ресторанных дверей в больших городах. Внутри были голые нары из цельного накатника; на земляном полу валялась черная закопченная консервная банка. Такие же банки, проржавевшие и пожелтевшие, валялись около крытого мохом маленького домика в большом количестве. Это была изба горной разведки; в ней никто не жил уже не один год. Мы должны были тут жить и рубить просеку — с нами были топоры и пилы.

Мы впервые получили свой продуктовый паек на руки. У меня был заветный мешок с крупами, сахаром, рыбой, жирами. Мешочек был перевязан обрывками бичевки в нескольких местах — так, как перевязываются сосиски. Сахарный песок и крупа двух сортов — ячневая и «магар». У Савельева был точно такой же мешочек, а у Ивана Ивановича было целых два мешочка, сшитых крупной мужской сметкой. Наш четвертый — Федя Щапов — легкомысленно насыпал крупу в карманы бушлата, а сахарный песок завязал в портянку.

Вырванный внутренний карман бушлата служил Феде кисетом, куда бережно складывались найденные окурки.

Десятидневные пайки выглядели пугающе — не хотелось думать, что все это должно быть поделено на целых тридцать частей — если у нас будет завтрак, обед и ужин, и на двадцать частей — если мы будем есть два раза в день. Хлеба мы взяли на два дня — его будет нам приносить десятник, ибо даже самая маленькая группа рабочих не может быть мыслима без десятника. Кто он — мы не интересовались вовсе. Нам сказали, что до его прихода мы должны подготовить жилище.

Всем нам надоела барачная еда, где всякий раз мы готовы были плакать при виде внесенных в барак на палках больших цинковых бачков с супом. Мы готовы были плакать от боязни, что суп будет жидким. И когда случалось чудо, и суп был густой, мы не верили и, радуясь, ели его медленно-медленно; но и после густого супа в потеплевшем желудке оставалась сосущая боль — мы голодали давно. Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания. В том незначительном мышечном слое, что еще оставался на наших костях, что еще давал нам возможность есть, двигаться и дышать и даже пилить бревна и насыпать лопатой камень и песок в тачки и даже возить тачки по нескончаемому трапу в золотом забое, по узкой деревянной дороге на промывочный прибор, — в этом мышечном слое размещалась только злота — самое долговечное человеческое чувство.

Савельев и я решили питаться каждый сам по себе. Приготовление пищи — арестантское наслаждение особого рода. Ни с чем не сравнимое удовольствие — приготовить пищу для себя, своими руками и затем есть, пусть сваренную хуже, чем бы это сделали умелые руки повара, — наши кулинарные знания были ничтожны, поварского умения не хватало даже на простой суп или

кашу. И все же мы с Савельевым собирали банки, чистили их, обжигали на огне костра, что-то замачивали, кипятили, учась друг у друга.

Иван Иванович и Федя смешали свои продукты. Федя бережно вывернул карманы и обследовал каждый шов, вычищая крупинки грязным обломанным ногтем.

Мы — все четверо — были отлично подготовлены для путешествия в будущее — хоть в небесное, хоть в земное. Мы знали, что такое научно-обоснованные нормы питания, что такое таблицы замены продуктов, по которым выходило, что ведро воды заменяет по калорийности 100 граммов масла. Мы научились смирению, мы разучились удивляться. У нас не было гордости, себялюбия, самолюбия, а ревность и страсть казались нам марсианскими понятиями и притом пустяками. Гораздо важнее было наловчиться зимой на морозе застегивать штаны — взрослые мужчины плакали, не умея подчас этого сделать. Мы понимали, что смерть нисколько не хуже, чем жизнь, и не боялись ни той, ни другой. Великое равнодушие владело нами. Мы знали, что в нашей воле прекратить эту жизнь хоть завтра же, и иногда решались сделать это, и всякий раз нам мешали какие-нибудь мелочи, из которых состоит жизнь. То сегодня будут выдавать «ларек» — премиальный килограмм хлеба, — просто глупо было кончать самоубийством в такой день. То дневальный из соседнего барака обещал дать закурить вечером — отдать давнишний долг.

Мы поняли, что жизнь, даже самая плохая, состоит из смены радостей и горя, удач и неудач, и не надо ее бояться, что неудач больше, чем удач.

Мы были дисциплинированы, послушны начальникам. Мы понимали, что правда и ложь — родные сестры, что на свете тысячи правд... Мы считали себя почти святыми — думая, что за лагерные годы мы искупили все свои грехи. Мы научились понимать людей, предвидеть их поступки, разгадывать их. Мы поняли — и это было самое главное, — что наше знание людей ничего не дает

нам в жизни полезного. Что толку в том, что я понимаю, разгадываю, предвижу поступки другого человека? Ведь своего-то поведения по отношению к нему я изменить не могу, я не буду доносить на такого же заключенного, как я сам, чем бы он ни занимался. Я не буду и добиваться должности бригадира, дающей возможность остаться в живых, ибо худшее в лагере — это навязывание своей (или чьей-то чужой) воли другому человеку — арестанту, как я. Я не буду искать «полезных» знакомств, давать взятки. И что толку в том, что я знаю, что Иванов — подлец, а Петров — шпион, а Заславский — лжесвидетель?

Невозможность пользоваться известными видами «оружия» делала нас слабыми по сравнению с некоторыми нашими соседями по лагерным нарам. Мы научились довольствоваться малым и радоваться малому.

Мы поняли также удивительную вещь: в глазах государства и его представителей человек физически сильный лучше, именно лучше, нравственнее, ценнее человека слабого — того, что не может выбросить из траншеи двадцать кубометров грунта за смену. Первый моральнее второго. Он выполняет «процент», т. е. исполняет свой главный долг перед государством и обществом, а потому всеми уважается. С ним советуются и считаются, приглашают на совещания и собрания, по своей тематике далекие от вопросов выбрасывания тяжелого скользкого грунта из мокрых и склизких канав.

Благодаря своим физическим преимуществам, он обращается в моральную силу при решении ежедневных многочисленных вопросов лагерной жизни. Притом он — моральная сила до тех пор, пока он — сила физическая.

Афоризм Павла Первого: «В России знатен тот, с кем я говорю — и пока я с ним говорю» нашел свое неожиданное новое выражение в забоях Крайнего Севера.

Иван Иванович в первые месяцы своей жизни на приiske был передовым «работягой». Сейчас он не мог

понять, почему его теперь, когда он ослабел, изголодался, все бьют походя — не больно, но бьют: дневальный, парикмахер, нарядчик, староста, бригадир, конвоир. Кроме должностных лиц, его бьют блатари. Иван Иванович был счастлив, что выбрался на эту лесную командировку.

Федя Шапов, алтайский подросток, стал «доходягой» раньше других потому, что его полудетский организм еще не окреп. Поэтому Федя держался недели на две меньше, чем остальные, скорее ослабел. Он был единственным сыном вдовы, и судили его за незаконный убой скота — единственной овцы, которую заколол Федя. Убои эти были запрещены законом. Федя получил десять лет. Приисковая торопливая, вовсе не похожая на деревенскую работа была ему тяжела. Федя восхищался привольной жизнью блатарей на прииске, но было в его натуре такое, что мешало ему сблизиться с ворами. Это здоровое крестьянское начало, природная любовь, а не отвращение к труду помогало ему немножко. Он, самый молодой среди нас, «прилепился» сразу к самому пожилому, к самому положительному — Ивану Ивановичу.

Савельев был студент Московского института связи, мой земляк по Бутырской тюрьме. Из камеры он, потрясенный всем виденным, написал письмо «вождю» партии, как верный комсомолец, уверенный, что до «вождя» не доходят такие сведения. Его собственное дело было настолько пустячным (переписка с собственной невестой), где свидетельством агитации (пункт 10 пятьдесят восьмой статьи) были письма жениха и невесты друг другу: его «организация» (пункт 11 той же статьи) состояла из двух лиц. Все это самым серьезным образом записывалось в бланки допросов. Все же все думали, что, кроме ссылки, даже по тогдашним масштабам Савельев ничего не получит.

Вскоре после отсылки письма в один из «заявительных» тюремных дней Савельева вызвали в коридор и дали ему расписаться в извещении. Верховный про-

курор сообщал, что лично будет заниматься рассмотрением его дела. После этого Савельева вызвали только один раз — вручить ему приговор «особого совещания»: десять лет лагерей.

В лагере Савельев «доплыл» очень быстро. Ему и до сих пор непонятна была эта зловещая расправа. Мы с ним не то что дружили, а просто любили вспоминать Москву — ее улицы, памятники, Москва-реку, подернутую тонким слоем нефти, отливающим перламутром. Ни ленинградцы, ни киевляне, ни одесситы не имеют таких поклонников, ценителей, любителей. Мы готовы были говорить о Москве без конца . . .

Мы поставили принесенную нами железную печку в избу и, хотя было лето, затопили ее. Теплый сухой воздух был необычайно чудесного аромата. Каждый из нас привык дышать кислым запахом ношеного платья, пота — еще хорошо, что слезы не имеют запаха.

По совету Ивана Ивановича мы сняли белье и закопали его на ночь в землю, каждую рубашку и кальсоны порознь, оставив маленький кончик наружу. Это было народное средство против вшей, а на прииске в борьбе с ними мы были бессильны. Действительно, на утро вши собрались на кончиках рубах. Земля, покрытая вечной мерзлотой, все же оттаивала здесь летом настолько, что можно было закопать белье. Конечно, это была земля здешняя, в которой было больше камня, чем земли. Но и на этой каменной, оледенелой почве вырастали здесь густые леса огромных лиственниц со стволами в три обхвата — такова была сила жизни деревьев, великий назидательный пример, который показывала нам природа.

Вшей мы сожгли, поднося рубашку к горячей головне из костра. Увы, этот остроумный способ не уничтожил гнид, и в тот же день мы долго и яростно варили белье в больших консервных банках — на этот раз дезинфекция была надежной.

Чудесные свойства земли мы узнали позднее, когда ловили мышей, воронов, чаек, белок. Мясо любых жи-

вотных теряет свой специфический запах, если его предварительно закапывать в землю.

Мы позаботились о том, чтобы поддерживать неугасимый огонь — ведь у нас было только несколько спичек, хранившихся у Ивана Ивановича. Он замотал драгоценные спички в кусочек брезента и в тряпки самым тщательным образом.

Каждый вечер мы складывали вместе две головни, и они тлели до утра, не потухая и не сгорая. Если б головней было три — они сгорели бы. Этот закон я и Савельев знали со школьной скамьи, а Иван Иванович и Федя знали с детства из дома. Утром мы раздували головни, вспыхивал желтый огонь, и на разгоревшийся костер мы наваливали бревно потолка . . .

Я разделил крупу на десять частей, но это оказалось слишком страшно. Операция по насыщению пятью хлебами пяти тысяч человек была, вероятно, легче и проще, чем арестанту разделить на тридцать порций свой десятидневный паек. Пайки, карточки были всегда декадные. На «материке» давно уже играли отбой по части всяких «пятидневок», «декадок», «непрерывок», но здесь десятичная система держалась гораздо тверже. Никто здесь не считал воскресных праздников — и стыда для заключенных «в счет выходных».

Я смешал крупу снова, не выдержав этой новой муки. Я попросил Ивана Ивановича и Федю принять меня в компанию и сдал свои продукты в общий котел. Савельев последовал моему примеру.

Сообща мы — все четверо — приняли мудрое решение — варить два раза в день: на три раза продуктов решительно не хватало.

— Мы будем собирать ягоды и грибы, — сказал Иван Иванович. — Ловить мышей и птиц. И день-два в декаде жить на одном хлебе.

— Но если мы будем голодать день-два перед получением продуктов, — сказал Савельев, — как удержаться, чтоб не съесть лишнее? Когда привезут приварок?

Решили есть два раза в день во что бы то ни стало и, в крайнем случае, — разводить пожиже. Ведь тут у нас никто не украдет, мы получили всё полностью по норме — тут у нас нет пьяниц-поваров, вороватых кладовщиков, нет жадных надзирателей, воров, вырывающих лучшие продукты, — всего бесконечного начальства, объедающего, обирающего заключенных без всякого контроля, без всякого страха, без всякой совести.

Мы получили полностью свои «жиры» в виде комочка «гидрожира», сахарный песок — меньше, чем я намывал лотком золотого песка, хлеб липкий, вязкий, над выпечкой которого трудились великие неподражаемые мастера «привеса», кормившие начальство пекарен. Крупа двадцати наименований, вовсе не известных нам в течение всей нашей жизни: «магар», «пшеничная сечка» — все это было чересчур загадочно. И страшно.

Рыба, заменившая по таинственным «таблицам замены» мясо, — ржавая селедка, обещавшая возместить усиленный расход наших белков.

Увы, даже полученные полностью «кормы» не могли питать, насыщать нас. Нам было надо втрое, вчетверо больше — организм каждого голодал давно. Мы не понимали тогда этой простой вещи. Мы верили «нормам», и известное поварское наблюдение, что легче варить на двадцать человек, чем на четверых, не было нам известно. Мы понимали только одно совершенно ясно: что продуктов нам не хватит. Это нас не столько пугало, сколько удивляло. Надо было начинать работать, надо было пробивать бурелом просекой.

Деревья на севере умирают лежа — как люди. Огромные обнаженные корни их похожи на когти исполинской хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей вниз, к вечной мерзлоте, тянулись тысячи мелких щупальцев, беловатых «отростков», покрытых коричневой теплой корой. Каждое лето мерзлота чуть-чуть отступала, и в каждый вершок оттаявшей земли немедленно вонзался и укреплялся там тончайшими волосками щупалец-корень. Лиственницы

достигали зрелости в триста лет, медленно поднимая свое тяжелое, мощное тело на своих слабых, расплывчатых вдоль по каменистой земле корнях. Сильная буря легко валила слабые на ногах деревья. Лиственницы падали навзничь, головами в одну сторону и умирали, лежа на мягком толстом слое мха — ярко-зеленом или багровом.

Только крученые, верченые, низкорослые деревья, измученные поворотами за солнцем, за теплом, держались крепко в одиночку, далеко друг от друга. Они так долго вели напряженную борьбу за жизнь, что их истерзанная, измятая древесина никуда не годилась. Короткий суковатый ствол, обвитый страшными наростами, как лубками каких-то переломов, не годился для строительства — даже на севере, не требовательном к материалу. Эти крученые деревья и на дрова не годились — своим сопротивлением топору они могли измучить любого рабочего. Так они мстили всем за свою изломанную севером жизнь.

Нашей задачей была просека, и мы смело приступили к работе. Мы пилили от солнца до солнца, валили, раскряжевывали и сносили в штабеля. Мы забыли обо всем, мы хотели здесь остаться подольше, мы боялись золотых забоев. Но штабеля росли слишком медленно, и к концу второго напряженного дня выяснилось, что сделали мы мало, больше сделать не в силах. Иван Иванович сделал мертвую мерку, отмерив пять своих четвертей на срубленной молодой десятилетней лиственнице.

Вечером пришел десятник, смерил нашу работу своим посошком с зарубками и покачал головой. Мы сделали десять процентов нормы!

Иван Иванович что-то доказывал, замерял, но десятник был непреклонен. Он бормотал про какие-то «фесметры», про дрова «в плотном теле» — все это было выше нашего понимания. Ясно было одно: мы будем возвращены в лагерную зону, опять войдем в ворота с казенной надписью: «Труд есть дело чести,

дело славы, дело доблести и геройства». Говорят, что на воротах немецких лагерей выписывалась цитата из Ницше: «Каждому свое». Подражая Гитлеру, Берия превзошел его в циничности.

Лагерь был местом, где учили ненавидеть физический труд, ненавидеть труд вообще. Самой привилегированной группой лагерного населения были блатари — не для них ли труд был геройством и доблестью?

Но мы не боялись. Более того, признание десятником безнадежности нашей работы, никчемности наших физических качеств принесло нам небывалое облегчение, вовсе не огорчая, не пугая нас.

Мы плыли по течению, и мы «доплывали», как говорят на лагерном языке. Нас ничто уже не волновало, нам жить было легко во власти чужой воли. Мы не заботились даже о том, чтобы сохранить жизнь, и если и спали, тоже подчиняясь приказу, распорядку лагерного дня. Душевное спокойствие, достигнутое притупленностью наших чувств, напоминало о высшей свободе казармы, о которой мечтал Лоуренс, или о толстовском непротивлении злу — чужая воля всегда была на страже нашего душевного спокойствия.

Мы давно стали фаталистами, мы не рассчитывали нашу жизнь далее, как на день вперед. Логичным было бы съесть все продукты сразу и уйти обратно, отсидеть положенный срок в карцере и выйти на работу в забой, но мы этого не сделали. Всякое вмешательство в судьбу, в волю богов было неприличным, противоречило кодексу лагерного поведения.

Десятник ушел, а мы остались рубить просеку, ставить новые штабеля, но уже с большим спокойствием, с большим безразличием. Теперь мы уже не ссорились, кому становиться «под комель» бревна, а кому под вершину, при переноске их в штабеля — «трелёвке», как это называется по-лесному.

Мы больше отдыхали, больше обращали внимание на солнце, на лес, на бледносинее высокое небо. Мы «филонили».

Утром мы с Савельевым кое-как свалили огромную черную лиственницу, чудом выстоявшую бурю и пожар. Мы бросили пилу прямо на траву — пила зазвела о камни — и сели на ствол поваленного дерева.

— Вот, — сказал Савельев. — Помечтаем. Мы выживем, уедем на материк, быстро состаримся и будем больными стариками: то сердце будет колоть, то ревматические боли не дадут покоя, то грудь заболит — всё, что мы сейчас делаем, как мы живем в молодые годы — бессонные ночи, голод, тяжелая многочасовая работа, — это не пройдет бесследно для нас, если даже мы и останемся живы. Мы будем болеть, не зная причин болезни, стонать и ходить по амбулаториям. Непосильная работа нанесла нам непоправимые раны, и вся наша жизнь в старости будет жизнью боли — бесконечной и разнообразной физической и душевной боли. Но среди этих страшных будущих дней будут и такие дни, когда нам будет дышаться легче, когда мы будем почти здоровы, и страдания наши не станут тревожить нас. Таких дней будет немного. Их будет столько, сколько дней каждый из нас сумел «профильтровать» в лагере.

— А «честный труд»? — сказал я.

— К честному труду в лагере призывают подлецы и те, которые нас бьют, калечат, съедают нашу пищу и заставляют работать живые скелеты — до самой смерти. Это выгодно им — этот «честный» труд, хотя они верят в его возможность еще меньше, чем мы.

Вечером мы сидели вокруг нашей милой печки, и Федя Щапов внимательно слушал хриплый голос Савельева.

— Ну, отказался от работы. Составили акт — одет по сезону...

— А что это значит — одет по сезону? — спросил Федя.

— Ну, чтобы не перечислять все зимние или летние вещи, что на тебе надеты. Нельзя ведь писать в зимнем акте, что послали на работу без бушлата или без ру-

кавиц. Сколько раз ты оставался дома, когда рукавиц не было?

— У нас не оставляли, — робко сказал Федя. — Начальник дорогу топтать заставлял. А то бы это называлось: остался «по раздетости».

— Вот-вот.

— Ну, расскажи о метро.

И Савельев рассказывал Феде о московском метро. Нам с Иваном Ивановичем было тоже интересно слушать рассказы Савельева. Он знал такие вещи, о которых я, москвич, и не догадывался.

— У магометан, Федя, — говорил Савельев, радуясь, что мозг его еще подвижен, — на молитву скликает муэдзин с минарета. Магомет выбрал голос призывом-сигналом к молитве. Все перепробовал Магомет — трубу, игру на тамбурине, сигнальный огонь — все отверг Магомет... Через полторы тысячи лет на испытании сигнала к поездам метро выяснилось, что ни свисток, ни гудок, ни сирена не улавливаются человеческим ухом, ухом машиниста метро, с той точностью, как улавливается живой голос дежурного отправителя, кричащего: «Готово!».

Федя восторженно ахал. Он был более всех нас приспособлен для лесной жизни, более опытен, несмотря на свою юность, чем любой из нас. Федя мог плотничать, мог срубить немудрящую избушку в тайге, знал, как завалить дерево и укрепить ветвями место ночевки. Федя был охотник — в его краях к оружию привыкали с детских лет. Холод и голод свели все федины достоинства на нет, земля пренебрегала его знаниями, его умением. Федя не завидовал горожанам, он просто преклонялся перед ними, и рассказы о достижениях техники, о городских чудесах он готов был слушать без конца, несмотря на голод.

Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Те «трудные» условия жизни, которые, как говорят нам сказки художественной литературы, являются обязательным условием возникновения дружбы, просто не-

достаточно трудны. Если беда и нужда сплотили, родили дружбу людей — значит, это нужда — не крайняя и беда — не большая. Горе недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями. В настоящей нужде познается только своя собственная душевная и телесная крепость, определяются пределы своих «возможностей», физической выносливости и моральной силы.

Мы все понимали, что выжить можно только случайно. И странное дело — когда-то в молодости у меня была поговорка при всех неудачах и провалах: «ну, с голоду не умрем». Я был уверен, всем телом уверен в этой фразе. И я в тридцать лет оказался в положении человека, умирающего с голоду по-настоящему, дерущегося из-за куска хлеба буквально, — и все это задолго до войны.

Когда мы вчетвером собрались на ключе «Дусканья» — мы знали все, что не для дружбы собрались мы сюда; мы знали, что, выжив, мы неохотно будем встречаться друг с другом. Нам будет неприятно вспоминать сводящий с ума голод, выпаривание вшей в обеденных наших котелках, безудержное вранье у костра, враньемечтанье, гастрономические басни, ссоры друг с другом и одинаковые наши сны, ибо все мы видели во сне одно и то же — пролетающие мимо нас, как болиды или ангелы, — буханки ржаного хлеба.

Человек живет своим умением забывать. Память всегда готова забыть плохое и помнить только хорошее. Хорошего не было на ключе «Дусканья», не было его ни впереди, ни позади путей каждого из нас. Мы были отравлены севером навсегда, и мы это понимали. Трое из нас перестали сопротивляться судьбе, и только Иван Иванович работал с тем же трагическим старанием, как и раньше.

Савельев пробовал урезонить Ивана Ивановича во время одного из «перекуров». «Перекур» — это самый обыкновенный отдых для некурящих, ибо махорки у нас не один год не было, а перекуры были. В тайге лю-

бители курения собирали и сушили листы черной смородины, и были целые дискуссии, по-арестантски страстные, на тему — брусничный или смородинный лист «вкуснее». Ни тот, ни другой никуда не годились, по мнению знатоков, ибо организм требовал никотинного яда, а не дыма, и обмануть клетки мозга таким простым способом было нельзя. Но для «перекуров-отдыхов» смородинный лист годился, ибо в лагере слово «отдых» во время работы слишком идет вразрез с теми основными правилами производственной морали, которые воспитываются на Дальнем Севере. Отдыхать через каждый час — это вызов, это и преступление, но ежечасный «перекур» в порядке вещей. Так и здесь, как и во всем на севере, явления не совпадали с правилами. Сушеный смородинный лист был естественным камуфляжем.

— Послушай, Иван, — сказал Савельев. — Я расскажу тебе одну историю. В Бамлаге, на «вторых путях» мы возили песок на тачках. Откатка дальняя, норма двадцать пять кубов. Меньше нормы сделаешь — штрафной паек: триста граммов. И баланда раз в день. А тот, кто делает норму, получает килограмм хлеба, кроме приварка, да еще в магазине имеет право за наличные купить килограмм хлеба. Работали попарно. А нормы немислимые. Так мы словчили вот как: сегодня катаем на тебя вдвоем из твоего забоя. Выкатываем норму. Получаем два килограмма хлеба, да триста граммов штрафных моих — каждому достается кило сто пятьдесят. Завтра работаем на меня. Потом снова на тебя. Целый месяц так катали. Чем не жизнь? Главное — десятник был душа, он, конечно, знал. Ему было даже выгодно — люди не слабели, выработка не уменьшалась. Потом кто-то из начальства разоблачил эту штуку, и кончилось наше счастье.

— Что же, хочешь здесь попробовать? — сказал Иван Иванович.

— Я не хочу, а просто мы тебе поможем.

— А вы?

— Нам, милый, все равно.

— Ну, и мне все равно. Пусть приходит сотский.

Сотский, т. е. десятник, пришел через несколько дней. Худшие опасения наши сбывались.

— Ну, отдохнули, пора и честь знать. Дать место другим. Работа ваша вроде оздоровительного пункта или оздоровительной команды, как ОП и ОК, — важно пошутил десятник.

— Да, — сказал Савельев:

«Сначала ОП, потом ОК.

На ногу — бирку!

И — пока!»

Посмеялись для приличия.

— Когда обратно-то?

— Да завтра и пойдем.

Иван Иванович больше ничего не спрашивал. Он повесился ночью в десяти шагах от избы в развилке дерева, без всякой веревки — таких самоубийств мне еще не приходилось видеть. Нашел его Савельев, увидел с тропы и закричал. Подбежавший десятник не велел снимать тела до прихода «оперативки» и заторопил нас.

Федя Шапов и я собирались в великом смущении — у Ивана Ивановича были хорошие, еще целые, портянки, мешочки, полотенце, запасная бязевая нижняя рубашка, из которой Иван Иванович уже выварил вшей, чиненые ватные бурки, на нарах лежала его телогрейка. После краткого совещания мы взяли все эти вещи себе. Савельев не участвовал в дележе одежд мертвеца — он все ходил около тела Ивана Ивановича. Мертвое тело всегда и везде «на воле» вызывает какой-то смутный интерес, притягивает, как магнит. Этого не бывает в лагере: обыденность смертей, притупленность чувств снимают интерес к мертвому телу. Но у Савельева смерть Ивана Ивановича затронула, осветила, потревожила какие-то темные уголки души, толкнула его на какие-то решения.

Он вошел в избушку, взял из угла топор и пере-

шагнул порог. Десятник, сидевший на завалинке, вскочил и заорал непонятное что-то. Мы с Федей выскочили на двор.

Савельев подошел к толстому короткому бревну лиственницы, на котором мы всегда пилили дрова — бревно было изрезано, кора сколота. Он положил левую руку на бревно, растопырил пальцы и взмахнул топором.

Десятник закричал визгливо и пронзительно. Федя бросился к Савельеву — четыре пальца отлетели в опилки. Их не сразу даже было видно среди веток и мелкой щепы. Алая кровь била из пальцев. Федя и я разорвали рубашку Ивана Ивановича, затянули жгут на руке Савельева, завязали рану.

Десятник увел всех нас в лагерь. Савельева — в амбулаторию для перевязки, в следственный отдел — для начала дела о членовредительстве. Федя и я вернулись в ту самую палатку, откуда две недели назад мы выходили с такими надеждами и ожиданием счастья.

Места наши на верхних нарах были уже заняты другими, но мы не заботились об этом — сейчас лето, и на нижних нарах было, пожалуй, даже лучше, чем на верхних, а пока придет зима, будет много, много перемен.

Я заснул быстро, а среди ночи проснулся и подошел к столу дежурного дневального. Там примостился Федя с листком бумаги в руке. Через его плечо я прочел написанное:

«Мама, — писал Федя, — мама, я живу хорошо. Мама, я одет по сезону...»



ИНЖЕКТОР

Начальнику прииска тов. А. С. Королеву

начальника участка «Золотой ключ»

Кудинова Л. В.

РАПОРТ

Согласно Вашему распоряжению о представлении объяснений по поводу шестичасового простоя 4-й бригады з/к з/к, имевшего место 12 ноября сего года на участке «Золотой ключ» вверенного Вам прииска, доношу:

Температура воздуха утром была свыше 50 градусов. Наш градусник сломан дежурным надзирателем, о чем я докладывал Вам. Однако, определить температуру было можно, потому что плевок замерзал на лету.

Бригада была выведена своевременно, но к работе приступить не могла из-за того, что у бойлера, которым обслуживается наш участок и разогревается мерзлый грунт, вовсе отказался работать инжектор. О плохой работе инжектора я неоднократно ставил в известность главного инженера, но мер никаких не принимается, и инжектор вовсе разболтался. Заменять его в данное время главный инженер не хочет.

Плохая работа инжектора вызвала неподготовленность грунта, и бригаду пришлось держать несколько часов без работы. Греться у нас негде, а костров раскладывать не разрешают. Отправить же бригаду обратно в барак не разрешает конвой.

Я уже всюду, куда только можно, писал, что с таким инжектором я работать больше не могу. Он уже пять дней работал безобразно, а ведь от него зависит выполнение плана всего участка. Мы не можем с ним справиться, а главный инженер не обращает внимания, а только требует кубики.

К сему начальник участка «Золотой ключ» горный инженер
Л. Кудинов.

Наискось рапорта четким почерком выписано:

1. За отказ от работы в течение пяти дней, вызвавший срыв производства и простои на участке, з/к Инжектора арестовать на трое суток без выхода на работу, водворив его в роту усиленного режима. Дело передать в следственные органы для привлечения з/к Инжектора к законной ответственности.

2. Главному инженеру Гореву ставлю на вид отсутствие дисциплины на производстве. Предлагаю заменить з/к Инжектора вольнонаемным.

Начальник прииска Александр Королев.

—————oO—————

АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Когда я вывихнул ступню, сорвавшись в шурфе со скользкой лестницы из жердей, начальству стало ясным, что я прохромаю долго, и так как без дела сидеть было нельзя, меня перевели помощником к нашему столяру Адаму Фризоргеру, чему мы оба — и Фризоргер и я — были очень рады.

В своей «первой жизни» Фризоргер был пастором в каком-то немецком селе близ Маркштадта на Волге. Мы встретились с ним на одной из больших пересылок во время тифозного карантина и вместе приехали сюда, в угольную разведку. Фризоргер, как и я, уже побывал в тайге, побывал и в «доходягах» и полусумасшедшим попал с прииска на пересылку. Нас отправляли в угольную разведку как инвалидов, как «обслужу» — рабочие кадры разведки были комплектованы только вольнонаемными. Правда, это были вчерашние заключенные, только что отбывшие свой срок и называвшиеся в лагере презрительным словом «вольняшки». Во время нашего переезда у сорока человек этих вольнонаемных едва нашлось два рубля, когда понадобилось купить махорку, но все же это был уже не наш брат. Все понимали, что пройдет два-три месяца и они приоденутся, могут выпить, паспорт получат, может быть, даже через год уедут домой. Тем ярче были эти надежды, что Парамонов, начальник разведки, обещал им огромные заработки и полярные пайки. «В цилиндрах домой поедете», — постоянно твердил им начальник. С нами же, арестантами, разговоров о цилиндрах и полярных пайках не заводилось.

Впрочем, начальник и не грубил нам. Заключенных ему в разведку не давали и пять человек в службу — это было все, что Парамонову удалось выпросить.

Когда нас, еще не знавших друг друга, вызвали из бараков по списку и доставили перед светлые и про-

ницательные очи Парамонова, он остался весьма доволен опросом. Один из нас был печник, седоусый остряк ярославец Изгибин, не потерявший природной бойкости и в лагере. Мастерство ему давало кое-какую помощь, и он не был так истощен, как остальные. Вторым был одноглазый гигант из Каменец-Подольска — «паровозный кочегар», как он отрекомендовался Парамонову.

«Слесарить, значит, можешь маленько», — сказал Парамонов. «Могу, могу», — охотно подтвердил «кочегар». Он быстро сообразил всю выгодность работы в вольнонаемной разведке.

Третьим был агроном Рязанов. Такая профессия привела в восторг Парамонова. На рваное тряпье, в которое был одет агроном, не было обращено, конечно, никакого внимания. В лагере не встречают людей по одежде, а Парамонов достаточно знал лагерь.

Четвертым был я. Я не был ни печником, ни слесарем, ни агрономом. Но мой высокий рост, по-видимому, успокоил Парамонова, да и не стоило возиться с исправлением списка из-за одного человека. Он кивнул головой.

Но наш пятый повел себя очень странно. Он бормотал слова молитвы и закрывал руками лицо, не слыша голоса Парамонова. Но и это начальнику не было внове. Парамонов повернулся к нарядчику, стоявшему тут же и державшему в руках желтую стопку скорошивателей — так называемых «личных дел».

— Это столяр, — сказал нарядчик, угадывая вопрос Парамонова. Прием был закончен, и нас увели в разведку.

Фризоргер после рассказывал мне, что когда его вызвали, он думал, что его вызывают на расстрел, так его запугал следователь еще на прииске. Мы жили с ним целый год в одном бараке, и не было случая, чтобы мы поругались друг с другом. Это — редкость среди арестантов и в лагере и в тюрьме. Ссоры возникают по пустякам, мгновенно ругань достигает такого градуса,

что кажется — следующей ступенью может быть только нож или, в лучшем случае, какая-нибудь кочерга. Но я быстро научился не придавать большого значения этой пышной ругани. Жар быстро спадал, и если оба продолжали еще долго лениво отругиваться, то это делалось больше для «порядка», для сохранения «лица».

Но с Фризоргером я не ссорился ни разу. Я думаю, что в этом была заслуга Фризоргера, ибо не было человека мирнее его. Он никого не оскорблял, говорил мало. Голос у него был старческий, дребезжащий, но какой-то искусственно, подчеркнуто дребезжащий. Таким голосом говорят в театре молодые актеры, играющие стариков. В лагере многие стараются (и не безуспешно) показать себя старше и физически слабее, чем на самом деле. Все это делается не всегда с сознательным расчетом, а как-то инстинктивно. Ирония жизни здесь в том, что большая половина людей, прибавляющих себе лета и убавляющих силы, уже дошли до состояния еще более тяжелого, чем они хотят показать. Но ничего притворного не было в голосе Фризоргера.

Каждое утро и вечер Фризоргер неслышно молился, отвернувшись от всех в сторону и глядя в пол, а если и принимал участие в общих разговорах, то только на религиозные темы, то есть очень редко, ибо арестанты не любят религиозных тем. Старый похабник, милейший Изгибин пробовал было подсмеиваться над Фризоргером, но остроты его были встречены такой мирной улыбочкой, что изгибинский заряд шел в холостую. Фризоргера любила вся разведка и даже сам Парамонов, которому Фризоргер сделал замечательный письменный стол, проработав над ним, кажется, полгода.

Наши койки стояли рядом, мы часто разговаривали, и иногда Фризоргер удивлялся, по-детски взмахивая небольшими ручками, встретив у меня знание каких-либо популярных евангельских историй — материал,

который он по простоте душевной считал достоянием только узкого круга религиозников. Он хихикал и очень был доволен, когда я обнаруживал подобные познания. И воодушевившись, принимался рассказывать мне то евангельское, что я помнил нетвердо или чего я не знал вовсе. Очень ему нравились эти беседы.

Но однажды, перечисляя имена двенадцати апостолов, Фризоргер ошибся. Он назвал апостола Павла действительным создателем христианской религии, ее основным теоретическим вождем. Я знал немного биографию этого апостола и не упустил случая поправить Фризоргера.

— Нет, нет, — сказал Фризоргер, смеясь, — Вы не знаете, вот, — и он стал загибать пальцы, — Питер, Пауль, Маркус...

Я рассказал ему все, что знал об апостоле Павле. Он слушал меня внимательно и молчал. Было уже поздно, пора было спать. Ночью я проснулся и в мерцающем, дымном свете коптилки увидел, что глаза Фризоргера открыты, и услышал шепот: «Господи, помоги мне! Питер, Пауль, Маркус...» Он не спал до утра. Утром он ушел на работу рано, а вечером пришел поздно, когда я уже заснул. Меня разбудил тихий старческий плач. Фризоргер стоял на коленях и молился.

— Что с вами? — спросил я, дождавшись конца молитвы.

Фризоргер нашел мою руку и пожал ее.

— Вы правы, — сказал он. — Пауль не был в числе двенадцати апостолов. Я забыл про Варфоломея. — Я молчал.

— Вы удивляетесь моим слезам? — сказал он. — Это слезы стыда. Я не мог, не должен был забывать такие вещи. Это грех, большой грех. Мне, Адаму Фризоргеру, указывает на мою непростительную ошибку чужой человек. Нет, нет, вы ни в чем не виноваты — это я сам, это мой грех. Но это хорошо, что вы поправили меня. Все будет хорошо.

Я едва успокоил его и с той поры (это было неза-

долго до вывиха ступни) мы стали еще большими друзьями.

Однажды, когда в столярной мастерской никого не было, Фризоргер достал из кармана засаленный матерчатый бумажник и поманил меня к окну.

— Вот, — сказал он, протягивая мне крошечную обломанную фотографию-«моменталку». Это была фотография молодой женщины, с каким-то случайным, как во всех снимках «моменталок», выражением лица. Пожелтевшая, потрескавшаяся фотография была бережно обклеена цветной бумажкой.

— Это моя дочь, — сказал Фризоргер, торжественно. — Единственная дочь. Жена моя давно умерла. Дочь не пишет мне, правда, адреса не знает, наверно. Я писал ей много и теперь пишу. Только ей. Я никому не показываю этой фотографии. Это из дома везу. Шесть лет назад я ее взял с комода.

В двери мастерской бесшумно вошел Парамонов.

— Дочь, что ли? — сказал он, быстро оглядев фотографию.

— Дочь, гражданин начальник, — сказал Фризоргер, улыбаясь.

— Пишет?

— Нет.

— Чего ж она старика забыла? Напиши мне заявление о розыске, я отошлю. Как твоя нога?

— Хромаю, гражданин начальник, — ответил я.

— Ну, хромай, хромай, — Парамонов вышел.

С этого времени, уже не таясь от меня, Фризоргер, окончив вечернюю молитву и улегшись на койку, доставал фотографию дочери и поглаживал цветной ободочек.

Так мы мирно жили около полугода, когда однажды привезли почту. Парамонов был в отъезде, и почту принимал его секретарь из заключенных Рязанов, который оказался вовсе не агрономом, а каким-то эсперантистом, что, впрочем, не мешало ему ловко снимать шкуры с павших лошадей, гнуть толстые железные

трубы, наполняя их песком и раскаляя на костре, и вести всю канцелярию начальника.

— Смотри-ка, — сказал он мне, — какое заявление на имя Фризоргера прислали.

В пакете было казенное «отношение» с просьбой познакомиться заключенного Фризоргера (статья, срок) с заявлением его дочери, копия которого прилагалась. В заявлении она коротко и ясно писала, что убедившись в том, что отец является врагом народа, она отказывается от него и просит считать родство не бывшим.

Рязанов повертел в руках бумажку. «Экая пакость, — сказал он. — Для чего ей это нужно? В партию что ли вступает?»

Я думал о другом: для чего пересылать отцу-арестанту такие заявления? Есть ли это вид своеобразного садизма, вроде практиковавшихся извещений родственникам о мнимой смерти заключенного или просто желание выполнить все «по закону»? Или еще что?

— Слушай, Ванюшка, — сказал я Рязанову. — Ты регистрировал почту?

— Где же, только сейчас пришла.

— Отдай-ка мне этот пакет, — и я рассказал Рязанову, в чем дело.

— А письмо? — сказал он неуверенно. — Она ведь напишет, наверно, и ему.

— Письмо ты тоже удержишь.

— Ну, бери.

Я скомкал пакет и бросил его в открытую дверцу топящейся печки.

Через месяц пришло и письмо, такое же короткое, как и заявление, и мы его сожгли в той же самой печке.

Вскоре меня куда-то увезли, а Фризоргер остался и как он жил дальше, я не знаю. Я часто вспоминал его, пока были силы вспоминать. Слышал его дрожащий взволнованный шепот: «Питер, Пауль, Маркус...»

ЯГОДЫ

Фадеев сказал: «Подожди-ка, я с ним сам поговорю», подошел ко мне и поставил приклад винтовки около моей головы. Я лежал в снегу, обняв бревно, которое я уронил с плеча и не мог поднять и занять свое место в цепочке людей, спускающихся с горы, — у каждого на плече было бревно, «палка дров», у кого побольше, у кого поменьше: все торопились домой — и конвоиры, и заключенные — всем хотелось есть, спать, очень надоел бесконечный зимний день. А я — лежал в снегу.

Фадеев всегда говорил с заключенными на «вы».

— Слушайте, старик, — сказал он, — быть не может, чтобы такой лоб, как вы, не мог нести такого полена, палочки, можно сказать. Вы — явный симулянт. Вы — фашист. В час, когда наша родина сражается с врагом, вы суете ей палки в колеса.

— Я не фашист, — сказал я, — я больной и голодный человек. Это ты — фашист. Ты читаешь в газетах, как фашисты убивают стариков. Подумай о том, как ты будешь рассказывать своей невесте, что ты делал на Колыме.

Мне было все равно. Я не выносил розовощеких, здоровых, сытых, хорошо одетых, я не боялся. Я согнулся, защищая живот, но и это было прародительским, инстинктивным движением — я вовсе не боялся ударов в живот. Фадеев ударил меня сапогом в спину. Мне стало внезапно тепло, а совсем не больно. Если я умру — тем лучше.

— Послушайте, — сказал Фадеев, когда повернул меня лицом к небу носками своих сапог. — Не с первым с вами я работаю и повидал вашего брата.

Подошел другой конвоир — Серошапка.

— Ну-ка, покажись, я тебя запомню. Да какой ты злой...

Началось избиение. А когда кончилось:

— Понял?! — сказал Серошапка.

— Понял, — сказал я, поднимаясь и сплевывая соленую кровавую слюну. Я поволок бревно волоком под улюлюканье, крик, ругань товарищей — они замерзли, пока меня били.

На следующее утро Серошапка вывел нас на работу — в вырубленный еще прошлой зимой лес собирать все, что можно сжечь зимой в железных печах. Лес валили зимой — пеньки были высокие. Мы вырывали их из земли вагами-рычагами, пилили и складывали в штабеля.

На редких уцелевших деревьях вокруг места нашей работы Серошапка «развесил вешки», связанные из желтой и серой сухой травы, очертив этими вешками «запретную зону».

Наш бригадир развел на пригорке костер для Серошапки — костер на работе полагался только конвою; натаскал дров в запас.

Выпавший снег давно разнесло ветрами. Стылая заиндевшая трава скользила в руках и меняла цвет от прикосновения человеческой руки. На кочках леденел невысокий горный шиповник, темнолиловые примороженные ягоды были аромата необычайного. Еще вкуснее шиповника была брусника, тронутая морозом, перезревшая, сизая... На коротеньких прямых веточках висели ягоды голубицы — яркого синего цвета, сморщенные, как пустой кожаный кошелек, но хранившие в себе темный иссиня-черный сок неизреченного вкуса.

Ягоды в эту пору, тронутые морозом, вовсе непохожи на ягоды зрелости, ягоды сочной поры. Вкус их гораздо тоньше.

Рыбаков, мой товарищ, набирал ягоды в консервную банку в наш «перекур» и даже в те минуты, когда Серошапка смотрел в другую сторону. Если Рыбаков наберет полную банку, ему повар отряда охраны даст хлеба. Предприятие Рыбакова сразу становилось важным делом.

У меня не было таких заказчиков, и я ел ягоды сам, бережно и жадно прижимая языком к нёбу каждую

ягоду — сладкий душистый сок раздавленной ягоды дурманил меня на секунду.

Я не думал о помощи Рыбакову в сборе, да и он не захотел бы такой помощи — хлебом пришлось бы делиться.

Баночка Рыбакова наполнялась слишком медленно, ягоды становились все реже и реже, и незаметно для себя, работая и собирая ягоды, мы придвинулись к границам «зоны» — вешки повисли над нашей головой.

— Смотри-ка, — сказал я Рыбакову, — вернемся.

А впереди были кочки с ягодами шиповника, и голубики, и брусники... Мы видели эти кочки давно. Дереву, на котором висела ветка, надо было стоять на два метра подальше.

Рыбаков показал на банку, еще не полную, и на спускающееся к горизонту солнце и медленно стал подходить к очарованным ягодам.

Сухо щелкнул выстрел, и Рыбаков упал между кочек лицом вниз. Серошапка, размахивая винтовкой, кричал:

— Оставьте на месте, не подходите!

Серошапка отвел затвор и выстрелил еще раз. Мы знали, что значит этот второй выстрел. Знал это и Серошапка. Выстрелов должно быть два — первый бывает предупредительным.

Рыбаков лежал между кочками неожиданно маленький. Небо, горы, река были огромны, а Бог вещь — сколько людей можно уложить в этих горах на тропках между кочками.

Баночка Рыбакова откатилась далеко, я успел подобрать ее и спрятать в карман. Может быть, мне дадут хлеба за эти ягоды — я ведь знаю, для кого их собирал Рыбаков.

Серошапка спокойно построил наш небольшой отряд, пересчитал, скомандовал и повел нас домой.

Концом винтовки он задел мое плечо, и я повернулся.

— Тебя хотел, — сказал Серошапка, — да ведь не сунулся, сволочь!..

—————oOo—————

СУКА ТАМАРА

Суку Тамару привел из тайги наш кузнец — Моисей Моисеевич Кузнецов. Судя по фамилии, профессия у него была родовой. Моисей Моисеевич был уроженцем Минска. Был Кузнецов сиротой, как, впрочем, можно было судить по его имени и отчеству — у евреев сына называют именем отца только и обязательно, если отец умирает до рождения сына. Работе он учился с мальчиков — у дяди, такого же кузнеца, каким был отец Моисея.

Жена Кузнецова была официанткой одного из минских ресторанов, была много моложе сорокалетнего мужа и в тридцать седьмом году по совету своей душевной подруги-буфетчицы написала на мужа донос. Это средство в те годы было вернее всякого заговора или наговора и даже вернее какой-нибудь серной кислоты — муж Моисей Моисеевич немедленно исчез. Кузнец он был заводской, не простой коваль, а мастер — даже немножко поэт — работник той породы кузнецов, что могла отковать розу. Инструмент, которым он работал, был изготовлен им собственноручно. Инструмент этот — щипцы, долота, молотки, кувалды — имели несомненное изящество, что обличало любовь к своему делу и понимание мастером души своего дела. Тут дело было вовсе не в симметрии или ассиметрии, а кое в чем более глубоко, более внутреннем. Каждая подкова, каждый гвоздь, откованные Моисеем Моисеевичем, были изящны, и на всякой вещи, выходявшей из его рук, была эта печать мастера. Над всякой вещью он оставлял работу с сожалением: ему все казалось, что нужно ударить еще раз, сделать еще лучше, еще удобней.

Начальство его очень ценило, хотя кузнечная работа для геологического участка была невелика. Моисей Моисеевич шутил иногда шутки с начальством, и эти

шутки ему прощались за хорошую работу. Так, он заверил начальство, что буры лучше закаляются в масле, чем в воде, и начальник выписывал в кузницу сливочное масло в ничтожном, конечно, количестве. Малое количество этого масла Кузнецов бросал в воду, и кончики стальных буров приобретали мягкий блеск, которого никогда не бывало при обычном бурении. Остальное масло Кузнецов и его молотобоец съедали. Начальнику вскорости донесли о «комбинациях» кузнеца, но никаких репрессий не последовало. Позднее Кузнецов, настойчиво уверяя в высоком качестве «масляного» бурения, выпросил у начальника обрезки масляных брусов, тронутых плесенью на складе. Эти обрезки кузнец перетапливал и получал топленое, чуть-чуть горьковатое масло. Человек он был хороший, тихий и всем желал добра.

Начальник наш знал все «тонкости» жизни. Он, как Ликург, позаботился о том, чтобы в его таежном государстве было два фельдшера, два кузнеца, два десятника, два повара, два бухгалтера. Один фельдшер лечил, а другой работал на черной работе и следил за своим коллегой — не совершит ли тот чего-либо противозаконного. Если фельдшер злоупотреблял «наркотикой» — всяким «кодеинчиком» и «кофеинчиком», он разоблачался, подвергался наказанию и отправлялся на общие работы, а его коллега, составив и подписав приемочный акт, водворялся в медицинской палатке. По мысли начальника, резервные кадры «специалистов» не только обеспечивали замену в нужный момент, но и способствовали дисциплине, которая, конечно, сразу упала бы, если бы хоть один специалист чувствовал себя незаменимым.

Но бухгалтеры, фельдшеры, десятники менялись местами довольно бездумно и уж во всяком случае не отказывались от стопки спирту, хотя бы ее подносил провокатор.

Кузнецу, подобранному начальником в качестве «противовеса» Моисею Моисеевичу, так и не пришлось

держат молотка в руках. Моисей Моисеевич был безупречен, неуязвим, да и квалификация его была высока.

Он-то и встретил на таежной тропе неизвестную якутскую собаку волчьего вида — суку с полоской вытертой шерсти на белой груди — это была ездовая собака.

Ни поселков, ни кочевых стойбищ якутских вокруг нас не было — собака возникла на таежной тропе перед Кузнецовым, перепуганным до крайности. Моисей Моисеевич подумал, что это — волк, и побежал назад, хлюпя сапогами по тропинке — за Кузнецовым шли другие.

Но волк лег на брюхо и подполз, виляя хвостом, к людям. Его погладили, похлопали по тощим бокам и накормили.

Собака осталась у нас. Скоро стало ясно, почему она не рискнула искать своих настоящих хозяев в тайге.

Ей было время щениться — в первый же вечер начала рыть яму под палаткой, торопливо, едва отвлекаясь на приветствия. Каждому из пятидесяти хотелось ее погладить, приласкать и собственную свою тоску по ласке рассказать, передать животному.

Сам прораб Касаев, тридцатилетний геолог, справивший недавно десятилетие своей работы на Дальнем Севере, вышел, продолжая наигрывать на неразлучной своей гитаре, и осмотрел нового нашего жителя.

— Пусть он называется «Боец», — сказал прораб.

— Это сука, Валентин Иванович, — радостно сказал Славка Ганушевич, повар.

— Сука? А, да. Тогда пусть называется «Тамарой». — И прораб удалился.

Собака улыбнулась ему вслед, повиляла хвостом. Она быстро установила хорошие отношения со всеми нужными людьми. Тамара понимала роль Касаева и десятника Василенко в нашем поселке, понимала важность дружбы с поваром. На ночь заняла место рядом с ночным сторожем.

Скоро выяснилось, что Тамара берет пищу только из рук, и ничего не трогает ни на кухне, ни в палатке, есть там люди или нет.

Эта твердость нравственная особенно умиляла видавших виды и бывавших во всяких переплетах жителей поселка.

Перед Тамарой раскладывали на полу консервированное мясо, хлеб с маслом. Собака обнюхивала съестные припасы, выбирала и уносила всегда одно и то же — кусок соленой кеты — самое родное, самое вкусное, наверняка безопасное.

Сука вскоре оценилась — шесть маленьких щенков стало в темной яме. Щенятам сделали конуру, перетасили их туда. Тамара долго волновалась, унижалась, виляла хвостом, но, по-видимому, все было в порядке, щенки были целы.

В это время поисковой партии пришлось подвигнуться еще километра на три в горы — от базы, где были склады, кухня, начальство, место жилья было километрах в семи. Конура со щенятами была взята на новое место, и Тамара дважды и трижды в день бегала к повару и тащила щенятам в зубах какую-нибудь кость, которую ей давал повар. Щенят бы накормили и так, но Тамара никогда не была в этом уверена.

Случилось так, что в наш поселок прибыл лыжный отряд «оперативки», рыскавшей по тайге в поисках беглецов. Побег зимой — крайне редкое дело, но были сведения, что с соседнего прииска бежало пять арестантов, и тайгу «прочесывали».

На поселке лыжному отряду отвели не палатку, вроде той, в которой мы жили, а единственное в поселке рубленое здание — баню. Миссия лыжников была слишком серьезна, чтобы вызвать чьи-либо протесты — как объяснил нам прапор Касаев.

Жители отнеслись к незванным гостям с привычным безразличием, покорностью. Только одно существо выразило резкое недовольство по этому поводу.

Сука Тамара молча бросилась на ближайшего охранника и прокусила ему валенок. Шерсть на Тамаре стояла дыбом, и бесстрашная злоба была в ее глазах. Собаку с трудом отогнали, удержали.

Начальник «опергруппы» Назаров, о котором мы кое-что слышали и раньше, схватился было за автомат, чтобы пристрелить собаку, но Касаев удержал его за руку и втащил за собой в баню.

По совету плотника Семена Парменова на Тамару надели веревочную лямку и привязали ее к дереву — не век же оперативники будут у нас жить.

Лаять Тамара не умела, как всякая якутская собака. Она рычала, старые клыки пытались перегрызть веревку — это была совсем не та мирная якутская сука, которая прожила с нами зиму. Ненависть ее была необыкновенна, и за этой ненавистью вставало ее прошлое — не в первый раз собака встречалась с «конвоирами» — это было видно каждому.

Какая лесная трагедия осталась навсегда в собачьей памяти? Было ли это страшное былое причиной появления якутской суки в тайге близ нашего поселка?

Назаров мог бы, вероятно, кое-что рассказать, если помнил не только людей, но и животных.

Дней через пять ушли три лыжника, а Назаров с приятелем и с нашим прорабом собрались уходить на следующее утро. Всю ночь они пили, опохмелились на рассвете и пошли.

Тамара зарычала, и Назаров вернулся, снял с плеча автомат и выпустил в собаку патронную очередь в упор. Тамара дернулась и замолчала. Но на выстрел уже бежали из палаток люди, хватая топоры, ломы. Прораб бросился наперерез рабочим, и Назаров скрылся в лесу.

Иногда исполняются желания, а, может быть, ненависть всех пятидесяти человек к этому «начальнику» была так страстна и велика, что стала реальной силой и догнала Назарова.

Назаров ушел на лыжах вдвоем со своим помощни-

ком. Они пошли не руслом вымерзшей до дна реки — лучшей зимней дороги к большому шоссе в двадцати километрах от нашего поселка, а горами через перевал. Назаров боялся погони, притом путь горами был ближе, а лыжник он был превосходный.

Уже стемнело, когда поднялись они на перевал — только на вершинах гор еще был день, а провалы ущелий были темными. Назаров стал спускаться с горы; наискось лес стал гуще. Назаров понял, что ему надо остановиться, но лыжи увлекали его вниз, и он налетел на длинный обточенный временем пень упавшей лиственницы, укрытой под снегом. Пень пропорол Назарову брюхо и вышел в спину, разорвав шинель. Второй боец был далеко внизу на лыжах, он добежал до шоссе и только на другой день поднял тревогу. Нашли Назарова через два дня, он висел на этом пне заковенный в позе движения бега, похожий на фигуру из батальной диорамы.

Шкуру с Тамары содрали, растянули гвоздями на стене конюшни, но растянули плохо — высохшая шкура стала совсем маленькой, и нельзя было думать, что она была впору крупной ездовой якутской лайке.

Приехал вскоре лесничий выписывать задним числом билеты на порубки леса, произведенные больше года назад. Когда валили деревья, никто не думал о высоте пеньков — пеньки оказались выше нормы — требовалась повторная работа. Это была легкая работа. Лесничему дали купить кое-что в магазине, дали денег, спирту. Уезжая, лесничий выпросил собачью шкуру, висевшую на стене конюшни — он ее выделает и сошьет «собачины» — северные собачьи рукавицы мехом вверх. Дыры на шкуре от пуль не имели, по его словам, значения.



ШЕРРИ-БРЕНДИ

Поэт умирал. Большие вздутые голодом кисти рук с белыми бескровными пальцами и грязными, отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, не прячась от холода. Раньше он совал их за пазуху, на голое тело, но теперь там было слишком мало тепла. Рукавицы давно украли — для краж нужна была только наглость — воровали среди бела дня. Тусклое электрическое солнце, загаженное мухами и закованное круглой решеткой, было прикреплено высоко под потолком. Свет падал в ноги поэта — он лежал, как в ящичке, в темной глубине нижнего ряда сплошных двухэтажных нар. Время от времени пальцы рук двигались, щелкали, как кастаньеты, и ощупывали пуговицу, петлю, ямку на бушлате, смахивали какой-то сор и снова останавливались. Поэт так долго умирал, что перестал понимать, что он умирает. Иногда приходила, болезненно и почти ощутимо проталкиваясь через мозг, какая-нибудь простая и сильная мысль — что у него украли хлеб, который он положил под голову. И это было так обжигающе страшно, что он готов был спорить, ругаться, драться, искать, доказывать. Но сил для всего этого не было, и мысль о хлебе слабела... И сейчас же он думал о другом — о том, что всех должны везти за море, и почему-то опаздывает пароход, и хорошо, что он здесь. И так же легко и зыбко он начинал думать о большом родимом пятне на лице дневального барака. Большую часть суток он думал о тех событиях, которые наполняли его жизнь здесь. Видения, которые вставали перед его глазами, не были видениями детства, юности, успеха. Всю жизнь он куда-то спешил. Было прекрасно, что торопиться не надо, что думать можно медленно. И он, не спеша, думал о великом однообразии предсмертных движений — о том, что поняли и описали врачи — раньше, чем художники и

поэты. Гиппократово лицо — предсмертная маска человека известна всякому студенту медицинского факультета. Это загадочное однообразие предсмертных движений послужило Фрейду поводом для самых смелых гипотез. Однообразие, повторение — вот обязательная почва науки. То, что в смерти неповторимо, — искали не врачи, а поэты. Приятно было сознавать, что он еще может думать. Голодная тошнота стала давно привычной. И все было равноправно — Гиппократ, дневальный с родимым пятном и его собственный грязный ноготь.

Жизнь входила в него и выходила, и он умирал. Но жизнь появлялась снова, открывались глаза, появлялись мысли. Только желаний не появлялось. Он давно жил в мире, где часто приходится возвращать людям жизнь — искусственным дыханием, глюкозой, камфорой, кофеином. Мертвый вновь становился живым. И почему бы нет? Он верил в бессмертие, в настоящее человеческое бессмертие. Часто думал, что просто нет никаких биологических причин, почему бы человеку не жить вечно... Старость — это только излечимая болезнь, и если бы не это неразгаданное до сей минуты трагическое недоразумение, — он мог бы жить вечно. Или до тех пор, пока не устанет. А он вовсе не устал жить. Даже сейчас, в этом пересыльном бараке, «транзитке», как любовно выговаривали здешние жители. Она была преддверием ужаса, но сама ужасом не была. Напротив, здесь жил дух свободы, и это чувствовалось всеми. Впереди был лагерь, сзади — тюрьма. Это был «мир в дороге», и поэт понимал это.

Был еще один путь бессмертия — тютчевский:

«Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые».

Но если уж ему, как видно, не придется быть бессмертным в человеческом образе, как некая физическая единица, — то уже творческое-то бессмертие он заслужил. Его называли первым русским поэтом двад-

цатого века, и он часто думал, что это действительно так. Он верил в бессмертие своих стихов. У него не было учеников, но разве поэты их терпят? Он писал и прозу — плохую, писал статьи. Но только в стихах он нашел кое-что новое для поэзии, важное, как казалось ему всегда. Вся его прошлая жизнь была литературой, книгой, сказкой, сном, и только настоящий день был подлинной жизнью.

Все это думалось не в споре, а потаенно, где-то глубоко в себе. Размышлениям этим не хватало страсти. Равнодушие давно владело им. Какими все это было пустяками, «мышинной беготней» по сравнению с недоброй тяжестью жизни. Он удивился себе — как он может думать так о стихах, когда все уже было решено, а он это знал очень хорошо, лучше, чем кто-либо. Да и кто? Кому он нужен здесь и кому он равен? Почему же все это надо было понять, и он ждал... и понял.

В те минуты, когда жизнь возвращалась в его тело и его полуоткрытые мутные глаза вдруг начинали видеть, веки вздрагивать и пальцы шевелиться, — возвращались и мысли, о которых он не думал, что они — последние.

Жизнь входила сама, как самовластная хозяйка; он не звал ее, и все же она входила в его тело, в его мозг, входила, как стихи, как вдохновение. И значение этого слова впервые открылось ему во всей полноте. Стихи были той животворящей силой, которой он жил. Именно так. Он не жил ради стихов, он жил стихами.

Сейчас было так наглядно, так ощутимо ясно, что вдохновение и было жизнью: перед смертью ему дано было узнать, что жизнь была вдохновением, именно вдохновением.

И он радовался, что ему дано было узнать эту последнюю правду.

Все, весь мир сравнивался со стихами — работа, конский топот, дом, птица, скала, любовь — вся жизнь легко входила в стихи и там размещалась удобно. И

это так и должно было быть, ибо стихи были словом.

Строфы и сейчас легко вставали, одна за другой, и хоть он давно не записывал и не мог записывать своих стихов, все же слова легко вставали, в каком-то заданном и каждый раз необычайном ритме. Рифма была искателем, инструментом магнитного поиска слов и понятий. Каждое слово было частью мира, оно откликалось на рифму, и весь мир проносился с быстротой какой-нибудь электронной машины. Все кричало — всзьми меня. Нет, меня. Искать ничего не приходилось. Приходилось только отбрасывать. Здесь было как бы два человека — тот, который сочиняет, который запустил свою вертушку вовсю, и другой, который вытирает и время от времени останавливает запущенную машину. И увидя, что он — это два человека, поэт понял, что сочиняет сейчас настоящие стихи. А что в том, что они не записаны? Записать, напечатать — все это суета сует. Все, что рождается не бескорыстно, — это не самое лучшее. Самое лучшее то, что не записано, что сочинено и исчезло, растаяло без следа, и только творческая работа, которую ощущает он и которую ни с чем не спутать, доказывает, что стихотворение было создано, что прекрасное было создано. Не ошибается ли он? Безошибочка ли его творческая радость?

Он вспомнил, как плохи, как поэтически беспомощны были последние стихи Блока, и как Блок этого, кажется, не понимал...

Поэт заставил себя остановиться. Это было легче делать здесь, чем где-нибудь в Ленинграде или Москве.

Тут он поймал себя на том, что он уже давно ни о чем не думает. Жизнь опять уходила из него.

Долгие часы он лежал неподвижно и вдруг увидел недалеко от себя нечто вроде стрелковой мишени или геологической карты. Карта была немая, и он тщетно пытался понять изображенное. Прошло немало времени, пока он сообразил, что это — его собственные пальцы. На кончиках пальцев еще оставались коричне-

вые следы докуренных, дососанных махорочных папирос — на подушечках ясно выделялся дактилоскопический рисунок, как чертеж горного рельефа. Рисунок был одинаков на всех десяти пальцах — концентрические кружки, похожие на срез дерева. Он вспомнил, как однажды в детстве его остановил на бульваре китаец из прачечной, которая была в подвале того дома, где он вырос. Китаец случайно взял его за руку, за другую, вывернул ладони вверх и возбужденно закричал что-то на своем языке. Оказалось, что он объявил мальчика счастливым, обладателем верной приметы. Эту метку счастья поэт вспоминал много раз, особенно часто тогда, когда напечатал свою первую книжку. Сейчас он вспоминал китайца без злобы и без иронии — ему было все равно.

Самое главное, что он еще не умер. Кстати, что значит: умер, как поэт? Что-то детски-наивное должно быть в этой смерти. Или что-то нарочитое, театральное — как у Есенина, у Маяковского.

Умер, как актер, — это еще понятно. Но умер, как поэт?

Да, он догадывался кое о чем из того, что ждало его впереди. На пересылке он многое успел понять и угадать. И он радовался, тихо радовался своему бессилию и надеялся, что умрет. Он вспомнил давнишний тюремный спор — что хуже, что страшнее — лагерь или тюрьма — никто ничего толком не знал, аргументы были умозрительные, и как жестоко улыбался человек, привезенный из лагеря в ту тюрьму. Он запомнил улыбку этого человека навсегда так, что боялся ее вспоминать.

Подумайте, как ловко он их обманет — тех, что привели его сюда, — если сейчас умрет, — на целых десять лет. Он был несколько лет назад в ссылке и знал, что он занесен в особые списки навсегда. Навсегда?! Масштабы сместились и слова изменили смысл.

Снова он почувствовал начинающийся прилив сил, именно прилив, как в море. Многочасовой прилив. А

потом — отлив. Но море ведь не уходит от нас навсегда. Он еще поправится.

Внезапно ему захотелось есть, но не было силы двигаться. Он медленно и трудно вспомнил, что отдал сегодняшней суп соседу, что кружка кипятку была его единственной пищей за последний день. Кроме хлеба, конечно. Но хлеб выдавали очень, очень давно. А вчерашний — украли. У кого-то еще были силы — воровать.

Так он лежал легко и бездушно, пока не наступило утро. Электрический свет стал чуть желтее, и принесли на больших фанерных подносах хлеб, как приносили каждый день.

Но он уже не волновался, не высматривал горбушку, не плакал, если горбушка доставалась не ему; не запихивал в рот дрожащими пальцами «довесок» — и довесок мгновенно таял во рту, ноздри его надувались, и он всем своим существом чувствовал вкус и запах свежего ржаного хлеба. А довеска уже не было во рту, хотя он не успел сделать глотка или пошевелить челюстью. Кусок хлеба растаял, исчез, и это было чудо — одно из многих здешних чудес. Нет, сейчас он не волновался. Но когда ему вложили в руки его суточную пайку, он обхватил ее своими бескровными пальцами и прижал хлеб ко рту. Он кусал хлеб цинготными зубами, десны кровоточили, зубы шатались, но он не чувствовал боли. Из всех сил он прижимал ко рту, запихивал в рот хлеб, сосал его, рвал и грыз...

Его останавливали соседи:

— Не ешь все, лучше потом съешь, потом...

И поэт понял. Он широко раскрыл глаза, не выпуская окровавленного хлеба из грязных синеватых пальцев.

— Когда потом? — отчетливо и ясно выговорил он. И закрыл глаза.

К вечеру он умер.

Но «списали» его на два дня позднее — изобретатель-

ным соседям его удавалось при раздаче хлеба двое суток получать хлеб на мертвеца; мертвец поднимал руку, как кукла-марионетка. Стало быть, он умер раньше даты своей смерти — немаловажная деталь для будущих его биографов.



ДЕТСКИЕ КАРТИНКИ

Нас выгоняли на работу без списков, отсчитывая в воротах пятерки. Строили всегда по пятеркам, ибо таблицей умножения умели бегло пользоваться далеко не все конвоиры. Любое арифметическое действие, если его производить на морозе и притом на живом материале, — штука серьезная. Чаша арестантского терпения может переполниться внезапно, и начальство считалось с этим.

Нынче у нас была легкая работа, блатная работа — пилка дров на циркулярной пиле. Пила вращалась в станке, легонько постукивая. Мы заваливали огромное бревно на станок и медленно подвигали к пиле. Пила взвизгивала и яростно рычала — ей, как и нам, не нравилась работа на Севере, но мы двигали бревно все вперед и вперед, и вот бревно распадалось на две части, неожиданно легкие отрезки.

Третий наш товарищ колол дрова тяжелым синеватым колуном на длинной желтой ручке. Толстые чурки он скальвал с краев, те, что потоньше, — разрубал с первого удара. Удары были слабы — товарищ наш был так же голоден, как и мы, но промерзлая лиственница колется легко. Природа на севере не безлична, не равнодушна — она в сговоре с теми, кто послал нас сюда.

Мы кончили работу, сложили дрова и стали ждать конвоя. Конвоир-то у нас был, он грелся в учреждении, для которого мы пилили дрова, но домой полагалось возвращаться в полном параде, всей партией, разбившейся в городе на малые группы.

Кончив работу, греться мы не пошли. Давно уже мы заметили большую мусорную кучу близ забора — дело, которым нельзя пренебречь. Оба моих товарища ловко и привычно обследовали кучу, снимая заледевшие наслоения одно за другим. Куски замороженного хлеба, смерзшийся комок котлет и рваные мужские

носки были их добычей. Самым ценным были, конечно, носки, и я жалел, что не мне досталась эта находка. Носки, шарфы, перчатки, рубашки, брюки «вольные» — «штатские» — большая ценность среди людей, десятилетиями надевающих лишь казенные вещи. Носки можно было починить, залатать — вот и табак, вот и хлеб.

Удача товарищей не давала мне покоя. Я тоже отламывал ногами и руками разноцветные куски мусорной кучи; отодвинув какую-то тряпку, похожую на человеческие кишки, я увидел — впервые за много лет — серую ученическую тетрадку.

Это была обыкновенная школьная тетрадка, детская тетрадка для рисования.

Все ее страницы были разрисованы красками, тщательно и трудолюбиво. Я перевертывал хрупкую на морозе бумагу, заиндевелые яркие и холодные наивные листы. И я рисовал когда-то — давно это было, — примостясь у семилинейной керосиновой лампы на обеденном столе. От прикосновения волшебных кисточек оживал мертвый богатырь сказки, как бы спрыснутый живой водой.

Акварельные краски, похожие на женские пуговицы, лежали в белой жестяной коробке. Иван-царевич на сером волке скакал по еловому лесу. Елки были меньше серого волка, Иван-царевич сидел на волке так, как эвенки ездят на оленях, почти касаясь пятками мха. Дым пружинной поднимался к небу, и птички, как отчеркнутые «галочки», виднелись в синем звездном небе.

И чем сильнее я вспоминал свое детство, тем яснее понимал, что детство мое не повторится, что я не встречу и тени его в чужой ребяческой тетрадке.

Это была грозная тетрадь.

Северный город был деревянным, заборы и стены домов красились светлой охрой, и кисточка юного художника честно повторила этот желтый цвет везде, где

мальчик хотел говорить об уличных зданиях, об изделии рук человеческих.

В тетрадке было много, очень много заборов. Люди и дома почти на каждом рисунке были огорожены желтыми ровными заборами, обвитыми черными линиями колючей проволоки. Железные нити казенного образца покрывали все заборы в детской тетрадке.

Около заборов стояли люди. Люди тетрадки не были ни крестьянами, ни рабочими, ни охотниками — это были солдаты, это были конвойные и часовые с винтовками. Дождевые будки-грибы, около которых юный художник разместил конвойных и часовых, стояли у подножья огромных караульных вышек. И на вышках ходили солдаты, блестя винтовочные стволы.

Тетрадка была невелика, но мальчик успел нарисовать в ней все времена года своего родного города.

Яркая земля, однотонно зеленая, как на картинах раннего Матисса, и синее-синее небо, свежее, чистое и ясное. Закаты и восходы были добротны алыми, и это не было детским неумением найти полутона, цветные переходы, раскрыть секреты светотени. Это не было и художеством по рецепту Гогэна, учившего рисовать все то, что производит впечатление зеленого, — самой лучшей краской.

Сочетания красок в школьной тетрадке были правдивым изображением неба Дальнего Севера, краски которого необычайно чисты и ясны и не имеют полутонов.

Я вспомнил старую северную легенду о боге, который был еще ребенком, когда создавал Тайгу. Красок было немного, краски были по-ребячьи чисты, рисунки просты и ясны, сюжеты их немудреные.

После, когда бог вырос, стал взрослым, он научился вырезать причудливые узоры — листы, выдумал множество разноцветных птиц. Детский мир надоел богу, и он закидал снегом таежное свое творенье и ушел на юг навсегда. Так говорила легенда.

И в зимних рисунках ребенок не отошел от истины. Зелень исчезла. Деревья были черными и голыми. Это были даурские лиственницы, а не сосны и елки моего детства.

Шла северная охота: зубастая немецкая овчарка натягивала поводок, который держал в руке Иван-царевич. Иван-царевич был в шапке-ушанке военного образца, в белом овчинном полущубке, в валенках и в глубоких рукавицах, «крагах», как их называют на Дальнем Севере. За плечами Ивана-царевича висел автомат. Голые треугольные деревья были натыканы в снег.

Ребенок ничего не увидел, ничего не запомнил, кроме желтых домов, колючей проволоки, вышек, овчарок, конвоиров с автоматами и синего-синего неба.

Товарищ мой заглянул в тетрадку и пощупал листы.

— Газету бы лучше искал на курево. — Он вырвал тетрадку из моих рук, скомкал и бросил в мусорную кучу. Тетрадка стала покрываться инеем.



СГУЩЕННОЕ МОЛОКО

От голода наша зависть была тупа и бессильна, как все наши чувства. У нас не было силы на чувства, на то, чтобы искать работу полегче, чтобы ходить, спрашивать, просить... Мы завидовали только знакомым, тем, вместе с которыми мы явились в этот мир; тем, кому удалось попасть на работу в контору, в больницу, в конюшню, — там не было многочасового тяжелого физического труда, прославленного на фронтонах всех ворот как дело доблести и героизма. Словом, мы завидовали только Шестакову.

Только что-нибудь внешнее могло вывести нас из безразличия, отвести от медленно приближающейся смерти. Внешняя, а не внутренняя сила. Внутри все было выжжено, опустошено, нам было все равно, и дальше завтрашнего дня мы не строили планов.

Вот и сейчас — хотелось уйти в барак, лечь на нары, а я все стоял у дверей продуктового магазина. В этом магазине могли покупать только осужденные по «бытовым» статьям, а также причисленные к «друзьям народа» воры-рецидивисты. Нам там было нечего делать, но нельзя было отвести глаз от хлебных буханок шоколадного цвета; сладкий и тяжелый запах свежего хлеба щекотал ноздри — даже голова кружилась от этого запаха. И я стоял и не знал, когда я найду в себе силы уйти в барак и смотрел на хлеб. И тут меня окликнул Шестаков.

Шестакова я знал по «Большой земле», по Бутырской тюрьме; сидел с ним в одной камере. Дружбы там у нас не было, было просто знакомство. На прииске Шестаков не работал в забое. Он был инженер-геолог, и его взяли на работу в геологоразведку, в контору, стало быть. Счастливцев едва здоровался со своими московскими знакомыми. Мы не обижались — мало ли что ему могли на сей счет приказать. Своя рубашка и т. д.

— Кури, — сказал Шестаков и протянул мне обрывок газеты, насыпал махорки, зажег спичку, настоящую спичку . . .

Я закурил.

— Мне надо с тобой поговорить, — сказал Шестаков.

— Со мной?

— Да.

Мы отошли за бараки и сели на борт старого забоя. Ноги мои сразу отяжелели, а Шестаков весело болтал своими новенькими казенными ботинками, от которых слегка пахло рыбьим жиром. Брюки завернулись и открыли шахматные носки. Я обозревал шестаковские ноги с истинным восхищением и даже некоторой гордостью — хоть один человек из нашей камеры не носит портянок. Земля под нами тряслась от глухих взрывов — это готовили грунт для ночной смены. Маленькие камешки падали у наших ног, шелестя, серые и незаметные, как птицы.

— Отойдем подальше, — сказал Шестаков.

— Не убьет, не бойся. Носки будут целы.

— Я не о носках, — сказал Шестаков и провел указательным пальцем по горизонту. — Как ты смотришь на все это?

— Умрем, наверно, — сказал я. Меньше всего мне хотелось думать об этом.

— Ну, нет, умирать я не согласен.

— Ну?

— У меня есть карта, — вяло сказал Шестаков. — Я возьму рабочих, тебя возьму и пойдем на Черные Ключи — это пятнадцать километров отсюда. У меня будет пропуск. И мы уйдем к морю. Согласен?

Он выложил все это равнодушной скороговоркой.

— А у моря? Поплывем?

— Все равно. Важно начать. Так жить я не могу. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — торжественно произнес Шестаков. — Кто это сказал?

В самом деле? Знакомая фраза. Но не было сил

вспомнить, кто и когда говорил эти слова. Все книжное было забыто, книжному не верили.

Я засучил брюки, показал красные цинготные раны.

— Вот в лесу и вылечишься, — сказал Шестаков, — на ягодах, на витаминах. Я выведу, я знаю дорогу. У меня есть карта.

Я закрыл глаза и думал. До моря отсюда три пути — и все по пятьсот километров, не меньше. Не только я, но и Шестаков не дойдет. Не берет же он меня, как пищу, с собой? Нет, конечно. Но зачем он лжет? Он знает это не хуже меня; и вдруг я испугался Шестакова — единственного из нас, кто устроился на работу по специальности. Кто его туда устроил и какой ценой? За все ведь надо платить. Чужой кровью, чужой жизнью.

— Я согласен, — сказал я, открывая глаза. — Только мне надо подкормиться.

— Вот и хорошо, хорошо. Обязательно подкормиться. Я принесу тебе . . . консервов. У нас ведь можно . . .

Есть много консервов на свете — мясных, рыбных, фруктовых, овощных . . . Но прекрасней всех — молочные, сгущенное молоко. Конечно, их не надо пить с кипятком. Их надо есть ложкой или мазать на хлеб, или глотать понемножку, из банки, медленно есть, глядя, как желтеет светлая жидкая масса, как налипает на банку сахарная звездочка . . .

— Завтра, — сказал я, задыхаясь от счастья, — молочных.

— Хорошо, хорошо. Молочных. — И Шестаков ушел.

Я вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Думать было нелегко. Материальность нашей психики впервые представлялась мне во всей наглядности, во всей осязательности. Думать было больно. Но думать было надо.

Он соберет нас в побег и «сдаст» — это совершенно ясно. Он заплатит за свою конторскую работу нашей кровью, моей кровью. Нас или убьют там же, на Черных Ключах, или приведут живыми и осудят — добавят еще лет пятнадцать. Ведь не может же он не знать, что

выйти отсюда нельзя. Но молоко, сгущенное молоко...

Я заснул и в своем рваном голодном сне я видел эту шестаковскую банку сгущенного молока — чудовищную банку с облачно-синей наклейкой. Огромная, синяя, как ночное небо, банка была пробита в тысяче мест, и молоко просачивалось и текло широкой струей Млечного пути. И легко доставал я руками до неба и ел густое, сладкое, звездное молоко.

Не помню, что я делал в этот день и как я работал. Я ждал, ждал, пока солнце склонится к западу, пока заржут лошади, которые лучше людей угадывают конец рабочего дня.

Хрипло загудел гудок, и я пошел к бараку, где жил Шестаков. Он ждал меня на крыльце. Карманы его телогрейки оттопыривались.

Мы сели за большой вымытый стол в бараке, и Шестаков вытащил из карманов две банки сгущенного молока.

Углом топора я пробил банку. Густая белая струя потекла на крышку, на мою руку.

— Надо было вторую дырку пробить. Для воздуха, — сказал Шестаков.

— Ничего, — сказал я, облизывая грязные сладкие пальцы.

— Дайте ложку, — сказал Шестаков, поворачиваясь к обступившим нас рабочим. Десять блестящих, отличных ложек протянулись над столом. Все стояли и смотрели, как я ем. В этом не было неделикатности или скрытого желания угоститься. Никто из них и не надеялся, что я поделюсь с ним этим молоком. Такое не было видано — интерес их к чужой пище был вполне бескорыстен. И я знал, что нельзя не глядеть на пищу, исчезающую во рту другого человека. Я сел поудобнее и ел молоко без хлеба, запивая изредка холодной водой. Я съел обе банки. Зрители отошли в сторону — спектакль был окончен. Шестаков смотрел на меня сочувственно.

— Знаешь что, — сказал я, тщательно облизывая ложку, — я передумал. Идите без меня.

Шестаков понял и вышел, не сказав мне ни слова.

Это было, конечно, ничтожной мезью, слабой, как все мои чувства. Но что я мог сделать еще? Предупредить других — я не знал их. А предупредить было надо — Шестаков успел уговорить пятерых. Они бежали через неделю, двоих убили недалеко от Черных Ключей, троих судили через месяц. Дело о самом Шестакове было «выделено производством», его вскоре куда-то увезли, через полгода я встретил его на другом прииске. Дополнительного срока за побег он не получил — начальство играло с ним честно, а ведь могло быть и иначе.

Он работал в геологоразведке, был брит и сыт, и шахматные носки его все еще были целы. Со мной он не здоровался и зря: две банки сгущенного молока не такое уж большое дело в конце концов . . .



ТИШИНА

Мы все — вся бригада — с удивлением, недоверием, осторожностью и боязнью рассаживались за столы в лагерной столовой — грязные, липкие столы, за которыми мы обедали всю нашу здешнюю жизнь. Отчего бы столам быть липкими — ведь не суп же здесь проливали, «мимо рта ложку никто не проносил» и не пронес бы, но ложек ведь не было, а пролитый суп был собран пальцами в рот и просто долизан.

Было время обеда ночной смены. В ночную смену упрятали нашу бригаду, убрали с чьих-то глаз — если были такие глаза! — в нашей бригаде были самые слабые, самые плохие, самые голодные. Мы были человеческими отбросами, и все же нас приходилось кормить — притом вовсе не отбросами, даже не остатками. На нас тоже шли какие-то жиры, приварок, а самое главное — хлеб, совершенно одинаковый по качеству с хлебом, который получали лучшие бригады, что пока еще сохранили силу и еще дают план на «основном производстве» — дают золото, золото, золото...

Если уж кормили нас, то в самую последнюю очередь — ночную ли, дневную — все равно. Сегодня ночью мы тоже пришли в последнюю очередь.

Мы жили в одном бараке, в одной секции. Я кое-кого знал из этих полутрупов — по тюрьме, по транзиткам. Я двигался ежедневно вместе с комками этих бушлатов, матерчатых ушанок, надеваемых от бани до бани; бурок стеганых, из рваных брюк, обгорелых на кострах, и только памятью узнавал, что среди них и краснолицый татарин Муталов — единственный житель на весь Чимкент, имевший двухэтажный дом под железом, и Ефремов — бывший первый секретарь Чимкентского горкома партии, который в тридцатом ликвидировал Муталова как класс.

Здесь был и Оксман, бывший начальник политотдела

дивизии, которого маршал Тимошенко, еще не будучи маршалом, выгнал из своей дивизии как еврея. Был здесь и Лупинов — помощник Верховного прокурора СССР, помощник Вышинского. Жаворонков — машинист Савеловского паровозного депо. Был и бывший начальник НКВД из города Горького, затеявший на транзитке спор с каким-то своим «подопечным»:

— Тебя били? Ну и что? Подписал — значит враг, путаешь советскую власть, мешаешь нам работать. Из-за таких гадов я и получил пятнадцать лет.

Я вмешался: «Слушаю тебя и не знаю что — смеяться или плюнуть в рожу...»

Разные были люди в этой «доплывающей» бригаде... Был и сектант из секты «Бог знает», а, может, секта называлась и иначе — просто это был единственный всегдашний ответ сектанта на все вопросы начальства.

Фамилия сектанта в памяти осталась, конечно, — Дмитриев, хотя сам сектант на нее никогда не откликнулся. Руки товарищей, бригадира передвигали Дмитриева, ставили в ряды, вели.

Конвой часто менялся, и почти каждый новый командир старался постичь тайну отказа от ответа на громкое: *обзовись!* при выходе на работу для так называемого труда.

Бригадир кратко разъяснял «обстоятельства», и обрадованный конвоир продолжал перекличку.

Сектант надоел всем в бараке. По ночам мы не спали от голода и грелись, и грелись около железной печки, обнимая ее руками, ловя уходящее тепло остывающего железа, приближая лицо к железу.

Разумеется, мы загораживали жалкое это тепло от остальных жителей барака, лежащих — как и мы, не спящих от голода — в дальних углах, затянутых инеем. Оттуда, из этих дальних темных углов, затянутых инеем, выскакивал кто-нибудь, имеющий право на крик, а то и право на побои, и отгонял от печки голодных работяг руганью и пинками.

У печки можно было стоять и легально подсушивать

хлеб, но у кого был хлеб, чтобы легально его подсушивать? И сколько часов можно подсушивать ломтик хлеба?

Мы ненавидели начальство, ненавидели друг друга, а больше всего мы ненавидели сектанта — за песни, за гимны, за псалмы...

Все мы молчали, обнимая печку. Сектант пел, пел хриплым остуженным голосом — негромко, но пел какие-то гимны, псалмы, стихи. Песни были бесконечны.

Я работал в паре с сектантом. Остальные жители секции на время работы отдыхали от пения гимнов и псалмов, отдыхали от сектанта, а я и этого облегчения не имел.

— Помолчи!

— Я бы умер давно, если бы не песни. Ушел бы — в мороз. Нет сил. Если бы чуть больше сил. Я не прошу Бога о смерти. Он все видит сам.

Были в бригаде и еще какие-то люди, закутанные в тряпье, одинаково грязные и голодные, с одинаковым блеском в глазах. Кто они? Генералы? Герои испанской войны? Русские писатели? Колхозники из Волоколамска?

Мы сидели в столовой, не понимая, почему нас не кормят, кого ждут? Что за новость объявят? Для нас новость может быть только хорошей. Есть такой рубеж, когда все, что ни случается с человеком, — к счастью. Новость может быть только хорошей. Это все понимали, телом своим понимали, не мозгом.

Открылась дверца окна раздачи изнутри, и нам стали носить в мисках суп — горячий! Кашу — теплую! И кисель — третье блюдо — почти холодный! Каждому дали ложку, и бригадир предупредил, что ложку надо вернуть. Конечно, мы вернем ложки. Зачем нам ложки? На табак променять в другом бараке? Конечно, мы вернем ложки. Зачем нам ложки? Мы давно привыкли есть «через борт». Зачем тут ложка? То, что останется на дне, можно пальцами подтолкнуть к борту, выходу...

Думать тут было нечего — перед нами стояла еда,

пища. Нам раздали в руки хлеб — по двухсотке. «Хлеба только по пайке — торжественно объявил бригадир, — а остального «от пуза».

И мы ели «от пуза». Всякий суп делится на две части: гущицу и жижу. «От пуза» нам давали жижу. Зато второе блюдо — каша — была и вовсе без обмана. Третье блюдо — чуть теплую воду с легким привкусом крахмала и едва уловимым следом растворенного сахара. Это был кисель.

Арестантские желудки вовсе не огрублены, их вкусовые способности отнюдь не притуплены голодом и грубой пищей. Напротив, вкусовая чувствительность голодного арестантского желудка необычайна. Качественная реакция в арестантском желудке не уступает по своей тонкости любой физической лаборатории. Любой «вольный» желудок не обнаружил бы присутствия сахара в том киселе, который мы ели, вернее пили, этой колымской ночью на прииске «Партизан». А нам кисель казался сладким, отменно сладким — казался чудом, и каждый вспоминал, что сахар еще есть на белом свете и даже попадает в арестантский котел. Что за волшебник...

Волшебник был недалеко. Мы разглядели его после второго блюда второго обеда.

«Хлеба только по пайке, — сказал бригадир, — остального «от пуза». — И поглядел на волшебника.

— Да-да, — сказал волшебник.

Это был маленький, чистенький, черненький, чисто вымытый человечек с не отмороженным еще лицом.

Наши начальники, наши смотрители, десятники, прорабы, начальники лагерей, конвоиры — все уже попробовали Колымы, и на каждом, на каждом лице Колыма написала свои слова, оставила свой след, вырубил лишние морщины, посадила навечно пятно отморожений, несмываемое клеймо, неизгладимое тавро!

На розовом лице чистенького черного человечка не было еще ни одного пятна, не было клейма. Это был новый старший воспитатель нашего лагеря, только что

приехавший с материка. Старший воспитатель проводил опыт.

Воспитатель договорился с начальником, настоял, чтобы колымский обычай был нарушен — остатки супа и каши ежедневно, по давней традиции уносились всегда с кухни в барак блатарей — когда «со дна погуще» — и раздавались в бараках лучших бригад, чтобы поддержать не наиболее, а наименее голодные бригады, чтобы всё обратить на «план», все превратить в золото — души, тела всех — начальников, конвоиров и заключенных.

Те бригады — и блатары тоже — уже приучились, привыкли рассчитывать на эти остатки. Но новый воспитатель не согласился с обычаем, настоял на том, чтобы раздать остатки пищи самым, самым голодным. У них, дескать, и совесть проснется.

— Вместо совести у них рог вырос, — пытался вмешаться десятник, но воспитатель был тверд и получил разрешение на эксперимент.

Для опыта была выбрана самая голодная, наша бригада.

— Вот увидите, человек поест и в благодарность государству поработает лучше. Разве можно требовать работы от этих доходят? «Доходяги» — так, кажется, я говорю? Доходяги — это первое слово из блатной речи, которому я научился на Колыме. Правильно я говорю?

— Правильно, — сказал начальник участка, вольняшка, старый колымчанин, пославший «под сопку» не одну тысячу людей на этом приiske. Он пришел полюбоваться на «опыт».

— Их, этих филонов, этих симулянтов надо кормить месяц мясом и шоколадом при полном отдыхе. Да и тогда они работать не будут. У них в черепушке что-то изменилось навечно. Это — шлак, отброс. Производству дороже бы подкормить тех, кто еще работает, а не этих филонов!

У кухонного окошка заспорили, закричали. Воспитатель что-то горячо говорил. Начальник участка слушал

с недовольным лицом, а когда прозвучало имя Макаренко, и вовсе махнул рукой и отошел в сторону.

Мы молились каждый своему богу, и сектант — своему. Молились, чтобы окошко не закрыли, чтобы воспитатель победил. Арестантская воля двух десятков человек напряглась — и воспитатель победил.

Мы продолжали есть, не желая расстаться с чудом.

Начальник участка вынул часы, но гудок уже гудел — пронзительная лагерная сирена звала нас на работу.

— Ну, работяги, — неуверенно выговаривая ненужное здесь слово, сказал новый воспитатель. — Я сделал все, что мог. Добился для вас. Ваше дело ответить на это трудом, только трудом.

— Поработаем, гражданин начальник, — важно произнес бывший помощник Верховного прокурора СССР, подвязывая грязным полотенцем бушлат и дыша в рукавицы, вдувая туда теплый воздух.

Дверь открылась, выпуская белый пар, и мы выползли на мороз, чтобы на всю жизнь запомнить эту удачу — кому придется жить. Мороз показался нам полегче. Но это было недолго. Мороз был слишком велик, чтобы не поставить на своем.

Мы пришли в забой, сели в кружок, дожидаясь бригадира, сели на место, где когда-то разжигали костер и грелись, дышали в золотое пламя, где прожигали рукавицы, шапки, брюки, бушлаты, бурки, напрасно пытаюсь согреться, спастись от мороза. Но костер был давно — в прошлом, кажется, году. Нынешнюю зиму рабочим не разрешалось греться, греться только конвоир сел, слесжил головни своего костра, расщуровал пламя. Запахнул тулуп, сел на бревно.

Белая мгла окружала забой, освещенный лишь светом костра конвоира. Сидевший рядом со мной сектант встал и пошел мимо конвоира в туман, в небо...

— Стой! Стой!

Конвоир был малый неплохой, но винтовку знал хорошо.

— Стой!

Потом раздался выстрел, сухой винтовочный щелчок — сектант еще не исчез во мгле, — второй выстрел...

— Вот видишь, олень, — по-блатному сказал начальник старшему воспитателю, — они пришли в забой. — Но убийству воспитатель не посмел удивиться, а начальник участка не умел удивляться таким вещам.

— Вот твой опыт. Они, суки, еще хуже стали работать. Лишний обед — лишние силы бороться с морозом. Работу из них — запомни, олень, — выжимает только мороз. Не твой обед и не моя плюха, а только мороз. Они машут руками, чтобы согреться. А мы вкладываем в эти руки кайла, лопаты, не все ли равно, чем махать, — подставляем тачки, короба, грабарки, и прииск выполняет план. Дает золотишко...

— Теперь эти сыты и совсем не будут работать. Пока не застынут. Тогда помахают лопатами. А кормить их бесполезно. Ты здорово ффраернулся с этим обедом. На первый раз прощается. Все мы были такими оленями.

— Я не знал, что они такие гады, — сказал воспитатель.

— В следующий раз будешь верить старшим. Одного застрелили сегодня. Филон. Полгода зря государственную пайку ел. Повтори — филон.

— Филон, — повторил воспитатель.

Я стоял тут же, но начальство меня не стеснялось. Ждать у меня была законная причина — бригадир должен был привести мне нового напарника. Бригадир привел мне Лупилова — бывшего помощника Верховного прокурора Союза. И мы начали сыпать взорванный камень в короба — делать работу, которую делали мы с сектантом.

Мы возвращались по знакомой дороге, как всегда, не выполнив нормы, не заботясь о норме. Но, кажется, мы мерзли меньше, чем обычно.

Мы старались работать, но слишком далеко было расстояние нашей жизни от того, что можно выразить в цифрах, в тачках, в процентах плана. Цифры были

кощунством. Но на какой-то час, на какой-то миг наши силы — душевные и физические — после этого ночного обеда — окрепли.

И холодея от догадок, я понял, что этот ночной обед дал силы сектанту для самоубийства. Это была та порция каши, которой недоставало моему напарнику, чтобы решиться умереть. Иногда человеку надо спешить, чтобы не потерять воли пойти на смерть.

Как всегда, мы окружили печку. Только гимнов сегодня некому было петь. И, пожалуй, я даже был рад, что теперь — тишина.



ХЛЕБ

Двухстворчатая огромная дверь раскрылась, и в пересыльный барак вошел раздатчик. Он встал в широкой полосе утреннего света, отраженного голубым снегом. Две тысячи глаз смотрели на него отовсюду: снизу — из-под нар, прямо, сбоку, сверху — с высоты четырехэтажных нар, куда забирались по лесенке те, кто еще сохранил силу. Сегодня был селедочный день, и за раздатчиком несли огромный фанерный поднос, прогнувшийся под горой селедок, разрубленных пополам. За подносом шел дежурный надзиратель в белом, сверкающем, как солнце, дублёном овчинном полушубке. Селедку выдавали по утрам — через день по половинке. Какие расчеты белков и калорий были тут произведены — этого не знал никто, да никто и не интересовался такой схоластикой.

Шепот сотен людей повторял одно и то же слово: хвостики. Какой-то мудрый начальник, считаясь с арестантской психологией, распорядился выдавать одновременно либо селедочные головы, либо хвосты. Преимущества тех и других были многократно обсуждены: в хвостиках, кажется, было побольше рыбьего мяса, но зато голова доставляла гораздо больше удовольствия: обсасывались жабры, выедалась головизна. Селедку выдавали нечищенную, и это все одобряли: ведь ее ели с костями, со шкурой. Но сожаление о рыбьих головках мелькнуло и исчезло: хвостики были данностью, фактом. К тому же поднос приближался и наступала самая волнующая минута — какой величины обрезок достанется — менять ведь нельзя, протестовать тоже — все было в руках удачи — картой в этой игре с голодом. Человек, невнимательно режущий селедки на порции, не всегда понимает (или быстро забыл), что 10 граммов больше или меньше — десять граммов, кажущихся десять граммов на глаз, — могут

привести к драме, к кровавой драме, может быть. О слезах же и говорить нечего. Слезы часты, они понятны всем, и над плачущим не смеются.

Пока раздатчик приближался, каждый уж подсчитал, какой именно кусок будет протянут ему этой равнодушной рукой. Каждый успел уже огорчиться, обрадоваться, приготовиться к чуду, достичь края отчаяния, если он ошибся в своих торопливых расчетах. Некоторые зажмуривали глаза, не совладав с волнением, чтобы открыть их только тогда, когда раздатчик толкнет и протянет селедочный паек. Схватив селедку грязными пальцами, погладив, пожав ее быстро и нежно, чтобы определить — сухая или жирная досталась ему порция (впрочем, охотские селедки жирными не бывают, и это движение пальцев — тоже ожидание чуда), он не может удержаться, чтобы не обвести быстрым взглядом руки тех, кто окружают его и кто тоже глядят и мнут селедочные куски, боясь поторопиться проглотить этот крошечный хвостик. Он не ест селедку. Он ее лижет, лижет, и хвостик мало-помалу исчезает из пальцев. Остаются кости, и он жует кости осторожно, бережливо жует, и кости тают и исчезают. Потом он принимается за хлеб — пятьсот граммов выдается на сутки с утра — отщипывает по крошечному кусочку и отправляет в рот. Хлеб все едят сразу — так никто не украдет и никто не отнимет, да и сил нет его уберечь. Не надо только торопиться, не надо запивать его водой, не надо жевать. Надо сосать его, как сахар, как леденец. Потом можно взять кружку чаю — тепловатой воды, зачерненной жженой коркой.

Съедена селедка, съеден хлеб, выпит чай. Сразу становится жарко и никуда не хочется идти, хочется лечь, но уже надо одеваться — натягивать на себя оборванную телогрейку, которая была твоим одеялом, подвязать веревками подошвы к рваным буркам из стеганой ваты, буркам, которые были твоей подушкой, и надо торопиться, ибо двери уже распахнуты, и за про-

волочной колючей загородкой дворика стоят конвоиры и собаки.

*

Мы — в карантине, в тифозном карантине, но нам не дают бездельничать. Нас «гоняют» на работу — не по спискам, а просто отсчитывают пятерки в воротах. Существует способ, довольно надежный, попадать каждый день на сравнительно выгодную работу. Нужны только терпение и выдержка. Выгодная работа — это всегда та, куда берут мало людей, — двух, трех, четырех. Работа, куда берут двадцать, тридцать, сто, — это тяжелая работа, большей частью земляная. И хотя никогда арестанту не объявляют заранее места работы, — он узнает об этом уже в пути, удача в этой страшной лотерее достается людям с терпением. Надо жаться сзади, в чужие шеренги, отходить в сторону и кидаться вперед тогда, когда строят маленькую группу. Для крупных же партий самое выгодное — переборка овощей на складе, хлебозавод — словом, все те места, где работа связана с едой, будущей или настоящей — там есть всегда остатки, обломки, обрезки того, что можно есть.

Нас выстроили и повели по грязной апрельской дороге. Ноги конвоиров бодро шлепали по лужам. Нам в городской черте ломать строй не разрешалось — луж не обходил никто. Ноги сырели, но на это не обращали внимания — простуд не боялись. Студились уже тысячу раз, и притом самое грозное, что могло случиться, — воспаление легких, скажем, — привело бы в желанную больницу. По рядам отрывисто шептали: «На хлебозавод, слышь вы, на хлебозавод» — есть люди, которые вечно все знают и все угадывают. Есть и такие, которые во всем хотят видеть лучшее. Для других, напротив, все идет к худшему, и всякое улучшение они воспринимают недоверчиво, как некий недосмотр судьбы. И эта разница суждений мало зависит от лич-

ного опыта — она как бы дается в детстве — на всю жизнь . . .

Самые смелые надежды сбылись — мы стояли перед воротами хлебозавода. Двадцать человек, засунув руки в рукава, топтались, подставляя спины пронизывающему ветру. Конвоиры, отойдя в сторону, закуривали. Из маленькой двери, прорезанной в воротах, вышел человек без шапки, в синем халате. Он поговорил с конвоирами и подошел к нам. Медленно он обвел взглядом всех. Колыма каждого делает психологом, а ему надо сообразить в одну минуту очень многое. Среди двадцати оборванцев надо выбрать двоих для работы внутри хлебозавода, в «цехах». Надо, чтобы эти люди были покрепче, чтобы они могли таскать носилки с битым кирпичом, оставшимся после перекладки печи. Чтобы они не были ворами, «блатными», ибо тогда рабочий день будет потрачен на всякие встречи, передачу «ксив», записок, а не на работу. Надо, чтобы они не дошли еще до границы, за которой каждый может стать вором от голода, ибо в цехах их ведь никто караулить не будет. Надо, чтобы они не были «склонны к побегу». Надо . . .

И все это надо прочесть на двадцати арестантских лицах в одну минуту и тут же выбрать.

— Выходи, — сказал мне человек без шапки. — И ты, — ткнул он моего веснучатого всеведущего соседа. — Вот этих возьму, — сказал он конвоиру.

— Ладно, — сказал тот равнодушно.

Завистливые взгляды провожали нас.

*

У людей никогда не действуют одновременно с полной напряженностью все пять человеческих чувств. Я не слышу радио, когда внимательно читаю. Строчки прыгают перед глазами, когда я вслушиваюсь в радиопередачу — хотя автоматизм чтения сохраняется — я веду глазами по строчкам, и вдруг обнаруживается, что из только что прочитанного я не помню ничего. То

же бывает, когда среди чтения задумываешься о чем-либо другом — это уже действуют какие-то внутренние переключатели. Народная поговорка «когда я ем, я глух и нем» — известна каждому. Можно бы добавить «и слеп», ибо функция зрения при такой еде с аппетитом сосредоточивается на помощи вкусовому восприятию. Когда я что-либо нащупываю рукой глубоко в шкафу и восприятие локализовано на кончиках пальцев — я ничего не вижу и не слышу — все вытеснено напряжением ощущения осязательного. Так и сейчас, переступив порог хлебозавода, я стоял, не видя сочувственных и доброжелательных лиц рабочих (здесь работали и бывшие и сущие заключенные), не слышал слов мастера — знакомого человека без шапки, объяснявшего, что мы должны вытащить на улицу битый кирпич, что мы не должны ходить по другим цехам, не должны воровать, что хлеба он даст и так, — я ничего не слышал. Я не ощущал и того тепла жарко нагретого цеха, тепла, по которому так стосковалось мое тело за долгую зиму.

Я вдыхал запах хлеба, густой аромат «буханок», где запах горящего масла смешивался с запахом поджаренной муки. Ничтожнейшую часть этого подавляющего аромата я жадно ловил по утрам, прижав нос к корочке еще не съеденной «пайки». Но здесь он был во всей густоте и мощи и, казалось, разрывал мои бедные ноздри.

Мастер прервал очарование:

— Загляделся, — сказал он. — Пойдем в котельную.

Мы спустились в подвал. В чисто подметенной котельной у столика кочегара уже сидел мой «напарник». Кочегар в таком же синем халате, что и у мастера, курил у печи, и было видно сквозь отверстия в чугунной дверце топки, как внутри металось и сверкало пламя, то красное, то желтое, и стенки котла дрожали и гудели от судорог огня.

Мастер поставил на стол чайник, кружку с повидлом положил буханку белого хлеба.

— Напой их, — сказал он кочегару. — Я приду ми-

нут через двадцать. Только не тяните, ешьте быстрее. Вечером хлеба дадим еще, на куски поломайте, а то у вас в лагере отберут.

Мастер ушел.

— Ишь, сука, — сказал кочегар, вертя в руках буханку. — Пожалел тридцатки, гад. Ну, подожди, — и он вышел вслед за мастером, и через минуту вернулся, подкидывая на руках новую буханку хлеба.

— Тепленькая, — сказал он, бросая буханку веснуцатому парню. — Из тридцаточки. А то, вишь, хотел полубелым отделаться. Дай-ка сюда, — и взяв в руки буханку, которую нам оставил мастер, кочегар распахнул дверцу котла и швырнул ее в гудящий и воющий огонь. Захлопнув дверцы, засмеялся.

— Вот так-то, — весело сказал он, поворачиваясь к нам.

— Зачем это, — сказал я, — лучше бы мы с собой взяли.

— С собой мы еще дадим, — сказал кочегар.

Ни я, ни веснуцатый парень не могли разломить буханку.

— Нет ли у тебя ножа? — спросил я у кочегара.

— Нет. Да зачем нож?

Кочегар взял буханку в две руки и легко разломил ее. Горячий ароматный пар шел из разломленной ковриги. Кочегар ткнул пальцем в мякиш.

— Хорошо печет Федька, молодец, — похвалил он.

Но нам не было времени доискиваться — кто такой Федька. Мы принялись за еду, обжигаясь и хлебом, и кипятком, в который мы замешивали повидло. Горячий пот лился с нас ручьями. Мы торопились — мастер вернулся за нами.

Он уже принес носилки, подтащил их к куче битого кирпича, принес лопаты и сам насыпал первый ящик. Мы приступили к работе. И вдруг стало видно, что обоим нам носилки непосильно носить. Кружилась голова, нас пошатывало. Вторые носилки грузил я и положил вдвое меньше первой ноши.

— Хватит, хватит, — сказал веснущатый парень. Он был еще бледнее меня, или это веснушки подчеркивали его бледность.

— Отдохните, ребята, — весело и отнюдь не насмешливо сказал проходивший мимо пекарь, и мы покорно сели отдыхать. Мастер прошел мимо, но ничего нам не сказал.

Отдохнув, мы снова принялись за дело, но после каждых двух носилок садились — куча мусора не убывала.

— Покурите, ребята, — сказал тот же пекарь, снова появляясь.

— Табаку нету.

— Ну, я вам дам на цыгарочку. Только надо выйти. Курить здесь нельзя.

Мы поделили махорку, и каждый закурил свою папирску — роскошь, давно забытая. Я сделал несколько медленных затяжек, бережно потушил пальцем папиросу, завернул ее в бумагу и спрятал за пазуху.

— Правильно, — сказал веснущатый парень. — А я и не подумал.

К обеденному перерыву мы освоились настолько, что заглядывали и в соседние комнаты с такими же пекарными печами. Везде из печей вылезали с визгом железные формы и листы, и на полках везде лежал хлеб. Время от времени приезжала вагонетка на колесиках, выпеченный хлеб грузили и вывозили куда-то, только не туда, куда нам нужно было возвращаться к вечеру, — это был белый хлеб.

В широкое окно (без решеток) было видно, что солнце идет к закату. Из дверей потянуло холодком. Пришел мастер.

— Ну, кончайте. Носилки оставьте на мусоре. Мало-вато сделали. Вам и за неделю не перетаскать этой кучи, работнички.

Нам дали по буханке хлеба, мы изломали его на куски, набили карманы... Но сколько может войти в наши карманы?

— Прячь прямо в брюки, — командовал веснущатый парень.

Мы вышли на холодный вечерний двор — партия уже строилась — нас повели обратно. На лагерной «вахте» нас обыскивать не стали — в руках хлеба никто не нес. Я вернулся на свое место, разделил с соседями принесенный хлеб, лег и заснул, как только согрелись намокшие, застывшие ноги.

Всю ночь передо мной мелькали буханки хлеба и озорное лицо кочегара, швыряющего хлеб в огненное жерло топки.



ЗАКЛИНАТЕЛЬ ЗМЕЙ

Мы сидели на поваленной бурей огромной лиственнице. Деревья в краю вечной мерзлоты едва держатся за негостеприимную землю, и буря легко вырывает их с корнями и валит на землю. Платонов рассказывал мне историю своей здешней жизни — второй нашей жизни на этом свете. При упоминании прииска Джанхары я нахмурился. Я сам побывал в местах дрянных и трудных, но страшная слава Джанхары везде гремела.

— И долго вы были на Джанхаре?

— Год, — сказал Платонов негромко. Глаза его сузились, морщины обозначились резче, передо мной был другой Платонов, старше первого лет на десять.

— Впрочем, трудно было только первое время, два три месяца. Там одни воры. Я был единственный... грамотный человек. Я им рассказывал, «тискал романы», как говорят блатные, рассказывал по вечерам Дюма, Конан Дойля, Уоллеса. За это они меня кормили, одевали и я работал мало. Вы, вероятно, тоже в свое время использовали это единственное преимущество грамотности здесь?

— Нет, — сказал я. — Нет. Мне это казалось всегда последним унижением. Концом. За суп я никогда не рассказывал «романов». Но, знаю, что это такое. Я слышал «романистов».

— Это — осуждение? — спросил Платонов.

— Ничуть, — ответил я. Голодному человеку можно простить многое, очень многое.

— Если я останусь жив, — произнес Платонов священную формулу, которой начинались все размышления о времени дальше завтрашнего дня, — я напишу об этом рассказ. Я уже и название придумал: «Заклинатель змей». Хорошее?

— Хорошее. Надо только дожить. Вот — главное.

Андрей Федорович Платонов, киносценарист в своей первой жизни, умер недели через три после этого разговора, умер так, как умирали многие, — взмахнул кайлом, покачнулся и упал лицом на камень. Глюкоза внутривенно, сильные сердечные средства могли бы, наверное, его вернуть к жизни — он хрипел еще час, полтора, но уже затих, когда подошли носилки из больницы, и санитары унесли в морг этот маленький труп — легкий груз костей и кожи.

Я любил Платонова за то, что он не терял интереса к той жизни за синими морями, за высокими горами, от которой нас отделяло столько верст и лет и в существование которой мы уже почти не верили или, вернее, верили так, как школьники верят в существование какой-нибудь Америки. У Платонова, Бог вещь откуда, бывали и книжки, и когда было не очень холодно, например, в июле, он избегал разговоров на темы, которыми жило все «население», — какой будет или был суп на обед, будут ли давать хлеб трижды в день или сразу с утра, будет ли завтра дождь или ясная погода.

Я любил Платонова и попробую сейчас написать его рассказ — «Заклинатель змей».

*

Конец работы — это вовсе не конец работы. После гудка надо еще собрать инструмент, отнести его в кладовую, сдать, построиться, пройти две из десяти ежедневных перекличек под матерную брань конвоя, под безжалостные крики и оскорбления своих же товарищей, пока еще более сильных, чем ты, товарищей, которые тоже устали и спешат домой и сердятся из-за всякой задержки. Надо еще пройти перекличку, построиться и отправиться за пять километров в лес за дровами — ближний лес давно уж вырублен и сожжен. Бригада лесорубов заготавливает дрова, а шурфовые рабочие носят по бревнышку каждый. Как доставляются тяжелые бревна, которые не под силу взять даже двум людям, — никто не знает. Автомшины за дровами ни-

когда не посылаются, а лошади все стоят на конюшне по болезни. Лошадь ведь слабеет гораздо скорее, чем человек, хотя разница между ее прошлым бытом и нынешним неизмеримо, конечно, меньше, чем у людей. Часто кажется, да так, наверное, и есть, что человек потому и поднялся из звериного царства, стал человеком, т. е. существом, которое могло придумать такие вещи, как наши острова со всей невероятностью их жизни, что он был физически выносливее любого животного. Не рука очеловечила обезьяну, не зародыш мозга, не душа — есть собаки и медведи, поступающие умней и нравственней человека. И не подчинением себе силы огня — все это было после выполнения главного условия превращения. При прочих равных условиях в свое время человек оказался крепче, выносливей физически любого животного. Он был живуч «как кошка» — эта поговорка в применении к человеку неверна. О кошке правильнее было бы сказать — эта тварь живуча, как человек. Лошадь не выносит и месяца такой зимней здешней жизни в холодном помещении с многочасовой тяжелой работой на морозе. Если это не якутская лошадь. Но ведь на якутских лошадях и не работают. Их, правда, и не кормят. Они, как олени зимой, «копытят» снег и вытаскивают сухую прошлогоднюю траву. А человек — живет. Может быть, он живет надеждами? Но ведь никаких надежд у него нет. Если он не дурак, он не может жить надеждами. Поэтому так много самоубийц. Но чувство самосохранения, цепкость к жизни, именно физическая цепкость, которой подчинено и его сознание, — спасает его. Он живет тем же, чем живет камень, дерево, птица, собака. Но он цепляется за жизнь крепче их. И он выносливей любого животного.

О всем таком и думал Платонов, стоя у входных ворот с бревном на плече, ожидая новой переключки. Дрова принесены, сложены, и люди, теснясь, торопясь и ругаясь, вошли в темный бревенчатый барак.

Когда глаза привыкли к темноте, Платонов увидел, что вовсе не все рабочие ходили на работу. В правом дальнем углу на верхних нарах, перетащив к себе единственную лампу — бензиновую коптилку без стекла, сидело человек семь-восемь вокруг двоих, которые, скрестив по-татарски ноги и положив между собой засаленную подушку, играли в карты. Дымящаяся коптилка дрожала, огонь удлинял и качал их тени.

Платонов присел на край нары. Ломило плечи, колени, мускулы дрожали. Платонова только утром привезли на Джанхару, и работал он первый день. Свободных мест на нарах не было. Вот все разойдутся, подумал Платонов, я и лягу. Он задремал.

Игра вверху кончилась. Черноволосый человек с усиками и большим ногтем на левом мизинце перевалился к краю нар.

— А ну-ка, позови этого «Ивана Ивановича», — сказал он.

Толчок в спину разбудил Платонова.

— Ты, тебя зовут.

— Ну, где он, этот Иван Иванович? — Звали с верхних нар.

— Я не Иван Иванович, — сказал Платонов, щурясь.

— Да не идет, Федечка!

— Как не идет?

Платонова вытолкали к свету.

— Ты думаешь жить? — спросил его негромко Федя, вращая мизинец с отрощенным грязным ногтем перед глазами Платонова.

— Думаю, — ответил Платонов.

Сильный удар кулаком в лицо сбил его с ног. Платонов поднялся и вытер кровь рукавом.

— Так отвечать нельзя, — ласково объяснил Федя. — Вас, Иван Иванович, в институте разве так учили отвечать?

Платонов молчал.

— Иди, тварь, — прогворил Федя. — Иди и ложись к параше. Там твое место будет. А будешь кричать —

удавим. — Это не было пустой угрозой. Уже дважды на глазах Платонова душили полотенцем людей — по каким-то своим воровским счетам. Платонов лег на воюющие доски.

— Скука, братцы! — сказал Федя, зевая, — хоть бы пятки кто почесал что ли...

— Машка, эй, Машка, иди чеши Федечке пятки!

В полосу света вынырнул Машка, бледный хорошенький мальчик, ворёнок лет восемнадцати.

Он снял с ног Федечки заношенные желтые полуботинки, потом бережно снял грязные рваные носки и стал, улыбаясь, чесать пятки Феде. Федя хихикал, вздрагивал от щекотки.

— Пошел вон! — вдруг проговорил он. — Не можешь чесать, не умеешь.

— Да я, Федечка...

— Пошел вон, тебе говорят. Скребет, царапает. Нежности никакой...

Окружающие сочувственно кивали головами.

— Вот был у меня на Косом жид — тот чесал! Тот, братцы мои, чесал! Инженер.

И Федя погрузился в воспоминания о жиде, который чесал пятки.

— Федя, а Федя, а этот новый-то? Не хочешь попробовать?

— Ну его, — сказал Федя. — Разве такие могут чесать. А впрочем, подымите-ка его.

Платонова вывели к свету.

— Эй, ты, Иван Иванович, заправь-ка лампу, — распорядился Федя. — И ночью будешь в печку дрова подкладывать. А утром — парашку на улицу. Дневальный покажет, куда выливать...

Платонов покорно молчал.

— За это, — объяснял Федя, — ты получишь мисочку супчику. Я ведь все равно юшки-то не ем. А теперь иди, спи.

Платонов лег на старое место. Рабочие почти все спали, сжавшись по двое, по трое — так было теплее.

— Эх, скука, ночи длинные, — протянул Федя. — Хоть бы роман кто-нибудь тиснул. Вот у меня на Косом...

— Федя, а Федя, а этот новый-то — не хочешь попробовать?

— И то, — оживился Федя. — Подымите-ка его.

Платонова подняли.

— Слушай, — сказал Федя, улыбаясь почти заискивающе, — я тут погорячился немного.

— Ничего, — сказал Платонов сквозь зубы.

— Слушай, а романы ты можешь тискать?

Огонь блеснул в мутных глазах Платонова. Еще бы он не мог! Вся камера следственной тюрьмы заслушивалась «Графом Дракулой» в его пересказе. Но там были люди. А здесь? Стать шутком при дворе Миланского герцога, шутком, которого кормили за хорошую шутку и били за плохую? Есть ведь и другая сторона в этом деле. Он познакомит их с настоящей литературой. Он будет просветителем. Он разбудит в них интерес к художественному слову, он и здесь, на дне жизни будет выполнять свое дело, свой долг. По старой привычке Платонов не хотел себе сказать, что просто он будет накормлен, будет получать лишний супчик не за вынос параша, а за другую, более благородную работу. Благородную ли? Это все-таки ближе к чесанию грязных пяток вора, чем к просветительству. Но голод, холод, побои...

Федя, напряженно улыбаясь, ждал ответа.

— М-могу, — выговорил Платонов и в первый раз за этот трудный день улыбнулся. — Могу тиснуть.

— Ах ты, милый мой, — Федя развеселился. — Иди, лезь сюда. На тебе хлебушка. Получше уж завтра покушаешь. Садись сюда на одеяло. Закуривай.

Платонов, не куривший неделю, с необычайным наслаждением закурил махорочный окурок.

— А как тебя звать-то?

— Андрей, — сказал Платонов.

— Так вот, Андрей, значит что-нибудь подлинней,

позабористей. Вроде Графа Монтекристо. О трактирах не надо.

— «Отверженных», может быть? — предложил Платонов.

— Это о Жан Вальжане? Это мне на Косом тискали.

— Тогда «Клуб червонных валетов» или «Вампира»?

— Вот-вот. Давай валетов. Тише вы, твари!.. — закричал Федя.

Платонов откашлялся.

— В городе Санкт-Петербурге, в тысяча восемьсот девяносто третьем году совершено было одно таинственное преступление...

Уже рассветало, когда Платонов окончательно обесилел.

— На этом кончается первая часть, — сказал он.

— Ну, здорово! — проговорил Федя. — Как он ее! Ложись здесь с нами. Спать-то много не придется — рассвет. На работе поспишь. Набирайся сил к вечеру...

Платонов заснул.

Выводили на работу. Высокий деревенский парень, проспавший вчерашних червонных валетов, злобно толкнул Платонова в дверях.

— Ты, гадина, ходи да поглядывай!

Ему тотчас же зашептали что-то на ухо.

Строились в ряды, когда высокий парень подошел к Платонову.

— Ты Феде-то не говори, что я тебя ударил. Я, брат, не знал, что ты романист.

— Я не скажу, — ответил Платонов.

—————оОо—————

ТАТАРСКИЙ МУЛЛА И ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Жара в тюремной камере была такая, что не было видно ни одной мухи. Огромные окна с железными решетками были распахнуты настежь, но это не давало облегчения — раскаленный асфальт двора посылал вверх горячие воздушные волны, и в камере было даже прохладней, чем на улице. Вся одежда была сброшена, и сотни голых тел, пышущих тяжелым влажным жаром, ворочались, истекая потом, на полу — на нарах было слишком жарко. На комендантские «поверки» арестанты выстраивались в одних кальсонах, по часу торчали в уборных на «оправке», бесконечно обливаясь холодной водой из умывальника. Но это помогало ненадолго. Поднарники (места на нарах всем не хватало) сделались вдруг обладателями самых лучших мест. Надо было готовиться в места «далеких таборов», и острили, по-тюремному мрачно, что после пытки выпариванием их ждет пытка вымораживанием.

Татарский мулла, следственный арестант по знаменитому делу «Большой Татарии», о котором мы знали гораздо раньше того дня, когда об этом намекнули газеты, крепкий шестидесятилетний сангвиник, с мощной грудью, поросшей седыми волосами, с живым взглядом темных круглых глаз, говорил, непрерывно вытирая мокрой тряпочкой лысый лоснящийся череп.

— Только бы не расстреляли. А дадут десять лет — чепуха. Тому этот срок страшен, кто собирается жить до сорока лет. А я собираюсь жить до восьмидесяти.

(Мулла взбегал на пятый этаж без одышки, возвращаясь с прогулки.)

— Если дадут больше десяти, — продолжал он раздумывать, — то в тюрьме я проживу еще лет двадцать. А если в лагере, — мулла помолчал, — на чистом воздухе, то — десять.

Я вспомнил этого бодрого и умного муллу сегодня,

когда перечитывал «Записки из мертвого дома». Мулла знал, что такое «чистый воздух».

Морозов и Фигнер пробыли в Петропавловской крепости при строжайшем тюремном режиме по двадцати пяти лет и вышли вполне трудоспособными людьми. Вера Николаевна нашла без большого напряжения силы для дальнейшей активной работы в революции, затем написала многотомные воспоминания о перенесенных ужасах, а Николай Александрович написал ряд известных научных работ (основная их часть была сделана еще в крепости) и женился по любви на какой-то гимназистке.

В лагере для того, чтобы здоровый молодой человек, начав свою карьеру в лагерном забое на чистом воздухе, превратился в «доходягу», нужен срок по меньшей мере от двадцати до тридцати дней при шестнадцатичасовом рабочем дне, без выходных, при систематическом голоде, рваной одежде и ночевке на шестидесятиградусном морозе в дырявой брезентовой палатке; побои десятников, старост из блатарей, конвоя несколько ускоряют этот процесс. Эти сроки многократно проверены. Бригады, начинающие золотой сезон и носящие имена своих бригадиров, не сохраняют к концу сезона ни одного человека из тех, кто этот сезон начал, кроме самого бригадира, дневального бригады и кого-либо еще из личных друзей бригадира. Остальной состав бригады меняется за лето несколько раз. Золотой забой непрерывно выбрасывает отходы производства в больницы, в так называемые оздоровительные команды, в инвалидные городки и на братские кладбища.

Золотой сезон начинается пятнадцатого мая и кончается пятнадцатого сентября — четыре месяца. О зимней же работе и говорить не приходится. К лету основные забойные бригады формируются из новых людей, еще здесь не зимовавших.

Арестанты, получившие «срок», рвались из тюрьмы в лагерь. Там — работа, здоровый деревенский воздух, досрочные освобождения, переписка, посылки

от родных, денежные заработки. Человек всегда верит в лучшее. У щели дверей теплушки, в которой нас везли на Дальний Восток, день и ночь толклись пассажиры-этапники, упоенно вдыхая прохладный, пропитанный запахом полевых цветов, тихий вечерний воздух, приведенный в движение ходом поезда. Этот воздух был непохож на спертый, пахнущий карболкой и человеческим потом воздух тюремной камеры, ставшей ненавистной за много месяцев следствия. В этих камерах оставляли воспоминания о поруганной и растоптанной чести, воспоминания, которые хотелось забыть.

По простоте душевной люди представляли следственную тюрьму самым жестоким переживанием, так круто перевернувшим их жизнь. Именно арест был для них самым сильным нравственным потрясением. Теперь, вырвавшись из тюрьмы, они подсознательно хотели верить в свободу, пусть относительную, но все же свободу, жизнь без проклятых решёток, без унижительных и оскорбительных допросов. Начиналась новая жизнь без того напряжения воли, которое требовалось всегда для допроса во время следствия. Они чувствовали глубокое облегчение от сознания того, что все уже решено бесповоротно, приговор получен, не нужно думать, что именно отвечать следователю, не нужно волноваться за родных, не нужно строить планов жизни, не нужно бороться за кусок хлеба — они уже в чужой воле, уже ничего нельзя изменить, никуда нельзя повернуть с этого блестящего железнодорожного пути, медленно, но неуклонно ведущего их на север.

Поезд шел навстречу зиме. Каждая ночь была холоднее прежней, жирные зеленые листья тополей были уже тронуты светлой желтизной. Солнце уже не было таким жарким и ярким, как будто его золотую силу впитали, всосали в себя листья клёнов, тополей, берез, осин. Листья сами сверкали теперь солнечным светом. А бледное малокровное солнце не нагревало даже вагона, большую часть дня прячась за теплые сизые

тучки, еще не пахнувшие снегом. Но и до снега было недалеко.

Пересылка, еще один «маршрут» к северу. Приморская бухта их встретила небольшой метелью. Снег еще не ложился — ветер сметал его с промороженных желтых обрывов в ямы с мутной, грязной водой. Сетка метели была прозрачна. Снегопад был редок и похож на рыболовную сеть из белых ниток, накинутую на город. Над морем снег вовсе не был виден — темно-зеленые гривастые волны медленно набегали на позеленелый скользкий камень. Пароход стал на рейде и сверху казался нагруженным, и даже когда на катере их подвезли к самому борту и они один за другим взбирались на палубу, чтобы сразу разойтись и исчезнуть в горловинах трюмов, — пароход был неожиданно маленьким, много воды окружало его.

Через пять суток их выгрузили на суровом и мрачном таежном берегу, и автомашины развезли их по тем местам, где им предстояло жить — и выжить.

Здоровый деревенский воздух они оставили за морем. Здесь их окружал напитанный испарениями болот разреженный воздух тайги. Сопки были покрыты болотным покровом, и только лысины безлесых сопок сверкали голым известняком, отполированным бурями и ветрами. Нога тонула в топком мхе, и редко за летний день ноги были сухими. Зимой всё леденело. Пятидесятиградусный мороз сковывал в одно — злое и недружелюбное, — и горы, и реки, и болота казались каким-то одним существом.

Летом воздух был слишком тяжел для сердечников, зимой невыносим. В большие морозы люди прерывисто дышали. Никто здесь не бегал бегом, разве только самые молодые, и то не бегом, а как-то вприпрыжку.

Тучи комаров облепляли лицо — без сетки нельзя было сделать шага. А на работе сетка душила, мешала дышать. Поднять же ее нельзя было из-за комаров.

Работали тогда по шестнадцать часов, и нормы были рассчитаны на шестнадцать часов. Если считать, что

подъем, завтрак и развод на работу и ходьба на ее место занимают полтора часа минимум, обед — час, и ужин, вместе со сбором ко сну, полтора часа, то на сон, после убийственной тяжелой физической работы на воздухе, оставалось всего четыре часа. Человек засыпал в ту самую минуту, когда переставал двигаться, умудрялся засыпать на ходу или стоя. Недостаток сна отнимал больше сил, чем голод. Невыполнение нормы грозило штрафным пайком — четыреста граммов хлеба и лишние баланды в день.

С первой иллюзией было покончено быстро. Это — иллюзия работы, того самого труда, о котором на воротах всех лагерных отделений находится предписанная лагерным уставом известная надпись: «Труд есть дело чести, славы, дело доблести и героизма». Но лагерь не мог прививать любовь к труду, прививал только ненависть и отвращение к нему.

Раз в месяц лагерный почтальон увозил накопившуюся почту в цензуру. Письма с материка и на материк шли по полгода, если вообще шли. Посылки выдавались только тем, кто выполняет норму, — остальные подвергались конфискации. Всё это не носило характера произвола — отнюдь. Об этом читались приказы, в особо важных случаях заставляли всех поголовно расписываться. Это не было дикой фантазией какого-то дегенерата-начальника — это был приказ высшего начальства.

Но даже если кем-либо посылки и получались (можно было пообещать какому-нибудь надзирателю половину, а половину все же получить), то нести такую посылку было некуда. В бараке давно ждали блатные, чтобы отнять на глазах всех и поделиться со своими «Ванечками и Сенечками». Ее надо было съесть (что физически невозможно) или продать. Покупателей было сколько угодно — десятники, начальники, врачи.

Был и третий, самый распространенный выход. Многие отдавали хранить посылки своим знакомым по лагерю или тюрьме, работавшим на каких-либо должно-

стях и работах, где можно было запереть и спрятать. Или давали кому-либо из вольнонаемных. И в том, и в другом случае всегда был риск — никто не верил в добросовестность хозяев, но это был единственный способ спасти полученное.

Денег не платили вовсе. Ни копейки. Платили только лучшим бригадирам и то пустяки, которые не могли дать им серьезной помощи. По многим бригадам бригадиры делали так: выработки бригады записывали на два-три человека, давая им перевыполненный процент, за что полагалась денежная премия. На остальных двадцать-тридцать человек в бригаде полагался штрафной паек. Это было остроумным решением. Если бы на всех заработок был поделен поровну — никто не получил бы ни копейки. А тут получали два-три человека, выбираемые совсем случайно, часто даже без участия бригадира в составлении ведомости.

Все знали, что нормы невыполнимы, что заработка нет и не будет, и все же за десятником ходили, интересовались выработкой, бежали встречать кассира, ходили в контору за справками.

Что это такое? Есть ли это желание обязательно выдать себя за «работягу», поднять свою репутацию в глазах начальства или это просто какое-то психическое расстройство на фоне упадка питания и общей слабости? Последнее более верно.

Светлая, теплая, чистая следственная тюрьма, которую так недавно и так бесконечно давно они покинули, всем, неукоснительно всем казалась отсюда лучшим местом на земле. Все тюремные обиды были забыты, и все с увлечением вспоминали, как они слушали лекции настоящих ученых и рассказы бывалых людей, как они читали книги, как они спали и ели досыта, ходили в чудесную, пахнущую краской тюремную баню, как получали они передачи от родственников, как они чувствовали, что семья вот здесь, рядом, за двойными железными воротами, как они говорили свободно, о чем

хотели (в лагере за это полагается дополнительный срок заключения), не боясь ни шпионов, ни надзирателей. Следственная тюрьма казалась им свободней и родней родного дома, и не один говорил, размечтавшись на больничной лагерной койке, хотя осталось жить немного: «Я бы хотел, конечно, повидать семью, уехать отсюда. Но еще больше мне хотелось бы попасть в камеру следственной тюрьмы — там было еще лучше и интересней, чем дома. И я рассказал бы теперь всем новичкам, что такое «чистый воздух».

*

Если ко всему этому прибавить чуть не поголовную цингу, выраставшую, как во времена Беринга, в грозную и опасную эпидемию, уносившую десятки жизней; дизентерию, ибо ели что попало, стремясь только наполнить ноющий желудок, собирая кухонные остатки с мусорных куч, густо покрытых мухами; пеллагру — эту болезнь бедняков, истощение, после которого кожа на ладонях и стопах слезала с человека, как перчатка, а по всему телу шелушилась крупным круглым лепестком, похожим на дактилоскопические оттиски, и, наконец, знаменитую алиментарную дистрофию — болезнь голодных, которую только после Ленинградской блокады стали называть своим настоящим именем. До того времени она носила разные названия: РФИ — таинственные буквы в диагнозах историй болезни, переводимые как резкое физическое истощение, или чаще полиавитаминоз, чудное латинское название, говорящее о недостатке нескольких витаминов в организме человека и успокаивающее врачей, нашедших удобную и законную латинскую форму для обозначения одного и того же — голода.

Неотапливаемые сырые бараки, где во всех щелях изнутри намерзал толстый лед, будто какая-то огромная стеариновая свеча оплывала в углу барака, плохая одежда и голодный паек, отморожения, а отморожение

— это ведь мучение навек, если даже не прибегать к ампутациям. Если представить, сколько при этом должно было появиться и появлялось гриппов, воспалений легких, всяческих простуд и туберкулеза в болотистых этих горах, губительных для сердечника. Если вспомнить эпидемии саморубов-членовредителей. Если принять во внимание и огромную моральную подавленность и безнадежность, то легко видеть, насколько «чистый воздух» был опаснее для здоровья человека, чем тюрьма.

Поэтому нет нужды полемизировать с Достоевским насчет преимуществ «работы» на каторге по сравнению с тюремным бездельем и достоинств «чистого воздуха». Время Достоевского было другим временем, и каторга тогда еще не дошла до тех высот, о которых будет рассказано. Об этом заранее трудно составить верное представление, ибо всё тамошнее слишком необычайно, невероятно, и бедный человеческий мозг просто не в силах представить в конкретных образах тамошнюю жизнь, о которой смутное, неуверенное понятие имел наш тюремный знакомый — татарский мулла.



ТЕРМОМЕТР ГРИШКИ ЛОГУНА

Усталость была такая, что мы сели прямо на снег у дороги, прежде чем идти домой.

Вместо вчерашних сорока градусов было всего лишь двадцать пять, и день казался летним.

Мимо нас прошел в расстегнутом нагольном полушубке Гришка Логун, прораб соседнего участка. В руке он нес новый черенок для кайла. Гришка был молод, удивительно краснорож и горяч. Он был из десятников, даже из младших десятников, и часто не мог удержаться, чтобы не подпереть собственным плечом засевшую в снегу машину или помочь поднять какое-нибудь бревно, сдвинуть с места примерзший короб, полный грунта, — поступки, явно предосудительные для прораба. Он все забывал, что он — прораб.

Навстречу ему шла виноградская бригада — ребята не бог весть какие, вроде нас. Состав ее был точно такой, как и у нас, — бывшие секретари обкомов и горкомов, профессора и доценты, военные работники средних чинов...

Люди боязливо сбились в кучу к снежному борту — они шли с работы и давали дорогу Гришке Логуну. Но и он остановился — бригада работала на его участке. Из рядов выдвинулся Виноградов — говорун, бывший директор одной из украинских МТС.

Логун уже успел отойти от того места, где мы сидели, порядочно, голосов нам не было слышно, но все было понятно и без слов. Виноградов, махая руками, что-то объяснял Логуну. Потом Логун ткнул кайловищем в грудь Виноградова, и тот упал навзничь... Виноградов не поднимался. Логун вскочил на него ногами, топтал его, размахивал палкой. Ни один человек из двадцати рабочих его бригады не сделал ни одного движения в защиту своего бригадира. Логун подобрал упавшую шапку, погрозил кулаком и двинулся дальше. Вино-

градов встал и пошел как ни в чем не бывало. И остальные — бригада шла мимо нас — не выражали ни сочувствия, ни возмущения. Поравнявшись с нами, Виноградов скривил разбитые, кровоточащие губы. — Вот у Логуна термометр, так термометр, — сказал он. — Топтать — это «пляска» по-блатному. Или «Ах, вы сени, мои сени», — тихо сказал Вавилов.

— Ну, — сказал я Вавилову, приятелю своему, с которым приехал я вместе на прииск из самой Бутырской тюрьмы, — что ты скажешь? Надо что-то решать. Вчера нас еще не били. Могут ударить завтра. Что ты сделал бы, если Логун тебя, как Виноградова? А?

— Стерпел бы, наверное, — тихо ответил Вавилов. И я понял, что он уже давно думал об этой неотвратимости.

Потом я понял, что тут все дело в физическом преимуществе — если это касается бригадиров, дневальных, смотрителей — всех людей небооруженных. Пока я сильнее — меня не ударят. Ослабел — меня бьет всякий. Бьет дневальный, бьет банщик, парикмахер и повар. Десятник и бригадир, бьет любой блатной, хоть самый бессильный. Физическое преимущество конвоира — в его винтовке.

Сила начальника, который бьет меня, — это закон, и суд, и трибунал, и охрана, и войска. Не трудно ему быть сильнее меня. Сила блатных — в их множестве, в их «коллективе», в том, что они могут со второго слова зарезать (и сколько раз я это видел). Но я еще силен. Меня может бить начальник, конвоир, блатной. Дневальный, десятник и парикмахер меня еще бить не могут.

Когда-то Полянский, физкультурный деятель в прошлом, получавший много посылок и не поделившийся никогда ни с кем ни одним куском, укоризненно говорил мне, что просто не понимает, как люди могут довести себя до такого состояния, когда их бьют, — возмущался моими возражениями. Но не прошло и года, как я встретил Полянского — «доходягу», «фи-

тиля», сборщика окурков, жаждавшего за суп чесать пятки на ночь каким-то блатным «паханам».

Полянский был честен. Какие-то тайные муки терзали его — настолько сильные, острые, навечные, что сумели пробиться сквозь лед, сквозь смерть, сквозь равнодушие и побои, сквозь голод, бессонницу и страх.

Как-то настал праздничный день, а нас в праздники сажали под замок — это называлось праздничной изоляцией, — и были люди, которые встречались друг с другом, познакомились друг с другом, поверили друг другу именно на этих «изоляциях». Как ни страшна, как ни унижительна была изоляция — она была легче работы для заключенных пятьдесят восьмой. Ведь изоляция была отдыхом — пусть минутным, а кто бы тогда разобрался, минута или сутки или год или столетие нужно было нам, чтобы вернуться в прежнее свое тело — в прежнюю свою душу мы и не рассчитывали вернуться назад. И не вернулись, конечно. Никто не вернулся. Так вот, Полянский был честен, мой сосед по нарам «в изоляционный день».

— Я хотел давно тебя спросить одну вещь.

— Что же это за вещь?

— Когда несколько месяцев назад я смотрел на тебя, как ты ходишь, как не можешь перешагнуть бревна на своем пути и должен обходить бревно, которое перешагнет собака. Когда ты шаркаешь ногами по камням, и маленькая неровность, чуточный бугорок на пути казался препятствием неодолимым, вызывающим сердцебиение, одышку и требующим длительного отдыха, я смотрел на тебя — и думал: вот лодырь, вот филон, опытная сволочь, симулянт, лодырь.

— Ну? А потом ты понял?

— Потом я понял. Понял. Когда сам ослабел. Когда меня все стали толкать, бить, — а для человека нет лучше ощущения сознавать, что кто-то еще слабее, еще хуже.

— Почему ударников приглашают на совещания, почему физическая сила — нравственная мерка. Физи-

чески сильнее — значит лучше, моральнее, нравственней меня. Еще бы — он поднимает глыбу в 10 пудов, а я гнусь под полупудовым камнем.

— Я все это понял — и хочу тебе сказать.

— Спасибо и на том.

Вскоре Полянский умер — упал где-то в забое. Бригадир его ударил кулаком в лицо. Бригадир был не Гришка Логун, а свой, Фирсов, военный, по пятьдесят восьмой статье.

Я хорошо помню, когда меня ударили первый раз. Первый раз из сотен тысяч плюх, ежедневных, ежедневных.

Запомнить все плюхи нельзя, но первый удар я помню хорошо — был к нему даже подготовлен поведением Гришки Логуна, смирением Вавилова.

Среди голода, холода, четырнадцатичасового рабочего дня в морозной белой мгле каменного золотого забоя вдруг мелькнуло что-то иное, какое-то счастье, какая-то милостыня, сунутая на ходу — милостыня не хлебом, не лекарством, а милостыня временем, отдыхом неурочным.

Горным смотрителем, десятником на участке нашем был Зуев — «вольняшка», бывший зэка, побывавший в лагерной шкуре.

Что-то было в черных глазах Зуева — выражение какого-то сочувствия что ли к горестной человеческой судьбе.

Власть — это растление. Спущенный с цепи зверь, скрытый в душе человека, ищет жадного удовлетворения своей извечной человеческой сути — в побоях, в убийствах.

Я не знаю, можно ли получить удовлетворение от подписи на расстрельном приговоре. Наверно, там тоже есть мрачное наслаждение, воображение, не ищущее оправданий.

Я видел людей — и много, — которые приказывали когда-то расстреливать, — и вот сейчас их убивали самих. Ничего, кроме трусости, кроме крика — тут

какая-то ошибка, я не тот, которого надо убивать для пользы государства, — я сам умею убивать.

Я не знаю людей, которые давали приказы о расстрелах. Видел их только издали. Но думаю, что приказ о расстреле держится на тех же душевных силах, на тех же душевных основаниях, что и сам расстрел, убийство своими руками.

Власть — это растление.

Опьянение властью над людьми, безнаказанность, издевательство, унижения, поощрение — нравственная мера служебной карьеры начальника.

Но Зуев бил меньше, чем другие, — нам повезло.

Мы только что пришли на работу, и бригада теснилась в «затишке» — спрятались за выступ скалы от режущего резкого ветра. Укрывая лицо рукавицами, к нам подошел Зуев, десятник. Развели по работам, по забоям, а я остался без дела.

— У меня к тебе просьба, — задыхаясь от собственной смелости, сказал Зуев, — просьба! Не приказ!

— Напиши мне заявление Калинину. Снять судимость. Я тебе расскажу, в чем дело. — В маленькой будке десятника, где горела печка и куда нашего брата не пускали — выгоняли пинками, плюхами любого из рабочих, посмевших отворить дверь, чтобы хоть на минуту вдохнуть этот горячий воздух жизни.

Звериное чувство вело нас к этой заветной двери. Придумывались просьбы — сколько время? Вопросы — вправо пойдет забой или влево?

— Разрешите прикурить!

— Нет ли здесь Зуева? Добрякова?

Но эти просьбы не обманывали никого в будке. Из открытых дверей пришедших возвращали в мороз пинками. Но — все же минута тепла...

Сейчас меня не гнали, я сидел у самой печки.

— Это что, юрист? — презрительно прошипел кто-то.

— Да, мне рекомендовали, Павел Иванович.

— Ну-ну, — это был старший десятник, он снизошел до нужды подчиненного.

— Дело Зуева (он кончил срок еще в прошлом году) было самым обыкновенным деревенским делом, начавшимся с алиментов родителям, которые и определили Зуева в тюрьму. До окончания срока оставалось недолго, но начальство успело переправить Зуева на Колыму. Колонизация края требует твердой линии в создании всяких препятствий к отъезду, государственной помощи и постоянного внимания приезду, завозу на Колыму людей. Эшелон заключенных — просто наиболее простой путь обживания новой трудной земли.

Зуев хотел рассчитаться с Дальстроем, просил снять судимость, отпустить на материк по крайней мере.

Трудно было мне писать, и не только потому, что загубели руки, что пальцы сгибались по черенку лопаты и кайла и разогнуть их было невероятно трудно. Можно было только обмотать карандаш и перо тряпкой потолще, чтобы имиритовать кайловище, черенок лопаты.

Когда я догадался это сделать — я был готов выводить буквы.

Трудно было писать, потому что мозг загубел так же, как руки, потому что мозг кровоточил так же, как руки. Нужно было оживить, воскресить слова, которые уже ушли из моей жизни и, как я считал, навсегда.

Я писал эту бумагу, потая и радуясь. В будке было жарко и сразу же зашевелились, заползали по телу вши. Я боялся почесаться, чтобы не выгнали на мороз, как вшивого, боялся внушить отвращение своему спасителю.

К вечеру я написал жалобу Калинину. Зуев поблагодарил меня и всунул в руку пайку хлеба. Пайку надо было немедленно съесть, да и все, что можно съесть сразу, не надо откладывать до завтра — этому я был обучен.

День уже кончался — по часам десятников, ибо белая мгла была одинаковой утром и в полночь и в полдень, — и нас повели домой.

Я спал и по-прежнему видел свой постоянный колымский сон — буханки хлеба, плывущие по воздуху, заполнившие все дома, все улицы, всю землю.

Утром я ждал встречи с Зуевым, — может быть, закурить даст.

И Зуев пришел. Не таясь от бригады, от конвоя, он зарычал, вытаскивая меня из затишка на ветер:

— Ты обманул меня, сука!

Ночью он прочел заявление. Заявление ему не понравилось. Его соседи, десятники, тоже прочли и не одобрили заявления. Слишком сухо. Мало слез. Такое заявление и подавать бесполезно. Калинина не разжалобишь такой чепухой.

Я не мог, не мог выжать из своего иссушенного лагерем мозга ни одного лишнего слова. Не мог заглушить ненависть. Я не справился с работой, и не потому, что слишком велик был разрыв между волей и Колымой, не потому, что мозг мой устал, изнемог, а потому, что там, где хранились прилагательные восторженные, там не было ничего, кроме ненависти. Подумайте, как бедный Достоевский все десять лет своей солдатчины после Мертвого дома писал скорбные, слезные, унижительные, но трогающие душу начальства письма. Достоевский даже писал стихи императрице. В Мертвом доме не было Колымы. Достоевского постигла бы немота, та самая немота, которая не дала мне писать заявление Зуеву.

— Ты обманул меня, сука! — ревел Зуев. — Я покажу, как меня обманывать.

— Я не обманывал...

— День просидел в будке, в тепле. Я сроком за тебя, гадину, отвечаю, за твое филонство! Думал — ты человек!

— Я — человек, — неуверенно двигая синими обмороженными губами, прошептал я.

— Я покажу тебе сейчас, какой ты человек!

Зуев выбросил руку, и я ощутил легкое, почти невесомое прикосновение, не более сильное, чем порыв ветра, который в том же забое не раз сдувал меня с ног.

Я упал, и, закрываясь руками, облизал языком что-то сладкое, липкое, выступившее на краю губ.

Зуев несколько раз ткнул меня валенком в бок, но мне не было больно.



ПЕРВАЯ СМЕРТЬ

Много я видел человеческих смертей на севере, пожалуй, даже слишком много для одного человека, но первую виденную смерть я запомнил ярче всего.

Той зимой пришлось нам работать в ночной смене. Мы видели на черном небе маленькую светлосерую луну, окруженную радужным нимбом, заживавшимся в большие морозы. Солнца мы не видели вовсе — мы приходили в бараки (не домой — домом их никто не называл) и уходили из них затемно. Впрочем, солнце показывалось так ненадолго, что не могло успеть даже разглядеть землю сквозь белую плотную марлю морозного тумана. Где находится солнце, мы определяли по догадке — ни света, ни тепла не было от него.

Ходить в забой было далеко — два-три километра, и путь лежал посреди двух огромных, трехсаженных снежных валов — нынешней зимой были большие снежные заносы, и после каждой метели прииск «отгребался». Тысячи людей с лопатами выходили чистить эту дорогу, чтобы дать проход автомашинам. Всех, кто работал на расчистке пути, окружали сменным конвоем с собаками и целыми сутками держали на работе, не разрешали ни погреться, ни поесть в тепле. На лошадях привозили замороженные «пайки» хлеба, иногда, если работа затягивалась, консервы — по одной банке на двух человек. На тех же лошадях отвозили в лагерь больных и ослабевших. Людей отпускали только тогда, когда работа была сделана, — с тем, чтобы они могли выспаться и снова идти на мороз для своей «настоящей» работы. Я заметил тогда удивительную вещь — тяжело и мучительно трудно в такой многочасовой работе бывает только первые шесть-семь часов. После этого теряешь представление о времени, подсознательно следя только за тем, чтобы не замерзнуть: топчешься, машешь лопатой, не думая вовсе ни о чем, ни на что не надеясь.

Окончание этой работы бывает всегда неожиданностью, внезапным счастьем, на которое ты, как будто, никак и не смел рассчитывать. Все веселы, шумны и на какое-то время будто нет ни голода, ни смертельной усталости. Наскоро построясь в ряды, все весело бегут «домой». А по бокам поднимаются валы огромной снеговой траншеи, валы, отрезающие нас от всего мира.

Метели давно уже не было, и пухлый снег осел, уплотнел и казался еще мощнее и тверже. По гребню вала можно было пройти, не проваливаясь. Оба вала в нескольких местах были прорезаны перекрестной дорогой.

Часам к двум ночи мы приходили обедать, наполняя барак шумом намерзшихся людей, лязгом лопат, громким говором людей, вошедших с улицы, говором, который лишь постепенно стихает и глохнет, возвращаясь к обычной человеческой речи. Ночью обед был всегда в бараке, а не в мерзлой столовой с выбитыми стеклами, столовой, которую все ненавидели. После обеда те, у кого была махорка, — закуривали, а тем, кто махорки не имел, товарищи оставляли «покурить», и в общем выходило так, что «задохнуться» успевал каждый.

Наш бригадир, Коля Андреев, бывший директор МТС, а сущий заключенный, осужденный на десять лет по модной пятьдесят восьмой статье, ходил всегда впереди бригады и всегда быстро. Бригада наша была бесконвойная. Конвоя в те времена не хватало — этим и объяснялось «доверие» начальства. Однако сознание своей особенности, бесконвойности для многих было не последним делом, как это ни наивно. Бесконвойное хождение на работу всем по-серьезному нравилось, составляло предмет гордости и похвалы. Бригада действительно и работала лучше, чем потом, когда конвоя стало достаточно, и андреевская бригада была уравнена в правах со всеми остальными.

Нынешней ночью Андреев вел нас новой дорогой — не низом, а прямо по хребту снежного вала. Мы видели

мерцанье золотых огней прииска, темную громаду леса влево и сливавшиеся с небом далекие вершины сопок. Впервые ночью мы видели свое жилье издали.

Дойдя до перекрестка, Андреев вдруг круто повернул вправо и сбежал вниз прямо по снегу. За ним, покорно повторяя его непонятные движения, посыпались гурьбой вниз люди, гремя ломami, кайлами, лопатами, — инструмент никогда не оставляли на работе — там его крали, а за потерю инструмента грозил штраф.

В двух шагах от перекрестка дороги стоял человек в военной форме. Он был без шапки, короткие темные волосы его были взъерошены, пересыпаны снегом, шинель расстегнута. Еще дальше, заведенная прямо в глубокий снег, стояла лошадь, запряженная в легкие сани-кошовку.

А около ног этого человека лежала навзничь женщина. Шубка ее была распахнута, пестрое платье измято. Около головы ее валялась скомканная черная шаль. Шаль была втоптана в снег, так же, как и светлые волосы женщины, казавшиеся почти белыми в лунном свете. Худенькое горло было открыто, и на шее справа и слева проступали овальные темные пятна. Лицо было белым, без кровинки, и только взглядевшись, я узнал Анну Павловну, секретаршу начальника нашего прииска.

Мы все знали ее в лицо хорошо — на прииске женщин было очень мало. Месяцев шесть назад, летом, она проходила вечером мимо нашей бригады, и восхищенные взгляды арестантов провожали ее худенькую фигурку. Она улыбнулась нам и показала рукой на солнце, уже отяжелевшее, спускавшееся к закату.

— Скоро уже, ребята, скоро, — крикнула она.

Мы, как и лагерные лошади, весь рабочий день думали только о минуте его окончания. И то, что наши немудреные мысли были так хорошо поняты, и притом такой красивой, по нашим тогдашним понятиям, женщиной, — растрогало нас. Анну Павловну наша бригада любила.

Сейчас она лежала перед нами мертвая, удушенная пальцами человека в военной форме, который растерянно и дико озирался вокруг. Его я знал гораздо лучше. Это был наш приисковский следователь Штеменко, который «дал дела» многим из заключенных. Он неумолимо допрашивал, нанимал за махорку или миску супа ложных свидетелей-клеветников, вербуя их из голодных заключенных. Некоторых он уверял в государственной необходимости лжи, некоторым угрожал, некоторых подкупал. Он не давал себе труда раньше ареста нового следственного познакомиться с ним, вызвать его к себе, хотя все жили на одном прииске. Готовые протоколы и побои ждали арестованного в следовательском кабинете.

Штеменко был именно тот «начальник», который при посещении нашего барака месяца три назад изломал все арестантские «котелки», сделанные из консервных банок, — в них варили все, что можно сварить и съесть. В них носили обед из столовой — чтобы съесть его сидя и съесть горячим, разогрев в своем бараке на печке. Поборник чистоты и дисциплины, Штеменко потребовал кайло и собственноручно пробил днища консервных банок.

Сейчас он, заметив Андреева в двух шагах от себя, схватился было за кобуру пистолета, но, увидев толпу людей, вооруженных ломami и кайлами, так и не вытащил оружия. Но ему уже крутили руки. Это делалось со страстью — узел затянули так, что веревку потом разрезать пришлось ножом.

Труп Анны Павловны положили в кошовку и двинулись в поселок, к дому начальника прииска. С Андреевым туда пошли не все — многие бросились скорей в барак, к супу.

Долго не отпирал начальник, разглядев сквозь стекло толпу арестантов, собравшихся у дверей его дома. Наконец Андрееву удалось объяснить, в чем дело, и он, вместе со связанным Штеменко и двумя заключенными, вошел в дом.

Обедали мы в эту ночь очень долго. Андреева водили куда-то давать показания. Но потом он пришел, командовал, и мы пошли на работу.

Штеменко вскоре осудили на десять лет за убийство из ревности. Наказание было минимальным. Судили его на нашем же прииске и после приговора куда-то увезли. Бывших лагерных начальников в таких случаях содержат где-то особо — никто никогда не встречал их в обыкновенных лагерях.



ТЕТЯ ПОЛЯ

Тетя Поля умерла в больнице от рака желудка в возрасте пятидесяти двух лет. Вскрытие подтвердило диагноз лечащего врача. Впрочем, в нашей больнице патолого-анатомический диагноз редко расходился с клиническим — так бывает в самых лучших и в самых плохих больницах.

Фамилию тети Поли знали только в конторе. Не помнила полиной фамилии даже жена начальника, у которого тетя Поля сем лет была «дневальной», т. е. прислугой.

Все знают, кто такой дневальный или дневальная, но не все знают, кем они могут быть. Доверенное лицо недоступного властителя тысяч человеческих судеб; свидетель его слабостей, его темных сторон. Человек, знающий теневые стороны дома. Раб, но и непременный участник подводной, подземной квартирной войны; участник или, по крайней мере, наблюдатель домашних сражений. Негласный арбитр в ссорах мужа и жены. Ведущий хозяйство семьи начальника, умножающий его богатство, и не только экономией и честностью. Один такой дневальный торговал в пользу начальника махорочными папиросами, продавая их заключенным по десять рублей папироса. Лагерная палата мер и весов установила, что в спичечную коробку входит махорки на восемь папирос, а «восьмушка» махорки состоит из восьми таких спичечных коробочек. Эти меры сыпучих тел действуют на $\frac{1}{2}$ территории Советского Союза — во всей Восточной Сибири.

Наш дневальный выручал за каждую пачку махорки шестьсот сорок рублей. Но и эта цифра не была, как говорится, пределом. Можно было насыпать неполные коробочки — разница на взгляд почти незаметна, да и ссориться с дневальным начальника никто не захочет. Можно было «вертеть» более тонкие папи-

росы. Вся закрутка — дело рук и совести дневального. Наш дневальный скупал у начальника махорку по пятьсот рублей за пачку. Стосорокарублевая разница шла в карман дневального.

Хозяин тети Поли махоркой не торговал, и вообще никакими темными делами Поле у него заниматься не приходилось. Тетя Поля была великая стряпуха, а дневальные, сведующие в кулинарии, ценились особенно дорого. Тетя Поля могла связаться — и действительно бралась — устроить кого-либо из земляков-украинцев на легкую работу или включить в какой-нибудь список на освобождение. Помощь тети Поли своим землякам была весьма серьезной. Другим она не помогала, разве только советом.

Тетя Поля работала у начальника седьмой год и думала, что и все свои десять «рокив» проживет безбедно.

Тетя Поля была расчетливой бессребреницей и справедливо полагала, что ее равнодушие к подаркам, к деньгам не может не прийтись по душе любому начальнику. Расчеты ее оправдались. Она была своим человеком в семье начальника, и уже был намечен план ее освобождения — она должна была числиться грузчицей автомашины на прииске, где работал брат начальника, и прииск ходатайствовал бы о ее освобождении.

Но тетя Поля заболела, ей становилось все хуже, и ее отвезли в больницу. Главный врач распорядился, чтобы тете Поле отвели отдельную палату. Десять полутрупов вытащили в холодный коридор, чтобы освободить место дневальной начальника.

Больница оживилась. Ежедневно во второй половине дня приезжали виллисы, приезжали грузовики; из кабин выходили дамы в тулупах, выходили военные — все стремились к тете Поле. И тетя Поля обещала каждому: если выздоровеет — замолвит словечко начальнику.

Каждое воскресенье лимузин ЗИС-110 въезжал в

больничные ворота — тете Поле везли посылочку, записочку от жены начальника.

Тетя Поля отдавала все санитаркам, попробует ложечку — и отдаст. Болезнь свою она знала.

Но выздороветь тетя Поля не могла. И вот однажды в больницу явился — с запиской начальника — необычайный посетитель — отец Петр, как он назвал себя нарядчику. Оказывается, тетя Поля желала исповедаться.

Необычайный посетитель был Петька Абрамов. Его все знали. Он даже лежал в этой больнице несколько месяцев назад. А сейчас это был отец Петр.

Визит преподобного взволновал всю больницу. Оказывается, в наших краях есть священники! И они исповедуют желающих! В самой большой палате больницы — палате № 2, где между обедом и ужином ежедневно рассказывался кем-либо из больных гастрономический рассказ во всяком случае не для улучшения аппетита, а из-за потребности голодного человека в возбуждении пищевых эмоций, — в этой палате говорили только об исповеди тети Поли.

Отец Петр был в кепке, в бушлате. Ватные его брюки заправлены в кирзовые старенькие сапоги. Волосы были острижены коротко — для лица духовного звания гораздо короче, чем волосы стилиг пятидесятых годов. Отец Петр расстегнул бушлат и телогрейку — стала видна голубая косоворотка и большой наперстный крест. Это был не простой крест, а распятие — только самодельное, выточенное умелой рукой, но без необходимых инструментов.

Отец Петр исповедовал тетю Полю и ушел. Он долго стоял на шоссе, поднимая руки, когда приближались грузовики. Две машины прошли, не останавливаясь. Тогда отец Петр вынул из-за пазухи готовую, свернутую папиросу, поднял ее над головой, и первая же машина затормозила — шофер гостеприимно открыл дверцы кабины.

Тетя Поля умерла, и похоронили ее на больничном

кладбище. Это было большое кладбище под горой (вместо «умереть» больные говорили «попасть под сопку») с братскими могилами «А», «Б», «В» и «Т», несколькими хордообразными линиями могил-одинок. Ни начальника, ни его супруги, ни отца Петра не было на похоронах тети Поли. Обряд похорон был обычным: нарядчик навязал на левую голень тети Поли деревянную бирку с номером. Это был номер личного дела. По инструкции номер должен быть написан простым черным карандашом, а отнюдь не химическим — как и на лесных топографических реперах-затесах.

Привычные могильщики-санитары закидали камнями сухонькое тело тети Поли. Нарядчик укрепил в камнях палочку — опять с тем же номером личного дела.

Прошло несколько дней, и в больницу явился отец Петр. Он уже побывал на кладбище и сейчас гремел в конторе.

— Крест надо поставить. Крест.

— Еще чего, — ответил нарядчик.

Ругались они долго. Наконец отец Петр объявил:

— Даю вам неделю срока. Если за эту неделю крест не будет поставлен, буду жаловаться на вас начальнику управления. Тот не поможет — буду писать начальнику Дальстроя. Тот откажет — буду жаловаться на него в Совнарком. Совнарком откажет — в Синод напишу, — орал отец Петр.

Нарядчик был старым арестантом и хорошо знал «страну чудес»; он знал, что там могут случаться самые неожиданные вещи. И, подумав, он решил доложить о всей истории главному врачу.

Главный врач, когда-то бывший не то министром, не то заместителем министра, посоветовал не спорить и поставить крест на могиле тети Поли.

— Если поп так уверенно говорит, значит, тут что-то есть. Он что-то знает. Все может быть, все может быть, — бормотал бывший министр.

Поставили крест, первый крест на этом кладбище.

Его было далеко видно. Хотя он был единственным — все это место приняло настоящий кладбищенский вид. Все ходячие больные ходили смотреть на этот крест. И досочка была прибита с надписью в траурной рамке. Сделать надпись поручили старику-художнику, который уже второй год лежал в больнице. Он, собственно, не лежал, а только числился на койке, а все свое время тратил на массовое производство трех видов копий: «Золотая осень», «Три богатыря» и «Смерть Иоанна Грозного». Художник клялся, что может писать эти копии с закрытыми глазами. Заказчиками его было все поселковое и больничное начальство.

Но досочку на крест тети Поли художник согласился сделать. Он спросил, что надо писать. Нарядчик порылся в своих списках.

— Ничего не нахожу, кроме инициалов, — сказал он. — Тимошенко П. И. Пиши Полина Ивановна. Умерла такого-то числа. Художник, никогда с заказчиками не споривший, так и написал. А ровно через неделю явился Петька Абрамов, то есть отец Петр. Он сказал, что тетю Полю зовут не Полина, а Прасковья, и не Ивановна, а Ильинична. Он сообщил дату ее рождения и потребовал вставить ее в могильную надпись. Надпись исправили в присутствии отца Петра.



ГАЛСТУК

Как рассказать об этом проклятом галстукe?

Это — правда особого рода, это правда действительности. Но это не очерк, а рассказ. Как мне сделать его вещью прозы будущего — чем-либо вроде рассказов Сент-Экзюпери, открывшего нам воздух.

В прошлом и настоящем для успеха необходимо, чтобы писатель был иностранцем в той стране, о которой он пишет. Чтобы он писал с точки зрения людей, их интересов — кругозора — среди которых он вырос и приобрел привычки, вкусы, взгляды. Писатель пишет на языке тех, от имени которых он говорит. И не больше. Если же писатель знает материал слишком хорошо, те, для кого он пишет, не поймут писателя. Писатель изменил, перешел на сторону своего материала.

Не надо знать материал слишком. Таковы все писатели прошлого и настоящего, но проза будущего требует другого. Заговорят не писатели, а люди профессии, обладающие писательским даром. И они расскажут только о том, что знают и видели. Достоверность — вот сила литературы будущего.

А может быть, рассуждения здесь ни к чему, и самое главное — постараться вспомнить — во всем вспомнить Марусю Крюкову, хромую девушку, которая травилась вероналом, скопила несколько блестящих крошечных желтеньких яйцеобразных таблеток и проглотила их. Веронал она выменяла на хлеб, на кашу, на порцию селедки у соседок по палате — коим был прописан веронал. Фельдшера знали о торговле вероналом и заставляли больных глотать таблетку на глазах, но корочка у таблетки была жесткая, и обычно больным удавалось заложить веронал за щеку или под язык и после ухода фельдшера выплюнуть на собственную ладонь.

Маруся Крюкова не рассчитала дозы. Она не умер-

ла, ее просто вырвало, и после оказанной помощи — промывания желудка — Марусю выписали на пере-сылку. Но все это было много позже истории с галстуком.

Маруся Крюкова приехала из Японии в конце тридцатых годов. Дочь эмигранта, жившего на окраине Киото, Маруся с братом вступила в союз «Возвращение в Россию», связалась с советским посольством и в 1939 году получила въездную русскую визу. Во Владивостоке Маруся была арестована вместе со всеми своими товарищами и с братом, увезена в Москву и больше никогда никого из друзей своих не встречала.

На следствии Марусе сломали ногу и, когда кость срослась, увезли на Колыму — отбывать двадцатипятилетний срок заключения.

Маруся была великая рукодельница, мастерица вышивки — на эти вышивки и жила марусина семья в Киото.

На Колыме это умение Маруси обнаружили начальники сразу. Ей никогда не платили за вышивки — либо принесут кусок хлеба, два куска сахару, папиросы — Маруся, впрочем, не научилась курить. И ручная вышивка чудной работы стоимостью в несколько сотен рублей оставалась в руках начальства.

Услышав о способностях заключенной Крюковой, начальница санчасти положила Марусю в больницу, и с этого времени Маруся вышивала врачихе.

Когда пришла телефонограмма в совхоз, где Маруся работала, чтобы всех мастериц-рукодельниц направить попутной машиной в распоряжение... начальник лагеря спрятала Марусю — у женщины был большой заказ для мастерицы. Но кто-то немедленно написал высшему начальству донос, и Марусю пришлось отправить. Куда?

Две тысячи километров тянется, вьется центральная колымская «трасса» — шоссе среди сопок, ущелий, столбики, рельсы, мосты... Рельс на Колымской «трассе» нет. Но все повторяли и повторяют здесь некрасов-

скую «Железную дорогу» — зачем сочинять стихи, когда есть вполне пригодный текст. Дорога построена вся от кайла и лопаты, от тачки и бура...

Через каждые четыреста-пятьсот километров на «трассе» стоит «Дом Дирекции» — сверхроскошный отель-«люкс», находящийся в личном распоряжении директора Дальстроя, сиречь генерал-губернатора Колымы. Только он, во время своих поездок по вверенному ему краю, может там ночевать. Дорогие ковры, бронза и зеркала. Картины-подлинники — немало имен живописцев первого ранга, вроде Шухаева. Шухаев был на Колыме десять лет. В 1957 году на Кузнецком мосту была выставка его работ, его книга жизни. Она началась светлым пейзажем Бельгии и Франции, автопортретом в золотом камзоле Арлекина. Потом магаданский период — два небольших портрета маслом — портрет жены и автопортрет в мрачной темнокоричневой гамме — две работы за десять лет. На портретах — люди, увидевшие страшное. Кроме этих двух портретов — эскизы театральных декораций.

После войны Шухаева освобождают. Он едет в Тбилиси — на юг, на юг, унося ненависть к северу. Он сломлен. Он пишет картину «Клятва Сталина в Гори» — подхалимскую. Он сломлен. Портреты ударников, передовиков производства. «Дама в золотом платье». Меры блеска в портрете этом нет — кажется, художник заставляет себя забыть о скупости северной палитры. И все. Можно умирать.

Для «Дома Дирекции» художники писали и копии: «Иван Грозный убивает своего сына», Шишкинское «Утро в лесу». Эти две картины — классика халтуры.

Но самое удивительное там были вышивки. Шелковые занавесы, шторы, портьеры были украшены ручной вышивкой. Коврики, накидки, полотенца — любая тряпочка становилась драгоценной после того, как бывала в руках заключенных-мастериц.

Директор Дальстроя ночевал в своих «домах» — их было несколько на «трассе» — два-три раза в год. Все

остальное время его ждали — сторож, завхоз, повар и заведующий домом — четыре человека из вольнонаемных, получающих процентные надбавки за работу на Крайнем Севере — ждали, готовились, топили печи зимой, проветривали «Дом».

Вышивать занавесы, накидки и все, что задумают, привезли сюда Машу Крюкову. Было еще две мастерицы, равные Маше по уменью и выдумке. Россия — страна проверок, страна контроля. Мечта каждого доброго россиянина — и заключенного, и вольнонаемного, — чтобы его поставили что-нибудь, кого-нибудь проверять. Во-первых: я над кем-то командир. Во-вторых — мне оказано доверие. В-третьих: за такую работу я меньше отвечаю, чем за прямой труд. А в-четвертых — помните атаку «В окопах Сталинграда» В. Некрасова.

Над Машей и ее новыми знакомыми была поставлена женщина, член партии, выдававшая ежедневно мастерицам материал и нитки. К концу рабочего дня она отбирала работу и проверяла сделанное. Женщина эта не работала, а «проходила по штатам» Центральной больницы как старшая операционная сестра. Она караулила тщательно, уверенная в том, что только отвернись — и кусок тяжелого синего шелка исчезнет.

Мастерицы привыкли давно к такой охране. И хотя обмануть эту женщину не составило бы, верно, труда, они не воровали. Все трое были осуждены по пятьдесят восьмой статье.

Мастериц поместили в лагере в «зоне», на воротах которой, как на всех лагерных зонах Союза, были начертаны «незабываемые» слова: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». И фамилия автора цитаты... Цитата звучала иронически, удивительно подходя к смыслу, к содержанию слова «труд» в лагере. Труд был чем угодно, только не делом славы. В 1906 году издательством, в котором участвовали эсеры, была выпущена книжка «Полное собрание речей Николая II-го». Это были перепечатки из «Правитель-

ственного вестника» в момент коронации царя и состояли из заздравных тостов: «Пью за здоровье Кексгольмского полка», «Пью за здоровье молодцов-черниговцев».

Заздравным тостам было предпослано предисловие, выдержанное в ура-патриотических тонах:

«В этих словах, как в капле воды, отражается вся мудрость нашего великого монарха» и т. д.

Составители сборника были сосланы в Сибирь.

Что было с людьми, поднявшими цитату о труде на ворота лагерных «зон» всего Советского Союза?

За отличное поведение и успешное выполнение плана мастерицам разрешили смотреть кино во время сеансов для заключенных.

Сеансы для вольнонаемных немного по своим порядкам отличались от кино для заключенных.

Киноаппарат был один — между частями были перерывы.

Однажды показывали фильм «На всякого мудреца довольно простоты». Кончилась первая часть, зажегся, как всегда, свет и, как всегда, погас и послышался треск киноаппарата — желтый луч дошел до экрана.

Все затопали, закричали. Механик явно ошибся — показывали снова первую часть. Триста человек — здесь были фронтовики с орденами, заслуженные врачи, приехавшие на конференцию, — все купившие билеты на этот сеанс для вольнонаемных кричали, стучали ногами.

Механик не спеша «провернул» первую часть и дал в зал свет. Тогда все поняли — в чем дело. В кино явился заместитель начальника больницы по хозяйственной части Долматов — опоздал на первую часть, и фильм показывался сначала.

Началась вторая часть, и все пошло как следует. Колымские нравы были известны всем — фронтовикам меньше, врачам — больше.

Когда билетов продавали мало, сеанс был общим для всех — лучшие места для вольнонаемных — по-

следние ряды, а первые ряды — для заключенных: женщины слева, мужчины справа от прохода. Проход делил зрительный зал крестообразно на четыре части, и это было очень удобно в рассуждении лагерных правил.

Хромая девушка, заметная и на киносеансах, попала в больницу, в женское отделение. Палат маленьких тогда еще не было построено — все отделение было размещено в одной воинской спальне — коек пятьдесят, не меньше. Маруся Крюкова попала на лечение к хирургу.

— А что у нее?

— Остеомиелит, — сказал хирург Валентин Николаевич.

— Пропадет нога?

— Ну почему пропадет?

Я ходил делать перевязку Крюковой и о ее жизни уже рассказал. Через неделю температура спала, а еще через неделю Марусю выписали.

— Я подарю вам галстук — вам и Валентину Николаевичу. Это будут хорошие галстуки.

— Хорошо, хорошо, Маруся.

Полоска шелка среди десятков метров, сотен метров ткани, расшитой, разукрашенной на несколько смен в «Доме Дирекции».

— А контроль?

— Я попрошу у нашей Анны Андреевны. — Так, кажется, называлась надсмотрщица.

— Анна Андреевна разрешила. Вышиваю, вышиваю, вышиваю . . .

— Не знаю, как и объяснить вам. Вошел Долматов и отобрал.

— Как отобрал?

— Ну, я вышивала. Валентину Николаевичу уже был готов. А ваш — осталось немного. Серый. Дверь открылась.

— Галстуки вышиваете?

Обыскал тумбочку. Сложил галстук в карман и ушел.

— Теперь вас отправят.

— Меня не отправят. Работы еще много. Но мне так хотелось вам галстук...

— Пустяки, Маруся, я бы все равно не носил. Разве продать?

На концерт лагерной «самодеятельности» Долматов опоздал, как в кино. Грузный, брюхатый не по возрасту, он шел к первой пустой скамейке.

Крюкова поднялась с места и махала руками. Я понял, что это знаки мне.

— Галстук, галстук!

Я успел рассмотреть галстук начальника. Галстук Долматова был серый, узорный, высокого качества.

— Ваш галстук, — кричала Маруся. — Ваш или Валентина Николаевича.

Долматов сел на свою скамейку, занавес распахнулся по-старинному, и концерт самодеятельности начался.

—————oOo—————

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Первым моим бригадиром был Котур, серб, попавший на Колыму после разгрома интернационального клуба в Москве. Котур не относился к своим бригадирским обязанностям серьезно, понимая, то судьба его — как и всех нас — решается не в золотых забоях, а совсем в другом месте. Впрочем, Котур ежедневно ставил нас на работу, замерял со зрителем результаты, укоризненно качал головой. Результаты были плачевны.

— Ну, вот ты — ты знаешь лагерь. Покажи, как надо махать лопатой, — попросил Котур.

Я взял лопату и, раскайливая легкий грунт, накатал тачку. Все засмеялись.

— Так работают только филоны.

— Поговорим об этом через двадцать лет.

Но нам не пришлось поговорить через двадцать лет. На прииск приехал новый начальник Леонид Михайлович Анисимов. При первом же обходе забоев он снял Котура с работы. И Котур исчез...

Наш бригадир сидел в тачке и встал при приближении начальника. Тачка — слов нет — приспособлена для работы удачно. Но еще лучше тачки кузов ее приспособлен для отдыха. Трудно встать, подняться с глубокого, глубокого кресла — нужно усилие воли, нужна сила. Котур сидел в тачке и не встал, когда подошел новый начальник, не успел встать. Расстрел.

С приездом нового начальника — сначала он был заместителем начальника прииска — каждый день, каждую ночь из барачков брали и увозили людей. Никто из них не возвращался на прииск. Александров, Кливанский — фамилии стерлись в памяти.

Новое пополнение и вовсе не имело имен. Зимой тридцать восьмого года начальство решило пешком отправлять этапы из Магадана на прииски севера. От

колонны в пятьсот человек за пятьсот километров к Ягодному доходило тридцать-сорок. Остальные оседали в пути — обмороженными, голодными, застреленными. По фамилиям никого из этих прибывших не знали — это были люди из чужих этапов, не отличимые друг от друга ни одеждой, ни голосом, ни пятнами обморожений на щеках, ни пузырями отморожений на пальцах.

Бригады уменьшались в числе — по дороге на Серпантинку, на расстрельную командировку Северного управления; день и ночь прохиляли машины, возвращавшиеся порожняком.

Бригады сливали — людей не хватало, а правительство обещало дать рабсилу, требуя план. Каждый начальник прииска знал, что за людей с него не спросят — еще бы, это самое ценное — люди, кадры. Это все любой начальник изучал в политкружках, а практическую иллюстрацию получал в золотых забоях своего прииска.

К этому времени начальником прииска «Партизан» Северного горного управления был Леонид Михайлович Анисимов — будущий большой начальник Колымы, посвятивший всю жизнь Дальстрою: начальник Западного управления, начальник Чукотстроя. Но начинал лагерную карьеру Анисимов на прииске «Партизан», на моем прииске.

Именно при нем прииск был наводнен конвоем, выстроены зоны, управление аппарата «оперов» — начались расстрелы целыми бригадами и в одиночку. Начались чтения на поверках, разводах бесконечных приказов о расстрелах. Эти приказы были подписаны полковником Гараниным, но фамилии людей с прииска «Партизан» — а их было очень много — были названы, выданы Гаранину Анисимовым. Прииск «Партизан» — маленький прииск. На нем всего в 1938 году было две тысячи человек списочного состава. Соседние прииски «Ватурях» и «Штурмовой» были по 12 тысяч населения каждый.

Анисимов был старательным начальником. Я очень

хорошо запомнил два личных разговора с гражданином Анисимовым. Первый в январе тридцать восьмого года, когда гражданин Анисимов пожаловал на развод по работам и стоял в стороне, глядя, как его помощники под взглядом начальника вертятся быстрее, чем следовало. Но недостаточно быстро для Анисимова.

Выстраивалась наша бригада, и прораб Сотников, показав на меня пальцем, извлек из рядов и поставил перед Анисимовым.

— Вот филон. Не хочет работать.

— Ты кто?

— Я журналист, писатель.

— Консервные банки ты здесь будешь подписывать.

Я спрашиваю — ты кто?

— Забойщик бригады Фирсова, заключенный имярек, срок пять лет.

— Почему не работаешь, почему вредишь государству?

— Я болен, гражданин начальник.

— Чем ты болен, такой здоровый лоб?

— У меня сердце.

— Сердце. У тебя сердце. У меня самого сердце большое. Врачи запретили Дальний Север. Однако я здесь.

— Вы — это другое дело, гражданин начальник.

— Смотри сколько слов в минуту! Ты должен молчать и работать. Подумай, пока не поздно. Расчет с вами будет.

— Слушаюсь, гражданин начальник.

Вторая беседа с Анисимовым была летом, во время дождя, на четвертом участке, где нас держали, промокших насквозь. Мы бурили шурфы. Бригада блатарей давно была отпущена в барак из-за ливня, но мы были пятьдесят восьмая, и мы от ливня под грибом.

В этот ливень, в этот дождь нас посетил Анисимов вместе с заведующим взрывными работами приисков. Начальник пришел проверить, хорошо ли мы мокнем, выполняется ли его приказ о пятьдесят восьмой статье, которая никаким «активировкам» не подлежит и которая должна готовиться в рай, в рай, в рай.

Анисимов был в длинном плаще с каким-то особенным капюшоном. Начальник шел, помахиывая кожаными перчатками.

Я знал привычку Анисимова бить заключенных перчатками по лицу. Я знал эти перчатки, которые на зимний сезон сменялись меховыми «крагами» по локоть, знал привычку бить перчатками по лицу. Перчатки в действии я видел десятки раз. Об этой особенности Анисимова говорили на «Партизане» много в арестантских бараках. Я был свидетелем бурных дискуссий, чуть не кровавых споров в бараке — бьет ли начальник кулаком или перчатками, или палкой, или тростью, или плёткой, или прикладывая «ручной револьвер». Человек — сложное существо. Споры эти заканчивались чуть не драками, а ведь участники этих споров — бывшие профессора, партийцы, колхозники, полководцы.

В общем все хвалили Анисимова: бьет, но кто не бьет? Зато не остается синяков от перчаток Анисимова, а если крагой кому-то он разбил нос в кровь, то и то из-за «патологических изменений самой кровеносной системы человека в результате длительного заключения», — как разъяснял один врач, которого в анисимовские времена не допускали до врачебной работы, а заставляли трудиться наравне со всеми.

Я давно дал слово, что если меня ударят, то это и будет концом моей жизни. Я ударю начальника, и меня расстреляют. Увы, я был наивным мальчиком. Когда я ослабел, ослабела и моя воля, мой рассудок. Я легко уговорил себя перетерпеть и не нашел в себе силы душевной на ответный удар, на самоубийство, на протест. Я был самым обыкновенным доходягой и жил по законам психики доходяг. Все это было много позже, а тогда, когда мы встретились с гражданином Анисимовым, — я был еще в силе, в твердости, в вере, в решении.

Кожаные перчатки Анисимова приблизились, и я приготовил кайло. Но Анисимов не ударил. Его красивые

крупные темнокарие глаза встретились с моим взглядом, и Анисимов отвел глаза в сторону.

— Вот все они какие, — сказал начальник прииска своему спутнику. — Все. Не будет толку.



ТАЙГА ЗОЛОТАЯ

«Малая зона» — это пересылка, «Большая зона» — лагерь Горного управления — бесконечные приземистые бараки, арестантские улицы, тройная ограда из колючей проволоки, караульные вышки, по-зимнему похожие на скворешни. В «Малой зоне» еще больше колючей проволоки, еще больше вышек, замков и щелчок — ведь там живут проезжие, «транзитные», от которых можно ждать всякой беды.

Архитектура «Малой зоны» идеальна. Это — один квадратный барак, огромный, где нары в четыре этажа и где «юридических» мест не менее пятисот. Значит, если нужно, можно вместить тысячи. Но сейчас зима, этапов мало, и зона изнутри кажется почти пустой. Барак еще не успел высохнуть внутри — белый пар, на соснах лед. При входе — огромная лампа электрическая, в тысячу свечей. Лампа то желтеет, то загорается ослепительным светом — подача энергии неровная.

Днем зона спит. По ночам раскрываются двери, под лампой появляются люди со спичками в руках и хриплым, простуженным голосом выкрикивают фамилии. Вызванные застегивают бушлаты на все пуговицы, шагают через порог — и исчезают навсегда. Там ждет конвой, где-то пыхтят моторы грузовиков — заключенных везут на прииск, в совхозы, на дорожные участки.

Я тоже лежу здесь — недалеко от двери на нижних нарах. Внизу холодно, но наверх, где теплее, я подниматься не решаюсь — меня оттуда сбросят вниз: там место для тех, кто посильнее, и прежде всего для воров. Да мне и не взобраться наверх по ступенькам, прибитым гвоздями к столбу. Внизу мне лучше. Если будет спор за место на нижних нарах — я уползу под нары, вниз.

Я не могу ни кусаться, ни драться, хотя приемы

тюремной драки мною освоены хорошо. Ограниченность пространства — тюремная камера, арестантский вагон, барачная теснота — продиктовала «приемы» захвата, укуса, перелома. Но сейчас нет сил для этого. Я могу только рычать, материться. Я сражаюсь за каждый день, за каждый час отдыха. Каждый клочок тела подсказывает мне мое поведение.

Меня вызывают в первую же ночь, но я не подпоясываюсь, хотя веревочка у меня есть, не застегиваюсь наглухо.

Дверь закрывается за мной, и я стою в тамбуре.

Бригада — двадцать человек. Обычная норма для одной автомашины стоит у следующей двери, из которой выбивается густой морозный пар.

Нарядчик и старший конвоир считают и осматривают людей. А справа стоит еще один человек — в стеганке, в ватных брюках, в ушанке, помахивает меховыми рукавицами-крагами. Его-то мне и нужно. Меня возили столько раз, что «закон» я знал в совершенстве.

Человек с крагами — «представитель», который принимает людей, который волен не принять.

Нарядчик выкрикивает мою фамилию во весь голос — точно так же, как кричал в огромном бараке. Я смотрю только на человека с крагами.

— Не берите меня, гражданин начальник. Я больной и работать на прииске не буду. Мне надо в больницу.

«Представитель» колеблется — на прииске, дома ему говорили, чтобы он отобрал только «работяг», других прииску не надо. За этим он и приехал сам.

«Представитель» разглядывает меня. Мой рваный бушлат, засаленная гимнастерка без пуговиц, открывающая грязное тело в расчесах от вшей, обрывки тряпок, которыми перевязаны пальцы рук, веревочная обувь на ногах, веревочная в шестидесятиградусный мороз, воспаленные голодные глаза, непомерная костлявость — он хорошо знает, что все это значит.

Представитель берет красный карандаш и твердой рукой вычеркивает мою фамилию.

— Иди, сволочь, — говорит мне нарядчик зоны.

И дверь распахивается, и я снова внутри малой зоны. Место мое уже занято, но я оттаскиваю того, кто лег на мое место, в сторону. Тот невольно рычит, но вскоре успокаивается.

А я засыпаю похожим на забытье сном и просыпаюсь от первого шороха. Я выучился просыпаться, как зверь, как дикарь, без полусна.

Я открываю глаза. С верхних нар свисает нога в изношенной до предела, но все же туфле, а не казенном ботинке. Грязный блатной мальчик возникает передо мной и говорит куда-то вверх томным голосом педераста:

— Скажи Валюше, — говорит он кому-то невидимому на верхних нарах, — что артистов привели...

Пауза. Потом хриплый голос сверху:

— Валюша спрашивает, кто они?

— Артисты из культбригады. Фокусник и два певца. Один певец харбинский.

Туфля зашевелилась и исчезла. Голос сверху сказал:

— Веди их.

Я подвинулся к краю нар. Три человека стояли под лампой: двое в бушлатах, один — в «вольной москвичке». На лицах всех изображалось благоговение.

— Кто тут харбинский? — сказал голос.

— Это я, — почтительно ответил человек в бекеше.

— Валюша велит спеть что-нибудь.

— На русском? Французском? Итальянском? Английском? — спрашивал, вытягивая шею вверх, певец.

— Валюша сказал: на русском.

— А конвой? Можно негромко?

— Ничто, ничто... Вовсю валяй, как в Харбине.

Певец отошел и спел куплеты торреадора. Холодный пар вылетал с каждым выдохом.

Тяжелое ворчание и голос сверху:

— Валюша сказал: какую-нибудь песню.

Побледневший певец пел:

Шумы, золотая, шуми, золотая,
Моя золотая тайга,
Ой, вейтесь, дороги, одна и другая,
В раздольные наши края.

Голос сверху:

— Валюша сказал: хорошо.

Певец вздохнул облегченно. Мокрый от волнения лоб дымился и казался нимбом вокруг головы певца. Ладонью певец вытер пот, и нимб исчез.

— Ну, а теперь, — сказал голос, — снимай-ка свою москвичку. Вот тебе сменка! — Сверху сбросили телогрейку.

Певец молча снял москвичку и надел телогрейку.

— Иди теперь — сказал голос сверху, — Валюша спать хочет.

Харбинский певец и его товарищи растаяли в барачном тумане.

Я подвинулся, глубже скорчился, засунул руки в рукава телогрейки и заснул.

И, казалось, тотчас же проснулся от громкого, выразительного шепота:

— В тридцать седьмом в Улан-Баторе идем мы по улице с товарищем. Время обедать. На углу китайская столовая. Заходим. Смотрим меню: китайские пельмени. Я — сибиряк, знаю сибирские, уральские пельмени. А тут вдруг китайские. Решили взять по сотне. Китаец-хозяин смеется: многа́ будет, и рот растягивает до ушей. Ну, по десятку? Хохочет: многа́ будет. Ну, по паре! Пожал плечами, ушел на кухню, тащит — каждый пельмень с ладонь, все залито жиром горячим. Ну, мы полпельменя на двоих съели и ушли.

— А вот я... — Усилим воли заставляю себя не слушать и засыпаю снова.

Просыпаюсь от запаха дыма. Где-то сверху, в воровском царстве курят. Кто-то слез с махорочной сигаркой вниз, и острый сладкий запах дыма разбудил всех внизу.

И снова шепот: «В райкоме у нас в Северном этих окурков, Боже мой, Боже мой! Тетя Поля, уборщица, все ругалась, подметать не успевала. А я и не понимал тогда, что такое табачный окурочок, чикарик, бычок...»

Снова я засыпаю.

Кто-то дергает меня за ногу. Это — нарядчик. Воспаленные глаза его злы. Он ставит меня в полосу желтого света у двери.

— Ну, — говорит он, — на прииск ты не хочешь ехать.

Я молчу.

— А в совхоз? В Теплый совхоз, черт бы тебя побрал, сам бы поехал.

— Нет.

— А на дорожную? Метлы вязать, подумай.

— Знаю, — говорю я, — сегодня метлы вязать, а завтра тачку в руки.

— Чего же ты хочешь?

— В больницу! Я болен.

Нарядчик что-то записывает в тетрадь и уходит. Через три дня в малую зону приходит фельдшер и вызывает меня, ставит термометр, осматривает язвы фурункулов на спине, втирает какую-то мазь.



ВАСЬКА ДЕНИСОВ, ПОХИТИТЕЛЬ СВИНЕЙ

Для вечерней поездки пришлось одолжить бушлат у товарища. Васькин бушлат был слишком грязен и рван — в нем нельзя было пройти по поселку и двух шагов — сразу бы сцапал любой «вольняшка».

По поселку таких, как Васька, водят только с конвоем, в рядах. Ни военные, ни штатские вольные жители не любят, чтобы по улицам поселка ходили подобные Ваське в одиночку. Они не вызывают подозрения только тогда, когда несут дрова — небольшое бревнышко или, как здесь говорят, «палку дров» на плече.

Такая «палка» была зарыта в снегу недалеко от гаража — шестой телеграфный столб от поворота, в кювете. Это было сделано еще вчера после работы.

Сейчас знакомый шофер придержал машину, и Денисов перегнулся через борт и сполз на землю. Он сразу нашел место, где закопал бревно, — синеватый снег здесь был чуть потемнее, был примят — это было видно в начинавшихся сумерках. Васька спрыгнул в кювет и расшвырял снег ногами. Показалось бревно, серое, крутобокое, как большая замороженная рыба. Васька вытащил бревно на дорогу, поставил его стоймя, постучал, чтобы сбить с бревна снег, и согнулся, подставляя плечо и приподнимая бревно руками. Бревно качнулось и легло на плечо. Васька зашагал к поселку, время от времени меняя плечо. Он был слаб и истощен — поэтому быстро согрелся, но тепло держалось недолго — как ни ощутителен был вес бревна, Васька не согревался. Сумерки стусились белой мглой, поселок зажег все желтые электрические огни. Васька усмехнулся, довольный своим расчетом, — в белом тумане он легко доберется до цели своей незамеченным. Вот сломанная огромная лиственница, серебряный в иине пень — значит — в следующий дом.

Васька бросил бревно у крыльца, обил рукавицами снег с валенок и постучался в квартиру. Дверь приоткрылась и пропустила Ваську. Пожилая простоволосая женщина в расстегнутом нагольном полушубке вопросительно и испуганно смотрела на Ваську.

— Дровишек вам принес, — сказал Васька, с трудом раздвигая замерзшую кожу лица в складки улыбки. — Мне бы Ивана Петровича.

Но Иван Петрович сам уже выходил, приподнимая рукой занавеску.

— Это добре, — сказал он. — Где они?

— На дворе, — сказал Васька.

— Так ты подожди, мы попилем, сейчас я оденусь. — Иван Петрович долго искал рукавицы. Они вышли на крыльцо и без козел, прижимая бревно ногами, приподнимая его, распилили. Пила была неточеная, с плохим разводом.

— После зайдешь, — сказал Иван Петрович. — Направишь. А теперь вот колун. И потом сложишь, только не в коридоре, а прямо в квартиру тащи.

Голова у Васьки кружилась от голода, но он переколол все дрова и перетащил в квартиру.

— Ну, все, — сказала женщина, вылезая из-под занавески. — Все.

Но Васька не уходил и топтался у двери. Иван Петрович появился снова:

— Слушай, — сказал он, — хлеба у меня сейчас нет, суп тоже весь поросяткам отнесли, нечего мне тебе сейчас дать. Зайдешь на той неделе...

Васька молчал и не уходил.

Иван Петрович порылся в бумажнике.

— Вот тебе три рубля. Только для тебя за такие дрова, а табачку — сам понимаешь! — табачок ныне дорог.

Васька спрятал мятую бумажку за пазуху и вышел. За три рубля он не купил бы и щепотку махорки.

Он все еще стоял на крыльце. Его тошнило от голода. Поросята съели васькин хлеб и суп. Васька вынул

зеленую бумажку, разорвал ее намелко. Клочки бумаги, подхваченные ветром, долго катились по отполированному, блестящему насту. И когда последние обрывки скрылись в белом тумане, Васька сошел с крыльца. Чуть покачиваясь от слабости, он шел, но не домой, а в глубь поселка, все шел и шел — к одноэтажным, двухэтажным, трехэтажным деревянным дворцам...

Он вошел на первое же крыльцо и дернул ручку двери. Дверь скрипнула и тяжело отошла. Васька вошел в темный коридор, слабо освещенный тусклой электрической лампочкой. Он шел мимо квартирных дверей. В конце коридора был чулан, и Васька, навалившись на дверь, открыл ее и переступил через порог. В чулане стояли мешки с луком, может быть, с солью. Васька разорвал один из мешков — крупа. В досаде он, снова разгораясь, налег плечом и отвалил мешок в сторону — под мешками лежали мерзлые свиные туши. Васька закричал от радости — не хватило силы оторвать от туши хоть кусок. Но дальше под мешками лежали мороженные поросята, и Васька уже больше ничего не видел. Он оторвал примерзшего поросенка и, держа его на руках, как куклу, как ребенка, пошел к выходу. Но уже из комнат выходили люди, белый жар наполнял коридор. Кто-то крикнул «стой!» и кинулся в ноги Ваське. Васька подпрыгнул, крепко держа поросенка в руках, и выбежал на улицу. За ним помчались обитатели дома. Кто-то стрелял вслед, кто-то ревел по-звериному, но Васька мчался, ничего не видя. И через несколько минут он увидел, что ноги сами его несут в единственный казенный дом, который он знал в поселке, — в Управление витаминных командировок, на одной из которых и работал Васька сборщиком стланика.

Погоня была близка. Васька взбежал на крыльцо, оттолкнул дежурного и помчался по коридору. Толпа преследователей грохотала сзади. Васька кинулся в кабинет заведующего культурной работой и выскочил

в другую дверь — в красный уголок. Дальше бежать было некуда. Васька сейчас только увидел, что потерял шапку. Мерзлый поросенок все еще был в его руках. Васька положил поросенка на пол, своротил массивные скамейки и заложил ими дверь. Кафедру-трибуну он подтащил туда же. Кто-то потряс двери, и наступила тишина.

Тогда Васька сел на пол, взял в обе руки поросенка, сырого, мороженого поросенка, и грыз, грыз...

Когда вызван был отряд стрелков, и двери были открыты и баррикада разобрана, Васька успел съесть половину поросенка...



СЕРАФИМ

Письмо лежало на черном закопченном столе, как льдинка. Двери железной печки-бочки были раскрыты, каменный уголь рдел, как брусничное варенье в консервной банке, и льдинка должна была растаять, источиться, исчезнуть. Но льдинка не таяла, и Серафим испугался, поняв, что льдинка — письмо и письмо именно ему, Серафиму. Серафим боялся писем, особенно бесплатных, с казенными штампами. Он вырос в деревне, где до сих пор полученная или отправленная, «отбитая» телеграмма говорит о событии трагическом: похоронах, смерти, тяжелой болезни . . .

Письмо лежало вниз лицом, адресной стороной, на серафимовом столе: разматывая шарф и расстегивая задубевшую от мороза овчинную шубу, Серафим глядел на конверт, не отрывая глаз.

Вот он уехал за двенадцать тысяч верст, за высокие горы, за синие моря, желая все забыть и все простить, а прошлое не хочет оставить его в покое. Из-за гор пришло письмо, письмо с того, не забытого еще света. Письмо везли на поезде, на самолете, на пароходе, на автомобиле, на оленях до того поселка, где спрятался Серафим.

И вот письмо здесь, в маленькой химической лаборатории, где Серафим работает лаборантом.

Бревенчатые стены, потолок, шкафы лаборатории почернели не от времени, а от круглосуточной топки печей, и внутренность домика кажется какой-то древней избой. Квадратные окна лаборатории похожи на слюдяные окошки петровских времен. На шахте берегут стекло и переплеты окон делают в мелкую решетку — чтоб пошел в дело каждый обломок стекла, а при надобности и битая бутылка. Желтая электролампа под колпаком свешивалась с деревянной балки, как самоубийца. Свет ее то тускнел, то разгорался —

вместо движков на электростанции работали тракторы.

Серафим разделся и сел к печке, все еще не трогая конверта. Он был один в лаборатории.

Год назад, когда случилось то, что называют «семейной размолвкой», он не хотел уступать. Он уехал на Дальний Север не потому, что был романтиком или человеком долга. «Длинный рубль» тоже его не интересовал. Но Серафим считал, в соответствии с суждением тысячи философов и десятка знакомых обывателей, что разлука уносит любовь, что версты и годы справятся с любым горем.

Год прошел, и в сердце Серафима все оставалось прежним, и он втайне дивился прочности своего чувства. Не потому ли, что он не говорил больше с женщинами. Их просто не было. Были жены высоких начальников — общественного класса, необычайно далекого от лаборанта Серафима. Каждая раскормленная дама считала себя красавицей, и такие дамы жили в поселках, где было больше развлечений и, ценители их прелестей были побогаче. Притом в поселках было много военных — даже не грозило и внезапное групповое изнасилование шоферней или блатарями-заключенными — случаи такого рода то и дело случались в дороге или на маленьких участках.

Поэтому геологоразведчики, лагерные начальники держали своих жен в крупных поселках — местах, где маникюрши создавали себе целые состояния.

Но была и другая сторона дела — «телесная тоска» оказалась вовсе не такой страшной штукой, как думал Серафим в молодости. Просто надо было меньше об этом думать.

На шахте работали заключенные, и Серафим много раз летом смотрел с крыльца на серые ряды арестантов, вползающих в главную штольню и выползающих из нее после смены.

В лаборатории работало два инженера из заключенных, их приводил и уводил конвой, и Серафим боялся с ними заговорить. Они спрашивали только деловое —

результат анализа или пробы — он им отвечал, отводя глаза в сторону. Серафима напугали на этот счет еще в Москве при найме на Дальний Север — сказали, что там опасные государственные преступники, и Серафим боялся принести даже кусок сахара или белого хлеба своим товарищам по работе. За ним, впрочем, следил заведующий лабораторией Пресняков, комсомолец, рас-терявшийся от собственного необычайно высокого жа-лованья и высокой должности сразу после окончания института. Главной своей обязанностью он считал по-литконтроль за своими сотрудниками — а, может быть, только этого от него и требовали, — и заключенными, и вольнонаемными.

Серафим был постарше своего заведующего, но по-слушно выполнял все, что тот приказывал в смысле пресловутой «бдительности» и осмотрительности.

За год он и десятком слов на посторонние темы не обменялся с заключенными инженерами.

С дневальным же и ночным сторожем Серафим и вовсе ничего не говорил.

Через каждые шесть месяцев оклад «договорника»-северянина увеличивается на десять процентов. После получения второй надбавки Серафим выпросил себе поездку в соседний поселок, всего за сто километров — что-нибудь купить, сходить в кино, пообедать в насто-ящей столовой, «посмотреть на баб», побриться в парикмахерской.

Серафим взобрался в кузов грузовика, поднял во-ротник, закутался поплотнее, и машина помчалась.

Часа через полтора машина остановилась у какого-то домика. Серафим слез и сощурился от весеннего рез-кого света.

Два человека с винтовками стояли перед Серафимом.
— Документы!

Серафим полез в карман пиджака и похолодел — паспорт он забыл дома. И как назло никакой бумажки, удостоверяющей его личность. Ничего, кроме анализа воздуха с шахты. Серафиму велели идти в избу.

Машина уехала.

Небритый, короткостриженный Серафим не внушал доверия начальнику.

— Откуда бежал?

— Ниоткуда...

Внезапная затрецина свалила Серафима с ног.

— Отвечать как полагается!

— Да я буду жаловаться! — завопил Серафим.

— Ах, ты будешь жаловаться? Эй, Семен!

Семен прицелился и гимнастическим жестом привычно и ловко ударил ногой в солнечное сплетение Серафиму.

Серафим охнул и потерял сознание.

Смутно он помнил, как его куда-то волокли прямо по дороге, он потерял шапку. Зазвенел замок, скрипнула дверь, и солдаты вбросили Серафима в какой-то вонючий, но теплый сарай.

Через несколько часов Серафим отдышался и понял, что он находится в «изоляторе», куда собирали всех беглецов и штрафников — заключенных поселка.

— Табак есть? — спросил кто-то из темноты.

— Нет. Я не курящий, — виновато сказал Серафим.

— Ну и дурак. Есть у него что-нибудь?

— Нет, ничего. После этих бакланов разве что останется?

Серафим с величайшим усилием сообразил, что речь идет о нем, а «бакланами», очевидно, называют конвойных за их жадность и всеядность.

— У меня были деньги, — сказал Серафим.

— Вот именно «были».

Серафим обрадовался и замолчал. Он взял с собой в поездку две тысячи рублей и, слава богу, эти деньги изъяты и хранятся у конвоя. Все скоро выяснится, и Серафима освободят и вернут ему деньги. Серафим повеселел.

«Надо будет дать сотню конвоирам, — подумал он. — За хранение. Впрочем, за что давать? За то, что они его избили?»

В тесной избушке без всяких окон, где единственный доступ воздуха был через входную дверь и обросшие льдом щели в стенах, лежало прямо на земле человек двадцать.

Серафиму захотелось есть, и он спросил соседа, когда будет ужин.

— Да ты что на самом деле, вольный, что ли? Завтра поешь. Мы ведь на казенном положении — кружка воды и пайка — трехсотка на сутки. И семь килограммов дров.

Серафима никуда не вызывали, и он прожил здесь целых пять дней. Первый день он кричал, стучал в дверь, но после того как дежурный конвойный, изловчившись, хватил его прикладом в лоб, перестал жаловаться. Вместо потерянной шапки Серафиму дали какой-то комок материи, которую он с трудом напялил на голову.

На шестой день его вызвали в «контору», где за столом сидел тот же начальник, который его «принимал», а у стены стоял заведующий лабораторией, крайне недовольный и прогулом Серафима, и потерей времени на поездку для удостоверения личности лаборанта.

Пресняков слегка ахнул, увидя Серафима, — под правым глазом был синий кровоподтек, на голове рваная грязная матерчатая шапка без завязок. Серафим был в тесной изорванной телогрейке без пуговиц, заросший бородой, грязную шубу пришлось оставить в карцере, с красными воспаленными глазами — Серафим произвел сильное впечатление.

— Ну, — сказал Пресняков, — этот самый. Можно нам идти? — и заведующий лабораторией потащил Серафима к выходу.

— А д-деньги? замычал Серафим, упираясь и отталкивая Преснякова.

— Какие деньги? — металлом зазвенел голос начальника.

— Две тысячи рублей. Я брал с собой.

— Вот видите, — хохотнул начальник и толкнул

Преснякова в бок. — Я же вам рассказывал. В пьяном виде, без шапки...

Серафим шагнул через порог и молчал до самого дома.

После этого случая Серафим стал думать о самоубийстве. Он даже спросил заключенного-инженера, почему тот, арестант, не кончает самоубийством?

Инженер был поражен — Серафим за год не сказал с ним двух слов. Он помолчал, стараясь понять Серафима.

— Как же вы? Как же вы живете? — горячо шептал Серафим.

— Да, жизнь арестанта — сплошная цепь унижений — с той минуты, когда он откроет глаза и уши, и до начала благодетельного сна. Да, все это верно, но ко всему привыкаешь. И тут бывают дни лучшие и дни хуже, дни безнадежности сменяются днями надежды. Человек живет не потому, что он во что-то верит, на что-то надеется. Инстинкт жизни хранит его, как он хранит любое животное. Да и любое дерево и любой камень могли бы повторить то же самое. Берегитесь, когда приходится бороться за жизнь в самом себе, когда нервы подтянуты, воспалены, берегитесь обнажить свое сердце, свой ум — с какой-нибудь неожиданной стороны. Сосредоточив остатки силы против чего-либо, берегитесь удара сзади. На новую, непривычную борьбу сил может не хватить. Всякое самоубийство — обязательный результат двойного воздействия, двух, по крайней мере, причин. Вы поняли меня?

Серафим понимал.

Сейчас он сидел в закопченной лаборатории и вспоминал эту свою поездку почему-то с чувством стыда и с чувством тяжелой ответственности, которая легла на него навсегда. Жить он не хотел.

Письмо все еще лежало на лабораторном черном столе и страшно было взять его в руки.

Серафим представил себе его строки, буквы почерка своей жены, почерка с наклоном влево — по такому

почерку разгадывался ее возраст — в двадцатых годах в школах не учили писать наклонно вправо, писала она, как хотела.

Серафим представил себе строки письма, будто прочел его, не разрывая конверта. Письмо могло начинаться: «дорогой мой», или «дорогой Сима», или «Серафим». Последнего он боялся.

А что, если он возьмет и, не читая, разорвет конверт в мелкие клочья и бросит их в рубиновый огонь печи? Все наваждение кончится, и ему снова будет легче дышать — хотя бы до следующего письма. Но не такой же он трус в конце концов! Он вовсе не трус, это инженер — трус, и он ему докажет. Он всем докажет.

И Серафим взял письмо и вывернул его адресом кверху. Его догадка была верной — письмо было из Москвы, от жены. Он яростно разорвал конверт и, подойдя к лампочке, стоя прочитал письмо. Жена писала ему о разводе.

Серафим бросил письмо в печь, и оно вспыхнуло белым пламенем с голубым ободком и исчезло.

Серафим стал действовать уверенно и неспешно. Он достал из кармана ключи и отпер шкаф в комнате Преснякова. Из стеклянной банки он высыпал в мензурку щепотку серого порошка, черпнул кружкой воду из ведра, долил в мензурку, размешал и выпил.

Жжение в горле, легкий позыв на рвоту — и все.

Он просидел, глядя на часы-ходики, ни о чем не вспоминая, целых тридцать минут. Никакого действия, кроме боли в горле. Тогда Серафим заторопился. Он открыл ящик стола и вытащил свой перочинный нож. Потом Серафим разорвал вену на левой руке: темная кровь потекла на пол. Серафим ощутил радостное чувство слабости. Но кровь текла все меньше, все тише.

Серафим понял, что кровь не пойдет, что он останется жив, что самозащита собственного тела сильнее желания умереть. Сейчас же он вспомнил, что надо сделать. Он кое-как в один рукав надел на себя полушубок — без полушубка на улице было слишком хо-

лодно— и без шапки, подняв воротник, побежал к речке, которая текла в ста шагах от лаборатории. Это была горная речка с глубокими узкими промоинами, дымящимися, как кипяток, в темном морозном воздухе.

Серафим вспомнил, как в прошлом году поздней осенью выпал первый снег и тонким ледком затянуло реку. И оставшаяся от перелета утка, обессилевшая в борьбе со снегом, опустилась на молодой лед. Серафим вспомнил, как выбежал на лед человек, какой-то заключенный, и, смешно растопырив руки, пытался поймать утку. Утка отбегала по льду до промоины и ныряла под лед, выскакивая в следующей полынье. Человек бежал, проклиная птицу: он измучился не меньше утки и продолжал бегать за ней от промоины к промоине. Два раза он провалился на льду и, грязно ругаясь, долго выползал на льдину.

Кругом стояло много людей, но ни один не помог ни утке, ни охотнику. Это была его добыча, его находка, и за помощь надо было платить, делиться... Измученный человек полз по льду, проклиная все на свете. Дело кончилось тем, что утка нырнула и не вынырнула — наверное, утонула от усталости.

Серафим вспомнил, как он тогда пытался представить себе смерть утки, как она бьется в воде головой о лед и как сквозь лед видит голубое небо. Сейчас Серафим бежал к этому самому месту реки.

Он прыгнул прямо в ледяную дымящуюся воду, обломив опущенную снегом кромку синего льда. Воды было по пояс, но течение было сильным, и Серафима сбило с ног. Он бросил полушубок и соединил руки, заставляя себя нырнуть под лед.

Но уже кругом кричали и бежали люди, тащили доски и прилаживали поперек промоины. Кто-то успел ухватить Серафима за волосы.

Его понесли прямо в больницу. Раздели, согрели, пытались влить ему в глотку теплый сладкий чай. Серафим молчал и мотал головой.

Больничным врачом подошел к нему, держа шприц с

раствором глюкозы, но увидел рваную вену и поднял глаза на Серафима.

Серафим улыбнулся. Глюкозу ввели в правую руку. Видавший виды старик-врач разжал шпателем зубы Серафима, посмотрел горло и вызвал хирурга.

Операция была сделана немедленно, но слишком поздно. Стенки желудка и пищевод были съедены кислотой — первоначальный расчет Серафима был совершенно верен.

—oOo—

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Две белки небесного цвета, черномордые, чернохвостые, увлеченно вглядывались в то, что творилось за серебряными лиственницами. Я подошел к дереву, на ветвях которого они сидели, почти вплотную, и только тогда белки заметили меня. Беличьи когти зашуршали по коре дерева, синие тела зверьков метнулись вверх и где-то высоко-высоко затихли. Крошки коры перестали сыпаться на снег. Я увидел то, что разглядывали белки.

На лесной поляне молился человек. Матерчатая шапка-ушанка комочком лежала у его ног, иней успел уже выбелить стриженую голову. На лице его было выражение удивительное — то самое, что бывает на лицах людей, вспоминаящих детство или что-либо равноценно дорогое. Человек крестился размашисто и быстро: тремя сложенными пальцами руки он будто тянул вниз свою собственную голову. Я не сразу узнал его — так много нового было в чертах его лица. Это был заключенный Замятин — священник из одного барака со мной.

Все еще не видя меня, он выговаривал негромко и торжественно немеющими от холода губами привычные, запомненные мной с детства слова. Это были славянские формулы литургийной службы — Замятин служил обедню в серебряном лесу.

Он медленно перекрестился, выпрямился — и увидел меня. Торжественность и умиленность исчезли с его лица, и привычные складки на переносице сблизили его брови. Замятин не любил насмешек. Он поднял шапку, встряхнул и надел ее.

— Вы служили литургию, — начал я.

— Нет, нет, — сказал Замятин, улыбаясь моей невежественности. — Как я могу служить обедню? У меня ведь нет ни даров, ни епитрахили. Это — казенное полотенце.

И он поправил грязную «вафельную» тряпку, висевшую у него на шее и в самом деле напоминавшую епитрахиль. Мороз покрыл полотенце снежным хрусталем, хрусталь радужно сверкал на солнце, как расшитая церковная ткань.

— Кроме того, мне стыдно — я не знаю, где восток. Солнце сейчас встает на два часа и заходит за ту же гору, из-за которой выходило. Где же восток?

— Разве это так важно — восток?

— Нет, конечно. Не уходите. Говорю же вам, что я не служу и не могу служить. Я просто повторяю, вспоминаю, повторяю воскресную службу. И я не знаю, воскресенье ли сегодня?

— Четверг, — сказал я. — Надзиратель утром говорил.

— Вот видите, четверг. Нет, нет, я не служу. Мне просто легче так. И меньше есть хочется, — улыбнулся Замятин.

Я знаю, что у каждого человека здесь было свое САМОЕ ПОСЛЕДНЕЕ, самое важное — то, что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас отнимали. Если у Замятина этим последним была литургия Иоанна Златоуста, то моим спасительным «последним» были стихи — чужие любимые стихи, которые удивительным образом помнились там, где все остальное было давно забыто, выброшено, изгнано из памяти. Единственное, что еще не было подавлено усталостью, морозом, голодом и бесконечными унижениями.

Солнце зашло. Стремительная мгла зимнего раннего вечера уже заполнила пространство между деревьями. Я побрел в барак, где мы жили, — низенькую продолговатую избушку с маленькими окнами, похожую на крошечную конюшню. Ухватясь обеими руками за тяжелую, обледенелую дверь, я услышал шорох в соседней избушке. Там была «инструменталка» — кладовая, где хранился инструмент, — пилы, лопаты, топоры, ломы, кайла горнорабочих. По выходным дням инстру-

менталка была на замке, но сейчас замка не было. Я шагнул через порог инструменталки, и тяжелая дверь чуть не прихлопнула меня. Щелей в кладовой было столько, что глаза быстро привыкли к полумраку.

Два блатаря щекотали большого щенка-овчарку месяцев четырех. Щенок лежал на спине, повизгивая и махая всеми четырьмя лапами. Блатарь постарше придерживал щенка за ошейник. Мой приход не смутил блатарей — мы были из одной бригады.

— Эй ты, на улице кто есть?

— Никого нету, — ответил я.

— Ну, давай, — сказал блатарь постарше.

— Подожди, дай я погреюсь еще маленько, — отвечал молодой.

— Ишь, как бьется. — Он ощупал теплый щенячий бок близ сердца и пощекотал щенка.

Щенок доверчиво взвизгнул и лизнул человечесью руку.

— А, ты лизаться... Так не будешь лизаться. Сеня...

Семен, левой рукой удерживая щенка за ошейник, правой вытащил из-за спины топор и быстрым коротким взмахом опустил его на голову собаки. Щенок рванулся, кровь брызнула на ледяной пол инструменталки.

— Держи его крепче, — закричал Сеня, поднимая топор вторично.

— Чего его держать, не петух, — сказал молодой.

— Шкуру-тоними, пока теплая, — учил Семен. — И зарой ее в снег.

Вечером запах мясного супа не давал никому спать в бараке. Пока все было съедено блатарями. Но блатарей у нас было слишком мало в бараке, чтоб съесть целого щенка. В котелке еще оставалось мясо.

Семен пальцем поманил меня.

— Забери.

— Не хочу, — сказал я.

— Ну, тогда, — Семен обвел нары глазами. — Тогда попу отдадим. Э — батя, вот прими от нас баранинки. Только котелок вымой . . .

Замятин явился из темноты на желтый свет коптилки-бензинки, взял котелок и исчез. Через пять минут он вернулся с вымытым котелком.

— Уже? — спросил Сеня с интересом. — Быстро ты глотаешь . . . Как чайка. Это, батя, не баранинка, а пси-на. Собачка тут к тебе ходила — Норд называется.

Замятин молча глядел на Семена. Потом повернулся и вышел. Вслед за ним вышел и я. Замятин стоял за дверьми на снегу. Его рвало. Лицо его в лунном свете казалось свинцовым. Липкая клейкая слюна свисала с его синих губ. Замятин вытерся рукавом и сердито посмотрел на меня.

— Вот мерзавцы, — сказал я.

— Да, конечно, — сказал Замятин. — Но мясо было вкусное. Не хуже баранины.

————oO————

ДОМИНО

Санитары свели меня с площадки десятичных весов. Могучие холодные руки не давали мне опуститься на пол.

— Сколько? — крикнул врач, со стуком макая перо в чернильницу-непроливайку.

— Сорок восемь.

Меня уложили на носилки. Мой рост — сто восемьдесят сантиметров, мой нормальный вес — восемьдесят килограммов. Вес костей — сорок два процента общего веса, тридцать два килограмма. В этот ледяной вечер у меня осталось шестнадцать килограммов, ровно пуд всего: кожи, мяса, внутренностей и мозга. Я не мог бы высчитать все это тогда, но я смутно понимал, что все это делает врач, глядящий на меня исподлобья.

Врач отпер замок стола, выдвинул ящик, бережно достал термометр, потом наклонился надо мной и осторожно заложил градусник в мою левую подмышечную ямку. Тотчас же один из санитаров прижал мою руку к груди, а второй санитар обхватил обеими руками запястье моей правой руки. Эти заученные, отработанные движения стали мне ясны позднее — во всей больнице на сотню коек был один термометр. Стеклашка изменила свою ценность, свой масштаб — ее берегли, как драгоценность. Только тяжелым и вновь поступающим больным разрешалось измерять температуру этим инструментом. Температура выздоравливающих записывалась «по пульсу», и только в случаях сомнения отпирали ящик стола.

Часы-ходики отщелкали десять минут, врач осторожно вынул термометр, руки санитаров разжались.

— Тридцать четыре и три, — сказал врач. — Ты можешь отвечать?

Я показал глазами — «могу». Я берег силы. Слова выговаривались медленно и трудно — это было вроде

перевода с иностранного языка. Я все забыл. Я отвык вспоминать. Запись истории болезни кончилась, и санитары легко подняли носилки, на которых я лежал навзничь.

— В шестую, — сказал врач. — Поближе к печке.

Меня положили на топчан у печки. Матрацы были набиты ветками стланика, хвоя осыпалась, высохла, голые ветки угрожающе горбились под грязной полосатой тканью. Сенная труха сыпалась из туго набитой грязной подушки. Реденькое, «выношенное» суконное одеяло, с нашитыми серыми буквами «ноги» укрыло меня от всего мира. Похожие на бечевку мускулы рук и ног ныли, отмороженные пальцы зудели. Но усталость была сильнее боли. Я свернулся в клубок, обхватил руками ноги, грязными коленями, покрытыми крупнозернистой, как бы крокодиловой кожей, уперся в подбородок и заснул.

Я проснулся через много часов. Мои завтраки, обеды, ужины стояли возле койки на полу. Я протянул руку, ухватил ближайшую жестяную мисочку и стал есть все подряд, время от времени откусывая крошечные кусочки от «пайки» хлеба, лежавшей тут же. Больные с соседних топчанов смотрели, как я глотаю пищу. Они меня не спрашивали, кто я и откуда, — моя крокодиловая кожа говорила сама за себя. Они бы и не смотрели на меня, но — я это знал по себе — от зрелища человека вкушающего нельзя отвести глаз.

Я проглотил поставленную пищу. Тепло, восхитительная тяжесть в желудке и снова сон — недолгий, ибо за мной пришел санитар. Я накинул на плечи единственный «расхожий» халат-пальто — грязный, прожженный окурками, отяжелевший от впитавшегося пота многих сотен людей, — сунул ступни в огромные шлепанцы и, медленно передвигая ноги, чтобы не свалиться, побрел за санитаром в «процедурную».

Тот же молодой врач стоял у окна и смотрел на улицу сквозь закуржавевшее, мохнатое от наросшего льда стекло. С угла подоконника свешивалась тряпоч-

ка, с нее капала вода, капля за каплей в подставленную жестяную обеденную миску. Железная печка гудела. Я остановился, держась обеими руками за санитара.

— Продолжим, — сказал врач.

— Холодно, — ответил я негромко. — Съеденная только что пища уже перестала греть меня.

— Садись к печке. Где вы работали на воле?

Я раздвинул губы, подвигал челюстями — должна была получиться улыбка. Врач это понял и улыбнулся ответно.

— Зовут меня Андрей Михайлович, — сказал он. — Лечиться вам нечего.

У меня засосало под ложечкой.

— Да, — повторил врач громким голосом. — Вам нечего лечиться. Вас надо кормить и мыть. Вам надо лежать, лежать и есть. Правда, матрацы наши — не перина. Ну, вы еще ничего — ворочайтесь побольше, и пролежней не будет. Полежите месяца два. А там и весна.

Врач усмехнулся. Я чувствовал радость, конечно. Еще бы! Целых два месяца! Но я не в силах был выразить эту радость. Я держался руками за табуретку и молчал. Врач что-то записал в историю болезни.

— Идите.

Я вернулся в палату, спал и ел. Через неделю я уже ходил нетвердыми шагами по палате, по коридору, по другим палатам. Я искал людей жующих, глотающих — я смотрел им в рот, ибо чем больше я отдыхал, тем больше и острее мне хотелось есть.

В больнице, как и в лагере, вовсе не выдавали ложек. Мы научились обходиться без вилки и ножа еще в следственной тюрьме. Давно мы были обучены приему пищи «через борт», без ложки: ни суп, ни каша никогда не были такими густыми, чтобы понадобилась ложка. Палец, корка хлеба и язык очищали дно котелка или миски любой глубины.

Я хотел и искал людей жующих. Это была настоя-

тельная, повелительная потребность, и чувство это было знакомо Андрею Михайловичу.

Ночью меня разбудил санитар. Палата была шумна обычным ночным больничным шумом: хрип, храп, стоны, бредовый разговор, кашель — все мешалось в своеобразную звуковую симфонию, если из таких звуков может быть составлена симфония. Но заведи меня с закрытыми глазами в такое место — я узнаю лагерную больницу.

На подоконнике лампа — жестяное блюдечко с каким-то маслом — только не рыбий жир! — и дымным фитилем, скрученным из ваты. Было, вероятно, еще не очень поздно, наша ночь начиналась с «отбоя» в 9 часов вечера, и засыпали мы как-то сразу, чуть согреются руки, ноги.

— Андрей Михайлович звали, — сказал санитар. — Вон Козлик тебя проводит.

Больной, называемый Козликом, стоял передо мной.

Я подошел к жестяному раковиннику, умылся, и, вернувшись в палату, вытер лицо и руки о наволочку. Огромное полотенце из старого полосатого матраца было одно на палату в тридцать человек и выдавалось только по утрам. Андрей Михайлович жил при больнице, в одной из крайних маленьких палат — в такие палаты клали послеоперационных больных. Я постучал в дверь и вошел.

На столе лежали книги, сдвинутые в сторону. Книги были чужими, недружелюбными, ненужными. Рядом с книгами стоял чайник, две жестяные кружки и полная миска какой-то каши...

— Не хотите ли сыграть в домино? — сказал Андрей Михайлович, дружелюбно разглядывая меня... — Если у вас есть время.

Я ненавижу домино. Это — игра самая глупая, самая бессмысленная, самая нудная. Даже лото интереснее, не говоря уж о картах — о любой карточной игре. Всего бы лучше шахматы, в шашки хотя бы — я покосился на шкаф — не видно ли там шахматной доски, но доски

не было. Но не могу же обидеть Андрея Михайловича отказом. Я должен его развлечь, должен отплатить добром за добро. Я никогда в жизни не играл в домино, но убежден, что великой мудрости для овладения этим искусством не надо.

И потом — на столе стояли две кружки чая, миска с кашей. И было темно.

— Выпьем чаю, — сказал Андрей Михайлович. — Вот сахар. Не стесняйтесь. Ешьте эту кашу и рассказывайте — о чем хотите. Впрочем, эти два дела нельзя делать одновременно.

Я съел кашу, хлеб, выпил три кружки чаю с сахаром. Сахару я не видел несколько лет. Я согрелся, и Андрей Михайлович смешал костяшки домино.

Я знал, что начинает игру обладатель двойной шестерки, — ее поставил Андрей Михайлович. Потом по очереди играющие приставляют подходящие по очкам кости. Другой науки тут не было, и я смело вошел в игру, непрерывно потая и икая от сытости.

Мы играли на кровати Андрея Михайловича, и я с удовольствием смотрел на ослепительно белую наволочку на перьевой подушке. Это было физическое наслаждение смотреть на чистую подушку, видеть, как другой человек мнет ее рукой.

— Наша игра, — сказал я, — лишена самого главного своего очарования — игроки в домино должны стучать с размаху о стол, выставляя костяшки. — Я отнюдь не шутил. Именно эта сторона дела представлялась мне наиболее важной в домино.

— Перейдем за стол, — любезно сказал Андрей Михайлович.

— Ну, что вы, я просто вспоминаю всю многогранность этой игры.

Партия игралась медленно — мы рассказывали друг другу наши жизни. Андрей Михайлович — врач — не работал в приисковых забоях на «общих работах» и видел прииск лишь отраженно — в тех людских отходах, остатках, отбросах, которые выкидывал прииск в

больницу и в морг. Я тоже был приисковым людским шлаком.

— Ну, вот вы и выиграли, — сказал Андрей Михайлович. — Поздравляю вас, а в качестве приза — вот, — он достал из тумбочки пластмассовый портсигар. — Давно не курили?

Я оторвал клочок газеты и свернул махорочную папиросу. Лучше газетной бумаги для махорки ничего не придумать. Следы типографской краски не только не портят махорочного букета, но оттеняют его наилучшим образом. Я зажег полосу бумаги от рдеющих углей в печке и закурил, жадно втягивая тошнотворый сладковатый дым.

С табаком мы бедствовали, и надо было давно бросить курить — условия были самые подходящие, но я не бросал курить никогда. Было страшно даже подумать, что я могу по собственной воле лишиться этого единственного великого арестантского удовольствия.

— Спокойной ночи, — сказал Андрей Михайлович, улыбаясь. — Я уже спать собрался. Но так захотелось сыграть партию. Спасибо вам.

Я вышел из его комнаты в темный коридор — кто-то стоял у стены на моей дороге. Я узнал силуэт Козлика.

— Что ты? Чего ты тут?

— Я покурить. Покурить бы. Не дал?

Мне стало стыдно своей жадности, стыдно, что я не подумал ни о Козлике, ни о ком другом в палате, чтобы принесли им окуроч, корку хлеба, горсть каши.

А Козлик ждал несколько часов в темном коридоре.

.

Прошло еще несколько лет, кончилась война, власовцы сменили нас на золотом прииске, и я попал в «малую зону», в пересыльные бараки Западного Управления. Огромные бараки с многоэтажными нарами вмещали по пятьсот, шестьсот человек. Отсюда шла отправка на прииски запада.

По ночам зона не спала — шли этапы, и в «красном углу» зоны, застеленном грязными ватными одеялами блатарей, шли еженочно концерты. И какие концерты! Именитейших певцов и рассказчиков — не только из лагерных агитбригад, но и выше. Какой-то харбинский баритон, имитирующий Лещенко и Вертинского, имитирующий самого себя Вадим Козин и многие, многие другие — пели здесь для блатных без конца, выступали в лучшем своем репертуаре. Рядом со мной лежал лейтенант танковых войск Свечников, нежный розовощекий юноша по службе. Здесь он тоже был под следствием — работая на прииске, он был уличен в том, что ел мясо человеческих трупов из морга, вырубая куски человечины, — «не жирной, конечно», как он совершенно спокойно объяснял.

Соседей на пересылке не выбирают, да есть, наверное, дела и похуже, чем обедать человеческим трупом.

Редко, редко в «малую зону» являлся фельдшер и проводил прием «температурирующих». На фурункулы, густо меня облепившие, фельдшер не захотел и смотреть. Сосед мой Свечников, знавший фельдшера по больничному моргу, разговаривал с ним, как с хорошо знакомым. Неожиданно фельдшер назвал фамилию Михайловича.

Я умолил фельдшера передать Андрею Михайловичу записку — больница, где он работал, была в километре от «малой зоны». Планы мои изменились. Теперь, до ответа Андрея Михайловича, надо было задержаться в зоне.

Нарядчик уже заметил меня и приписывал к каждому уходящему в пересылку этапу. Но представители, принимающие этап, столь же неукоснительно вычеркивали меня из списков. Они подозревали недоброе, да и вид мой говорил сам за себя.

— Почему ты не хочешь ехать?

— Я болен. Мне надо в больницу.

— В больнице тебе делать нечего. Завтра будут отправлять на дорожные работы. Будешь метлы вязать?

— Не хочу на дорожные. Не хочу метлы вязать.

День проходил за днем, этап за этапом. Ни о фельдшере, ни об Андрее Михайловиче не было ни слуху, ни духу.

К концу недели мне удалось попасть на медосмотр в амбулаторию метров за сто от «малой зоны». Новая записка к Андрею Михайловичу была зажата у меня в кулаке. Статистик санчасти взял ее у меня и обещал передать Андрею Михайловичу на другое утро.

Во время осмотра я спросил у начальника санчасти об Андрее Михайловиче.

— Да, есть такой врач из заключенных. Вам незачем его видеть.

— Я его знаю лично.

— Мало ли кто знает его лично.

Фельдшер, который взял у меня записку в «малой зоне», стоял тут же. Я негромко спросил его — где записка?

— Никакой записки я в глаза не видел...

Если до послезавтешнего дня я ничего нового об Андрее Михайловиче не узнаю — я еду... На дорожные работы, в сельхоз, на прииск, к чертовой матери...

Вечером следующего дня, уже после проверки, меня вызвали к зубному врачу. Я пошел, думая, что это какая-то ошибка, но в коридоре увидел знакомый черный полушубок Андрея Михайловича. Мы обнялись.

Еще через сутки меня вызвали — четырех больных из лагеря повели, повезли в больницу. Двое лежали обнявшись на санях-розвальнях, двое шли за санями. Андрей Михайлович не успел меня предупредить о диагнозе — я не знал, чем я болен. Мои болезни — дистрофия, пеллагра, цинга — еще не подросли до необходимости в лагерной госпитализации. Я знал, что ложусь в хирургическое отделение. Андрей Михайлович работал там, но какое хирургическое заболевание мог я предъявить — грыжи у меня не было. Остеомиелит четырех пальцев ноги после отморожения — это мучительно, но вовсе недостаточно для госпитализации.

Я был уверен, что Андрей Михайлович сумеет меня предупредить, встретив где-нибудь.

Лошадь подъехала к больнице, санитары втащили «лежачих», а мы — я и новый товарищ мой — разделась на лавочке и стали мыться. На каждого давался таз теплой воды.

В «ванну» вошел пожилой врач в белом халате и, смотря поверх очков, оглядел нас обоих.

— Ты с чем? — спросил он, тронув пальцем плечо моего товарища.

Тот повернулся и выразительно показал на огромную паховую грыжу.

Я ждал того же вопроса, решив пожаловаться на боли в животе.

Но пожилой врач равнодушно взглянул на меня и вышел.

— Кто это? — спросил я.

— Николай Иванович, главный хирург здешний. Заведующий отделением.

Санитар выдал нам белье.

— Куда тебя? — это относилось ко мне.

— А черт его знает! — У меня отлегло от сердца, и я уже не боялся.

— Ну, чем ты болен «в натуре», скажи?

— Живот у меня болит.

— Аппендицит, наверное, — сказал бывалый санитар.

Андрея Михайловича я увидел только на другой день. Главный хирург был им предупрежден о моей госпитализации с «подострым аппендицитом». Вечером того же дня Андрей Михайлович рассказал мне свою невеселую историю.

Он заболел туберкулезом. Рентгеновские снимки и лабораторные анализы были угрожающими. Районная больница ходатайствовала о вывозе заключенного Андрея Михайловича на «материк» для лечения. Андрей Михайлович был уже на пароходе, когда кто-то донес начальнику санотдела Черпакову, что болезнь Андрея Михайловича ложная, мнимая — «туфта» по-

лагерному. А, может быть, и не доносил никто — майор Черпаков был достойным сыном своего века — дозрений, недоверия и «бдительности».

Майор разгневался, распорядился снять Андрея Михайловича с парохода и заслать его в самую глушь — далеко от того дальнего Управления, где мы повстречались. И Андрей Михайлович уже сделал тысячекилометровое путешествие в мороз. Но в дальнем Управлении выяснилось, что там нет ни одного врача, который мог бы накладывать искусственный пневмоторакс. Вдувания уже делали Андрею Михайловичу несколько раз, но лихой майор объявил пневмоторакс обманом и жульничеством.

Андрею Михайловичу становилось все хуже и хуже, и он был чуть жив, пока удалось добиться у Черпакова разрешения на отправку Андрея Михайловича в Западное Управление — ближайшее, где врачи умели накладывать пневмоторакс.

Теперь Андрею Михайловичу было получше, несколько вдуваний были проведены удачно, и Андрей Михайлович стал работать ординатором хирургического отделения.

После того как я немного окреп, я работал у Андрея Михайловича санитаром. По его рекомендации и настоянию я уехал учиться на курсы фельдшера, окончил эти курсы, работал фельдшером и вернулся на «материк». Андрей Михайлович и есть тот человек, которому я обязан жизнью. Сам он давно умер — туберкулез и майор Черпаков сделали свое дело.

В больнице, где мы работали вместе, мы жили дружно. Срок у нас кончился в один и тот же год, и это как бы связывало наши судьбы, сближало.

Однажды, когда вечерняя уборка закончилась, санитары сели в углу играть в домино и застучали костяшками.

— Дурацкая игра, — сказал Андрей Михайлович,

показывая на санитаров и морщась от стука костяшек.

— В домино я играл один раз в жизни, — сказал я.

— С вами, по вашему приглашению. И даже выиграл.

— Немудрено выиграть, — сказал Андрей Михайлович. — Я тоже впервые тогда взял домино в руки. Хотел вам приятное сделать.



ГЕРКУЛЕС

Последним запоздавшим гостем на серебряной свадьбе начальника больницы Сударина был врач Андрей Иванович Дударь. Он нес в руках плетеную из лозы корзину, завязанную марлей, украшенную раскрашенными бумажными цветами. Под звон стаканов и нестройный гул пьяных голосов пирующих Андрей Иванович поднес корзину юбиляру. Сударин взвесил корзину на руке.

— Что это?

— Там увидите.

Сняли марлю. На дне корзины лежал большой красноперый петух. Он невозмутимо поворачивал голову, оглядывая покрасневшие лица шумливых пьяных гостей.

— Ах, Андрей Иванович, как кстати, — защебетала седая юбилярша, поглаживая петуха.

— Чудесный подарок, — лепетали врачихи. — И красный какой! Это ведь наш любимец, Андрей Иванович, да?

Юбиляр с чувством пожал руку Дударя.

— Покажите, покажите мне, — раздался вдруг хриплый тонкий голос.

На почетном месте в голове стола, по правую руку хозяина сидел знатный приезжий гость, давний приятель Сударина, прикативший еще утром на персональной «Победе» из областного города за 600 верст на серебряную свадьбу друга.

Корзина с петухом явилась перед мутными очами приезжего гостя.

— Да. Славный петушок. Твой, что ли? — перст почетного гостя указал на Андрея Ивановича.

— Теперь мой, — улыбаясь, доложил юбиляр.

Почетный гость был заметно моложе окружавших его лысых и седых невропатологов, терапевтов, психиатров. Ему было лет сорок. Нездоровое желтое вздутое

лицо, небольшие серые глазки, щегольской китель с серебряными погонами полковника медицинской службы. Китель был явно тесен полковнику, и было видно, что он был сшит еще тогда, когда брюшко еще не обозначалось отчетливо и шея еще не наваливалась на стоячий воротник. Лицо почетного гостя хранило скупающее выражение, но от каждой выпитой стопки спирта (как русский, да еще и северянин, почетный гость не употреблял других горячительных) оно становилось все оживленней, и гость все чаще поглядывал на окружавших его медицинских дам и все чаще вмешивался в разговоры, неизменно стихавшие при звуках надтреснутого тенора.

Когда душа-мера достигла надлежащего градуса, почетный гость выбрался из-за стола, толкнув какую-то не успешную отодвинуться врачуху, засучил рукава и стал поднимать тяжелые лиственничные стулья, ухватя заднюю ножку одной рукой, то правой, то левой попеременно, демонстрируя гармоничность своего физического развития.

Никто из восхищенных гостей не мог поднять столько раз те стулья, которые поднимал почетный гость. От стульев он перешел к креслам, и успех по-прежнему сопутствовал ему. Пока поднимали стулья другие, почетный гость своей могучей дланью привлекал к себе молоденьких, розовых от счастья врачей и заставлял щупать свои напряженные бицепсы, что врачихи исполняли с явным восхищением.

После этих упражнений почетный гость, неистощимый на выдумки, перешел к национальному русскому номеру: рукой, поставленной на локоть, он прижимал к столу руку противника, поставленную в том же положении. Серьезного сопротивления седые и лысые невропатологи и терапевты оказать не могли, и только главный хирург продержался несколько дольше других.

Почетный гость искал новых испытаний для своей русской мощи. Извинившись перед дамами, он снял китель, немедленно подхваченный и повешенный на

спинку стула хозяйкой дома. По внезапному оживлению лица было видно, что почетный гость что-то придумал.

— Я барану, барану, понимаете, голову назад заворачиваю. Крак, и готово. — Почетный гость поймал за пуговицу Андрея Ивановича.

— А у этого твоего... подарка — у живого голову оторву, — сказал он, любуясь произведенным впечатлением. — Где петух?

Петуха извлекли из домашнего курятника, куда он был уже выпущен рачительной хозяйкой. На севере все начальники держат в квартирах (зимой, конечно) по несколько десятков кур; холостые начальники или женатые, во всех случаях куры — очень, очень доходная статья.

Почетный гость вышел на середину комнаты, держа в руках петуха. Любимец Андрея Ивановича лежал все так же спокойно, сложив обе ноги и свесив на сторону голову. Андрей Иванович года два таскал его так в своей одинокой квартире.

Мощные пальцы ухватили петуха за шею. На лице почетного гостя сквозь нечистую толстую кожу проступил румянец. Движением, каким разгибают подковы, почетный гость оторвал голову петуха напроць. Петушья кровь забрызгала отглаженные брюки и шелковую рубашку.

Дамы выхватили душистые платочки, бросились наперерыв вытирать брюки почетного гостя.

— Одеколону!

— Нашатырным спиртом!

— Водой холодной замойте!

— Но сила, сила! Вот это по-русски! Крак — и готово, — восхищался юбиляр.

Почетного гостя потащили в ванную отмываться.

— Танцевать будем в зале, — суетился юбиляр. — Ну, геркулес...

Завели патефон. Зашипела иголка.

Андрей Иванович, выбираясь из-за стола, чтобы принять участие в танцах (почетный гость любил, чтобы все танцевали), наступил ногой на что-то мягкое. Наклонившись, он увидел мертвое петушиное тело, безголовый труп своего любимца.

Андрей Иванович выпрямился, огляделся и ногой задвинул мертвую птицу поглубже под стол. Затем торопливо вышел из комнаты — почетный гость не любил, когда опаздывали на танцы.



ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

Еще в то благодатное время, когда Мерзляков работал конюхом, и в самодельной крупорушке — большой консервной банке с пробитым дном на манер сита — можно было приготовить из овса, полученного для лошадей, крупу для людей, варить кашу и этим горьким горячим месивом заглушать, утишать голод, — еще тогда он думал над одним простым вопросом. Крупные обозные материковские кони получали ежедневно порцию казенного овса, вдвое большую, чем приземистые и косматые якутские лошаденки, хотя те и другие возили одинаково мало. Ублюдку-першерону «Грому» засыпалось в кормушку столько овса, сколько хватило бы пяти «якуткам». Это было правильно, так велось везде, и не это мучило Мерзлякова. Он не понимал, почему лагерный людской паек, эта таинственная роспись белков, жиров, витаминов и калорий, предназначенных для поглощения заключенными и называемая котловым листом, составляется вовсе без учета живого веса людей. Если уж к ним относятся как к рабочей скотине, то в вопросах рациона надо быть более последовательным, не надо утруждаться какой-то арифметической средней — канцелярской выдумки. Эта страшная средняя в лучшем случае была выгодна только малорослым, и действительно малорослые «доходили» позже других. Мерзляков по своей комплекции был вроде першерона «Грома», и жалкие три ложки каши на завтрак только увеличивали сосущую боль в желудке. А ведь, кроме пайка, бригадный рабочий не мог получить почти ничего. Все самое ценное — и масло, и сахар, и мясо — попадало в котел вовсе не в том количестве, какое записано в котловом листе. Видел Мерзляков и другое. Первыми умирали рослые люди. Никакая привычка к тяжелой работе не меняла тут ровно ничего. Щупленький интеллигент все же дер-

жался дольше, чем гигант калужанин — природный землекоп, — если их кормили одинаково, в соответствии с лагерной «пайкой». В повышении пайка за проценты выработки тоже было мало проку, потому что основная роспись оставалась прежней, никак не рассчитанной на взрослых людей. Для того чтобы лучше есть — надо было лучше работать, а для того чтобы лучше работать, надо было лучше есть. Эстонцы, латыши, литовцы умирали первыми повсеместно. Они первыми «доходили», что вызывало всегда замечания врачей: дескать, вся эта Прибалтика послабее русского народа. Правда, родной быт латышей и эстонцев дальше стоял от лагерного быта, чем быт русского крестьянина, и им было труднее. Но главное все же заключалось в другом: они не были менее выносливы, они просто были крупнее ростом.

Года полтора назад случилось Мерзлякову после цинги, которая быстро свалила новичка, поработать внештатным санитаром в местной больничке. Там он узнал, что выбор дозы лекарства делается по весу. Испытание новых лекарств проводится на кроликах, мышах, морских свинках, а человеческая доза определяется пересчетом на вес тела. Дозы для детей меньше, чем дозы для взрослых.

Но лагерный рацион не рассчитывался по весу человеческого тела. Вот это и был тот вопрос, неправильное решение которого удивляло и волновало Мерзлякова. Но раньше чем он ослабел окончательно, ему чудом удалось устроиться конюхом — туда, где можно было красть у лошадей овес и набивать им свой желудок. Мерзляков уже думал, что перезимует, а там — что Бог даст. Но вышло не так. Заведующий конбазой был снят за пьянство, и на место его был назначен старший конюх — один из тех, кто в свое время научил Мерзлякова обращаться с жестяной крупорушкой. Старший конюх сам поворовал овса немало и в совершенстве знал, как это делается. Стремясь зарекомендовать себя перед начальством, он, не нуждаясь уже в овсяной

крупе, собственноручно разломал все крупорушки. Овес стали жарить, варить и есть в природном виде, полностью приравнивая свой желудок к лошадиному. Новый заведующий написал рапорт по начальству. Несколько конюхов, в том числе и Мерзляков, были посажены в карцер за кражу овса и направлены с кон- базы туда, откуда они пришли, — на «общие работы».

. ,

На общих работах Мерзляков скоро понял, что смерть близка. Его шатало под тяжестью бревен, которые приходились перетаскивать. Десятник, не влюбивший этого ленивого «лба» («лоб» — это и значит «рослый» на местном языке), всякий раз ставил Мерзлякова «под комелек», заставляя тащить комель — толстый конец бревна. Однажды Мерзляков упал, не мог встать сразу со снега и, внезапно решившись, отказался тащить это проклятое бревно. Было уже поздно, темно, конвоиры торопились на политзанятия, рабочие хотели скорей добраться до барака, до еды, десятник в этот вечер опаздывал к карточному сражению — во всей за- держке был виноват Мерзляков. И он был наказан. Он был избит сначала своими же товарищами, потом десят- ником, конвоирами. Бревно так и осталось лежать в сне- гу — вместо бревна в лагерь принесли Мерзлякова. Он был освобожден от работы и лежал на нарах. Поясни- ца болела. Фельдшер мазал спину Мерзлякова солидо- лом — никаких средств для растирания на медпункте не было. Мерзляков все время лежал полусогнувшись, настойчиво жалуясь на боли в пояснице. Боли давно уже не было, сломанное ребро срослось очень быстро, и Мерзляков стремился ценой любой лжи оттянуть выписку на работу. Его и не выписывали. Однажды его одели, уложили на носилки, погрузили в кузов авто- машины и вместе с другими больными увезли в район- ную больницу. Рентген-кабинета там не было. Теперь следовало подумать обо всем серьезно, и Мерзляков

подумал. Он пролежал так несколько месяцев не разгибаясь, был перевезен в центральную больницу, где конечно, рентген-кабинет был и где Мерзлякова поместили в хирургическое отделение, в палаты травматических болезней, которые по простоте душевной больные называли «драматическими» болезнями, не думая о горечи этого каламбура.

— Вот еще этого, — сказал хирург, указывая на «историю болезни» Мерзлякова, — переводим к Вам, Петр Иванович, лечить его в хирургическом нечего.

— Но вы же пишете в диагнозе: анкилоз на почве трамвы позвоночника. Мне-то он к чему? — сказал невропатолог.

— Ну, анкилоз, конечно. Что ж я еще могу написать? На прииске «Серый» был случай. Десятник избил работягу...

— Некогда, Сережа, слушать мне про ваши случаи. Я спрашиваю, зачем переводите?

— Я же написал: для обследования на предмет активирования. Потычете его иголочками, активируем и на пароход. Пусть будет вольным человеком.

— Но вы же делали снимок? Нарушения должны быть видны и без иголок.

— Делал. Вот извольте видеть. — Хирург навел на марлевою занавеску темный пленочный негатив. — Черт тут поймет в такой снимке. До тех пор пока не будет хорошего света, хорошего тока, наши рентгено-техники все время будут такую муть давать.

— Истинно муть, — сказал Петр Иванович. — Ну, так и быть. — И он подписал на истории болезни свою фамилию, согласие на перевод Мерзлякова к себе.

В хирургическом отделении, шумном, бестолковом, переполненном отморожениями, вьвихами, переломами, ожогами, — северные шахты не шутили — в отделении,

где часть больных лежала прямо на полу палат и коридоров, где работал один молодой, бесконечно утомленный хирург с четырьмя фельдшерами, — все они спали в сутки по три, четыре часа, — там и не могли внимательно заняться Мерзляковым. Мерзляков понял, что в нервном отделении, куда его внезапно перевели, и начнется настоящее следствие.

Вся его арестантская отчаянная воля была сосредоточена давно на одном: не разогнуться. И он не разгибался. Как хотелось телу разогнуться хоть на секунду. Но он вспоминал прииск, щемящий дыхание холод, мерзлые, скользкие, блестящие от мороза камни золотого забоя, миску «супчику», которую за обедом он выпивал залпом, не пользуясь ненужной ложкой, приклады конвоиров и сапоги десятников — и находил в себе силу, чтобы не разогнуться. Впрочем, сейчас уже было легче, чем первые недели. Он спал мало, боясь разогнуться во сне. Он знал, что дежурным санитарам дано приказание следить за ним, чтобы уличить его в обмане. А вслед за уличением — и это тоже знал Мерзляков — следовала отправка на штрафной прииск — а какой же должен быть штрафной прииск, если обыкновенный оставил у Мерзлякова такие страшные воспоминания?

На другой день после перевода Мерзлякова повели к врачу. Заведующий отделением расспросил коротко о начале заболевания, сочувственно покивал головой. Рассказал, как бы между прочим, что даже и здоровые мышцы при многомесячном неестественном положении привыкают к нему, и человек сам себя может сделать инвалидом. Затем Петр Иванович приступил к осмотру. На вопросы при уколах иглы, при постукивании резиновым молоточком, при надавливании Мерзляков отвечал наугад.

Больше половины своего рабочего времени Петр Иванович тратил на разоблачение симулянтов. Он понимал, конечно, причины, которые толкают заключенных на симуляцию. Петр Иванович сам был недавно заключен-

ным, и его не удивляло ни детское упрямство симулянтов, ни легкомысленная примитивность их подделок. Петр Иванович, бывший доцент одного из сибирских институтов, сам сложил свою научную карьеру в те же снега, где его больные спасали свою жизнь, обманывая его. Нельзя сказать, чтобы он не жалел людей. Но он был врачом в большей степени, чем человеком, он был специалистом прежде всего. Он гордился тем, что год общих работ не выбил из него врача-специалиста. Он понимал задачу разоблачения обманщиков вовсе не с какой-нибудь высокой общегосударственной точки зрения и не с позиций морали. Он видел в ней, в этой задаче, достойное применение своих знаний, своего психологического умения расставлять западни, в которые должны были, к вящей славе науки, попадаться голодные, полусумасшедшие, несчастные люди. В этом сражении врача и симулянта на стороне врача было все — и тысячи хитрых лекарств, и сотни учебников, и богатая аппаратура, и помощь конвоя, и огромный опыт специалиста, — а на стороне больного был только ужас перед тем миром, откуда он пришел в больницу и куда он боялся вернуться. Именно этот ужас и давал ему силы для борьбы. Разоблачая очередного обманщика, Петр Иванович испытывал глубокое удовлетворение; еще раз он получает свидетельство жизни, что он хороший врач, что он не потерял квалификацию, а наоборот, отточил, отшлифовал ее, — словом, что он «еще может» . . .

— Дураки эти хирурги, — думал он, закуривая папиросу после ухода Мерзлякова. — Топографической анатомии не знают или забыли, а рефлексов и никогда не знали. Спасаются одним рентгеном. А нет снимка — и не могут уверенно сказать даже о простом переломе. А фасону сколько! Что Мерзляков симулянт — это Петру Ивановичу ясно, конечно. — Ну, пусть полежит недельку. За эту недельку все анализы соберем, чтобы все было по форме. Все бумажки в историю болезни

подклеим. — Петр Иванович улыбнулся, предвкушая театральный эффект нового разоблачения.

Через неделю в больнице собирали этап на пароход — перевод больных на Большую землю. Протоколы писались тут же в палате, и приезжий из управления председатель врачебной комиссии самолично просматривал больных, приготовленных больницей к отправке. Его роль сводилась к промотру документов, проверке надлежащего «оформления» — личный осмотр больного отнимал полминуты.

— В моих списках, — сказал хирург, — есть некто Мерзляков. Ему год назад конвоиры позвоночник сломали. Я бы хотел его отправить. Он недавно переведен в нервное отделение. Документы на отправку вот, заготовлены.

Председатель комиссии повернулся в сторону невропатолога.

— Приведите Мерзлякова, — сказал Петр Иванович.

Полусогнутого Мерзлякова привели. Председатель бегло взглянул на него.

— Экая горилла, — сказал он. — Да, конечно, держать таких нечего. И, взяв перо, он потянулся к спискам.

— Я своей подписи не даю, — сказал Петр Иванович громким и ясным голосом. — Это — симулянт, и завтра я буду иметь честь показать это и вам, и хирургу.

— Ну, тогда оставим, — равнодушно сказал председатель, положив перо. — И вообще давайте кончать, поздно уже.

— Он симулянт, Сережа, — сказал Петр Иванович, беря под руку хирурга, когда они выходили из палаты. Хирург высвободил руку.

— Может быть, — сказал он, брезгливо морщась. — Дай вам бог успеха в разоблачении. Получите массу удовольствия.

На следующий день Петр Иванович на совещании у начальника больницы доложил о Мерзлякове подробно.

— Я думаю, — сказал он в заключение, — что разо-

благчение Мерзлякова мы проведем в два приема. Первый будет рауш-наркоз, о котором вы позабыли, Сергей Федорович, — сказал он с торжеством, поворачиваясь в сторону хирурга. — Это надо было сделать сразу. А уж если и рауш ничего не даст, тогда... — Петр Иванович развел руками, — тогда шоковая терапия. Это занятная вещь, уверяю вас.

— Не слишком ли? — сказала Александра Сергеевна, заведующая самым большим отделением больницы — туберкулезным, полная, грузная женщина, недавно приехавшая с материка.

— Ну, сказал начальник больницы, — такую сволочь... Он мало стеснялся в присутствии дам.

— Посмотрим по результатам рауша, — сказал Петр Иванович примирительно.

Рауш-наркоз — это оглушающий эфирный наркоз кратковременного действия. Больной засыпает на пятнадцать-двадцать минут, и за это время хирург должен успеть вправить вывих, ампутировать палец или вскрыть какой-нибудь болезненный нарыв.

Начальство, наряженное в белые халаты, окружило операционный стол в перевязочной, куда положили послушного полусогнутого Мерзлякова. Санитары взялись за холщевые ленты, которыми обычно привязывают к операционному столу.

— Не надо, не надо, — закричал Петр Иванович, подбегая. — Вот лент-то и не надо.

Лицо Мерзлякова вывернулось вверх. Хирург наложил на него наркозную маску и взял в руку бутылочку с эфиром.

— Начинайте, Сережа!

Эфир закапал.

— Глубже, глубже дыши, Мерзляков! Считай вслух!

— Двадцать шесть, двадцать семь, — ленивым голосом считал Мерзляков и, внезапно оборвав счет, заговорил сразу что-то непонятное, отрывочное, пересыпанное матерной бранью.

Петр Иванович держал в своей руке левую руку

Мерзлякова. Через несколько минут рука ослабла. Петр Иванович выпустил ее. Рука мертво и мягко упала на край стола. Петр Иванович медленно и торжественно разогнул тело Мерзлякова. Все ахнули.

— Вот теперь привяжите его, — сказал Петр Иванович санитарам.

Мерзляков открыл глаза и увидел волосатый кулак начальника больницы.

— Ну, что, гадина, — хрипел начальник, — под суд теперь пойдешь.

— Молодец, Петр Иванович, молодец, — твердил председатель комиссии, хлопая невропатолога по плечу. — А ведь я вчера совсем собрался ему вольную выдать.

— Развяжите его! — командовал Петр Иванович. — Слезай со стола!

Мерзляков еще не очнулся окончательно. В висках стучало, во рту был тошный сладкий вкус эфира. Мерзляков еще и сейчас не понимал — сон это или явь, и, может быть, такие сны видел он не один раз и раньше.

— А ну вас всех к матери! — неожиданно крикнул он и согнулся, как раньше. Широкоплечий, костлявый, почти касаясь своими длинными, толстыми пальцами пола, с мутным взглядом и взъерошенными волосами, действительно похожий на гориллу Мерзляков вышел из перевязочной. Петру Ивановичу доложили, что больной Мерзляков лежит на койке в своей обычной позе. Врач велел привести его в свой кабинет.

— Ты разоблачен, Мерзляков, — сказал невропатолог. — Но я просил начальника. Тебя не отдадут под суд, не пошлют на штрафной прииск, тебя просто выпишут из больницы, и ты вернешься на свой прииск, на старую работу. Ты, брат, герой. Целый год морочил нам голову.

— Ничего я не знаю, — сказал горилла, не поднимая глаз.

— Как не знаешь? Ведь тебя только что разогнули!

— Никто меня не разгибал.

— Ну, милый мой, — сказал невропатолог. — Это уж вовсе лишнее. Я с тобой хотел по-хорошему. А так гляди, сам будешь проситься на выписку через неделю.

— Ну, что там еще будет через неделю, — тихо сказал Мерзляков. Как ему было объяснить врачу, что даже лишняя неделя, лишний день, лишний час, прожитый не на прииске, — это и есть его, мерзляковское счастье. Если врач не понимает этого сам, как объяснить ему? Мерзляков молчал и глядел в пол.

Мерзлякова увели, а Петр Иванович пошел к начальнику больницы.

— Так можно завтра, а не через неделю, — сказал начальник, — выслушав предложение Петра Ивановича.

— Я обещал ему неделю, — сказал Петр Иванович, — не обеднеет же больница.

— Ну, ладно, — сказал начальник. — Пусть через неделю. Только меня позовите. А привязывать будете?

— Нельзя привязывать, — сказал невропатолог. — Вывихнет руку или ногу. Держать будут. — И, взяв историю болезни Мерзлякова, невропатолог написал в графе назначений «шоковая терапия» и поставил дату.

При шоковой терапии вводится в кровь больного доза камфорного масла в количестве, в несколько раз превышающем дозу того же лекарства, когда его вводят подкожным уколом для поддержки сердечной деятельности тяжелобольных. Действие ее приводит к внезапному приступу, подобному приступу буйного сумасшествия или эпилептическому припадку. Под ударом камфоры резко повышается вся мышечная деятельность, все двигательные силы человека. Мышцы приходят в напряжение небывалое, и сила больного, потерявшего сознание, удесятеряется.

Прошло несколько дней, а Мерзляков и не думал разгибаться по своей воле. Пришло утро, записанное в истории болезни, и Мерзлякова привезли к Петру Ивановичу. На севере дорожат всяким развлечением — докторский кабинет был полон. Восемь здоровенных

санитаров выстроились вдоль стены. Посреди кабинета стояла кушетка.

— Здесь и будем делать, — сказал Петр Иванович, вставая из-за стола. — К хирургам ходить не станем. Кстати, где Сергей Федорович?

— Он не придет, — сказала Анна Ивановна, дежурная сестра. — Он сказал: «занят».

— Занят, занят, — повторил Петр Иванович. — Ему полезно было бы посмотреть, как я делаю за него его работу.

Мерзлякову засучили рукав, и фельдшер помазал его руку иодом. Взяв в правую руку шприц, фельдшер проколол иглой вену близ локтевого сгиба. Темная кровь хлынула из иглы внутрь шприца. Фельдшер мягким движением большого пальца нажал поршень, и желтый раствор стал уходить в вену.

— побыстрей вливайте! — сказал Петр Иванович. — И живей отходите в сторону. А вы, — сказал он санитарам, — держите его.

Огромное тело Мерзлякова подпрыгнуло и забилося в руках санитаров. Восемь человек держало его. Он хрипел, бился, лягался, но санитары держали его крепко, и он стал затихать.

— Тигра, тигра так удержать можно, — кричал Петр Иванович в восторге. — В Забайкалье тигров так руками ловят. Вот обратите внимание, — говорил он начальнику больницы, — как Гоголь преувеличивает. Помните конец «Тараса Бульбы»? «Мало не тридцать человек висело у него по рукам и ногам». А эта горилла покрупнее Бульбы-то. И всего восемь человек.

— Да, да, — сказал начальник. — Гоголя он не помнил, но шоковая терапия ему чрезвычайно понравилась.

На следующее утро Петр Иванович во время обхода больных задержался у койки Мерзлякова.

— Ну как, — спросил он, — какое твое решение?

— Выписывайте, — сказал Мерзляков.

СТЛАНИК

На Крайнем Севере, на стыке тайги и тундры, среди карликовых берез, низкорослых кустов рябины с неожиданно крупными светложелтыми водянистыми ягодами, среди шестисотлетних лиственниц, что достигают зрелости в триста лет, живет особенное дерево — стланик. Это дальний родственник кедра, кедрач — вечнозеленые хвойные кусты со стволами потолще человеческого руки и длиной в два-три метра. Он неприхотлив и растет, уцепившись корнями за щели в камнях горного склона. Он мужествен и упрям, как все северные деревья. Чувствительность его необычна.

Поздняя осень, давно пора быть снегу, зиме. По краю белого небосвода много дней ходят низкие, синеватые, будто в кровоподтеках тучи. А сегодня осенний пронизывающий ветер с утра стал угрожающе тих. Пахнет снегом? Нет. Не будет снега. Стланик еще не ложился. И дни проходят за днями, снега нет, тучи бродят где-то за сопками, и на высоком небе вышло бледное маленькое солнце, и все по-осеннему...

А стланик — гнется. Гнется все ниже, как бы под безмерной, все растущей тяжестью. Он царапает своей вершиной камень и прижимается к земле, растягивая свои изумрудные лапы. Он стелется. Он похож на спрута в зеленых перьях. Лежа, он ждет день, другой, и вот уже с белого неба сыплется, как порошок, снег, и стланик погружается в зимнюю спячку, как ведмедь. На белой горе взбухают огромные снежные волдыри — это кусты стланика легли зимовать.

А в конце зимы — когда снег еще покрывает землю трехметровым слоем, когда в ущельях метели утрамбовали плотный, поддающийся только железу снег, — люди тщетно ждут признаков весны, хотя по календарю весне пора уж придти. Но день не отличим от зимнего — воздух разрежен и сух и ничем не отличен от январского воздуха. К счастью, ощущения человека слишком слабы, восприятия слишком просты, да и чувств у него

немного, всего пять — этого недостаточно для предсказаний и угадываний.

Природа тоньше человека в своих ощущениях. Кое-что мы об этом знаем. Помните рыб лососевых пород, приходящих метать икру только в ту реку, где была выметана икринка, из которой развилась эта рыба? Помните таинственные трассы птичьих перелетов? Растений-барометров, цветов-барометров известно немало.

И вот, среди снежной бескрайной белизны, среди полной безнадежности вдруг встает стланик. Он стряхивает снег, распрямляется во весь рост, поднимает к небу свою зеленую, обледенелую, чуть рыжеватую хвою. Он слышит не уловимый нами зов весны, и, веря в нее, встает раньше всех на севере. Зима кончилась.

Бывает и другое: костер. Стланик слишком легковерен. Он так не любит зиму, что готов верить теплу костра. Если зимой рядом с согнувшимся, скрюченным по-зимнему кустом стланика развести костер — стланик встанет. Костер погаснет, и разочарованный кедрач, плача от обиды, снова согнется и ляжет на старое место. И его занесет снегом.

Нет, он не только предсказатель погоды. Стланик — дерево надежд, единственное на Крайнем Севере вечно-зеленое дерево. Среди белого блеска снега, матово-зеленые хвойные его лапы говорят о юге, о тепле, о жизни. Летом он скромнен и незаметен — все кругом торопливо цветет, стараясь процвести в короткое северное лето. Цветы весенние, летние, осенние перегоняют друг друга в буйном цветении. Но осень близка, и вот уже сыплется желтая мелкая хвоя, оголяя листовницы, полевая трава свертывается и сохнет, лес пустеет, и тогда далеко видно, как среди бледно-желтой травы и серого мха горят среди леса огромные зеленые факелы стланика.

Мне стланик представлялся всегда самым поэтичным русским деревом, получше прославленной плакучей ивы, чинары, кипариса. И дрова из стланика жарче.

КРАСНЫЙ КРЕСТ

Лагерная жизнь так устроена, что действительную реальную помощь заключенному может оказать только медицинский работник. Охрана труда — это охрана здоровья, а охрана здоровья — это охрана жизни. Начальник лагеря и подчиненные ему надзиратели, начальник охраны с отрядом бойцов конвойной службы, начальник райотдела МВД со своим следовательским аппаратом, деятель на ниве лагерного просвещения — начальник культурно-воспитательной части со своей инспектурой — лагерное начальство так многочисленно. Воле этих людей — доброй или злой — доверяют применение «режима». В глазах заключенного все эти люди — символ угнетения, принуждения. Эти люди заставляют заключенного работать, стерегут его и ночью, и днем от побегов, следят, чтобы заключенный не ел и не пил лишнего. Все эти люди ежедневно, ежечасно твердят заключенному только одно: «Работай! Давай!»

И только один человек в лагере не говорит заключенному этих страшных, надоевших, ненавидимых в лагере слов. Это — врач. Врач говорит другие слова: отдохни, ты устал, завтра не работай, ты болен. Только врач не посылает заключенного в белую зимнюю тьму, в заледенелый каменный забой на много часов повседневно. Врач — защитник заключенного по должности, оберегающий арестанта от произвола начальства, от чрезмерной ретивости ветеранов лагерной службы.

В лагерных бараках в иные годы висели на стене большие печатные объявления: «Права и обязанности заключенного». Здесь было много обязанностей и мало прав. «Право» подавать заявления начальнику — только не коллективные... «Право» писать письма родным через лагерных цензоров... «Право» на медицинскую помощь.

Это последнее право было крайне важным, хотя дизентерию лечили во многих приисковых амбулаториях раствором марганцовокислого калия, и тем же раствором, только погуще, смазывали гнойные раны или отморожения.

Врач может освободить человека от работы официально, записав в книгу; может положить в больницу, определить в «оздоровительный пункт», увеличить паек. И самое главное в «трудовом» лагере — врач определяет «трудовую категорию», степень способности к труду, по которой рассчитывается норма работы. Врач может представить даже к освобождению — по инвалидности, по знаменитой статье 458. Освобожденного от работы по болезни никто не может заставить работать — врач бесконтролен в этих своих действиях. Лишь врачебные более высшие чины могут его проконтролировать. В своем медицинском деле врач никому не подчинен.

Надо еще помнить, что контроль за закладкой продуктов в «котел» — обязанность врача, равно как и наблюдение за качеством приготовленной пищи.

Единственный защитник заключенного, реальный его защитник — лагерный врач. Власть у него очень большая, ибо никто из лагерного начальства не мог контролировать действия специалиста. Если врач давал неверное, недобросовестное заключение, определить это мог только медицинский работник высшего или равного ранга — опять же специалист. Почти всегда лагерные начальники были во вражде со своими медиками — сама работа разводила их в разные стороны. Начальник хотел, чтобы группа «В» (временно-освобожденные от работы по болезни) была поменьше, чтобы лагерь побольше людей выставил на работу. Врач же видел, что границы «добра и зла» тут давно перейдены, что люди, выходящие на работу, — больны, устали, истощены и имеют право на освобождение от работы — в гораздо большем количестве, чем это думалось начальству.

Врач мог при достаточно твердом характере настоять

на освобождении от работы людей. Без санкции врача ни один начальник лагеря не послал бы людей на работу.

Врач мог спасти арестанта от тяжелой работы — все заключенные поделены, как лошади, на «категории труда». Трудовые группы эти — их бывало четыре, три, пять — назывались трудовыми «категориями» — хотя, казалось бы, это выражение — из философского словаря. Это — одна из острог, вернее, из гримас жизни.

Дать «легкую» категорию труда часто значило спасти человека от смерти. Всего грустнее было то, что люди, стремясь получить категорию легкого труда и стараясь обмануть врача, — на самом деле были больны гораздо серьезней, чем они сами считали.

Врач мог дать отдых от работы, мог направить в больницу и даже «съактивировать», то есть составить акт об инвалидности, и тогда заключенный подлежал вывозу на «материк». Правда, больничная койка и активировка в медицинской комиссии не зависели от врача, выдающего «путевку», но важно ведь было начать этот путь.

Все это — и еще многое другое, попутное, ежедневное, — было прекрасно учтено, понято блатарями. Особое отношение к врачу было введено в кодекс воровской морали. Наряду с «тюремной пайкой» и «вором-джентльменом» в лагерном и тюремном мире укрепилась легенда о «Красном Кресте».

«Красный Крест» — блатной термин, и я каждый раз настораживаюсь, когда слышу это выражение.

Блатные демонстративно выражали свое уважение к работникам медицины, обещали им всяческую свою поддержку, выделяя врачей из необъятного мира «фраеров» и «штымпов».

Была сочинена легенда — она и по сей день бытует в лагерях, — как обокрали врача мелкие воришки, «связки», и как крупные воры разыскали и с извине-

ниями воротили краденое. Ни дать, ни взять «Брегет Эрри».

Более того, — у врачей действительно не воровали, старались не воровать. Врачам делали подарки — вещами, деньгами, — если это были вольнонаемные врачи. Упрашивали и грозили убийством, если это были врачи заключенные. Подхваляли врачей, оказывавших помощь блатарям.

Иметь врача «на крючке» — мечта всякой блатной компании. Блатарь может быть груб и дерзок с любым начальником (этот «шик», этот «дух» он даже обязан в некоторых обстоятельствах показать во всей яркости) — перед врачом блатарь лебезит, подчас пресмыкается и не позволит грубого слова в отношении врача — пока блатарь не увидит, что ему не верят, что его наглые требования никто выполнять не собирается.

Ни один медицинский работник, дескать, не должен в лагере заботиться о своей судьбе — блатари ему помогут материально и морально: материальная помощь — это краденые «лепехи» и «шкеры», моральная — блатарь удостоит врача своими беседами, своим посещением и расположением.

Дело за немногим — вместо больного «фраера», истощенного непосильной работой, бессонницей и побоями, положить на больничную койку здорового педераста-убийцу и вымогателя. Положить и держать его на больничной кровати, пока тот сам не соизволит выписаться.

Дело за немногим: регулярно освобождать от работы блатных, чтоб они могли «подержать короля за бороду».

Послать блатарей по медицинским путевкам в другие больницы, если им это понадобится в каких-то своих, блатных, «высших» целях.

Покрывать симулянтов-блатарей, а блатари все — симулянты и агграванты, с вечными «мостырьками» трофических язв на голенях и бедрах, с легкими, но впечатляющими резаными ранами живота и т. п.

Угощать блатарей «порошочками», «кодеинчиком» и

«кофеинчиком», отведя весь аптечный запас наркотических средств и спиртовых настоек в пользование «благодетелей».

Много лет подряд принимал я этапы в большой лагерной больнице — сто процентов симулянтов, прибывших по врачебным путевкам, были воры. Воры или подкупали местного врача, или запугивали — и врач сочинял фальшивый медицинский документ.

Бывало часто и так, что местный врач или местный начальник лагеря, желая избавиться от надоевшего и опасного элемента в своем «хозяйстве», отправлял блатных в больницу в надежде, что если они и не исчезнут совсем, то некоторую передышку его «хозяйство» получит.

Если врач был подкуплен — это плохо, очень плохо. Но если он был запуган — это можно извинить, ибо угрозы блатарей вовсе не пустые слова. На медпункт прииска «Спокойный», где было много блатарей, откомандировали из больницы молодого врача и, главное, молодого арестанта Суrowого, недавно окончившего Московский медицинский институт. Друзья отговаривали Суrowого — можно было отказаться, пойти на «общие работы», но не ехать на явно опасную работу. Суrowой попал в больницу с общих работ — он боялся туда вернуться и согласился поехать на прииск работать по специальности. Начальство дало Суrowому инструкции, но не дало советов, как себя держать. Ему было запрещено категорически направлять с прииска здоровых воров. Через месяц он был убит прямо на приеме — пятьдесят две ножевых раны было сосчитано на его теле.

В женской зоне другого прииска пожилая женщина-врач Шицель была зарублена топором собственной санитаркой, блатаркой «Крошкой», выполнявшей «пригвор» блатных.

Так выглядел на практике «Красный Крест» в тех случаях, когда врачи не были покладисты и не брали взяток.

Наивные врачи искали объяснения противоречий у идеологов блатного мира. Один из таких философвоглаварей лежал в это время в хирургическом отделении больницы. Два месяца назад, находясь в «изоляторе», он, желая оттуда выйти, применил обычный безошибочный, но не безопасный способ: он засыпал себе оба — для верности — глаза порошком химического карандаша. Случилось так, что медпомощь запоздала, и блатарь ослеп — в больнице он лежал инвалидом, готовясь к выезду на «материк». Но, подобно знаменитому сэру Виллиамсу из «Рокамболя», он и слепой принимал участие в разработке планов преступлений, а уж в «судах чести» считался прямо непререкаемым авторитетом. На вопрос врача о «Красном Кресте» и об убийствах медиков на приисках, совершенных ворами, сэр Виллиамс ответил, смягчая гласные после шипящих, как выговаривают все блатари:

— В жизни разные положения могут быть, когда закон не должен применяться. — Он был диалектик, этот сэр Виллиамс.

Достоевский в «Записках из мертвого дома» с умилением подмечает поступки «несчастных», которые ведут себя, как «большие дети», увлекаются театром, по-ребячески безгневно ссорятся между собой. Достоевский не встречал и не знал людей из настоящего блатного мира. Этому миру Достоевский не позволил бы высказать никакого сочувствия.

Неисчислимы злодеяния воров в лагере. Несчастливые люди — работяги, у которых вор забирает последнюю тряпку, отнимает последние деньги, и работяга боится пожаловаться, ибо видит, что вор — сильнее начальства. Работягу бьет вор и заставляет его работать — десятки тысяч людей забиты ворами насмерть. Сотни тысяч людей, побывавших в заключении, растлены воровской «идеологией» и перестали быть людьми. Нечто блатное навсегда поселилось в их души — вору, их мораль навсегда оставили в душе любого неизгладимый след.

Груб и жесток начальник, лжив воспитатель, бессовестен врач, но все это — пустяки по сравнению с растлевающей силой блатного мира. Те все-таки люди, и нет-нет да и проглянет в их человеческое. Блатные же — не люди.

Влияние их морали на лагерную жизнь — безгранично, всесторонне. Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели — инженеры, геологи, врачи, — ни начальники, ни подчиненные.

Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута.

Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть.

Заключенный приучается там ненавидеть труд — ничему другому и не может он там научиться.

Он обучается там лести, лганью, мелким и большим подлостям, становится эгоистом.

Возвращаясь на «волю», он видит, что он не только не вырос за время лагеря, но что интересы его сузились, стали бедными и грубыми.

Моральные барьеры отодвинулись куда-то в сторону.

Оказывается, можно делать подлости и все же жить.

Можно лгать — и жить.

Можно обещать — и не исполнять обещаний и все-таки жить.

Можно пропить деньги товарища.

Можно выпрашивать милостыню и жить! Попрошайничать и жить!

Оказывается, человек, совершивший подлость, не умирает.

Он приучается к лодырничеству, к обману, к злобе на всех и вся. Он винит весь мир, «оплакивая свою судьбу».

Он чересчур высоко ценит свои страдания, забывая, что у каждого человека есть свое горе. К чужому горю

он разучился относиться сочувственно — он просто его не понимает, не хочет понимать.

Скептицизм — это еще хорошо, это еще лучшее из лагерного «наследства».

Он приучается ненавидеть людей.

Он боится — он трус. Он боится повторений своей судьбы — боится доносов, боится соседей, боится всего, чего не должен бояться человек.

Он раздавлен морально. Его представления о нравственности изменились, и он сам не замечает этого.

Начальник приучается в лагере к почти бесконтрольной власти над арестантами, приучается смотреть на себя, как на бога, как на единственного полномочного представителя власти, как на человека «высшей расы».

Конвойный, в руках у которого была многократно жизнь людей и который часто убивал вышедших из «запретной зоны», — что он расскажет своей невесте о своей работе на Дальнем Севере? О том, как бил прикладом винтовки голодных стариков, которые не могли идти?

Молодой крестьянин, попавший в заключение, видит, что в этом аду только «урки» живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга.

Крестьянин задумывается. Ему начинает казаться, что правда лагерной жизни — у блатарей, что только подражая им в своем поведении, он встанет на путь реального спасения своей жизни. Есть, оказывается, «люди», которые «могут жить» и на самом «дне». И крестьянин начинает подражать блатарям в своем поведении, в своих поступках. Он поддакивает каждому слову блатарей, готов выполнить все их поручения, говорит о них со страхом и благоговением. Он спешит украсить свою речь блатными словечками — без этих блатных словечек не остался ни один человек мужского или женского пола, заключенный им вольный, — побывавший на Колыме.

Слова эти — отравка, яд, влезающий в душу человека, и именно с овладения блатным диалектом и начинается сближение фраера с блатным миром.

Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, — растоптано в прах, цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями.

Аргумент спора — кулак, палка. Средство понуждения — приклад, зуботычина.

Интеллигент превращается в труса, и собственный мозг подсказывает ему «оправдание» своих поступков. Он может уговорить сам себя на что угодно, присоединиться к любой из сторон в споре. В блатном мире интеллигент видит «учителей жизни», борцов «за народные права».

«Плюха», удар превращает интеллигента в покорного слугу какого-нибудь «Сенечки» или «Костечки».

Физическое воздействие становится воздействием моральным.

Интеллигент напуган навечно. Дух его сломлен. Эту напуганность и сломленный дух он приносит и в вольную жизнь.

Инженеры, геологи, врачи, прибывшие на Колыму по договорам с Дальстроем, — разворачиваются быстро: «длинный рубль», закон-«тайга», рабский труд, которым так легко и выгодно пользоваться, сужение интересов культурных — все это разворачивает, растлевает; человек, долго поработавший в лагере, не едет на «материк» — там ему грош цена, а он привык к «богатой», обеспеченной жизни. Вот эта развращенность и называется в литературе «зовом Севера».

В этом растлении человеческой души в значительной мере повинен блатной мир, уголовники-рецидивисты, чьи вкусы и привычки сказываются на всей жизни Колымы.

ЗАГОВОР ЮРИСТОВ

В бригаду Шмелева сгребали человеческий шлак — людские отходы золотого забоя. Из «разреза», где добывают «пески» и снимают «торф», было три пути: «под сопку» в братские безымянные могилы, в больницу или в бригаду Шмелева — три пути доходят. Бригада эта работала там же, где и другие, только дела ей поручались не такие важные. Лозунги: «выполнение плана — закон» и «довести план до забойщика» были не просто словами. Их толковали так: не выполнил норму — нарушил закон, обманул государство и должен отвечать сроком, а то и собственной жизнью. И кормили шмелевцев похуже, поменьше. Но я хорошо понимал здешнюю поговорку: «В лагере убивает большая пайка, а не маленькая». Я не гнался за большой пайкой «основных» забойных бригад.

Я был переведен к Шмелеву недавно, недели три, и не знаю его лица — была в разгаре зима, голова бригадира была замысловато укутана каким-то рваным шарфом, а вечером в бараке было темно — бензиновая «колымка» едва освещала дверь. Я и не помню бригадирского лица. Голос только — хриплый, простуженный голос.

Работали мы в ночной смене в декабре, и каждая ночь казалась пыткой — пятьдесят градусов не шутка. Но все же ночью было лучше, спокойней, меньше начальства в забое, меньше ругани и битья.

Бригада строилась «на выход». Зимой строились в бараке, и эти последние минуты перед уходом в ледяную ночь на двенадцатичасовую смену мучительно вспомнить и сейчас. Здесь, в этой нерешительной толкотне у приоткрытых дверей, откуда ползет ледяной пар, сказывался человеческий характер. Один, перебив дрожь, шагнул прямо в темноту, другой торопливо досасывал неизвестно откуда взявшийся окурок махо-

рочной сигарки, где и махорки-то не было ни запаха, ни следа; третий заслонял лицо от холодного ветра, четвертый стоял над печкой, держа рукавицы и набирая в них тепло.

Последних выталкивал из барака дневальный. Так поступали везде, в каждой бригаде, с самыми слабыми.

Меня в этой бригаде еще не выталкивали. Здесь были люди и слабее меня, и это вносило какое-то успокоение, нечаянную радость какую-то. Здесь я пока еще был человеком. Толчки и кулаки дневального остались в той «золотой» бригаде, откуда меня перевели к Шмелеву.

Бригада стояла в бараке у двери, готовая к выходу. Шмелев подошел ко мне.

— Останешься дома, — прохрипел он.

— На утро перевели, что ли? — недоверчиво сказал я. Из смены в смену переводили всегда навстречу часовой стрелке, чтоб рабочий день не терялся, и заключенный не мог получить несколько лишних часов отдыха. Эту механику я знал.

— Нет, тебя Романов вызывает.

— Романов? Кто такой Романов?

— Ишь, гад, Романова не знает, — вмешался дневальный.

— Уполномоченный, понял? Не доходя конторы живет. Придешь в 8 часов.

— В восемь часов!

Чувство величайшего облегчения охватило меня. Если уполномоченный продержит меня до двенадцати, до ночного «обеда» и больше, — я имею право совсем не ходить сегодня на работу. Сразу тело почувствовало усталость. Но это была радостная усталость, заныли мускулы.

Я развязал подпояску, расстегнул бушлат и сел около печки. Сразу стало тепло и зашевелились вши под гимнастеркой. Обкусанными ногтями я почесал шею, грудь. И задремал.

— Пора, пора, — тряс меня за плечо дневальный. — Иди, покурить принеси, не забудь.

Я постучал в дверь дома, где жил уполномоченный. Загремели щеколды, замки, множество щеколд и замков, и кто-то невидимый крикнул из-за двери:

— Ты кто?

— Заключенный Андреев по вызову.

Раздался грохот щеколд, звон замков — и все замолкло.

Холод забирался под бушлат, ноги стыли. Я стал колотить буркой о бурку — носили мы не валенки, а стеганые, шитые из старых брюк и телогреек ватные бурки.

Снова загремели щеколды, и двойная дверь открылась, пропуская свет, тепло и музыку.

Я вошел. Дверь из передней была не закрыта — там играл радиоприемник.

Уполномоченный Романов стоял передо мной. Вернее, я стоял перед ним, а он, низенький, полный, пахнущий духами, подвижной, вертелся вокруг меня, разглядывая мою фигуру черненькими быстрыми глазами.

Запах заключенного дошел до его ноздрей, и он вытащил белоснежный носовой платок и встряхнул его. Волны музыки, тепла, одеколona охватили меня. Главное — тепла. Голландская печка была раскалена.

— Вот и познакомились, — восторженно твердил Романов, передвигаясь вокруг меня и взмахивая душистым платком. — Вот и познакомились.

— Ну, проходи. — И он открыл дверь в соседнюю комнату-кабинетик с письменным столом, двумя стульями.

— Садись. Ни за что не угадаешь, зачем я тебя вызвал. Закуривай.

Он порылся в бумагах на столе.

— Как твое имя-отчество?

Я сказал.

— А год рождения?

— 1907-й.

— Юрист?

— Я, собственно, не юрист, но учился в Московском...

— Значит — юрист. Вот и отлично. Сейчас ты сиди, я позвоню кое-куда, и мы с тобой поедем.

Романов выскользнул из комнаты, и вскоре в столовой выключили музыку, и начался телефонный разговор.

Я задремал, сидя на стуле. Даже сон какой-то начал сниться. Романов то исчезал, то опять возникал.

— Слушай. У тебя есть какие-нибудь вещи в бараке?

— Все со мной.

— Ну, вот и отлично, право, отлично. Машина сейчас придет, и мы с тобой поедем. Знаешь, куда поедем? Не угадаешь? В самый Хатыннах, в Управление! Бывал там? Ну, я шучу, шучу...

— Мне все равно.

— Вот и хорошо.

Я переобулся, размял руками пальцы ног, перевернул портянки.

Ходики на стене показывали половину двенадцатого. Даже если все это шутка — насчет Хатыннаха, то все равно, сегодня я уже на работу не пойду. Загудела близко машина, и свет фар скользнул по ставням и задел потолок кабинета.

— Поехали, поехали.

Романов был в белом полушубке, в якутском малахае, расписных торбазах. Я застегнул бушлат, подпоясался, подержал рукавицы над печкой. Мы вышли к машине. Полуторатонка с открытым кузовом.

— Сколько сегодня, Миша? — спросил Романов у шофера.

— Шестьдесят, товарищ уполномоченный. Ночные бригады сняли с работы.

Значит, и наша, шмелевская, дома. Мне не так уж повезло, выходит.

— Ну, Андреев, — сказал уполномоченный, прыгая вокруг меня. — Ты садись в кузов. Недалеко ехать. А Миша поедет побыстрее. Правда, Миша?

Миша промолчал. Я влез в кузов, свернулся в клубок, обхватил руками ноги. Романов втиснулся в кабину, и мы поехали.

Дорога была плохая и так кидало, что я не застыл. Думать ни о чем не хотелось, да на холоде и думать нельзя. Часа через два замелькали огни, и машина остановилась около двухэтажного деревянного рубленого дома. Везде было темно и только в одном окне второго этажа горел свет. Два часовых в тулупах стояли около большого крыльца.

— Ну, вот и доехали, вот и отлично. Пусть он тут постоит. — И Романов исчез на большой лестнице.

Было два часа ночи. Огонь был погашен везде, и горела только лампочка за столом дежурного.

Ждать пришлось недолго. Романов — он уже успел раздеться и был в форме НКВД — сбежал с лестницы и замахал руками.

— Сюда, сюда.

Вместе с помощником дежурного мы пошли наверх и в коридоре второго этажа остановились перед дверью с дощечкой «Ст. уполномоченный МВД Смертин». Столь угрожающий псевдоним (не настоящая же это фамилия) произвел впечатление даже на меня, уставшего беспрдельно.

«Для псевдонима — чересчур», — подумал я, но надо было уже входить, идти по огромной комнате с портретом Сталина во всю стену, остановиться перед письменным столом исполинских размеров, разглядывать бледное рыжеватое лицо человека, который всю жизнь провел в комнатах, в таких вот комнатах.

Романов почтительно сгибался у стола.

Тусклые голубые глаза старшего уполномоченного товарища Смертина остановились на мне. Остановились очень недолго. Он что-то искал на столе, перебирал какие-то бумаги. Услужливые пальцы Романова нашли то, что было нужно найти.

— Фамилия? — спросил Смертин, вглядываясь в бумаги.

— Имя-отчество?

— Статья?

— Срок?

Я ответил.

— Юрист?

— Юрист.

Бледное лицо поднялось от стола.

— Жалобы писал?

— Писал.

Смертин засопел:

— За хлеб?

— И за хлеб, и просто так.

— Хорошо! Ведите его.

Я не сделал ни одной попытки что-нибудь выяснить, спросить. Зачем? Ведь я не на холоде, не в ночном золотом забое. Пусть выясняют, что хотят.

Пришел помощник дежурного с какой-то запиской, и меня повели по ночному поселку на самый край, где под защитой четырех караульных вышек за тройной загородкой из колючей проволоки помещался «изолятор», лагерная тюрьма.

В тюрьме были камеры большие, а были и одиночки. В одну из таких одиночек втолкнули меня. Я рассказал о себе, не ожидая ответа от соседей, не спрашивая их ни о чем. Так положено, чтобы не думали, что я «подсажен».

Настало утро, очередное колымское зимнее утро, без света, без солнца, ничем не отличимое от ночи. Ударили в рельс, принесли ведро дымящегося кипятка. За мной пришел конвой, и я попрощался с товарищами. Я не знал о них ничего.

Меня привели к тому же самому дому. Дом мне казался меньше, чем ночью. Пред светлые очи Смертина я уже не был допущен. Дежурный велел мне сидеть и ждать, и я сидел и ждал до тех пор, пока не услышал знакомой голос:

— Вот и хорошо! Вот и отлично! Сейчас вы поедете!

— На чужой территории Романов называл меня на «вы».

Мысли лениво передвигались в мозгу — почти физически ощутимо. Надо было думать о чем-то новом, к чему я не привык, не знаю. Это — новое — не приискковое. Если бы мы возвращались на свой прииск «Партизан», то Романов сказал бы: «Сейчас мы поедем». Значит, меня везут в другое место. Да пропади всё пропадом!

По лестнице почти вприпрыжку спустился Романов. Казалось вот-вот он сядет на перила и съедет вниз, как мальчишка. В руках он держал почти целую буханку хлеба.

— Вот, это вам на дорогу. И еще вот. — Он исчез наверху и вернулся с двумя селедками.

— Порядок, да? Всё, кажется. Да, самое-то главное забыл — что значит некурящий человек.

Романов поднялся наверх и вернулся снова с газетой. На газете была насыпана махорка. Коробочки три, наверное, — опытным глазом определил я. В пачке-восьмушке — восемь спичечных коробков махорки. Это — лагерная мера объема.

— Это вам на дорогу. Сухой паек, так сказать.

Я молчал.

— А конвой уже вызвали?

— Вызвали, — сказал дежурный.

— Наверх пришлите старшего.

И Романов исчез на лестнице.

Пришли два конвоира — один постарше, рябой, в папахе кавказского образца; другой молодой, лет двадцати, розовощекий, в красноармейском шлеме.

— Вот этот, — сказал дежурный, показывая на меня.

Оба — молодой и рябой — оглядели меня очень внимательно с ног до головы.

— А где начальник? — спросил рябой.

— Вверху. И пакет там.

Рябой пошел наверх и скоро вернулся вместе с Романовым.

Они говорили негромко, и рябой показывал на меня.

— Хорошо, — сказал, наконец, Романов, — мы дадим записку.

Мы вышли на улицу. Около крыльца, там же, где ночью стоял грузовичок с «Партизана», стоял комфортабельный «ворон» — тюремный автобус с решетчатыми окнами. Я сел внутрь. Решетчатые двери закрылись, конвоиры уселись в тамбуре, и машина двинулась. Некоторое время «ворон» шел по трассе — по центральному шоссе, что разрезает пополам всю Колыму, но потом свернул куда-то в сторону. Дорога вилась между сопок, мотор все время храпел на подъемах, отвесные скалы с редким лиственным лесом и заиндевевшие ветки ивняка. Наконец, сделав несколько поворотов вокруг сопок, машина, идущая по руслу реки, вышла на небольшую площадку. Здесь была просека, караульные вышки, а вглубь, метрах в трехстах — косые вышки и темная масса бараков, окруженных колючей проволокой.

Дверь маленькой будочки-домика на дороге отворилась, и вышел дежурный, опоясанный револьвером. Машина остановилась, не глуша мотора. Шофер выскочил из кабины и прошел мимо моего окна.

— Вишь, как кружило. Истинно Серпантинная.

Это название мне было знакомо, и реакция была, наверное, посильнее, чем на фамилию Смертина. Это была «Серпантинная» — знаменитая следственная тюрьма Колымы, где столько людей погибло в прошлом году. Трупы их не успели еще разложиться. Впрочем, их трупы будут нетленны всегда — мертвецы вечной мерзлоты.

Старший конвоир ушел по тропке к тюрьме, а я сидел у окна и думал, что вот пришел и мой час, моя очередь. Думать о смерти было так же трудно, как и о чем-нибудь другом. Никаких картин собственного расстрела я себе не рисовал. Сидел и ждал.

Наступали уже сумерки зимние. Дверь «ворона» открылась, и старший конвоир бросил мне валенки.

— Обувайся! Снимай бурки.

Я разулся, попробовал. Нет, не лезут, малы.

— В бурках не доедешь, — сказал рябой.

— Доеду.

Рябой швырнул валенки в угол машины.

— Поехали.

Машина развернулась, и «ворон» помчался прочь от «Сerpантинной». Вскоре по мелькающим мимо машинам я понял, что мы снова на «трассе». Машина сбавила ход — кругом горели огни большого поселка. Автобус подошел к крыльцу ярко освещенного дома, и я вошел в светлый коридор, очень похожий на тот, где хозяином был уполномоченный Смертин, — за деревянным барьером возле стенного телефона сидел дежурный с пистолетом на боку. Это был поселок Ягодный. В первый день путешествия мы проехали всего семнадцать километров. Куда мы поедem дальше?

Дежурный отвел меня в дальнюю комнату, которая оказалась карцером с топчаном, ведром воды и парашей. В двери был прорезан «глазок».

Я прожил там два дня. Успел даже подсушить и перемотать бинты на ногах — ноги в цинготных язвах гноились.

В доме райотдела МВД стояла какая-то захолустная тишина. Из своего уголка я прислушивался напряженно. Даже днем редко-редко кто-то топал по коридору. Редко открывалась входная дверь, поворачивались ключи в дверях. И дежурный, постоянный дежурный, небритый, в старой телогрейке, с наганом через плечо — всё выглядело захолустно по сравнению с блестящим Хатыннахом, где товарищ Смертин творил высокую политику. Телефон звонил редко-редко.

— Да. Заправляются. Да. Не знаю, товарищ начальник.

— Хорошо, я им передам.

О ком тут шла речь? О моих конвоирах? Раз в день, к вечеру, дверь моей камеры раскрывалась, и дежурный вносил котелок супу, кусок хлеба. «Ешь!» Это мой обед. Казенный. И приносил ложку. Второе блюдо смешано

с первым, вылило в суп. Я брал котелок, ел и вылизывал дно до блеска по приисковой привычке.

На третий день дверь отворилась, и рябой боец, одетый в тулуп поверх полушубка, шагнул через порог карцера. — Ну, отдохнул? Поехали.

Я стоял на крыльце райотдела. Я думал, что мы поедем опять в «утеплённом» тюремном автобусе, но «ворона» нигде не было видно. Обыкновенная трехтонка стояла у крыльца.

— Садись.

Я послушно перевалился через борт.

Молодой боец влез в кабину шофера. Рябой сел рядом со мной. Машина двинулась, и через несколько минут мы очутились на «трассе». Куда меня везут? К северу или к югу? К западу или к востоку? Спрашивать было не нужно, да конвой и не должен говорить. На другой участок передают? На какой? Машина тряслась много часов и вдруг остановилась.

— Здесь мы пообедаем. Слезай.

Я слез.

Мы вышли в дорожную «трассовую» столовую.

«Трасса» — аорта и главный нерв Колымы. В обе стороны непрерывно движутся грузы техники — без охраны; продукты — с обязательным конвоем: беглецы нападают, грабят. Да и от шофера и агента снабжения конвой хоть и ненадежная, но все же защита — может предупредить воровство.

В столовых встречаются геологи, разведчики приисковых партий, едущие в отпуск с заработанным длинным рублем, подпольные продавцы табака и чифирия, северные герои и северные подлецы. В столовых спирт тут продают везде. Они встречаются, спорят, дерутся, обмениваются новостями и спешат, спешат. Машины с невыключенными моторами оставляют работать, а сами ложатся спать в кабинку на два-три часа. Тут же везут заключенных: чистенькими, стройными партиями вверх в тайгу; и сверху: отходами приисков с разбитыми, грязными, изломанными телами полуживых лю-

дей, переставших быть людьми. Тут и сыщики-оперативники, которые ловят беглецов. И сами беглецы — часто в военной форме. Здесь едет в черных «зисах» начальство — хозяева жизни и смерти всех этих людей, заключенных и вольных.

Драматургу надо показывать север именно в дорожной столовой — это наилучшая сцена. Все это я вставил в рассказ, конечно, позже.

Я стоял в столовой, стараясь протиснуться к печке, огромной печке-бочке, раскаленной докрасна. Конвоиры не очень беспокоились, что я сбегу, — я слишком ослабел, и это было хорошо видно. Всякому было ясно, что доходяге на 50⁰-м морозе некуда бежать.

— Садись вон, ешь.

Конвоир купил мне тарелку горячего супа, дал хлеба.

— Сейчас поедем дальше, — сказал молодой. — Старший придет и поедет.

Но рябой пришел не один. С ним был немолодой «боец» (солдатами еще их в те времена не звали) с винтовкой и в полушубке. Он поглядел на меня, на рябого.

— Ну, что же, можно, — сказал он.

— Пошли, — сказал мне рябой.

Мы перешли в другой угол огромной столовой. Там у стены сидел, скорчившись, человек в бушлате и шапочке-бамлагерке, черной фланелевой ушанке.

— Садись сюда, — сказал мне рябой. Я послушно опустился на пол рядом с тем человеком. Он не повернул головы.

Рябой и незнакомый боец ушли. Молодой, «мой» конвоир остался с нами.

— Они отдых себе делают, понял? — зашептал мне внезапно человек в арестантской шапочке. — Не имеют права.

— Да, душа из них вон, — сказал я. — Пусть делают, как хотят. Тебе что — кисло от этого?

Человек поднял голову: «Я тебе говорю — не имеют права».

— А куда нас везут? — спросил я.

— Куда тебя везут, не знаю, а меня в Магадан. На расстрел.

— На расстрел?

— Да. Я приговоренный: из Западного управления. Из Сусумана.

Это мне совсем не понравилось. Но я ведь не знал порядков, процедурных порядков «высшей меры». Я смущенно замолчал. Подошел рябой боец вместе с новым нашим спутником. Они стали говорить что-то между собой. Как только конвоя стало больше — они стали резче, грубее. Мне уже больше не покупали супа в столовой.

Проехали еще несколько часов, и в столовой к нам подвели еще троих — «этап», «партия» собиралась уже значительная. Трое новых были неизвестного возраста, как все колымские доходяги; вздутая белая кожа, припухлость лиц говорили о голоде, о цинге. Лица были в пятнах от обморожений.

— Вас куда везут?

— В Магадан. На расстрел. Мы приговоренные.

Мы лежали в кузове трехтонки, скрючившись, упершись в колени, в спины друг друга. У трехтонки были хорошие рессоры, «трасса» была отличной дорогой, нас почти не подбрасывало — и мы начали замерзать.

Мы кричали, стонали, но конвой был неумолим. Надо было засветло добраться до Спорного. Приговоренный к расстрелу умолял «перегреться» хоть на пять минут. Машина влетела в Спорный, когда уже горел свет.

Пришел рябой: «Вас поместят в лагерный изолятор, а утром поедете дальше».

Я промерз до костей, онемел от мороза, стучал из последних сил подошвами бурок о снег. Не согревался. «Бойцы» все искали лагерное начальство. Наконец, через час нас отвели в мерзлый, нетопленный лагерный изолятор. Иней затянул все стены, земляной пол весь оледенел. Кто-то внес ведро воды. Загремел замок. А дрова? А печка?

Вот здесь в эту ночь на Спорном я отморозил на-ново все десять пальцев ног, безуспешно пытался за-снуть, хоть на минуту.

Утром нас вывели, посадили в машину. Замелькали сопки, захрипели встречные машины. Машина спусти-лась с перевала, и нам стало так тепло, что захотелось никуда не ехать, подождать, походить хоть немного по этой чудесной земле. Разница была градусов в десять, не меньше. Да и ветер был какой-то теплый, чуть не весенний.

— Конвой! Оправиться!.. — Как еще рассказать бойцам, что мы рады теплу, южному ветру, избавлению от звенящей тиши тайги.

— Ну, вылезай!

Конвоирам тоже было приятно размяться, покурить. Мой искатель справедливости уже приближался к конвою:

— Покурим, гражданин боец?

— Покурим. Иди на место.

Один из новичков не хотел слезать с машины. Но видя, что «оправка» затянулась, он передвинулся к борту и поманил меня рукой.

— Помоги спуститься.

Я протянул руку к бессильному доходяге, вдруг почувствовал необычайную легкость его тела, какую-то смертную легкость. Я отошел. Человек, держась ру-ками за борт машины, сделал несколько шагов.

— Как тепло. — Но глаза были мутны, без всякого выражения.

— Ну, поехали, поехали. Тридцать градусов.

С каждым часом становилось все теплее.

В столовой поселка «Палатка» наши конвоиры обе-дали последний раз. Рябой купил мне килограмм хлеба.

— Возьми, вот, беляшки. Вечером приедем.

Шел мелкий снег, когда далеко внизу показались огни Магадана. Было градусов десять. Безветренно. Снег па-дал почти отвесно — мелкие, мягкие снежинки. Машина

остановилась близ райотдела МВД. Конвоиры вошли в помещение.

Вышел человек в штатском, без шапки. В руках он держал разорванный конверт. Он выкликнул чью-то фамилию привычно, звонко. Человек с легким телом отполз по его знаку в сторону.

— В тюрьму!

Человек в костюме скрылся в здании и сейчас же появился. В руках у него был новый пакет.

— Иванов Константин Иванович! — В тюрьму! — Уграцкий Сергей Федорович! — В тюрьму! — Симонов Евгений Петрович! — В тюрьму!

Я не прощался ни с конвоем, ни с теми, кто ехал вместе со мною в Магадан. Это не принято.

Перед крыльцом райотдела стоял только я вместе со своими конвоирами.

Человек в костюме опять показался на крыльце с пакетом.

— Андреев! — В райотдел! Сейчас я вам дам расписку, — сказал человек моим конвоирам.

Я вошел в помещение. Первым делом — где печка? Вот она — батарея центрального отопления. Дежурный за деревянным барьером. Телефон. Победнее, чем у товарища Смертина в Хатыннахе. А, может быть, потому, что это был такой первый кабинет в моей колымской жизни? Вверх по коридору уходила крутая лестница на второй этаж.

Вошел человек в штатском костюме, который принимал нас на улице.

— Идите сюда.

По узкой лесенке поднимались мы на второй этаж, дошли до двери с надписью: «Я. Атлас, ст. уполномоченный».

— Садитесь.

Я сел. В крошечном кабинете главное место занимал стол. Бумаги, папки, списки какие-то. Атласу было лет тридцать восемь-сорок. Полный, спортивного вида мужчина, черноволосый, чуть лысоватый.

— Фамилия?

— Андреев.

— Имя, отчество, статья, срок?

Я ответил.

— Юрист?

— Юрист.

Атлас вскочил с места и обошел вокруг стола: «Прекрасно!»

— С вами будет говорить капитан Ребров!

— А кто такой капитан Ребров?

— Начальник СПО. Идите вниз.

Я возвратился к своему месту около батареи. Размыслив, я решил заблаговременно съесть тот килограмм «беляшки», который мне дали конвоиры. Бак с водой и прикованная к нему кружка были тут же. Ходики на стене мерно тикали. В полудреме я слышал, как кто-то прошел мимо меня наверх быстрыми шагами, и дежурный разбудил меня.

— К капитану Реброву!

Меня провели на второй этаж. Открылась дверь небольшого кабинета, и я услышал резкий голос:

— Сюда, сюда!

Обыкновенный кабинет, чуть побольше того, где я был часа два назад. Стекловидные глаза капитана Реброва устремлены были прямо на меня. На углу стола стоял недопитый стакан чаю с лимоном, обкусанная корочка сыра на блюде. Телефоны. Папки. Портреты.

— Фамилия?

— Андреев.

— Имя-отчество, статья, срок?

— Юрист?

— Юрист.

Капитан Ребров перегнулся через стол, приближая ко мне стеклянные глаза, и спросил:

— Парфентьева знаете?

— Да, знаю.

Парфентьев был моим бригадиром в забойной бри-

гаде на прииске еще до того, как я попал в бригаду Шмелева. Из парфентьевской бригады меня перевели в бригаду Потураева, а оттуда — к Шмелеву. У Парфентьева я работал несколько месяцев.

— Да. Знаю. Это мой бригадир, Дмитрий Тимофеевич Парфентьев.

— Так. Хорошо. Значит, Парфентьева знаете?

— Да, знаю.

— А Виноградова знаете?

— Виноградова не знаю.

— Виноградова, председателя Дальстройсуда?

— Не знаю.

Капитан Ребров зажег папироску, глубоко затянулся и проговорил, потушив папиросу о блюдце.

— Значит, ты знаешь Виноградова и не знаешь Парфентьева?

— Нет, я не знаю Виноградова...

— Ах, да. Ты знаешь Парфентьева и не знаешь Виноградова. Ну, что ж!

Капитан Ребров нажал кнопку звонка. Дверь за моей спиной открылась.

— В тюрьму!

Блюдечко с окурком и недоеденной корочкой сыра осталось в кабинете начальника СПО на письменном столе справа, возле графина с водой.

Глубокой ночью конвоир вел меня по спящему Магадану.

— Шагай скорее.

— Мне некуда спешить.

— Поговори еще! — Боец вынул пистолет. — Застрелю как собаку. Списать нетрудно.

— Не спишешь, — сказал я. — Ответишь перед капитаном Ребровым.

— Иди, зараза!

Магадан — город маленький. Вскоре мы добрались до «Дома Васькова», как называется местная тюрьма. Васьков был заместителем Берзина, когда строился Магадан. Деревянная тюрьма была одним из первых

магаданских зданий. Тюрьма сохранила имя человека, который строил ее. В Магадане давно построена каменная тюрьма, но и это новое, «благоустроенное» по последнему слову пенитенциарной техники здание называется «Домом Васькова».

После кратких переговоров на «вахте» меня впустили во двор «Дома Васькова». Низкий, приземистый, длинный корпус тюрьмы из гладких тяжелых лиственных деревьев. Через двор — две «палатки» — деревянные здания.

— Во вторую, — сказал голос сзади.

Я ухватился за ручку двери, открыл и вошел.

Двойные нары, полные людьми. Но не тесно, не вплотную. Земляной пол. Печка-полубочка на длинных железных ногах. Запах пота, лизоля и грязного тела. С трудом я вполз наверх — теплее все-таки — и пролез на свободное место. Сосед проснулся.

— Из тайги?

— Из тайги.

— Со вшами?

— Со вшами.

— Ложись тогда в угол. У нас здесь вшей нет. Здесь дезинфекция работает.

— Дезинфекция — это хорошо, — думал я. — А главное — тепло.

Утром кормили. Хлеб, кипяток. Мне еще хлеба не полагалось. Я снял с ног бурки, положил их под голову, спустил ватные брюки, чтобы согреть ноги, заснул и проснулся через сутки, когда уже давали хлеб, и я был зачислен на полное довольствие «Дома Васькова».

В обед давали юшку от галушек, три ложки пшеничной каши. Я спал до утра следующего дня, до той минуты, когда дикий голос дежурного разбудил меня.

Я слез с нар.

— Выходи на двор — иди вот к тому крыльцу. — Двери подлинного «Дома Васькова» открылись передо мной, и я вошел в низкий, тускло освещенный коридор. Надзиратель отпер замок, отвалил массивную железную

щеколду и открыл крошечную камеру с двойными нарами. Два человека, согнувшись, сидели в углу нижних нар.

Я подошел к окну, сел. За плечи меня тряс человек. Это был мой приисковый бригадир, Дмитрий Тимофеевич Парфентьев.

— Ты понимаешь что-нибудь?

— Ничего не понимаю.

— Когда тебя привезли?

— Три дня назад. На легковушке Атлас привез.

— Атлас? Он допрашивал меня в райотделе. Лет сорок, лысоватый. В штатском.

— Со мной ехал в военном.

— А что тебя спрашивал капитан Ребров?

— Не знаю ли я Виноградова.

— Ну?

— Откуда же мне его знать?

— Виноградов — председатель Дальстройсуда.

— Это ты знаешь, а я не знаю, кто такой Виноградов.

— Я учился с ним.

Я начал кое-что понимать. Парфентьев был до ареста областным прокурором в Челябинске, карельским прокурором. Виноградов, проезжая через «Партизан», узнав, что университетский товарищ в забое, передал ему деньги, попросил начальника «Партизана» Анисимова помочь Парфентьеву. Парфентьева перевели в кузницу молотобойцем. Анисимов сообщил о просьбе Виноградова в МВД, Смертину, тот — в Магадан, капитану Реброву, и начальник СПО приступил к разработке дела Виноградова. Были арестованы все юристы-заклученные по всем приискам Севера. Остальное было делом следовательской техники.

— А мы здесь зачем? Я был в палатке...

— Нас выпускают, — сказал Парфентьев.

— Выпускают? На волю? То есть не на волю, а на пересылку, на транзитку?

— Да, — сказал третий человек, выползая на свет и оглядывая меня с явным презрением.

Раскормленная розовая рожь. Одет он был в черную дошку, зефирная рубашка была расстегнута на груди.

— Что, знакомы? Не успел вас задавить капитан Ребров. Враг народа...

— А ты-то друг народа?

— Да уж, по крайней мере, не политический. Ромбов не носил. Не издевался над трудовыми людьми. Вот из-за вас, из-за таких и нас сажают.

— Блатной, что ли? — сказал я.

— Кому блатной, а кому портной.

— Ну, перестаньте, перестаньте, — заступился за меня Парфентьев.

— Гад! Не терплю!

Загремели двери.

— Выходи!

Около вахты толкалось человек семь. Мы с Парфентьевым подошли поближе.

— Вы что — юристы, что ли? — спросил Парфентьев.

— Да! Да!

— А что случилось? Почему нас выпускают?

— Капитан Ребров арестован. Велено освободить всех, кто по его ордерам, — негромко сказал кто-то всеведущий.

————oOo————

ТИФОЗНЫЙ КАРАНТИН

Человек в белом халате протянул руку, и Андреев вложил в растопыренные, розовые, вымытые пальцы с остриженными ногтями свою соленую, ломкую гимнастерку. Человек отмахнулся, затряс ладонью.

— Белья у меня нет, — сказал Андреев равнодушно.

Тогда фельдшер взял андреевскую гимнастерку обеими руками, ловким, привычным движением вывернул рукава и взгляделся...

— Есть, Лидия Ивановна, — и заорал на Андреева. — Что ж ты так обовшивел, а?

Но врачаха Лидия Ивановна не дала ему продолжать.

— Разве они виноваты? — сказала Лидия Ивановна негромко и укоризненно, подчеркивая слово «они», и взяла со стола стетоскоп.

На всю свою жизнь запомнил Андреев эту рыженькую Лидию Ивановну, тысячу раз благословляя ее, вспоминая всегда с нежностью и теплотой. За что? За то, что она подчеркнула слово «ОНИ» в этой фразе — единственной, которую Андреев слышал от нее. За доброе слово, сказанное вовремя. Дошли ли до нее эти благословения?

Осмотр был недолг. Стетоскоп не нужен был для этого осмотра.

Лидия Ивановна подышала на фиолетовую печать и с силой, обеими руками прижала ее к типографскому какому-то бланку. Она вписала туда несколько слов, и Андреева увели.

Конвоир, ждавший в сенях санчасти, повел Андреева не обратно в тюрьму, а вглубь поселка, к одному из больших складов. Двор возле склада был огорожен колючей проволокой в десять законных рядов, с калиткой, около которой ходил часовой в тулупе и с винтовкой. Они вошли во двор и подошли к пакгаузу. Яркий электрический свет бил из дверной щели. Кон-

воир с трудом распахнул дверь, огромную, сделанную для автомашины, а не для людей, и исчез в пакгаузе. На Андреева пахло запахом грязного тела, лежалых вещей, кислым человеческим потом. Смутный гул человеческих голосов наполнял эту огромную коробку. Четырехэтажные сплошные нары, рубленные из цельных листовенниц, были строением вечным, рассчитанным навечно, как мосты Цезаря. На стеллажах огромного пакгауза лежало более тысячи людей. Это был один из двух десятков больших складов, доверху набитых новым, живым товаром, — в порту был тифозный карантин и вывоза, или, как говорят по-тюремному, «этапа» из него не было уже более месяца.

Лагерное кровообращение, где эритроциты — живые люди, было нарушено. Транспортные машины простаивали. Прииски увеличивали рабочий день заключенных. В самом городе хлебозавод не справлялся с выпечкой хлеба — ведь каждому надо было дать по пятьсот граммов ежедневно, и хлеб пытались печь на частных квартирах. Злость начальства нарастала тем более, что из тайги понемногу попадал в город арестантский «шлак», который выбрасывали прииски.

В «секции», как по-модному называли тот склад, куда привели Андреева, было более тысячи человек. Но сразу это множество не было заметным. Люди лежали на верхних нарах голыми от жары, на нижних нарах и под нарами — в телогрейках и бушлатах и шапках. Большинство лежало навзничь или ничком (никто не объяснит, отчего арестанты почти не спят на боку), и их тела на массивных нарах казались наростами, горбами дерева, выгнувшейся доской.

Люди сдвигались в тесные группы возле или вокруг рассказчика — «романиста», либо вокруг случая — а случай возникал со всей необходимостью ежеминутно при такой прорве людей. Люди лежали здесь уже больше месяца, на работу они не ходили — ходили только в баню, для дезинфекции вещей. Двадцать тысяч рабочих дней ежедневно потерянных, сто шесть-

десять тысяч рабочих часов, а может быть, и триста двадцать тысяч часов — рабочие дни бывают разные. Или двадцать тысяч сохранных дней жизни. Двадцать тысяч дней жизни. По-разному можно рассуждать о цифрах, статистика — наука коварная.

Когда раздавалась пища — все были на местах (питание выдавалось по десяткам). Людей было так много, что раздатчики пищи едва успевали раздать завтрак, как наступало время раздачи обеда. И едва закончив раздачу обеда, принимались выдавать ужин. В «Секции» с утра до вечера раздавали пищу. А ведь утром выдавался только хлеб на весь день и чай — теплая кипяченая вода и через день по полсеledки, в обед — только суп, в ужин — только каша.

И все-таки на выдачу этого не хватало времени.

Нарядчик подвел Андреева к нарам и показал на вторые нары.

— Вот твое место!

Вверху запротестовали, но нарядчик выругался. Андреев уцепился обеими руками за край нар, пытался безуспешно закинуть правую ногу на нары. Сильная рука нарядчика подкинула его, и он тяжело плюхнулся посреди голых тел. Никто не обращал на него внимания. Процедура «прописки» и въезда была закончена.

Андреев спал. Он просыпался только когда давали пищу и после, аккуратно и бережно вылизав свои руки, снова спал, только некрепко — вши не давали крепко спать.

Никто его не расспрашивал, хотя во всей этой транзитке немного было людей из тайги, — а всем остальным суждена была туда дорога. И они это понимали. Именно поэтому они не хотели ничего знать о неотвратимой тайге. И это было правильно, как рассудил Андреев. Всё, что видел он, им не надо было знать. Избежать ничего нельзя — ничего тут не предусмотреть. Лишний страх — к чему он? Здесь были еще люди. Андреев было представителем мертвецов. И его

знания, знания мертвого человека, не могли им, еще живым, пригодиться.

Дня через два настал банный день. Дезинфекция и бани всем уже надоели, и собирались неохотно, но Андрееву очень хотелось расправиться со своими вшами. Времени у него теперь было сколько угодно, и несколько раз в день он просматривал все швы своей побелевшей гимнастерки. Но окончательный успех могла дать только дезокамера. Поэтому он шел охотно, и хоть белья ему не дали, рыжую гимнастерку пришлось надеть на голое тело, но привычных укусов он не чувствовал.

В бане давали воды по норме: таз горячей и таз холодной, но Андреев обманул банщика и еще лишний таз получил. Кусочек мыла крошечный давали, но на полу можно было собрать обмылки, и Андреев постарался вымыться как следует. За последний год это была лучшая баня. И пусть кровь и гной текли из цинготных язв на голених Андреева. Пусть шарахаются от него в бане люди. Пусть брезгливо отшатываются от его вшивой одежды.

Выдали из дезкамеры вещи, и сосед Андреева Огнев вместо овчинных меховых чулок получил игрушечные — так села кожа. Огнев заплакал — меховые чулки были его спасением на севере. Но Андреев недоброжелательно смотрел на него. Столько он видел плачущих мужчин по самым различным причинам. Были хитрецы-притворщики, были нервнобольные, были потерявшие надежду, были обозленные. Были плачущие от холода. Плачущих от голода Андреев не видал.

Обратно шли по темному молчаливому городу. Алюминиевые лужи застыли, но воздух был свежий, весенний. После этой бани Андреев спал особенно крепко, «сытно поспал», как говорил его сосед Огнев, уже забывший про свое банное приключение.

Никого никуда не выпускали. Но все же в «секции» была единственная должность, позволявшая выход «за проволоку». Правда, здесь шла речь не о выходе из ла-

герного поселка, за «внешнюю» проволоку — три забора по десять «ниток» колючки да еще запретное пространство, обнесенное низконатянутой проволокой. О той никто и не мечтал. Здесь шла речь о выходе из проволочного двора. Там была столовая, кухня, склады, больница — словом, иная, запретная для Андреева жизнь. За проволоку выходил единственный человек — ассенизатор. И когда он умер внезапно (жизнь полна благодетельных случайностей), Огнев, сосед Андреева, проявил чудеса энергии и догадливости. Он два дня не ел хлеба, затем выменял на хлеб большой фибровый чемодан.

— У барона Манделя, Андреев!

Барон Мандель! Потомок Пушкина! Вот там, там. Барон, длинный, узкоплечий, с крошечным лысым черепом, был далеко виден. Но познакомиться с ним не пришлось Андрееву.

У Огнева сохранился коверкотовый пиджак еще с «воли», в карантине Огнев был всего несколько месяцев.

Огнев преподнес нарядчику пиджак и фибровый чемодан и получил должность умершего ассенизатора. Недели через две блатные придушили Огнева в темноте — не до смерти, к счастью, и отняли у него около трех тысяч рублей деньгами.

Андреев почти не встречался с Огневим в расцвет его коммерческой карьеры. Избитый и истерзанный, Огнев исповедовался Андрееву ночью, заняв старое место.

Андреев мог бы ему рассказать кое-что из того, что он видел на прииске, но Огнев ничуть не раскаивался и не жаловался.

— Сегодня они — меня, завтра я — их. Я их... обыграю... В стос, в терц, в буру обыграю. Все верну!

Огнев ни хлебом, ни деньгами не помог Андрееву, но это и не было принято в таких случаях — с точки зрения лагерной этики все обстояло нормально.

В один из дней Андреев удивился, что он еще живет. Подниматься на нары было так трудно, но все же он

поднимался. Самое главное — он не работал, лежал, и даже пятьсот граммов ржаного хлеба, три ложки каши и миска жидкого супа в день могли воскрешать человека, лишь бы он не работал.

Именно здесь он понял, что не имеет страха и жизнью не дорожит. Понял и то, что он испытан великой пробой и остался в живых. Что страшный приисковый опыт суждено ему применить для своей пользы. Он понял, что как ни мизерны возможности выбора, свободной воли арестанта, они все же есть: эти возможности — реальность, они могут спасти жизнь при случае. И Андреев был готов к этому великому сражению, когда звериную хитрость он должен противопоставить зверю. Его обманывали. И он обманет. Он не умрет, не собирается умирать.

Он будет выполнять желания своего тела, то, что ему рассказало тело на золотом прииске. На прииске он проиграл битву, но это была не последняя битва. Он — шлак, выброшенный с прииска. Его обманула семья, обманула страна. Любовь, энергия, способности — все было растоптано, разбито. Все оправдания, которые искал мозг, были фальшивы, ложны, и Андреев это понимал. Только разбуженный прииском звериный инстинкт мог подсказать и подсказывал выход.

Именно здесь, на этих циклопических нарах понял Андреев, что он кое-чего стоит, что он может уважать себя. Вот он здесь еще живой и никого не предал и не продал ни на следствии, ни в лагере. Ему удалось много сказать правды, ему удалось подавить в себе страх. Не то, что он ничего вовсе не боялся, нет, моральные барьеры определились яснее и четче, чем раньше, все стало проще, ясней. Ясно было, например, что нельзя винить Андреева. Прежнее здоровье утеряно бесследно, сломано навеки. Навеки ли? Когда Андреева привезли в этот город, он думал, что жизни его — две-три недели. А для того, чтобы вернулась прежняя сила, нужен полный отдых многомесячный на чистом воздухе, в курортных условиях, с молоком, с шоколадом. И

так как совершенно ясно, что такого курорта Андрееву не видать, ему придется умереть. Что опять-таки не страшно. Умерло много товарищей. Но что-то сильнее смерти не давало ему умереть. Любовь? Злоба? Нет. Человек живет в силу тех же самых причин, почему живет дерево, камень, собака. Вот это понял и не только понял, а почувствовал хорошо Андреев именно здесь, на городской транзитке, во время тифозного карантина.

*

Расчесы на коже зажили гораздо раньше, чем другие раны Андреева. Исчезал понемногу черепаховый панцирь, в который превратилась на прииске человеческая кожа; ярко-розовые кончики отмороженных пальцев потемнели: тончайшая кожица, покрывавшая их после того, как лопнул пузырь отморожения, чуть загрубела. И даже — самое главное — кисть левой руки разогнулась. За полтора года работы на прииске обе кисти рук согнулись по толщине черенка лопаты или кайла и заостенели, как казалось Андрееву, навсегда. Во время еды рукоятку ложки он держал, как и все его товарищи, кончиками пальцев, щепотью и забыл, что можно держать ложку и иначе. Кисть руки, живая, была похожа на протез-крючок. Она выполняла только движения протеза. Кроме этого, ею можно было креститься, если бы Андреев молился богу. Но ничего, кроме злобы, не было в его душе. Раны его души не были так легко залечены. Они никогда не были залечены.

Но руку-то Андреев все-таки разогнул. Однажды в бане — пальцы левой руки разогнулись. Это удивило Андреева. Дойдет очередь и до правой, еще согнутой по-старому. И ночами Андреев тихонько трогал правую, пробовал отогнуть пальцы, и ему казалось, что вов-вот рука разогнется. Он обкусал ногти самым аккуратным образом, и теперь грыз грязную, толстую, чуть размочившуюся кожу, по кусочку. Эта гигиеническая

операция была одним из немногих развлечений Андреева, когда он не ел и не спал.

Кровавые трещины на подошвах ног уже не были такими болезненными, как раньше. Цинготные язвы на ногах еще не зажили и требовали повязок, но ран оставалось все меньше и меньше — их место занимали сине-черные пятна, похожие на тавро, на клеймо работодателя, торговца неграми. Не заживали только большие пальцы обеих ног — там отморожение захватило и костный мозг, оттуда понемногу вытекал гной. Конечно, гноя было гораздо меньше, чем раньше, на прииске, где гной и кровь так натекали в резиновую галошу-чуню, летнюю обувь заключенных, что нога хлюпала при каждом шаге, как будто в луже.

Много еще лет пройдет, пока пальцы эти заживут у Андреева. Много лет после заживления будут напоминать они о северном прииске ноющей болью при малейшем холоде. Но Андреев не думал о будущем. Он, выученный на прииске не рассчитывать жизнь дальше, чем на день вперед, старался бороться за близкое, как делает всякий человек на близком расстоянии от смерти. Сейчас он хотел одного — чтобы тифозный карантин длился бесконечно. Но этого не могло быть, и пришел день, когда карантин кончился.

*

Этим утром всех жителей секции выгнали во двор. Не один час заключенные молча толклись за проводочной изгородью, мерзли. Нарядчик, стоя на бочке, хриплым, отчаянным голосом выкрикивал фамилии. Вызванные выходили в калитку — безвозвратно. На шоссе гудели грузовики, гудели так громко в морозном утреннем воздухе, что мешали нарядчику.

— Только бы не вызвали, только бы не вызвали, — детским заклинанием умолял судьбу Андреев. Нет, ему не будет удачи. Если даже сегодня не вызовут, то вызовут завтра. Он поедет опять в золотые забои, на голод, побои и смерть. Заныли отмороженные пальцы

рук и ног, заныли уши, щеки. Андреев переступал с ноги на ногу все чаще и чаще, согнувшись и дыша в сложенные пальцы трубочкой ладони, но онемевшие ноги и больные руки не так просто было согреть. Все бесполезно. Он бессилён в борьбе с этой исполинской машиной, зубья которой перемальвывали его тело.

— Воронов! Воронов! — надрывался нарядчик.

— Воронов! Здесь ведь, сука!.. — И нарядчик злобно швырнул тоненькую желтую папку «дела» на бочку и придавил «дело» ногой.

И тогда Андреев все понял, сразу. Это был грозовой, молнийный свет, указавший дорогу к спасению. И сейчас же, разгорячившись от волнения, он осмелел и двинулся вперед, к нарядчику. Тот называл фамилию за фамилией, люди уходили со двора один за другим. Но толпа была еще велика. Вот сейчас, сейчас...

— Андреев! — крикнул нарядчик.

Андреев молчал, разглядывая бритые щеки нарядчика. После созерцания щек взгляд его перешел на папки «дел». Их было совсем немного. «Последняя машина», — подумал Андреев.

Нарядчик подержал андреевскую папку в руке и, не повторяя вызова, отложил в сторону, на бочку.

— Сычев! Обзывайся — имя и отчество!

— Владимир Иванович, — ответил по всем правилам какой-то пожилой арестант и растолкал толпу.

— Статья? Срок? Выходи!

Еще несколько человек откликнулись на вызов, ушли, и за ними ушел нарядчик. Заключенных вернули в «секцию».

Кашель, топот, выкрики сгладились, растворились в многоголосом говоре сотен людей.

Андреев хотел жить. Две простых цели поставил он перед собой и положил добиваться их. Было необыкновенно ясно, что здесь надо продержаться как можно дольше, до последнего дня. Постараться не делать ошибок, держать себя в руках... Золото — смерть. Никто лучше Андреева в этой транзитке не знает

этого. Надо во что бы то ни стало избежать тайги, золотых забоев. Как этого может добиться он, бесправный раб Андреев? А вот как. Тайга за время карантина обезлюдела — холод, голод, тяжелая многочасовая работа и бессонница лишили тайгу людей. Значит, в первую очередь из карантина будут отправлены машины в «золотые» управления, и только тогда, когда заказ приисков на людей («Пришлите две сотни деревьев», как пишут в служебных телеграммах) будет выполнен, — только тогда будут отправлять — не в тайгу, не на золото. А куда — это Андрееву все равно. Лишь бы не на золото.

Обо всем этом Андреев не сказал никому ни слова. Ни с кем он не советовался, ни с Огневым, ни с Парфентьевым, приисковым товарищем, ни с одним из этой тысячи людей, что лежали с ним вместе на нарах. Ибо он знал — каждый, кому он расскажет свой план, — выдаст его начальству — за похвалу, за махорочный окурок, просто так... Он знал, что такое тяжесть тайны, секрет, и мог его сберечь. Только в этом случае он не боялся. Одному было легче, вдвое, втрое, вчетверо легче проскочить сквозь зубья машины. Его игра была его игрой — этому тоже он был хорошо выучен на прииске.

Много дней Андреев «не отзывался». Как только карантин кончился, заключенных стали «гонять» на работы, и на выходе надо было словчить так, чтобы не попасть в большие партии — тех водили обычно на земляные работы с ломом, кайлом и лопатой; в маленьких же партиях по два-три человека была всегда надежда заработать лишний кусок хлеба или даже сахару — более полутора лет Андреев не видел сахару. Этот расчет был немудрен и совершенно правилен. Все эти работы были, конечно, незаконными «на этапе», и находилось много желающих пользоваться бесплатным трудом. Те, кто попадал на земляные работы, ходили туда из расчета где-либо выпросить табаку, хлеба. Это удавалось, даже у прохожих. Андреев ходил в овощи-

хранилище, где вволю ел свеклу и морковь и принес «домой» несколько сырых картофелин, которые жарил в золе печи и полусырыми вытащил и съел, — жизнь здешняя требовала, чтоб все пищевые «отправления» производились быстро — слишком много было голодных вокруг.

Начались дни почти осмысленные, наполненные какой-то деятельностью. Ежедневно с утра приходилось простоять часа два на морозе. И нарядчик кричал: «Эй, вы, — обзывайся, имя и отчество». И когда ежедневная жертва Молоху была закончена, и все, топоча, бежали в барак, — оттуда выводили на работу.

Андреев побывал на хлебозаводе, носил мусор на женской пересылке, мыл полы в отряде охраны, где в полутемной столовой собирал с оставшихся тарелок липкие и вкусные мясные остатки с командирских столов. После работы на кухню выносили большие тазы, полные сладкого киселя, горы хлеба, и все садились вокруг, ели и набивали хлебом карманы.

Только один раз расчет Андреева оказался неверным. Чем меньше группа — тем лучше — вот была его заповедь. А всего лучше — одному. Но одного редко куда-либо брали. Однажды нарядчик, уже запомнивший Андреева в лицо (он знал его как Муравьева), сказал:

— Я тебе такую работу нашел, век будешь помнить. Дрова пилить к высокому начальнику. Вдвоем с кем-нибудь пойдешь.

Они весело бежали впереди провожатого в кавалерийской шинели. Тот в сапогах скользил, оступался, прыгал через лужи и потом догонял их бегом, придерживая полы шинели обеими руками. Вскоре они подошли к небольшому дому с запертой калиткой и колючей проволокой поверх забора. Провожатый постучал. Во дворе залаяла собака. Им отпер дневальный начальника, молча отвел их в сарай, закрыл их там и выпустил на двор огромную овчарку. Принес ведро воды. И пока арестанты не перепилили и не переко-

лоли всех дров в сарае — собака держала их взаперти. Поздно вечером их увели в лагерь. На следующий день их посылали туда же, но Андреев спрятался под нары и вовсе не ходил на работу в этот день.

На другой день утром перед раздачей хлеба ему пришла в голову одна простая мысль, которую Андреев сразу же осуществил.

Он снял бурки со своих ног и положил их на край нары одна на другую, подошвами наружу — так, как если бы он сам лежал в бурках на нарах. Рядом он лег на живот и голову опустил на локоть руки.

Раздатчик быстро сосчитал очередной десяток и выдал Андрееву десять порций хлеба. У Андреева осталось две порции. Но такой способ был ненадежен, случаен, и Андреев вновь стал искать работу вне барака.

Думал ли он тогда о семье? Нет. О свободе? Нет. Читал ли он на память стихи? Нет. Вспоминал ли прошлое? Нет. Он жил только равнодушной злобой. Именно в это время он встретил капитана Шнайдера.

Блатные занимали место поближе к печке. Нары были застланы грязными ватными одеялами, покрыты множеством пуховых подушек разного размера. Ватное одеяло — непременный спутник удачливого вора, единственная вещь, которую вор таскает с собой по тюрьмам и лагерям; ворует ее, отнимает, когда не имеет, а подушка — подушка — не только подголовник, но и ломберный столик во время бесконечных карточных сражений. Этому столику можно придать любую форму. И все же он — подушка. Картежники раньше проигрывают брюки, чем подушку.

На одеялах и подушках располагались главари — вернее, те, кто на сей момент был вроде главарей. Еще повыше, на третьих нарах, где было темно, лежали еще одеяла и подушки — туда затаскивали каких-то женоподобных молодых воришек, да и не только воришек — педерастом был чуть не каждый вор.

Воров окружала толпа холопов и лакеев — придворные рассказчики, ибо блатари считают хорошим тоном интересоваться «романами»; придворные парикмахеры с флакончиками духов есть даже в этих условиях, и еще толпа служащих, готовых на что угодно, лишь бы им отломили корочку хлеба или налили супчику.

— Тише! Сенечка говорит что-то. Тише — Сенечка ложится спать . . .

Знакомая приисковая картина.

Вдруг среди толпы попрошайек, вечной свиты блатарей, Андреев увидел знакомое лицо, знакомые черты лица, услышал знакомый голос. Сомнения не было — это был капитан Шнайдер, товарищ Андреева по Бутырской тюрьме.

Капитан Шнайдер был немецкий коммунист, коминтерновский деятель, прекрасно владевший русским языком, знаток Гете, образованный теоретик-марксист. В памяти Андреева остались беседы с ним, беседы «высокого давления» долгими тюремными ночами. Весельчак от природы, бывший капитан дальнего плавания поддерживал боевой дух тюремной камеры.

Андреев не верил своим глазам.

— Шнайдер!

— Да? . . . Что тебе? — обернулся капитан. Взгляд его тусклых голубых глаз не узнавал Андреева.

— Шнайдер!

— Ну, что тебе? Сенечка проснется.

Но уже край одеяла приподнялся, и бледное нездоровое лицо высунулось на свет.

— А, капитан, — томно зазвенел тенор Сенечки. — Заснуть не могу, тебя не было . . .

— Сейчас, сейчас, — засуетился Шнайдер.

Он влез на нары, отогнул одеяло, сел, засунул руку под одеяло и стал чесать пятки Сенечки.

Андреев медленно шел к своему месту. Жить ему не хотелось. И хотя это было небольшое и нестрашное событие по сравнению с тем, что он видел и что ему

предстояло увидеть, — он запомнил капитана Шнайдера навек.

*

А людей становилось все меньше. Транзитка пустела. Андреев столкнулся лицом к лицу с нарядчиком.

— Как твоя фамилия?

Но Андреев уже давно подготовил себя к такому.

— Гуров, — сказал он смиренно.

— Подожди!

Нарядчик полистал папиросную бумагу списков.

— Нет, нету.

— Можно идти?

— Иди, скотина, — проревел нарядчик.

*

Однажды он попал на уборку и мытье посуды в столовую пересылки уезжающих освобожденных, окончивших срок наказания людей. Его партнером был изможденный «фитиль», «доходяга» неопределенного возраста, только что выпущенный из местной тюрьмы. Это был первый выход «доходяги» на работу. Он все спрашивал — что они будут делать, покормят ли их и удобно ли попросить что-нибудь съестное хоть немного раньше работы.

Доходяга рассказал, что он — профессор-невропатолог, и фамилию его Андреев помнил.

Андреев по опыту знал, что лагерные повара, да и не только повара, не любят «Иван Ивановичей», как презрительно называли они интеллигенцию. Он посоветовал профессору ничего заранее не просить и грустно подумал, что главная работа по мытью и уборке достанется на его, андреевскую долю — профессор был слишком слаб. Это было правильно и обижаться не приходилось — сколько раз на прииске Андреев был плохим, слабым «напарником» для своих тогдашних товарищей, и никто никогда не говорил ни слова. Где они все? Где Шейнин, Рютин, Хвостов? Все умерли, а

он, Андреев, ожил. Впрочем, он еще не ожил — и вряд ли оживет. Но он будет бороться за жизнь.

Предположения Андреева оказались правильными — профессор действительно оказался слабым, хотя и суетливым помощником.

Работа была кончена, и повар посадил их на кухне и поставил перед ними огромный бачок густого рыбного супа и большую железную тарелку с кашей. Профессор всплеснул руками от радости, но Андреев, выдавший на прииске, как один человек съедает по двадцать порций обеда из трех блюд с хлебом, покосился на предложенное угощение неодобрительно.

— Без хлеба, что ли? — спросил Андреев хмуро.

— Ну, как без хлеба, дам понемножку, — и повар вынул из шкафа два ломтя хлеба.

С угощением было быстро покончено. В таких «гостях» предусмотрительный Андреев всегда ел без хлеба. И сейчас он положил хлеб в карман. Профессор же отламывал хлеб, глотал суп, жевал, и крупные капли грязного пота выступали на его стриженной седой голове.

— Вот вам еще по рублю, — сказал повар. — Хлеба у меня нынче нет.

Это была превосходная плата. На пересылке была лавчонка, ларек, где можно было купить вольнонаемным хлеб. Андреев сказал об этом профессору.

— Да, да, вы правы, — сказал профессор. — Но я видел: там торгуют сладким квасом. Или это лимонад? Мне очень хочется лимонаду, вообще чего-нибудь сладкого.

— Дело ваше, профессор, только я бы в вашем положении лучше хлеба купил.

— Да, да, вы правы, — повторил профессор, — но очень хочется сладкого кваску. Выпейте и вы.

Но Андреев наотрез отказался от кваса.

В конце концов Андреев добился одиночной работы — стал мыть полы в конторе пересыльной хозчасти. Каждый вечер за ним приходил дневальный, чьей

обязанностью и было поддерживать контору в чистоте. Это были две крошечные комнатки, заставленные столами, метра четыре квадратных каждая. Полы были крашеные. Это была пустая десятиминутная работа, и Андреев не сразу понял, почему дневальный «анимает» рабочего для такой уборки. Ведь даже воду для мытья дневальный приносил через весь лагерь сам, чистые тряпки тоже были всегда приготовлены раньше. А плата была щедрая — махорка, суп и каша, хлеб и сахар. Дневальный обещал дать Андрееву даже «легкий пиджак», но не успел.

Очевидно, дневальному казалось зазорным мыть самому полы — хотя бы и пять минут в день, — когда он в силах нанять себе «работягу». Это свойство, присущее русским людям, Андреев наблюдал и на приiske: даст начальник на уборку барака дневальному горсть махорки. Половину махорки дневальный высыпет в свой кисет, а за половину наймет дневального из барака пятьдесят восьмой статьи. Тот, в свою очередь, «переполовинит» махорку и наймет работягу из своего барака за две папиросы махорочных. И вот работяга, отработав 12-14 часов смену, моет полы ночью за эти две папиросы табаку. И еще считает за счастье — ведь на табак он выменяет хлеб.

Валютные вопросы — самая сложная теоретическая область экономики. И в лагере валютные вопросы сложны — эталоны удивительны — чай, табак, хлеб — вот поддающиеся «курсу» ценности.

Дневальный хозчасти платил Андрееву иногда талонами в кухню. Это были куски картона с печатью, вроде жетонов — десять обедов, пять вторых блюд и т. п. Так дневальный дал Андрееву жетон на двадцать порций каши, и двадцать порций не покрыли дна жестяного тазика.

Андреев видел, как блатные совали вместо жетонов в окошечко сложенные жетонообразно ярко-оранжевые тридцатирублевки. Это действовало без отказа.

Тазик наполнялся кашей, выскакивал из окошечка в ответ на «жетон».

Людей на транзитке становилось все меньше и меньше. Настал, наконец, день, когда после отправки последней машины на дворе осталось всего десятка три человек.

На этот раз их не отпустили в барак, а построили и повели через весь лагерь.

— Все же не расстреливать ведь нас ведут, — сказал шагавший рядом с Андреевым огромный большерукий одноглазый человек.

Именно это — не расстреливать же — подумал и Андреев. Всех привели к нарядчику, в отдел учета.

— Будем вам пальцы печатать, — сказал нарядчик, выходя на крыльцо.

— Ну, если пальцы, то можно и без пальцев, — весело сказал одноглазый. — Моя фамилия Филипповский. Георгий Адамович.

— А твоя?

— Андреев Павел Иванович.

Нарядчик отыскал «личные дела».

— Давненько мы вас ищем, — сказал он беззлобно. — Идите в барак, я потом вам скажу, куда вас назначат.

Андреев знал, что он выиграл битву за жизнь. Просто не могло быть, чтоб тайга еще не насытилась людьми. Отправки если и будут, то на ближние, на местные «командировки». Или в самом городе — это еще лучше. Далеко отправить не могут — не только потому, что у Андреева «легкий физический труд». Андреев знал практику внезапных «перекомиссовок». Не могут отправить далеко, потому что наряды «тайги» уже выполнены. И только близкие командировки, где жизнь легче, проще, сытнее, где нет золотых забоев, а значит есть надежда на спасение, — ждут своей, последней очереди. Андреев выстрадал это своей двухлетней ра-

ботой на прииске. Своим звериным напряжением в эти карантинные месяцы. Слишком многое было сделано. Надежды должны сбыться во что бы то ни стало.

Ждать пришлось всего одну ночь.

После завтрака нарядчик влетел в барак со списком, с маленьким списком, как сразу облегченно отметил Андреев. Приисковые списки были по двадцать пять человек на автомашину, и таких бумажек было всегда несколько, а не одна.

Андреева и Филипповского вызвали по этому списку; в списке было людей больше — немного, но не две и не три фамилии.

Вызванных повели к знакомой двери учетной части. Там стояло еще три человека — седой, важный, неторопливый старик в хорошем овчинном полушубке и в валенках и грязный вертлявый человек в ватной телогрейке, брюках и резиновых галошах с портянками на ногах. Третий был благообразный старик, глядящий себе под ноги. Поодаль стоял человек в военной бекеше, в кубанке.

— Вот и все, — сказал нарядчик. — Подойдут?

Человек в бекеше поманил пальцем старика.

— Ты кто?

— Изгибин, Юрий Иванович, статья пятьдесят восьмая. Срок двадцать пять лет, — бойко отрапортовал старик.

— Нет, нет, — поморщилась бекеша. — По специальности ты кто? Я ваши установочные данные найду без вас...

— Печник, гражданин начальник.

— А еще?

— По жестяному могу.

— Очень хорошо.

— Ты? — Начальник перевел взор на Филипповского.

Одноглазый великан рассказал, что он — кочегар с паровоза из Каменец-Подольска.

— А ты?

Благообразный старик пробормотал неожиданно несколько слов по-немецки.

— Что это? — сказал бекеша с интересом.

— Вы не беспокойтесь, — сказал нарядчик. — Это столяр, хороший столяр Фризоргер. Он немножко не в себе. Но он опомнится.

— А по-немецки-то зачем?

— Он из-под Саратова, из автономной республики. . .

— А-а-а . . . А ты? — это был вопрос Андрееву.

«Ему нужны специалисты и вообще рабочий народ, — подумал Андреев. — Я буду кожевником».

— Дубильщик, гражданин начальник.

— Очень хорошо. А лет сколько?

— Тридцать один.

Начальник покачал головой. Но так как он был человек опытный и видывал воскрешение из мертвых, он промолчал и перевел глаза на пятого.

Пятый, вертлявый человек, оказался ни много, ни мало, как деятелем общества эсперантистов.

— Я, понимаете, вообще-то агроном, по образованию агроном, даже лекции, а дело у меня, значит, по эсперантистам.

— Шпионаж, что ли? — равнодушно сказала бекеша.

— Вот-вот, вроде этого, — подтвердил вертлявый человек.

— Ну как? — спросил нарядчик.

— Беру, — сказал начальник. — Все равно лучших не найдешь. Выбор нынче небогат.

Всех пятерых повели в отдельную камеру — комнату при бараке. Но в списке было еще две-три фамилии — это Андреев заметил очень хорошо. Пришел нарядчик.

— Куда мы едем?

— На местную командировку, куда же еще, — сказал нарядчик. — А этот ваш начальник будет.

— Через час и отправим. Три месяца «припухали» тут, друзья, пора и честь знать.

Через час их вызвали, только не к машине, а в кла-

довую. Очевидно, заменить обмундирование, — думал Андреев. Ведь весна на носу — апрель. Выдадут летнее, а это зимнее, ненавистное, присковое — он сдаст, бросит, забудет. Но вместо летнего обмундирования им выдали зимнее. По ошибке? Нет — на списке была метка красным карандашом — «зимнее».

Ничего не понимая, в весенний день они оделись в «второсрочные» телогрейки. И бушлаты, в старые, чиненые валенки. И прыгая кое-как через лужи, в тревоге добрались до барачной комнаты, откуда они пришли на склад.

Все были встревожены чрезвычайно и все молчали, и только Фризоргер что-то лопотал и лопотал по-немецки.

— Это он молитвы читает, мать его... — шепнул Филипповский Андрееву.

— Ну, кто тут что знает? — спросил Андреев.

Седой, похожий на профессора печник перечислил все «ближние командировки»: порт, четвертый километр, семнадцатый километр, двадцать третий, сорок седьмой...

Дальше начинались участки дорожных управлений — места немногим лучше золотых присков.

Прибежал нарядчик.

— Выходи! Шагай к воротам!

Все вышли и пошли к воротам пересылки. За воротами стоял большой грузовик, закрытый зеленой парусиной.

— Конвой, принимай.

Конвоир сделал переключку. Андреев чувствовал, как холодеют у него ноги, спина...

— Садись в машину!

Конвоир откинул край большого брезента, закрывавшего машину, — машина была полна людей, сидевших по всей форме.

— Полезай!

Все пятеро сели вместе. Все молчали. Конвоир сел

в кабину, затарахтел мотор, и машина двинулась по шоссе, выезжая на главную «трассу».

— На четвертый километр везут, — сказал печник.

Верстовые столбы уплывали мимо. Все пятеро сдвинули головы около щели в брезенте, не верили глазам...

— Семнадцатый...

— Двадцать третий... — сказал Филипповский.

— На местную, сволочи! — злобно прохрипел печник.

Машина давно уже вертелась витой дорогой между скал. Шоссе было похоже на канат, которым тащили море к небу. Тащили горы-бурлаки, согнув спину.

— Сорок седьмой, — безнадежно пискнул вертлявый эсперантист.

Машина пролетела мимо.

— Куда мы едем? — спросил Андреев, ухватив чье-то плечо.

— На Атке, на двести восьмом будем ночевать.

— А дальше?

— Не знаю... Дай закурить.

Грузовик, тяжело пыхтя, взбирался на перевал Яблонового хребта.



II. АРТИСТ ЛОПАТЫ

ПРИПАДОК

Качнулась стена, и горло мне захлестнуло знакомой сладкой тошнотой. Обгорелая спичка на полу в тысячный раз проплывала перед глазами. Я протянул руку, чтоб схватить эту надоевшую спичку, и спичка исчезла — я перестал видеть. Мир еще не ушел от меня совсем: там, на бульваре, был еще голос, отдаленный, настойчивый голос медицинской сестры. Потом замелькали халаты, угол дома, звездное небо... Возникла огромная серая черепаха, глаза ее блестели равнодушно; кто-то выломал ребро черепахи, и я вполз в какую-то нору, цепляясь и подтягиваясь на руках, доверяя только рукам.

Я вспомнил чужие настойчивые пальцы, умело пригибавшие мою голову и плечи к постели. Всё стихло, и я остался один на один с кем-то огромным, как Гулливер. Я лежал на доске, как насекомое, и кто-то меня пристально рассматривал в лупу. Я поворачивался, и страшная лупа следила за моими движениями. Я изгибался под чудовищным стеклом. И только тогда, когда санитары перенесли меня на больничную койку и наступил блаженный покой одиночества, я понял, что Гулливерова лупа не была кошмаром — это были очки дежурного врача. Это очень обрадовало меня.

Голова болела и кружилась при малейшем движении, и нельзя было думать — можно было только вспоминать, и давние пугающие картины стали являться, как кадры немого кино, двуцветные фигуры. Сладкая тошнота, похожая на эфирный наркоз, не проходила. Она была знакомой, и это первое ощущение было теперь разгадано. Я вспомнил, как много лет назад, на Севере, после шестимесячной работы без отдыха, впервые был объявлен выходной день. Каждый хотел лежать, лежать, не чинить одежду, не двигаться... Но всех под-

няли с утра и погнали за дровами. В восьми километрах от поселка шла лесозаготовка — нужно было выбрать бревно по силе и дотащить домой в барак, в «зону». Я решил идти в сторону — там, километрах в двух, были старые штабеля, там можно было найти подходящее бревно. Идти в гору было трудно, и когда я добрался до штабеля, легких бревен там не оказалось. Выше чернели разваленные поленницы дров, и я стал подниматься к ним. Здесь было только одно бревно, подходящее для меня, тонкое, по моей силе, но конец его был зажат штабелем, и у меня не хватало сил выдернуть бревно. Я несколько раз принимался и изнемог окончательно. Но вернуться без дров было нельзя, и, собирая последние силы, я пополз еще выше к штабелю, засыпанному снегом. Я долго разгребал рыхлый скрипучий снег ногами и руками и выдернул, наконец, одно из бревен. Но бревно было слишком тяжелым. Я снял с шеи грязное полотенце, служившее мне шарфиком, и, привязав вершину, потащил бревно вниз. Бревно прыгало и било по ногам. Или вырывалось и бежало под гору быстрее меня. Стланик, как спрут, хватал мое бревно. Освободившись от черных лап спрута-стланика, бревно разбежалось и втыкалось в снег. Я подползал к нему и снова заставлял бревно двигаться. Я был еще высоко на горе, когда стемнело и я понял, что прошло много часов, а дорога к поселку и к «зоне» была еще далеко. Я дернул шарф, и бревно снова скачками кинулось вниз. Я вытащил бревно на дорогу. Лес закачался перед моими глазами, горло захлестнула сладкая тошнота. Я очнулся в будке лебедчика — тот оттирал мне руки и лицо колючим снегом.

Всё это виделось мне сейчас на больничной стене.

Но вместо лебедчика руку мою держал врач.

— Где я?

— В Институте неврологии.

Врач что-то спрашивал. Я отвечал с трудом. Мне хотелось быть одному. Я не боялся воспоминаний.



НАДГРОБНОЕ СЛОВО

Все умерли . . .

Николай Казимирович Барбэ, товарищ, помогавший мне вытащить большой камень из узкого шурфа, бригадир, расстрелян за невыполнение плана участком, на котором работала его бригада, расстрелян по рапорту молодого начальника участка, молодого коммуниста Арма — он получил орден за 1938 год и позже был начальником прииска, начальником управления — большую карьеру сделал Арм. У Николая Казимировича Барбэ была бережно хранимая вещь — верблюжий шарф, голубой, длинный, теплый шарф, настоящий шерстяной. Его украли в бане воры — просто взяли да и все, когда Барбэ отвернулся. И на следующий день Барбэ поморозил щеки — сильно поморозил — язвы так и не успели зажить до его смерти . . .

Умер Иоська Рютин. Он работал в паре со мной, а со мной «работяги» не хотели работать. А Иоська работал. Он был гораздо сильнее, ловчее меня. Но он понимал хорошо, зачем нас сюда привезли. И не обижался на меня, работавшего плохо. В конце концов старший смотритель (так и назывались горные чины в 1937 году — как в царское время) велел дать мне «одиночный замер». А Иоська работал в паре с кем-то другим. Но места наши в бараке были рядом, и я сразу проснулся от неловкого движения кого-то кожаного, пахнущего бараном; этот кто-то, повернувшись ко мне спиной в узком проходе между нар, будил моего соседа.

— Рютин! Одевайся.

И Иоська стал торопливо одеваться, а пахнувший бараном человек стал обыскивать его немногие вещи. Среди немногого нашлись шахматы, и кожаный человек отложил их в сторону.

— Это мои, — сказал торопливо Рютин. — Моя собственность. Я платил деньги.

— Ну и что ж? — сказала овчина.

— Оставьте их.

Овчина захохотала. И когда устала от хохота и утерла кожаным рукавом лицо, выговорила:

— Тебе они больше не понадобятся...

Умер Дмитрий Николаевич Орлов, бывший референт Кирова. С ним мы пилили дрова в ночной смене, на прииске, и, обладатели пилы, работали днем на пекарне. Я хорошо помню, сколь критическим взглядом обвел нас инструментальщик-кладовщик, выдавая пилу, обыкновенную поперечную пилу.

— Вот что, старик, — сказал инструментальщик. Нас всех в то время звали стариками — не то, что двадцать лет спустя. — Можешь наточить пилу? — Конечно, — сказал Орлов поспешно. — А разводка есть?

— Топором разведешь, — сказал кладовщик, уразумевший уже в нас людей знающих, не то, что эти интеллигенты.

Орлов шел по тропке, согнувшись, засунув руки в рукава. Пилу он держал под мышкой.

— Послушайте, Дмитрий Николаевич, — сказал я, догоняя Орлова вприпрыжку. — Я ведь не умею. Никогда пилы не точил.

Орлов повернулся ко мне, втолкнул пилу в снег и надел рукавицы.

— Я думаю, — сказал он назидательным тоном, — что всякий человек с высшим образованием обязан уметь точить и разводить пилы.

Я согласился с ним.

Умер экономист Семен Алексеевич Шейнин, напарник мой, добрый человек. Он долго не понимал, что делают с нами, но в конце концов понял и стал спокойно ждать смерти. Мужества у него хватало. Как-то я получил посылку — то, что посылка дошла, было великой редкостью, и в ней были авиационные фетровые бурки и больше ничего. Как плохо знали наши родные условия, в которых мы жили. Я понимал отлично, что бурки украдут, отнимут у меня в первую же ночь. И я их продал, не выходя из комендатуры, за сто рублей де-

сятнику Андрею Бойко. Бурки стоили семьсот, но это была выгодная продажа. Ведь я мог купить сто килограммов хлеба, а если не сто, то купить масла, сахару. Масло и сахар последний раз я ел в тюрьме. И я купил в магазине целый килограмм масла. Я помнил о его полезности. Сорок один рубль стоило это масло. Я купил днем (работал ночью) и побежал к Шейнину — мы жили в разных бараках — отпраздновать посылку. Купил я и хлеба...

Семен Алексеевич взволновался и обрадовался.

— Ну, как же я? Какое я имею право? — бормотал он, взволнованный чрезвычайно. — Нет, нет, я не могу... — Но я уговорил его, и радостный, он побежал за кипятком.

И тотчас я упал на землю от страшного удара по голове.

Когда я вскочил, сумки с маслом и хлебом не было. Метровое листовое полено, которым меня били, валялось около койки и все кругом смеялись. Прибежал Шейнин с кипятком. Много лет потом я не мог вспомнить об этой краже без страшного волнения. А Семен Алексеевич — умер.

Умер Иван Яковлевич Федяхин. Мы с ним ехали одним поездом, одним пароходом. Попали на один прииск, в одну бригаду. Он был философ, волоколамский крестьянин, организатор первого в России колхоза. Колхозы, как известно, первые организовывались эсерами в двадцатых годах, а группа Чайнова—Кондратьева представляла их интересы «наверху». Иван Яковлевич и был деревенским эсером — в числе того миллиона, который голосовал за эту партию в 1917 году. За организацию первого колхоза он и получил срок — пятилетний срок заключения.

Как-то в самом начале, первой колымской осенью 1937 года мы работали с ним у грабарки — стояли на знаменитом приисковом конвейере. Тележек-грабарок было две, отцепных, пока коногон вез одну на промывочный прибор, двое рабочих едва успевали насы-

пать другую. Курить не успевали, да и не разрешалось это зрителями. Наш коногон зато курил — огромную сигарку, свернутую чуть не из полпачки махорки (махорка еще тогда была), и оставлял на борту забоя нам затануться.

Коногоном был Мишка Вавилов, бывший заместитель председателя треста «Промимпорт», а забойщиками Федяхин и я.

Не спеша, подбрасывая грунт в грабарку, мы говорили друг с другом. Я рассказал Федяхину об уроке, который давался декабристам в Нерчинске, по «Запискам Марии Волконской» — три пуда руды на человека. — А сколько, Василий Петрович, весит наша норма? — спросил Федяхин.

Я подсчитал — 800 пудов примерно.

— Вот, Василий Петрович, как нормы-то выросли...

Позднее, во время голода зимой, я доставал табак — выпрашивал, копил, покупал — и менял его на хлеб. Федяхин не одобрял моей «коммерции».

— Не идет это вам, Василий Петрович, не надо вам это делать.

Последний раз я его видел зимой у столовой. Я дал ему шесть обеденных талонов, полученных мной в этот день за ночную переписку в конторе. Хороший почерк мне иногда помогал. Талоны пропадали — на них были штампы чисел. Федяхин получил обеды. Он сидел за столом и переливал из миски в миску «юшку» — суп был предельно жидким и ни одной жиринки в нем не плавало... Каша-шрапнель со всех шести талонов не наполнила одной миски. Ложки у Федяхина не было, и он слизывал кашу языком. И плакал.

Умер Дерфель. Это был французский коммунист, бывавший и в каменоломнях Кайенны. Кроме голода и холода, он был измучен нравственно — он не хотел верить, как может он, член Коминтерна, попасть сюда, на советскую каторгу. Его ужас был бы меньше, если бы он видел, что он не один такой. Такими были все, с кем он приехал, с кем он жил, с кем он умирал. Это был

маленький, слабый человек, побои входили уже в моду... Однажды бригадир его ударил, ударил просто кулаком, для порядка, так сказать, но Дерфель упал и не поднялся. Он умер один из первых, из самых счастливых. В Москве он работал в ТАСС'е одним из редакторов. Русским языком владел хорошо.

— В Кайенне было тоже плохо, — сказал он мне как-то. — Но здесь — очень плохо.

Умер Фриц Давид. Это был голландский коммунист, работник Коминтерна, обвинявшийся в шпионаже. У него были прекрасные вьющиеся волосы, синие глубокие глаза, ребяческий вырез губ. Русского языка он почти не знал. Я встретился с ним в бараке, набитом людьми так тесно, что можно было спать стоя. Мы стояли рядом, Фриц улыбнулся мне и закрыл глаза.

Пространство под нарами было набито людьми до отказа, надо было ждать, чтоб присесть, опуститься на корточки, потом привалиться куда-нибудь к нарам, к столбу, к чужому телу — и заснуть. Я ждал, закрыв глаза. Вдруг рядом со мной что-то рухнуло. Мой сосед Фриц Давид упал. Он поднялся в смущении.

— Я заснул, — сказал он испуганно.

Этот Фриц Давид был первым человеком из нашего этапа, получившим посылку. Посылку ему послала его жена из Москвы. В посылке был бархатный костюм, ночная рубашка и большая фотография красивой женщины. В этом бархатном костюме он и сидел на корточках рядом со мной.

— Я хочу есть, — сказал он, улыбаясь, краснея. — Я очень хочу есть. Принесите мне что-нибудь поесть.

Фриц Давид сошел с ума и его куда-то увели.

Ночную рубашку и фотографию у него украли в первую же ночь. Когда я рассказывал о нем позднее, я всегда недоумевал и возмущался. Зачем, кому нужна была чужая фотография?

— Всего и вы не знаете, — однажды сказал некий хитрый собеседник мой. — Догадаться не трудно. Эта

фотография украдена блатными и, как говорят блатные, «для сеанса». Для онанизма, наивный друг мой...

Умер Сережа Кливанский, товарищ мой по первому курсу университета, с которым мы встретились через 20 лет в этапной камере Бутырской тюрьмы. Он был исключен из комсомола в 1927 году за доклад о китайской революции в кружке текущей политики. Университет ему удалось кончить и он работал экономистом в Госплане, пока там не изменилась обстановка, и Сережке пришлось оттуда уйти. Он поступил по конкурсу в оркестр театра имени Станиславского и был второй скрипкой — до ареста в 1937 году. Он был сангвиник, остряк, ирония его не покидала. Интерес к жизни, к событиям ее — тоже.

В этапной камере все ходили почти голыми, поливались водой, спали на полу. Только герои выдерживали сон на нарах. И Кливанский острял:

— Это пытка выпариванием. После нее нас подвергнут пытке вымораживанием на севере.

Это было точное предсказание, но это не было нытьем труса. На прииске Сережа был весел, общителен. С энтузиазмом стремился овладеть блатным словарем и радовался, как ребенок, выговаривая в надлежащей интонации блатные выражения.

— Вот сейчас я, кажется, «припухну», — говорил Сережа, заползая на верхние нары.

Он любил стихи, в тюрьме читал их часто на память. В лагере он не читал стихов.

Он делился последним куском, вернее, еще делился... Это значит, что он так и не успел дожить до времени, когда ни у кого не было последнего куска, когда никто ничем ни с кем не делился.

Умер бригадир Дюков. Я не знаю и не знал его имени. Он был из «бытовиков», к пятьдесят восьмой статье не имел никакого отношения. В лагерях на «материке» он был так называемым «председателем коллектива», настроен был не то что романтически, но собирался «играть роль». Он приехал зимой и выступил с удиви-

тельной речью на первом же собрании. У «бытовиков» бывали собрания — ведь и совершившие бытовые и служебные преступления, а равно и рецидивисты-воры считались «друзьями народа», подлежащими исправлению, а не карательному воздействию. В отличие от «врагов народа» — осужденных по 58-ой статье. Позднее, когда рецидивистам стали давать четырнадцатый пункт 58-ой статьи — «саботаж» (за отказы от работы), — весь параграф четырнадцатый был изъят из пятидесят восьмой статьи и избавлен от многолетних и многообразных карательных мер. Рецидивисты считались «друзьями народа» всегда — до знаменитой бериевской амнистии 1953 года включительно. В жертву теории и крыленковской «резинки» и пресловутой «перековки» были принесены многие сотни тысяч несчастных людей.

На том, первом собрании Дюков предложил взять под свое руководство бригаду «пятидесят восьмой статьи» — обычно бригадир «политических» был из их же среды. Дюков был неплохой парень. Зная, что крестьяне работают в лагере отлично, лучше всех, помня, что пятидесят восьмой статьи среди крестьян было очень много. В этом следует видеть особую мудрость Ежова и Берия, понимавших, что трудовая ценность интеллигенции весьма невысока, а, стало быть, производственную задачу лагеря могут не выполнить, в отличие от политической задачи. Но Дюков в такие высокие соображения не вдавался, вряд ли ему приходило в голову что-либо, кроме рабочих качеств людей. Он отобрал себе бригаду — исключительно из крестьян — и приступил к работе. Это было весной 1938 года. Дюковские крестьяне пробыли всю голодную зиму 37-38 года. Он не бывал со своими бригадниками в бане, а то бы давно понял, в чем дело.

Они работали плохо, их надо было только подкормить. Но в этой просьбе Дюкова начальство отказало самым резким образом. Голодная бригада героически выработывала норму, работала через силу. Тогда Дю-

кова стали обсчитывать: замерщики, учетчики, смотрители, прорабы; он стал жаловаться, протестовать все резче и резче, выработка бригады все падала и падала, питание делалось все хуже. Дюков попробовал обратиться к высокому начальству, но высокое начальство посоветовало соответствующим работникам приписать бригаду Дюкова, вместе с самим бригадиром, к известным спискам. Это было сделано, и все были расстреляны за знаменитой «Серпантинкой».

Умер Павел Михайлович Хвостов. Самое страшное в голодных людях — это их поведение. Все, как у здоровых, и все же это — полусумасшедшие. Голодные всегда яростно отстаивают справедливость (если они не слишком голодны, не чересчур истощены). Они — вечные спорщики, отчаянные драчуны. Обычно лишь одна тысячная часть поругавшихся между собой людей (на самых предельных) доводит дело до драки. Голодные вечно дерутся. Споры вспыхивают по самым диким, самым неожиданным поводам. — Зачем ты взял мое кайло, занял мое место? — Кто покороче, пониже, норовит дать подножку и сбить с ног противника. Кто повыше — навалиться и уронить врага своей тяжестью, — а потом царапать, бить, кусать... Все это бессильно, не больно, не смертельно, и слишком часто, чтобы заинтересовать окружающих. Драк не разбирают.

Вот таким был Хвостов. Он дрался с кем-нибудь каждый день — в бараке, и в той глубокой отводной траншее, которую копала наша бригада. Он был моим *зимним* знакомым — я не видел его волос. А шапка у него была ушанка с изорванным белым мехом. И глаза — темные, блестящие, голодные глаза. Я читал иногда стихи, и он смотрел на меня как на полоумного.

Он вдруг начал отчаянно бить кайлом по камню траншеи. Кайло было тяжелым, Хвостов бил наотмашь, почти без перерыва бил. Я подивился такой силе. Мы давно были вместе, давно голодали. Потом кайло упало и зазвенело. Я оглянулся. Хвостов стоял, расставив ноги, и шатался. Колени его сгибались. Он качнулся и

упал лицом вниз. Он вытянул далеко вперед руки в тех самых рукавицах, которые он каждый вечер сам штопал. Руки открылись — на обоих предплечьях была татуировка. Павел Михайлович был капитан дальнего плавания.

Роман Романович Романов умирал на моих глазах. Когда-то он был у нас кем-то вроде «командира роты», выдавал посылки, следил за чистотой в лагерной зоне, словом, был на таком привилегированном положении, о каком и мечтать не мог никто из нас, пятьдесят восьмой статьи и «литёрок», как говорили блатные, или «литерников», как произносят это слово высшие чиновники лагерей. Предел наших мечтаний — работа прачки в бане или починочным ночным портным. Все, кроме камня, было нам запрещено московскими «особыми указаниями». Такая бумага шла при деле каждого из нас. А вот Роман Романович был на такой недоступной должности. И даже быстро освоился с ее секретами: как открывать посылочный ящик, чтобы сахар сыпался на пол. Как разбить банку с вареньем, закатить под топчан сухари и сушеные фрукты. Всему этому Роман Романович обучился быстро и знакомств с нами не поддерживал. Он был строго официален и держался, как вежливый представитель того высокого начальства, с которым мы личного общения иметь не могли. Он никогда ничего не советовал нам. Он только разъяснял: письмо можно посылать одно в месяц, посылки выдаются с 8 до 10 вечера в лагерной комендантуре, и такое подобное. Мы не завидовали Роману Романовичу, мы только удивлялись. Очевидно, тут сыграло роль какое-то личное случайное знакомство Романова. Впрочем, он был недолго, всего месяца два, командиром роты. Прошла ли очередная проверка штата (время от времени и обязательно к новому году такие проверки устраиваются) или кто-либо «дунул» — пользуясь красочным лагерным выражением. Но Роман Романович исчез. Он был военный работник, полковник, кажется. И вот, через четыре года я попал на «витаминную» команди-

ровку, где собирали хвою «стланика» — единственного вечнозеленого растения здесь. Эту хвою свозили за много сотен верст на витаминный комбинат. Там ее варили, и хвоя превращалась в тягучую коричневую смесь невыносимого запаха и вкуса. Ее разливали в бочки и развозили по лагерям. Тогдашней местной медициной это считалось главным общедоступным и обязательным средством от цинги. Цинга свирепствовала, да еще в сочетании с пеллагрой и прочими авитаминозами. Но все, кому доводилось проглотить хоть каплю этого страшного снадобья, соглашались лучше умереть, чем лечиться подобной чертовщиной. Но были приказы, а приказ есть приказ, и пищу в лагерях не давали до той поры, пока порция лекарства не будет проглочена. Дежурный стоял тут же со специальным крошечным черпачком. Войти в столовую было нельзя, минуя раздатчика стланика, и то самое, чем особенно дорожил арестант, — обед, пища — было непоправимо испорчено этой предварительной обязательной зарядкой. Так длилось более десяти лет . . .

Врачи пограмотней недоумевали — как может сохраниться в этой клейкой мази витамин С, чрезвычайно чувствительный ко всяким переменам температуры. Толку от лечения не было никакого, но экстракт продолжали раздавать. Тут же, рядом со всем поселком, было очень много шиповника. Но шиповник никто и не решался собирать — о нем ничего не говорилось в приказе. И только много позже, после войны, в 1952, кажется, году было получено, опять-таки от имени местной медицины, письмо, где категорически запрещалась выдача экстракта стланика как разрушающе действующего на почки. Витаминный комбинат был закрыт. Но в то время, когда я встретился с Романовым, стланик собирали всюю. Собирали его «доходяги» — приисковый шлак, отбросы золотых забоев — полуинвалиды, голодающие-хроники. Золотой забой из здоровых людей делал инвалидов в три недели: голод, отсутствие сна, многочасовая тяжелая работа, побои . . . В

бригаду «включались» новые люди, и Молох жевал...

К концу сезона в этой бригаде не оставалось никого, кроме бригадира Иванова. Остальные шли в больницу «под сопку» и на «витаминные» командировки, где кормили один раз в день и хлеба больше 600 грамм ежедневно получить было нельзя. Мы с Романовым работали в ту осень не на сборе хвои. Мы работали на «строительстве». Мы строили себе дом на зиму — летом мы жили в рваных палатках.

Была отмерена шагами площадь, поставлены колышки, и мы втыкали редкую изгородь в два ряда. Промежутки заполнялся кусками заледевшего мха и торфа. Внутри были нары из жердей, одноэтажные. Посредине стояла железная печка. На каждую ночь нам давали порцию дров, вычисленную эмпирически. Однако у нас не было ни пилы, ни топора — эти остро-режущие предметы хранились у бойцов охраны, которые жили в отдельной утепленной и обитой фанерой палатке. Пилы и топоры выдавались только по утрам при разводе на работу. Дело в том, что на соседней «витаминной» командировке несколько уголовников напали на бригадира. Блатные чрезвычайно склонны к театральности, внося ее в жизнь так, что им поза-видовал бы Евреинов. Бригадира решено было убить, и предложение одного из блатарей — отпилить голову бригадиру — было встречено с восторгом. Голова была отпилена обыкновенной поперечной пилой. Вот поэтому-то был приказ, запрещающий оставлять у заключенных на ночь топоры и пилы. Почему на ночь? Но в приказах никто никогда не искал логики.

Как же резать дрова, чтоб поленья влезли в печку? Более тонкие ломались ногами, а толстые целым пучком с тонкого конца вкладывались в отверстие горячей печки и постепенно сгорали. Кто-нибудь ночью подвигал их глубже — всегда было кому присмотреть. Этот свет открытой печной двери и был единственным светом в нашем доме. Пока не выпал снег, домик продувало насквозь, но кругом стен нагребли снега, залили

водой — и зимовка наша была готова. Дверь завешивалась обрывком брезента.

Здесь, в этом самом сарае я и встретился с Романом Романовичем. Он не узнал меня. Одет он был как «огонь», как говорят блатные, — как всегда, метко, — клочья ваты торчали из телогрейки, из брюк, из шапки. Не мало раз, верно, приходилось Роману Романовичу бегать «за уголочком», чтобы разжечь папиросу какого-нибудь блатаря... Глаза его блестели голодным блеском, а щеки были такими же румяными, как и раньше, только не напоминали воздушные шары, а туго обтягивали скулы. Роман Романович лежал в углу и с шумом втягивал в себя воздух. Подбородок его поднимался и опускался.

— Кончается, — сказал Денисов, сосед его. — У него портянки хорошие. — И ловко сдернув с ног умирающего бурки, Денисов отмотал еще крепкие зеленые одежные портянки... — Вот так, сказал он, грозно глядя на меня. — Но мне было все равно.

Труп Романова выносили, когда нас выстраивали перед разводом на работу. Шапки у него тоже не было. Полы расстегнутого бушлата волочились по земле.

Умер Володя Добровольцев, пойнтист. Пойнтист — работа это или национальность? Это была работа, вызывающая зависть в бараках пятьдесят восьмой статьи. (Отдельные бараки для политических в общем лагере, где были бараки и бытвиков, и уголовников-рецидивистов, за общей проволокой, были, конечно, юридическим издевательством. От нападений шпаны и кровавых блатных расчетов это никого не защищало.)

Пойнт — это железная труба с горячим паром. Этот горячий пар разогревает каменную породу, смерзшийся галечник, рабочий время от времени выгребает разогретый камень металлической ложкой величиной с человеческую ладонь, с трехметровой рукояткой.

Работа считается квалифицированной, поскольку пойнтист должен открывать и закрывать краны с горячим паром, который идет по трубам из будки, от

бойлера — примитивного парового приспособления. Быть бойлеристом еще лучше, чем пойнтистом. Не всякий инженер-механик с пятьдесят восьмой статьей мог мечтать о подобной работе. И не потому, что это было квалификацией. Чистой случайностью было то, что из тысяч людей на эту работу был направлен Володя. Но это преобразило его. Ему не приходилось думать о том, как бы согреться — вечная мысль . . . Леденящий холод не пронизывал все его существо, не останавливал работу мозга. Горячая труба спасала его. Вот почему все и завидовали Добровольцеву.

Были разговоры и о том, что неспроста он сделан пойнтистом, — это верное доказательство, что он осведомитель, шпион . . . Конечно, блатные всегда говорили: раз санитаром работал в лагере, значит,пил трудовую кровь, и цену подобным суждениям люди знали: зависть — плохая советчица. Володя сразу как-то безмерно вырос в наших глазах — как будто среди нас обнаружился замечательный скрипач. А то, что Добровольцев — это было надо по условиям работы — уходил один и, выходя из лагеря через вахту, открыв вахтенное окошечко, кричал туда свой номер «двадцать пять» таким радостным, громким голосом, — от этого мы уже давно отвыкли.

Иногда он работал близ нашего забоя. И мы, по праву знакомства, бегали по очереди греться к трубе. Труба была дюйма полтора в диаметре, ее можно было охватить рукой, сжать в кулаке, и тепло ощутимо переливалось из рук в тело и не было сил оторваться, чтобы возвращаться в забой, в мороз . . .

Володя не гнал нас, как другие пойнтисты. Никогда он не говорил нам ни слова, хотя я знаю, что пойнтистам было запрещено пускать греться около труб нашего брата. Он стоял, окруженный облаками густого белого пара. Одежда его заледенела. Каждая ворсинка бушлата блестела как хрустальная игла. Он никогда с нами не разговаривал — все же цена этой работы была, очевидно, слишком дорогой.

В рождественский вечер этого года мы сидели у печки. Железные ее бока по случаю праздника были краснее, чем обыкновенно. Человек ощущает разницу температуры мгновенно. Нас, сидящих за печкой, тянуло в сон, в лирику...

— Хорошо бы, братцы, вернуться нам домой. Ведь бывает же чудо... — сказал коногон Глебов, бывший профессор философии, известный в нашем бараке тем, что месяц назад забыл имя своей жены. — Только, чур, правду.

— Домой?

— Да.

— Я скажу правду, — ответил я. — Лучше бы в тюрьму. Я не шучу. Я не хотел бы сейчас возвращаться в свою семью. Там никогда меня не поймут, не смогут понять. То, что им кажется важным, я знаю, что это пустяк. То, что важно мне, — то небольшое, что у меня осталось, — ни понять, ни почувствовать им не дано. Я принесу им новый страх, еще один страх к тысяче страхов, переполняющих их жизни. То, что я видел, — человеку не надо видеть и даже не надо знать.

Тюрьма — это другое дело. Тюрьма — это свобода. Это единственное место, которое я знаю, где люди, не боясь, говорили все, что думали. Где они отдыхали душой. Отдыхали телом, потому что не работали. Там каждый час существования был осмыслен.

— Ну, замолол, — сказал бывший профессор философии. — Это потому, что тебя на следствии не били. А кто прошел через метод номер три, те другого мнения...

— Ну, а ты, Петр Иванович, что скажешь? — Петр Иванович Тимофеев, бывший директор Уральского треста, улыбнулся и подмигнул Глебову.

— Я вернулся бы домой, к жене, к Агнии Михайловне. Купил бы ржаного хлеба — буханку! Сварил бы каши из магара — ведро! Суп «галушки» — тоже ведро! И я бы ел все это. Впервые в жизни наелся бы досыта

этим добром, а остатки заставил бы есть Агнию Михайловну.

— А ты, — обратился Глебов к Звонкову, забойщику нашей бригады, а в первой своей жизни — крестьянину не то Ярославской, не то Костромской области.

— Домой, — серьезно, без улыбки, ответил Звонков. — Кажется, пришел бы сейчас, и ни на шаг бы от жены не отходил. Куда она, туда и я, куда она, туда и я. Вот только работать меня здесь отучили — потерял я любовь к земле. Ну, устроюсь где-нибудь...

— А ты? — рука Глебова тронула колено нашего дневального.

— Первым делом пошел бы в райком партии. Там, я помню, окурков бывало на полу — бездна...

— Да ты не шути...

— Я и не шучу.

Вдруг я увидел, что отвечать осталось только одному человеку. И этим человеком был Володя Добровольцев. Он поднял голову, не дожидаясь вопроса. В глаза ему падал свет рдеющих углей из открытой дверцы печки — глаза были живыми, глубокими.

— А я, — и голос его был покоен и нетороплив, — хотел бы быть обрубком. Человеческим обрубком, понимаете, без рук, без ног. Тогда я бы нашел в себе силу плюнуть им в рожу за все, что они с нами делают...



КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ

Как это началось? В какой из зимних дней изменился ветер и все стало таким страшным?

Как это началось? Бригаду Клюева задержали на работе. Неслыханный случай. Забой был оцеплен конвоем. Забой — это «разрез», яма огромная, по краю которой и стал конвой. А внутри копошились люди, торопясь, подгоняя друг друга. Одни — с затаенной тревогой, другие с твердой верой, что этот день случайность, этот вечер — случайность. Придет рассвет, утро, и все развеется, выяснится, и жизнь пойдет хотя и по-лагерному, но по-прежнему. Задержка на работе. Зачем? Пока не выполнят дневного задания. Тонко визжала метель, мягкий сухой снег бил по щекам, как песок. В треугольных лучах «юпитеров», подсвечивающих ночные забой, снег крутился, как пылинки в солнечном луче, похожий на пылинки в солнечном луче у дверей отцовского сарая. Только в детстве все было маленькое, теплое, живое, — а здесь огромное, холодное, злобное. Скрипели деревянные короба, в которых вывозили грунт к отвалам. Четыре человека хватались за короб, толкали, тащили, катили, пихали, волокли короб к краю отвала, разворачивали и опрокидывали, высыпая мерзлый камень на обрыв. Камни негромко катились вниз... Вон — Крупянский, вон — Нейман, вон сам бригадир Клюев. Все спешат, но нет конца работе. Говорят, было около одиннадцати часов вечера, а гудок был в пять, приисковая сирена прогудела в пять, провизжала в пять. Бригаду отпустили домой. Домой — в барак. А завтра в пять утра — подъем и новый рабочий день и новый дневной план. Наша бригада сменяла клюевскую в этом забое. Сегодня нас поставили на работу в соседний забой и только в двенадцать ночи мы сменили бригаду Клюева...

Как это началось? На прииск вдруг приехало много,

очень много солдат. Два новых барака, рубленых, которые строили заключенные для себя, отдали охране. Мы остались зимовать в палатках — рваных брезентовых палатках, пробитых камнями от взрывов в забое. Палатки были утеплены: в землю врыты столбы и на рейки натянута толь. Между палаткой и толью — слой воздуха. Зимой, говорят, снегом забьет.

Но все это было после. Наши бараки отдали охране — вот суть события. Охране бараки не понравились, бараки из сырого леса: лиственница — дерево коварное, людей не любит, стены, полы и потолки за целую зиму не высохнут. Это все понимали заранее — и те, чьими боками предполагалось сушить бараки, и те, кому бараки достались случайно. Охрана приняла свое «бедствие» как должную северную трудность.

Зачем на прииске «Партизан» охрана? Прииск небольшой, всего две-три тысячи заключенных в 1937 году. Соседи «Партизана» — прииски Штурмовой и Берзино, будущий «Верхний Ат-Урях» — были городами с населением в двенадцать-четырнадцать тысяч заключенных. Смертные вихри 1938 года?.. Но все это было после. А сейчас — зачем «Партизану» охрана? В 1937 году на прииске «Партизан» был единственный бессменный дежурный «бсец», вооруженный наганом, легко наводивший порядок в смиренном царстве «троцкистов». Блатари? Дежурный смотрел сквозь пальцы на милые проделки блатарей, на их грабительские экспедиции и гастроли, дипломатически отсутствовал в особенно острых случаях. Все было «тихо». А теперь вдруг видимо-невидимо конвоиров. Зачем?

Вдруг увезли куда-то целую бригаду отказчиков от работы — троцкистов, которые по тем временам, впрочем, не назывались отказчиками, а гораздо мягче — «неработающими». Они жили в отдельном бараке посреди неогороженного поселка заключенных, который тогда и не назывался так страшно, как в будущем, в очень скором будущем — «зоной». Троцкисты на законном основании получали шестьсот граммов хлеба в

день и приварок, какой положено, и не работали вполне официально. Любой арестант мог присоединиться к ним, перейти в неработающий барак. Осенью тридцать седьмого года в этом бараке жило семьдесят пять человек. Все они внезапно исчезли, и ветер ворочал незакрытой дверью, а внутри была нежилая черная пустота.

Вдруг оказалось, что казенного пайка, «пайки» — не хватает, что очень хочется есть, — а купить ничего нельзя и попросить у товарища — нельзя. Селедку, кусок селетки еще можно попросить у товарища, но хлеб? Внезапно стало так, что никто никого ничем не угощал, все стали есть, что-то жевать украдкой, наскоро, в темноте, нащупывая в собственном кармане хлебные крошки. Поиски этих крошек стали почти автоматическим занятием человека в любую свободную его минуту. Но свободных минут становилось все меньше и меньше. В сапожной мастерской всегда стояла огромная бочка с рыбьим жиром. Бочка была ростом с полчеловека, и все желающие совали в нее грязные тряпки и мазали свои ботинки. Не сразу я догадался, что рыбий жир — это жир, масло, питание, что сапожную смазку можно есть — озарение было подобно архимедовой эврике. Я бросился, то есть поплелся, в мастерскую. Увы — бочки в мастерской уже не было, другие люди давно шли той дорогой, на которую я только что хотел вступить.

На прииск привезли собак, немецких овчарок. Собаки?

Как это началось? За ноябрь забойщикам не заплатили денег. Я помню, как в первые дни работы на прииске, в августе и сентябре, около нас, работяг, останавливался гордый смотритель — название это уцелело, стало быть, с некрасовских времен — и говорил: плохо, очень плохо. Так будете работать — и домой посылать будет нечего. Прошел месяц и выяснилось, что у каждого был какой-то заработок. Одни послали деньги домой почтовым переводом, успокаивая свои семьи. Другие покупали на эти деньги в лагерном магазине, в дарьке, папиросы, молочные консервы, белый хлеб...

Все это внезапно, вдруг кончилось. Порывом ветра пронесся слух, «параша», что больше денег платить не будут. Эта «параша», как и все лагерные «парашаи», полностью подтвердилась. Расчет будет только питанием. Наблюдать за выполнением плана, кроме лагерных работников, им же имя легион, и кроме производственного начальства, умноженного в достаточное количество раз, будет вооруженная лагерная охрана, бойцы.

Как это началось? Несколько дней дула пурга, автомобильные дороги забило снегом, горный перевал был «закрыт». В первый же день, как прекратился снегопад, — во время метели мы сидели дома — после работы нас повели не «домой». Окруженные конвоем, мы шли не спеша, нестройным арестантским шагом, шли не один час по каким-то неведомым тропкам, двигаясь к перевалу, все вверх, вверх — усталость, крутизна подъема, разреженность воздуха, голод, злоба — все останавливало нас. Крики конвоиров подбодряли нас, как плети. Уже наступила полная темнота, беззвездная ночь, когда мы увидели огни многочисленных костров, на дорогах близ перевала. Чем глубже становилась ночь, тем ярче горели костры, горели пламенем надежды, надежды на отдых и еду. Нет, эти костры были зажжены не для нас. Это были костры конвоиров. Множество костров в сорокаградусном, пятидесятиградусном морозе. На три десятка верст змеились костры. И где-то внизу, в снеговых ямах, стояли люди с лопатами и расчищали дорогу. Снеговые борта узкой траншеи поднимались на пять метров. Снег кидали снизу вверх по террасам, перекидывая дважды, трижды. Когда все люди были расставлены и оцеплены конвоем — змейкой костровых огней — рабочие были предоставлены сами себе.

Две тысячи людей могли не работать, могли работать плохо или работать отчаянно — никому до этого не было дела. Перевал должен быть очищен, и пока он не будет очищен, никто отсюда не уйдет. Мы стояли в этой снеговой яме много часов, махая лопатами, чтобы

не замерзнуть. В эту ночь я понял одну странную вещь, сделал наблюдение, много раз потом подтвержденное. Труден, мучительно труден и тяжел десятый, одиннадцатый час такой «добавочной» работы, — а после перестаешь замечать время, и Великое Безразличие овладевает тобой. Часы идут как минуты, еще скорее минут.

Мы вернулись домой после двадцатитрехчасовой работы — есть вовсе не хотелось, и соединенный суточный «приварок» все ели необычно лениво. С трудом удалось заснуть.

Три смертных вихря скрестились и клокотали в снежных забоях золотых приисков Колымы в зиму тридцать седьмого — тридцать восьмого года. Первым вихрем было «Берзинское дело». Начальник Дальстроя, открыватель лагерной Колымы Эдуард Берзин был расстрелян как японский шпион в конце тридцать седьмого года. Вызван в Москву и расстрелян. С ним вместе погибли его ближайшие помощники: Филиппов, Майсурадзе, Егоров, Васьков, Цвирко — вся гвардия «вишерцев», приехавшая вместе с Берзиным для колонизации Колымского края в 1932 году. Иван Гаврилович Филиппов был начальником УСВИТЛ, заместителем Берзина по лагерю. Старый чекист, член коллегии ОГПУ, Филиппов был когда-то и в «разгрузочной тройке», приезжавшей на Соловецкие острова. Есть документальный кинофильм двадцатых годов «Соловки». Вот в этой картине и снят Иван Гаврилович в своей тогдашней роли. Филиппов умер в Магаданской тюрьме: сердце не выдержало в «Доме Васькова».

«Дом Васькова» — так называлась и называется по сей день Магаданская тюрьма, построенная в начале тридцатых годов, — потом из деревянной ее сделали каменной, сохранив выразительное название: начальник по фамилии Васьков. Сам Васьков умер не в этой тюрьме: его расстреляли в Москве. На Вишере Васьков — человек одинокий — проводил выходные дни всегда одинаково: садился на скамейку в саду или

в лесочке, заменявшем сад, и стрелял целый день по листьям из малокалиберной винтовки.

Алексей Егоров — «рыжий Лешка», как его звали на Вишере, был на Колыме начальником производственного управления, объединяющего несколько золотых приисков, кажется, Южного управления. Цвирко был начальником Северного управления, куда входил и прииск «Партизан». В 1929 году Цвирко был начальником погранзаставы и приехал в отпуск в Москву. Здесь, после ресторанного кутежа, Цвирко открыл стрельбу по колеснице Аполлона над входом в Большой театр — и очнулся в тюремной камере. С его одежды были спороты петлицы, пуговицы. Среди арестантского этапа Цвирко весной 1929 года прибыл на Вишеру и отбывал там положенный трехлетний срок. С приездом на Вишеру Берзина в конце 1929 года карьера Цвирко быстро пошла вверх. Цвирко, еще заключенным, стал начальником командировки «Парма». Берзин не чаял в нем души и взял его с собой на Колыму. Расстрелян Цвирко, говорят, в Магадане. Майсурадзе — начальник УРО, отбывший когда-то срок «за разжигание национальной розни», освободившийся еще на Вишере, тоже был одним из любимцев Берзина. Арестован он был в Москве во время отпуска и тогда же расстрелян.

Все эти мертвецы — люди из ближайшего берзинского окружения. По берзинскому делу были арестованы, расстреляны или награждены сроками многие тысячи людей, вольнонаемных и заключенных: начальники приисков и начальники лагерных отделений, лагпунктов, воспитатели и секретари парткомов, десятники и прорабы, старосты и бригадиры... Сколько расстреляно людей по берзинскому делу на Колыме? Сколько тысячелетий выдано «срока» лагерного и тюремного? Кто знает...

В удушливом дыму провокаций колымское издание сенсационных московских процессов — «берзинское дело» выглядело вполне респектабельно.

Вторым вихрем, потрясшим колымскую землю, были

нескончаемые лагерные расстрелы, так называемая «гаранинщина». Расправа с «врагами народа», расправа с «троцкистами».

Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В пятидесятиградусный мороз заключенные музыканты — из «бытовиков» — играли туш перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные бензинные факелы не разрывали тьму, привлекая сотни глаз к заиндевелым листочкам тонкой бумаги, на которых были отпечатаны такие страшные слова. И в то же время — будто и не о нас шла речь. Все было как бы чужое, слишком страшное, чтобы быть реальностью. Но туш существовал, гремел. Музыканты обмораживали губы, прижатые к горловинам флейт, серебряных геликонов, корнет-а-пистонов. Папиросная бумага покрывалась инеем, и какой-нибудь начальник, читающий приказ, стряхивал снежинки с листа рукавицей, чтобы разобрать и выкрикнуть очередную фамилию расстрелянного. Каждый список кончался одинаково: «Приговор приведен в исполнение. Начальник УСВИТЛ полковник Гаранин».

Я видел Гаранина раз пятьдесят. Лет сорока пяти, широкоплечий, брюхатый, лысоватый, с темными бойкими глазами, он носился по северным приискам день и ночь на своей черной машине ЗИС-110. Говорили, что он лично расстреливал людей. Никого он не расстреливал «лично»: он только подписывал приказы. Гаранин был председателем «расстрельной тройки». Приказы читались день и ночь: «Приговор приведен в исполнение. Начальник УСВИТЛ полковник Гаранин». По сталинской традиции тех лет Гаранин должен был скоро умереть. Действительно, он был схвачен, арестован и расстрелян в Магадане. И осужден как японский шпион.

Ни один из многочисленных приговоров гаранинских времен не был никогда и никем отменен. Гаранин —

один из многочисленных сталинских палачей, убитый другим палачом в нужное время.

«Прикрывающая» легенда была выпущена в свет, чтобы объяснить его арест и смерть. Настоящий Гаранин, якобы, был убит японским шпионом на пути к месту служения, а разоблачила его сестра Гаранина, приехавшая к брату в гости.

Легенда — одна из сотен тысяч сказок, которыми сталинское время забивало уши и мозг обывателей.

За что расстреливал полковник Гаранин? За что убивал?

«За контрреволюционную агитацию» — так назывался один из разделов гаранинских приказов... Что такое «контрреволюционная агитация» на воле в 1937 году — рассказывать не надо. Похвалил русский заграничный роман — десять лет «аса». Сказал, что очереди за жидким мылом чересчур велики, — пять лет «аса».

И по русскому обычаю, по свойству русского характера каждый, получивший пять лет, — радуется, что не десятка. Десять получит и радуется, что не двадцать пять, а двадцать пять получит — пляшет от радости, что не расстреляли.

В лагере этой лестницы — пять, десять, пятнадцать — нет.

Сказать вслух, что работа тяжела — достаточно для расстрела. За любое, самое невинное, замечание в адрес Сталина — расстрел. Промолчать, когда кричат ура Сталину, — тоже достаточно для расстрела. Молчание — это агитация — это известно давно. Списки будущих, завтрашних мертвецов составлялись на каждом прииске следователями по доносам, сообщениям своих стукачей, осведомителей и многочисленных добровольцев, оркестрантов известного лагерного оркестра — октета: семь дуют, один стучит — пословицы блатного мира афористичны. А самого «дела» не существовало вовсе. И следствия не велось: к смерти при-

водили протоколы «тройки», этого мрачного учреждения сталинских лет.

И хотя перфокарты еще не были тогда известны, лагерные статистики пытались облегчить себе труд, выпуская в свет формуляры с особыми метками. Формуляр с синей полосой по диагонали — это «личные дела» троцкистов. Зеленые (или лиловые?) полосы были у «рецидивистов» — разумеется, рецидивистов политических. Учет есть учет. Собственной кровью каждого его формуляр не закрасишь.

Еще за что расстреливали? «За оскорбление лагерного конвоя». Это что такое? Тут речь шла о словесном оскорблении, о недостаточно почтительном ответе, любом «разговоре» — в ответ на побои, удары, толчки. Всякий излишне развязный жест заключенного в разговоре с конвоиром трактовался как «нападение на конвой».

«За отказ от работы». Очень много людей погибло, так и не поняв смертельной опасности своего поступка. Бессильные старики, голодные, измученные люди не в силах были сделать шаг в сторону от ворот при утреннем разводе на работу. Отказ оформляли актами. «Обут, одет по сезону». Такие акты печатались на стеклографе, на богатых приисках даже в типографии заказывались бланки, куда достаточно было вставить только фамилию и год рождения, статью, срок . . . Три отказа — и расстрел. По закону. Много людей не могло понять главного лагерного закона — ведь для него и лагеря выдуманы, — что нельзя в лагере отказываться от работы, что отказ трактуется как самое чудовищное преступление, хуже всякого саботажа. Надо хоть из последних сил, но доползти до места работы. Десятник распишется за «единицу», за «трудовую единицу», и производство даст «акцепт». И ты спасен. На сегодняшний день от расстрела. А на работе можешь вовсе не работать, да ты и не можешь работать. Выдержи муку этого дня до конца. На производстве ты сделаешь очень немного, но ты не отказчик. Расстрелять тебя

не могут. «Прав», говорят, у начальства в этом случае нет. Есть ли такое «право», я не знаю, но много лет я боролся с собой, чтобы не отказаться от работы, стоя в воротах зоны на лагерном разводе.

· «За кражу металла». Всех, у кого находили «металл», расстреливали. Позднее — щадили жизнь, давали только срок дополнительный: пять, десять лет. Множество самородков прошло через мои руки: прииск «Партизан» был очень «самородным», но никакого другого чувства, кроме глубочайшего отвращения, золото во мне не вызывало. Самородки ведь надо уметь видеть, учиться отличать от камня. Опытные рабочие обучали этому важному умению новичков, — чтоб не бросали в тачку золото, чтоб не кричал смотритель от бутары: «Эй, раззявы! Опять самородки на промывку загнали». За самородки платили заключенным премию — по рублю с грамма, начиная с пятидесяти одного грамма. Весов в забое нет. Решить, сорок или шестьдесят граммов весит найденный тобою самородок, может только смотритель. Дальше бригадира мы ни к кому не обращались. «Забракованных» самородков я находил много, а к оплате был представлен два раза. Один самородок весил шестьдесят граммов, а другой восемьдесят. Никаких денег я на руки не получил. Получил только «стахановскую» карточку на декаду, да по щепотке махорки от десятника и от бригадира. И на том спасибо.

Последняя, самая многочисленная «рубрика», по которой расстреляно множество людей, — «за невыполнение нормы». За это лагерное преступление расстреливали целыми бригадами. Была подведена и теоретическая база. По всей стране в это время государственный план «доводили до станка», на фабриках и заводах. На арестантской Колыме план доводили до забоя, до тачки, до кайла. Государственный план — закон! Невыполнение государственного плана — контрреволюционное преступление. Не выполнивших норму — на луну!

Третий смертный вихрь, уносивший больше арестант-

ских жизней, чем первые два, вместе взятые, была по-вальная смертность — от голода, от побоев, от болезней. В этом третьем вихре огромную роль сыграли блатари, уголовники, «друзья народа».

За весь 1937 год на прииске «Партизан», со списочным составом в две-три тысячи человек, умерло два человека, один — вольнонаемный, другой — заключенный. Они были похоронены рядом под сопкой. На обеих могилах было нечто вродеobelisks: у вольного повыше, у заключенного пониже. В 1938 году на рытье могил стояла целая бригада. Камень и вечная мерзлота не хотят принимать мертвецов. Надо бурить, взрывать, выбрасывать породу. Рытье могил и битые разведочных шурфов очень похожи по приемам работы, по инструменту, материалу и «исполнителям». Целая бригада стояла только на рытье могил, только общих, только «братских» с безымянными мертвецами. Впрочем, не совсем безымянными. По инструкции, перед «захоронением» нарядчик, как представитель лагерной власти, привязывал фанерную бирку с номером «личного дела» к левой лодыжке голого мертвеца. Закапывали всех голыми — еще бы! Выломанные, опять-таки по инструкции, золотые зубы, вписывались в специальный акт захоронения. Яму с трупами заваливали камнями, но земля не принимала мертвецов: им суждена была нетленность в вечной мерзлоте крайнего севера.

Врачи боялись написать в диагнозах истинную причину смерти. Появились «полиавитаминозы», «пеллагра», «дизентерия», «Р.Ф.И.» — почти «Загадка Н.Ф.И.», как у Андронникова. Здесь Р.Ф.И. — «резкое физическое истощение», шаг к правде. Но такие диагнозы ставили только смелые врачи, не заключенные. Формулу «алиментарная дистрофия» колымские врачи произнесли много позже, уже после Ленинградской блокады, во время войны, когда сочли возможным, хоть и по-латыни, но назвать истинную причину смерти.

Горение истаявшей свечи,
Все признаки и перечни сухие
Того, что по-ученому врачи
Зовут алиментарной дистрофией.
И что не латинист и не филолог
Определяет русским словом «голод».

Эти строки Веры Инбер я повторял неоднократно. Вокруг меня давно не было тех людей, которые любили стихи. Но эти строки звучали для каждого колымчанина.

Работяг били все: дневальный, парикмахер, бригадир, воспитатель, надзиратель, конвоир, староста, завхоз, нарядчик — любой. Безнаказанность побоев, как и безнаказанность убийств, — развращает, растлеивает души людей — всех, кто это делал, видел, знал...

Конвой отвечал тогда, по мудрой мысли какого-то высшего начальства, за выполнение плана. Поэтому конвоиры поступали еще хуже: возлагали эту важную обязанность на блатарей, которых всегда вливали в бригады пятьдесят восьмой статьи. Блатари не работали. Они обеспечивали выполнение плана, ходили с палкой по забою — эта палка называлась «термометром», и избивали безответных «фраеров». Забивали и до смерти. Бригадиры из пятьдесят восьмой статьи, войдя во вкус власти, стали бить своих же товарищей, всеми способами стараясь доказать начальству, что они, бригадиры, — с начальством, а не с арестантами. Бригадиры старались забыть, что они — политические. Да они и не были никогда политическими, как, впрочем, и вся пятьдесят восьмая тогдашняя статья.

Безнаказанная расправа над миллионами людей потому и удалась, что это были невинные люди.

Это были мученики, а не герои.

ПОЧЕРК

Поздно ночью Криста вызвали «за конбазу». Так звали в лагере домик, прижавшийся к сопке у края поселка. Там жил следователь «по особо важным делам», как острили в лагере, ибо в лагере не было «дел» не особо важных — каждый проступок и видимость проступка мог быть наказан смертью. Или смерть или полное оправдание. Впрочем, кто мог рассказать о своем полном оправдании? Готовый ко всему, безразличный ко всему, Крист шел по узкой тропе, ведущей «за конбазу», хорошо протоптанной тропе. Вот в домике-кухне зажегся свет — это хлебрез, наверное, сейчас начнет нарезать «пайки» к завтраку. К завтрашнему завтраку. Будут ли завтрашний день и завтрашний завтрак у Криста? Он этого не знал и радовался своему незнанию. Под ноги Кристу попало что-то, не похожее на снег или льдинку. Крист нагнулся, поднял мерзлую корочку и сразу понял, что это — шелуха репы, обледеневшая корка репы. Лед уже растаял в руках, и Крист затолкал корочку в рот. Спешить явно не стоило. Крист обошел всю тропу, начиная от края барачков, понимая, что он, Крист, проходит первым по этой длинной снежной дороге, что еще никто до него не проходил здесь по краю поселка к следователю сегодня. По всей дороге к снегу примерзли, как завернутые в целлофан, кусочки репы. Крист отыскал их целых десять кусочков — одни больше, другие меньше. Давно уж Крист не видел людей, которые бросали бы в снег корки от репы. Это был не заключенный, вольнонаемный, конечно. Может быть, сам следователь. Крист разжевал и съел все эти корки — во рту его запахло чем-то давно забытым — родной землей, живыми овощами, и с радостным настроением Крист постучал в дверь домика следователя.

Следователь был невысок, худощав, небрит. Здесь был только его служебный кабинет и железная койка, покрытая солдатским одеялом, и скомканная грязная

подушка... Стол — самодельный письменный стол с перекошенными выдвижными ящиками, туго набитыми бумагами, какими-то папками. На подоконнике ящик с карточками. Этажерка тоже завалена туго набитыми папками. Пепельница из половины консервной банки. Часы-ходики на окне. Часы показывали половину одиннадцатого. Следователь растапливал бумагой железную печку.

Следователь был белокож, бледен, как все следователи. Ни дневального, ни револьвера.

— Садитесь, Крист, — сказал следователь, называя заключенного на «вы», и подвинул ему старую табуретку. Сам он сидел на стуле — самодельном стуле с высокой спинкой.

— Я просмотрел ваше дело, — сказал следователь, — и у меня есть к вам одно предложение. Не знаю, подойдет ли это вам.

Крист замер в ожидании. Следователь помолчал.

— Я должен знать о вас еще кое-что.

Крист поднял голову и никак не мог сдержать отрыжки. Приятной отрыжки — неудержимого вкуса свежей репы.

— Напишите заявление.

— Заявление?

— Да, заявление. Вот листок бумаги, вот перо.

— Заявление? О чем? Кому?

— Да кому угодно! Ну, не заявление, так стихотворение Блока. Ну, все равно! Поняли?

Или «Птичку» пушкинскую:

Вчера я растворил темницу

Воздушной пленницы моей.

Я роцам возвратил певичу,

Я возвратил свободу ей,

— продекламировал следователь.

— Это не пушкинская «Птичка», — напрягая все силы своего иссушенного мозга, прошептал Крист.

— А чья же?

— Туманского.

— Туманского? Первый раз слышу.

— А-а — вам нужна экспертиза какая-нибудь? Не я ли кого-нибудь убил. Или написал письмо на волю. Или изготовил магазинный чек для блатных?

— Совсем нет. Экспертизы такого рода нас не затрудняют. Следователь улыбнулся, обнажив вспухшие десны, мелкие зубы, кровоточащие десны. Как бы ни была ничтожна эта сверкнувшая улыбка, она прибавила немножко свету в комнате. И в душе Криста тоже. Крист невольно поглядел следователю в рот.

— Да, — сказал следователь, поймав этот взгляд. — Цинга, цинга. Цинга здесь и вольных не оставляет. Свежих овощей нет.

Крист подумал о репе. Витамины — их больше в корке репы, чем в мякоти, — достались Криту, а не следователю. Крист хотел поддержать этот разговор, рассказать о том, как он обсасывал, обглаживал корки репы, брошенные следователем, но не решился, боясь, что начальство осудит за чрезмерную развязность.

— Так поняли или нет? Мне нужно посмотреть ваш почерк.

Крист все еще ничего не понимал.

— Пишите, — диктовал следователь.

«Начальнику прииска. Заключенного Криста, год рождения, статья, срок. Заявление. Прошу перевести меня на более легкую работу...»

— Достаточно.

Следователь взял недописанное заявление Криста, разорвал его и бросил в огонь... Свет печки на мгновение стал ярче.

— Садитесь к столу. С краюшка.

У Криста был каллиграфический, писарской почерк, который ему самому очень нравился, а все его товарищи смеялись, что почерк не похож на профессорский, докторский. Это не почерк ученого, писателя, поэта. Это почерк кладовщика. Смеялись, что Крист мог бы сделать карьеру царского писаря, о котором рассказывал Куприн.

Но Криста эти насмешки не смущали, и он продолжал сдавать на машинку четко переписанные рукописи. Машинистки одобряли, но втайне посмеивались.

Пальцы, привыкшие к кайлу, к черенку лопаты, никак не могли ухватить ручку, но в конце концов это удалось.

— У меня беспорядок, хаос, — говорил следователь.

— Я сам понимаю. Но вы ведь поможете наладить.

— Конечно, конечно, — сказал Крист. Печка уже разгорелась, и в комнате было тепло.

— Закурить бы...

— Я некурящий, — сказал следователь грубо. — И хлеба у меня тоже нет. На работу завтра вы не пойдете. Я скажу нарядчику.

Так несколько месяцев раз в неделю Крист приходил в нетопленное, неуютное жилище лагерного следователя, переписывал бумаги, подшивал.

Бесснежная зима тридцать седьмого-восьмого года уже вошла в бараки всеми своими смертными ветрами. Каждую ночь по бараку бегали нарядчики, отыскивая и будя людей по каким-то спискам «в этап». Из этапов и раньше-то не возвращались, а тут перестали и думать о всех этих ночных делах — этап, так этап — работа была слишком тяжела, чтобы думать о чем-либо.

Увеличились часы работы, появился конвой, но неделя проходила, и Крист, еле живой, добирался до знакомого кабинета следователя и подшивал, подшивал бумаги. Крист перестал умываться, перестал бриться, но следователь словно не замечал впалых щек и воспаленного взгляда голодного Криста. А Крист все писал, все подшивал. Количество бумаг и папок все росло и росло, их никак нельзя было привести в порядок. Крист переписывал какие-то бесконечные списки, где были только фамилии, а верх списка был отогнут, и Крист никогда не пытался проникнуть в тайну этого кабинета, хотя было достаточно отогнуть листок, лежащий перед ним. Иногда следователь брал в руки пачку «дел», которые возникали неизвестно откуда, без Кри-

ста, и торопясь диктовал списки, а Крист писал.

В двенадцать — диктовка кончалась, и Крист шел в свой барак и спал, спал — завтрашний развод на работу его не касался. Проходили неделя за неделей, а Крист все худел, все писал.

И вот однажды, взяв в руки очередную папку, чтобы прочитать очередную фамилию, следователь запнулся. И поглядел на Криста и спросил.

— Как ваше имя, отчество?

— Роберт Иванович, — ответил Крист, улыбаясь. Не будет ли следователь звать его «Роберт Иванович» вместо «Крист» или «вы» — это бы не удивило Криста. Следователь был молод, годился в сыновья Кристу. Все еще держа в руках папку и не произнося фамилии, следователь побледнел. Он бледнел, пока не стал белее снега. Быстрыми пальцами следователь перебрал тонкие бумажки, подшитые в папку, — их было не больше и не меньше, чем и в любой другой папке из груды папок, лежащих на полу. Потом следователь решительно распахнул дверку печки, и в комнате сразу стало светло, как будто озарилась душа до дна и в ней нашлось на самом дне что-то очень важное, человеческое. Следователь разорвал папку на куски и затолкал их в печку. Стало еще светлее. Крист ничего не понимал. И следователь сказал, не глядя на Криста: «Шаблон. Не понимают, что делают, не интересуются». И твердыми глазами посмотрел на Криста.

— Продолжаем писать. Вы готовы?

— Готов, — сказал Крист, и только много лет спустя понял, что это была его, Криста, папка.

Уже многие товарищи Криста были расстреляны. Был расстрелян и следователь. А Крист был все еще жив и иногда, не реже раза в несколько лет, вспоминал горящую папку, решительные пальцы следователя, рвущие кристовское «дело» — подарок обреченному от обрекающего.

Почерк Криста был спасительный, каллиграфический.

УТКА

Горный ручей был уже схвачен льдом, а на перекатах ручья льда вовсе не было. Ручей вымерзал с перекатов, и через месяц от летней, грозной, гремящей воды не оставалось ничего, даже лед был вытоптан, измельчен, раздавлен копытами, шинами, валенками. Но ручей был еще жив, вода в нем еще дышала — белый пар поднимался над полыньями, над проталинами.

Обессилевшая утка-нырок шлёпнулась в воду. Стая давно пролетела на юг, утка осталась. Было еще светло, снежно-особенно светло из-за снега, покрывшего весь голый лес, все до горизонта. Утка хотела отдохнуть, немного отдохнуть, потом подняться и лететь — туда, вслед стае.

У нее не было сил лететь. Стопудовая тяжесть крыльев гнула ее к земле, но на воде она нашла опору, спасенье — вода на полыньях показалась ей живой рекой.

Но не успела утка оглядеться, как тонкий ее слух уловил звук опасности. Да не звук — грохот. Сверху, со снежной горы, обрываясь на мерзлых, еще застывающих к вечеру кочках, бегом спускался человек. Он увидел утку давно и следил за ней с тайной надеждой, и вот надежда сбылась — утка опустилась на лед.

Человек подкрадывался к ней, но оступился, утка заметила его, и тогда человек побежал, не таясь, а утка не могла лететь — устала. Ей нужно было только подняться вверх, и ничто бы ей не угрожало. Но чтоб подняться в небо, нужны силы в крыльях, а утка устала. Она сумела только нырнуть, исчезла в воде, и человек, вооруженный тяжелым каким-то суком, остановился у полыньи, куда нырнула утка, и ждал ее возвращения: ведь надо же будет утке дышать.

В двадцати метрах тоже была такая же полынья, и человек, ругаясь, увидел, что утка проплыла подо льдом

и вылезла в другую полынью. Но летать она и там не могла, и секунды тратила только на отдых.

Человек попробовал обломать, раздавить лед, но обувь его из тряпок для этого не годилась. Он бил палкой по синему льду — лед чуть крошился, но не ломался. Человек обессилел и, тяжело дыша, сел на лед.

Утка плавала в полынье. Человек встал, побежал, ругаясь и бросая камнями в утку. Утка опять нырнула и появилась в первой полынье.

Так они бегали — человек и утка, пока не стемнело.

Было пора возвращаться в барак с неудачной, случайной охоты. Человек пожалел, что потратил силы на это преследование. Голод не давал подумать как следует, как составить надежный план обмануть утку, нетерпение голода подсказывало неверный путь. Утка осталась на льду, в полынье. Человек должен был возвращаться в барак. Он ловил утку не затем, чтобы сварить мясо и съесть. Сварить в жестяном котелке или еще лучше — закопать в золу костра. Обмазать утку глиной и зарыть ее в горящую лиловую золу или просто бросить в костер. Костер прогорит и глиняная оболочка утки лопнет. Внутри будет горячий скользкий жир. Жир потечет на руки, будет стынуть на губах. Нет, не для этого ловил человек утку. Смутно, туманно в его мозгу вставали, строились другие, зыбкие планы. Отнести эту утку в подарок десятнику, и тогда десятник вычеркнет его из зловещего списка, который составлялся ночью. Об этом списке знал весь барак, и человек старался не думать о невозможном, «как бы избавиться от этапа», как бы остаться здесь. Здешний голод можно было еще терпеть, а человек никогда не искал лучшего от хорошего.

Но утка осталась в полынье. Человеку очень трудно было самому принимать решение, совершить поступок, действие, какому не научила его повседневная жизнь. Его не учили погоне за уткой. Оттого и движения его были беспомощны, неумелы. Его не учили думать о возможности такой охоты — мозг не умел правильно

решать неожиданные вопросы, которые задавала жизнь. Его учили жить, когда собственного решения не надо, когда чужая воля, чья-то воля управляет. Необычайно трудно вмешаться в собственную судьбу. Может быть, к лучшему — утка умирает в полынье, человек в бараке.

Замерзшие, поцарапанные о лед пальцы с трудом согревались за пазухой — человек обе ладони засунул за пазуху, вздрагивая от ноющей боли отмороженных навек пальцев. В голодном теле было мало тепла, и человек вернулся в барак, протискался к печке, но все же не мог согреться. Тело неостановимо дрожало крупной дрожью.

В дверь барака заглянул десятник. Он тоже видел утку и видел охоту мертвеца за умирающей уткой. Десятнику тоже не хотелось уезжать из этого поселка — кто знает, что его ждет на новом месте. Десятник считывал щедрым подарком — живая утка да «вольные» брюки — умиловить прораба, который еще спал. Прораб мог вычеркнуть десятника из списка — не того работягу, который поймал утку, а его, десятника.

Прораб привычными пальцами разминал папиросу «Ракета». В окно он тоже видел начало охоты. Если утку поймают — плотник сделает клетку, и прораб отвезет утку большому начальнику, вернее его жене, Агнии Петровне.

Но утка осталась умирать в полынье. И все пошло так, как будто утка и не залетала в эти края.



БИЗНЕСМЕН

Ручкиных в больнице много. Ручкин — это кличка-примета: повреждена, значит, рука, а не выбиты зубы. Какой Ручкин? Грек? Длинный из седьмой палаты? Этот — Коля Ручкин, бизнесмен.

Правая кисть Колиной руки отстрелена взрывом. Коля — самострел-членовредитель. В медицинских отчетах самострелов числят по графе саморубов. В больницу их класть запрещено, если нет высокой, «септической» температуры. У Коли Ручкина была такая температура. Два месяца Коля боролся с заживлением раны, но молодые годы взяли свое — Коле уже недолго быть в больнице. Пора возвращаться на прииск. Но Коля не боится — что ему, однорукому, золотые забои? То время прошло, когда одноруких заставляли «топтать дорогу» для людей и тракторов на лесозаготовках, полный рабочий день в глубоком, рыхлом, хрустальном снегу. Начальство боролось с самострелами, как умело. Тогда арестанты стали рвать ноги, вставляя капсуль прямо в валенок и поджигая бикфордов шнур у собственного колена. Еще удобней, «топтать дорогу» одноруких не стали посылать. Заставят мыть золото лотком — одной рукой? Ну, летом можно будет сходить на денек. Если дождя не будет. И Коля улыбается во весь свой белозубый рот — его зубов цинга не успела прихватить. Вертеть сигарку одной левой рукой Коля Ручкин уже научился. Почти сытый, отдохнувший в больнице, Коля улыбается, улыбается. Он бизнесмен — Коля Ручкин. Он вечно что-то меняет, носит запрещенную селедку к поносникам, а от них приносит хлеб. Поносникам ведь тоже надо задержаться, притормозиться в больнице. Коля меняет суп на кашу, а кашу на два супа, умеет «переполовинить» доверенную ему для обмена на табак пайку хлеба. Это ему дали лежачие больные — опухшие

цинготники, получившие тяжелые переломы — из палат травматических болезней — или, как выговаривал фельдшер Павел Павлович, — «драматических болезней», не подозревая горькой иронии своей обмолвки. Счастье Коли Ручкина началось с того дня, когда ему «отстрелило» руку. Почти сыт, почти в тепле. А матюги начальства, угрозы врачей — все это Коля считает пустяками. Да это и есть пустяки.

Несколько раз за эти два блаженных месяца, что Коля Ручкин в больнице, — случались странные и страшные вещи. Рука, оторванная взрывом, несуществующая кисть болела так, как раньше. Коля чувствовал ее всю: пальцы кисти согнуты, сложены в то самое положение, в котором кисть застыла на прииске по черенку лопаты или рукоятке кайла, не больше и не меньше. Ложку такой рукой трудно было держать, но ложка и не была нужна на прииске — все съедобное можно было выпить «через борт» миски: суп и кашу и кисель и чай. В этих согнувшихся навеки пальцах пайку хлеба можно было удержать. Но Ручкин отрубил, отстрелил их к чертовой матери. Так почему же он чувствует эти согнутые по-приисковому, отстреленные пальцы? Ведь левая его кисть начала месяц назад разгибаться, отгибаться, как ржавый шарнир, получивший снова чуточку смазки, и Ручкин плакал от радости. Он и сейчас, наваливаясь животом на свою левую ладонь, разгибает ее, свободно разгибает. А правая, оторванная — не разгибается. Все это случилось чаще ночью. Ручкин холодел от страха, просыпался, плакал и не решался спросить об этом даже соседей, — а вдруг это что-нибудь значит? Может быть, он сходит с ума.

Боль в отрезанной кисти возникала все реже и реже, мир становился нормальным. Ручкин радовался своему счастью. И улыбался, улыбался, вспоминая, как ловко у него все это получилось.

Вышел из «кабинки» фельдшер Павел Павлович,

держа в руке незакуренную махорочную сигарку, и сел рядом с Ручкиным.

— Огоньку, Павел Павлович? — сгибается перед фельдшером Ручкин. — Один момент!

Ручкин бросается к печке, открывает дверку, левой рукой скидывает на пол несколько мелких горящих углей. Ловко подбросив тлеющий уголек, Ручкин ловит его в свою ладонь и, перекатывая уголек по ладони, подносит «огня» фельдшеру. Ручкин поднимает уже почерневший, но еще сохраняющий пламя уголек, отчаянно раздувает его, чтоб огонь не погас, подносит прямо к лицу чуть наклонившегося вперед фельдшера. Фельдшер с силой всасывает воздух, держа во рту сигарку, и наконец прикуривает. Ключья синего дыма всплывают над головой фельдшера. Ноздри Ручкина раздуваются. В палатах просыпаются от этого запаха больные и безнадежно втягивают дым — не дым, а тень, бегающую от дыма...

Всем ясно, что покурить будет оставлено Ручкину. А Ручкин соображает: он сам затянется раза два, а потом отнесет в хирургическое, фраеру с перебитой спиной. Там Ручкина ждет обеденная паечка — не шутка. А если Павел Павлович оставит побольше, то из «бычка» возникнет новая папироса, которая будет стоить побольше паечки.

— Скоро уж тебе ехать, Ручкин, — не спеша говорит Павел Павлович. — Покантовался ты тут порядочно, припухал на совесть, дело прошлое... Расскажи, как это ты дерзнул? Может, будет что детям рассказать. Если свижусь с ними.

— Да я и не скрываю, Павел Павлович, — говорит Ручкин, а сам соображает. Папиросу, видно, Павел Павлович слабо завернул. Ишь, как вдохнет, втянет дым, так огонь движется и бумага обгорает. Не тлеет сигарка фельдшерская, а горит, как бикфордов шнур. Как бикфордов шнур. Значит надо рассказывать покороче.

— Ну?

— Утром я встаю, пайку получаю — в курок ее, за пазуху. У нас на целый день пайки давали. Иду к Мишке взрывнику. — Ну, как, говорю?

— Есть.

Отдаю ему всю пайку восьмисотку и получаю за нее капсуль и кусок шнура. Иду к землякам, в свой барак. Они мне не земляки, а просто так говорится. Федя и какой-то Петро.

— Готово? — спрашиваю.

— Готово, — говорят. — Давайте сюда. Отдают они мне свои пайки. Я две пайки в курок, за пазуху и топчем мы на работу. На производстве, пока наша бригада инструмент получала, берем головешку из печки, отходим за отвал. Встали теснее, все трое за капсуль держимся — каждый своей правой рукой. Подождли шнур, чик — и полетели пальцы в сторону. Бригадир кричит: что же вы делаете? Старший конвоя — марш в лагерь, в санчасть! Перевязали нас в санчасти. А потом земляков угнали куда-то, а у меня температура и я в больницу попал.

Папиросу Павел Павлович почти докурил, но Ручкин увлекся рассказом и чуть не забыл о папиресе.

— А паечки, паечки-то две, что у тебя остались, — съел?

— А как же! Сразу после перевязки и съел. Земляки мои подходили — отломи кусочек. Пошли вы, говорю, к чертовой матери. Это моя коммерция.

—————oOo—————

КАЛИГУЛА

Записка была получена в РУР'е еще до гудка в сумерки. Комендант зажег бензинку, прочел бумагу и торопливо пошел отдать распоряжение. Коменданту ничего не казалось странным.

— Он не того? — спросил дежурный надзиратель, показывая себе на лоб.

Комендант холодно посмотрел на солдата, и дежурному стало страшно за свое лёгкомыслие. Он отвел глаза на дорогу.

— Ведут, — сказал он, — сам Ардатыев идет.

Сквозь туман были видны два конвоира с винтовками. За ними возчик вел в поводу серую, исхудалую лошадь. Сзади лошади без дороги, прямо по снегу шагал грузный, большой человек. Белый овчинный полушубок был распахнут, шапка-барнаулка сбита на затылок. В руке он держал палку и нещадно бил по костлявым, грязным, впавшим бокам лошади. Лошадь дергалась от каждого удара и продолжала плестись, не в силах ускорить шаг.

У проходной будки конвоиры остановили лошадь, и Ардатыев, пошатываясь, вышел вперед. Он сам дышал, как запаленный конь, обдавая запахом спирта вытянувшегося в струнку коменданта.

— Готово? — прохрипел он.

— Так точно! — ответил комендант.

— Тащи ее! — заорал Ардатыев. — Принимай на довольствие. Людей наказываю — лошадей миловать не буду. Я ее доведу до дела. Третий день не работает, — бормотал он, тыча кулаком в грудь коменданта. — Я возчика хотел посадить. План ведь срывается. Пла-а-н... Возчик клянется: Не я, лошадь не работает. Я п-понимаю, — икал Ардатыев, — я в-верю... Дай, говорю, возжи. Взял возжи — не идет. Бью — не идет. Сахар даю — нарочно из дому взял — не берет. Ах ты,

думаю, гадина, куда же мне теперь твои трудодни списывать? Туда ее — ко всем филонам, ко всем врагам человечества — в карцер. На голую воду. Трое суток для первого раза.

Ардатьев сел на снег и снял шапку. Мокрые, спутанные волосы сползали на глаза. Пытаясь встать, он качнулся и вдруг опрокинулся на спину.

Надзиратель и комендант втащили его в дежурку. Ардатьев спал.

— Домой отнесем?

— Не надо. Жена не любит.

— А лошадь?

— Надо вести. Проснется, узнает, что не посадили, — убьет. Сажай ее в четвертую. К интеллигенции.

. ,

Два сторожа из заключенных внесли в дежурку дрова на ночь и стали укладывать их около печки.

— Что скажете, Петр Григорьевич? — сказал один из них, показывая глазами на дверь, за которой храпел Ардатьев.

— Скажу, что это не ново... Калигула...

— Да, да, как у Державина, — подхватил второй и, выпрямившись, с чувством прочел:

Калигула, твой конь в сенате
Не мог сиять, сияя в злате,
Сияют добрые дела...

Старики закурили, и голубой махорочный дым поплыл по комнате.



АРТИСТ ЛОПАТЫ

В воскресенье, после работы, Криту сказали, что его переводят в бригаду Косточкина, на пополнение быстро тающей золотой приисковой бригады. Новость была важная. Хорошо это или плохо — думать Криту не следовало, ибо новость неотвратима. Но о самом Косточнике Крест слышал много на этом лишенном слухов прииске в оглохших, немых бараках. Крест, как и всякий заключенный, не знал, откуда приходят в его жизнь новые люди — одни ненадолго, другие надолго, но во всех случаях люди исчезали из жизни Креста, так ничего и не сказав о себе, уходили как бы умирая, умирали, как бы уходя. Начальники. бригадиры, повара, каптеры, соседи по нарам, братья по тачке, товарищи по кайлу . . .

Этот калейдоскоп, это движение бесконечных лиц не утомляло Креста. Он просто не раздумывал об этом, жизнь не оставляла времени на такие раздумья. «Не волнуйся, не думай о новых начальниках, Крест. Ты один, а начальников у тебя еще будет очень много». Так говорил шутник и философ — а кто говорил, Крест забыл. Крест не мог вспомнить ни фамилии, ни лица, ни голоса сказавшего Криту эти важные шутливые фразы. Важные именно потому, что шутливые. Кто осмеливался шутить, улыбаться, хотя бы глубоко скрытой, сокровеннейшей улыбкой, но все же улыбкой, несомненно улыбкой? Такие люди существовали, но сам Крест был не из их числа.

Какие были бригадиры у Креста . . . Или свой брат, пятьдесят восьмая, взявшиеся за слишком серьезное дело и вскоре разжалованные, разжалованные раньше, чем они успели превратиться в убийц. Или свой брат, пятьдесят восьмая, но — битые фраера, опытные, бывалые фраера, которые могли не только приказывать на работе, но и эту работу организовать, да еще ладить

с нормировщиками, конторой, начальством разнообразным, дать взятку, уговорить. Но и эти, свой брат, пятьдесят восьмая, не хотели и думать о том, что приказывать на лагерной работе — худший лагерный грех, что там, где расплата кровава, где человек бесправен, взять на себя ответственность распоряжаться чужой волей на жизнь и смерть — все это слишком большой, смертный грех, грех, которого не прощают. Были бригадиры, умиравшие вместе с бригадой. Были и такие, которых эта ужасная власть над чужой жизнью развратила немедленно, и кайловище, черенок лопаты в их руках стал им помогать в разговорах со своими товарищами. И когда они вспоминали об этом, говорили, повторяя, как молитву, мрачную лагерную поговорку — «Умри ты сегодня, а я завтра». Далеко не всегда у Криста бригадирами были заключенные по пятьдесят восьмой статье. Чаше — а в самые страшные годы всегда — бригадирами Криста были «бытовики», осужденные за убийства, за служебные преступления. Это были нормальные люди, только вина власти и тяжкое давление сверху — поток смертных инструкций — диктовали этим людям поступки, на которые они не решались, быть может, в их прежней жизни. Грань между преступлением и «ненаказуемым деянием» в «служебных» статьях — да и в большинстве бытовых тоже — очень тонка, подчас неуловима. Часто сегодня судили за то, что не судили вчера, не говоря уж о «мере пресечения» — всей этой юридической гамме оттенков от проступка до преступления.

«Бытовики»-бригадиры были зверями по приказу. Но вовсе не только по приказу были зверями бригадиры-блатари. Бригадир-блатарь — это худшее, что могло случиться с бригадой. Но Косточкин не был ни блатарем, ни бытовиком. Косточкин был единственным сыном какого-то крупного не то партийного, не то советского работника на КВЖД, по «делу КВЖД» привлеченного и умертвленного. Единственный сын Кос-

точкина, учившийся в Харбине и ничего кроме Харбина не видевший, в свои двадцать пять лет был осужден как «ЧС», как «член семьи», как литерник на... пятнадцать лет. Воспитанный заграничной харбинской жизнью, где о невинно-осужденных читали только в романах — переводных романах по преимуществу, — молодой Косточкин в глубине своего мозга не был уверен, что его отец осужден невинно. Отец воспитал в нем веру в непогрешимость НКВД. К иному суждению молодой Косточкин был вовсе не подготовлен. И когда был арестован отец, когда сам Косточкин был осужден и отправлен с Очень Дальнего Востока на Очень Дальний Север — Косточкин был озлоблен прежде всего на отца, испортившего ему своим таинственным преступлением жизнь. Что он, Косточкин, знает о жизни взрослых? Он, изучавший четыре языка — два европейских и два восточных, лучший танцор Харбина, учившийся всевозможным блюзам и румбам у приезжих мастеров сих дел, — лучший боксер Харбина-средневес, переходящий в полутяжелый, обучавшийся апперкотам и хуккам у бывшего чемпиона Европы, — что он о всей этой большой политике знает? Если расстреляли — значит что-то было. Может быть, в НКВД погорячились, может быть, надо было дать десять, пятнадцать лет. А ему, молодому Косточкину, нужно было дать — если уж нужно дать, — пять вместо пятнадцати.

Четыре слова повторял Косточкин — переставляя их в разном порядке — и всякий раз выходило плохо, тревожно. «Значит было что-то». «Значит что-то было».

Вызвав у Косточкина ненависть к расстрелянному отцу, страстное желание избавиться от этого клейма, от этого отцовского проклятия, — работники следствия добились важных успехов. Но следователь не знал об этом. Следователь, который вел дело Косточкина, и сам был давно расстрелян по очередному «делу НКВД».

Не только фокстроты и румбы изучал молодой Косточкин в Харбине. Он окончил Харбинский политех-

нический институт — получил диплом инженера-механика.

Когда привезли Косточкина на прииск, на место его назначения, он добился свидания с начальником прииска и просил дать работу по специальности, обещая честно работать, проклиная отца, умоляя местных начальников. «Этикетки на консервные банки будет писать», — сухо сказал начальник прииска, но присутствующий при разговоре местный уполномоченный уловил какие-то знакомые нотки в тоне молодого харбинского инженера. Начальники поговорили между собой, потом уполномоченный поговорил с Косточкиным, и забойные бригады вдруг обошло известие, что бригадиром одной из бригад назначен новичок, свой брат пятьдесят восьмая. Оптимисты видели в этом назначении признак скорых перемен к лучшему, пессимисты бормотали что-то насчет новой метлы. Но и те и другие были удивлены — кроме, разумеется, тех, кто давно отучился удивляться, — Крист не удивлялся.

Каждая бригада живет своей жизнью, в своей «секции» в бараке с отдельным входом, и с остальными жителями барака встречается только в столовой. Крист часто встречал Косточкина — тот был такой отметный, краснорожий, широкоплечий, могучий. Краги — перчатки с раструбами — были меховые. У бригадиров победнее краги бывают тряпочные, сшитые из ватных стеганых брюк. И шапка у Косточкина была «вольная», меховая ушанка, и валенки — настоящие, а не бурки, не чуни веревочные. Всем этим Косточкин был отмечен. Работал бригадиром он один этот зимний месяц — значит давал план, процент, а сколько — можно было узнать на доске около вахты, но таким вопросом такой старый арестант, как Крист, — не интересовался.

Жизнеописание своего будущего бригадира Крист составил на нарах, мысленно. Но был уверен, что не ошибся, не может ошибиться. Никаких других путей на бригадирскую должность у харбинца не могло быть.

Бригада Косточкина таяла, как положено таять всем бригадам, работающим в золотом забое. Время от времени — это должно звучать, как от недели к неделе, а не от месяца в месяц... в бригаду Косточкина направляли пополнение. Сегодня это пополнение — Крист. «Наверное, Косточкин даже знает, кто такой Эйнштейн», — подумал Крист, засыпая на новом месте.

Место Кристу дали, как новичку, подальше от печки. Кто раньше пришел в бригаду — занял лучшее место. Это был общий порядок, и Крист был с ним хорошо знаком.

Бригадир сидел у стола в углу, близко от лампы и читал какую-то книжку. Хотя бригадир, как хозяин жизни и смерти своих работяг, мог для своего удобства поставить единственную лампу к себе на столик, лишив света всех остальных жителей барака — не для того, чтобы читать или говорить... Говорить можно и в темноте, да и не о чем говорить и некогда. Но бригадир Косточкин сам пристроился к общей лампе и читал, читал, по временам собирая в улыбку свои пухлые детские губы сердечком, и щурил свои большие красивые серые глаза. Кристу так понравилась эта давно им не виданная мирная картина отдыха бригадира и бригады, что он решил про себя обязательно в этой бригаде остаться, отдать все силы своему новому бригадиру.

В бригаде был и заместитель бригадира, он же дневальный — низкорослый Оська, годившийся в отцы Косточкину. Оська мел барак, кормил бригаду, помогал бригадиру — все было как у людей. И, засыпая, Крист почему-то подумал, что наверное его новый бригадир знает, кто такой Эйнштейн. И ошастливленный этой мыслью, согретый только что выпитой кружкой кипятку на ночь Крист заснул.

В новой бригаде и шума не было на разводе. Кристу показали инструменталку — получили инструмент, и Крист приладил себе лопату, как тысячу раз прилаживал раньше, сбил к черту короткую ручку с упо-

ром, укрепленную на американской лопате-совке, обухом топора разогнул этот совок чуть пошире на камне, выбрал длинный, длинный новый черенок из множества стоящих в углу сарая черенков, вдел черенок в кольцо лопаты, укрепил его, поставил лопату изогнутой под углом лопастью к собственным ногам, отмерил и пометил, «зазначил» черенок лопаты против собственного подбородка, и по этой отметке отрубил. Острым топором Крист стер, тщательно загладил торец новой рукоятки. Встал и обернулся. Перед ним стоял Косточкин, внимательно наблюдая за действиями новичка. Впрочем, Крист ждал этого. Косточкин ничего не сказал, и Крист понял, что свои суждения бригадир откладывает до работы, до забоя.

Забой был недалеко, и работа началась. Черенок дрогнул, заныла спина, ладони обеих рук встали в привычное положение, пальцы схватили черенок. Он был чуть-чуть толще, чем надо, но Крист это выправит вечером. Да и лопату подточит напильником. Руки заносили лопату раз за разом, и в мелодичный скрежет металла о камень вошел учащенный ритм. Лопата визжала, шуршала, камень сползал с лопаты при взмахе и снова падал на дно тачки, а дно отвечало деревянным стуком, а потом камень отвечал камню — всю эту музыку забоя Крист знал хорошо. Повсюду стояли такие же тачки, визжали такие же лопаты, шуршал камень, сползал с обвалов, подрубленный кайлом, и снова визжали лопаты.

Крист положил лопату, сменил напарника у «машины ОСО — две ручки, одно колесо», как называли на Колыме тачку по-арестантски. Не по-блатному, но вроде этого. Крист поставил тачку донцем на траповую доску, ручками в противоположную от забоя сторону. И быстро насыпал тачку. Потом ухватил за ручки, выгнулся, напрягая живот, и, поймав равновесие, покатил свою тачку к бутаре, к промывочному прибору. Обрато Крист прикатил тачку по всем правилам тачечников, унаследованным от каторжных столетий,

ручками вверх, колесом вперед, а руки Крист, отдыхая, держал на ручках тачки, потом поставил тачку и снова взял лопату. Лопата завизжала.

Харбинский инженер, бригадир Косточкин стоял и слушал забойную симфонию и наблюдал за движениями Криста.

— Да ты, я вижу, артист лопаты, — и Косточкин расхохотался. Смех у него был детский, неудержимый. Рукавом бригадир вытер губы.

— Какую ты получал категорию там, откуда пришел?

Речь шла о «категориях» питания, о той «шкале желудка», подгоняющей арестанта. Эти «категории» — Крист знал это — были открыты на Беломорканале, на «перековке». Слюнявый романтизм «перековки» имел реалистическое основание, жестокое и злое, в виде этой «желудочной» шкалы.

— Третью, — ответил Крист, как можно заметнее подчеркивая голосом свое презрение к прошлому своему бригадиру, который не оценил таланта артиста лопаты. Крист, поняв выгоду, привычно, чуть-чуть лгал.

— У меня будешь получать вторую. Прямо с сегодняшнего дня.

— Спасибо, — сказал Крист.

В новой бригаде было, пожалуй, чуть тише, чем в других бригадах, где приходилось жить и работать Кристу, чуть чище в бараке, чуть меньше матерщины. Крист хотел по своей многолетней привычке поджарить на печке кусочек хлеба, оставшийся после ужина, но сосед — Крист еще не знал, да и никогда не узнал его фамилии — толкнул Криста и сказал, что бригадир не любит, когда жарят на печке хлеб.

Крист подошел к железной, весело топящейся печке, растопырил ладони над потоком тепла, сунул лицо в струю горячего воздуха. С ближайших нар встал Оська, заместитель бригадира, и сильной рукой отвел новичка от печки. — «Иди на свое место. Не загорай печки. Пусть всем будет тепло». — Это в общем-то было справедливо, но очень трудно удержать

собственное тело, тянущееся к огню. Арестанты из бригады Косточкина удерживаться научились. И Кристу тоже придется научиться. Крист вернулся на место, снял бушлат. Сунул ноги в рукава бушлата, поправил шапку, скорчился и заснул.

Засыпая, Крист еще видел, как кто-то вошел в барак, что-то приказал, Косточкин выругался, не отходя от лампы и не прекращая читать книжку. Оська подскочил к пришедшему, быстрыми ловкими движениями ухватил пришедшего за локти, вытолкнул его из барака. Оська был преподавателем истории в каком-то институте в прошлой своей жизни.

Много следующих дней лопата Криста визжала, шелестел песок. Косточкин скоро понял, что за отточенной техникой движений Криста давно уже нет никакой силы, и как ни старался Крист — его тачки были всегда наполнены чуть-чуть меньше, чем надо, — это ведь от собственной воли не зависит, меру диктует какое-то внутреннее чувство, что управляет мускулами — всякими — здоровыми и бессильными, молодыми и изношенными, замученными. Всякий раз оказывалось, что в замере забоя, в котором работал Крист, не так много сделано, как ожидал бригадир от профессионализма движений артиста лопаты. Но Косточкин не придирался к Кристу, ругал его не больше, чем других, не отводил душу в брани, не читал рацей. Может быть, понимал, что Крист работает на полной отдаче сил, сберегая лишь то, что нельзя растратить в угоду любимому бригадиру в любом из лагерей мира. Или чувствовал, если не понимал, — ведь чувства наши гораздо богаче мыслей — обескровленный язык арестанта выдает не все, что есть в душе. Чувства тоже бледнеют, слабеют, но много позже мыслей, много позже человеческой речи, языка. А Крист действительно работал, как давно уже не работал, — и хотя сделанного им не хватало на «вторую категорию», он эту вторую категорию получал. За прилежание, за старание...

Ведь «вторая категория» — было высшее, чего мог добиться Крист. Первую получали рекордисты — выполняющие сто двадцать процентов и больше. В бригаде Косточкина рекордистов не было. Были в бригаде и «третьи», выполняющие норму, и четвертые категории, нормы не выполняющие, а делавшие только восемьдесят-семьдесят процентов нормы. Но все же не открытые филоны, достойные штрафного пайка, пятой категории. Таких в бригаде Косточкина тоже не было.

Дни шли за днями, а Крист все слабел и слабел, и покорная тишина в бараке бригады Косточкина нравилась Кристу все меньше и меньше. Но как-то вечером Оська, преподаватель истории, отвел Криста в сторону и сказал ему негромко: «Сегодня кассир придет. Тебе бригадир деньги выписал, знай». Сердце Криста стучало. Значит, Косточкин оценил прилежание Криста, его мастерство. У этого харбинского бригадира, знающего имя Эйнштейна, есть все-таки совесть.

В тех бригадах, где раньше работал Крист, ему денег не выписывалось никогда. В каждой бригаде обязательно оказывались более достойные люди — или в самом деле физически покрепче и лучше работающие — или просто друзья бригадира — такими бесплодными рассуждениями Крист никогда не занимался, принимая каждую обеденную карточку — а категории менялись каждые десять дней, процент устанавливался за прошлую выработку — за перст судьбы, за счастье или несчастье, удачу или неудачу, которые пройдут, переменятся, не будут вечными.

Известие о деньгах, которые Кристу сегодня вечером заплатят, переполнило и душу и тело Криста горячей, неудержимой радостью. Оказывается, чувств и сил хватает на радость. Сколько могут заплатить денег... Даже пять-шесть рублей — и то это пять-шесть килограммов хлеба. Крист готов был молиться на Косточкина и с трудом дождался конца работы.

Кассир приехал. Это был самый обыкновенный человек, но в хорошем дубленом полушубке, вольнонаем-

ный. С ним пришел охранник, спрятавший куда-то револьвер или пистолет или оставивший оружие на вахте. Кассир сел к столу, приоткрыл портфель, набитый поношенными разноцветными ассигнациями, похожими на выстиранные тряпки. Кассир вытащил ведомость, расчерченную тесно, испианную всевозможными подписями — обрадованных или разочарованных денежными начислениями людей. Кассир вызвал Христа и указал ему отмеченное птичкой место.

Христ обратил внимание, почувствовал особенное что-то в этой выплате, выдаче. Никто, кроме Христа, не подошел к кассиру. Никакой очереди не было. Может быть, бригадники так приучены заботливым бригадиром. Ну, что об этом думать! Деньги выписаны, кассир платит. Значит, Христово счастье.

Самого бригадира в бараке не было, он еще не пришел из конторы, и удостоверением личности получателя занимался заместитель бригадира Оська, преподаватель истории. Указательным пальцем Оська показал Христу место для расписки.

— А...а... сколько? — задыхаясь прохрипел Христ.

— Пятьдесят рублей. Доволен?

Сердце Христа запело, застучало. Вот оно, счастье. Христ поспешно, разрывая бумагу острым пером и чуть не опрокинув чернильницу-непроливайку, расписался в ведомости.

— Вот и молодчик, — сказал Оська одобрительно. Кассир захлопнул портфель. — Больше в вашей бригаде никого нет?

— Нет.

Христ все еще не мог понять происходившего.

— А деньги? А деньги?

— Деньги я Косточкину отдал, — сказал кассир. — Еще днем, — а низкорослый Оська железной рукой, с силой, которой никогда не имел ни один забойщик этой бригады, оторвал Христа от стола и отшвырнул в темноту.

Бригада молчала. Ни один человек не поддержал

Криста, не спросил ни о чем. Даже не обругал Криста дураком... Это было Криту страшнее этого зверя Оськи, его цепкой железной руки. Страшнее детских пухлых губ бригадира Косточкина.

Дверь барака распахнулась, и к освещенному столу быстрыми и легкими шагами прошел бригадир Косточкин. Накатник, из которого был сложен пол барака, почти не качнулся под его легкими, упругими шагами.

— Вот сам бригадир, — поговори с ним, — сказал Оська, отступая. И объяснил Косточкину, показывая на Криту: — Деньги ему надо!

Но бригадир понял все еще с порога. Косточкин сразу почувствовал себя на харбинском ринге. Косточкин протянул руку к Криту привычным, красивым боксерским движением «от плеча», и Крист упал на пол, оглушенный.

— Нокаут, нокаут, — хрипел Оська, приплясывая вокруг полуживого Криту и изображая рефери на ринге — восемь... девять... Нокаут.

Крист не поднимался с пола.

— Деньги? Ему деньги? — говорил Косточкин, усаживаясь не спеша за стол и беря ложку из рук Оськи, чтобы приняться за миску с горохом.

— Вот эти троцкисты, — говорил Косточкин медленно и поучительно, — и губят меня и тебя, Ося. — Косточкин повысил голос. — Загубили страну, и нас с тобой губят. Деньги ему понадобились, артисту лопаты, деньги. Эй, вы, — кричал Косточкин бригаде. — Вы, фашисты! Слышите? Меня не зарежете. Пляши, Оська!

Крист все еще лежал на полу. Огромные фигуры бригадира и дневального загорали Криту свет. И вдруг Крист увидел, что Косточкин пьян, сильно пьян. Те самые пятьдесят рублей, которые были выписаны Криту... Сколько на них можно «выкупить» спирта, спирта, который выдан, выдается бригаде...

Оська, заместитель бригадира, послушно пошел в пляс, приговаривая:

Я купила два корыта
И жена моя Розита...

— Наша, одесская, бригадир. Называется «От моста до бойни».

И преподаватель истории в каком-то столичном институте, отец четверых детей Оська снова пошел в пляс.

— Стой, наливай, — Оська нащупал какую-то бутылку под нарами, налил что-то в консервную банку. Косточкин выпил и закусил, подцепив пальцами остатки гороха в миске.

— Где этот артист лопаты? — Оська поднял и вытолкнул Криста к столу.

— Что, силы нет? Разве ты пайку не получаешь? Вторую категорию кто получает? Этого тебе мало, троцкистская сволочь?

Крист молчал. Бригада молчала.

— Всех удавлю. Фашисты проклятые, — бушевал Косточкин.

— Иди, иди к себе, артист лопаты, а то бригадир еще даст, — миролюбиво посоветовал Оська, обхватывая захмелевшего Косточкина и заталкивая его в угол, опрокидывая на бригадирский пышный, одинокий топчан — единственный топчан в бараке, где все нары были двойные, двухэтажные, «железнодорожного типа». Сам Оська, заместитель бригадира и дневальный, спавший на крайней койке, вступал в третьи свои важные, вполне официальные обязанности, обязанности телохранителя, ночного сторожа бригадирского сна, покоя и жизни. Крист ощупью добрался до своей койки.

Но заснуть не удалось ни Косточкину, ни Кристу. Дверь барака отворилась, впуская струю белого пара, и в дверь вошел какой-то человек в меховой ушанке и в темном зимнем пальто с каракулевым воротником. Пальто было изрядно измято, каракуль был вытерт, но все же это было настоящее пальто и настоящий каракуль.

Человек прошел через весь барак к столу, к свету, к топчану Косточкина. Оська почтительно его приветствовал. Оська принялся расталкивать бригадира.

— Тебя зовет Миня Грек. — Это имя было знакомо Криту. Это был бригадир блатарей. — Тебя зовет Миня Грек. — Но Косточкин уже очухался и сел на топчане лицом к свету.

— Ты все гуляешь, укротитель?

— Да вот... довели гады...

Миня Грек сочувственно помычал.

— Взорвут тебя когда-нибудь, укротитель, на воздух. А? Заложат аммонит под койку, шнур подпалят и туда... — Грек показал пальцем вверх. — Или голову пилой отпилят. Шея-то у тебя толстая, долго пилить придется.

Косточкин, медленно приходя в себя, ждал, что ему скажет Грек.

— Не налить ли по маленькой? Скажи, сгоношим в два счета.

— Нет. У нас этого спирту в бригаде полно, сам знаешь. Дело мое более серьезное.

— Рад служить.

— Рад служить, — засмеялся Миня Грек. — Так, значит, тебя в Харбине учили разговаривать с людьми.

— Да я ничего, — заторопился Косточкин. — Просто еще не знаю, что тебе нужно.

— А вот что, — Грек заговорил что-то быстро, и Косточкин согласно кивал. Грек начертил что-то на столе, и Косточкин закивал понимающе. Оська с интересом следил за разговором.

— Я ходил в командировку, — говорил Миня Грек, — говорил не угрюмо и не оживленно, самым обыкновенным голосом. — Нормировщик сказал: Косточкина очередь.

— Да ведь у меня и в прошлом месяце снимали...

— А мне что делать... — и голос Грека повеселел. — Нашим-то где кубики взять? Я говорил нормировщику. Нормировщик говорит — Косточкина очередь.

— Да ведь . . .

— Ну, что там. Сам ведь знаешь наше положение . . .

— Ну ладно, — сказал Косточкин. — Сосчитаешь там в конторе, скажешь, чтобы у нас сняли.

— Не бойся, фраер, — сказал Миня Грек и похлопал Косточкина по плечу. — Сегодня ты меня выручил, завтра — я тебя. За мной не пропадет. Сегодня ты меня, завтра я тебя выручу.

. . . Завтра оба мы поцелуемся, — заплясал Оська, обрадованный принятым наконец решением и боящийся, что медлительность бригадира только испортит дело.

— Ну, прощай, Укротитель, — сказал Миня Грин, вставая со скамейки. — Нормировщик говорит: «Смело иди к Косточкину, к Укротителю. В нем есть капля жульнической крови». Не бойся, не тушуйся. Твои ребята справятся. У тебя такие артисты лопаты . . .



РУР

Но — не роботами мы были. Чапековскими роботами из «РУР»а? И не шахтерами Рурского угольного бассейна? Наш РУР — это рота усиленного режима, тюрьма в тюрьме, лагерь в лагере... Нет, не роботами мы были. В металлическом бесчувствии роботов было что-то человеческое.

Впрочем, кто из нас думал в тридцать восьмом году о Чапеке, об угольном РУР'е? Только двадцать-тридцать лет спустя находятся силы на сравнения, в попытках воскресить время, краски и чувство времени.

Тогда мы испытывали только смутную, ноющую радость тела, иссушенных голодом мышц, которые хоть на миг, хоть на час, хоть на день избавятся от золотого забоя, от проклятой работы, от ненавистного труда. Труд и смерть — это синонимы, и синонимы не только для заключенных, для обреченных «врагов народа». Труд и смерть — синонимы и для лагерного начальства и для Москвы — иначе не писали бы в спецуказаниях, московских путевках на смерть: «использовать только на тяжелых физических работах».

Нас привели в РУР как лодырей, как филонов, как невыполнивших норму. Но — не отказчиков от работы. Отказ от работы в лагере — это преступление, которое карается смертью. Расстреливают за три отказа от работы, за три «невыхода». Три акта. Мы выходили из лагерной зоны, доползали до места работы. На работу уже не оставалось сил. Но — мы не были отказчиками.

Нас вывели на вахту. Дежурный надзиратель протянул руку к моей груди, и я закачался и едва устоял на ногах — тычок наганом в грудь сломал ребро. Боль не давала покоя несколько лет. Впрочем, это не было переломом, как после объясняли мне специалисты. Просто разорвал «надкостницу».

Нас повели в РУР, но РУР'а не оказалось на месте. Я увидел еще живую землю, каменистую черную землю, покрытую обугленными корнями деревьев, корнями кустарников, отполированными человечески-

ми телами. Увидел черный прямоугольник обугленной земли, одинаково резкий и среди бурной зелени короткого, страстного колымского лета и среди мертвой, белой, нескончаемой зимы. Черная яма от костров, след тепла, след человеческой жизни.

Яма была живая. Люди ворочали бревна, торопились, ругались, и на моих глазах вставал омоложенный РУР, стены штрафного барака. Тут же нам объяснили. Вчера в общую камеру РУР'а был посажен пьяный завмаг из «бытовиков». Пьяный завмаг, разумеется, стены РУР'а раскидал по бревну, всю тюрьму. Часовой не стрелял. Бушевал «бытовик» — часовые отлично разбирались в уголовном кодексе, в лагерной политике и даже в капризах власти. Часовой не стрелял. Завмага увели и посадили в карцер при отряде охраны. Но даже завмаг-бытовик, явный герой, не решился уйти из этой черной ямы. Он только раскидал стены. И вот сотня людей из пятьдесят восьмой, которой был набит РУР, бережно и торопливо восстанавливала свою тюрьму, возводила стены, боясь перешагнуть через край ямы, неосторожно ступить на белый не запятнанный еще человеком снег.

Пятьдесят восьмая торопилась восстановить свою тюрьму. Понукания, угрозы не были нужны.

Сто человек ютилось на нарах, на каркасе обломанных нар. Нар не было — все накатины, все жерди, из которых были сложены нары, — без одного гвоздя, гвоздь на Колыме дело дорогое. — Нары были сожжены блатарями, сидевшими в РУР'е. Пятьдесят восьмая не решилась бы отломать и кусочка своих нар, чтобы согреть свое иззябшее тело, похожие на веревки иссохшие мускулы свои.

Недалеко от РУР'а стояло только не закопченное, как РУР, здание отряда охраны. Барак охранников внешне не отличался от арестантского жилища, да и внутри разницы было немного. Грязный дым, мешковина на окне вместо стекла. И все же — это был барак охраны.

РУР ходил на работу. Но не в золотой забой, а на заготовку дров, на копку канав, топтать дорогу. Кормили в РУР'е всех одинаково, и это тоже была радость. Рабочий день РУР'а кончался раньше, чем в забое. Сколько раз мы с завистью следили, поднимая глаза от тачки, от забоя, от кайла и лопаты, поднимая глаза, и видели как двигались на ночлег нестройные колонны РУР'а. Лошади наши ржали, увидев руровцев, требуя конца работы. А может быть, лошади знали время и сами — лучше людей, и никакого РУР'а лошадям было видеть не надо...

Теперь я сам подпрыгивал, то попадая, то не попадая в общий шаг, в общий такт, то обгоняя, то отставая... Я хотел одного — чтобы РУР никогда не кончился. Я не знал, на сколько суток — на десять, двадцать, тридцать — я «водворен в РУР».

«Водворен» — тюремный этот термин хорошо был мне знаком. Кажется, глагол «водворить» употребляется только в местах заключения. Зато оборот «выдворить» вышел на широкую дипломатическую дорогу — «выдворить из пределов» и так далее. Этому глаголу хотели придать грозно-издевательскую окраску, но жизнь меняет масштабы, и в нашем случае «водворить» звучало почти как «спасти».

Каждый день после работы руровцев «гоняли» за дровами «для себя», как говорило начальство. Впрочем, «гоняли» и забойные бригады. Поездки на санях, где проволочные лямки устраивались для людей, — проволочные петли, куда можно просунуть голову и плечи, поправить лямку и тащить, тащить. Сани надо было втащить в гору километра за четыре, где были штабеля заготовленного летом стланика — черного, горбатого, легкого стланика. Сани нагружались и пускались прямо с горы. На сани садились блатары — те, которые сохраняли еще силы, и хохоча съезжали с горы. А мы — сползали, не имея сил сбегать. Но скользили быстро, цепляясь за замороженные обломанные ветки тальника или ольхи, тормозясь. Это

было радостно — день кончался.

Дрова, штабеля стланика, укрытые снегом, приходилось искать все дальше с каждым днем, но мы не ворчали — поездка за дровами была чем-то вроде удара в рельс или звуком сирены — сигналом на еду, на сон.

Мы сгрузили дрова и радостно начали строиться.

— Кру...гом!

Никто не повернулся. В глазах у всех я увидел смертную тоску, неуверенность людей, которые не верят в удачу — их всегда обсчитывают, обманывают, обмеряют. И хоть дрова — это не камень, сани — не тачки...

— Кру-гом!

Никто не повернулся. Арестант чрезвычайно чувствителен к нарушениям обещания, хотя, казалось бы, о какой справедливости могла бы идти речь.

Из двери барака охраны на крыльце выстроились два человека — начальник лагеря, лейтенант постарше, и начальник отряда охраны — лейтенант помоложе. Нет хуже, когда два начальника примерно равного чина творят рядом, на глазах друг у друга. Все человеческое в них замирает, и каждый хочет проявить «бдительность», не «выказать слабости», выполнить приказ государства.

— Впрягайтесь в сани.

Никто не повернулся.

— Да это организованное выступление!

— Диверсия!

— Не пойдете по-хорошему?

— Не надо нам вашего хорошего.

— Кто это сказал? Выйди!

Никто не вышел.

По команде из барака охраны выбежали еще несколько конвоиров и окружили нас, увязая в снегу, щелкая затворами винтовок, задыхаясь от злобы на людей, лишивших конвоиров отдыха, смены, распорядка службы.

— Ложись!
Легли в снег.
— Вставай!
Встали.
— Ложись!
Легли.
— Вставай!
Встали.
— Ложись!
Легли.

Этот несложный ритм я уловил легко. И хорошо помню: было не холодно и не жарко. Будто все это делали не со мной.

Несколько выстрелов-щелчков, предупредительных выстрелов.

— Вставай!
Встали.
— Кто пойдет — отходи налево.
Никто не двинулся.

Начальник подошел близко, вплотную к тоске в этих безумных глазах. Подошел и постучал в грудь ближайшего.

— Ты — пойдешь?
— Пойду.
— Отходи налево.
— Ты — пойдешь?
— Пойду!
— Запрягайся! Конвой, принимай, считай людей.
Заскрипели деревянные полозья саней.
— Поехали!

— Вот как это делается, — сказал тот лейтенант, что постарше.

Но уехали не все. Осталось двое: Сережа Усольцев и я. Сережа Усольцев был блатарь. Все молодые уркачи вместе с пятьдесят восьмой давно катили сани по дороге. Но Сережа не мог допустить, чтобы какой-то паршивый фраер выдержал, а он, потомственный уркач — отступил.

— Сейчас нас отпустят в барак... Немного постоим, — хмуро улыбнулся Усольцев, — и в барак. Греться. Но в барак нас не отпустили.

— Собаку! — распорядился лейтенант постарше.

— Возьми-ка, — сказал Усольцев, не поворачивая головы, и пальцы блатаря положили мне на ладонь что-то очень тонкое, невесомое.

— Понял?

— Понял.

Я держал в пальцах обломок лезвия безопасной бритвы и незаметно от конвоиров показывал бритву собаке. Собака видела, понимала. Собака рычала, визжала, билась, но не пыталась рвать ни меня, ни Сережу. В руках Усольцева был другой обломок бритвы.

— Молода еще! — сказал всеведущий и многоопытный начальник лагеря, лейтенант что постарше.

— Молода! Был бы здесь Валет — показал бы, как это делается. Голенькими стояли бы!

— В барак!

Отперли дверь, отвели тяжелую железную щеколду — запор в сторону. Сейчас будет тепло, тепло.

Но лейтенант постарше сказал что-то дежурному надзирателю, и тот выкинул тлеющие головни из железной печки в снег. Головни зашипели, покрылись синим дымом, и дежурный забросал головни снегом, подгребая ногами снег.

— Заходи в барак.

Мы сели на каркасе нар. Ничего, кроме холода, внезапного холода мы не почувствовали. Мы вложили руки в рукава, согнулись...

— Не бойся, — сказал Усольцев. — Сейчас вернутся ребята с дровами. А пока попляшем. И мы стали плясать.

Гул голосов — радостный гул приближающихся голосов был оборван чьей-то резкой командой. Открылась наша дверь, открылась не на свет, а в ту же барачную темень.

— Выходи!

Фонари «Летучая мышь» мелькали в руках конвоиров.
— Становись в строй.

Мы не сразу увидели, что строй вернувшихся с работы — тут же рядом. Что все стоят в строю и ждут. Кого они ждут?

В белой темной мгле выли собаки, двигались факелы, освещая путь быстро приближавшихся людей. По движению света можно было понять, что идут — не заключенные.

Впереди шел быстрым шагом, опережая своих телохранителей, брюхатый, но легкий на ходу полковник, которого я сразу узнал, — не раз осматривал эти золотые забои, где работала наша бригада. Это был полковник Гаранин. Тяжело дыша, расстегивая ворот кителя, Гаранин остановился перед строем и, погружая мягкий холеный палец в грязную грудь ближайшего заключенного, сказал:

— За что сидишь?

— У меня статья...

— На кой черт мне твоя статья. В РУР'е за что сидишь?

— Не знаю.

— Не знаешь? Эй, начальник!

— Вот книга приказов, товарищ полковник.

— На чёрта мне твоя книга. Эх, гады.

Гаранин двинулся дальше, каждому заглядывая в лицо.

— А ты, старик, за что попал в РУР?

— Я — следственный. Мы лошадь павшую съели.
Мы сторожа.

Гаранин плюнул.

— Слушать команду! — Всех — по баракам! По своим бригадам! И завтра — в забой!

Строй рассыпался, все побежали по дороге, по тропке, по снегу к баракам, в бригады. Поплелись и мы с Усольцевым.

БОГДАНОВ

Богданов был щёголь. Всегда гладко выбритый, вымытый, пахнущий духами — бог знает, что уж это были за духи, — в пыжиковой пышной ушанке, завязанной каким-то сложным бантом из муаровых черных широких лент, в якутской расшитой, расписной куртке, в узорчатых пимах. Отполированы были ногти, подворотничок был крахмальным, белейшим. Весь тридцать восьмой расстрельный год Богданов работал уполномоченный НКВД в одном из Колымских управлений. Друзья спрятали Богданова на Черное озеро, в угольную разведку, когда наркомвнудельские престолы зашатались и полетели головы начальников, сменяя друг друга. Новый начальник с отполированными ногтями явился в глухой тайге, где и грязи с сотворения мира не было, явился с семьей, с женой и тремя ребятами мал мала меньше. И ребятишкам и жене было запрещено выходить из дома, где жил Богданов, — так что я видел семью Богданова только два раза — в день приезда и в день отъезда.

Продукты кладовщик приносил в дом начальника ежедневно, а двухсотлитровую бочку спирта работяги перекачали по доскам, по деревянной дорожке, насланной в тайге для такого случая, — в квартиру начальника. Ибо спирт — это главное, что нужно было хранить, как учили Богданова на Колыме. Собака? Нет, у Богданова не было собаки. Ни собаки, ни кошки.

В разведке был живой барак, палатки работяг. Жили все вместе — вольнонаемные и рабочие зэка. Разницы между ними ни в топчанах, ни в вещах домашнего обихода никакой не было, ибо вольняшки, вчерашние заключенные, еще не приобрели чемоданов, тех самых арестантских самодельных чемоданов, известных каждому зэка.

В распорядке дня, в «режиме» тоже разницы не

было, ибо предыдущий начальник, открывавший много-много приисков, находившийся на Колыме чуть не с сотворения мира, почему-то терпеть не мог всевозможных «слушаюсь» и «доношу». При Парамонове, так звали первого начальника, у нас не было поверок — и без того вставали с восходом и ложились с заходом солнца. Впрочем, заполярное солнце не уходило с неба весной, в начале лета — какие уж тут поверки. Та-ежная ночь короткая. И «приветствовать» начальника мы были не обучены. А кто и был обучен, тот с удовольствием и быстро забыл эту унижительную науку. Поэтому, когда Богданов вошел в барак, никто не крикнул «внимание!», а один из новых работяг, Рыбин, продолжал чинить свой рваный брезентовый плащ.

Богданов был возмущен. Кричал, что он наведет порядок среди фашистов. Что политика советской власти двойная — исправительная и карательная. Так вот он, Богданов, обещает испробовать на нас вторую в полной мере, что никакая бесконвойность нам не поможет. Жителей в бараке, тех ээков, к которым обращался Богданов, — было пять или шесть человек — пять, вернее, потому что на пятом месте сидели в очередь два ночных сторожа.

Уходя, Богданов ухватился за деревянную дверь палатки — ему хотелось хлопнуть дверью, — но покорный брезент только бесшумно заколыхался. На следующее утро нам, пятерым заключенным, плюс отсутствующий сторож, был прочитан приказ — первый приказ нового начальника.

Секретарь начальника громким и размеренным голосом прочел нам первое литературное произведение нового начальника — «Приказ № 1». У Парамонова, как выяснилось, не было даже книги приказов, и новая общая тетрадь школьницы-дочери Богданова была превращена в книгу приказов угольного района.

«Мною замечено, что заключенные района распустились, забыли о лагерной дисциплине, что выражается

в невставании на поверку, в неприветствовании начальника.

Считая это нарушением основных законов советской власти, категорически предлагаю . . .»

Дальше шел «распорядок дня», сохранившийся в памяти Богданова с его прошлой работы.

Тем же приказом был учрежден старостат, назначен дневальный по совместительству с основной работой. Палатки перегорожены брезентовой занавеской, отделяя чистых от нечистых. Нечистые отнеслись к этому равнодушно, но чистые — вчерашние нечистые — не простили этого поступка Богданову никогда. Приказом была посеяна вражда между вольными рабочими и начальником.

В производстве Богданов ничего не понимал, переложил все на плечи прораба, и все административное рвение сорокалетнего скучающего начальника обратилось против шести заключенных. Ежедневно замечались какие-нибудь проступки, нарушения лагерного режима, граничащие с преступлениями. В тайге был на скорую руку срублен карцер, кузнецу Моисею Моисеевичу Кузнецову был заказан железный запор для этого карцера, жена начальника пожертвовала собственный висячий замок. Замок очень пригодился. Каждый день в карцер кого-нибудь из заключенных сажали. Поползли слухи, что скоро будет вызван сюда конвой, отряд охраны.

Водку полярно-пайковую нам выдавать перестали. На сахар и махорку установили нормы.

Ежевечерне кого-нибудь из зэка вызывали в контору, и начиналась беседа с начальником района. Вызвали и меня. Листая пухлое мое «личное дело», Богданов читал выдержки из многочисленных меморандумов, неумеренно восхищаясь их слогом и стилем. А иногда казалось, что Богданов боится разучиться читать — ни одной книжки, кроме немногих помятых книжек для детей, в квартире начальника не было.

Вдруг я с удивлением увидел, что Богданов попросту

сильно пьян. Запах дешевых духов мешался с запахом спиртного перегара. Глаза были мутные, тусклые, но речь была ясной. Впрочем, все, что он говорил, было так обыкновенно.

На другой день я спросил у вольняшки Карташова, секретаря начальника, может ли быть такое...

— Да ты что — сейчас только заметил. Он все время пьяный. С каждого утра. Помногу не пьет, а как почувствует, что хмель проходит, — снова полстакана. Пройдет хмель — и снова полстакана. Жену бьет, подлец, — сказал Карташов. Она потому и не показывается. стыдно синяки-то показывать.

Богданов бил не только свою жену. Ударил Шаталина, ударил Климовича. До меня еще очередь не дошла. Но как-то вечером я был снова приглашен в контору.

— Зачем? — спросил я Карташова.

— Не знаю. — Карташев был и за курьера, и за секретаря, и за заведующего карцером.

Я постучал и вошел в контору.

Богданов, причесываясь и охараживаясь перед большим темным зеркалом, вытащенным в контору, сидел у стола.

— А, фашист, — сказал он, поворачиваясь ко мне. Я не успел выговорить положенного обращения.

— Ты будешь работать или нет? Такой «лоб». — «Лоб» — это блатное выражение. Обычная формула и беседа.

— Я работаю, гражданин начальник. — А это — обычный ответ.

— Вот тебе письма пришли — видишь. — Я два года не переписывался с женой, не мог связаться, не знал о ее судьбе, о судьбе моей полуторагодовой дочери. И вдруг ее почерк, ее рука, ее письма. Не письмо, а письма. Я протянул дрожащие свои руки за письмами.

Богданов не выпускал писем из своих рук, поднес конверты к моим сухим губам.

— Вот твои письма, фашистская сволочь. — Богда-

нов разорвал в клочки и бросил в горящую печь письма от моей жены, письма, которых я ждал более двух лет, ждал в крови, в расстрелах, в побоях золотых приисков Колымы.

Я повернулся, вышел без обычной формулы «разрешите идти» — и пьяный хохот Богданова и сейчас, через много лет, еще слышится в моих ушах.

План не выполнялся. Богданов не был инженером. Вольнонаемные рабочие ненавидели его. Каплей, переполнившей чашу, была спиртная капля, ибо главный конфликт между начальником и работягами был в том, что бочка спирта перекочевала на квартиру начальника и быстро убывала. Все можно было простить Богданову — и издевательство над заключенными, и производственную его беспомощность, и барство. Но дело дошло до дележа спирта, и население поселка вступило с начальником и в открытый, и в подземный бой.

Зимней лунной ночью в район явился человек в штатском — в скромной ушанке, в стареньком зимнем пальто с черным барашковым воротником. От дороги, от шоссе, от трассы район был в двадцати километрах, и человек прошагал этот путь по зимней реке. Раздевшись в конторе, приезжий попросил разбудить Богданова. От Богданова пришел ответ, что завтра, завтра. Но приезжий был настойчив, попросил Богданова встать, одеться и выйти в контору, объяснив, что пришел новый начальник угольного района, которому Богданов должен сдать дела в двадцать четыре часа. Просит прочесть приказ. Богданов оделся, вышел, пригласил приезжего в квартиру. Гость отказался, заявив, что приемку района он начнет сейчас.

Новость распространилась мгновенно. Контора стала наполняться неодетыми людьми.

— Где у вас спирт?

— У меня.

— Пусть принесут.

Секретарь Тарташов вместе с дневальным вынесли бидон.

— А бочка?

Богданов залепетал что-то невнятное.

— Хорошо. — Поставьте пломбы на бидон. Приезжий запечатал бидон.

— Дайте мне бумаги для акта.

Вечером следующего дня Богданов, свежесбрившийся, надушенный, весело помахивая расписными меховыми рукавичками, уехал в «центр». Он был совершенно трезв.

— Это не тот Богданов, который был в речном управлении?

— Нет, наверное. Они на этой службе меняют свои фамилии, не забудьте.

————oOo————

ИНЖЕНЕР КИСЕЛЕВ

Я не понял души инженера Киселева. Молодой тридцатилетний инженер, энергичный работник, только что кончивший институт и приехавший на Дальний Север обрабатывать обязательную трехлетнюю практику. Один из немногих начальников, читавший Пушкина, Лермонтова, Некрасова, — так его библиотечная карточка рассказывала. И самое главное — беспартийный, стало быть, приехавший на Дальний Север не за тем, чтобы что-то проверять в соответствии с приказами свыше. Никогда не встречавший ранее арестантов на своем жизненном пути Киселев перещеголял всех палачей в своем палачестве.

Самолично избивая заключенных, Киселев подавал пример своим десятникам, бригадирам, конвою. После работы Киселев не мог успокоиться — ходил из барака в барак, выискивая человека, которого он мог бы безнаказанно оскорбить, ударить, избить. Таких было двести человек в распоряжении Киселева. Темная садистическая жажда убийства жила в душе Киселева и в самовластии и бесправии Дальнего Севера нашла выход, развитие, рост. Да не просто сбить с ног — таких любителей из начальников малых и больших на Колыме было много, у которых руки чесались, которые, желая душу отвести, через минуту забывали о выбитом зубе, окровавленном лице арестанта, не забывавшего удар начальства всю жизнь. Не просто ударить, а сбить с ног и топтать, топтать полутруп своими коваными сапогами. Немало заключенных видело у своего лица железки на подошвах и каблуках киселевских сапог.

Сегодня кто лежит под сапогами Киселева, кто сидит на снегу? Зельфугаров. Это мой сосед сверху по вагонному купе поезда, шедшего прямым ходом в ад, восемнадцатилетний мальчик слабого сложения с изношенными мускулами, преждевременно изношенными. Лицо

Зельфугарова залито кровью, и только по черным кустистым бровям узнаю я своего соседа: Зельфугаров — турок, фальшивомонетчик. Фальшивомонетчик по пятьдесят девять-двенадцать — живой, да этому не поверит ни один прокурор, ни один следователь, ведь за фальшивую монету у государства ответ один — смерть. Но Зельфугаров был мальчиком шестнадцати лет, когда слушалось это дело.

— Мы делали деньги хорошие, ничем не отличить от настоящих, — взволнованный воспоминаниями шептал Зельфугаров в бараке — в утепленной палатке, где внутри брезента ставится фанерный каркас — изобретения и такие бывают.

Расстреляны отец и мать, два дяди Зельфугарова, а мальчик остался жив. Впрочем, и он скоро умрет, по-рукой тому сапоги и кулаки инженера Киселева.

Я наклоняюсь над Зельфугаровым, и тот выплевывает прямо на снег перебитые свои зубы. Лицо его опускает на глазах.

— Идите, идите. Киселев увидит — рассердится, — толкает меня в спину инженер Вронский — тульский горняк, тверяк по рождению, последняя модель шахтинских процессов. Доносчик и подлец.

По узким ступенькам, вырубленным в горе, мы взбираемся на место работы. Это — «зарезки» шахты. Штольня, которую «бьют» по уклону, и немало уже вытащено камня — рельсы уходят куда-то далеко вглубь, где бурят, отпаливают, выдают «на-горá» породу.

И Вронский, и я, и Савченко, харбинский почтарь, и паровозный машинист Крюков — все мы слишком слабы, чтобы быть забойщиками, чтобы нам была оказана честь допустить нас к кайлу и лопате, и к «усиленному» пайку, который отличается от пайка нашего, производственного какой-то лишней кашей, кажется. Я знаю хорошо, что такое шкала лагерного питания, какое грозное содержание скрывают эти пищевые рационы поощрения, и не жалуюсь. Остальные — новички — горячо обсуждают главный вопрос: какую категорию питания

дадут им в следующую декаду — пайки и карточки меняются подекадно. Какую? Для «усиленного» пайка мы слишком слабы, мускулы наших рук и ног давно превратились в бичевки — в веревочки. Но у нас еще есть мышцы на спине, на груди, у нас еще сеть кожа и кости, и мы натираем мозоли на груди, выполняя желание инженера Киселева. У всех четверых мозоли на груди и белые заплаты на наших грязных рваных телогрейках, посаженные на грудь, как будто у всех одна и та же арестантская форма.

В штольне проложены рельсы, по рельсам на веревке, на пеньковом канате мы спускаем вагонетку. Внизу ее нагружат, а мы вытащим наверх. Руками мы, конечно, этой вагонетки не вытащим, если бы даже все четверо тянули враз, вместе, как рвут лошади гужевых троек в Москве. В лагере каждый тянет вполсилы или в полторы силы. Дружно в лагере тянуть не умеют. Но у нас есть механизм, это тот самый механизм, который был еще в древнем Египте и позволил построить пирамиды. Пирамиды, а не какую-нибудь шахту, шахтенку. Это — конный ворот. Только вместо лошадей здесь впрягают людей — нас, и каждый из нас упирается грудью в свое бревно, жмет, и вагонетка медленно выползает наружу. Тут, оставив ворот, мы катим вагонетку к отвалу, разгружаем ее, тащим назад, ставим на рельсы, толкаем в черное горло штольни.

Кровавые мозоли на груди у каждого, заплаты на груди у каждого — это след бревна от конного вóрота, от египетского вóрота.

Здесь нас ждет, подбоченившись, инженер Киселев. Следит, чтобы мы заняли свою места в этой упряжке. Докурив свою папиросу и тщательно растоптав, растерев окурок на камнях своими сапогами, Киселев уходит. И хоть мы знаем, что Киселев нарочно измельчил, растоптал свой окурок, чтобы нам не досталось ни единой табачинки, ибо прораб видел воспаленные жадные глаза, арестантские ноздри, вдыхающие издали дым этой киселевской папиросы, — все же мы не можем

справиться с собой и все четверо бежим к растерзанной, уничтоженной папиросе и пытаемся собрать хоть табачинку, хоть крупиночку, но, конечно, собрать хоть крошку, хоть пылинку не удается. И у всех у нас на глазах слезы, и мы возвращаемся в свои рабочие позиции к потертым бревнам конного вóрота, к рогатке-вертушке.

Это Киселев, Павел Дмитриевич Киселев воскресил на Аркагале ледяной карцер времен 1938 года, вырубленный в скале, в вечной мерзлоте, ледяной карцер. Летом людей раздевали до белья — по летней гулаговской инструкции — и сажали их в этот карцер босыми, без шапок, без рукавиц. Зимой сажали в одежде — по зимней инструкции. Много заключенных, побывавших в этом карцере только одну ночь, навсегда простились со здоровьем.

Говорили о Киселеве много в бараках, в палатках. Методические ежедневные смертные избиения казались многим, не прошедшим школы тридцать восьмого года, слишком ужасными, непереносимыми.

Всех поражало, или удивляло, или задевало, что ли, личное участие начальника участка в этих ежедневных экзекуциях. Арестанты легко прощали удары, тычки конвоирам, надзирателям, прощали своим собственным бригадирам, но стыдились за начальника участка, за этого беспартийного инженера. Киселевская активность вызывала возмущение даже у тех, чьи чувства были притуплены многими годами заключения, кто видал «всякое», кто научился великому равнодушию, которое воспитывает в людях лагерь.

Ужасно видеть лагерь, и ни одному человеку в мире не надо знать лагерей. Лагерный опыт — целиком отрицательный до единой минуты. Человек становится только хуже. И не может быть иначе. В лагере есть много такого, чего не должен видеть человек. Но видеть дно жизни — это не самое страшное. Самое страшное — это когда это самое дно жизни человек начинает — навсегда — чувствовать в своей собственной, когда его

моральные мерки заимствуются из лагерного опыта, когда мораль блатарей применяется в вашей жизни. Когда ум человека не только служит для оправдания этих лагерных чувств, но служит самим этим чувствам. Я знаю много интеллигентов, да и не только интеллигентов, которые именно блатные границы сделали тайными границами своего поведения на воле. В сражении этих людей с лагерем одержал победу лагерь. Это — усвоение морали «лучше украсть, чем попросить», это — фальшивое блатное различие «пайки» личной и государственной. Это — слишком свободное отношение ко всему «казенному». Примеров растраты много. Моральная граница, рубеж очень важны для заключенного. Это — главный вопрос его жизни: остался он человеком или нет?

Различие очень тонкое, и стыдиться нужно не воспоминаний о том, как был «доходягой», «фитилем», бегал, как «курва с котелком», и рылся на помойных ямах, а стыдиться усвоенной блатной морали, хотя бы это давало возможность выжить, как блатные, притвориться «бытовичком» и вести себя так, чтобы, ради Бога, не узнали ни начальник, ни товарищи. Пятьдесят восьмая ли у тебя статья, или сто шестьдесят вторая, или какая-нибудь служебная — растраты, халатность. Словом, интеллигент хочет быть лагерной Зоей Космодемьянской: быть с блатарями — блатарем, с уголовниками — уголовником. Ворует, и пьет, и даже радуется, когда получает срок «по бытовой», — проклятое клеймо политического снято с него, наконец. А политического-то в нем не было никогда. В лагере не было политических. Это были воображаемые, выдуманные враги, с которыми государство рассчитывалось, как с врагами подлинными, — расстреливало, убивало, морило голодом. Сталинская коса смерти косила всех без различия, равняя на разверстку, на списки, на выполнение плана. Среди погибших в лагере был такой же процент негодяев и трусов, сколько и на воле. Все были люди случайные,

случайно превратившиеся в жертву из равнодушных, из трусов, из обывателей, даже из палачей.

Лагерь был великой пробой нравственных сил человека, обыкновенной человеческой морали, и девяносто девять процентов людей этой пробы не выдержали. Те, кто выдерживал, умирали вместе с теми, кто не выдерживал, стараясь быть лучше всех, тверже всех только для самих себя...

Была глубокая осень, густая метель. Опоздавшая в перелете молодая утка не могла бороться со снегом, слабела. На площадке зажгли «юпитер», и, обманутая его холодным светом, утка кинулась, хлопая отяжелевшими намокшими крыльями, к «юпитеру», как к солнцу, как к теплу. Но холодный огонь прожектора не был солнечным огнем, дающим жизнь, и утка перестала бороться со снегом. Утка опустилась на площадку перед штольной, где мы — скелеты в оборванных телогрейках — налегали грудью на палку ворота под улюлюканье конвоя. Савченко поймал утку руками. Он отогрел ее за пазухой, за своей костистой пазухой, высушил ее перья своим голодным и холодным телом.

— Съедем? — сказал я, хотя множественное число тут было вовсе ни к чему — это была охота, добыча Савченко, а не моя.

— Нет. Лучше я отдам...

— Кому? Конвою?

— Киселеву.

Савченко отнес утку в дом, где жил начальник участка. Жена начальника участка вынесла Савченко два обломка хлеба — граммов триста, и налила полный котелок пустых щей из квашеной капусты. Киселев знал, как рассчитывать с арестантами, и научил этому свою жену. Разочарованные, проглотили мы этот хлеб: Савченко — кусочек побольше, я — кусочек поменьше. Вылакали суп.

— Лучше было самим съесть утку, — грустно сказал Савченко.

— Не надо было носить Киселеву, — подтвердил я.

Случайно оставшись в живых после истребительного тридцать восьмого года, я не собирался вторично обрекать себя на знакомые мучения. Обрекать себя на ежедневные, ежечасные унижения, на побои, на издевательства, на пререкания с конвоем, с поваром, с банщиком, с бригадиром, с любым начальником, на бесконечную борьбу за кусок чего-то, что можно съесть и не умереть голодной смертью, дожить до завтрашнего, точно такого же дня.

Последние остатки расшатанной, измученной, истерзанной воли надо было собрать, чтобы покончить с издевательствами ценой хотя бы жизни. Жизнь — не такая уж большая ставка в лагерной игре. Я знал, что и все думают так же, только не говорят. Я нашел способ избавиться от Киселева.

Полтора миллиона тонн полукоксуемого угля, не уступающего по калорийности донбасскому, — таков угольный запас Аркагалы, угольного района Колымского края, где листовенные, исковерканные холодом над головой и вечной мерзлотой под корнями дерева достигают зрелости в триста лет. Значение угольных запасов при таком лесе понятно всякому начальнику на Колыме. Поэтому на Аркагалинской шахте часто бывало самое высокое колымское начальство.

— Как только какое-нибудь большое начальство придет на Аркагалу — дать Киселеву по морде. Публично. Ведь будут обходить бараки, шахту обязательно. Выйти из рядов — и пощечина.

— Срок дадут.

— Дадут года два. За такую суку больше не дадут. А два года надо взять.

Никто из старых колымчан не рассчитывал вернуться с севера живым — срок не имел для нас значения. Лишь бы не расстреляли, не убили. Да и то...

— А что Киселева после пощечины уберут от нас, переведут, снимут — это ясно. В среде высших начальников ведь пощечину считают позором. Мы, арес-

танты, этого не считаем; да и Киселев, наверное, тоже. Такая пощечина прогремит на всю Колыму.

Так помечтав о самом главном в нашей жизни у печки, у холодеющего очага, я влез на верхние нары, на свое место, где было потеплее, и заснул.

Я спал без всяких сновидений. Утром нас привели на работу. Дверь конторки раскрылась, и начальник участка шагнул через порог. Киселев не был трусом.

— Эй ты! — закричал он. — Выходи!

Я вышел.

— Значит, прогремит на всю Колыму? А? Ну держись...

Киселев не ударил меня, даже не замахнулся для приличия, для соблюдения собственного начальнического достоинства. Он повернулся и ушел. Мне нужно было держаться очень осторожно. Ко мне Киселев больше не подходил и замечаний не давал — просто исключил меня из своей жизни, но я понимал, что он ничего не забудет, и иногда чувствовал на моей спине ненавидящий взгляд человека, который еще не придумал способа мести.

Я много размышлял о великом лагерном чуде — чуде стукачества, чуде доноса. Когда Киселеву донесли? Значит, стукач не спал ночь, чтобы добежать до вахты или до квартиры начальника. Измученный работой днем, правоверный стукач крал у себя отдых ночной, мучился, страдал и «доказывал». Кто же? Нас было четверо при этом разговоре. Сам я — не доносил, это я твердо знал. Есть такие положения в жизни, когда человек и сам не знает, донес он или нет на товарищей. Например, бесконечные покаянные заявления всяких партийных уклонистов. Доносы это или не доносы? Я уж не говорю о беспамятстве показаний с применением горящей паяльной лампы. И так бывало. По Москве до сих пор ходит один бурят-профессор, у которого рубцы на лице от паяльной лампы тридцать седьмого года. Кто еще? Савченко? Савченко спал рядом со мной.

Инженер Вронский? Да, инженер Вронский. Он. Нужно было спешить, и я написал записку.

Вечером следующего дня с Аркагалы за одиннадцать километров приехал на попутной машине врач, заключенный Кунин. Я знал его немножко — по пересылке прошлых лет. После осмотра больных и здоровых Кунин подмигнул мне и направился к Киселеву.

— Ну, как осмотр? В порядке?

— Да, почти, почти. У меня к вам просьба, Павел Дмитриевич.

— Рад слушать.

— Отпустите-ка Андреева на Аркагалу. Направление я дам.

Киселев вспыхнул.

— Андреева? Нет, кого хотите, Сергей Михайлович, только не Андреева. — И засмеялся. — Это, как бы вам сказать политературнее, — мой личный враг.

Есть две школы начальников в лагере. Одни считают, что всех заключенных, да и не только заключенных, всех, кто досадил лично начальнику, надо скорее отправить в другое место, переводить, выгонять с работы.

Другая школа считает, что всех оскорбителей, всех личных врагов надо держать поближе к себе, на глазах, лично проверяя действенность тех карательных мер, которые выдуманы начальником для удовлетворения собственного самолюбия, собственной жестокости. Киселев исповедовал принципы второй школы.

— Не смею настаивать, — сказал Кунин. — Я, по правде говоря, вовсе не для этого приехал. Вот тут акты, их довольно много, — Кунин расстегнул помятый брезентовый портфель. — Акты о побоях. Я еще не подписывал их. Я, знаете, держусь простого, что называется «народного» взгляда на эти вещи. Мертвых не воскресишь, сломанных костей не склеишь. Да мертвых в этих актах и нет. Я так говорю о мертвых, для красного словца. Я не хочу вам плохого, Павел Дмитриевич, и мог бы смягчить кое-какие врачебные заключения.

Не уничтожить, а именно смягчить. Изложить то, что было, — помягче. Но, видя ваше нервное состояние, я, конечно, не хочу вас тревожить личной просьбой.

— Нет, нет, Сергей Михайлович, — сказал Киселев, придерживая за плечи встававшего с табуретки Кунина. — Зачем же? А нельзя ли совсем порвать эти дурацкие акты? Ведь, честное слово, сгоряча. А потом это такие негодяи. Любого доведут.

— Насчет того, что любого доведут эти негодяи, у меня особое мнение, Павел Дмитриевич. А акты... Порвать их, конечно, нельзя, а смягчить можно.

— Так сделайте это!

— Я бы сделал охотно, — холодно сказал Кунин, глядя прямо в глаза Киселеву. — Но ведь я просил перевести одного экашку на Аркагалу, вот этого доходягу Андреева, а вы и слушать не хотите. Засмеялись — и всё...

Киселев помолчал.

— Сволочи вы все, — сказал он. — Пишите направление в больницу.

— Это сделает фельдшер вашего участка по вашему указанию, — сказал Кунин.

Этим же вечером с диагнозом «острый аппендицит» я был увезен на Аркагалу, в главную лагерную зону и больше не видел Киселева. Но не прошло и полугода, как я услышал о нем.

В темных штреках шуршали газетой, смеялись. В газете было напечатано о внезапной смерти Киселева. В сотый раз рассказывали подробности, захлебываясь от радости. Ночью в квартиру инженера через окно влез вор. Киселев был не трус, над кроватью у него всегда висела заряженная охотничья двустволка. Услышав шорох, Киселев спрыгнул с кровати и, взведя курки, бросился в соседнюю комнату. Вор, услышав шаги хозяина, кинулся в окно и замешкался немного, вылезая из узкого окна.

Киселев ударил вора прикладом сзади, как в оборонительном рукопашном бою, — по всем правилам, как учили всех вольных во время войны, учили каким-то дедовским способам рукопашного боя. Двухстволка выстрелила. Весь заряд влетел Киселеву в живот. Через два часа Киселев умер — хирурга ближе чем за сорок километров не было, а Сергею Михайловичу как заключенному не разрешили этой срочной операции.

День, когда на шахту пришло известие о смерти Киселева, был праздничным днем для заключенных. Даже, кажется, план был в этот день выполнен.



ЛЮБОВЬ КАПИТАНА ТОЛЛИ

Самая легкая работа в забойной бригаде на золоте — это работа траповщика, плотника, который наращивает трап: сшивает гвоздями доски, по которым катают тачки с «песками» к бутаре, к промывочному прибору. Деревянные «усики» доводятся до каждого забоя от центрального трапа. Всё это сверху, с бутары, похоже на гигантскую сороконожку, расплюснутую, высохшую и притвожденную навек ко дну золотого «разреза».

Работа траповщика — «кант» — легкая работа по сравнению с забойщиком или тачечником. В руках траповщика не бывает ни рукоятей тачки, ни лопаты, ни лома, ни кайла. Топор и горсть гвоздей — вот его инструмент. Обычно на этой необходимой, обязательной, важной работе траповщика бригадир чередует работяг, давая им хоть маленький отдых. Конечно, пальцы, намертво, навсегда обнявшие черенок лопаты или кайловище, не разогнутся в один день легкой работы — на это нужно год или больше безделья. Но какая-то капля справедливости в этом чередовании легкого и тяжелого труда есть. Тут нет очередности — кто послабее, тот имеет лучший шанс проработать хоть день траповщиком. Для того, чтобы прибивать гвозди и подтёсывать доски, ни столяром, ни плотником быть не надо. Люди с высоким образованием прекрасно с этой работой справлялись.

В нашей бригаде этот «кант» не чередовался. Место траповщика занимал в бригаде всегда один и тот же человек — Исай Рабинович, бывший управляющий Госстрахом Союза. Рабиновичу было шестьдесят восемь лет, но старик он был крепкий и надеялся выдержать десятилетний свой лагерный срок. В лагере убивает работа, поэтому всякий, кто хвалит лагерный труд, — подлец или дурак. Двадцатилетние, тридцатилетние умирали один за другим — для того их и привезли в

эту «спецзону», а траповщик Рабинович жил. Были у него какие-то знакомства с лагерным начальством, какие-то таинственные связи, ибо Рабинович то работал в хозчасти временно, то конторщиком — Исай Рабинович понимал, что каждый день и каждый час, проведенные не в забое, обещают ему жизнь, спасение, тогда как забой — только гибель, смерть. В спецзону не надо бы завозить стариков пенсионного возраста. Анкетные данные Рабиновича привели его в спецзону, на смерть.

И тут Рабинович заупрямился, не захотел умирать.

И однажды нас заперли вместе, «изолировали» на Первое мая, как делали каждый год.

— Я давно слежу за вами, — сказал Рабинович, и мне было неожиданно приятно знать, что кто-то за мной следит, кто-то меня изучает — не из тех, кому это делать надлежит.

Я улыбнулся Рабиновичу кривой своей улыбкой, разрывающей раненые губы, раздирающей цинготные десны.

— Вы, наверное, хороший человек. Вы никогда не говорите о женщинах грязно.

— Не следил, Исай Давыдович, за собой. А разве и здесь говорят о женщинах?

— Говорят. Только вы не вмешиваетесь в этот разговор.

— Сказать вам правду, Исай Давыдович, я считаю женщин лучше мужчин. Я понимаю единство двуединого человека, мужа и жены, и так далее. И всё же материнство, труд. Женщины и работают лучше мужчин.

— Истинная правда, — сказал сосед Рабиновича бухгалтер Безноженько. — На всех ударниках, на всех субботниках лучше не вставай рядом с бабой — замукает, загоняет. Ты — покурить, а она сердится.

— Да и это, — рассеянно сказал Рабинович. — Наверное, наверное... Вот Колыма, — продолжал он. — Очень много женщин приехали сюда за мужьями —

ужасная судьба, ухаживания начальства, всех этих хамов, которые позаразились сифилисом. Вы знаете всё это не хуже меня. И ни один мужчина не приехал за сосланной и осужденной женой. Управляющим Госстрахом я был очень недолго, — говорил Рабинович. — Но достаточно, чтоб «схватить десятку». Я много лет заведовал внешним активом Госстраха. Понимаете, в чем дело?

— Понимаю, — сказал я безрассудно, ибо я не понимал.

Рабинович улыбнулся очень прилично и очень вежливо.

— Кроме госстраховской работы за границей . . .

И вдруг, поглядев мне в глаза, Рабинович почувствовал, что мне ничего не интересно. По крайней мере до обеда.

Разговор возобновился после ложки супу.

— Хотите, я расскажу вам о себе. Я много жил за границей, и сейчас в больницах, где я лежал, в бараках, где я жил, все просили меня рассказать об одном: как, где и что я там ел. Гастрономические мотивы. Гастрономические кошмары, мечты, сны. Надо ли вам такой рассказ?

— Да, мне тоже, — сказал я.

— Хорошо. Я — страховой агент из Одессы. Работал в «России» — было такое страховое агентство. Был молодой, старался сделать для хозяина как можно честнее и лучше. Изучил языки. Меня послали за границу. Женился на дочери хозяина. Жил за границей до самой революции. Революция не очень испугала моего хозяина — он, как и Савва Морозов, делал ставку на большевиков. Я был за границей в революцию с женой и дочерью. Тесть мой умер как-то случайно, не от революции. Знакомство у меня было большое, но для моих знакомств не нужна была Октябрьская революция. Вы поняли меня?

— Да.

— Советская власть только становилась на ноги. Ко

мне приехали люди — Россия, РСФСР, делала первые покупки за границей. Нужен кредит. А для получения кредита недостаточно обязательства Госбанка. Но достаточно моей записки и моей рекомендации. Так я связал Крейгера, спичечного короля, с РСФСР. Несколько таких операций — и мне позволили вернуться на родину, и я там занимался некоторыми деликатными делами. Вы про продажу Шпицбергена и расчет по этой продаже что-нибудь слышали?

— Немножко слышал.

— Так вот — я перегружал норвежское золото в Северном море на нашу шхуну. Вот, кроме внешних активов, ряд поручений в таком роде. Новым моим хозяином стала советская власть. Я служил, как и в страховом обществе, — честно.

Смышленные спокойные глаза Рабиновича смотрели на меня.

— Я умру. Я уже старик. Я видел жизнь. Мне жаль жену. Жена в Москве. И дочь в Москве. Еще не попали в облаву для членов семьи... Увидеть их уж, видно, не придется. Они мне пишут часто. Посылки шлют. Вам шлют? Посылки шлют?

— Нет. Я написал, что не надо посылок. Если выживу, то без всякой посторонней помощи. Буду обязан только себе.

— В этом есть что-то рыцарское. Жена и дочь не поймут.

— Совсем не рыцарское, а мы с вами не то что по ту сторону добра и зла, а вне всего человеческого. После того, что я видел, — я не хочу быть обязанным в чем-то никому, даже собственной жене.

— Туманно. А я — пишу и прошу. Посылки — это должность в хозобслуге на месяц, костюм свой лучший я отдал за эту должность. Вы думаете, наверное, начальник пожалел старика...

— Я думал, у вас с лагерным начальством какие-нибудь особые отношения.

— Стукач я, что ли? Ну кому нужен семидесятилет-

ний стукач? Нет, я просто дал взятку, большую взятку. И ни с кем результатом этой взятки не поделился, даже с вами. Получаю, пишу и прошу.

После майского сидения мы вернулись в барак вместе, заняли места рядом — на нарах вагонной системы. Мы не то что подружились — подружиться в лагере нельзя, а просто с уважением относились друг к другу. У меня был большой лагерный опыт, а у старика Рабиновича было молодое любопытство к жизни. Увидев, что мою злость подавить нельзя, он стал относиться ко мне с уважением, с уважением — не больше. А может быть, это была стариковская тоска по вагонной привычке рассказывать о себе первому встречному. О жизни, которую хотелось оставить на земле.

Вши не пугали нас. Как раз во время знакомства с Исаем Рабиновичем у меня и украли мой шарф — бумажный, конечно, но всё же вязаный, настоящий шарф.

Мы вместе выходили на развод, на развод «без последнего», как ярко и страшно называют разводы в лагерях. Развод «без последнего». Надзиратели хватали людей, конвоир толкал прикладом, сбивая, сгоняя толпу оборванцев с ледяной горы, спуская их вниз, а кто не успел, опоздал (это и называлось «развод без последнего»), того хватали за руки и за ноги, раскачивали и швыряли вниз по ледяной горе. И я, и Рабинович стремились скорее прыгнуть вниз, выстроиться и докатиться до площадки внизу, где конвой уже ожидал и зуботычинами строил на работу, в ряды. В большинстве случаев нам удавалось скатиться вполне благополучно, удавалось живым добрести до забоя — а там, что Бог даст.

Последнего, кто опоздал, кого сбросили с горы, привязывали к конским волокушам за ноги и волокли в забой на место работы. И Рабинович, и я счастливо избегали этого смертного катанья.

Место для лагерной зоны было выбрано с таким расчетом: возвращаться с работы приходилось в гору,

карабкаясь по ступенькам, цепляясь за остатки оголенных, обломанных кустиков, ползти вверх. После рабочего дня в золотом забое, казалось бы, человек не найдет сил, чтобы ползти вверх. И всё же — ползли. И — пусть через полчаса, час — приползали к воротам вахты, к «зоне», к баракам, к жилищу. На фронто́не ворот была обычная надпись: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Шли в столовую, что-то пили из мисок, шли в барак, ложились спать. Утром всё начиналось сначала.

Здесь голодали не все, — а почему это так, я не узнал никогда. Когда стало теплей, к весне, начались белые ночи, и в лагерьной столовой начались страшные игры «на живца». На пустой стол клали пайку хлеба, потом прятались за угол и ждали, пока голодная жертва — доходяга какой-нибудь — подойдет, замороженный хлебом, и дотронется, схватит эту пайку. Тогда все бросались из угла, из темноты, из засады, и начинались смертные побои вора, живого скелета — новое развлечение, которого я нигде, кроме Джелгалы, не встречал. Организатором этих развлечений был доктор Кривицкий, старый революционер, бывший заместитель наркома оборонной промышленности. Вкупе с журналистом из «Известий» Заславским Кривицкий был главным организатором этих кровавых «живцов», этих страшных приманок.

У меня был шарф, бумажный, конечно, но вязаный, настоящий шарф. Фельдшер в больнице мне подарил, когда меня выписывали. Когда этап наш сгрузили на прииске Джелгала, передо мной возникло серое безулыбчатое лицо с глубоко засеченными северными морщинами, с пятнами старых обморожений.

- Сменяем!
- Нет.
- Продай!
- Нет.

Все местные — а их сбежалось к нашей машине

десятка два — глядели на меня с удивлением, поражаясь моей опрометчивости, глупости, гордости.

— Это — староста, лагстароста, — подсказал мне кто-то, но я покачал головой.

На безулыбчатом лице двинулись вверх брови. Староста кивнул кому-то, показывая на меня.

Но на разбой, на грабеж в этой зоне не решались. Куда было проще другое — и я знал, какое это будет другое. Я завязал шарф узлом вокруг своей шеи и не снимал более никогда: ни в бане, ни ночью, никогда.

Шарф легко было бы сохранить, но мешали вши. Вшей было в шарфе столько, что шарф шевелился, когда я, чтобы отряхнуться от вшей, снимал шарф на минуту и укладывал на стол у лампы.

Недели две боролся я с теньями воров, уверял себя, что это — тени, не воры. За две недели единственно я, повесив шарф на нары прямо перед собой, повернулся, чтоб налить кружку воды, — и шарф сейчас же исчез, схваченный опытной воровской рукой. Я так устал бороться за этот шарф, такого напряжения сил требовала эта надвигающаяся кража, о которой я знал, которую я чувствовал, почти видел, что я обрадовался даже, что мне нечего хранить. И впервые после приезда на Джелгалу я заснул крепко и видел хороший сон. А может быть, потому, что тысячи вшей исчезли и тело сразу почувствовало облегчение.

Исай Рабинович с сочувствием следил за моей героической борьбой. Разумеется, он не помогал мне сохранить мой вшивый шарф — в лагере каждый за себя, да я и не ждал помощи.

Но Исай Рабинович работал несколько дней в хозчасти и сунул мне обеденный талон, утешая меня в моей потере. И я поблагодарил Рабиновича.

После работы все сразу ложатся, подстилая под себя свою грязную рабочую одежду.

Исай Рабинович сказал:

— Я хочу посоветоваться с вами по одному вопросу. Не лагерному.

— О генерале де Голле?

— Нет, да вы не смейтесь. Я получил важное письмо. То есть, это для меня оно важное.

Я прогнал набегающий сон напряжением всего тела, встряхнулся и стал слушать.

— Я уже говорил вам, что моя дочь и жена в Москве. Их не трогали. Дочь моя хочет выйти замуж. Я получил от нее письмо. И от ее жениха — вот, — и Рабинович вынул из-под подушки связку писем — пачку красивых листков, написанных четким и быстрым почерком. Я взгляделся — буквы были не русские, латинские.

— Москва разрешила переслать эти письма мне. Вы знаете английский?

— Я? Английский? Нет.

— Это по-английски. Это от жениха. Он просит разрешения на брак с моей дочерью. Он пишет: «Мои родители уже дали согласие, осталось только согласие родителей моей будущей жены. Я прошу вас, мой дорогой отец...» А вот письмо дочери. «Папа, мой муж, морской атташе Соединенных Штатов Америки, капитан I ранга Толли просит твоего разрешения на наш брак. Папа, отвечай скорее».

— Что за бред? — сказал я.

— Никакой это не бред, а письмо капитана Толли ко мне. И письмо моей дочери. И письмо жены.

Рабинович медленно нашарил вошь за пазухой, вытащил и раздавил на нарах.

— Ваша дочь просит разрешения на брак?

— Да.

— Жених вашей дочери, морской атташе Соединенных Штатов, капитан I ранга Толли просит разрешения на брак с вашей дочерью?

— Да.

— Так бегите к начальнику и подавайте заявление, чтобы разрешил отправить экстренное письмо.

— Но я не хочу давать разрешение на брак. Вот об этом я и хочу посоветоваться с вами.

Я был просто ошеломлен этими письмами, этими рассказами, этим поступком.

— Если я соглашусь на брак, я ее никогда больше не увижу. Она уедет с капитаном Толли.

— Слушайте, Исай Давыдович, вам скоро семьдесят лет. Я считаю вас разумным человеком.

— Это просто чувство, я еще не раздумывал над этим. Ответ я пошлю завтра. Пора спать.

— Давайте лучше отпразднуем это событие завтра. Съедем кашу раньше супа. А суп — после каши. Еще можно пожарить хлеба. Подсушить сухари. Сварить хлеб в воде. А? Исай Давыдович!

Даже землетрясение не удержало бы меня от сна, от сна-забытья. Я закрыл глаза и забыл про капитана Толли.

На следующий день Рабинович написал письмо и бросил в почтовый ящик около вахты.

Скоро меня увезли на суд, судили и через год привезли снова в ту же самую спецзону. Шарфа у меня не было, да и старосты того не было. Я приехал — обыкновенный лагерный доходяга, человек-фитиль без особых примет. Но Исай Рабинович узнал меня и принес кусок хлеба. Исай Давыдович укрепился в хозчасти и научился не думать о завтрашнем дне. Выучил Рабиновича забой.

— Вы, кажется, были здесь, когда дочь моя выходила замуж?

— Был, как же.

— История эта имеет продолжение.

— Говорите.

— Капитан Толли женился на моей дочери — на этом, кажется, я остановился, — начал рассказывать Рабинович. Глаза его улыбались. Прожил капитан I ранга Толли месяца три. Протанцевал три месяца. Получил линкор в Тихом океане и выехал к месту своей службы. Дочери моей, жене капитана Толли, выезд не разрешили. Сталин смотрел на эти браки с иностран-

цами как на личное оскорбление, в Наркоминделе шептали капитану Толли: поезжай один, погуляй, молодец, что тебя связывает? Женись еще раз. Словом, вот окончательный ответ — женщина эта останется дома. Капитан Толли уехал, и год от него не было писем. А через год мою дочь послали на работу в Стокгольм, в шведское посольство.

— Разведчицей, что ли? На секретную работу?

Рабинович неодобрительно посмотрел на меня, осуждая мою болтливость.

— Не знаю, не знаю, на какую работу. В посольство. Моя дочь проработала там неделю. Прилетел самолет из Америки, и она улетела к мужу. Теперь буду ждать писем не из Моквы

— А здешнее начальство?

— Здешние боятся, по таким вопросам не смеют иметь свое суждение. Приезжал московский следователь, меня допросил по этому делу. И уехал.

Счастье Исая Рабиновича на этом не кончилось. Превыше всяких чудес было чудо окончания срока в срок, день в день, без зачетов рабочих дней.

Организм бывшего страхового агента был настолько крепок, что Исай Рабинович проработал еще вольнонаемным на Колыме в должности фининспектора. На материк Рабиновича не пустили. Рабинович умер тогда за два до XX съезда партии.



КРЕСТ

Слепой священник шел через двор, нащупывая ногами узкую доску, вроде пароходного трапа, настланную по земле. Он шел медленно, почти не спотыкаясь, не оступаясь, задевая четырехугольными носками огромных стоптанных сынових сапог за деревянную свою дорожку. В обеих руках священник нес ведра дымящегося поила для своих коз, запертых в низеньком темном сарае. Коз было три: Машка, Элла и Тоня — клички были выбраны умело, с различными согласными звуками. Обычно на его зов откликалась только та коза, которую он звал; утром же, в час раздачи корма, козы блеяли беспорядочно, истошными голосами, просовывая по очереди мордочки в щель двери сарая. Полчаса назад слепой священник подоил их в большой подойник и отнес дымящееся молоко домой. В дойке он часто ошибался в вечной своей темноте — тонкая струйка молока падала мимо дойника, неслышно; козы тревожно оглядывались на свое собственное молоко, выдоенное прямо на землю. А, быть может, и не оглядывались.

Ошибался он часто не только потому, что был слеп. Раздумья мешали не меньше, и, равномерно сжимая теплой рукой прохладное вымя козы, он часто забывал сам себя и свое дело, думая о своей семье.

Ослеп священник вскоре после смерти сына — красноармейца химической роты, убитого на Северном фронте. Глаукома, «желтая вода», резко обострилась, и священник потерял зрение. Были у священника и еще дети — еще два сына и две дочери, но этот, средний был любимым и как бы единственным.

Козы, уход за ними, кормление, уборка, дойка — все это слепой делал сам — и эта отчаянная и ненужная работа была мерой утверждения себя в жизни — слепой привык быть кормильцем большой семьи, при-

вык иметь свое место в жизни, не зависеть ни от кого — ни от общества, ни от собственных детей. Он велел жене тщательно записывать расходы на коз и записывать приход, полученный от продажи козьего молока летом. Молоко козье покупали в городе охотно — оно считалось особенно полезным при туберкулезе. Медицинская ценность этого мнения была невелика, не больше, чем известные рационы мяса черных щенят, рекомендованного кем-то для туберкулезных больных. Слепой и его жена пили молоко по стакану, по два в день, и стоимость этих стаканов священник тоже велел записывать. В первое же лето выяснилось, что корма стоят гораздо дороже, чем молоко, да и налоги на «мелких животных» были не так уж мелки, но жена священника скрыла правду от мужа и сказала ему, что козы приносят доход. И слепой священник благодарил Бога, что нашел в себе силы хоть чем-нибудь помочь своей жене.

Жена его, которую до 1928 года все в городе звали «матушкой», а в 1929 году перестали — городские церкви были почти все взорваны, а «холодный» собор, в котором молился когда-то Иван Грозный, был сделан музеем, — жена его была когда-то такая полная, толстая, что собственный ее сын, которому было лет шесть, капризничал и плакал, твердя: «Я не хочу с тобой идти, мне стыдно. Ты такая толстая». Она давно уже не была толстая, но полнота, нездоровая полнота сердечного больного сохранилась в ее огромном теле. Она едва ходила по комнате, с трудом двигаясь от печки в кухне до окна в комнате. Сначала священник просил почитать ему что-нибудь, но жене все было некогда — оставалась всегда тысяча дел по хозяйству, надо было сварить пищу — еду себе и козам. В магазины жена священника не ходила — небольшие ее закупки делали соседские дети, которым она наливала козьего молока или совала в руку леденец какой-нибудь.

На шестке русской печи стоял котел — «чугун», как

называют такую посуду на Севере. Чугун был с отбитым краем, и край был отбит в первый год замужества. Кипящее пойло для коз выливалось из чугуна через отбитый край и текло на шесток и капало с шестка на пол. Рядом с чугуном стоял маленький горшок с кашей — обед священника и его жены — людям было нужно гораздо меньше, чем животным.

Но что-нибудь нужно было и людям.

Дел было мало, но женщина слишком медленно передвигалась по комнате, держась руками за мебель, и к концу дня уставала так, что не могла найти в себе сил для чтения. И она засыпала, а священник сердился. Он спал очень мало, хотя и заставлял себя спать, спать. Когда-то его второй сын, приехавший на «побывку» и огорченный безнадежным состоянием отца, спросил, волнуясь:

— Папа, почему ты спишь и днем, и ночью? Зачем ты так много спишь?

— Дурак ты, — ответил священник, — ведь во сне-то я вижу...

И сын до самой своей смерти не мог забыть этих слов.

Радиовещание переживало тогда свое детство — у любителей скрипели детекторные приемники, и никто не осмеливался зацепить заземление за батарею отопления или телефонный аппарат. Священник только слышал о радиоприемниках, но понимал, что разлетевшиеся по свету его дети не смогут, не сумеют собрать денег даже на радионаушники для него.

Слепой плохо понимал, почему несколько лет назад они должны были выехать из комнаты, в которой жили более тридцати лет. Жена шептала ему что-то непонятное, взволнованное и сердитое своим огромным беззубым, шамкающим ртом. Жена никогда не рассказывала ему правды: как милиционеры выносили из дверей их несчастной комнаты — поломанные стулья, старый комод, ящик с фотографиями, дагерротипами, «чугуны» и горшочки и несколько книг — остатки когда-то огромной библиотеки, — и сундук, где хра-

нилось последнее: золотой наперсный крест. Слепой ничего не понял, его увели на новую квартиру, и он молчал и молился про себя Богу. Кричащих коз отвели на новую квартиру, знакомый плотник устроил коз на новом месте. Одна коза пропала в суматохе — это была четвертая коза — Ира.

Новые жильцы этой квартиры на берегу реки — молодой городской прокурор с франтоватой женой — ждали в гостинице «Центральная», пока их известят, что квартира свободна. В комнату священника вселяли слесаря с семьей из квартиры напротив, а две комнаты слесаря шли прокурору. Городской прокурор никогда не видел и не увидел ни священника, ни слесаря, на «живом месте» которых он селился жить.

Священник и его жена редко вспоминали прежнюю комнату — он — потому, что был слеп, а она — потому, что слишком много горя пришлось ей видеть на той кратире — гораздо больше, чем радости. Священник никогда не узнал, что его жена, пока могла, пекла пирожки и продавала на базаре и все время писала письма разным своим знакомым и родственникам, прося поддержать хоть чем-нибудь ее и слепого мужа. И случалось, деньги приходили, небольшие деньги, но все же на них можно было купить сена и жмых для коз, внести налоги, заплатить пастуху.

Коз давно было надо продать — они только мешали, но она боялась об этом и подумать — ведь это было единственное дело ее слепого мужа. И она, вспоминая, каким живым, энергичным человеком был ее муж до своей страшной болезни, не находила в себе сил заговорить с ним о продаже коз. И все продолжалось по-прежнему.

Писала она и детям, которые давно уже выросли, имели собственные семьи. И дети отвечали на ее письма — у всех были свои заботы, свои дети; впрочем, отвечали не все дети.

Старший сын давно, еще в двадцатых годах, отказался от отца. Тогда была мода отказываться от роди-

телей — немало известных впоследствии писателей и поэтов начало свою литературную деятельность заявлениями подобного рода. Старший сын не был ни поэтом, ни негодяем, он просто боялся жизни, и подал заявление в газету, когда его стали донимать на службе разговорами о «социальном происхождении». Пользы заявление не принесло, и свое Каиново клеймо он проносил до гроба.

Дочери священника вышли замуж. Старшая жила где-то на юге, деньгами в семье она не распоряжалась, боялась мужа, но писала домой часто слезные письма, полные своих горестей, и старая мать отвечала и ей, плача над письмами дочери и утешая ее. Старшая дочь ежегодно посылала матери посылку в несколько десятков килограммов винограда. Посылка с юга шла долго. И мать никогда не написала дочери, что виноград всякий год приходит испорченный — из всей посылки только несколько ягодок могла она выбрать мужу и себе. И всякий раз мать благодарила, униженно благодарила и стеснялась попросить денег.

Вторая сестра была фельдшерницей и после замужества мизерное свое жалованье вознамерилась она откладывать и посылать слепому отцу. Муж ее, профсоюзный работник, одобрил ее намерение, и месяца три сестра приносила свою «получку» в родной дом. Но после родов она работать не стала и день и ночь хлопотала около своих двойняшек. Скоро выяснилось, что муж ее, профсоюзный работник — запойный пьяница. Служебная карьера его быстро шла вниз и через два года он оказался агентом снабжения, да и на этой работе удержаться долго не мог. Жена его с двумя маленькими детьми, оставшись без всяких средств к жизни, снова поступила на работу и билась, как могла, содержа на жалованье медицинской сестры двух маленьких детей и себя. Чем она могла помочь своей старой матери и своему слепому отцу?

Младший сын был не женат. Ему бы и жить с отцом и матерью, но он решил попытать счастья в одиночку.

От среднего брата осталось наследство — охотничье ружье, почти новенький бескурковый Зауэр, и отец велел матери продать это ружье за девяносто рублей. За двадцать рублей сыну сшили две новые сатиновые рубашки-толстовки, и он уехал к тетке в Москву и поступил на завод рабочим. Младший сын посылал деньги домой, но помалу, рублей по пяти, по десяти в месяц, а вскоре за участие в подпольном митинге он был арестован и выслан, и след его затерялся.

Слепой священник и его жена вставали всегда в шесть часов утра. Старая мать затапливала печку, слепой шел доить коз. Денег не было вовсе, но старой женщине удавалось занять в долг несколько рублей у соседей. Но эти рубли надо было отдавать, а продать было уже нечего — все носильные вещи, все скатерти, белье, стулья — все уже было давно продано, променено на муку для коз и на крупу для супа. Оба обручальные кольца и серебряная шейная цепочка были проданы в «Торгсине» еще в прошлом году. Суп только по большим праздникам варился с мясом, и сахар старики покупали только к празднику. Разве зайдет кто-нибудь, сунет конфету или булку, и старая мать брала и уносила в свою комнату и совала в сухие, нервные, беспрерывно двигающиеся пальцы слепого своего мужа. И оба они смеялись и целовали друг друга, и старый священник целовал изуродованные домашней тяжелой работой, опухшие, потрескавшиеся грязные пальцы своей жены. И старая женщина плакала и целовала старика в голову, и они благодарили друг друга за все хорошее, что они дали друг другу в жизни, и за то, что они делают друг для друга сейчас.

Каждый вечер священник вставал перед иконой и горячо молился и благодарил Бога еще и еще за свою жену. Так делал он ежедневно. Бывало, что он не всегда становился лицом к иконе, и тогда жена сползала с кровати и, охватив его руками за плечи, ставила лицом к образу Иисуса Христа. И слепой священник сердился.

Старуха старалась не думать о завтрашнем дне. И вот наступило такое утро, когда козам было нечего дать, и слепой священник проснулся и стал одеваться, нашаривая сапоги под кроватью. И тогда старуха закричала и заплакала, как будто она была виновата в том, что у них нечего есть.

Слепой надел сапоги и сел в свое клеенчатое, заплапанное мягкое кресло. Вся остальная мебель была давно продана, но слепой об этом не знал — мать сказала, что подарила дочерям.

Слепой священник сидел, откинувшись на спинку кресла, и молчал. Но растерянности не было в его лице.

— Дай мне крест, — сказал он, протягивая обе руки и двигая пальцами.

Жена доковыляла до двери и заложила крючок. Вдвоем они приподняли стол и выдернули из-под стола сундук. Жена священника достала из деревянной коробки с нитками ключик и отперла сундук. Сундук был полон вещей, но что это были за вещи — детские рубашки сыновей и дочерей, связки пожелтевших писем, что сорок лет назад писали они друг другу, венчальные свечи с проволочным украшением — воск с узором давно уже осыпался, клубки разноцветной шерсти, связки лоскутков для заплат. И на самом дне два небольших ящика, в каких бывают ордена или часы, или драгоценные вещи.

Женщина тяжело и гордо вздохнула, выпрямляясь, и открыла коробку, в которой на атласной новенькой еще подушке лежал наперсный крест с маленькой скульптурной фигуркой Иисуса Христа. Крест был красноватый, червонного золота.

Слепой священник ощупал крест.

— Принеси топор, — сказал он тихо.

— Не надо, не надо, — зашептала она и обняла слепого, пытаясь взять крест у него из рук. Но слепой священник вырвал крест из узловатых опухших пальцев своей жены и больно ушиб ей руку.

— Неси, — сказал он, — неси... Разве в этом Бог?

— Я не буду, — сам, если хочешь . . .

— Да, да, сам, сам.

И жена священника, полубезумная от голода, заковыляла в куню, где всегда лежал топор и лежало сухое полено — для лучины, чтоб ставить самовар.

Она принесла топор в комнату, закинула крючок и заплакала без слез, криком.

— Не гляди, — сказал слепой священник, укладывая крест на полу. Но она не могла, не могла не глядеть. Крест лежал вниз фигуркой. Слепой священник нащупал крест и замахнулся топором. Он ударил, и крест отскочил и слегка зазвенел на полу — слепой священник промахнулся. Священник нашарил крест и снова положил на то же место и снова поднял топор. На этот раз крест согнулся и кусок его удалось отломить пальцами. Железо было тверже золота — разрубить крест оказалось совсем нетрудно.

Жена священника уже не плакала и не кричала, как будто крест, изрубленный в куски, перестал быть чем-то святым и обратился просто в драгоценный металл, вроде золотого самородка. Она торопливо и все же очень медленно завертывала кусочки креста в тряпочки и укладывала их обратно в орденскую коробку.

Она надела очки и внимательно осмотрела лезвие топора, не осталось ли где золотых крупинок.

Когда все было спрятано, и сундук поставлен на место, священник надел свой брезентовый плащ и шапку, взял подойник и пошел через двор около длинной нарощенной доски — доить коз. С дойкой он запоздал, уже был белый день и давно открыты магазины. Магазины «Торгсина», где торговали продуктами на золото, открывались в десять часов утра.

ПЕРВЫЙ ЧЕКИСТ

Синие глаза выцветают. В детстве — васильковые превращаются с годами в грязномутные серо-голубые обывательские глазки; либо в стекловидные щупальцы следователей и вахтеров; либо в солдатские «стальные» глаза — оттенков бывает много. И очень редко глаза сохраняют цвет детства...

Пучок красных солнечных лучей делился переплетом тюремной решетки на несколько меньших пучков; где-то посреди камеры пучки света вновь сливались в сплошной поток, красно-золотой. В этой световой струе густо золотились пылинки. Мухи, попавшие в полосу света, сами становились золотыми, как солнце. Лучи заката били прямо в дверь, окованную серым глянцевитым железом.

Звякнул замок — звук, который в тюремной камере слышит любой арестант, бодрствующий и спящий, слышит в любой час. Нет в камере разговора, который бы мог заглушить этот звук. Нет в камере сна, который отвлек бы от этого звука. Нет в камере такой мысли, которая могла бы... Никто не может сосредоточиться на чем-либо, чтобы пропустить этот звук, не услышать его. У каждого замирает сердце, когда он слышит звук замка, — стук судьбы в двери камеры, в души, в сердце, в умы. Каждого этот звук наполняет тревогой. И спутать его ни с каким другим звуком нельзя.

Звякнул замок, дверь открылась, и поток лучей вырвался из камеры. В открытую дверь видно, как лучи пересекли коридор, кинулись в окно коридора, перелетели тюремный двор и разбились на оконных стеклах другого тюремного корпуса. Все это успели разглядеть все шестьдесят жителей камеры в то короткое время, пока дверь была открыта. Дверь захлопнулась с мелодичным звоном, похожим на звон старинных сундуков, когда захлопывают крышку. И сразу все арестанты,

жадно следившие за броском светового потока, за движением луча, как будто это было живое существо, их брат и товарищ, — поняли, что солнце снова заперто вместе с ними.

И только тогда все увидели, что у двери, принимая на свою широкую черную грудь поток золотых закатных лучей, стоит человек, щурясь от резкого света.

Человек был не молод, высок и широкоплеч, густая шапка светлых волос покрывала всю голову. Только приглядевшись, можно было понять, что седина давно уже высветлила эти желтые волосы. Морщинистое, похожее на рельефную карту лицо было покрыто множеством глубоких оспин — вроде лунных кратеров.

Человек был одет в черную суконную гимнастерку без пояса, расстегнутую на груди, в черных суконных брюках-галифе, в сапогах. В руках он мял черную шинель, изрядно потертую. Одежда держалась на нем кое-как — пуговицы были все спороты.

— Алексеев, — сказал он негромко, повертывая большую волосатую кисть руки ладонью к своей груди.

— Здравствуйте . . .

Но к нему уже шли, ободряя его нервным взрывчатым арестантским смехом, хлопали его по плечам, пожимали ему руки. Уже приближался староста камеры, выборное начальство, чтобы указать место новичку. — Гавриил Алексеев, — повторял медведеобразный человек. — И еще: Гавриил Тимофеевич Алексеев... Черный человек отодвинулся в сторону, и солнечный луч уже не мешал видеть глаза Алексеева — крупные, васильковые, детские глаза.

Камера скоро узнала подробности жизни Алексева — начальника пожарной команды Нарофоминской фабрики — оттуда и черный, казенный костюм. Да, член партии с лета 1917 года. Да, солдат-артиллерист, принимал участие в Октябрьских боях в Москве. Да, исключен из партии в двадцать седьмом году. Был восстановлен. И снова исключен — неделю тому назад.

Разно себя держат арестанты при аресте. Разломать

недоверье одних — очень трудное дело. Исподволь, день ото дня, привыкают они к своей судьбе, начинают кое-что понимать.

Алексеев был другого склада. Как будто он молчал много лет, и вот арест, тюремная камера, возвратили ему дар речи. Он нашел здесь возможность понять самое важное, угадать ход времени, угадать собственную свою судьбу и понять, почему... Найти ответ на то огромное, нависшее над всей его жизнью и судьбой, и не только над жизнью и судьбой его, но и сотен тысяч других, огромное, исполинское «почему».

Алексеев рассчитывал на оправдание, не спрашивая, а просто стараясь понять, сравнить, угадать.

С утра и до вечера он ходил взад-вперед по камере, огромный, медведеобразный, в черной гимнастерке без пояса, обняв кого-нибудь за плечи своей огромной лапой, и спрашивал, спрашивал... Или рассказывал.

— За что ж тебя исключили, Гаврюша...

— Да понимаешь как. Было занятие политкружка. Тема — Октябрь в Москве. А я ведь — Мураловский солдат, артиллерист, две раны получил. Я лично наводил орудия на юнкеров, это было у Никитских ворот. Мне говорит преподаватель на занятии: «Кто командовал войсками Советской власти в Москве в момент переворота?» Я говорю — Муралов, Николай Иванович. Я хорошо его знал, лично. Как я скажу иначе? Что я скажу?

— Это был провокаторский вопрос, Гавриил Алексеевич. Ведь ты знал, что Муралов объявлен врагом народа?

— Да ведь как иначе скажешь. Я ведь это не из политграмоты знаю. В эту же ночь меня и арестовали.

— А как ты попал в Нарофоминск? В пожарную команду?

— Пил очень. Демобилизовали меня из Чека еще в восемнадцатом году. Муралов же меня туда и направил. Как особо надежного... Ну, и болезнь у меня там началась.

— Какая болезнь, Гаврюша... Ты такой здоровый медведь...

— Увидите еще. Я и сам не знаю, что у меня за болезнь. Не могу ее запомнить. Что со мной бывает, не помню. А что-то бывает. Тревога начинается, злоба, и приходит Она...

— От водки?

— Нет, не от водки... От жизни. Водка само собой.

— А учиться бы... Дороги были все открыты.

— Да ведь как учиться. Одним учиться, а другим — учебу эту защищать. Не красно я говорю, а землячок? А потом года прошли — не на рабфак же идти. Остался этот ВОХР проклятый. Да водка. Да Она.

— А дети у тебя есть?

— Была дочь от первой жены. Ушла от меня. Сейчас живу с одной ткачихой. Ну, мой арест испугает ее до полусмерти. Если не до смерти. А мне арест — сразу легко. Ни о чем думать не надо. Все будет решено без меня. Подумают без меня. Как дальше жить Гаврюше Алексееву?

Прошло немного дней, всего несколько дней. Пришла Она.

Алексеев жалобно крикнул, размахнул руками и рухнул на нары навзничь. Лицо его посерело, пузырчатая пена текла из его синего рта, ослабевших губ. Теплый пот выступил на серых щеках, на волосатой груди. Соседи ухватились за руки, навалились на ноги Алексева. Тело его дрожало крупной дрожью. — Голову, голову ему берегите, — и кто-то подвернул черную шинель под потную голову с всклоченными волосами. Пришла Она. Припадок падучей продолжался очень долго, мощные клубки мускулов все вздувались, кулаки кого-то били, и неловкие пальцы соседей разжимали эти могучие кулаки. Ноги куда-то бежали, но навалившаяся тяжесть нескольких человек удерживала Алексева на нарах.

Вот мускулы постепенно ослабели, пальцы разжались. Алексеев спал.

Все это время дежурный по камере стучал в дверь, яростно вызывая врача. Ведь должен же быть какой-нибудь врач в Бутырках. Какой-нибудь Федор Петрович Гааз. Или просто дежурный военврач какого-то там ранга, лейтенант медицинской службы.

Вызвать врача оказалось не просто, но врач все-таки пришел. Врач явился в халате, надетом на офицерский мундир, в сопровождении двух дюжих помощников фельдшерского вида. Врач взобрался на нары и осмотрел Алексеева. Припадок за это время прошел, и Алексеев спал. Врач, не сказав ни слова и не ответив ни на один вопрос, которыми его осыпали окружившие арестанты, ушел. Вслед за ним ушли его безмолвные помощники. Звякнул замок — и вызвал взрыв возмущения. И когда первое волнение стихло, открылась «кормушка» в тюремной двери и дежурный надзиратель, сгибаясь, чтоб заглянуть в кормушку, сказал: «Врач сказал — ничего делать не надо. Это — эпилепсия. Следите, чтобы язык не западал... Будет следующий приступ — вызывать не надо. Лечить эту болезнь нечем».

Камера и не вызывала больше врача к Алексееву. А приступов эпилепсии у него было еще очень много.

Алексеев отлеживался после припадков, жалуясь на головную боль. Проходил день-два и снова выползала огромная медведеобразная фигура в черной суконной гимнастерке и в черных суконных брюках-галифе и шагала, шагала по цементному полу камеры. Снова сверкали синие глаза. После двух тюремных дезинфекций-«пропарок» черное сукно одежды Алексеева побурело и уже не казалось черным.

А Алексеев все шагал, шагал — простодушно рассказывал о своей прошлой жизни, о жизни до болезни, торопясь выложить очередному своему собеседнику то, что еще не было им сказано в этой камере.

— ... Сейчас, говорят, специальные исполнители есть. А знаешь, как у Дзержинского было поставлено дело?

— Как?

— Если Коллегия выносит вышка, приговор должен привести в исполнение тот следователь, который вел дело, тот, который докладывал и требовал высшей меры. — Ты требуешь смертной казни для этого человека? Ты убежден в его виновности, уверен, что он — враг и подлежит смерти? Убей своей рукой. Разница очень большая — подписать бумажку, утвердить приговор или убить самому...

— Большая...

— Кроме того, каждый следователь должен был найти и время и место для этих своих дел... Разно было. Одни в кабинете, другие в коридоре, в подвале каком-нибудь. Все это при Дзержинском следователь подготавливал сам... Тыщу раз подумаешь, пока станешь просить для человека смерти...

— Гаврюша, а расстрелы ты видал?

— Ну, видал. Кто их не видал.

— А правда, что тот, кого расстреливают, падает лицом вперед.

— Да, правда. Когда он смотрит на тебя.

— А если сзади стрелять...

— Тогда упадет спиной, навзничь.

— А тебе приходилось... так...

— Нет, я следователем не был. Я ведь малограмотный. Просто был в отряде. Боролся с бандитизмом и так далее. Заболел вот этой штукой и демобилизовали меня. Как припадочного. Да выпивать стал. Тоже, говорят, не способствует излечению.

Тюрьма не любит хитрецов. В камере каждый двадцать четыре часа в сутки у всех на глазах. Человеку не хватает сил скрыть свой истинный характер, притвориться не тем, что он есть, в следственной камере тюрьмы, в минутах, часах, сутках, неделях, месяцах, напряженности, нервности, — когда всё лишнее, показное слетает с людей как шелуха. И остается истина — созданная не тюрьмой, но тюрьмой проверенная и испытанная. Воля, еще не сломленная, не раздавленная, как почти неизбежно бывает в лагере. Но кто думал тогда

о лагере, о том, что это такое. Некоторые, может быть, знали и рады бы рассказать о лагере, предупредить новичка. Но человек верит тому, чему хочет верить.

Вот сидит чернобородый Вебер, силезский коммунист, коминтерновец, которого привезли с Колымы на «доисследование». Он знает, что такое лагерь. А вот Александр Григорьевич Андреев, бывший генеральный секретарь общества политкаторжан, правый эсер, знавший и царскую каторгу, и советскую ссылку. Андреев, тот знает какую-то истину, незнакомую большинству. Рассказать об этой истине нельзя. Не потому, что она — секрет, а потому, что в нее нельзя поверить. Поэтому и Вебер, и Андреев молчат. Тюрьма — это тюрьма. Следственная тюрьма — это следственная тюрьма. У каждого свое дело, своя борьба, свое поведение, которого не подскажешь, свой долг, свой характер, своя душа, свой запас душевных сил, свой опыт. Человеческие качества испытываются не только и не столько тюремной камерой, за стенами камеры, в каком-нибудь кабинетике следовательском. Судьба, которая зависит от цепи случайностей, а чаще — вовсе от случайностей не зависит.

Даже следственная тюрьма — не только срочная — любит простодушных, откровенных. К Алексеву камера относилась доброжелательно. Любила ли его? Разве в следственной камере могут кого-нибудь любить? Ведь это следствие, транзитка, пересылка. К Алексеву камера относилась доброжелательно.

Шли недели, месяцы, Алексева все не вызывали на допросы. И Алексеев все — шагал, шагал.

Есть две школы следователей. Первая считает, что арестованного нужно ошарашить, оглушить немедленно. Эта школа строит свой успех на быстрой психологической атаке, напоре, подавлении воли следственного арестанта, пока тот не очухался, не огляделся, не собрался с силами нравственными. Допросы следователи этой школы начинают в ночь ареста, многочасовые, с всевозможными угрозами. Вторая школа считает, что

тюремная камера только измучит, ослабит волю арестованного к сопротивлению. Чем дольше пробудет в следственной камере арестант до встречи со следователем — тем это выгоднее следователю. Арестованный готовится к допросу, первому в его жизни допросу, напрягаясь изо всех сил. А допроса нет. Нет неделю, месяц, два месяца. Всю работу по подавлению психики арестанта за следователя делает тюремная камера.

Неизвестно, как использует первая и вторая школы такое эффективное оружие, как пытки. Рассказ этот относится к началу тридцать седьмого года, а пытать стали только со второй половины года.

Следователь Гавриила Тимофеевича Алексеева принадлежал ко второй школе.

К концу третьего месяца алексеевского хождения по камере прибежала девушка в военной гимнастерке и вызвала Алексеева — «с инициалом, но без вещей» — стало быть на допрос. Алексеев причесал свои светлые кудри собственной пятерней — и, поправив свою побуревшую гимнастерку, шагнул за порог камеры.

С допроса он пришел скоро. Допрашивали, значит, в особом корпусе допросном, никуда не возили. Алексеев был удивлен, подавлен, поражен, потрясен и испуган.

— Что-нибудь случилось, Гавриил Тимофеевич?

— Да, случилось. Новое на допросе. Обвиняют в заговоре против правительства.

— Спокойней, Гаврюша... В этой камере всех обвиняют в заговоре против правительства.

— Убить, говорят, хотел.

— И это часто бывает. А в чем тебя раньше обвиняли?

— Да в Нарофоминске после ареста. Я начальником пожарной охраны на текстильной фабрике был. Не велик чин, стало быть.

— Чинов тут не разбирают, Гаврюша.

— Вот и допрашивали про занятия политкружка. Что хвалил Муралова. А я ведь у него в отряде в Москве был. Как скажу... А сейчас вдруг совсем и не о Муралове речь.

Оспины и морщины обозначались резче. Алексеев улыбался как-то нарочито спокойно и в то же время неуверенно, и синие глаза его вспыхивали все реже. Но страшное дело — эпилептические припадки стали реже. Близкая опасность, необходимость бороться за жизнь отодвинула, что ли, в сторону припадки.

— Что делать? Они угробят меня.

— Ничего не надо делать. Говори только правду. Показывай правду, пока в силах.

— Так ты думаешь, что ничего не будет?

— Напротив, обязательно что-нибудь будет. Без этого отсюда не выпускают, Гаврюша. Но расстрел — не одно и то же, что десять лет срока. А десять лет — не пять.

— Я понял.

Гавриил Тимофеевич стал чаще петь. А пел он чудесно. Тенор был такой чистый, светлый. Пел Алексеев не громко, в дальнем углу от «волчка».

Как хороша была та ночка голубая,
Как ласково светила бледная луна...

Но чаще, все чаще другая:

Отворите окно, отворите,
Мне недолго осталось жить.
И меня на свободу пустите,
Не мешайте страдать и любить.

Алексеев обрывал песню, вскакивал и шагал, шагал...

Ссорился он очень часто. Тюремная жизнь, следственная жизнь располагают к ссорам. Это надо знать, понимать, все время держать себя в руках или уметь отвлекаться... Гавриил Алексеев не знал этих тюремных тонкостей и лез на ссору, на драку.

Тот что-то сказал Гавриилу Алексееву поперек, тот оскорбил Муралова. Муралов был богом Алексеева. Это был бог его юности, бог всей его жизни.

Когда Вася Жаворонков, паровозный машинист из Савеловского депо, сказал что-то о Муралове — в стиле

последних партийных учебников, Алексеев бросился на Васю, схватил медный чайник, в котором раздавали в камере чай.

Этот чайник, оставшийся в Бутырской тюрьме еще с царских времен, был огромным медным цилиндром. Начищенный кирпичом, чайник сверкал, как закатное солнце. Приносили этот чайник на палке, а наши дежурные, когда разливали чай, держали чайник вдвоем.

Силач, геркулес, Алексеев смело ухватился за ручку чайника, но не мог его сдернуть с места. Чайник был полон воды — еще до ужина, когда чайник уносили, было далеко.

Так все смехом и кончилось, хотя Вася Жаворонков, побледнев, готовился встретить удар. Вася Жаворонков был почти одноделец Гавриила Тимофеевича. Его тоже арестовали после занятия политкружка. Ему задал вопрос руководитель занятий: «Что бы ты делал, Жаворонков, если бы Советской власти внезапно не стало?» Простодушный Жаворонков ответил: «Как что?» Работал бы машинистом в депо, как и сейчас. У меня четверо детей». На следующий день Жаворонков был арестован, и следствие уже было закончено — машинист ждал приговора. Дело было сходное и Гавриил Алексеев консультировался у Жаворонкова и были они друзьями. Но когда обстоятельства Алексеевого дела изменились — его стали обвинять в заговоре против правительства — трусоватый Жаворонков отдалился от приятеля. И замечание насчет Муралова не преминул вставить.

.

Только успокоили Алексеева в этой полукомической схватке с Жаворонковым, как вспыхнула новая ссора. Алексеев вновь обозвал кого-то хитроvanом. Снова Алексеева оттаскивали от кого-то. Уже вся камера понимала и знала: скоро должна была придти Она. То-

варищи ходили рядом с Алексеевым, взяв его под руки, готовые ежесекундно ухватить его руки, ноги, поддержать голову. Но Алексеев вдруг вырвался, спрыгнул на подоконник, вцепился обеими руками в тюремную решетку и тряс ее, тряс, ругаясь и рыча. Черное тело Алексеева висело на решетке, как огромный черный крест. Арестанты отрывали пальцы Алексеева от решетки, разгибали его ладони, спешили, потому что часовой на вышке уже заметил возню у открытого окна.

И тогда Александр Григорьевич Андреев, генеральный секретарь общества политкаторжан, сказал, показывая на черное, сползающее с решетки тело:

— Первый чекист . . .

Но в голосе Андреева не было злорадства.



ВЕЙСМАНИСТ

На земле, у порога амбулатории были свежие следы медвежьих когтей. Замочек, хитрый винтовой замочек, которым запиралась дверь, валялся в кустах, вырванный вместе с пробоями, прямо «с мясом» . . .

Внутри домика пузырьки, бутылки, банки были сметены с полок на пол и превращены в стеклянную кашу. Грубый запах валерьяновых капель держался в домике.

Тетрадки фельдшерских курсов, где учился Андреев, были изорваны в клочья. Несколько часов Андреев с трудом, по листочку, собирал свои драгоценные записки — ведь никаких учебников на фельдшерских курсах не было. Для борьбы с болезнями фельдшер Андреев был вооружен в глубокой тайге только этими тетрадками. Одна из тетрадок пострадала больше других: тетрадка по анатомии, и первый лист ее, где неумелой андреевской рукой, никогда не учившейся рисованию, была изображена схема деления клетки, элементы клеточного ядра, таинственные хромосомы. Медвежьи когти так яростно терзали этот чертеж, эту тетрадку с обложкой из целлюлозы, что тетрадку пришлось бросить в печку, в железную печку. Потеря была невозможной. Это был курс лекций профессора Уманского.

Фельдшерские курсы были при больнице для заключенных, а Уманский был патологоанатомом, прозектором, заведующим моргом. Патологоанатом — высший, как бы загробный контроль работы лечащих врачей. На «секции», на рассечении, на вскрытии трупа судят о правильности диагноза, правильности лечения.

Но морг для заключенных — это особый морг. Казалось бы, великая демократка смерть не должна была интересоваться, кто лежит на секционном столе морга, не должна была говорить с трупами на разных языках.

Лечить заключенного больного, да еще заключенному врачу, не просто, если этот врач — не подлец.

И в больнице, и в морге для заключенных всё делается по той же самой форме, какую надлежит соблюдать в любой больнице мира. Но масштабы смещены — и истинное содержание «истории болезни» арестанта иное, чем «история болезни» вольнонаемного.

Тут дело не только в том, что представитель смерти — патологоанатом — сам еще живой человек с живыми страстями, обидами, достоинствами и недостатками, разным опытом. Тут дело в чем-то большем, ибо официальной сухости протокола «секции» бывает мало и для жизни и для смерти.

Если больной умирал при диагнозе рака, а злокачественной опухоли при вскрытии не оказалось — было только глубочайшее, запущенное истощение, Уманский негодовал и не прощал врачей, не сумевших спасти от голода арестанта. Но если было видно, что врач понимает, в чем дело, и, не имея права назвать истинный диагноз «алиментарная дистрофия», лихорадочно ищет синонимов (голод в виде авитаминозов, полиавитаминозов, скорбут III, пеллагра, им же имя легион), Уманский помогал врачу своим твердым суждением. И больше того. Если врач хотел ограничиться вполне respectable диагнозом гриппозной пневмонии или сердечной недостаточностью, то указующий перст патологоанатома возвращал внимание врачей к лагерным особенностям любого заболевания.

Врачебная совесть Уманского тоже была связана, закована. Первый официальный диагноз «алиментарной дистрофии» был поставлен после войны, после Ленинградской блокады, когда голод и в лагерях назван был своим надлежащим словом.

Патологоанатому надо было бы быть судьей, а Уманский был сообщником... Потому-то он и был судьей, что мог быть сообщником. Как бы он ни был связан инструкцией, приказом, разъяснениями, Уманский смотрел глубже, дальше, принципиальней. Свои обязанности видел он не в том, чтобы ловить врачей на мелочах, на мелких ошибках, а в том, чтобы видеть — и указать

другим! — то большое, что стояло за этими мелочами, тот «фон» голодного истощения, меняющий картину болезни, которую врач изучал по учебнику. Учебник болезней заключенных еще не был написан. Он никогда не был написан.

Отморожения в лагере — ошеломительны для приехавших с материка фронтовых хирургов. Лечение переломов ведется вопреки воле больных. Для того чтобы попасть в туберкулезное отделение, больные возят с собой чужие «харчки» и берут в рот явно «бацильную» отраву перед анализом при поступлении. Больные подбалтывают кровь в мочу, оцарапав собственный палец, чтобы попасть в больницу, чтобы хоть на день, хоть на час избавиться от самого страшного, что существует в заключении, — от убийственного и унижительного труда.

Уманский, как и все старые колымчане-врачи, знал всё это, одобрял и прощал. Учебник болезней заключенных не был написан.

Уманский получил медицинское образование в Брюсселе, а в революцию вернулся в Россию, жил в Одессе, лечил...

В лагере он понял, что для совести спокойней резать мертвых, а не лечить живых. Уманский стал заведующим моргом, патологоанатомом.

Семидесятилетний, еще не дряхлый старик с расштаннанным протезом обеих челюстей, серебряной головой, коротко остриженный по-арестантски, остряк с вздернутым носом вошел в класс.

Для курсантов его лекция имела особое значение. Не потому, что это была первая лекция, а потому, что отныне, с первого слова, сказанного профессором Уманским, курсы начинали жить, начинали существовать въявь и всерьез, какой бы ни казалось это курсантам сказкой. Время тревог миновало. Решение об открытии курсов принято. Для многих навсегда не будет изнурительного труда в золотых забоях, повседневной борьбы

за жизнь. Учение начато курсом лекций профессора Уманского: «Анатомия и физиология человека».

Серебряноголовый старик в расстегнутом полушубке, черном поношенном полушубке — полушубке, не в ватном бушлате, как ходили мы, — подошел к доске и взял огромный кусок мела в свой маленький кулачок. Скомканную шапку-ушанку профессор бросил на стол — был апрель, холодно было еще.

— Я начну свои лекции с рассказа о строении клетки. Сейчас много споров в науке...

Где? Каких споров? Прошлая жизнь всех тридцати человек — от бывшего следователя до продавца из сельмага — была очень далека от жизни любой науки... Прошлая жизнь курсантов была более далека от нас, чем загробная, — в этом-то уж каждый из курсантов был уверен... Какое им было дело до каких-то споров в какой-то науке. Да и что это за наука — анатомия? физиология? биология? микробиология? Ни один курсант не сказал бы в тот день, что это такое «биология». Те курсанты, что были пограмотней других, достаточно много голодали, чтобы не сохранить интереса к спорам в какой-то науке...

— ... много споров в науке. Сейчас принято излагать эту часть курса по-другому, но я буду рассказывать вам так, как считаю верным. Я договорился с вашей администрацией, что этот раздел буду излагать по-своему.

Андреев попробовал вообразить себе эту администрацию, с которой договорился брюссельский профессор: начальник больницы, который острым взглядом вахтера пронизывал каждого курсанта на вступительном экзамене; или пахнущий спиртом, икающий красноносый исполняющий обязанности начальника санотдела. Больше никакой высшей администрации Андреев придумать, вообразить не мог.

— ... этот раздел буду излагать по-своему. И перед вами я не хочу скрывать своего мнения.

— Скрывать своего мнения, — повторил шепотом

Андреев, восхищенный этими необыкновенными словами из необыкновенной науки.

— ... не хочу скрывать своего мнения. Я — вейсманист, друзья мои...

Уманский сделал паузу, чтобы мы могли оценить его смелость и его деликатность.

Вейсманист? Это курсантам было всё равно.

Никто из тридцати человек не знал и никогда не узнал, что такое митоз и что такое нуклеопротейдные нити — хромосомы, содержащие дезоксирибонуклеиновую кислоту.

Не интересовалась дезоксирибонуклеиновой кислотой и администрация больницы.

Но прошел год-два, всю общественную жизнь по разным направлениям прорезали темные лучи биологической дискуссии, и слово «вейсманист» стало достаточно ясным понятием для следователей со средним юридическим образованием и для обыкновенных людей, подверженных бурям политических репрессий. «Менделлист-вейсманист» звучало грозно, звучало зловеще, вроде хорошо известных «троцкист» и «космополит».

Именно тогда, через год после биологической «дискуссии», Андреев вспомнил и оценил и смелость и деликатность старика Уманского.

Тридцать карандашей рисовало в тридцати тетрадях воображаемые хромосомы. Вот эта-то тетрадка с хромосомами и вызвала особенную ярость медведя.

Не только таинственными хромосомами, не только снисходительными и умными «секциями» запомнился Андрееву Уманский.

В конце курса, когда новобранцы медицины уже чувствовали на себе белый фельдшерский халат, отделяющий медиков от обыкновенных смертных, Уманский вновь выступил со странным заявлением.

— Я не буду вам читать анатомию половых органов. Я договорился с вашей администрацией. Для прошлых выпусков эта часть читалась. Доброго не получилось ничего. Лучше отдам эти часы для терапевтической

практики — банки по крайней мере научитесь ставить.

Так курсанты и получили дипломы, не проходя важного раздела анатомии. Но разве только этого не знали будущие фельдшера?

Через месяц-два после начала курсов, когда вечно сосущий голод удалось остановить, побороть, заглушить, и Андреев уже не бросался поднимать каждый окурок, который видел на дороге, на улице, на земле, на полу, и на лице Андреева стали проступать какие-то новые — или старые? — человеческие черты, сам взгляд, не только глаза, стал более человеческим, Андреев был приглашен пить чай к профессору Уманскому.

Поцарапанная эмалированная кружка с горячим чаем ждала Андреева. Рядом с кружкой стоял стакан хозяина — настоящий стеклянный стакан, зеленоватый, мутный и невероятно грязный даже на привыкший ко всему андреевский взгляд. Уманский никогда не мыл своего стакана. Это тоже было открытием Уманского, его вкладом в науку гигиену, принципом, который проводился Уманским в жизнь со всей твердостью, настойчивостью и педагогической нетерпимостью.

— Немытый стакан в наших условиях чище, стерильнее, чем мытый. Это — лучшая гигиена, единственная, может быть . . . Вы поняли?

Уманский пощелкал пальцами.

В полотенце больше инфекции, чем в воздухе. Эрго: стакан не следует мыть. У меня староверский, личный стакан. И полоскать не следует — в воздухе меньше инфекции, чем в воде. Азбука санитарии и гигиены. Вы поняли?

Уманский прищурился.

— Это — открытие не только для морга.

Чай — это был именно чай. Хлеба и сахару тут не полагалось, да Андреев и не ждал такого чаепития с хлебом. Чай — это была вечерняя беседа с профессором Уманским, беседа в тепле, беседа один на один.

Уманский жил в морге, в канцелярии морга. Двери в прозекторскую вовсе не было, и секционный стол, за-

стеленный, впрочем, клеенкой, был виден из комнаты Уманского из всех углов. Дверь в прозекторскую не существовала, но Уманский принюхался ко всем запахам на свете и вел себя так, как будто дверь — есть. Андреев не сразу сообразил, что именно делает комнату — комнатой, а потом понял, что комнатный пол настлан на полметра выше, чем пол прозекторской. Работа кончалась, и на свой рабочий стол Уманский ставил фотографию молодой женщины, фотографию в жестяной какой-то оправе, заделанную грубо и неровно зеленоватым оконным стеклом. Личная жизнь профессора Уманского и начиналась с этого выверенного, привычного движения. Пальцы правой руки хватались за доску выдвигаемого ящика, вытаскивали ящик, упирая его в живот профессора.левой рукой Уманский доставал фотографию и ставил на стол перед собой . . .

— Дочь?

— Да. Если сын, было бы гораздо хуже, не правда ли?

Разницу между сыном и дочерью для заключенного Андреев понимал хорошо. Из ящиков стола — ящиков оказалось очень много — профессор Уманский извлек бесчисленные листы нарезанной рулонной бумаги, измятой, изношенной, расчерченной на столбики, множество столбиков, множество строк. В каждую клеточку мелким почерком Уманского было вписано слово. Тысячи, десятки тысяч слов, написанных выгоревшими от времени химическими чернилами, кое-где подновленными. Уманский знал, наверное, двадцать языков . . .

— Я знаю двадцать языков, — сказал Уманский. — Еще до Колымы знал. Отлично знаю древнееврейский. Это — корень всего. Здесь, в этом самом морге, в соседстве трупов я изучил арабский, тюркский, фарси, грузинский . . . Составил таблицу — сводку единого языка. Вы понимаете, в чем дело?

— Мне кажется, да, — сказал Андреев. — Мать — «мугтер», брат — «брудер».

— Вот-вот, но — всё гораздо сложнее, важнее. Я

сделал кое-какие открытия. Этот словарь будет моим вкладом в науку, оправдает мою жизнь. Вы не лингвист?

— Нет, профессор, — сказал Андреев, и колющая боль пронзила его сердце — ему так захотелось в этот момент быть лингвистом.

— Жаль.

Чуть изменился чертеж морщин лица Уманского и снова сложился в привычное ироническое выражение.

— Жаль. Это занятие — интересней медицины. Но медицина — надежней, спасительней.

Уманский учился в Брюсселе. После революции вернулся на родину, работал врачом, лечил. Уманский разгадал суть тридцать седьмого года. Понимал, что его долгая заграничная жизнь, его знание языков, его свободомыслие — достаточный повод для репрессий; старик попытался перехитрить судьбу. Уманский сделал смелый ход — он поступил на службу в Дальстрой, завербовался на Колыму, на Дальний Север как врач и приехал в Магадан вольнонаемным. Лечил и жил. Увы, Уманский не учел универсализма действующих инструкций — Колыма его не спасла, как не спас бы и Северный полюс. Уманский был арестован, судим трибуналом и получил срок в десять лет. Дочь отказалась от «врага народа», исчезла из жизни Уманского, осталась только случайно сохранный фотография на письменном столе брюссельского профессора. Десятилетний срок уже кончился, зачеты рабочих дней Уманский получал аккуратно и очень интересовался этими зачетами рабочих дней.

Еще в сорок шестом году, в больничном морге, после очередного чаепития с Андреевым и лингвистического заклинания, Уманский зашептал на ухо Андреева, почти задыхаясь:

— Самое главное — пережить Сталина. Все, кто переживет Сталина, — будут жить. Вы поняли? Не может быть, чтобы проклятия миллионов людей на его голову

не материализовались. Вы поняли? Он непременно умрет от этой ненависти всеобщей. У него будет рак или еще что-нибудь. Вы поняли? Мы еще будем жить.

Андреев молчал.

— Я понимаю и одобряю вашу осторожность, — сказал Уманский, уже не шепча. — Вы думаете, что я провокатор какой-нибудь? А мне семьдесят лет.

Андреев молчал.

— Вы правильно молчите, — сказал Уманский. — Провокаторы были и семидесятилетними стариками. Всё было...

Андреев молчал, восхищаясь Уманским, не в силах преодолеть себя и заговорить. Это безотчетное всесильное молчание было частью поведения, к которому привык Андреев за свою лагерную жизнь с множеством обвинений, следствий и допросов, внутренних правил, которые не так-то просто было нарушить, отбросить. Андреев пожал руку Уманского, сухую горячую маленькую старческую ладонь с цепкими горячими пальцами.

Когда профессор кончил срок, он получил пожизненное прикрепление к Магадану. Уманский умер 4 марта 1953 года, до последней минуты продолжая свою никому не завещанную, никем не продолженную работу по лингвистике. Профессор так никогда и не узнал, что создан электронный микроскоп и хромосомная теория получила экспериментальное подтверждение.

—oOo—

ПРИЧАЛ АДА

Тяжелые двери трюма открылись над нами, и по узкой железной лестнице поодиночке мы медленно выходили на палубу. Конвойные были расставлены густой цепью у перил на корме парохода, винтовки нацелены были на нас. Но никто не обращал на них внимания. Кто-то кричал — скорей, скорей, толпа толкалась, как на любом вокзале на посадке. Путь показывали только первым — вдоль винтовок к широкому трапу — на баржу, а с баржи другим трапом — на землю. Плавание наше окончилось. Двенадцать тысяч человек привез наш пароход, и пока выгружали их — было время оглядеться.

После жарких, по-осеннему солнечных владивостокских дней, после чистейших красок закатного дальневосточного неба — безупречных и ярких, без полутонов и переходов, запомнившихся на всю жизнь.

Шел холодный мелкий дождь с беловато-мутного, мрачного, одноцветного неба. Голые, безлесные, каменные зеленоватые сопки стояли прямо перед нами, и в прогалинах между ними у самых их подножий вились косматые грязно-серые разорванные тучи. Будто клочья громадного одеяла прикрывали этот мрачный горный край. Помню хорошо — я был совершенно спокоен, готов на что угодно, но сердце забилося и сжалось невольно. И отводя глаза, я подумал: нас привезли сюда умирать.

Куртка моя медленно намокала. Я сидел на своем чемодане, который по вечной суетности людской захватил при аресте из дома. У всех, у всех были вещи: чемоданы, рюкзаки, свертки одеял... Много позже я понял, что идеальное снаряжение арестанта — это небольшая холщевая торба и деревянная ложка в ней. Все остальное, будь это огрызок карандаша или одеяло — только мешает. Чему-чему, а уж презрению к личной собственности нас выучили изрядно.

Я глядел на пароход, прижавшийся к пирсу, такой маленький и пошатываемый серыми, темными волнами.

Сквозь серую сетку дождя проступали мрачные силуэты скал, окружавших бухту Нагаево, и только там, откуда пришел пароход, виднелся бесконечно горбатый океан, как огромный зверь лежал на берегу, тяжело вздыхая, и ветер шевелил его шерсть, ложившуюся чешуйчатыми, блестящими и в дожде волнами.

Было холодно и страшно. Горячая осенняя яркость красок солнечного Владивостока осталась где-то там, в другом, настоящем мире. Здесь был мир недружелюбный и мрачный.

Никаких жилых зданий не было видно вблизи. Единственная дорога, огибавшая сопку, уходила куда-то вверх.

Наконец выгрузка была окончена и уже в сумерках «этап» медленно двинулся в горы. Никто ничего не спрашивал. Толпа людей поползла по дороге, часто останавливаясь для отдыха. Чемоданы стали слишком тяжелы — одежда намокла.

Два поворота, и рядом с нами, выше нас на уступе сопки мы увидели ряды колючей проволоки. К проволоке изнутри прижались люди. Они что-то кричали, и вдруг к нам полетели буханки хлеба. Хлеб перебрасывали через проволоку, мы ловили, разламывали и делили. За нами были месяцы тюрьмы, 45 дней поездного этапа, 5 дней моря. Голодны были все. Никому денег на дорогу не дали. Хлеб поедался с жадностью. Счастливчик, поймавший хлеб, делил его между всеми желающими — благородство, от которого через три недели мы отучились навсегда.

Нас вели все дальше, все выше. Остановки становились все чаще. И вот деревянные ворота, колючая проволока и внутри ее ряды темных от дождя брезентовых палаток — белых и светлозеленых, огромных. Нас делили счетом, наполняя одну палатку за другой. В палатках были деревянные двухэтажные нары «вагон-

ной системы» — каждая нара на 8 человек. Каждый занял свое место. Брезент протекал, лужи были и на полу и на нарах, но я был так утомлен (да и все устали не меньше меня) — от дождя, воздуха, перехода, намокшей одежды, чемоданов, — что кое-как свернувшись, не думая о просушке одежды, — да и где ее сушить — я лег и заснул. Было темно и холодно...



В БОЛЬНИЦУ

Крист был высокого роста, а фельдшер еще выше, широкоплечий, мордастый — Кристу уже давно, много лет, все начальники казались мордастыми. Поставив Криста в угол, фельдшер разглядывал свою добычу с явным одобрением.

— Так ты санитаром был, говоришь?

— Был.

— Это хорошо. Мне нужен санитар. Настоящий санитар. Чтобы был порядок. — И фельдшер обвел рукой огромную мертвую амбулаторию, похожую на конюшню.

— Мне в больницу надо, — сказал Крист заискивающе. — Я болен.

— Все больны. Успеешь. Порядочек наведем. Пустим вот этот шкаф в дело, — фельдшер постучал по дверце огромного пустого шкафа. — Ну, время позднее. Ты вымой полы. И ложись... Меня по подъему разбудишь.

Не успел Крист разогнать ледяную воду по всем уголкам холодной, замороженной амбулатории, как сонный голос нового хозяина прервал его работу. Крист вошел в соседнюю комнату — такую же конюшнеобразную с прижатым в угол топчаном. Укрытый грудой рваных одеял, полушубков, тряпья, засыпающий фельдшер звал Криста.

— Снимай с меня валенки, санитар!

Крист стащил с ног фельдшера вонючие валенки.

— Поставь к печке — повыше. А утром подашь тепленькими. Я люблю тепленькие.

Крист отогнал тряпкой грязную ледяную воду, вытер пол амбулатории, лег на топчан, забылся своим всегдашним полусном и — как бы через мгновенье — проснулся. Фельдшер тряс его за плечо.

— Ты что же это? Развод давно идет.

— Я не хочу работать санитаром. Отправьте меня в больницу.

— В больницу? Больницу надо заслужить... Значит, не хочешь работать санитаром?

— Нет, — сказал Крист, привычным движением оберегая лицо от ударов.

— Выходи на работу! — Фельдшер вытолкал Криста из амбулатории и сквозь туман прошагал вместе с Кристом к вахте.

— Гоняйте его, гоняйте, — кричал фельдшер конвоирам, выводявшим очередную партию заключенных за «проволоку», — это лодырь, симулянт.

Многоопытные конвоиры небожно тыкали Криста штыками и прикладами. Партия пошла быстрее. Носили плавник в лагерь, легкая работа. Плавник за два километра из весенних заломов горной вымерзшей до дна реки. Обмытые, высушенные ветром бревна было трудно вытащить из залама — там бревна держали руки водорослей, сучьев, камней. Но плавника было много, непосильных бревен не попадалось. Крист радовался этому. Каждый заключенный выбирал себе бревно по силе. Путешествие за два километра отнимало чуть не целый рабочий день. Это была инвалидная «командировка» — поселок, и спроса было немного. Витаминный ОЛП. Отдельный лагерный пункт Витаминный. Да здравствует Вита! Но Крист не понимал, не хотел понимать этой страшной иронии. День проходил за днем, а Криста в больницу не отправляли. Отправляли других, но не Криста, не захотевшего быть «сенитаром» у фельдшера. Каждый день фельдшер приходил на вахту и показывал на Криста рукавицей, кричал конвоирам: гоняйте его, гоняйте! И все начиналось сначала.

Больница, желанная больница была всего в четырех километрах от поселка. Но для того чтобы туда попасть, нужно направление. Фельдшер понимал, что он хозяин жизни и смерти Криста. Понимал это и Крист.

От барака, где спал Крист, — это и называется в лагере «жил» — до вахты было всего метров сто. Витаминный поселок этот был одним из самых заброшенных — тем выше, толще, больше казался фельдшер и

тем ничтожной — Крист. На этой стометровой дороге Крист встретил — он не мог вспомнить — кого? А человек уже прошел мимо, скрылся в тумане. Ослабевшая, голодная память не могла подсказать Кристу ничего. И все же... Крист думал день и ночь, преодолевая мороз, голод и боль отмороженных рук и ног. Кто? Кто встретился ему на тропе? Или Крист сходит с ума? Крист знал того человека, ушедшего в туман. Знал не по Москве, не по воле. Нет, гораздо важнее, гораздо ближе, гораздо нужнее. И Крист вспомнил. Два года назад этот человек был начальником лагеря, тоже ОЛП'а, но не Витаминного, а золотого, золотого прииска, где встретился Крист лицом к лицу с Колымой. Это был начальник, «обсос», как говорят блатные, вольнонаемный начальник — и его судили при Кристе. Начальник куда-то исчез. Говорили, что расстреляли — и вот он — встретился с Кристом на тропке витаминной командировки. Крист нашел его в конторе лагерной. Тот работал на какой-то неизвестной должности, но несомненно «канцелярской». У бывшего начальника была, конечно, пятьдесят восьмая, но не «литер», и ему было разрешено работать в конторе.

Конечно, это Крист мог знать и узнать начальника. Начальник же Криста помнить не мог. И все-таки... Крист подошел к загородке, за которой сидят во всем мире конторщики.

— Что, уличаешь, что ли? — по-блатному сказал бывший начальник лагеря, поворачиваясь к Кристу лицом.

— Да... Я ведь с прииска, — сказал Крист.

— Рад видеть землячка. — И хорошо понимая Криста, бывший начальник сказал:

— Подойди ко мне вечером. Я тебе селедку вынесу.

Ни имени, ни фамилии друг друга они не знали. Но то ничтожное, кратковременное, что их соединяло когда-то случайно, вдруг сделалось силой, которая может изменить человеческую жизнь. И сам человек, отдавая свою селедку не своим витаминным товарищам,

а Криту, который был на золоте, помнил, что золото и витаминная командировка — разные вещи. Ни тот, ни другой не говорили об этом. Оба понимали, оба чувствовали: Крест — какое-то свое подземное право, а бывший начальник — свой долг.

Каждый вечер бывший начальник выносил Криту селедку — все крупнее. Лагерный повар не удивлялся внезапному капризу конторщика, который месяцами эту селедку не брал в кухне. Крест съедал эту селедку по своей приисковой золотой привычке — со шкурой, с головой, с костями. Иногда бывший начальник приносил и недоеденный, обкусанный хлеб. Можно было оглядеться.

Крест рассказал бывшему начальнику, что его, Креста, отправляли в больницу, а фельдшер своей властью оставил его здесь и вот...

— Да, фельдшер здесь сучара хорошая. Я здесь больше года, никто еще здесь лепилу не похвалил. Но мы обманем его. В больницу здесь отправляют каждый день. А списки пишу я.

И бывший начальник улыбнулся.

Вечером Креста вызвали на вахту. Там уже стояло двое заключенных — в руках у одного из них был маленький фанерный чемоданчик.

— Конвоя нет отправить вас, — на крыльцо вышел дежурный. — Завтра отправим. — Для Креста это было смертью: завтра все разоблачится. Фельдшер загонит Креста — в какой-нибудь... Крест не знал, как называется этот ад, куда он может попасть, — что будет хуже того, что Крест уже видел? Но Крест не сомневался, что такие места, где еще хуже, — есть. Оставалось ждать и молчать. Снова вышел дежурный. — Идите в барак, не будет конвоя. Но взмолился арестант с чемоданчиком.

— Давайте мне направление, гражданин дежурный, и я всех доведу. Лучше всякого бойца. Ведь вы же знаете меня? Ведь так делали не один раз. Я — бесконвойный, а те — куда они убегут. В ночь, в мороз.

Дежурный ушел внутрь вахты и сейчас же вернулся, и подал человеку с чемоданчиком бумагу.

— Вещи с вами?

— Какие вещи...

— Ну, айда...

Железная щеколка открылась и выпустила троих арестантов в белую морозную мглу.

Бесконвойный шел впереди — бежал, по мнению Криста. Туман кое-где раздвигался, пропуская желтый свет уличных электрических фонарей.

Прошло бесконечно много времени. Капли горячего пота ползли по впалому животу Криста, по костлявой его спине. Сердце Криста стучало, стучало. А Крист все бежал за своими ускользящими во мглу товарищами.

На углу поселка начиналось большое шоссе.

— Ждать тебя!

Крист испугался, что его бросят, оставят.

— Слышь, ты, — сказал бесконвойный. — Знаешь, где больница?

— Знаю.

— Мы пойдем вперед. А у больницы подождем.

Товарищи исчезли в темноте, а Крист, отдышавшись, пополз вдоль кювета, поминутно останавливаясь и снова бросаясь вперед. Рукавицы Крист потерял и не замечал, что царапает снег, лед и камень голыми своими ладонями. Крист рычал, сопел, царапал землю. Впереди ничего не было видно, кроме белой мглы. Из этой белой мглы, яростно гудя, выскакивали огромные грузовики и сейчас же скрывались в тумане. Но Крист не останавливался, чтобы пропустить мимо себя машину и снова ползти к больнице. Он держался руками за кювет, за валик кювета — как огромный канат был протянут через ледяную бездну — к теплу, и спасенью.

Крист полз, полз, полз...

Мгла слегка поредела, и Крист увидел поворот к больнице и крошечные домики больничного поселка.

Метров триста, не больше. И снова зарывав, Крест пополз.

— Мы уже думали, подох ты, — равнодушно и не зло сказал бесконвойник, стоявший на крыльце больничного барака. — Нас без тебя не принимают тут.

Но Крест не слушал и не отвечал. Теперь наступало самое главное, самое трудное — положат его в больницу или не положат?

Пришел врач — молодой, чистый человек в неправдоподобно белом халате. Записал всех в книгу.

— Раздевайтесь.

Кожа Креста шелушилась, слетала с тела легкими пластинками, как дактилоскопические отпечатки в «личном деле».

— Пеллагра называется, — сказал бесконвойник.

— У меня тоже было это, — сказал третий, — и это были первые и единственные его слова, которые услышал Крест.

— Перчатки с обеих рук снимали. В Магадан послали, в музей.

— В музей? — презрительно сказал бесконвойник. — Мало таких перчаток в Магадане. — Но третий арестант не слушал бесконвойного.

— Ты, — дергал он за руку Креста, — слушай сюда. С этой болезнью тебе горячие уколы назначат, обязательно. Мне назначили — я их за хлебушек променял блатарям. Так и поправился.

Вот из шкафа достали и бланки «историй болезни». Три бланка. Всех положат. Вошел санитар.

— Пока во вторую.

Обливание теплой водой, белье без вшей. Коридор, где на столике дежурного еще не погашен фитиль копилки с рыбьим жиром, налитым на блюде из доннышка консервной банки. Дверь в пустую палату, откуда пахло морозом, улицей, льдом. Санитар пошел за дровами — растапливать печь. «Вот что, — сказал бес-

конвойник, — давайте-ка ляжем вместе, а то мы тут нарежем дуба».

Все легли на одну койку, обняв друг друга, как бы примериваясь. Потом бесконвойник выскользнул из-под трех одеял, собрал все матрацы и все одеяла, какие были в палате, навалил всё горой на койку, где легли товарищи, и сам нырнул в костлявые объятия Криста. Больные заснули.



ИЮНЬ

Андреев вышел из штольни и пошел в ламповую сдавать свою потухшую «вольфу».

«Опять ведь привяжутся, — лениво думал он про службу безопасности. — Проволока-то сорвана...»

В шахте курили, несмотря на запрещения. Куренье грозило сроком, но никто еще не попадался.

Недалеко от породного терриконника Андреев встретил Ступницкого, профессора Артиллерийской академии. На шахте Ступницкий работал десятником поверхности, несмотря на свою пятьдесят восьмую статью. Служака он был расторопный, исполнительный, подвижный, несмотря на годы; шахтному начальству и не снились такие десятники.

— Слушайте, — сказал Ступницкий. — Немцы бомбили Севастополь, Киев, Одессу.

Андреев вежливо слушал. Сообщение звучало так, как известие о войне в Парагвае или Боливии. — Какое до этого дело Андрееву? Ступницкий сыт, он десятник — вот его и интересуют такие вещи, как война.

Подошел Гриша Грек, вор.

— А что такое автоматы?

— Не знаю. Вроде пулеметов, наверное.

— Нож страшнее всякой пули, — наставительно сказал Гриша.

— Верно, — сказал Борис Иванович, хирург из заключенных. — Нож в животе — это верная инфекция, всегда опасность перитонита. Огнестрельное ранение лучше, чище...

— Лучше всего гвоздь, — сказал Гриша Грек.

— Станови-и-и-сь!

Построились в ряды, пошли из шахты в лагерь. Конвой в шахты, в лагерь. Конвой в шахту никогда не заходил — подземная тьма берегла людей от побоев. Вольные десятники тоже остерегались. Не дай бог,

свалится на голову из «печи» угольная глыба... Как ни был дерзок на руку Николай Аятонович, «старшой», и тот почти отвык от своей старинной привычки. Дрался только Мишка Тимошенко, молодой смотритель из заключенных, «пробивающий карьеру».

Мишка Тимошенко шел и думал: «Поддам заявление на фронт. Послать меня не пошлют, а польза будет. А то дерись, не дерись — кроме срока, ничего не зарабатываешь». Утром он пошел к начальнику Косаренко, начальник лагпункта был малый неплохой. Мишка встал «по всем правилам».

— Вот заявление на фронт, гражданин начальник.

— Ишь ты... Ну, давай, давай. Первый будешь... Только тебя не возьмут.

— Из-за статьи, гражданин начальник?

— Ну, да.

— Что ж мне с этой статьей делать? — сказал Мишка.

— Не пропадешь. Ты — ловкач, — прохрипел Косаренко. — Позови-ка мне Андреева.

Андреев был удивлен вызовом. Никогда его пред светлые очи самого начальника лагпункта не вызывали. Но было привычное безразличие, бесстрашие, равнодушие. Андреев постучал в фанерную дверь кабинета.

— Явился по вашему приказанию. Заключенный Андреев.

— Ты — Андреев? — сказал Косаренко, с любопытством разглядывая вошедшего.

— Андреев, гражданин начальник.

Косаренко порылся в бумажках на столе, что-то нашел, стал читать про себя. Андреев ждал.

— У меня есть для тебя работа.

— Я работаю откатчиком на третьем участке...

— У кого?

— У Корягина.

— Завтра останешься дома. В лагере будешь работать. Не умрет Корягин без откатчика.

Косаренко встал, потрясая бумажкой, и захрипел:

— Зону будешь ломать. Проволоку скатывать. Вашу зону.

Андреев понял, что речь шла о зоне пятьдесят восьмой статьи — в отличие от многих лагерей барак, где жили «враги народа», был окружен колючей проволокой внутри самой лагерной зоны.

— Один?

— Вдвоем с Маслаковым.

«Война, — подумал Андреев, — по мобплану, наверное...»

— Можно идти, гражданин начальник?

— Подожди! Почему на тебя Корягин жалуется?

— Корягин?

— Да. У меня два рапорта на тебя есть.

— Работаю не хуже других, гражданин начальник...

— Ну, иди...

Разгибали ржавые гвозди и снимали колючую проволоку, наматывая ее на палку. Десять рядов, десять железных нитей, да еще поперечные косые нитки — на целый день хватило этой работы. Андрееву и Маслакову. Ничего эта работа не была лучше любой другой работы. Кучеренко ошибся — чувства заключенных огрубели.

В обед Андреев узнал еще новость: паек хлеба был снижен с килограмма до пятисот граммов — эта была грозная новость, ибо приварок ничего не решал в лагере. Решал хлеб.

На следующий день Андреев вернулся в шахту.

В шахте было привычно холодно и привычно темно. Андреев спустился по людскому ходу на нижний штрек. Порожняк сверху еще не подавали, и Кузнецов, второй откатчик смены, сидел невдалеке от нижней плиты, на свету, и ждал вагонов.

Андреев сел рядом. Кузнецов был бытовиком, деревенским убийцей.

— Слушай, — сказал Кузнецов. — Меня вызывали.

— Куда?

— Туда. За мост.

— Ну, и что?

— Велели на тебя заявление подать.

— На меня?

— Да.

— А ты?

— Я подал. Что сделаешь?

«Действительно, — подумал Андреев, — что сделаешь?»

— Чего же ты там писал?

— Ну, написал, что сказали. Что хвалил Гитлера...

«Ведь он не подлец, — думал Андреев. — Он просто несчастный человек...»

— Что ж теперь со мной сделают? — спросил Андреев.

— Не знаю. Уполномоченный сказал: «Это так, для порядка».

— Ну, да, — сказал Андреев. — Конечно, для порядка. У меня ведь срок кончается в нынешнем году. Новый намотать успеют.

Вагончики гремели по уклону.

— Эй, вы! — закричал старший плитовой. — Сказочники! Забирай порожняк!

— Я, пожалуй, откажусь с тобой работать, — сказал Кузнецов. — Будут ведь опять вызывать, а я скажу: не знаю, я с ним не работаю. Вот как...

— Так лучше всего, — согласился Андреев.

Со следующей смены напарником Андреева стал Чудаков, тоже бытовик. В отличие от словоохотливого Кузнецова, этот — молчал. Либо от роду был молчаливым, либо предупредили «за мостом».

Через несколько смен Андреева и Чудакова поставили в вентиляционный штрек на верхнюю плиту — спускать в уклон на тридцать метров пустые вагонетки и вытаскивать груженные. Вагонетку разворачивали на плите, наводили колеса на рельсы, уходящие в уклон, прикрепляли к вагонетке стальной трос и, цепляя «баранчиков» за лебедочный трос, толкали вагонетку вниз. Цепляли по очереди. Очередь была Чудакова.

Вагонетки шли и шли, одна за другой, рабочий день

был в полном разгаре, как вдруг Чудаков ошибся — столкнул вагонетку вниз, не пропустив ее к тросу. «Орел»! Авария шахтная! Раздался глухой грохот, лязг железа, треск стоек; столбы белой пыли заполнили уклон.

Чудакова тут же арестовали, а Андреев вернулся в барак. Вечером его вызвали к Косаренко, к начальнику.

Косаренко метался по кабинету.

— Что наделал? Что наделал, я спрашиваю? Вредитель!

— Да вы с ума сошли, гражданин начальник, — сказал Андреев. — Ведь это Чудаков случайно...

— Ты научил, гад! Вредитель! Остановил шахту!

— При чем же тут я? И никто шахты не останавливал — шахта работает... Чего вы орете?

— Он не знает! Вот Корягин пишет... Он член партии.

Большой рапорт, написанный мелким почерком Корягина, действительно лежал на столе начальника.

— Ответишь!

— Воля ваша.

— Иди, гад!

Андреев ушел. В бараке, в «кабинке» десятников был шумный разговор, прерванный с приходом Андреева.

— Ты к кому?

— К вам, Николай Антонович, — обратился Андреев к «старшому». — Куда работать завтра выходить?

— Доживи до завтра, — сказал Мишка Тимошенко.

— Это не твоя забота.

— Вот через таких грамотеев я и срок имею, честное слово, Антоныч, — сказал Мишка. — Через Иванов Ивановичей этих.

— Вот к Мишке пойдешь, — сказал Николай Антонович. — Так Корягин распорядился. Если тебя не арестуют. А Мишка выкрутит тебе кручину.

— Надо знать, где находишься, — строго сказал Тимошенко. — Фашист проклятый.

— Ты сам фашист, дурак, — сказал Андреев и по-

шел отдать кое-какие вещи товарищам — запасные портянки, старый, но еще крепкий бумажный шарф, — чтоб к аресту не было ничего лишнего из вещей.

Соседом Андреева по нарам был бывший декан горного факультета Тихомиров. Он работал на шахте крепильщиком. Главный инженер пытался «выдвинуть» профессора хотя бы в десятники, но начальник угольного района Свищев отказал наотрез и недобро посмотрел на своего заместителя.

— Если поставить Тихомирова, — сказал Свищев главному инженеру, — тогда вам нечего делать на шахте. Поняли? И чтобы я больше таких разговоров не слышал.

Тихомиров ждал Андреева.

— Ну, что?

— Переспим это дело, — сказал Андреев. — Война.

Андреева не арестовали. Оказалось, что Чудаков не хочет лгать. Его продержали с месяц на карцерном пайке — кружка воды и триста граммов хлеба, — но не могли склонить ни к каким заявлениям — Чудаков в заключении был не первый раз и знал всему настоящую цену.

— Что ты меня учишь? — сказал он следователю. — Андреев мне ничего плохого не сделал. Я знаю порядки. Вам ведь меня судить не интересно. Вам Андреева надо засудить. Ну, пока я жив, не засудите его, мало еще каши лагерной ели.

— Ну, — сказал Корягин Мишке Тимошенко. — На тебя одна надежда. Ты справишься.

— Есть, понятно, — сказал Тимошенко. — Сначала мы ему «по животу» — паек снизим. Ну, и если проговорится...

— Дурак, — сказал Корягин. — При чем тут проговорится? Первый день на свете живешь, что ли?

Корягин снял Андреева с подземной работы. Зимой холод в шахте достигает всего двадцати градусов на нижних горизонтах, а на улице — шестьдесят. Андреев стоял в ночной смене на высоком терриконе, где гро-

моздилась порода. Вагонетки с породой поднимались туда время от времени, и Андреев должен был разгружать их. Вагонеток было мало, холод страшный, и даже ничтожный ветер превращал ночь в ад. Там впервые на колымской земле Андреев заплакал — раньше никогда этого с ним не бывало, разве лишь в молодые годы, когда приходили письма матери, и Андреев не в силах был их прочитать без слез и вспомнить о них без слез. Но это было давно. А здесь почему он плакал? Бессилие, одиночество, холод — Андреев привык, настроился в лагере вспоминать стихи, что-то шептать, повторять неслышно — на морозе думать было нельзя. Человеческий мозг не может работать на морозе.

Несколько ледяных смен, и Андреев снова в шахте снова на откатке и напарник его — Кузнецов.

— Хорошо, что ты здесь! — радовался Андреев. — И меня опять в шахту взяли. Что с Корягиным случилось?

— Да, говорят, на тебя материалы уже собрали. Достаточно, — говорил Кузнецов. — Больше не надо. Я и вернулся. Работать с тобой хорошо. И Чудаков вышел. Изолятора ему дали. Как скелет. Банщиком будет пока. Не будет больше на шахте работать.

Новости были значительные.

Десятники из заключенных ходили в лагерь без конвоя после смены, выполнив свои отчетные обязанности. Мишка Тимошенко решил сходить в баню до прихода рабочих из лагеря, как делал всегда.

Незнакомый костлявый банщик отпер крючок и открыл дверь.

— Ты куда?

— Я Тимошенко.

— Вижу, что Тимошенко.

— Ты меньше разговаривай, — сказал десятник. — Не пробовал еще моего термометра — попробуешь. Иди, давай пар. — И, оттолкнув банщика, Тимошенко вошел в баню. Черный влажный мрак наполнял шах-

терскую баню. Черные закопченные потолки, черные шайки, черные лавки вдоль стен, черные окна. В бане было темно и сухо, как в шахте, и шахтерская лампа «вольфа» с треснутым стеклом висела, воткнутая крючком в столб посреди бани, как в шахтную стойку.

Мишка быстро разделся, выбрал неполную бочку холодной воды, завел туда паровую трубу — в помещении бани был бойлер, и воду грели горячим паром.

Костлявый банщик смотрел с порога на розовое, пышное тело Тимошенко и молчал.

— Я вот так люблю, — сказал Тимошенко, — чтоб парок был живой. Ты воду нагреешь немного, я в бочку залезу, и ты пускай пар помалу. Хорошо будет, я постучу по трубе, и ты пар выключай. Прежний-то банщик, одноглазый, все мои привычки знал. Где он?

— Не знаю, — ответил костлявый. Ключицы банщика натягивали гимнастерку.

— А ты откуда?

— Из изолятора.

— Ты Чудаков, что ли?

— Да, Чудаков.

— Не узнал тебя. Богатым будешь, — засмеялся десятник.

— Это я в изоляторе так доплыл — вот ты не узнаешь. Слышь, Мишка, — сказал Чудаков, — а ведь я видел тебя...

— Где?

— А за мостом. Слышал, что ты там уполномоченному пел...

— Каждый сам себя спасает, — сказал Тимошенко. — Закон тайги. Время военное. А ты — чужак. Дурак ты, Чудаков. Дурак и уши холодные. Такое принял из-за этого черта Андреева.

— Ну, это уж мое дело, — сказал банщик и вышел. Пар загремел, забурлил в бочке, вода согрелась. Мишка постучал — Чудаков выключил пар.

Мишка влез на скамейку и со скамейки перевалился

в узкую высокую бочку... Были бочки пониже, пошире, но десятник любил париться именно в этой. Вода достигала Мишке до горла. Жмурясь от удовольствия, десятник постучал по трубе. Сейчас же забурлил пар. Стало тепло. Мишка просигналил банщику, но горячий пар продолжал хлестать в трубу. Пар обжигал тело, и Тимошенко испугался, застучал еще, пытаясь вырваться, выскочить из бочки, но бочка была узка, железная труба мешала лезть — в бане ничего не было видно из-за белого, клокочущего, густеющего пара, и Мишка закричал диким голосом.

Баня для рабочих в этот день не состоялась.

Когда открыли двери и окна, густой мутно-белый туман рассеялся — пришел лагерный врач. Тимошенко уже не дышал — он был сварен заживо.

Чудакова из банщиков перевели куда-то; вернулся одноглазый — его никто не снимал с работы, просто он был один день на группе «В» — временно освобожден от работы по болезни. У него была «температура».



МАЙ

Днище деревянной бочки было выбито и заделано решеткой из полосового железа. В бочке сидел пес Казбек. Сотняков кормил Казбека сырым мясом и просил всех прохожих тыкать в собаку палкой. Казбек рычал и грыз палку в щепы. Прораб Сотников воспитывал злобу в будущем цепном псе.

Золото всю войну мыли лотками — старательской добычей, ранее запрещенной на приисках. Раньше лотком мог мыть только промывальщик из службы разведки. Суточный план давался до войны в кубометрах грунта, а во время войны — в граммах металла.

Однорукий лотошник ловко нагребал грунт на лоток скребком и, намыв воды, осторожно встряхивал лоток над ручьем, сбывая в ручей размытый в лотке камень. На дне лотка, когда сбегала вода, оставалась золотая крупинка и, положив лоток на землю, рабочий ногтем поддевал крупинку и переносил ее на клочок бумаги. Бумага складывалась, как аптечный порошок. Целая бригада одноруких саморубов зимой и летом «мыла» золото. И сдавала крупинки металла, зернышки золота в приисковую кассу. За это одноруких кормили.

Следователь Иван Васильевич Ефремов поймал таинственного убийцу, которого искали больше недели. Неделю назад в избушке геологоразведчиков, километрах в восьми от поселка были зарублены топором четыре взрывника. Украдены были хлеб и махорка, деньги не найдены. Прошла неделя, и в рабочей столовой татарин из плотничьей бригады Русланова выменял вареную рыбу на щепотку махорки. Махорки на прииске не было с начала войны, привозили «аммонал» — зеленый самосад невероятной крепости, пытались выращивать табак. Махорка была только у вольняшек. Татарин был арестован и во всем признался, и даже показал место в лесу, куда он закинул в снег окровав-

ленный топор. Ивану Васильевичу Ефремову выходила большая награда.

Случилось так, что Андреев был соседом по нарам этого татарина — самого обыкновенного голодного парнишки, «фитиля». Арестовали и Андреева. Через две недели его выпустили — за это время было много новостей: Колька Жуков зарубил ненавистного бригадира Королёва. Этот бригадир бил Андреева ежедневно на глазах у всей бригады, бил беззлобно, не спеша, и Андреев боялся его.

Андреев ощупал в кармане бушлата обломок пайки белого американского хлеба, оставшийся от обеда. Была тысяча способов продлить наслаждение пищей. Можно было лизать этот хлеб, пока он не исчезнет с ладони; можно было отщипывать от него крошки, мельчайшие крошки и сосать каждую крошку, ворочая ее во рту языком. Можно было поджарить на печке, всегда топящейся, подсушить этот хлеб и есть темно-коричневые, обожженные кусочки хлеба — еще не сухари, но и не хлеб. Можно было резать хлеб ножом на тончайшие пластины и только тогда подсушивать их. Можно было заварить хлеб горячей водой, вскипятить его, размешать и превратить в горячий суп, в мучную болтушку. Можно было крошить кусочки в холодную воду и солить их — получалось нечто вроде тюри. Все это надо было успеть сделать за те четверть часа, что оставались у Андреева из обеденного перерыва. Андреев доедал хлеб по-своему. В маленькой консервной банке кипятилась вода, пресная снеговая вода, грязная от попавших в банку мельчайших углей или стланиковой хвои. В белый крутой кипяток Андреев совал свой хлеб и ждал. Хлеб раздувался, как губка, белая губка. Палочкой, щепкой Андреев отрывал горячие кусочки губки и вкладывал их в рот. Размокший хлеб исчезал во рту мгновенно.

Никто не обращал внимания на андреевские затеи. Он был одним из сотен тысяч колымских «фитилей», «доходяг» — чей разум давно уже пошатнулся.

Каша была тоже по ленд-лизу — американская овсянка с сахаром. И хлеб был по ленд-лизу из канадской муки с примесью костей и риса. Хлеб выпекали необыкновенно пышный, и ни один раздатчик не рисковал готовить «пайки» с вечера — каждая «двухсотка» таяла за ночь в весе десять-пятнадцать граммов, и самый честный хлебозерез мог оказаться жуликом помимо воли. У белого хлеба почти не было отбросов — человеческий организм выкидывал лишнее лишь раз в несколько дней.

Суп — первое блюдо — тоже было по ленд-лизу, запах свиной тушонки и мясные волокна, похожие на туберкулезные палочки под микроскопом, попадались в обеденных мисках каждому.

Была, говорят, еще колбаса, консервированная колбаса, но для Андреева она оставалась легендой, как и сгущенное молоко «Альфа», которое многие помнили еще по детству по посылкам «Ара». Фирма «Альфа» все еще существовала.

По ленд-лизу были и красные кожаные ботинки на толстой клеевой подошве. Эти кожаные ботинки выдавали только начальству — даже не всякий горный мастер мог приобрести импортную обувь. Приисковому начальству шли и «гарнитур» в коробках — костюмы, пиджаки и рубашки с галстуками.

Говорят, выдавали и шерстяные вещи, собранные среди населения Америки, но до заключенных они не доходили — жены начальства прекрасно разбирались в качестве материала.

Зато до заключенных хорошо доходил инструмент. Инструмент был тоже по ленд-лизу — гнутые американские лопаты, с короткими крашеными ручками. Лопаты были «подбористы» — над самой формой лопаты кто-то думал. Лопатами все были довольны. Крашеные черенки от лопат поотбивали и сделали новые, прямые и длинные, каждому по мерке — конец черенка должен был доставать до подбородка.

Кузнецы чуть-чуть развернули нос лопаты, подточили их — и вышел славный инструмент.

Топоры американские были очень плохи. Это были не топоры, а топорики, вроде майнридовских индейских томогавков, и для серьезной плотничьей работы не годились. На плотников наших топоры по ленд-лизу произвели сильное впечатление — тысячелетний инструмент, очевидно, отмирал.

Поперечные пилы были тяжелыми, толстыми, неудобными в работе.

Зато великолепен был солидол, белый, как сливочное масло, без запаха. Блатари сделали попытку продавать солидол вместо сливочного масла, но на прииске уже некому было сливочное масло покупать.

«Студебеккеры», полученные по ленд-лизу, носились взад и вперед по кручам Колымы. Это была единственная машина на Дальнем Севере, которую не затрудняли подъемы.

Огромные «Даймонды», полученные тоже по ленд-лизу, тащили девяностотонный груз.

Мы лечились по ленд-лизу — медикаменты были американские, и впервые появился и чудодейственный на первых порах сульфидин. Лабораторная посуда была подарком Америки. Рентгеновские аппараты, резиновые грелки и пузыри . . .

О том, что белому американскому хлебу скоро конец, говорили еще в прошлом году после Курской дуги, но Андреев не прислушивался к этим лагерным «парашам». Что будет, то будет. Прошла еще одна зима, а он все еще жив, он, не загадывавший никогда дальше сегодняшнего вечера.

«Черняшка будет скоро, черняшка. Черный хлеб. Наши к Берлину идут».

— Черный здоровее, — врачи говорили.

— Американцы-то дураки, верно.

На будущем этом прииске не было ни одного радиоприемника.

«Инфекция убийства», как говорил Воронов, — вспом-

нил Андреев. Убийство заразительно. Если убивают где-либо бригадира — сразу же находятся подражатели, и бригады находят людей, которые дежурят, пока бригадир спит, охраняют бригадирский сон. Но все напрасно. Одного зарубили, второму разбили голову ломом, третьему перепилили шею двуручной пилой...

Всего месяц назад Андреев сидел у костра — была его очередь греться. Смена кончилась, костер затухал, и четверо очередных арестантов сидели по четырем сторонам, окружая костер, согнувшись и протянув руки к угасающему пламени, к уходящему теплу. Каждый голыми руками почти касался рдеющих углей отмороженными, нечувствительными пальцами. Белая мгла наваливалась на плечи, плечи и спину знобило, и тем сильнее было желание прижаться к огню костра, и страшно было разогнуться, взглянуть в сторону, и не было сил встать и уйти на свое место, каждому в свой шурф, где они бурили, бурили... Не было сил встать и уйти от бригадира, который уже подходил к ним.

Андреев лениво соображал, чем будет бить бригадир, если полезет драться. Головной, очевидно, или камнем... скорей всего, головней...

Бригадир был уже шагах в десяти от костра. Вдруг из шурфа близ тропы, где шел бригадир, выполз человек с ломом в руках. Человек этот догнал бригадира и замахнулся ломом. Бригадир упал лицом вперед. Человек бросил лом в снег и пошел мимо костра, где сидел Андреев с тремя другими рабочими. Он пошел к большому костру, около которого грелись конвойные.

Андреев не переменял позы во время убийства. Никто из четырех не двинулся с места, не был в силах отойти от костра, от ускользающего тепла. Каждый хотел сидеть до самого конца, до той минуты, когда прогонят. Но гнать было некому. Бригадира убили — и Андреев был счастлив, как и его сегодняшние товарищи.

Последним усилием своего бедного голодного мозга, иссушенного мозга Андреев понимал, что надо искать какой-то выход. Разделить судьбу одноруких лотошников

ков Андреев не хотел. Он, давший себе когда-то клятву не быть бригадиром, не искал спасения в опасных лагерных должностях. Его путь иной — ни воровать, ни бить товарищей, ни доносить на них он не будет. Андреев терпеливо ждал.

Этим утром новый бригадир послал Андреева за аммонитом — желтым порошком, который взрывник рассыпал в бумажные пакеты. На большом аммонитном заводе, где шла перевалка и расфасовка взрывчатки, прибывшей с «материка», работали женщины-заклученные, работа считалась легкой. На своих работниц аммонитный завод ставил свое клеймо — волосы их будто после пергидроля делались золотистыми.

Железная печурка в избушке взрывников топилась желтыми кусками аммонита.

Андреев показал записку смотрителя, расстегнул бушлат и размотал свой дырявый шарф.

— Портянки мне надо, ребята, — сказал он, — мешок.

— Да разве наши мешки, — начал молодой взрывник, но тот, что был постарше, толкнул товарища локтем, и тот замолчал.

— Дадим тебе мешок, — сказал взрывник постарше, — вот.

Андреев снял шарф и отдал его взрывнику. Потом разорвал мешок на портянки и завернул в них ноги — по-крестьянски, ибо на свете существует три способа «увертки» портянок: по-крестьянски, по-армейски и по-городскому.

Андреев заматывал по-крестьянски, накидывая портянку на ступни сверху. Андреев с трудом втиснул ноги в бурки, встал и, взяв ящик с аммонитом, вышел. Ногам было жарко, горлу — холодно. Андреев знал, что и то, и другое — ненадолго. Он сдал аммонит смотрителю и вернулся к костру. Нужно было дождаться смотрителя.

Смотритель, наконец, подошел к костру.

— Покурим, — торопливо сказала несколько голосов.

— Кто-то покурит, а кто-то и нет, — и смотритель,

завернув тяжелую полу полушубка, достал жестяную баночку с махоркой.

Только теперь Андреев развязал тряпочки, на которых держались бурки, и стащил бурки с ног.

— Хороши портяночки, — без зависти сказал кто-то, замотанный в тряпки, показывая на андреевские ноги, обернутые кусками плотной блестящей мешковины.

Андреев устроился поудобней, двинул ногами и закричал. Вспыхнуло желтое пламя. Пропитанные аммонитом портянки горели ярко и медленно. Охваченные огнем брюки и телогрейка тлели. Соседи шарахнулись в стороны. Смотритель повалил Андреева навзничь и засыпал его снегом.

— Как же ты, гад!

— Посылай за лошадью. Да пиши карту о несчастном случае.

— Скоро обед, может, дождешься...

— Нет, не дождусь, — солгал Андреев и закрыл глаза.

В больнице ноги Андреева залили теплым раствором марганцовки и положили без повязки на койку. Одеяло было укреплено на каркасе — получилось нечто вроде палатки. Андреев был надолго обеспечен больницей.

К вечеру в палату вошел врач.

— Слышь, вы, господа каторжане, — сказал он, — война кончилась. Неделю назад кончилась. Второй курьер из Управления пришел. А первого курьера, говорят, беглецы убили.

Но Андреев не слушал врача. У него поднималась температура.



ХРАБРЫЕ ГЛАЗА

Мир барачников был сдавлен тесным горным ущельем. Ограничен небом и камнем. Прошлое здесь являлось из-за стены, двери, окна; внутри никто ничего не вспоминал. Внутри был мир настоящего, мир будничных мелочей, который даже суетным нельзя было назвать, ибо этот мир зависел от чьей-то чужой, не нашей воли.

Я вышел из этого мира впервые по медвежьей тропе.

Мы были базой разведки и в каждое лето, в короткое лето успевали сделать броски в тайгу — пятидневные походы по руслам ручьев, по истокам безымянных речушек.

Те, кто на базе, — канавы, закопушки, шурфы; те, кто в походе, — сбор образцов. Те, кто на базе, — покрепче, те, кто в походе, — послабее. Знает это вечный спорщик Калмаев — искатель справедливости, отказчик.

В разведке строили бараки, и в редколесье таежном свезти вместе спиленные восьмиметровые лиственничные бревна — работа для лошадей. Но лошадей не было, и все бревна перетаскивали люди, с лямками, с веревками, по-бурлацки, раз, два — взяли. Эта работа не понравилась Калмаеву и — я вижу, вам нужен трактор, — говорил он десятнику Быстрову на разводе. Вот и посадите в лагерь трактор и трелюйте, таскайте деревья. Я не лошадь.

Вторым был пятидесятилетний Пикулев — сибиряк, плотник. Тише Пикулева не было у нас человека. Но десятник Быстров своим опытным, наметанным в лагере глазом уловил одну особенность Пикулева.

— Что ты за плотник, — говорил Быстров Пикулеву, — если твоя задница все время места ищет. Чуть кончил работу — минуты не постоишь, не шагаешь, а тут же садишься на бревно.

Старику было трудно, но Быстров говорил убедительно.

Третьим был я — старый недруг Быстрова. Еще зимой, еще прошлой зимой, когда меня впервые вывели на работу и я подошел к десятнику, Быстров сказал, с удовольствием повторяя свою любимую остроту, в которую вкладывал всю свою душу, всё свое глубочайшее презрение, враждебность и ненависть к таким, как я.

— А вам какую работу прикажете дать — белую или черную?

— Все равно.

— Белой у нас нет. Пойдем копать котлован.

И хотя я знал эту поговорку отлично, и хотя я умел всё — всякую работу умел делать не хуже других и другому показать мог, — десятник Быстров относился ко мне враждебно. Я, разумеется, не просил, не «лащил», не давал и не обещал взятки — можно было спирт отдать Быстрову. У нас иногда давали спирт. Но, словом, когда потребовался третий человек в поход — Быстров назвал мою фамилию.

Четвертым был договорник, вольнонаемный геолог Махмутов.

Геолог был молод, все знал. В пути сосал то сахар, то шоколад, ел отдельно от нас, доставая из мешочка галеты, консервы. Нам он обещал подстрелить куропатку, тетерку, и верно, два раза на пути хлопали крылья не тетерева, а рябые крылья глухаря, но геолог стрелял, волнуясь и делая промахи. Влёт стрелять он не умел. Надежда на то, что нам застрелят птицу, рухнула. Мясные консервы мы варили для геолога в отдельном котелке, но это не считалось нарушением обычая. В бараках заключенных никто не требует делиться едой, а тут — и совсем особое положение разных миров. Но все же ночью мы все трое — и Пикулев, и Калмаев, и я — просыпались от хруста, чавканья, отрыжки Махмутова. Но это не очень раздражало.

Надежда на дичь была разрушена в первый же день, и, ставя палатку в сумерках на берегу ручья, который серебряной ниточкой тянулся у наших ног, — а на другом берегу была густая трава, метров триста густой

травы до следующего правого скалистого берега... Эта трава росла на дне ручья — весной тут заливало все вокруг, и луг, вроде горной поймы, зеленел сейчас вовсю.

Вдруг все насторожились. Сумерки не успели еще сгуститься. По траве, колебля ее, двигался какой-то зверь — медведь, россомаха, рысь. Движения в море травы были видны всем — Пикулев и Калмаев взяли топоры, а Махмутов, чувствуя себя джекклондоновским героем, снял с плеча и взял на изготовку мелкокалиберку, заряженную жаканом — куском свинца для встречи медведя.

Но кусты кончились, и к нам, ползя на брюхе и виляя хвостом, приблизился щенок Генрих — сын убитой нашей суки Тамары.

Щенок отмахал двадцать километров по тайге и догнал нас. Посоветовавшись, мы прогнали щенка обратно. Он долго не понимал, почему мы так жестоко встречаем его. Но все же понял и снова пополз в траву, и трава снова задвигалась, на этот раз в обратном направлении.

Сумерки сгустились, и следующий наш день начался солнцем, свежим ветром. Мы поднимались по развилкам бесчисленных бесконечных речушек, искали оползни на склонах, чтобы подвести к обнажениям Махмутова, и геолог бы прочел знаки угля. Но земля молчала, и мы двинулись вверх по медвежьей тропе — другого пути не было в этом буреломе, хаосе, сбитом ветрами нескольких столетий в ущелье. Калмаев и Пикулев поставили палатку вверх по ручью, а я и геолог вошли в тайгу, нашли медвежью тропу и, прорубаясь сквозь бурелом, пошли вверх по тропе.

Лиственницы были покрыты зеленью, запах хвои пробивался сквозь тонкий запах тления умерших стволов — плесень тоже казалась весенней, зеленой, казалась тоже живой, и мертвые стволы исторгали запах жизни. Зеленая плесень на стволе казалась живой, казалась символом, знаком весны. А на самом деле это цвет дряхлости, цвет тления. Но Колыма задавала нам

вопросы и потруднее, и сходство жизни и смерти не смущало нас.

Тропа была надежная, старая, проверенная медвежья тропа. Сейчас по ней шли люди, впервые от сотворения мира, геолог с мелкокалиберкой, с геологическим молотком в руках и сзади я с топором.

Была весна, цвели все цветы сразу, птицы пели все песни сразу, и звери торопились догнать деревья в безумном размножении рода.

Медвежью тропу перегораживал косой мертвый ствол лиственницы, огромный пенёк, дерево, верхушка которого была сломана бурей, сбита... Когда? Год или двести лет назад. Я не знаю меток столетий, да и есть ли они? Я не знаю, сколько на Колыме стоят на земле бывшие деревья, и какие следы на пне год за годом откладывает время. Живые деревья считают время по кольцам — что ни год, то кольцо. Как отмечается смена для пней, для мертвых деревьев — я не знаю. Сколько времени можно пользоваться умершей лиственницей, разбитой скалой, поваленным бурей лесом — пользоваться для норы, для берлоги — знают звери. Я этого не знаю. Что заставляет медведя выбирать другую берлогу? Что заставляет зверя ложиться дважды и трижды в одну и ту же нору?

Буря наклонила сломанную лиственницу, но выдернуть из земли не могла — не хватило у бури силы. Сломанный ствол нависал над тропой, и медвежья тропа изгибалась, и, обогнув наклоненный мертвый ствол, снова становилась прямой. Можно было легко рассчитать высоту четвероногого зверя.

Махмутов ударил геологическим молотком по стволу, и дерево отклинулось глухим звуком, звуком полого ствола, пустоты. Пустота была дуплом, корой, жизнью. Из дупла прямо на тропу выпала ласка, крошечный зверек. Зверек не исчез в траве, в тайге, в лесу. Ласка подняла на людей глаза, полные отчаяния и бесстрашия. Ласка была на последней минуте беременности —

родовые схватки продолжались на тропе, перед нами. Прежде чем я успел что-нибудь сделать, крикнуть, понять, остановить, геолог выстрелил в ласку в упор из своей мелкокалиберки, заряженной жаканом, куском свинца для встречи с медведем. Махмутов стрелял плохо не только влёт...

Раненая ласка ползла по медвежьей тропе прямо на Махмутова, и Махмутов попятился, отступая перед ее взглядом. Задняя лапка беременной ласки была отстрелена, и ласка тащила за собой кровавую кашу еще не рожденных, неродившихся зверьков, детей, которые родились бы на час позже, когда мы с Махмутовым были бы далеко от сломанной листовенницы — родились бы и вышли в трудный и серьезный таежный звериный мир.

Я видел, как ползла ласка к Махмутову, видел смелось, злобу, месть, отчаяние в ее глазах. Видел, что там не было страха.

— Сапоги прокусит, стерва, — сказал геолог, пятясь и оберегая свои новенькие болотные сапоги. И, перехватив берданку за ствол, геолог подставил приклад к мордочке умирающей ласки.

Но глаза ласки угасли, и злоба в ее глазах исчезла.

Подошел Пикулев, нагнулся над мертвым зверьком и сказал:

— У нее были храбрые глаза.

Что-то он понял? Или нет? Не знаю. По медвежьей тропе мы вышли на берег речки, к палатке, к месту сбора. Завтра мы начнем обратный путь — только не этой, другой тропой.



В БАНЕ

В тех недобрых шутках, которыми только лагерь умеет шутить, баню часто называют «произволом». «Фраера кричат: произвол! — начальник в баню гонит» — это обычная, традиционная, так сказать, ирония, идущая от блатных, чутко все замечающих. В этом шутовском замечании скрыта горькая правда.

Баня — всегда отрицательное событие для заключенных, отягчающее их быт. Это наблюдение — еще одно из свидетельств того «смещения масштабов», которое представляется самым главным, самым основным качеством, которым лагерь наделяет человека, попавшего туда и отбывающего там срок наказания, «термин», как выражался Достоевский.

Казалось бы, как это может быть? Уклонение от бани — это постоянный предмет недоумения врачей и всех начальников, которые видят в этом банном абсентеизме род протеста, нарушения дисциплины, некоего вызова лагерному режиму. Но факт есть факт. И годами проведение бани — это событие в лагере. Мобилизуется, инструктируется конвой, все начальники лично принимают участие в уловлении уклоняющихся. О врачах и говорить нечего. Провести баню и дезинфицировать белье в дезкамере — это прямая служебная обязанность санитарной части. Вся низшая лагерная администрация из заключенных (старосты, нарядчики) тоже оставляют все дела и занимаются только баней. Наконец, и производственное начальство неизбежно вовлечено в этот великий вопрос. Целый ряд производственных мер применяется в дни бани (их три в месяц).

И в эти дни все на ногах с раннего утра до поздней ночи.

В чем же дело? Неужели человек, до какой бы степени нищеты он ни был доведен, откажется вымыться в бане, смыть с себя грязь и пот, которые покрыли его изъеденное кожными болезнями тело, и хоть на час ощутить себя чище?

Есть русская поговорка: «счастливым, как из бани», и эта поговорка верна и точно отражает то физическое блаженство, которое ощущает человек с чистым, мытым телом.

Неужели разум потерян у людей до такой степени, что они не понимают, не хотят понимать, что без вшей лучше, чем со вшами. А вшей много, и вывести их без дезкамеры почти нельзя, особенно в густо набитых бараках.

Конечно, вшивость — понятие, нуждающееся в уточнении. Какой-нибудь десяток вшей в белье за дело не считается. Вшивость тогда начинает беспокоить и товарищей и врачей, когда их можно смахивать с белья, когда шерстяной свитер ворочается сам по себе, сотрясаемый угнездившимися там вшами.

Так неужели человек — кто бы он ни был — не хочет избавиться от этой муки, которая мешает ему спать, и борясь с которой, он в кровь расчесывает свое грязное тело?

Нет, конечно. Но — первым «но» является то, что для бани выходных дней не устраивается. В баню водят или после работы, или до работы. А после многих часов работы на морозе (да и летом не легче), когда все помыслы и надежды сосредоточены на желании как-нибудь скорей добраться до нар, до пищи и заснуть, — банная задержка почти невыносима. Баня всегда на значительном расстоянии от жилья. Это потому, что та же самая баня служит не только заключенным — вольнонаемные из поселка моются там же, и она обычно расположена не в лагере, а на поселке вольнонаемных.

Задержка в бане — это вовсе не какой-нибудь час, отводимый на мытье и дезинфекцию вещей. Народу моется много, партия за партией, и все опоздавшие (их везут в баню прямо с работы, не завозя в лагерь, ибо там они разбегутся и найдут какой-нибудь способ укрыться от бани) ждут на морозе очереди. В большие морозы начальство старается сократить пребывание арестантов на улице — их пускают в раздевалки, в

которых места на 10-15 человек, и туда стоняют сотню людей в верхней одежде. Раздевалка не отапливается или отапливается плохо. Все мешается вместе — голые и одетые в полушубки, все толчется, ругается, гудит. Пользуясь шумом и теснотой, и воры и не воры крадут вещи товарищей (пришли ведь другие, отдельно живущие бригады — найти краденое никогда нельзя). А сдать вещи некуда.

Второе, или, вернее, третье «но» — то, что пока бригада моется в бане, обслуга обязана под контролем санитарной части сделать уборку барака: подмести, вымыть, выбросить все лишнее. Эти выбрасывания лишнего производятся беспощадно. Но ведь каждая тряпка дорога в лагере и немало энергии надо потратить, чтоб иметь запасные рукавицы, запасные портянки, не говоря уж о другом, менее портативном, о продуктах и говорить нечего. Все это исчезает бесследно и на законном основании, пока идет баня. С собой же на работу и потом в баню брать запасные вещи бесполезно: их быстро усмотрит зоркий и наметанный глаз блатарей. Любому вору хотя бы закурить дадут за какие-либо рукавички или портянки.

Человеку свойственно быстро обрастать мелкими вещами, будь он нищий или какой-нибудь лауреат, все равно. При каждом переезде (вовсе не тюремного характера) у всякого обнаруживается столько мелких вещей, что диву даешься, откуда могло столько собраться. И вот эти вещи дарятся, продаются, выбрасываются, достигая с великим трудом того уровня в чемодане, который позволяет захлопнуть крышку. Обрастает так и арестант. Ведь он рабочий — ему надо иметь и иголку, и материал для заплат, и лишнюю старую миску, может быть. Все это выбрасывалось — и после каждой бани все вновь заводили «хозяйство», если не успели заранее забить все это куда-нибудь глубоко в снег, чтобы вытащить через сутки.

Во времена Достоевского в бане давали одну шайку горячей воды (остальное покупалось фраерами). Норма

эта сохранилась и по сей день. Деревянная шайка не очень горячей воды и жгучие, прилипающие к пальцам куски льда, наваленного в бочку, — неограниченно. Шайка одна, никакого второго ушата для того, чтобы развести воду, не дается. Стало быть, горячая вода остужается кусками льда, и это вся порция воды, которой должен вымыть арестант голову и тело. Летом вместо льда дается холодная вода, все-таки вода, а не лед.

Положим, арестант должен уметь вымыться любым количеством воды, от ложки до цистерны. Если воды — ложка, он промоет слипшиеся гнойные глаза и будет считать туалет законченным. Если цистерна — он будет брызгать на соседей, менять воду каждую минуту и как-нибудь ухитрится употребить в положенное время свою порцию.

Все это показывает остроумие в разрешении такого бытового вопроса, как банный. Но, конечно, не решает вопроса чистоты. Мечта о том, чтобы вымыться в бане, — неосуществимая мечта.

В самой бане, отличающейся все тем же гулом, дымом, криком и теснотой (кричать, как в бане, — это бытующее выражение), нет никакой лишней воды, да и покупать ее никто не может. Но там не хватает не только воды. Там не хватает тепла. Железные печи не всегда раскалены докрасна, и в бане (в огромном большинстве случаев) попросту холодно. Это ощущение усугубляется тысячей сквозняков из дверей, из щелей: между бревнами стен положен мох, который быстро сохнет и крошится, открывая дырки наружу. Каждая баня — это риск простуды, и это все знают (в том числе, конечно, и врачи). После каждого банного дня увеличивается список освобожденных от работы по болезни, список действительных больных, и это всем врачам известно.

Запомним, что дрова для бани приносят накануне сами бригады на своих плечах, что опять-таки часа на два затягивает возвращение в барак и невольно настра-

ивать против банных дней.

Но всего этого мало. Самое страшное — дезинфекционная камера, обязательная по инструкции при каждом мытье.

Нательное белье в лагере бывает «индивидуальное» и «общее». Это — казенные, официально принятые выражения, наряду с такими словесными перлами, как «заклопленность», «завшивленность» и т.д. Белье «индивидуальное» — это белье поновей и получше, которое берегут для лагерной обслуги, десятников из заключенных и других привилегированных лиц. Белье не закреплено за кем-либо из этих арестантов особо, но оно стирается отдельно и более тщательно, чаще заменяется новым. Белье же «общее» — есть общее белье. Его раздают тут же в бане после мытья, взамен грязного, собираемого и подсчитываемого, впрочем, отдельно и заранее. Ни о каких выборах по росту не может быть и речи. Чистое белье — чистая лотерея, и странно и до слез больно было мне видеть взрослых людей, плакавших от обиды при получении истлевшего чистого, взамен крепкого грязного. Ничто не может человека заставить отойти от тех неприятностей, которые и составляют жизнь. Неясное соображение, что ведь это всего на одну баню, что, в конце концов, пропала жизнь, и что тут думать о паре нательного белья, что, наконец, крепкое белье он получил тоже случайно, — а они спорят, плачут. Это, конечно, явление порядка тех же психических сдвигов в сторону от нормы, которые характерны почти при каждом поступке заключенного, та самая «деменция», которую один врач-невропатолог называл универсальной болезнью.

Жизнь арестанта в своих душевных переживаниях сведена на такие позиции, что получение белья из темного окошечка, следующего в таинственную глубину банных помещений, — событие, стоящее нервов. Задолго до раздачи вымывшиеся толпой собираются к этому окошечку. Судят и рдят о том, какое белье выдавалось в прошлый раз, какое белье выдавали пять лет назад в

Бамлаге, и как только открывается доска, закрывающая окошечко изнутри, — все бросаются к нему, толкая друг друга скользкими, грязными, вонючими телами.

Это белье не всегда выдают сухим. Слишком часто его выдают мокрым — не успевают просушить, дров не хватает. А надеть мокрое или сырое белье после бани вряд ли кому приятно.

Проклятия сыплются на голову ко всему привыкших банщиков. Надевшие сырое белье начинают замерзать окончательно, но надо подождать дезинфекции носильного палья.

Что такое дезинфекционная камера? Это — яма, покрытая бревенчатой крышей и промазанная глиной изнутри, отапливаемая железной печью, топка которой выходит в сени. Туда навешиваются на палках бушлаты, телогрейки и брюки, дверь наглухо закрывается, и дезинфектор начинает «давать жар». Никаких термометров, никакой серы в мешочках, чтоб определить достигнутую температуру, там нет. Успех зависит или от случайности, или от добросовестности дезинфектора.

В лучшем случае хорошо нагреты только вещи, висящие близко к печи. Остальные, закрытые от жара первыми, только сыреют, а развешанные в дальнем углу и вынимают холодными. Камера эта никаких вшей не убивает. Это одна проформа, и препарат создан для дополнительных мук арестанта.

Это отлично знают и врачи, но не оставлять же лагерь без дезкамеры. И вот, после часа ожидания в большой «одевалке», начинают вытаскивать охалками вещи, совершенно одинаковые «комплекты»; их бросают на пол — отыскивать свое предлагают каждому самосильно. Намокшие от пара бушлаты, ватные телогрейки и ватные брюки арестант, ругаясь, напяливает на себя. Теперь ночью, отнимая у себя последний сон, он будет подсушивать телогрейку и брюки у печки в бараке.

Не мудрено, что банный день никому не нравится.



КЛЮЧ АЛМАЗНЫЙ

Грузовик остановился у переправы, и люди стали «сгружаться», неловко и медленно перекидывая через борт студебеккера свои негнущиеся ноги. Левый берег реки был низменным, правый — скалистый, как и полагается им быть по теории академика Бэра. Мы сошли с дороги прямо на дно горной реки и сделали шагов двести по промытым сухим камням, тремящим под нашими ногами. Темная полоска воды, казавшаяся такой узкой с берега, оказалась широкой и быстрой мелкой горной рекой. Нас ждала лодка-плоскодонка, и перевозчик с шестом вместо весел «перегонял» лодку на ту сторону, нагрузив ее тремя пассажирами, и возвращался обратно один. Переправа длилась до самого вечера. На другом берегу мы долго карабкались по узкой каменной тропке вверх, помогая друг другу, как альпинисты. Узкая тропка, едва заметная среди пожелтевшей поникшей травы, вела в ущелье, где в синеватой дали сходились вершины гор справа и слева — ручей в этом ущелье и назывался ключ Алмазный.

Это была удивительная «командировка» — тот самый ключ Алмазный, куда мы так давно и тщетно стремились из золотых забоев и о котором все мы слышали столько невероятного. Говорили, что на этом ключе нет конвоиров, нет ни проверок, ни бесконечных перекличек, нет колючей проволоки, нет собак.

Мы привыкли к щелканью винтовочных затворов, заучили наизусть предупреждение конвоира — шаг влево, шаг вправо считаю побегом — шагом арш! — и мы шли, и кто-нибудь из шутников, а они есть всегда в любой, самой тяжелой обстановке, ибо ирония — это оружие безоружных, — кто-нибудь из шутников повторял извечную лагерную остроту: «прыжок вверх считаю агитацией». Подсказывалась эта злая острота неслышно для конвоира. Она вносила ободрение, давала секундное,

крошечное облегчение. Предупреждение мы получали четырежды в день: утром, когда шли на работу, днем, когда шли на обед и с обеда, и вечером — как напутствие перед возвращением в барак. И каждый раз после знакомой формулы кто-то подсказывал замечание насчет прыжка, и никому это не надоедало, никого не раздражало. Напротив, остроту эту мы готовы были слышать тысячу раз.

И вот теперь — сбылись мечты, мы на ключе Алмазном, и с нами нет конвоя, и только чернобородый молодой человек, отпустивший бороду явно «для солидности», вооруженный ижевкой, наблюдает за нашей переправой. Нам уже объяснили, что это — начальник лесного участка, наш начальник, вольнонаемный десятник.

На ключе Алмазном велась заготовка столбов для высоковольтной линии электропередачи.

Немного на Колыме мест, где растут высокие деревья; мы будем вести «выборочный» лесоповал — самое выгодное дело для нашего брата.

Золотой забой — это работа, убивающая человека и притом быстро. Там пайка больше, но ведь в лагере убивает большая пайка, а не маленькая. В верности этой лагерной пословицы мы давно успели убедиться. Забойщика, ставшего «доходягой», не откормить никаким шоколадом.

Выборочный лесоповал выгодней сплошного повала, ибо лес редкий, малорослый — деревья выросли на бортах, великанов среди них нет, трелевка — доставка леса в штабеля на собственных плечах по рыхлому снегу — мучительна. А ведь двенадцатиметровые столбы для электролинии и нельзя трелевать людьми. Это сделает лошадь или трактор. Стало быть, можно жить. К тому же командировка эта — бесконвойная, значит, никаких карцеров, никаких побоев, начальник участка — вольнонаемный, инженер или техник; нам, несомненно, повезло.

Мы переночевали на берегу, а утром по тропе дви-

нулись к нашему барaku. Солнце еще не зашло, когда мы пришли к низкому длинному таежному срубу с крышей, закрытой мхом и засыпанной камнями. В бараке жило пятьдесят два человека, да нас пришло двадцать. Нары из накатника были высокими, потолок — низким — стоять во весь рост можно было только в проходе.

Начальник был парень подвижной, поворотливый. Молодыми глазами, но опытным взглядом оглядел он ряды своих новых работяг. Мой шарф заинтересовал его немедленно. Шарф был, конечно, не шерстяной, а бумажный, но все же шарф, «вольный» шарф. Шарф был мне подарен в прошлом году больничным фельдшером и с тех пор я не снимал его с шеи ни зимой, ни летом. Я стирал его, как мог, в бане, но ни разу не сдавал в вошебойку. Вшей, которых много было в шарфе, жарилка бы не убила, а шарф бы украли немедленно. За шарфом моим велась и правильная охота моими соседями по барaku, жизни и работе. Велась и неправильная — любым случайным человеком — кто бы отказался заработать на табак, на хлеб — такой шарф купит любой вольняшка, а вшей можно легко выпарить. Это трудно сделать только арестанту. Но я героически завязывал шарф перед сном на своем горле узлами, страдая от вшей, к которым нельзя привыкнуть так же, как нельзя привыкнуть к холоду.

— Не продашь ли? — сказал чернобородый.

— Нет, — ответил я.

— Ну, как знаешь. Тебе шарф не нужен.

Этот разговор мне не понравился. Плохо было и то, что кормили здесь только один раз в сутки — после работы. А утром — только кипяток и хлеб. Но такое мне приходилось встречать и раньше. Начальники мало обращали внимания на кормежку арестантов. Каждый устраивал, как попроще.

Все продукты хранились у вольнонаемного десятника — он со своей «ижевкой» жил в крошечном срубе в десяти шагах от барака. Такое хранение продуктов

тоже было новостью — обычно продукты хранятся не у производственного начальства, а у самих заключенных, но порядок на ключе Алмазном, очевидно, был лучше — в руках голодных арестантов держать запасы пищи всегда опасно и рискованно, и об этом риске все знают.

На работу ходили далеко — километра четыре, и было ясно, что день ото дня выборочный лесоповал будет отодвигаться все дальше и дальше в глубь ущелья.

Дальняя ходьба даже с конвоем для арестанта скорее хорошо, чем плохо, — чем больше времени на ходьбу, тем меньше — на работу, чтобы там ни подсчитывали нормировщики и десятники.

Работа была не хуже и не лучше всякой арестантской работы в лесу. Мы валили отмеченные засечками десятником деревья, «кряжевали» их, очищали от сучьев, собирали сучья в кучу. Наиболее тяжелым делом было повалить дерево комлём на пенек — чтоб спасти его от снега, но десятник знал, что вывозка будет срочной, что придут трактора, знал, что в начале зимы не будет глубокого снега, который мог бы покрыть эти сваленные деревья, и не всегда требовал поднять дерево на пенек.

Удивительное ждало меня вечером.

Ужин на ключе Алмазном — это был завтрак, обед и ужин: соединенные вместе, они не выглядели богаче и сытнее, чем любой обед или ужин на приiske. Желудок мой настоятельно меня уверял, что общая калорийность и питательность еще меньше, чем на приiske, где мы получали меньше половины положенного нам пайка — все остальное оседало в мисках начальников, obsługi и балатарей. Но я не верил изголодавшемуся на Колыме желудку. Его оценки были преувеличенными или преуменьшенными — он слишком многого хотел, слишком неотвязно требовал, был чересчур пристрастен.

После ужина никто почему-то не ложился спать. Все чего-то ждали. Поверки? Нет, проверок здесь не было.

Наконец, дверь открылась, и вошел неутомимый чернобородый десятник с бумагой в руке. Дневальный снял бензиновую коптилку с верхних нар и поставил ее на стол, что был вкопан посреди барака. Десятник сел к свету.

— Что это будет? — спросил я у соседа.

— Проценты за сегодняшний день, — сказал сосед, и в тоне его я уловил нечто такое, что меня испугало, — я слышал такой тон в очень серьезных обстоятельствах, когда жертвам тридцать восьмого года замеряли каждый день работу в золотом забое «индивидуальным замером». Я не мог ошибиться. Тут было что-то такое, что даже я еще не знал, какая-то опасная новость.

Десятник, не глядя ни на кого, ровным, скучным голосом прочел фамилии и проценты выполнения нормы каждым рабочим, аккуратно свернул бумажку и вышел. Барак молчал. Слышно было только тяжелое дыхание нескольких десятков людей в темноте.

— У кого меньше стало, — объяснил повеселевший сосед, — тому завтра хлеба давать не будут.

— Совсем?

— Совсем!

Такого я, действительно, никогда и нигде не встречал. На приисках паек определялся по декадной выработке бригады. В худшем случае давали штрафной паек — триста граммов, а не лишали хлеба вовсе.

Я напряженно думал. Хлеб — основная наша пища здесь. Половину всех калорий мы получаем в хлебе. Приварок же — вещь неопределенная, пищевая ценность его зависит от тысяч разных причин — от честности повара, от его сытости, от трудолюбия повара, ибо повару-лодырю помогают «работяги», которых повар прикармливает; от энергичного и неусыпного контроля; от честности начальства; от честности дневального, сытости и порядочности конвоиров; от отсутствия или присутствия блатарей. Наконец, и вовсе случайное событие — черпак раздатчика, зачерпнувшего одну

юшку, может свести пищевые достоинства приварка чуть не к нулю.

Проценты расторопный десятник вычислял «с потолка», конечно. И я дал себе слово: если меня постигнет это лишение хлеба как метод производственного воздействия — не ждать.

Прошла неделя, во время которой я понял, почему проценты хранятся под койкой у десятника. О шарфе он не забыл.

— Слушай, Андреев, продай мне шарф.

— Дареный, гражданин начальник.

— Не смеди.

Но я наотрез отказался. В тот же вечер я был в списке невыработавших норму. Доказывать я ничего не собирался. Утром я отмотал свой шарф и отнес его нашему сапожнику.

— Только смотри, пропарь.

— Знаем — не маленькие, — весело ответил сапожник, радуясь своему неожиданному приобретению.

Сапожник дал мне за него пайку-пятисотку. Я отломил от нее кусок и спрятал остальное за пазуху. Я напился кипятку и вышел вместе со всеми на работу, но отставал, а потом свернул с дороги в лес и, далеко оглябая наш поселочек, пошел вдоль той самой дороги, по которой пришел сюда месяц назад. Я шел в полуверсте от тропы, выпавший снег не мешал мне идти, собак-ищек у чернобородого десятника не было, и только впоследствии я узнал, что он успел пробежать на лыжах до будки перевозчика — ибо черная река здесь не замерзала долго — и сообщил с попутным конвоем в лагерь о моем побеге.

Я сел на снег и затянул тряпочками бурки пониже колена. Этот сорт обуви только назывался «бурками». Это была местная модель — экономная продукция военного времени. Бурки сотнями тысяч кроились из старых, изношенных ватных стеганых брюк. Подошва

делалась из того же материала, прошитого несколько раз и снабженного завязочками. К буркам давались фланелевые портянки — так обували рабочих, добывающих золото на 50-60-градусном морозе. Эти бурки расплзались через несколько часов при работе в лесу — они рвались о сучья, о ветки; через несколько дней — при работе в золотом забое. Дыры на бурках чинились в ночных сапожных мастерских «на живую нитку». К утру «починка» бывала произведена. На подошву нашивали слой за слоем, обувь окончательно приобретала бесформенный вид, становилась похожей на берег горной реки, обнаженный после обвала.

В этих бурках с палкой в руках я шел к реке — несколько километров выше переправы. Я сполз с каменной крутизны, и лед захрустел под моими ногами. Длинная промоина-полынья перегораживала дорогу — и не было видно конца этой полынье. Лед подломился, и я легко шагнул в дымящуюся жемчужную воду, и ватная подошва моя ощутила выпуклые камни дна. Я поднял высоко ногу — наледеневшие бурки засверкали, и я шагнул еще глубже, выше колена и, помогая себе палкой, перебрался на ту сторону. Там я тщательно обил бурки палкой и сцарапал лед с бурок и брюк — ноги были сухи. Я потрогал кусочек хлеба за пазухой и пошел вдоль берега. Часа через два я вышел на шоссе. Приятно было идти без вшивого шарфа — горло и шея как бы отдыхали, открытые старым полотенцем — «сменкой», которую дал мне сапожник за мой шарф.

Я шел налегке. Очень важно для больших переходов — и зимой, и летом, — чтоб руки были свободны. Руки участвуют в движении и согреваются на ходу так же, как и ноги. Только в руках ничего не надо нести — даже карандаш покажется невыносимой тяжестью через двадцать-тридцать километров. Все это я давно и хорошо знал. Знал и кое-что другое: если человек способен пронести одной рукой некую тяжесть несколько шагов — он может нести, тащить эту тяжесть бесконечно — появится второе, третье, десятое дыхание. Я —

«доходник» — дойду куда угодно. По ровной дороге зимой идти даже легче, чем летом, если мороз не слишком силен. Я ни о чем не думал, да и думать на морозе нельзя — мороз отнимает мысли, превращает тебя быстро и легко в зверя. Я шел без расчета, с единственным желанием выбраться с этой проклятой бесконвойной командировки. Километрах в тридцати от лагеря на шоссе в избушке жили лесорубы, и там я рассчитывал перегреться, а при удаче и заночевать.

Было уже темно, когда я добрался до этой избушки, открыл дверь и, переступив через морозный пар, вошел в барак. Из-за русской печки навстречу мне поднялся человек — знакомый мне бригадир лесорубов Степан Жданов, из заключенных, конечно.

— Раздевайся, садись.

Я медленно разделся, разулся, развесил одежду около печки.

Степан открыл заслонку печи и, надев рукавицу, вытащил оттуда горшок.

— Садись, ешь. — Он дал мне хлеба и супу.

Я лег спать на полу, но заснул нескоро — ныли ноги, руки.

Куда я иду и откуда — Степан не спрашивал. Я оценил его деликатность — навеки. Я никогда больше его не видел. Но и сейчас вспоминаю горячий пшеничный суп, запах пригоревшей каши, напоминающий шоколад, вкус чубука трубки, которую, обтерев рукавом, протянул мне Степан, когда мы прощались, чтоб я мог «курнуть» на дорогу.

Мутным зимним вечером я добрался до лагеря и сел в снег недалеко от ворот.

Вот сейчас я войду, и все кончится. Кончатся эти чудесные два дня свободы после многих лет тюрьмы — и снова вши, снова ледяной камень, белый пар, голод, побои. Вон прошел в лагерь через вахту актер из культбригады — бесконвойник-одиночка. Я знал его.

Вот пришли рабочие с лесозавода — топчутся, чтобы не замерзнуть, а конвоир взошел на вахту, в тепло и не спешит. Вот вошел начальник лагеря лейтенант Козычев, бросил окурок... «Казбека» в снег и тотчас туда кинулись лесорубы, стоявшие около вахты. Пора. Всю ночь сидеть не будешь. Все задуманное надо стараться доводить до конца. Я толкнул дверь и вошел в проходную. В руке я держал заявление начальнику лагеря о всех порядках на бесконвойной командировке. Козычев прочел заявление и отправил меня в изолятор. Там я спал, пока не вызвали к следователю, но, как я и предполагал, «давать дело» мне не стали — у меня был велик срок. «Поедешь на штрафной прииск», — сказал следователь. И меня отправили туда через несколько дней — на центральной пересылке людей по долгу держали.



ЗЕЛЕНЫЙ ПРОКУРОР

Масштабы смещены, и любое из человеческих понятий, сохраняя свое написание, звучание, привычный набор букв и звуков, содержит в себе нечто иное, чему на «материке» нет имени: мерки здесь другие, обычаи и привычки особенные; смысл любого слова изменился.

В тех случаях, когда выразить новое событие, чувство, понятие обычными человеческими словами нельзя, — рождается новое слово, заимствованное из языка бла-тарей — законодателей мод и вкусов Дальнего Севера.

Смысловые метаморфозы касаются не только таких понятий, как Любовь, Семья, Честь, Работа, Добродетель, Порок, Преступление, но и слов, сугубо при-сущих этому миру, рожденных в нем, например, — **ПОБЕГ** . . .

В ранней юности мне довелось читать о побеге Кропоткина из Петропавловской крепости. Лихач, поданный к тюремным воротам, переодетая дама в про-летке с револьвером в руках, расчет шагов до кара-ульной двери, бег арестанта под выстрелами часовых, цокот копыт рысака по булыжной мостовой — побег был классическим, вне всякого сомнения.

Позднее я прочел воспоминания ссыльных о побегах из Якутии, из Верхоянска и был горько разочарован. Никаких переодеваний, никакой погони! Езда зимой на лошадях, запряженных «гусем», как в «Капитанской дочке», прибытие на станцию железной дороги, покупка билета в кассе . . . Мне было непонятно, почему это на-зывается «побегом»? Побегам такого характера когда-то было дано название «самовольная отлучка с места жи-тельства», и на мой взгляд такая формула больше пере-дает существо дела, чем романтическое слово «побег».

Даже побег эсера Зензинова из бухты Провидения, когда американская яхта подошла к лодке, с которой

Зензинов ловил рыбу, и взяла на борт беглеца, не выглядит настоящим побегом — таким, как кропоткинский.

Побегов на Колыме всегда было очень много и всегда неудачных.

Причиной этому — особенности сурового полярного края, где никогда царское правительство не решалось поселить заключенных, как на Сахалине, для того, чтобы этот край «обжить», «колонизовать».

Расстояния до «материка» исчислялись тысячами верст; самое «узкое» место, таежный «вакуум» — расстояние от жилых мест приисков Дальстроя и Алдана, — было около тысячи километров «глухой тайги».

Правда, в сторону Америки расстояния были значительно короче — Берингов пролив в своем самом узком месте всего сто с небольшим километров, — но зато и охрана в эту сторону, дополненная пограничными частями, была абсолютно «непробиваема».

Первый же путь доводил до Якутска, а оттуда — либо конным, либо водным путем дальше — самолетных линий тогда еще не было, да и закрыть самолеты на глухой замок — проще простого.

Понятно, что зимой никаких побегов не бывает: пережить зиму где-нибудь под крышей, где есть железная печка, — страстная мечта каждого арестанта, да и не только арестанта.

Неволя становится невыносимой весной — так бывает везде и всегда. Здесь к этому естественному «метеорологическому» фактору, действующему крайне повелительно на чувства человека, присоединяется и рассуждение, добытое холодной логикой ума. Путешествие по тайге возможно только летом, когда можно — если продукты кончатся — есть траву, грибы, ягоды, корни растений, печь лепешки из растертого в муку ягеля — оленьего мха, ловить мышей-полевок, бурундуков, белок, кедровок, зайцев...

Как ни холодны летние ночи на севере, в стране вечной мерзлоты, все же опытный человек не простудится, если будет ночевать на каком-нибудь камне.

Будет вовремя перевертываться с боку на бок, не станет спать на спине, подложит траву или ветки под бок...

Бежать с Колымы нельзя. Место для лагерей было выбрано гениально. И все же — власть иллюзии, за которую расплачиваются тяжкими днями карцера, дополнительным сроком, побоями, голодом, а зачастую и смертью, власть иллюзии сильна и здесь, как и везде и всегда.

Побегов бывает очень много. Едва лишь ногти листовниц покрываются изумрудом — беглецы «идут».

Почти всегда это — новички-первогодки, в чьем сердце еще не убита воля, самолюбие и чей рассудок еще не разобрался в условиях Крайнего Севера, вовсе не похожих на знаемый до сих пор «материковский» мир. Новички оскорблены виденным до глубины души — побоями, истязаниями, издевательством, растлением человека... Новички бегут — одни лучше, другие хуже, — но у всех одинаковый конец. Одних ловят через два дня, других — через неделю, третьих — через две недели... Больших сроков для странствия беглецов с «направлением» (позже это выражение разъяснится) не бывает.

Огромный штат лагерного конвоя и «оперативки» с тысячами немецких овчарок вкупе с пограничными отрядами и той армией, которая размещена на Колыме, скрываясь под названием «колымполка», — достаточно для того, чтобы переловить сто из ста возможных «беглецов».

Как же становится возможен побег, и не проще ли силы «оперативки» направить на непосредственную охрану, охрану, а не ловлю людей?

Экономические соображения доказывают, что содержание штата «охотников за черепами» обходится все же дешевле, чем «глухая» охрана тюремного типа. Предотвратить же самый побег необычайно трудно. Тут не поможет и гигантская сеть осведомителей из самих заключенных, с которыми начальство расплачивается папиросками махорки и «супчиком».

Тут дело идет о человеческой психологии, о ее изви-вах и закоулках, и ничего предугадать тут нельзя — кто и когда и почему решится на побег. То, что слу-чается, — вовсе не похоже на все предположенное.

Конечно, на сей счет существуют «профилактические» меры — аресты, заключение в «штрафные зоны», в эти «тюрьмы в тюрьмах», переводы «подозрительных» с места на место — очень много разработано «мероприятий», которые оказывают, вероятно, свое влияние на сокращение побегов, — возможно, что побегов было бы еще больше, не будь «штрафных зон» с надёжной и многочисленной охраной, расположенных далеко в глуши.

Но из штрафных зон тоже бегут, а на бесконвойных командировках никто не делает попыток к отлучке. В лагере бывает всякое. К тому же тонкое наблюдение Стендаля в «Пармской обители» о том, что «тюремщик меньше думает о своих ключах, чем арестант о своей решетке», — справедливо и верно.

Колыма, ты, Колыма,
Чудная планета.
Девять месяцев — зима,
Остальное — лето.

Поэтому к весне готовятся — охрана и оперативка увеличивают штаты людей и собак, натаскивают одних, инструктируют других; готовятся и арестанты — прячут консервы, сухари, подбирают «партнеров» . . .

Имеется единственный случай классического побега с Колымы, тщательно продуманного и подготовленного, талантливо и неторопливо осуществленного. Это — то самое исключение, которое подтверждает правило. Но и в этом побеге осталась виться веревочка, у которой был конец, была незначительная, на первый взгляд пустяковая, оплошность, которая позволила найти беглеца — ни много ни мало, как через два года. По-види-мому, самолюбие Видоков и Лекоков было сильно за-

дето, и делу было уделено гораздо больше внимания, сил и средств, чем это делалось в обычных случаях.

Любопытно, что человек, «пошедший в побег», осуществивший его со сказочной энергией и остроумием, был вовсе не «политический» арестант и вовсе не «блатарь» — специалист сих дел, а осужденный за мошенничество на 10 лет.

Это понятно. Побег «политика» всегда перекликается с настроениями «воли», и, как тюремная голодовка, силен своей связью с «волей». Надо знать, хорошо знать заранее — для чего и куда ты бежишь. Какой «политик» 1937 года мог ответить на такой вопрос? Случайные в политике люди не бегут из тюрем. Они могли бы бежать к семье, к знакомым, но в тридцать восьмом году это значило подставить под репрессивный удар всех, на кого поглядит на улице такой беглец.

Тут не отделаешься ни пятнадцатью, ни двадцатью годами. Поставить под угрозу жизнь близких и знакомых — вот единственный возможный результат побега такого «политика». Ведь надо, чтоб кто-то беглеца укрывал, прятал, помогал ему. Среди «политиков» 1938 года таких людей не было.

У редких, возвращавшихся по окончании срока, собственные жены первыми проверяли правильность и законность документов вернувшегося из лагеря мужа и, чтобы известить начальство о прибытии, бежали в милицию наперегонки с ответственным съемщиком квартиры.

Расправа со случайными, невинными людьми была очень проста. Вместо того, чтобы дать им выговор, предупредить, их пытали, а после пыток давали десять, двадцать лет «далеких таборив», или каторги, или тюрьмы. Оставалось только умирать. И они умирали, не думая ни о каких побегах, умирали, обнаруживая лишний раз национальное свойство терпения, прославленное еще Тютчевым и беззастенчиво отмечавшееся впоследствии политиками всех уровней.

Блатари не бежали потому, что не верили в успех

побега, не верили, что доберутся до материка. Притом люди сыскной и лагерного аппарата, многоопытные работники, распознают блатарей каким-то шестым чувством, уверяя, что на блатарях какое-то каиново клеймо, которое нельзя скрыть. Наиболее ярким «толкованием» этого шестого чувства был случай, когда ловили более месяца вооруженного грабителя и убийцу по колымским дорогам — с приказом застрелить его при опознании.

Оперативник Севастьянов остановил незнакомого человека в бараньем тулупе близ заправочной колонки на одной из дорожных станций, и, когда человек повернулся, Севастьянов выстрелил ему прямо в лоб. И хотя Севастьянов не видал грабителя в лицо никогда, хотя дело было зимой, и беглец был в зимней одежде, хотя приметы, данные оперативнику, были самого общего характера (татуировку ведь не будешь рассматривать у каждого встречного), а фотография бандита была выполнена плохо, мутно, все же чутье не обмануло Севастьянова.

Из-под полы убитого выпал винтовочный обрез, в карманах был найден браунинг.

Документов было более чем достаточно.

Как расценить такой энергичный вывод из подсказанного «шестым» чувством? Еще минута — и Севастьянов был бы застрелен сам.

А если бы он застрелил невинного?

Для побега на «материк» у блатарей не нашлось ни силы, ни желания. Взвесив все «за» и «против», преступный мир решил не рисковать, а ограничиться устройством своей судьбы на новых местах — что, конечно, было благоразумно. Побег отсюда для уголовщины казались слишком смелой авантюрой, ненужным риском.

Кто же будет бежать? Крестьянин? Поп? Пришлось встретить только одного беглеца-попа, да и то этот побег произошел еще до знаменитого свидания патриарха Сергия с Буллитом, когда первому американскому послу были переданы из рук в руки списки всех право-

славных священников, отбывающих заключение и ссылку на всей территории Советского Союза. Патриарх Сергей в бытность свою митрополитом и сам познакомился с камерами Бутырской тюрьмы. После ружельтовского демарша все духовные лица из заключений и ссылок были освобождены поголовно. Намечался «конкордат» с церковью, крайне необходимый ввиду приближения войны.

Осужденный за бытовое преступление — растлитель малолетних, казнокрад, взяточник, убийца? Но всем им не было никакого смысла бежать. Их срок, «термин», по выражению Достоевского, обычно бывал невелик, в заключении они пользовались всяческими преимуществами и работали на лагерной «обслуге», в лагерной администрации и вообще на всех «привилегированных» должностях. Зачеты они получали хорошие, а самое главное — по возвращении домой, в деревню и в город, они встречали самое приветливое к себе отношение. Не потому, что эта приветливость — качество русского народа, жалеющего «несчастненьких»; жалость к «несчастненьким» давно отошла в область предания, стала милой литературной сказкой. Время изменилось. Великая дисциплинированность общества подсказывала «простым людям» узнать, как к сему предмету относится «власть». Отношение было самое благожелательное, ибо этот «контингент» отнюдь не тревожил начальство. Ненавидеть полагалось лишь «троцкистов», «врагов народа».

Была и вторая, тоже важная причина безразличного отношения народа к вернувшимся из тюрем. В тюрьмах побывало столько людей, что вряд ли в стране была хоть одна семья, родственники или знакомые которой не подвергались преследованиям и репрессиям. После вредителей настала очередь кулаков; после кулаков — «троцкистов», после троцкистов — людей с немецкими фамилиями. Крестовый поход против евреев чуть-чуть не был объявлен.

Все это привело людей к величайшему равнодушию,

воспитало в народе полное безразличие к людям, отмеченным Уголовным Кодексом в любой его части.

Если в былые времена человек, побывавший в тюрьме и вернувшийся в родное село, вызывал к себе то насто-роженное отношение, то враждебность, то презрение, то сочувствие — явное или тайное, то теперь на таких людей никто не обращал внимания. Моральная изо-ляция «клейменных, каторжных» давно отошла в не-бытие.

Люди из тюрьмы — при условии, если их возвраще-ние разрешено «начальством», — встречались самым радушным образом. Во всяком случае любой «чуба-ровец», растливший и заразивший сифилисом свою малолетнюю жертву, по отбытии срока мог рассчиты-вать на полную «духовную» свободу в том самом кругу, где он «вышел за рамки» Уголовного Кодекса.

Беллетристическое толкование юридических катего-рий играло тут не последнюю роль. В качестве теоре-тиков права выступали почему-то писатели и драма-турги. А тюремная и лагерная практика оставалась книгой за семью печатями; из докладов по служебной линии не делалось никаких серьезных, принципиальных выводов...

Зачем же было бежать «бытовикам» из лагерей? Они и не бежали, полностью доверяясь заботам начальства. Тем удивительнее побег Павла Михайловича Кривошея.

Приземистый, коротконогий, с толстой багровой шеей, слившейся с затылком, Павел Михайлович не-даром носил свою фамилию.

Инженер-химик одного из харьковских заводов, он в совершенстве знал несколько иностранных языков, много читал, хорошо разбирался в живописи, в скульп-туре, имел большое собрание антикварных вещей.

Видная фигура среди специалистов Украины, бес-партийный инженер Кривошей до глубины души пре-зирал всех и всяческих политиков. Умница и хитрец, он был с юношеских лет воспитан в страсти — не к

стяжанию, это было бы слишком грубо, неумно для Кривошей, а в страсти к наслаждению жизнью — так, как он это понимал. А это значило — отдых, порок. Духовные удовольствия были не по его вкусу. Культура, высокий уровень знания открывали ему, наряду с материальным достатком, больше возможности в удовлетворении потребностей и желаний низких, низменных.

Павел Михайлович и в живописи научился разбираться затем, чтобы набить себе цену, чтобы занять высокое место среди знатоков и ценителей, чтобы не ударить в грязь лицом перед очередным своим чисто чувственным увлечением женского или мужского пола. Сама по себе живопись его ни капли не волновала, но иметь суждение даже о квадратном зале Лувра он считал своей обязанностью.

Точно так же и литература, которую он почитывал, и преимущественно на французском или английском, и преимущественно — для практики в языке, — литература сама по себе интересовала его мало, и один роман он мог читать бесконечно — по странице на сон грядущий. И уж, конечно, нельзя было думать, что в свете может быть такая книга, которую Павел Михайлович будет читать до утра. Сон свой он охранял тщательно, и никакой детективный роман не мог бы нарушить мерного кривошеевского режима.

В музыке Павел Михайлович был профаном полным. Слуха у него не было, а о блоковском понимании музыки ему и слышать не приходилось. Но Кривошей давно понял, что отсутствие музыкального слуха — «не порок, а несчастье», и примирился с этим. Во всяком случае, у него хватало терпения выслушать какую-нибудь фугу или сонату и поблагодарить исполнителя или, вернее, исполнительницу.

Здоровья он был превосходного, телосложения пиквического, с некоторой склонностью к полноте, что, впрочем, в лагере не представляло для него опасности.

Родился Кривошей в 1900 году.

Носил он всегда очки, роговые или вовсе без оправы с круглыми стеклами. Медлительный, неповоротливый, с высоким лысеющим круглым лбом, Павел Михайлович Кривошей был фигурой чрезвычайно импозантной. Тут был, вероятно, и расчет — важные манеры производили впечатление на «начальников» и должны были облегчить Кривошее судьбу в лагере.

Чуждый искусству, чуждый художественному волнению творца или потребителя, Кривошей нашел себя в собирательной деятельности, в антиквариате. Этому делу он отдался со всей страстью — было и выгодно, и интересно, и давало Кривошее новые знакомства. Наконец, такое хобби облагораживало низменные вожделения инженера.

Инженерного жалования — «спецставки» тогдашних времен — стало недостаточно для той широкой жизни, которую вел Павел Кривошей, антиквар-любитель.

Понадобились средства, казенные средства, а уж в решительности-то Павлу Михайловичу отказать было нельзя.

Он получил расстрел с заменой десятью годами — срок огромный для середины тридцатых годов. Значит, там были мошенничества миллионные. Имущество его было конфисковано, продано с молотка, но, конечно, такой финал Павлом Михайловичем был предусмотрен заранее. Странно было бы, если б Кривошей не сумел скрыть несколько сот тысяч. Риск был невелик, расчет прост. Кривошей-«бытовик» просидит, как «друг народа», полсрока или еще менее и выйдет по зачетам или по амнистии и будет проживать припрятанные деньги.

Однако в «материковском» лагере Кривошею держали недолго — он был увезен, как долгосрочник, на Колыму. Это осложнило его планы. Правда, расчет на «статью» и на барские манеры оправдался полностью — на «общих работах» в горном забое Кривошей не был ни одного дня. Вскоре он был направлен по специальности инженера в химическую лабораторию Аркагалинского угольного района.

Это было время, когда знаменитое Чай-Урьянское золото еще не было открыто, и на месте многочисленных поселков с тысячами жителей стояли еще старые лиственницы и шестисотлетние тополя. Это было время, когда никто еще не думал, что самородки Ат-Уряжской долины могут быть исчерпаны или превзойдены; и жизнь еще не передвигалась на северо-запад по направлению к тогдашнему полюсу холода — Оймякону. Вырабатывали старые прииски и открывались новые. Приисковая жизнь вся — временка.

Уголь Аркагалы — будущего Аркагалинского бассейна — был форпостом разведчиков золота, будущей топливной базой края. Вокруг маленькой штольни, где, встав на рельсу, можно было достать рукой до «кровли», до потолка, штольни, пробитой экономно, «потаежному», как говаривало начальство, штольни ручной работы — от кайла и лопаты, — как все тогдашние тысячеверстные дороги Колымы. Дороги эти прииски первых лет — ручные, где из механизмов применялась только

«машина ОСО — две ручки и колесо».

Арестантский труд — дешев.

Геологические изыскательные партии еще захлебывались в золоте Сусумана, в золоте Верхнего Ат-Уряха.

Но — и Кривошей это хорошо понимал — геологические маршруты достигнут окрестностей Аркагалы и продвинутся дальше к Якутску. За геологами придут плотники, горняки, охрана . . .

Надо было торопиться.

Прошло несколько месяцев, и к Павлу Михайловичу приехала из Харькова его жена. Она приехала не на свидание, нет, последовала за мужем, повторяя подвиг жен декабристов. Жена Кривошей была не первая и не последняя из «русских героинь» — имя геолога Фаины Рабинович хорошо на Колыме известно. Но Фаина Рабинович — выдающийся геолог. Судьба ее — исключение.

Приехавшие за мужьями жены обрекали себя на хо-

лод, на постоянные муки странствия за мужем, которого то и дело переводили куда-либо, и жене надо было бросать найденное с трудом место работы и ехать в края, где женщине ездить опасно, где она может подвергнуться насилию, грабежу, издевательствам... Но и без путешествия каждую такую страдальицу ждали грубые ухаживания и приставания начальства, начиная от самого высокого и кончая каким-нибудь конвоиром, уже вошедшим во вкус колымской жизни. Предложение разделить пьяную холостяцкую компанию было уделом всех женщин без исключения, и, если заключенной командовали просто — «раздевайся и ложись!» — без всяких Пушкиных и Шекспиров и заражали их сифилисом, то с женами зэков обращение было еще более свободное. Ибо при изнасиловании заключенной всегда можно нарваться на донос своего друга или соперника, подчиненного или начальника, а за «любовь» с женами зэков, как с лицами, юридически независимыми, никакой статьи подобрать было нельзя.

Самое же главное — вся поездка за тринадцать тысяч верст оказывалась вовсе бессмысленной: никаких свиданий с мужем бедной женщине не давали, а обещания разрешить свидания превращали в оружие собственных ухаживаний.

Некоторые жены привозили разрешения Москвы на свидания раз в месяц, при условии примерного поведения и выполнения норм выработки. Все это, конечно, без ночевки, в обязательном присутствии лагерного начальника.

Почти никогда жене не удавалось устроиться на работу в том именно поселке, где отбывал заключение ее муж.

А если ей, паче всякого чаяния, и удавалось устроиться вблизи мужа, — того немедленно переводили в другое место. Это не было развлечением начальников — это было выполнение служебной инструкции, «приказ есть приказ». Такие случаи были предусмотрены Москвой.

Жене не удавалось передать никаких съестных продуктов мужу — на этот счет опять-таки существовали приказы, нормы, зависимость от результатов труда и поведения.

Передать хлеб мужу через конвоиров? — Побоятся, им это запрещено. Через начальника? Начальник согласен, но требует уплаты натурой — собственным телом. Денег ему не нужно, денег у него самого куры не клюют, недаром он давно уж «стоцентник», т.е. получает четверной оклад. Да у такой женщины вряд ли есть деньги на взятки, особенно на взятки по колымским масштабам. Вот такое безвыходное положение создавалось для жен заключенных. Да если еще жена — жена «врага народа», тут уж с ней окончательно не церемонились — всякое надругательство над ней считалось заслугой и подвигом и во всяком случае оценивалось положительно в политическом смысле.

Многие из жен приехали по вербовке на три года и в этом капкане вынуждены были ждать обратного парохода. Сильные духом — а сила понадобилась большая, чем их мужьям-арестантам, — дождались срока договора и уехали назад, так и не повидав мужей. Слабые, вспоминая преследования на «материке» и боясь туда возвращаться, живя в обстановке разгула, угара, пьянства, больших денег, — вышли замуж снова, и еще снова, нарожали детей и махнули рукой на арестанта-мужа и на себя самоё.

Жена Павла Михайловича Кривошея работы на Аркагале, как следовало ожидать, не нашла и уехала, пробыв там малое время, в столицу края, в город Магадан. Устроившись там на работу счетоводом — у Ангелины Григорьевны не было специальности, она была век свой «домашняя хозяйка», — жена Кривошея подыскала «угол» и стала жить в Магадане, где все же было повеселее, чем в «тайге», в Аркагале.

А оттуда по секретному проводу в тот же Магадан, к начальнику Розыскного отдела, учреждения, расположенного на той же, чуть не единственной улице го-

рода, где и поделенный на перегородки барак «для семейных», где нашла себе убежище Ангелина Григорьевна, летело зашифрованное служебное сообщение: «Бежал з/к Кривошей Павел Михайлович, 1900 года рождения, статья 168, срок 10, номер личного дела . . .»

Думали, что его прячет жена в Магадане. Арестовали жену, но ничего от нее не добились. Да, была, видела, уехала, работаю в Магадане. Длительная слежка, наблюдение не дали никаких результатов. Контроль отходящих пароходов, отлетающих самолетов был усилен, но все было напрасно — никаких следов мужа Ангелины Григорьевны не было.

Кривошей уходил в противоположную морю сторону, держа направление на Якутск. Он шел налегке. Кроме брезентового плаща, геологического молотка да сумки с малым количеством «образцов» геологических пород, запаса спичек и запаса денег, у него ничего не было.

Он шел открыто и не спеша, по вьючным конным дорогам, оленьим тропам, придерживаясь становищ, поселков, не отклоняясь глубоко в тайгу, и всякий раз ночуя под крышей — шалаша, чума, избы . . . В первом же крупном якутском поселке он нанял рабочих, которые по его указанию копали шурфы, «закопушки»-канавы, словом, проделывали ту же самую работу, которую и раньше случалось им выполнять для настоящих геологов. Технических знаний для должности коллектора у Кривошей хватало, притом Аркагала, где он жил около года, была последней базовой стоянкой многих геологических партий, и Кривошей пригляделся к манерам, к повадкам геологов. Медленность движений, роговые очки, ежедневное бритье, подпиленные ногти — все это внушало доверие безграничное.

Кривошей не торопился. Он заполнял путевую тетрадь таинственными знаками, несколько схожими с полевыми журналами геологов. Медленно поспешая, он неуклонно двигался к Якутску.

Иногда он даже возвращался, отклонялся в сторону, задерживался — все это было нужно для «обследования

бассейна ключа «Рябого», для правдоподобия, для замаскирования следов. Нервы у Кривошея были железные, приветливая улыбка сангвиника не сходила с его лица.

Через месяц он перешел (Яблоновый) хребет, два якута, выделенные колхозом для важной правительственной работы, несли его сумки с «образцами».

Они стали приближаться к Якутску. В Якутске Кривошей сдал свои камни в камеру хранения на паромной пристани и отправился в местное геологическое управление — с просьбой помочь ему переслать несколько важных посылок в Москву, в Академию Наук. Павел Михайлович ходил в баню, в парикмахерскую, купил дорогой костюм, несколько цветных рубашек, белье и, расчесав свои редущие волосы, явился к высокому научному начальству, благодушно улыбаясь.

Высокое научное начальство отнеслось к Кривошею благожелательно. Знание иностранных языков, обнаруженное Кривошеем, произвело нужное впечатление.

Видя в приезде большую культурную силу, чем не очень был богат тогдашний Якутск, научное начальство умолило Кривошея погостить там подольше. На смущенные фразы Павла Михайловича о том, что ему надо спешить в Москву, начальство обещало устроить ему проезд за казенный счет до Иркутска. Кривошей благодарил спокойно, не теряя достоинства. Но у научного начальства были свои виды на Павла Михайловича.

— Вы не откажетесь, конечно, дорогой коллега, — говорило начальство заискивающим тоном, — прочесть нашим научным работникам две-три лекции... о... на вольную тему, конечно, по вашему выбору. Что-нибудь о залеганиях угля в Средне-Якутской возвышенности, а?

У Кривошея засосало под ложечкой.

— О, конечно, с большим удовольствием. В пределах, как сказать, допустимого... Сведения, вы сами понимаете, без апробации в Москве...

Тут Кривошей пустился в комплименты научным силам города Якутска.

Никакой следователь не поставил бы вопрос хитрее,

чем это сделал якутский профессор по своей симпатии к ученому гостю, к его осанке, роговым очкам и по желанию лучшим образом послужить родному краю.

Лекция состоялась и даже собрала порядочное количество слушателей. Кривошей улыбался, цитировал по-английски Шекспира, что-то чертил, перечисляя десятки иностранных фамилий.

— Немного знают эти москвичи, — говорил в буфете якутскому профессору его сосед по креслу. — Все, что в лекции геологического, в сущности знает каждый школьник второй ступени, а? А химические анализы угля — это уже не из геологии, а? Только очки блестят!

— Не скажите, не скажите, — нахмурился профессор. — Все это очень полезно, и дар популяризации, несомненно, есть у нашего столичного коллеги. Надо будет его попросить повторить свое сообщение для студентов.

— Ну, разве что для студентов . . . первого курса, — не унимался сосед профессора.

— Замолчите. В конце концов, это одолжение, любезность. Даровому коню . . .

Лекция для студентов была повторена Кривошеем с большой любезностью, вызвала общий интерес и вполне доброжелательную оценку слушателей.

Средствами якутских научных организаций московский гость был доставлен в Иркутск.

Коллекция его — несколько ящиков, набитых камнями, была отправлена еще раньше. В Иркутске «руководителю геологической экспедиции» удалось отправить эти камни по почте в Москву, в адрес Академии Наук, где они и были получены и несколько лет лежали на складах, представляя собой научную тайну, о сущности которой никто так и не догадался. Предполагалось, что за этой таинственной посылкой, собранной каким-то сумасшедшим геологом, потерявшим знания и забывшим свое имя, стоит какая-то трагедия Заполярья, еще не раскрытая.

— Самое удивительное, — говаривал Кривошей, — что за все мое чуть ли не трехмесячное путешествие у

меня нигде, никто — ни в кочевых сельсоветах, ни в высоких научных учреждениях — не спрашивал документов. Документы-то у меня были, но нигде, ни разу не пришлось их предъявить.

В Харьков Кривошей, естественно, не показывал и носа. Он остановился в Мариуполе, купил там дом, поступил с подложными документами на работу.

Ровно через два года, в годовщину своего «похода», Кривошей был арестован, судим, приговорен снова к 10 годам и направлен для отбывания наказания снова на Колыму.

Где была допущена оплошность, сводившая на нет этот поистине героический поступок, подвиг, требующий удивительной выдержки, гибкости ума, физической крепости — всех человеческих качеств одновременно?

Побег этот — беспрецедентен по тщательности подготовки, по тонкой и глубокой идее, психологическому расчету, положенному в основание всего дела.

Побег этот удивителен по крайне малому количеству лиц, принимавших участие в его организации. В этом и был залог успешности намеченного предприятия.

Побег этот замечателен еще и потому, что в нем в прямую борьбу с государством, с тысячами вооруженных винтовками людей, в краю «чалдонов» и якутов, приученных получать за беглецов по полпуда белой муки с головы, — таков был тариф царского времени, узаконенный и позже, — вступил человек-одиночка; он, справедливо вынужденный видеть в каждом встречном доносчика или труса, — он поборолся, сразился и победил!

Где же, в чем была та оплошность, которая сгубила его блестяще задуманное и великолепно выполненное дело?

Его жену задержали на Севере. Ей не разрешили выезда «на материк» — документы на это выдавало то же самое учреждение, которое занималось делами ее мужа.

Впрочем, это было предусмотрено, и она стала ждать. Месяцы тянулись за месяцами, ей отказывали — как всегда, без объяснения причин отказа. Она сделала попытку уехать с другого конца Колымы — самолетом над теми же таежными реками и распадками, по которым продвигался несколько месяцев назад ее муж, — но и там, конечно, ее ждал отказ. Она была заперта в огромной каменной тюрьме величиной в одну восьмую часть Советского Союза — и не могла найти выхода.

Она была женщина, она устала от бесконечной борьбы с кем-то, чьего лица она не могла рассмотреть, от борьбы с кем-то, кто был гораздо сильнее ее, сильнее и хитрее.

Деньги, которые она привезла с собой, кончились — жизнь на Севере дорогая: яблоко на Магаданском базаре стоило сто рублей. Ангелина Григорьевна поступила на службу, но служащим по местному найму, не «завербованным» с «материка», платили оклады другие, мало отличавшиеся от окладов Харьковской области.

Муж часто ей твердил: «Войну выигрывает тот, у кого крепче нервы», и Ангелина Григорьевна часто во время бессонных белых полярных ночей шептала эти слова немецкого генерала. Ангелина Григорьевна чувствовала, что нервы ее начинают сдавать. Ее измучило это белое безмолвие природы, глухая стена людского равнодушия, полная неизвестность и тревога, тревога за судьбу мужа — ведь он мог просто умереть в пути от голода. Его могли убить другие беглецы, застрелить «оперативники», и только по неотвязному вниманию к ней и к ее личной жизни со стороны Учреждения Ангелина Григорьевна радостно заключала, что муж ее не пойман, «в розыске», и, стало быть, она страдает не напрасно.

Ей хотелось бы довериться кому-либо, кто мог бы понять ее, посоветовать что-либо — ведь она так мало знала Дальний Север. Она хотела бы облегчить ту страшную тяжесть на душе, которая, как ей казалось, росла с каждым днем, с каждым часом.

Но кому она может довериться? В каждом, в каждой Ангелина Григорьевна видела, чувствовала шпиона, доносчика, наблюдателя, и чувство не обманывало ее — все ее знакомые во всех поселках и городах Колымы были вызваны, предупреждены Учреждением. Все ее знакомые напряженно ждали ее откровенности.

На втором году она сделала несколько попыток связаться с харьковскими знакомыми по почте — все ее письма были скопированы, пересланы в харьковское Учреждение.

К концу второго года своего вынужденного «заключения» полунищая, почти в отчаянии, зная только, что муж ее жив, и пытаясь с ним связаться, она послала на имя Павла Михайловича Кривошей письма во все большие города — «почтамт, до востребования».

В ответ она получила денежный перевод и в дальнейшем получала деньги каждый месяц понемногу, по пятьсот-восемьсот рублей, из разных мест, от разных лиц. Кривошей был слишком умен, чтобы отправлять деньги из Мариуполя, а Учреждение слишком опытно, чтобы этого не понимать. Географическая карта, которая отводится в подобных случаях для разметки «боевых операций», подобна штабным военным картам. Флажки на ней — места отправки денежных переводов на Дальний Север адресатке — располагались на станциях железной дороги близ Мариуполя к северу, никогда не повторяясь дважды. Розыску теперь нужно было приложить немного усилия: установить фамилии людей, приехавших в Мариуполь на постоянное жительство за последние два года, сличить фотографии...

Так был арестован Павел Кривошей. Жена была его смелой и верной помощницей. Она привезла ему на Аркагалу документы, деньги — более пятидесяти тысяч рублей.

Как только Кривошей был арестован, ей немедленно разрешили выезд. Измученная и нравственно, и физически Ангелина Григорьевна покинула Колыму с первым же пароходом.

А сам Кривошей отбыл и второй срок, заведая химической лабораторией в Центральной больнице для заключенных, пользуясь маленькими льготами от начальства и так же презирая и боясь «политических», как раньше, крайне осторожный в разговорах, чутко трусливый при чужих словах... эта трусоватость и чрезмерная осмотрительность имела другую все же почву, чем у обыкновенного труса-обывателя. Кривошею все это было чуждо, все «политическое» его вовсе не интересовало, и он, зная, что именно этого сорта «криминал» оплачивается самой дорогой ценой в лагере, не хотел жертвовать своим, слишком дорогим ему, житейским, материальным, а не духовным покоем.

Кривошей и жил в лаборатории, а не в лагерном бараке — привилегированным арестантам это разрешалось.

За шкафами с кислотами и щелочами гнездилась его койка, казенная, чистая. Ходили слухи, что он развращается в своей пещере каким-то особенным образом, и что даже иркутская проститутка Сонечка, способная «на все подлости», поражена способностями и знаниями Павла Михайловича по этой части. Но все это могло быть и неправдой, лагерным «свистом».

Было немало вольнонаемных дам, желавших «закрутить роман» с Павлом Михайловичем, мужчиной цветущим. Но заключенный Кривошей, осторожный и волевой, присекал все щедро расточаемые ему «авансы». Он не хотел никаких незаконных, чрезмерно рискованных, чрезмерно караемых связей. Он хотел покоя.

Павел Михайлович аккуратно получал зачеты, как бы они ни были ничтожны, и через несколько лет освободился, без права выезда с Колымы. Это, впрочем, нисколько не смущало Павла Михайловича. На другой же день после освобождения оказалось, что у него есть и превосходный костюм, и плащ какого-то заграничного покроя, и добротная велюровая шляпа.

Он устроился по специальности на один из заводов в качестве инженера-химика — он и в самом деле был

специалистом «высокого давления». Проработав неделю, он взял отпуск «по семейным обстоятельствам», как было сказано в документе.

— ???

— За женщиной еду, — чуть улыбнувшись, сказал Кривошей. — За женщиной!.. На ярмарку невест в совхоз Эльген. Жениться хочу.

Этим же вечером он возвратился с «женщиной».

Около совхоза Эльген, «женского совхоза», есть заправочная станция — на окраине поселка, на «природе». Вокруг, соседствуя с бочками бензина, — кусты тальника, ольхи. Сюда собираются ежевечерне «освобожденные» женщины Эльгена. Сюда же приезжают на машинах «женихи» — бывшие заключенные, которые ищут подругу жизни. Сватовство происходит быстро — как все на Колымской земле (кроме лагерного срока), — и машины возвращаются с новобрачными. Подробное знакомство при надобности происходит в кустах — кусты достаточно густы, достаточно велики.

Зимой все это переносится в частные квартиры-домики. Смотрины в зимние месяцы отнимают, конечно, гораздо больше времени, чем летом.

— А как же Ангелина Григорьевна?

— Я не переписываюсь с ней теперь.

Было ли это правдой или нет, допытываться не стоило. Кривошей мог ответить великолепным лагерным присловьем: не веришь — прими за сказку!

*

Когда-то в двадцатые годы, на заре «туманной юности» лагерных учреждений, в немногочисленных «зонах», именовавшихся концлагерями, побег вообще не карались никаким дополнительным сроком наказания и как бы не составляли преступления. Казалось естественным, что арестант, заключенный должен бежать, а охрана должна его ловить, и что это вполне понятные

и закономерные отношения двух людских групп, стоящих по разные стороны тюремной решетки и этой решеткой соединенных друг с другом. Это были романтические времена, когда, пользуясь словом Мюссе, «будущее еще не наступило, а прошлое не существовало более». Еще вчера атаман Краснов, пойманный в плен, отпускался на честное слово. А самое главное — это было время, когда границы терпения русского человека еще не испытывались, не раздвигались до бесконечности, как это было сделано во второй половине тридцатых годов.

Был еще не написан, не составлен «Кодекс 1926 года» с его пресловутой 16-й статьей («по соответствию») и статьей 35, обозначившей в обществе целую социальную группу «тридцатипятников».

Первые лагеря были открыты на шаткой юридической основе. В них было много импровизации, а, стало быть, и того, что называется местным производом. Известный соловецкий «Курилка», ставивший заключенных на пеньки в тайге — «на комарей», был, конечно, эмпиром. Эмпиризм лагерной жизни и порядков в них был кровавым — ведь опыты велись над людьми, над живым материалом. Высокое начальство могло одобрить опыт какого-нибудь «Курилки», и тогда его действия вносились в лагерные скрижали, в инструкции, в приказы, в указания. Или опыт осуждался, и тогда «Курилка» шел под суд сам. Впрочем, больших сроков наказания тогда не было — во всем IV отделении Соловков было два заключенных с десятилетним сроком, на них показывали пальцами, как на знаменитостей. Один был бывший жандармский полковник Руденко, другой Марджанов, каппелевский офицер. Пятилетний срок считался значительным, а двух-трехлетние приговоры составляли большинство.

Вот в эти-то самые годы — до начала тридцатых годов — за побег не давалось никакого срока. Бежал — твое счастье, поймали **ЖИВОГО** — опять твое счастье. Живыми ловили не часто — вкус человеческой крови

разжигал ненависть конвоя к заключенным. Арестант боялся за свою жизнь, особенно при переходах, при «этапах», когда неосторожное слово, сказанное конвоем, могло привести на тот свет, «на луну». В этапах действуют более строгие правила, и конвоем сходит с рук многое. Заключенные при переходах с «командировки» на «командировку» требовали у начальства связывать им руки за спиной на дорогу, видя в этом некоторую жизненную гарантию и надеясь, что в этом случае арестанта не «сактируют» и не запишут в его формуляр сакраментальной фразы — «убит при попытке к побегу».

Следствия по таким убийствам велись всегда спустя рукава, и если убийца был достаточно догадлив, чтобы дать в воздух второй выстрел, дело всегда кончалось для конвоира благополучно — в инструкциях полагается предупредительный выстрел перед прицелом по беглецу.

На Вишере, в четвертом отделении СЛОН'а — уральского филиала Соловецких лагерей — для встречи пойманных беглецов выходил комендант Управления Нестеров — коренастый, приземистый, с длинными белокожими руками, с короткими толстыми пальцами, густо заросшими черными волосами; казалось, что и на ладонях у него растут волосы.

Беглецов, грязных, голодных, избитых, усталых, покрытых серой дорожной пылью с ног до головы, бросали к ногам Нестерова.

— Ну, подойди, подойди поближе.

Тот подходил.

— Погулять, значит, захотел! Доброе дело, доброе дело!

— Уж вы простите, Иван Спиридоныч.

— Я прощаю, — певуче-торжественно говорил Нестеров, вставая с крыльца. — Я-то прощаю. Государство не простит...

Голубые глаза его мутнели, затягивались красными

ниточками жил. Но голос его по-прежнему был доброжелателен, добродушен.

— Ну, выбирай, — лениво говорил Нестеров, — плеска или в изолятор . . .

— Плеска, Иван Спиридоныч.

Волосатый кулак Нестерова взлетал над головой беглеца, и счастливый беглец отлетал в сторону, утирая кровь, выплевывая выбитые зубы.

— Ступай в барак!

Иван Спиридонович сбивал любого с ног одним ударом, одним «плеском» — этим он и славился и гордился.

Арестант тоже был не в убытке — «плеском» Ивана Спиридоновича заканчивались расчеты за побег.

Если же беглец не хотел решить дело по-семейному и настаивал на официальном возмездии, на ответственности по закону — его ждал лагерный изолятор, тюрьма с железным полом, где месяц, два, три на карцерном пайке казались беглецу гораздо хуже нестеровского «плеска».

Итак, если беглец оставался в живых — никаких особенных неприятных последствий побега не оставалось, разве что при отборе «на освобождение» при «разгрузках» бывший беглец уж не может рассчитывать на свою удачу.

Росли лагеря, росло и число побегов, увеличение охраны не достигало цели — это было слишком дорого, да по тем временам желающих поступить в лагерную охрану было крайне мало.

Вопрос об ответственности за побег решался неудовлетворительно, несолидно, решался как-то по-детски.

Вскоре было прочитано новое московское разъяснение: дни, которые беглец находился в побеге, и тот срок, который он отбывал в изоляторе за побег, — не входит в исчисление основного его срока.

Приказ этот создал значительное недовольство в учетных учреждениях лагеря — потребовалось и увеличить штат, да и столь сложные арифметические вы-

числения были не всегда под силу работникам лагерного учета.

Приказ был внедрен, прочитан на «поверках» всему лагерному составу.

Увы, он не напугал будущих беглецов.

Каждый день в рапортчиках командиров рот росла графа «в бегах», и начальник лагеря, читавший ежедневные сводки, хмурился день ото дня все больше.

Когда бежал любимец начальника музыкант лагерного духового оркестра Капитонов, повесив свой корнет-а-пистон на сук ближайшей сосны, — Капитонов вышел из лагеря с блестящим инструментом как с пропуском, — начальник потерял душевное равновесие.

Поздней осенью были убиты во время побега трое заключенных. После опознания начальник распорядился их трупы выставить на трое суток у лагерных ворот, откуда выходили все на работу. Но и такая неофициальная острая мера не остановила, не уменьшила побегов.

Все это было в конце двадцатых годов. Потом последовала «перековка», Беломорканал — «концлагеря» были переименованы в «исправительно-трудовые», количество заключенных выросло в сотни тысяч раз, побег уже трактовался как самостоятельное преступление: в Кодексе 1926 года была 82-я статья, и наказание по ней определялось в год дополнительно к основному сроку.

Все это было на «материке», а на Колыме — лагере, который существовал с 1932 года, — вопрос о беглецах был поставлен лишь в 1938 году. С этого года наказание за побег было увеличено, «термин» вырос до целых трех лет.

Почему колымские годы с 1932 по 1937 год включительно выпадают из летописи побегов? Это — время, когда там работал Эдуард Петрович Берзин. Первый колымский начальник с правами высшей партийной, советской и профсоюзной власти в крае, зачинатель Колымы, расстрелянный в 1938 году и в 1956 году

реабилитированный, бывший секретарь Дзержинского, бывший командир дивизии латышских стрелков, разоблачивший знаменитый заговор Локкарта, Эдуард Петрович Берзин пытался, и весьма успешно, разрешить проблему колонизации сурового края и одновременно проблемы «перековки» и изоляции. Зачеты, позволявшие вернуться через два-три года десятилетникам. Отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4-6 часов, летом — 10 часов, колоссальные заработки для заключенных, позволяющие им помогать семьям и возвращаться после срока на «материк» обеспеченными людьми. В «перековку» блатарей Эдуард Петрович не верил, он слишком хорошо знал этот зыбкий и подлый человеческий материал. На Колыму первых лет вора́м было попасть трудно — те, которым удалось туда попасть, не жалели впоследствии.

Тогдашние кладбища для заключенных настолько малочисленны, что можно было думать, что колымчане — бессмертны.

Бежать никто с Колымы не бежал — это было бы бредом, чепухой...

Эти немногие годы — то золотое время Колымы, о котором с таким возмущением говорил разоблаченный шпион и подлый враг народа Николай Иванович Ежов на одной из сессий ЦИК'а СССР — незадолго до «ежовщины».

В 1938 году Колыма была превращена в спецлагерь для рецидива и «троцкистов». Побег стал караться тремя годами.

. ,

— Как же вы бежали? Ведь у вас не было ни карты, ни компаса.

— Так и бежали. Вот Александр обещал вывести...

Мы вместе ждали отправки на «транзитке». Неудачных беглецов было трое: Николай Карев, малый лет двадцати пяти, бывший ленинградский журналист, ро-

весник его Федор Васильев — ростовский бухгалтер и камчадал Александр Котельников. Александр Котельников — колымский абориген, камчадал по народности, а по профессии каюр, погонщик оленей, осужденный здесь же за кражу казенного груза. Котельникову было лет пятьдесят, а то и много больше — возраст якута, чукчи, камчадала, эвенка определить на взгляд трудно. Котельников не только хорошо говорил по-русски, только звук «ш» никак не мог выговорить и заменял его звуком «с», равно как и на всех диалектах Чукотского полуострова. Он имел представление о Пушкине, о Некрасове, бывал в Хабаровске, словом, был путешественник опытный, но романтик в душе — слишком уж детски молодо сверкали его глаза.

Он-то и взялся вывести молодых своих друзей из заключения.

— Я им говорил: ближе в Америку, пойдемте в Америку, но они хотели материк, я вел материк. Чукчей дойти надо, кочевых чукчей. Чукчи были здесь, ушли, как русский человек пришел, вот к ним... Не успел.

Беглецы шли всего четыре дня. Они бежали в начале сентября, в ботинках, в летней одежде, в уверенности дойти до чукотских кочевий, где их, по уверениям Котельникова, ждет помощь и дружба.

Но выпал снег, густой снег, ранний снег. Котельников пошел в эвенкский поселок затем, чтобы купить торбаза. Он купил торбаза, а к вечеру отряд оперативников настиг беглецов.

— Тунгус — враг, предатель, — плевался Котельников.

Вывести Карева и Васильева из тайги старый каюр брался совершенно бесплатно. О новом своем трехлетнем «довеске» Котельников не грустил.

— Вот придет весна — выпустят на прииск, на работу, и я опять уйду.

Чтобы скоротать время, он учил Карева и Васильева чукотской, камчадальской речи. Заводилой этого обреченного на неудачу побега был, конечно, Карев. От

всей его фигуры, театральной даже в этой тюремно-лагерной обстановке, от модуляций его бархатного голоса веял ветер легкомысленности — даже не авантюризма. С каждым днем он понимал все лучше безвыходность таких попыток, все чаще задумывался и слабел.

Васильев был просто добрым товарищем, готовым разделить любую участь друга. Все они бежали, конечно, на ПЕРВОМ году своего заключения, пока еще были иллюзии... и физическая сила.

. ,

Из палатки-кухни кочевого поселка геологов летней, «белой» ночью исчезло двенадцать банок мясных консервов. Пропажа была в высшей степени загадочной — все сорок рабочих и техников были людьми вольными, с порядочными заработками и вряд ли нуждающимися в такой вещи, как мясные консервы. Даже если бы это были консервы сказочной цены, сбыть их было некуда в глухом, бесконечном лесу. «Медвежий» вариант также был сразу отвергнут, ибо ничто на кухне не было сдвинуто с места. Можно было думать, что это сделал кто-то нарочно, «по злобе» на повара, в чьем ведении находились продукты кухни; правда, повар, человек добродушнейший, отрицал, что среди сорока его товарищей скрывается и пакостит его, повара, враг. Если же и это предположение было неверным, то оставалось еще одно. И вот для проверки этого последнего предположения прораб разведки Касаев, взяв с собой двух рабочих порасторопней, вооружив их ножами, а сам захватив единственное огнестрельное оружие, которое было на «командировке», — мелкокалиберную винтовку, — отправился осматривать окрестности. Окрестности были — серокоричневые ущелья, без всякого следа зелени и ведущие на большое известковое плато. Поселок геологов расположен был как бы в яме, на зеленом берегу речки.

Разгадывать тайну пришлось недолго. Часа через два, когда они не спеша поднялись на плато, один из рабочих поглазастей протянул руку — на горизонте была движущаяся точка. Они пошли по краю зыбких молодых туфов, молодого камня, еще не успевшего окаменеть и похожего на белое масло, противно-соленое на вкус. Нога в нем вязла, как в болоте, и сапоги, окунутые в этот полужидкий, маслообразный камень, покрывались как бы белой краской. По краю было идти легко, и часа через полтора они нагнали человека. Человек был одет в обрывки бушлата и в рваные ватные брюки с голыми коленями. Обе штанины были обрезаны — из них была сделана обувь, уже порванная, истертая вконец. Для той же цели еще ранее были отрезаны и изношены рукава от бушлата. Его кожаные ботинки или резиновые чуни давно были сношены о камни и сучья и, очевидно, брошены.

Человек был бородат, волосат, бледен от невыносимого страдания. У него был понос, отчаянный понос. Одиннадцать целехоньких консервных банок лежали тут же на камнях. Одна банка была разбита о камни и дочиста съедена еще вчера.

Он шел уже месяц к Магадану, кружась в лесу, как гребец в густом тумане на озере, и плутая, потеряв всякое направление, шел наудачу, пока не наткнулся на «командировку» — только тогда, когда совсем ослабел. Он ловил полевых мышей, ел траву. Он держался до вчерашнего дня. Он заметил дымок еще вчера, дождался ночи, взял консервы, выполз на плато к утру. В кухне он взял спички, но пользоваться спичками ему не было необходимости. Он съел консервы, и страшная жажда, пересохший рот вынудили его опуститься по другому распадку до ручья. И там он пил, пил холодную вкусную воду. Через сутки лицо его отекло, начавшееся расстройство кишечника уносило последние силы.

Он был рад — любому концу своего путешествия.

Другой беглец, которого выволкли на ту же «командировку» из тайги оперативники, был какой-то важной

персоной. Участник группового побега с соседнего прииска, побега с грабежом и убийством самого начальника прииска, — он был последний из всех десяти бежавших. Двое было убито, семеро поймано, и вот последний был изловлен на 21-й день. Обуви у него не было, потрескавшиеся подошвы ног кровоточили. За неделю, по его словам, он съел только крошечную рыбку из пересохшего ручья, рыбку, которую он ловил несколько часов, обессилев от голода. Лицо его было опухшим, бескровным. Конвоиры очень заботились о нем, о его диете, о выздоровлении — мобилизовали фельдшера командировки, строго-настрого приказав ему заботиться о беглеце. Беглец прожил в бане поселка целых три дня и, наконец, постриженный, побритый, вымытый, сытый, он был уведен «оперативкой» на следствие, исходом которого мог быть только расстрел. Сам беглец об этом, конечно, знал, но это был арестант бывалый, равнодушный, уже давно прошедший ту грань жизни в заключении, когда каждый человек становится фаталистом и живет «по течению». Возле него все время были конвоиры, «бойцы охраны», говорить ему ни с кем не давали. Каждый вечер он сидел на крыльце бани и разглядывал огромный вишневый закат. Огонь вечернего солнца перекатывался в его глаза, и глаза беглеца казались горящими — очень красивое зрелище.

.

В одном из колымских посёлков, в Оротукане, стоит памятник Татьяне Маландиной, и оротуканский клуб носит ее имя. Татьяна Маландина была договорницей, комсомолкой, попавшей в лапы уголовников-беглецов. Они ее ограбили, изнасиловали, по гнусному блатарскому выражению, «хором» и убили в нескольких сотнях метров от поселка, в тайге. Было это в 1938 году, и начальство тщетно распространяло слухи, что ее убили «троцкисты». Однако клевета подобного рода была чересчур нелепой и возмутила даже родного дядю уби-

той комсомолки — лейтенанта Маландина, лагерного работника, который именно после смерти племянницы резко изменил свое отношение к ворами и к другим заключенным, ненавидя первых и оказывая льготы вторым.

.

Оба эти беглеца были пойманы тогда, когда их силы были на исходе. По-другому себя вел беглец, задержанный группой рабочих на тропе близ разведочных шурфов. Третий день шел обложной дождь беспрерывно, и несколько рабочих, напялив на себя брезентовую «спецовку», — куртки и брюки — отправились посмотреть, не пострадала ли от дождя маленькая палаточка — кухня с посудой и продуктами, полевая кузница с наковальней, походным горном и запасом бурового инструмента. Кузница и кухня стояли в русле горного ручья, в ущелье, километрах в трех от места жилья.

Горные реки разливаются в дождь очень сильно, и можно было ждать каких-нибудь каверз погоды. Однако то, что люди увидели, привело их в крайнее смущение. Ничего не существовало. Не было кузницы, где хранился инструмент для работ целого участка — буры, подбурники, кайла, лопаты, кузнечный инструмент; не было кухни с запасом продуктов на все лето; не было котлов, посуды — ничего не было. Ущелье было новым — все камни в нем были заново поставлены, принесены откуда-то обезумевшей водой. Все старое было сметено вниз по ручью, и рабочие прошли по берегам ручья до самой речки, куда ручей впадал, километров шесть-семь, и не нашли ни кусочка железа. Много позже в устье этого ручья, когда вода спала, на берегу, в тальнике, забитом песком, была найдена смятая камнями, вывороченная, исковерканная эмалированная миска из столовой поселка — и это было все, что осталось после грозы, после паводка.

Возвращаясь обратно, рабочие наткнулись на человека в кирзовых сапогах, в намокшем плаще, с большой заплечной сумкой.

— Ты беглец, что ли? — спросил человека Васька Рыбин, один из «канавщиков» разведки.

— Беглец, — полуутвердительно ответил человек. — Обсудиться бы...

— Ну, пойдём к нам, у нас печка горит. — Летом в дождь всегда топились железные печи в большой палатке — все сорок рабочих жили в ней.

Беглец снял сапоги, развесил портянки вокруг печи, достал жестяной портсигар, насыпал махорку в обрывок газеты, закурил.

— Куда идешь-то в такой дождь?

— На Магадан.

— Пожрать хочешь?

— А что у вас есть?

Суп и перловая каша не соблазнили беглеца. Он развязал свой мешок и вынул кусок колбасы.

— Ну, братец, — сказал Рыбин, — ты беглец-то не настоящий.

Рабочий постарше, заместитель бригадира Василий Кочетов встал.

— Куда ты? — спросил его Рыбин.

— До ветру. — И перешагнул через доску-порог палатки.

Рыбин усмехнулся.

— Вот что, браток, — сказал он беглецу, — ты сейчас собирайся и иди, куда хотел. Тот, — сказал он про Кочетова, — к начальству побежал. Чтоб тебя задержать, значит. Ну, бойцов у нас нет, ты не бойся, а прямо иди и иди. Вон хлебушка возьми да пачку табаку. И дождик как будто поредел, на твое счастье. Держи прямо на большую сопку, не ошибешься.

Беглец молча намотал непросохшие портянки сухими концами на ступни, натянул сапоги, вскинул мешок на плечи и вышел.

Через десять минут кусок брезента, заменявший

дверь, откинулся, и в палатку влезло начальство — прораб Касаев с мелкокалиберной через плечо, два десятника и Кочетов, вошедший в палатку последним.

Касаев постоял молча, пока привык к темноте палатки, огляделся. Никто не обратил внимания на вошедших. Все занимались своим делом — кто спал, кто чинил одежду, кто вырезал ножом какие-то мудреные фигурки из коряги — очередные эротические упражнения, кто играл в буру самодельными картами...

Рыбин ставил в печку на горящие угли закопченный котелок из консервной банки — собственное какое-то варево.

— Где беглец? — заорал Касаев.

— Беглец ушел, — сказал Рыбин спокойно, — собрался и ушел. Что я — держать его должен?

— Да он же раздетый был, — закричал Кочетов, — спать собирался.

— Ты ведь тоже собирался до ветру, а под дождем куда бегал? — спросил Рыбин.

— Пошли домой, — сказал Касаев. — А ты, Рыбин, смотри: это добром не кончится...

— Что ж ты мне можешь сделать? — сказал Рыбин, подходя к Касаеву ближе. — На голову соли насыпать? Или сонного зарезать? Так, что ли?

Прораб и десятники вышли.

Это — маленький лирический эпизод в однообразно мрачной повести о беглецах Колымы.

Начальник командировки, встревоженный постоянными визитами беглецов — трое в течение одного месяца, — тщетно добивался в высших инстанциях организации на командировке «оперпоста» из вооруженных солдат охраны. На такие расходы для вольнонаемных Управление не пошло, предоставив ему справляться с беглецами собственными силами. И хотя к этому времени, кроме касеевской мелкокалиберки, в поселке завелось еще две охотничьих двустволки центрального боя, и патроны к ним заряжались, как «жиганы», — кусками свинца, вроде как для медведя, — все же всем

было ясно, что при нападении голодных и отчаянных беглецов «жиганы» эти — ненадежная помощь.

Начальник был парень бывалый — внезапно на командировке были построены две караульные вышки, точно такие же, какие стоят по углам настоящих лагерных зон.

Это был остроумный камуфляж. Фальшивые караульные вышки должны были убедить беглецов, что «на командировке вооруженная охрана».

Расчет начальника был, по-видимому, правильным — беглецы больше не посещали эту командировку, находившуюся всего в двухстах километрах от Магадана.

Когда работы на «первом металле», т.е. на золоте, передвинулись в Чай-Урьинскую долину, путем, который когда-то прошел Кривошей, двинулись десятки беглецов. Тут было всего ближе до «материка», но об этом ведь знало и начальство. Количество «секретов» и «оперпостов» было резко увеличено — охота на беглецов была в полном разгаре. Летучие отряды «прочесывали» тайгу и наглухо закрыли «освобождение через зеленого прокурора» — так назывались побег. «Зеленый прокурор» освобождал все меньше, меньше и, наконец, перестал освобождать совсем.

Пойманных обычно убивали на месте, и немало трупов лежало в морге Аркагалы, ожидающих опознания — приезда работников учета для отпечатков пальцев мертвецов.

В десяти километрах в лесу от угольной аркагалинской шахты в поселке Кадыкчан, известном выходом угольных мощных пластов почти на поверхность — пласты были в 8, 13 и 21 метр мощностью, — был расположен такой «оперпост», где солдаты спали, ели, вообще «базировались».

Во главе этого летучего отряда летом сорокового года стоял молодой ефрейтор Постников, человек, в котором была разбужена жажда убийства и который свое дело выполнял с охотой, рвением и страстью. Он лично поймал целых пять беглецов, получил какую-то медаль

и, как полагается в таких случаях, некоторую денежную награду. Награда выдавалась за мертвых и за живых — одинаково, так что доставлять «в целости» пойманного не было никакого смысла.

Постников со своими бойцами бледным августовским утром наткнулся на беглеца, вышедшего к ручью, где была засада.

Постников выстрелил из маузера и убил беглеца. Решено было его не тащить в поселок и бросить в тайге — следов и рысьих, и медвежьих встречалось здесь много.

Постников взял топор и отрубил обе руки беглеца, чтобы учетная часть могла сделать отпечатки пальцев, положил обе мертвых кисти в свою сумку и отправился домой — сочинять очередное донесение об удачной охоте.

Это донесение было отправлено в тот же день — один из бойцов понес «пакет», а остальным Постников дал выходной день в честь своего успеха . . .

Ночью мертвец встал и, прижимая к груди окровавленные культишки рук, по следам вышел из тайги и кое-как добрался до палатки, где жили рабочие-заключенные. С белым бескровным лицом, с необычайными синими безумными глазами, он стоял у двери, согнувшись, привалясь к дверной раме, и, глядя исподлобья, что-то мычал. Он трясся в сильнейшем ознобе. Черные пятна крови были на телогрейке, брюках, резиновых чунях беглеца. Его напоили горячим супом, закутали какими-то тряпками страшные руки его и повели в медпункт, в амбулаторию. Но уже из избушки, где жил «оперпост», бежали солдаты, бежал сам ефрейтор Постников.

Солдаты повели беглеца куда-то, только не в больницу, не в амбулаторию — и больше о беглеце с отрубленными руками никто ничего не слышал.

Постников и весь его «оперпост» работали до первого снега. При первых морозах, когда дел по таежному

«розыску» становится меньше, опергруппу эту куда-то перевели из Аркагалы.

Побег — великое испытание характеров, выдержки, воли, выносливости физической и духовной. Думается, ни для какой полярной зимовки, ни для какой экспедиции не так трудно подобрать товарищей, как в побег.

Притом голод, острый голод — всегдашняя угроза для беглеца. Если ж понять, что именно от голода и бежит арестант и, стало быть, голода не боится, то вырастает еще одна смутная опасность, с которой может встретиться беглец, — он может быть съеден своими собственными товарищами. Конечно, случаи людоедства в побеге редки. Но все же они существуют, и, думается, нет ни одного старого колымчанина, пробывшего на Дальнем Севере с десятков лет, кто бы не сталкивался с людоедами, получившими срок именно за убийство товарища в побеге, за употребление в пищу человеческого мяса.

В Центральной больнице для заключенных длительное время находился больной Соловьев с хроническим остеомиелитом бедра. Остеомиелит — воспаление костного мозга — возник после пулевого ранения кости, умело растравленного самим Соловьевым. Соловьев, осужденный за побег и людоедство, «тормозился» в больнице и рассказывал охотно, как он с товарищем, готовясь в побег, нарочно пригласил третьего — «на случай, если заголодаем».

Беглецы шли долго, около месяца. Когда «третий» был убит и частью съеден, а частью «зажарен в дорогу», двое убийц разошлись в разные стороны — каждый боялся быть убитым в любую ночь.

Встречались и другие людоеды. Это самые обыкновенные люди. На людоедах нет никакого каинова клейма, и пока не знаешь подробностей их биографии, — все обстоит благополучно. Но даже если и узнаешь об этом — тебе это не претит, тебя это не возмущает. На брезгливость и возмущение такими вещами не хватает физических сил, просто места не хватает, где

могли бы жить чувства подобной тонкости. К тому же история нормальных полярных путешествий нашего времени не свободна от подобных поступков: таинственная смерть шведского ученого Мальмгрена, участника экспедиции Нобиле — на нашей памяти. Что же требовать от голодного, затравленного получеловека-полузверя?

Все побеги, о которых шел рассказ, — это побеги на родину, на «материк», побеги с целью вырваться из цепких лап тайги, добраться до «России». Все они кончаются одинаково — никому не выбраться с Дальнего Севера. Неудача такого рода предприятий, безвыходность их и, с другой стороны, повелительная тоска по свободе, ненависть и отвращение к принудительному труду, к физическому труду — ибо ничего другого в заключенном лагерь воспитать не может. На воротах каждой лагерной зоны насмешливо выведено: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства» и имя автора этих слов. Надпись делается по специальному циркуляру и обязательна для каждого лагерного отделения.

Вот эта тоска по свободе, жгучее желание очутиться в лесу, где нет колючей проволоки, караульных вышек с винтовочными стволами, блестящими на солнце, где нет побоев, тяжелой многочасовой работы без сна и отдыха, — рождает побег особого рода.

Арестант чувствует свою обреченность: еще месяц, два — и он умрет, как умирают товарищи на его глазах.

Он все равно умрет, так пусть он умрет на свободе, а не в забое, в канаве, упав от усталости и голода.

Летом на прииске работа тяжелей, чем зимой. Пески промывают именно летом. Слабеющий мозг подсказывает заключенному некий выход, при котором можно и лето продержаться, да и начало зимы пробыть в теплом помещении.

Так рождается «уход во льды», как красочно окрещены такие побеги «вдоль трассы».

Заключенные вдвоем, втроем, вчетвером бегут в тайгу,

в горы и устраиваются где-нибудь в пещере, в медвежьей берлоге, в нескольких километрах от «трассы» — огромного шоссе в две тысячи километров длиной, пересекающего всю Колыму.

У беглецов — запас спичек, табаку, продуктов, одежды — всего, что можно было собрать к побегу. Впрочем, собрать что-либо почти никогда заранее не удается, да это вызвало бы подозрения, сорвало бы замысел беглецов.

Иногда грабят в ночь побега лагерный магазин, или «ларек», как говорят в лагере, и уходят с награбленными продуктами в горы. Большой же частью уходят без всего — на «подножный корм». Этим подножным кормом бывает совсем не трава, не корни растений, не мыши и не бурундуки.

По огромному шоссе день и ночь идут машины. Среди них — много машин с продуктами. Шоссе в горах — все в подъемах и спусках, машины вползают на перевалы медленно. Вскочить на машину с мукой, скинуть мешок-два — вот тебе и запас пищи на все лето. А везут ведь не только муку. После первых же грабежей машины с продуктами стали отправлять в сопровождении конвоя, но не каждую машину отправляли таким образом.

Кроме открытого грабежа на большой дороге, беглецы грабили соседние с их «базой» поселки, маленькие дорожные «командировки», где живут по два-три человека путевые обходчики. Группы беглецов посмелей и побольше останавливают машины, грабят пассажиров и груз.

За лето при удаче такие беглецы поправлялись и физически, и «духовно».

Если костры раскладывались осторожно, следы награбленного были тщательно замечены, караул был бдителен и зорок — беглецы жили до поздней осени. Мороз, снег «выжимал» их из голого, неуютного леса. Облетали осины, тополя, лиственницы осыпали свою ржавую хвою на грязный, холодный мох. Беглецы были не в силах более держаться — и выходили на «трассу»,

на шоссе, «сдавались» на ближайшем «оперпосту». Их арестовывали, судили, не всегда быстро — зима успевала давно начаться, давали им срок за побег, и — они выходили в ряды «работяг» на прииск, где (если им случилось вернуться на тот же прииск, откуда они бежали) уже не было их прошлогодних товарищей по бригаде — те либо умерли, либо ушли в инвалидные роты полумертвецами.

В 1939 году впервые были созданы для обессилевших работяг так называемые «оздоровительные команды» и «оздоровительные пункты». Но так как «выздоровливать» надо было несколько лет, а не несколько дней, то эти учреждения не оказали желанного действия на воспроизводство рабочей силы. Зато лукавая частушка запомнилась всем колымчанам, верящим, что пока арестант сохраняет иронию, он остается человеком:

«Сначала ОП, потом ОК,
На ногу бирку и — пока!» . . .

Бирку с номером личного дела привязывают к левой ноге при погребении арестанта.

Беглец же, хоть и получил пять лет дополнительного срока, — если следователю не удалось «пришить» ему грабеж машин, — оставался здоровым и живым, а иметь срок в 5, 10 или 15 лет, в 20 лет — разницы, по сути дела, тут нет никакой, потому что и пять лет проработать в забое нельзя. В присковом забое можно проработать пять недель.

Участились такие «курортные» побегі, участились грабежи, участились убийства. Но не грабежи и не убийства раздражали высшее начальство, привыкшее иметь дело с бумагой, с цифрами, а не с живыми людьми.

А цифры говорили, что стоимость награбленного — укорочение жизни путем убийства и вовсе не входило в счет — гораздо меньше, несравнимо меньше, чем стоимость потерянных часов и дней.

«Курортные» побегі напугали начальство больше

всего. 82-я статья УК была вовсе забыта, не применялась более никогда.

Побеги стали трактоваться как преступление против порядка, управления, против государства, как политический акт.

Беглецов стали «привлекать» ни много ни мало как по пятьдесят восьмой статье, наряду с изменниками родины. И пункт пятьдесят восьмой статьи был выбран юристами знакомый, применявшийся ранее в шахтинском процессе «вредителей». Это был четырнадцатый пункт пятьдесят восьмой статьи — «контрреволюционный саботаж». Побег есть отказ от работы — есть контрреволюционный саботаж. Именно по этому пункту и по этой статье стали судить беглецов. Десять лет за побег — стало минимальным «дополнительным» сроком. Повторный побег карался двадцатью пятью годами.

Это никого не напугало и не уменьшило ни числа побегов, ни числа грабежей.

Одновременно с этим всякое уклонение от работы, отказ от работы тоже стал толковаться как саботаж, и наказание за отказы от работы — высшее лагерное преступление — стало все увеличиваться. «Двадцать пять и пять поражений» — вот формула многолетней практики приговоров отказчиками и беглецами военного и послевоенного времени.

Те специфические черты, которые отличают побеги на Колыме от обыкновенных побегов, не делают их менее трудными. Если в огромном большинстве случаев перейти ту грань, которая отделяет побег от самовольной отлучки, — легко, то трудности возрастают с каждым днем, с каждым часом продвижения по негостеприимной, враждебной всему живому природе Дальнего Севера. Крайне сжатые сроки побегов, сжатые временами года, вынуждают и торопливость в подготовке, и необходимость преодолеть большие и трудные расстояния в короткое время. Ни медведь, ни рысь не опасны беглецу. Он погибает от собственного бессилия в этом

суровом краю, где у беглеца — крайне мало средств в борьбе за жизнь.

Рельеф местности мучителен для пешехода, перевалы следуют за перевалами, ущелья за ущельями. Звериные тропы едва заметны, почва в редком, уродливом таежном лесу — зыбкий, сырой мох. Спать без костра рискованно — подземный холод вечной мерзлоты не дает камням нагреться за день. Пищи в пути нет никакой, кроме сухого ягеля, оленьего мха, который можно растереть и смешать с мукой и печь лепешки. Подбить палкой куропатку, кедровку — трудная задача. Грибы и ягоды — плохая пища в дороге. Притом, они бывают в конце столь кратковременного летнего сезона. Стало быть, весь запас пищи должен быть взят с собой из лагеря.

Трудны таежные пути побега, но еще труднее подготовка к нему. Ведь всякий день, всякий час будущие беглецы могут быть разоблачены, выданы начальству своими товарищами. Главная опасность — не в конвое, не в надзирателях, а в своих товарищах-арестантах, тех, которые живут одной жизнью с беглецом и рядом с ним двадцать четыре часа в сутки.

Каждый беглец знает, что они не только не помогут ему, если заметят что-либо подозрительное, но и не пройдут равнодушно мимо увиденного. Из последних сил, голодный, измученный арестант доползет, дошагает до «вахты» — чтобы донести и разоблачить товарища. Это делается недаром — начальник может угостить махоркой, похвалить, сказать спасибо. Собственную трусость и подлость доносчик выдает за что-то вроде долга. Он не доносит только на блатных — потому что боится удара ножа или веревочной удавки.

Групповой побег с количеством участников более двух-трех, если он не стихийен, внезапен, как бунт, — почти немислим. Такой побег нельзя подготовить из-за растленных и продажных, голодных, ненавидящих друг друга людей, наполняющих лагерь.

Вовсе не случайно, что единственный групповой

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ побег — чем бы он ни кончился — удался именно потому, что в том лагерном отделении, откуда ушли беглецы, вовсе не было старых колымчан — уже отправленных, разложенных колымским «опытом», униженных голодом, холодом и побоями, — не было людей, которые выдали бы беглецов начальству.

Ильф и Петров в «Одноэтажной Америке» полушутя, полусерьезно указывают на непреодолимое желание жаловаться как на национальную черту русского человека, как на нечто присущее русскому характеру. Эта национальная черта, исказившись в кривом зеркале лагерной жизни, находит выражение в доносе на товарища.

Побег может вспыхнуть как импровизация, как стихия, как лесной пожар. Тем трагичней судьба его участников — случайных, мирных созерцателей, вовлеченных в водоворот действия почти помимо воли.

Никто из них еще не пригляделся, как коварна осень Колымы, никто и не подозревает, что багряного пожара листьев, травы и деревьев — хватает на два-три дня, а с высокого бледно-голубого неба, окраски чуть более светлой, чуть более, чем обычно, — может внезапно сыпаться мелкий холодный снег. Никто из беглецов не знает, как толковать вдруг распластавшиеся по земле зеленые ветви стланика, прижавшегося к земле на глазах беглецов. Как толковать внезапное бегство рыбы вниз по течению ручьев?

Никто не знает, есть ли в тайге поселки. И какие. Дальневосточники, сибиряки напрасно надеются на свои таежные знания и охотничий талант.

В конце осени, осени послевоенной, автомашина — открытый грузовик с двадцатью пятью заключенными — шел в один из «каторжных» лагерей. В нескольких десятках километров от места назначения арестанты набросились на конвой, обезоружили конвоиров и ушли в побег — все двадцать пять человек.

Шел снег, жестокий ледяной снег, одежды у беглецов

не было. Собаки быстро нашли следы — четырех групп, на которые разделились бежавшие. Группу с оружием, взятым у конвоя, перестреляли всю. Две группы захвачены через день, а последняя — на четвертый день. Этих доставили прямо в больницу: у всех были отморожения четвертой степени — руки и ноги: колымский мороз, колымская природа были всегда в союзе с начальством, были враждебны одиночке-беглецу.

Беглецы долго лежали в больнице в отдельной палате, у двери которой сидел конвоир, — больница была хоть и арестантская, но не каторжная. У всех пятерых были ампутированы то рука, то нога, а у двоих и обе ноги сразу.

Так расправился колымский мороз с торопливыми и наивными новичками.

Все это очень хорошо понимал подполковник Яновский. Впрочем, подполковником он был на войне — здесь он был заключенным Яновским, «культургом» большого лагерного отделения. Это отделение было сформировано сразу после войны только из новичков, из «власовцев», из военнопленных, служивших в немецких частях, из «полицаев» и жителей оккупированных немцами сел, заподозренных в дружбе с немцами.

Здесь были люди, за плечами которых был опыт войны, опыт ежедневных встреч со смертью, опыт риска, опыт звериного уменья в борьбе за свою жизнь, опыт убийства.

Здесь были люди, которые уже бежали и из немецкого, и из русского плена, и из английского плена... Люди, которые привыкли ставить на карту свою жизнь, люди с воспитанной примером и инструкцией смелостью. Обученные убивать разведчики и солдаты, они продолжали войну в новых условиях, войну за себя — против государства.

Начальство, привыкшее общаться с послушными «троцкистами», не подозревало, что здесь находятся люди дела, действия прежде всего.

За несколько месяцев до событий, о которых будет

идти речь, лагерь этот посетил какой-то большой начальник. Знакомясь с жизнью новичков и их работой на производстве, начальник посетовал, что культурная работа, художественная самодеятельность в лагере оставляют желать лучшего. И бывший подполковник Яновский, культорг лагеря, почтительно доложил: «Не беспокойтесь, мы готовим такой концерт, о котором вся Колыма заговорит».

Это была весьма рискованная фраза, но на нее в то время никто не обратил внимания, в чем, впрочем, Яновский был уверен.

Всю зиму на должности лагерной obsługi медленно, один за другим, продвигались и подбирались участники будущего, намеченного на весну побега. Нарядчик, староста, фельдшер, парикмахер и бригадир — все штатные должности obsługi из заключенных были заняты людьми, подобранными самим Яновским. Здесь были летчики, шоферы, разведчики — все те, кто мог принести успех дерзко задуманному побегу. Условия Колымы были изучены, трудностями никто не пренебрегал и ни в чем не ошибался. Целью была свобода — или, счастье умереть не от голода, не от побоев, не на лагерных нарах, а в бою, с оружием в руках.

Яновский понимал, как важно, необходимо его товарищам сохранить физическую силу, выносливость наряду с силой нравственной, духовной. На должностях obsługi можно было быть почти сытым, не ослабеть.

Пришла обычная безмолвная колымская весна — без пения птиц, без единого дождя. Лиственницы оделись ярко-зеленой молодой хвоей, редкий голый лес как бы сгустился, деревья сдвинулись друг к другу, пряча своими ветвями людей и зверей. Начались белые, точнее бледно-сиреневые ночи...

Караульная «вахта» близ лагерных ворот имеет две двери — наружу и внутрь лагеря — такова архитектурная специфика зданий подобного рода. Дежурят надзиратели по двое.

Ровно в пять часов утра в окошечко вахты посту-

чали. Дежурный надзиратель посмотрел в стекло — пришел лагерный повар Солдатов за ключом от шкафа с продуктами — ключ хранился на вахте, на гвоздике, вбитом в стену. Несколько месяцев подряд каждый день ровно в пять часов утра повар приходил сюда за ключами. Дежурный откинул крючок и впустил Солдато-ва. Второго надзирателя на вахте не было, он только что вышел во внешнюю дверь — квартира, где он жил с семьей, была метрах в трехстах от вахты.

Все было рассчитано, и автор спектакля смотрел через маленькое окно, как начинается первый акт давно задуманного спектакля, как все то, что было повторено тысячу раз воображением и рассудком, оде-вается в живую плоть и кровь.

Повар отошел к стене, где висел ключ, и в окошечко постучали снова. Надзиратель хорошо знал стучавшего — это был заключенный Шевцов, механик и оружей-ных дел мастер, неоднократно чинивший автоматы, винтовки и пистолеты в отряде, — человек «свой».

В этот момент Солдатов бросился на надзирателя сзади и задушил его при помощи вошедшего на вахту Шевцова. Мертвеца бросили под топчан в углу вахты и завалили дровами. Солдатов и Шевцов стащили с убитого шинель, шапку и сапоги, и Солдатов, надев форму надзирателя и вооружившись наганом, сел за дежурный стол. В это время вернулся второй надзи-ратель. Пока он успел что-нибудь сообразить, он был задушен, как и первый. Его одежду надел Шевцов.

Неожиданно на вахту вошла жена второго надзира-теля, ходившего позавтракать домой. Ее убивать не стали, а только связали ей руки и ноги, заткнули кля-пом рот и положили вместе с мертвыми.

Привел бригаду рабочих ночной смены конвоир и вошел на вахту «расписаться в сдаче людей». Он был также убит. Так была приобретена винтовка и еще одна шинель.

На дворе около вахты уже ходили люди, как и по-

лагается во время развода по работам, и подполковник Яновский принял в этот момент командование.

С ближайших угловых вышек пространство около вахты простреливалось. На обеих вышках часовые, но в мутном утре после белой ночи часовые не замечали ничего подозрительного на площадке у вахты. Как всегда, вышли два конвоира принимать бригаду. Вот конвоиры построили бригаду маленькую, всего в десять, нет, даже в девять человек, повели... То, что бригада свернула с дороги на тропку, тоже не вызвало тревоги часовых — тропкой, которая вела мимо отряда охраны, и раньше водили конвоиры «работяг», если запоздает развод по работам.

«Бригада» шла мимо отряда охраны, и сонный дежурный, видя ее в раскрытую дверь, только подивился, почему бригаду ведут по тропке в затылок друг другу, гуськом, а не обычным строем по дороге, как был оглушен и обезоружен, а «бригада» кинулась к «пирамиде» винтовок, стоящих тут же, на глазах дежурного, в первой половине казармы.

Вооруженный автоматом Яновский распахнул дверь, где спало сорок солдат охраны — молодых «кадровиков» конвойной службы. Автоматная очередь в потолок уложила всех на пол под койки. Передав автомат Шевцову, Яновский пошел на двор, куда его товарищи уже тащили продукты, оружие с боеприпасами из взломанных складов отряда охраны.

Часовые с вышек не решились открыть стрельбу — позже они говорили, что нельзя было увидеть и понять, что творится в отряде охраны. Их показаниям не было дано веры, и часовые были впоследствии наказаны.

Беглецы собирались неспешно. Яновский приказал брать только оружие и патроны, а из продуктов — только галеты и шоколад. Фельдшер Никольский набил сумку с красным крестом индивидуальными пакетами. Все переоделись в новую военную форму, подобрал каждый себе сапоги из каптерки отряда.

Еще когда выходили арестантским строем из лагеря

и брали отряд, выяснилось, что в побеге участвуют не все — не хватало бригадира Петра Кузнецова, друга подполковника Яновского. Он был неожиданно переведен в ночную смену, вместо заболевшего десятника. Яновский не хотел уходить без товарища, с которым многое было вместе пережито, многое задумано.

Послали за бригадиром на производство, и Кузнецов пришел и переоделся в солдатскую одежду.

Командир атакованного отряда охраны и начальник лагеря вышли из своих квартир не прежде, чем узнали от своих дневальных, что беглецы покинули территорию лагеря.

Телефонный провод был перерезан, и в ближайшее лагерное отделение успели сообщить о побеге лишь тогда, когда беглецы уже вышли на «трассу», на центральное шоссе.

Выйдя на шоссе, беглецы остановили первый порожний грузовик. Шофер вылез из кабины под угрозой револьвера, и Кабаридзе, летчик-истребитель, взял в руки баранку. Яновский сел в кабину рядом с ним и развернул на коленях карту, захваченную в отряде охраны; машина помчалась к Сеймчану — к ближайшему аэродрому. Захватить самолет и улететь!

Второй, третий, четвертый поворот налево. Пятый поворот!

Машина завернула налево с большого шоссе и помчалась над кипящей рекой, вдоль скального «прижиге» по узкой, извилистой, хрустящей под колесами каменной дороге. Кабаридзе убавил скорость — недолго было и полететь под откос в воду с десятисаженной высоты. Маленькие, словно игрушечные домики «командировки» виднелись внизу, около речки. Дорога гнулась, огибая скалу за скалой, и уходила вниз — машина спускалась с перевала. Домики поселка вынырнули из тайги совсем близко, и Яновский сквозь ветровое стекло кабины увидел солдата, бегущего навстречу машине с винтовкой наперевес. Солдат отскочил в сторону, машина пронеслась мимо, и сразу вслед беглецам

отрывисто защелкали выстрелы — охрана была уже предупреждена.

Решение у Яновского было готово заранее, и километров через десять Кабаридзе затормозил машину. Беглецы бросили грузовик и, перешагнув через затянутый мхом кювет, вошли в тайгу и исчезли. До аэродрома было еще километров семьдесят, и Яновский решил идти напролом.

Они ночевали в пещере близ небольшого горного ручья, все вместе, греясь друг о друга и выставив сторожевое охранение.

Утром другого дня, едва беглецы тронулись в путь, они наткнулись на оперативников — местная группа прощупывала лес. Четыре оперативника были убиты первыми выстрелами беглецов. Яновский велел зажечь лес — ветер дул в сторону погони, и беглецы пошли дальше.

Но уже по всем колымским дорогам летели грузовики с солдатами — незримая армия регулярных войск поспешила на помощь лагерной охране и «оперативке». На центральном шоссе разъезжали десятки военных машин.

Дорога на Сеймчан была на много десятков километров забита военными частями. Самое высокое колымское начальство лично руководило редкой операцией.

Замысел Яновского был разгадан, и на охрану аэродрома было мобилизовано такое количество регулярных войск, что они с трудом были размещены на подступах к аэродрому.

К вечеру второго дня группа Яновского вновь была обнаружена и приняла бой. Отряд войск оставил на месте десять убитых. Яновский, пользуясь направлением ветра, снова зажег тайгу и снова ушел, перебравшись через большой горный ручей. Третья ночевка беглецов, которые все еще не потеряли ни одного человека, была выбрана Яновским на болоте, посреди которого стояли стога.

Беглецы ночевали в стогах, и когда белая ночь кончилась, когда таежное солнце осветило верхушки деревьев, стало видно, что болото окружено солдатами. Почти не прячась, солдаты перебежали от дерева к дереву.

Командир того самого отряда, на который напали беглецы в начале своего похода, замахал тряпкой и закричал:

— Сдавайтесь, вы окружены. Вам некуда деться...

Шевцов высунулся из стога:

— Правда твоя. Иди принимай оружие...

Командир отряда выскочил на болотную тропу, побежал к стогам, закачался, уронил фуражку и упал лицом в болотную лужу. Пуля Шевцова попала ему прямо в лоб.

Тотчас же началась беспорядочная стрельба отовсюду, послышались слова команды, солдаты кинулись на стога со всех сторон, но круговая оборона невидимых беглецов, скрытых в сене, оборвала атаку. Раненые стонали, уцелевшие залегли в болоте; время от времени щелкал выстрел, и солдат дергался и вытягивался.

Снова началась стрельба по стогам, на этот раз безответная. После часа стрельбы была предпринята новая атака, снова остановленная выстрелами беглецов. Снова лежали трупы в болоте и стонали раненые.

Длительный обстрел начался снова. Установили два пулемета, и после нескольких очередей — новая атака.

Стога молчали.

Когда солдаты разметали в разные стороны каждый стог — выяснилось, что в живых только один беглец — повар Солдатов. У него были прострелены обе голени, плечо и предплечье, но он еще дышал. Остальные все были мертвы, застрелены. Но остальных было не одиннадцать, а всего девять человек.

Не было самого Яновского и не было Кузнецова.

В тот же вечер в двадцати километрах вверх по реке был задержан неизвестный, одетый в военную форму. Окруженный бойцами, он покончил с собой из

пистолета. Мертвец был тут же опознан. Это был Кузнецов.

Недоставало только главаря — подполковника Яновского. Судьба его навсегда осталась неизвестной. Его искали долго — много месяцев. Он не мог ни уплыть по реке, ни уйти горными тропами — все было блокировано самым наилучшим образом. По всей вероятности, он покончил с собой, укрывшись предварительно в какую-нибудь глубокую пещеру или медвежью берлогу, где его труп съели таежные звери.

Из Центральной больницы на это сражение был вытребован лучший хирург с двумя вольнонаемными, обязательно вольнонаемными фельдшерами. Больничная полуторка едва к вечеру пробралась к совхозу Эльген, где был штаб действующего отряда, — такое количество военных студебеккеров заграждало ей путь.

— Что тут — война, что ли? — спросил хирург у высокого начальника, руководителя операции.

— Война не война, а двадцать восемь убитых пока имеется. А сколько раненых — вы и сами узнаете.

Хирург перевязывал и оперировал до вечера.

— Сколько же беглецов?

— Двенадцать.

— Да вы бы вызвали самолеты и бомбили их, бомбили. Атомными бомбами.

Начальник покосился на хирурга:

— Вы вечный балагур, я вас давно знаю, а вот увидите — снимут меня с работы, заставят в отставку раньше времени идти.

Начальник тяжело вздохнул. Он был догадлив. С Кольмы его перевели, сняли с работы именно за этот побег.

Солдатов поправился и был осужден на двадцать пять лет. Начальник лагеря получил десять лет, часовые, стоявшие на вышках, по пять лет заключения. Осуждено было очень много людей на прииске по этому «делу», более шестидесяти человек — все, кто знал и молчал, кто помогал и кто думал помочь, но не

успел. Командир отряда получил бы больший срок, да пуля Шевцова избавила его от неизбежного наказания.

Даже врач Потапова, начальница санчасти, в штате которой работал бежавший фельдшер Никольский, привлечена была к ответственности, но ее удалось спасти, срочно переведя в другое место.



МАРСЕЛЬ ПРУСТ

Книга исчезла. Огромный, тяжелый фолиант, лежавший на скамейке, исчез на глазах десятков больных. Кто видел кражу — не скажет. Говорят, на свете нет преступлений без свидетелей — одушевленных или неодушевленных. Ну, а если есть такие преступления? Кража романа Марселя Пруста — не такая тайна, которую страшно забыть. К тому же молчат под угрозой, брошенной походя. Кто видел — будет молчать «за боюсь». Книгу мог украсть любой фраер по указке вора, чтобы доказать свою смелость, свое желание принадлежать к преступному миру — к хозяевам лагерной жизни. Мог украсть любой фраер просто так, потому что книга плохо лежала. Книга действительно плохо лежала: на самом краю скамейки в огромном больничном дворе каменного трехэтажного здания. На скамейке сидели я и Нина Богатырева. За мной были колымские сопки, десятилетнее скитание по этим горным весям, а за Ниной — оккупация, фронт. Разговор, печальный и тревожный, кончился давно.

В солнечный день больных выводили на прогулку — женщин отдельно — Нина, как санитарка, караулила больных.

Я проводил Нину до угла, вернулся, скамейка все еще была пуста — гуляющие больные боялись на эту скамейку сесть, считая, что это — скамейка фельдшеров, медсестер, надзора, конвоя.

Книга исчезла. Кто будет читать эту странную прозу, почти невесомую, как бы готовую к полету в космос, где сдвинуты, смещены все масштабы, где нет большого и малого? Перед памятью, как перед смертью, — все равны, и право автора — запомнить платье прислуги и забыть драгоценности госпожи. Горизонты словесного искусства раздвинуты этим романом необычайно. Я, колымчанин, зэка, был перенесен в давно утраченный

мир, в иные привычки, забытые, ненужные. Время читать у меня было. Я — ночной дежурный фельдшер. Я был подавлен «Германтом». С «Германта», с четвертого тома, началось мое знакомство с Прустом. Книгу прислали моему знакомому фельдшеру Калитинскому, уже щеголявшему в палате в бархатных брюках-гольф, с трубкой в зубах, разносящей неправдоподобный запах кэпстена. И кэпстен, и брюки-гольф были присланы в посылке вместе с «Германтом» Пруста. Ах, жены, жены, дорогие наивные друзья! Вместо махорки — кэпстен, вместо брюк из чертовой кожи — бархатные брюки «гольф», вместо шерстяного, широкого двухметрового верблюжьего шарфа — нечто воздушное, похожее на бант, на бабочку — шелковый пышный шарф, свивавшийся на шее в веревочку, толщиной в карандаш.

Такие же бархатные брюки, такой же шелковый шарф прислали в тридцать седьмом году Фрицу Давиду, голландцу-коммунисту, моему соседу по РУР'у — «роте усиленного режима». Фриц Давид не мог работать — был слишком истощен, а бархатные брюки и шелковый пышный галстук-бант даже на хлеб на прииске нельзя было променять. И Фриц Давид умер — упал на пол барака и умер. Впрочем, было так тесно, все спали стоя, что мертвец не сразу добрался до пола. Фриц Давид сначала умер, а потом уж упал.

Все это было десять лет назад — при чем тут «Поиски утраченного времени»? Калитинский и я — мы оба вспоминали свой мир, свое утраченное время. В моем времени не было брюк-гольф, но Пруст был, и я был счастлив читать «Германта». Я не ходил спать в общежитие. Пруст был дороже сна. Да и Калитинский торопил.

Книга исчезла. Калитинский был взбешен. Мы были мало знакомы, и он был уверен, что это я украл книгу, чтобы продать. Воровство походило было колымской традицией, голодной традицией. Шарфы, портянки, полотенца, куски хлеба, махорка — отсыпа, откачка — исчезали бесследно. Воровать на Колыме умели, по мне-

нию Калитинского, все. Я тоже так думал. Книгу украли. До вечера еще можно было ждать, что подойдет какой-нибудь доброволец, героический стукач и «дунет», скажет, где книга, кто вор. Но прошел вечер, десятки вечеров и следы «Германта» исчезли.

Если не продадут любителю (любители Пруста из лагерных начальников! Еще поклонники Джека Лондона встречаются в этом мире, но Пруста!), то на карты, «Германт» — это увесистый фолиант. Это одна из причин, почему я не держал книгу на коленях, а положил на скамейку. Это толстый том. На карты, на карты... Изрежут — и всё.

Нина Богатырева была красавица, русская красавица, недавно привезенная с «материка» в нашу больницу. Измена родине. Пятьдесят восемь, один «а» или один «бэ».

— Из оккупации?

— Нет, мы не были в оккупации. Это — прифронтовое. Двадцать пять и пять — это без немцев. От майора. Арестовали, хотел майор, чтоб я с ним жила. Я не стала. И вот срок. Колыма. Сiju на этой скамейке. Все правда. И все — неправда. Не стала с ним жить. Уж лучше я со своим буду гулять. Вот с тобой...

— Я занят, Нина.

— Слыхала.

— Трудно тебе будет, Нина. Из-за твоей красоты.

— Будь она проклята, эта красота.

— Что тебе обещает начальство?

— Оставить в больнице санитаркой. Выучусь на сестру.

— Здесь не оставляют женщин, Нина. Пока.

— А меня обещают оставить. Есть у меня один человек. Поможет мне.

— Кто такой?

— Тайна.

— Смотри, здесь больница казенная, официальная. Никто власти тут такой не имеет. Из заключенных.

Врач или фельдшер — все равно. Это не приисковая больница.

— Все равно. Я счастливая. Абажуры буду делать. А потом поступлю на курсы, как ты.

В больнице Нина осталась делать бумажные абажуры. А когда абажуры были кончены, ее снова послали в этап.

— Твоя баба, что ли, едет с этим этапом?

— Моя.

Я оглянулся. За мной стоял Володя, старый таежный волк, фельдшер без медицинского образования. Какой-то деятель просвещения или секретарь горсовета в прошлом.

Володе было далеко за сорок, и Колыму он знал давно. И Колыма знала Володю. Делишки с блатными, взятки врачам. Сюда Володя был прислан на курсы, подкрепить должность званием. Но курсы не были открыты. И Володя счел за благо вернуться на прииск, где он был царь и бог. Была у Володи и фамилия — Рагузин, кажется, но все его звали Володей. Володя — покровитель Нины? Это было слишком страшно.

За спиной спокойный голос Володи говорил: «На материке был полный порядок у меня когда-то в женском лагере. Как только начнут «дуть», что живешь с бабой, — я ее в список — пурх! — и на этап. И новую зову. Абажуры делать. И снова все в порядке».

Уехала Нина. В больнице осталась ее сестра Тоня. Та жила с хлеборезом — выгодная дружба — Золотницким, смуглым красавцем-здоровяком из бытовичков. В больницу, на должность хлебореза, сулящую и дающую миллионные прибыли, Золотницкий прибыл за большую взятку, данную, как говорили, самому начальнику больницы. Все было хорошо, но смуглый красавец Золотницкий оказался сифилитиком: требовалось возобновление лечения. Хлебореза сняли, отправили в мужскую вензону, лагерь для венерических больных. В больнице Золотницкий пробыл несколько месяцев и

успел заразить только одну женщину — Тоню Богатыреву. И Тоню увезли в женскую вензону.

Больница всполошилась. Весь медицинский персонал — на анализ, на реакцию Вассермана. У фельдшера Володи Рагузина — четыре креста. Сифилитик Володя исчез из больницы.

А через несколько месяцев в больницу конвой привез больных женщин и среди них Нину Богатыреву. Но Нину везли мимо — в больнице она только отдохнула. Везли ее в женскую вензону.

Я вышел к этапу.

Только глубоко запавшие крупные карие глаза — больше ничего из прежнего облика Нины.

— Вот, в вензону еду...

— Но почему в вензону?

— Как? Ты — фельдшер, и не знаешь, почему отправляют в вензону? Это Володины абажуры. У меня родилась двойня. Не жильцы были. Умерли.

— Дети умерли? Это твое счастье, Нина.

— Да. Теперь я вольная птица. Подлечусь. Нашел книгу-то тогда?

— Нет, не нашел.

— Это я ее взяла. Володя просил что-нибудь почитать.



БЕЗЫМЯННАЯ КОШКА

Кошка не успела выскочить на улицу, и шофер Миша поймал ее в сенях. Взяв старый забурник — короткий стальной лом, Миша сломал кошке позвоночник и ребра. Ухватив кошку за хвост, шофер открыл ногой дверь и выбросил кошку на улицу в снег, в ночь, в пятидесятиградусный мороз. Кошка была Кругляка, секретаря партийной организации больницы. Кругляк занимал целую квартиру в двухэтажном доме на вольном поселке и в комнате, расположенной над Мишиной, держал поросенка. Штукатурка на Мишином потолке сырела, вспухала, темнела, а вчера обрушилась, и навоз потек с потолка на голову шофера. Миша пошел объясняться к соседу, но Кругляк выгнал шофера. Миша был незлой человек, но обида была велика, и когда кошка попалась Мише под руку...

Вверху в квартире Кругляка молчали — на визг, на стон, на крики кошки о помощи не вышел никто. Да и о помощи ли кричала кошка. Кошка не верила, что люди могут ей прийти на помощь — Кругляк ли, шофер ли — всё равно.

Очнувшись в снегу, кошка выползла из сугроба на ледяную, блестящую в лунном свете дорожку. Я проходил мимо и взял кошку с собой в больницу, в арестантскую больницу. Нам не разрешали держать кошек в палатке, хотя крыс была бездна и никакой стрихнин, никакой мышьяк не мог помочь, не говоря уже о крысоловках, о капканах. Мышьяк и стрихнин хранились за семью замками и предназначались не для крыс. Я умолил фельдшера нервно-психиатрического отделения взять кошку к психам. Там кошка ожила и окрепла. Отмороженный хвост отпал, осталась культя, лапка была сломана, ребра сломаны. Но сердце было цело, кости срослись. Через два месяца кошка уже сражалась с крысами и очистила от крыс нервно-психиатрическое отделение больницы.

Покровителем кошки стал Лёничка — симулянт, которого и разоблачать-то было лень, ничтожество, которое спасалось всю войну по непонятному капризу доктора — покровителя блатных, которого каждый рецидивист приводил в трепет, не в трепет страха, а в трепет восхищения, уважения, благоговения. «Большой вор», говорил почтенный доктор о своих пациентах — симулянтах явных. Не то, что у врача была «коммерческая» цель — взятки, поборы. Нет. Просто у доктора не хватало энергии на инициативу добра, и потому им командовали воры. Истинные же больные не умели попасть в больницу, не умели даже попасться на глаза доктору. Кроме того — где грань между истинной и мнимой болезнью в лагере? Симулянт, аггравант, истинно страдающий больной мало отличаются друг от друга. Истинно больному надо быть симулянтом, чтобы попасть на больничную койку.

Но кошке каприз этих психов сохранил жизнь. Вскоре кошка загуляла, окотилась. Жизнь есть жизнь.

А потом в отделение пришли блатные, убили кошку и двух котят, сварили в котелке, и моему приятелю — дежурному фельдшеру дали котелок мясного супу — за молчание и в знак дружбы. Фельдшер спас для меня котенка, третьего котенка, серенького такого, имени которому я не знаю: боялся назвать, окрестить, чтоб не накликал несчастья.

Я уезжал тогда на участок свой таежный и вез за пазухой котенка, дочь этой безымянной калеки-кошки, съеденной блатными. В амбулатории своей я накормил кошку, сделал ей катушку-игрушку, поставил банку с водой. Беда была в том, что у меня разъездная работа.

Запирать кошку на несколько дней в амбулатории было нельзя. Кошку надо было отдать кому-то, чья лагерная должность позволяла кормить другого — человека или зверя — все равно. Десятник? Десятник ненавидел животных. Конвоиры? В помещении охраны держали только собак, овчарок и обречь котенка на

вечные мучения, на ежедневные издевательства, травлю, пинки . . .

Я отдал котенка лагерному повару Володе Буянову. Володя был раздатчиком пищи в больнице, где я работал раньше. В супе больных, в котле, в баке была Володей обнаружена мышь, разваренная мышь. Володя поднял шум, хотя шум был невелик и напрасен, ибо ни один больной не отказался бы от лишней миски этого супа с мышью. Кончилась история тем, что Володю обвинили в том, что он с целью и так далее. Заведующая кухней была вольнонаемная, договорница, и Володю сняли с работы и послали в лес на заготовку дров. Там я и работал фельдшером. Месть заведующей кухней настигла Володю в лесу. Должность повара — завидная должность. На Володю писали, за ним следили добровольцы днем и ночью. Каждый знает, что не попадет он на эту должность, и все же доносит, следит, разоблачает. В конце концов Володю сняли с работы и он принес котенка мне назад.

Я отдал кошку перевозчику.

Речка, или, как говорят на Колыме, «ключ» Дусканья, по берегам которого шли наши лесозаготовки, был, как и все колымские реки, речки и ручьи, ширины неопределенной, нестойкой, зависящей от воды, а вода зависела от дождей, от снега, от солнца. Как бы ключ ни пересыхал летом, необходим был перевоз, лодка для переправы людей с берега на берег.

У ручья стояла избушка, в ней жил перевозчик, он же рыбак.

Больничные должности, достающиеся «по благу», не всегда легки. Обычно эти люди выполняли три работы вместо одной. А для больных, числящихся на койке, «на истории болезни», — дело обстоит еще сложнее, еще тоньше.

Перевозчик выбран был такой, чтобы ловил рыбу начальству. Свежую рыбу к столу начальника больницы. В ключе «Дусканья» рыба есть, мало, но есть. Для начальника больницы лично ловил рыбу этот пере-

возчик весьма старательно. Ежедневно вечером больничный шофер-дрововоз брал у рыбака темный мокрый мешок, набитый рыбой и мокрой травой, закатывал мешок в кабину, и машина уходила в больницу. Утром шофер привозил рыбаку пустой мешок.

Если рыбы было много, начальник, отобрав лучших себе, вызывал главврача и других пониже рангом.

Рыбаку даже махорки начальство никогда не давало — считая, что должность рыбака должна цениться тем, кто на «истории», то есть на истории болезни.

Доверенные люди — бригадиры, конторщики — добровольно следили, чтобы рыбак не продал рыбу за спиной начальника. И опять все писали, разоблачали, доносили. Рыбак был старый лагерник, он хорошо понимал, что первая неудача — и он загудит на прииск. Но неудач не было.

Хариусы, ленки, омули ходили в тени под скалой вдоль светлого стрежня речки, вдоль потока, вдоль быстрого течения, забираясь в темноту, где поглубже, спокойней и безопасней. Но здесь же стоял челнок рыбака и удочки свисали с носу, дразня хариусов. И кошка сидела, каменная, как рыбак, поглядывая за поплавками. И казалось, именно она раскинула над рекой удочки, эти приманки. Кошка привыкла к рыбаку быстро.

Сброшенная с лодки, кошка легко и неохотно приплывала к берегу, к дому — учить ее плавать было не надо. Но кошка не выучилась сама приплывать к рыбаку, когда его лодка была поставлена на двух шестах поперек течения. Кошка терпеливо ждала возвращения хозяина на берегу.

Через речку, а то и вдоль берега в ямах, поперек котловин и промоин рыбак натягивал переметы — веревку с крюками с наживкой — малявками. Так ловилась рыба покрупнее. Позднее рыбак перегородил один из рукавов речки камнями, оставив четыре протока, и загородил протоки вёршами, которые сам рыбак и сплел из тальника. Кошка внимательно смотрела на

эту работу. Вёрши ставились загодя, чтобы когда начнется осенний ход рыбы — не упустить своего.

До осени было еще далеко, но рыбак понимал, что осенний ход рыбы — последняя его рыбацкая работа в больнице. Рыбака пошлют на прииск. Правда, некоторое время рыбак может собирать ягоды, грибы. Лишнюю неделю протянет — и то хорошо. Кошка же собирать ягоды и грибы не умела.

Но осень придет еще не завтра и не послезавтра.

Пока кошка ловила рыбу — лапкой в мелководье, крепко упираясь в береговой гравий. Эта охота была мало удачной, зато рыбак отдавал кошке все остатки рыбы.

После каждого улова, каждого рыбацкого дня рыбак разбираал добычу: что покрупнее — начальнику больницы, в особый тайник в тальнике, в воде. Рыбу среднего размера — для начальства поменьше, каждый хочет свежей рыбы. Еще мельче — для себя и кошки.

Бойцы нашей «командировки» переезжали на новое место и оставили у рыбака щенка месяцев трех с тем, чтобы взять его после. Бойцы хотели продать щенка кому-нибудь из начальства, но или на примете желающих не было или не сошлись в цене — только за щенком никто не приезжал до самой глубокой осени.

Щенок легко вошел в рыбацкую семью, подружился с кошкой, которая была постарше — не годами, а житейской мудростью. Щенка кошка несколько не боялась и первое шутовское нападение встретила когтями, безмолвно исцарапав морду щенка. Потом они помирились и подружились.

Кошка учила щенка охоте. К этому у нее были все основания. Месяца два назад, когда кошка жила еще у повара, убили медведя, содрали с него шкуру, и кошка бросилась на медведя, торжествуя, вонзая когти в сырую красную медвежью тушу. Щенок же завизжал и спрятался под койку в бараке.

Эта кошка никогда не охотилась с матерью. Никто не учил ее мастерству. Я выпоил молоком котенка, уцелев-

шего после смерти матери. И вот — это была боевая кошка, знавшая всё, что полагается кошке знать.

Еще у повара крошечный котенок поймал мышь, первую мышь. Земляные мыши на Колыме крупные, чуть мельче котенка. Котенок задушил врага. Кто учил его этой злобе, этой вражде? Сытый котенок, живущий на кухне.

Часами кошка сидела около норы земляной мышши, и щенок замирал, как кошка, подражая ей в каждом движении, ждал результатов охоты, прыжка . . .

Кошка делилась со щенком, как с котенком, бросала ему пойманную мышь, и щенок рычал, учился ловить мышей.

Сама кошка ничему не училась. Она все знала с рождения. Сколько раз я видел, как являлось это охотничье чувство, — не только чувство, но знание и мастерство.

Когда кошка подстерегала птиц, щенок в крайнем волнении замирал, ожидая прыжка, удара.

Мышей и птиц было много. И кошка не ленилась.

Кошка очень сдружилась со щенком. Вместе они изобрели одну игру, о которой много говорил мне рыбак, но я и сам видел эту игру три или четыре раза.

Перед рыбацкой избушкой была большая поляна и в середине поляны толстый пень лиственницы метра три в высоту. Игра начиналась с того, что щенок и кошка носились по тайге и выгоняли на эту поляну полосатых бурундуков — земляных белок, маленьких крупноглазых зверьков — одного за другим. Щенок бегал кругами, стараясь поймать бурундука, и бурундук спасался, легко спасался, поднимался на пень и ждал, пока зазевается щенок, чтоб спрыгнуть и исчезнуть в тайге. Щенок бегал кругами, чтобы видеть поляну, видеть пень и бурундука на вершине пня.

По траве к пню подбегала кошка, поднималась за бурундуком. Бурундук прыгал и попадал в зубы щенка. Кошка спрыгивала с дерева, и щенок выпускал добычу.

Кошка осматривала мертвого зверька и лапой подвигала бурундука — щенку.

Я часто ездил тогда этой дорогой, кипятил в избе перевозчика «чифирь»; ел, спал перед дальней пешей таежной дорогой — двадцать километров надо было мне пройти, чтобы добраться до дома, до амбулатории.

Я смотрел на кошку, щенка, рыбака, на их веселую возню друг с другом и всякий раз думал о неумолимости осени, о непрочности этого малого счастья и о праве каждого на эту непрочность: зверя, человека, птицы. Осень их разлучит, думал. Но разлука пришла раньше осени. Рыбак ездил за продуктами в лагерь, а когда вернулся — кошки не было дома. Рыбак искал ее две ночи, поднимался высоко вверх по ручью, осмотрел все свои капканы, все ловушки, кричал, звал именем, которого кошка не имела, не знала.

Щенок был дома, но ничего не мог рассказать. Щенок выл, звал кошку.

Но кошка не пришла.



ПЕРВЫЙ ЗУБ

Арестантский этап был тот самый, о котором я мечтал долгие свои мальчишеские годы. Почернелые лица и голубые рты, обожженные уральским апрельским солнцем. Гиганты конвоиры, вскакивают на ходу в розвальни, розвальни взлетают; рубленая рана через все лицо у одноглазого конвоира — передового, яркие синие глаза у начальника конвоя, с половины первого дня этапа мы уже знали его фамилию — Щербаков. Арестанты — а нас было около двухсот человек — уже знали фамилию начальника. Почти чудесным образом, недоступным, непонятым для меня. Арестанты произносили эту фамилию обыденно, как будто путешествие наше с Щербаковым длится вечно. И он вошел в нашу жизнь навек. Да так оно и было — для многих из нас. Гибкая, огромная фигура Щербакова мелькала тут и там, то забегая вперед, он встречал и провожал глазами последнюю телегу этапа и только потом пускался вдогонку, в обгонку. Да, у нас были телеги, классические телеги, на которых сибирские чалдоны везли «вещи» — этап шел в свой пятидневный путь арестантским строем, без вещей, напоминая на остановках и поверках нестройные ряды призывников где-нибудь на вокзале. Но все вокзалы надолго остались в стороне от наших жизненных путей. Было утро, бодрящее апрельское утро, сумерки, редеющая полутьмнота монастырского двора, где строился, зевая и кашляя, наш этап для того, чтобы пуститься в дальнюю дорогу.

В подвале соликамской милиции, в бывшем монастыре, мы провели ночь после смены заботливого и немногословного московского конвоя на ораву кричащих загорелых молодцов под командой синеглазого Щербакова. Вчера вечером мы вливались в холодный настывший подвал — вокруг церкви был лед, снег. Чуть

таявший днем, а вечером замерзавший — синие, серые сугробы покрывали весь двор, и чтобы добраться до сути снега, до его белизны — надо было сломать жесткую, режущую руки корку льда, разрыть ямку и только тогда вытащить из ямки крупнозернистый, рассыпающийся снег, который так радостно таял во рту и, обжигая преснотой, чуть охлаждал пересохшие рты.

Я входил в подвал одним из первых, мог выбрать место потеплее. Огромные ледяные своды пугали меня, и я — неопытный юнец — искал глазами подобие печки — хотя бы такой, как у Фигнер, у Морозова. И ничего не находил. Но мой случайный товарищ, товарищ только на эту краткую минуту входа в тюремный, церковный подвал, невысокий блатарь Гусев толкнул меня к самой стене, к единственному окну, закрытому решетками, с двойным стеклом. Окно было полукруглым и начиналось от самого пола этого подвала, с метр высотой, и было похоже на бойницу. Я было хотел выбрать другое место потеплей, но толпа людей лилась и лилась в узкую дверь, и вернуться назад не было никакой возможности. Гусев столь же спокойно, не говоря мне ни слова, ударил носком сапога в стекло, разбив сначала первую, а потом и вторую раму. В пробитое отверстие хлынул холодный воздух, обжигая, как кипятки. Охваченный струей этого воздуха, я, и без того намерзший долгим ожиданием и нескончаемым пересчетом на дворе, задрожал от холода. Не сразу я понял всю мудрость Гусева — только мы из двухсот арестантов всю эту ночь дышали свежим воздухом. Люди были набиты, вбиты в подвал так, что нельзя было ни сесть, ни лечь, только стоять.

До половины стен подвал был в белом пару дыхания, нечистом, душном. Потолок заволочся, и мы не знали — высок он или низок. Начались обмороки. Задышавшиеся старались пробиться к двери, в которой была щель и был волчок «глазок», пробовали дышать через этот «глазок». Но стоявший снаружи часовой-конвоир время от времени тыкал штыком своей винтовки в глазок, и

попытки вдохнуть свежий воздух через тюремный «глазок» были прекращены. Никаких фельдшеров, врачей к упавшим в обморок, ясное дело, не вызывали. Только мы с Гусевым продержались благополучно у разбитого мудрым Гусевым стекла. Строились догло... Мы выходили последними, туман рассеялся, и открылся потолок, сводчатый потолок, тюремное и церковное небо было совсем близко — рукой подать. И на сводах подвала соликамской милиции я нашел письма, сделанные простым углем огромными буквами по всему потолку: «Товарищи! В этой могиле мы умирали трое суток и все же не умерли. Крепитесь, товарищи!»

Под крики команды этап выполз за околицу Соликамска и двинулся в низину. Небо было синее, синее, как глаза начальника конвоя. Солнце жгло, ветер охлаждал наши лица — они стали коричневыми к первой же ночевке в пути. Ночевка этапа, подготовленная заранее, проходила всегда по установленной форме. Для арестантской ночевки у крестьян снимались две избы — одна почище, другая победнее, нечто вроде сарая, да иногда и сарай. Надо было попасть в «чистую», конечно. Но это не зависело от моей воли: каждый вечер в сумерках всех пропускали мимо начальника конвоя, который взмахом руки показывал — где очередной арестант должен провести очередную ночь. Тогда Щербаков показался мне мудрейшим из мудрых, потому что он не рылся в каких-нибудь бумагах, списках, отыскивая «постатейные данные», а в тот же момент, как этап переставал двигаться, взмахивал рукой и отсекал очередного этапника. Позже я подумал, что Щербаков — человек наблюдательный: всякий раз его выбор, сделанный каким-то непостижимым умом способом, оказывался верным — вся «пятьдесят восьмая» была вместе, а «тридцать пятая» — также. Еще позже, через один-два года, я подумал, что в тогдашней мудрости Щербакова никакого чуда нет — навык угадывать по внешнему виду доступен всем. В нашем этапе дополнительными признаками могли бы быть вещи,

чемоданы. Но вещи везли отдельно, на «подводах», на розвальнях крестьян.

На первой же ночевке и случилось событие, ради которого ведется этот рассказ. Двести человек стояли, ожидая прихода начальника конвоя, а в левой стороне слышались какие-то крики, возня, пыхтенье людей, рев, ругань и наконец явственный крик: «Драконы! Драконы!» Перед арестантским строем выкинули на снег человека. Лицо его было разбито в кровь, нахлобученная на его голову чужой рукой шапка-папаха торчала и не могла прикрыть узкой, сочащейся кровью раны. Человек был одет в коричневую тканьну домашней работы — какой-нибудь украинец, хохол. Я знал его. Это был Петр Заяц, сектант. Его везли из Москвы в одном вагоне со мной. Он все молился, молился.

— Не хочет стоять на поверке! — доложил, задыхаясь, разгоряченный возней конвоир.

— Поставить его, — скомандовал начальник конвоя.

Зайца поставили, поддерживая под руки, двое огромных конвоиров. Но Заяц был выше их на голову, крупнее, тяжелей.

— Не хочешь стоять, не хочешь?

Щербаков ударил Зайца кулаком в лицо, и Заяц сплюнул на снег.

И вдруг я почувствовал, как сердцу стало обжигающе горячо. Я вдруг понял, что все, вся моя жизнь решится сейчас. И если я не сделаю чего — а чего именно, я не знаю и сам, то значит я зря приехал с этим этапом, зря прожил свои двадцать лет.

Обжигающий стыд за собственную трусость отхлынул с моих щек — я почувствовал, как щеки стали холодными, а тело — легким.

Я вышел из строя и дрожавшим голосом сказал:

— Не смейте бить человека.

Щербаков с великим удивлением разглядывал меня.

— Иди в строй.

Я вернулся в строй. Щербаков отдал команду, и этап, делясь на две избы, повинуюсь движению щербаков-

ского пальца, стал таять в темноте. Перст Щербакова указал мне на «черную» избу.

На сырой, прошлогодней, пахнувшей гнилью соломе укладывались мы спать. Солома была насыпана на голую, гладкую землю. Ложились вповалку, чтоб было теплее, и только блатары, устроившись около фонаря, висевшего на балке, играли в вечную свою «буру» или «стос». Но вскоре и блатары заснули. Заснул и я, размышляя о своем поступке. У меня не было старшего товарища, не было примера. Я был один в этом этапе, у меня не было ни друзей, ни товарищей. Сон мой был прерван. В лицо мне светил фонарь, и кто-то из моих разбуженных соседей-блатарей уверенно и подобострастно повторял:

— Он, он...

Фонарь держал в руках конвойный.

— Выходи.

— Сейчас оденусь.

— Выходи так.

Я вышел. Нервная дрожь била меня, и я не понимал, что должно сейчас произойти.

Я и два конвоира вошли на крыльцо.

— Снимай белье!

Я снял.

— Вставай в снег.

Я встал. Я поглядел на крыльцо и увидел две навешенные на меня винтовки. Сколько прошло времени этой уральской ночи, первой моей уральской ночи — я не помню.

Я услышал команду:

— Одевайся.

Я натянул на себя белье. Удар по уху сбил меня в снег. Удар тяжелого каблука пришелся прямо в зубы, и рот наполнился теплой кровью и быстро стал отекать.

— В барак!

Я вошел в барак, добрался до своего места, уже занятого другим телом. Все спали или делали вид, что спали... Солоноватый вкус крови не проходил — во

рту было что-то постороннее, что-то ненужное, и я ухватил пальцами это ненужное и с усилием вырвал из собственного рта. Это был выбитый зуб. Я бросил его там на прелой соломе на голом земляном полу.

Я обнял руками грязные и вонючие тела товарищей и заснул. Заснул. Я даже не простудился.

Утром этап вышел в путь, и синие невозмутимые глаза Щербакова обвели арестантские ряды привычным взглядом. Петр Заяц стоял в рядах, его не били, да и он не кричал ничего насчет драконов. Блатари посматривали на меня недружелюбно и с опаской — в лагере каждый учится отвечать сам за себя.

Еще двое суток дороги, и мы подошли к «управлению» — новому бревенчатому домику на берегу реки.

Принимать этап вышел комендант Нестеров — начальник с волосатыми кулаками. Многие из блатарей, шагавшие рядом со мной, этого Нестерова знали, очень хвалили. «Вот приведут беглецов. Нестеров выходит: — а-а-молодцы, явились. Ну, выбирайте: плеска или в изолятор. — А изолятор там с железными полами, больше трех месяцев не выдерживают люди, да следствие, да срок дополнительный.

— Плеска, Иван Васильевич.

Развертывается — и с ног! Еще раз развертывается — и снова с ног. Мастер был. — Иди в барак. — И все. И следствию конец. Хороший начальник».

Нестеров обошел ряды, внимательно оглядывая лица.

— Жалоб на конвой нет?

— Нет, нет, — ответил нестройной хор голосов.

— А ты, — волосатый перст дотронулся до моей груди. — Ты почему неразборчиво отвечаешь? Хрипишь что-то.

— У него зубы болят, — ответили мои соседи.

— Нет, — ответил я, стараясь заставить свой разбитый рот выговаривать слова как можно тверже. — Жалоб на конвой нет.

— Рассказ неплохой, — сказал я Сазонову. Литературно-грамотный. Только ведь не напечатают его. И конец какой-то аморфный.

— У меня есть другой конец, — сказал Сазонов. Через год я был большим начальником в лагере — тогда ведь «перековка» была, и Щербакову выходило место младшего оперуполномоченного в том отделении, где я работал. Там от меня многое зависело, и Щербаков боялся, что я запомнил эту историю с зубом. Щербаков этот случай тоже не забыл. У него была большая семья, место было выгодное, заметное, и он, человек простодушный и прямой, явился ко мне, чтобы узнать, не буду ли я возражать против его назначения. Пришел с бутылкой, «мириться» по русскому обычаю, но я пить с ним не стал и уверил Щербакова, что я ничего плохого ему не сделаю.

Щербаков обрадовался, долго извинялся, топтался у двери моей, все задевая каблуком за коврик, и не мог окончить разговор.

— Дорога ведь, этап, понимаешь. С нами беглецы были.

.

— Этот конец тоже не годится, — сказал я Сазонову.

— Тогда у меня есть еще один.

Перед тем как получить назначение на работу в то отделение, где мы встретились снова с Щербаковым, я встретил на улице в лагерном поселке санитаря Петра Зайца. Молодой, черноволосый, чернобровый гигант исчез. Вместо него был хромой, седой старик, кашляющий кровью. Меня он даже не узнал, а когда я взял его за руку и назвал по фамилии — вырвался и пошел своей дорогой. И по глазам его было видно, что Заяц думает о чем-то своем, мне недоступном, где мое по-

явление или не нужно или оскорбительно для хозяина, беседующего с менее земными людьми.

— И этот вариант не годится, — сказал я.

— Тогда я оставлю первый.

Если и нельзя напечатать — легче, когда напишешь. Напишешь — и можно забывать . . .



ЭХО В ГОРАХ

В учетном отделе никак не могли подобрать старшего делопроизводителя. Впоследствии, когда дело разрослось, эта должность вместила целый самостоятельный отдел — «группу освобождения». Старший делопроизводитель выдавал документы об освобождении заключенных и был фигурой важной в мире, где вся жизнь нацелена на ту минуту, когда арестант получает документ, дающий ему право не быть арестантом. Старший делопроизводитель сам должен быть из заключенных — так предусмотрено экономной штатной ведомостью. Конечно, можно бы заполнить такую вакантную должность и по партийной путевке или по какой-либо профсоюзной организации, либо уломать армейского командира, уходящего из армии, — но время было еще не такое. На службу в лагерь — с какими хочешь «понятными» окладами — желающих было найти не так-то просто. Служба по вольному найму в лагерях считалась еще делом позорным, и во всем учетном отделе, ведающем всеми делами заключенных, работал только один вольнонаемный инспектор Паскевич, тихий, запойный пьяница. В отделе он бывал мало — большая часть его времени тратилась на фельдъегерские поездки, ибо лагерь был, как полагается, расположен далеко от людских глаз.

И вот старшего делопроизводителя никак не могли найти. То выяснится, что вновь назначенный работник связан с блатным миром и выполняет его таинственные поручения. То окажется, что делопроизводитель освобождает за деньги каких-то южных спекулянтов-валютчиков. То получится, что парень честен и тверд, но растяпа и путаник и освобождает не того, кого нужно.

Высокое начальство искало нужного им человека со всей энергией — ведь как-никак ошибки в деле освобождения считались самым что ни на есть криминалом

и могли привести к быстрому окончанию карьеры лагерного ветерана, к «увольнению из войск ОГПУ», а то еще и довести до скамьи подсудимых.

Лагерь был тот самый, что год назад назывался 4-м отделением Соловецких лагерей, а теперь был самостоятельным, важным лагерем на Северном Урале.

Только старшего делопроизводителя этому лагерю и не хватало.

И вот с Соловков, с самого острова, прибыл спецконвой. Это большая редкость для Вишеры. Туда некого возить спецконвоем. Лошадные теплушки — вагоны красного цвета с нарами внутри или известные пассажирские классные с затянутыми решеткой окнами — так и кажется, что вагон стыдится своих решеток. На юге жители, спасаясь от воров, ставят в окна решетки причудливой формы, как цветы, лучи, — живое воображение южан подсказывает им эти не оскорбительные для глаза прохожего формы решеток, которые все же остаются решетками. Так и классный пассажирский вагон перестает быть обыкновенным вагоном из-за этих железных вуалеток, закрывающих его глаза.

По уральским, по сибирским дальним железным дорогам еще ходили в то время знаменитые «стольпинские» вагоны — кличка, которую тюремные вагоны сохраняют еще много десятков лет, вовсе не будучи «стольпинскими».

«Стольпинский» вагон — с двумя маленькими квадратными окнами с одной стороны вагона и несколькими большими — с другой. Эти окошечки, затянутые решетками, вовсе не позволяют видеть снаружи то, что делается внутри, даже если подойти вплотную к окошечку.

Внутри вагон поделен на две части массивными решетками с тяжелыми гремящими дверями, каждая половина вагона имеет свое маленькое окно.

С обеих сторон — отделения для конвоя. И коридор для конвоя.

Спецконвой в «стольпинских» вагонах не ездит.

Конвоиры возят одиночек в обыкновенных поездах, заняв одно из крайних купе — все еще было «по-семейному», просто — как до революции. Опыт еще не был накоплен.

Прибыл спецконвой с «Острова» — так называли Соловки тогда, просто «остров», как остров Сахалин, — и сдал невысокого пожилого человека на костылях в обязательном «соловецком» бушлате шинельного сукна, в такой же шапочке-ушанке — «соловчанке».

Человек был спокоен и сед, порывист в движениях, и было видно, что он еще только учится искусству ходить на костылях, что он еще недавно стал инвалидом.

В общем бараке с двойными нарами было тесно и душно, несмотря на раскрытые настежь двери с обоих концов дома. Деревянный пол был посыпан опилками, и дежурный, сидевший при входе, раскидывал в свете семилинейной керосиновой лампы прыгающих в опилках блох. Время от времени, похлопав палец, дежурный пускался на поиски стремительных насекомых.

В этом бараке и было отведено место приезжему. Ночной барачный дежурный сделал неопределенный жест рукой, показывая в темный и вонючий угол, где вповалку спали одетые люди и где не было места не только для человека, но и для кошки.

Но приезжий спокойно натянул шапку на уши и, положив свои костыли на длинный обеденный стол, взобрался на спящих людей сверху, лег и закрыл глаза, не делая ни одного движения. Силой собственной тяжести он продавил себе место в других телах, и если его сонные соседи делали движение — тело приезжего немедленно вмещалось в это ничтожное свободное пространство. Нащупав локтем и бедром доски нар, приезжий расслабил мускулы тела и заснул.

На другое утро выяснилось, что приехавший инвалид — тот самый долгожданный старший делопроизводитель, которого так ждет Управление лагеря.

В обед его вызвали к начальству, а к вечеру перевели в другой барак — административной службы, где

проживали все чиновники лагеря из заключенных. Это был барак удивительной, редчайшей конструкции.

Его строили, когда начальником лагеря был бывший моряк, топивший в восемнадцатом году Черноморский флот, когда туда приезжал знаменитый мичман Раскольников.

Моряк сделал сухопутную лагерную карьеру, а постройка барака для obsługi была его выдумкой, его данью своему морскому прошлому. В этом бараке двухэтажные нары были подвесные — на стальных тросах. Висели, кучками по четыре человека, как моряки в кубрике. Для прочности конструкция была связана с одной стороны длинной железной толстой проволокой.

Поэтому все нары качались одновременно при малейшем движении хотя бы одного из жителей этого барака.

А так как двигались одновременно несколько человек, то подвесные койки были в непрерывном движении и негромко, но явственно скрипели, скрипели. Качанье и скрип не прекращались ни на минуту в течение суток. Только во время вечерних проверок движущиеся нары останавливались, как уставший маятник, и замолкали.

В этом бараке я и познакомился со Степановым, с Михаилом Степановичем Степановым. Так звали нового старшего делопроизводителя, без всяких «он же», столь распространенных здесь.

Впрочем, на сутки раньше я видел его «пакет», привезенный спецконвоем, его «личное дело». Это было тоненькое «дело» в зеленой обложке, начинавшееся обычной анкетой, снабженной двумя занумерованными фотографиями — анфас и в профиль и с квадратиком дактилоскопического оттиска, похожего на срез миниатюрного деревца.

В анкете был указан год его рождения — 1888-й, я хорошо запомнил эти три восьмерки; место последней работы — Москва, НК РКИ... Был членом ВКП(б) с 1917 года.

На один из последних вопросов было отвечено: подвергался, был членом партии эсеров с 1905 года... Запись велась, как обычно, казенной рукой, покороче.

Срок — 10 лет, вернее, высшая мера с заменой десятью годами.

Лагерная работа — был в Соловках старшим делопроизводителем более полугода.

Не очень была интересная анкета у нашего Михаила Степановича. В лагере было много колчаковских и анненковских командиров, был командир пресловутой Дикой дивизии, была авантюристка, выдававшая себя за дочь Николая Романова, был знаменитый карманник Карлов, по кличке «Подрядчик», и впрямь похожий на подрядчика, лысый, с огромным брюхом и опухшими пальцами — один из ловчайших карманников, артист, которого показывали начальству.

Был Майеровский, взломщик и художник, беспрепятственно рисующий на чем-либо — на доске, листке бумаги — одно и то же: голых женщин и мужчин, переплетенных между собой всевозможнейшим противостественным способом общения. Ничего другого Майеровский рисовать не мог. Он был проклятым сыном весьма обеспеченных родителей из научной среды. Для блатных он был чужаком.

Было несколько графов, несколько грузинских князей из свиты Николая II.

Личное дело Степанова было заложено в новую лагерную обложку и поставлено на полки буквы «С».

И я не узнал бы этой удивительной истории, если бы не случайный воскресный разговор в служебном кабинете.

Впервые я увидел Степанова без костылей. Удобная палка, давно, очевидно, им заказанная в лагерной столовнице, была в его руках. Ручка у палки была больничного типа — она была вогнута, а не горбатилась, как ручка обыкновенной трости.

Я сказал «ого» и поздравил его.

— Поправляюсь, — сказал Степанов. — У меня ведь все цело. Это — цинга.

Он засучил штанину, и я увидел уходящую вверх лилово-черную полосу кожи. Мы помолчали.

— Михаил Степанович, а за что ты сидишь?

— Да как же? — и он улыбнулся. — Я ведь Антонова-то отпустил...

Семнадцатилетний питерский гимназист Миша Степанов, сын учителя гимназии, перед пятым годом вступил в партию, в которую ему сам бог велел вступить по тогдашней моде среди молодых русских интеллигентов. Освященная легендарным светом «Народной воли», только созданная партия эсеров делилась на многочисленные течения и теченьца. Среди этих течений видное место занимали эсеры-максималисты — группа известного террориста Михаила Соколова. Родственные связи привели Мишу Степанова в эту группу, и вскоре он с увлечением вошел в быт подпольной России: в явки, конспиративные квартиры, обучение стрельбе, динамит...

В лабораториях, по обычаю, на столах бутылка с нитроглицерином — на случай ареста, обыска.

На конспиративной квартире семеро боевиков были окружены полицией. Эсеры отстреливались, пока хватило патронов. Отстреливался и Миша Степанов. Их арестовали, судили, повесили всех, кроме несовершеннолетнего Миши. А Михаил получил вместо веревки вечную каторгу и попал неподалеку от родного Питера — в Шлиссельбург.

Каторга — это режим, он меняется в зависимости от обстановки и характера самодержца. «Вечной» каторгой в царское время считалась 20-летняя каторга с двумя годами ручных и четырьмя годами ножных кандалов.

В Шлиссельбурге в степановское время применяли и эффектную «новинку» — сковывали каторжников попарно — самый надежный способ поссорить их между собой.

В каком-то рассказе Барбюс показал нам трагедию

влюбленных, скованных вместе, они стали люто ненавидеть друг друга . . .

С каторжниками это делалось давно. Подбор напарников в цепях — это была великолепная выдумка мастеров сих дел; тут тюремное начальство могло острить как умело — сковывать высокого с низкорослым, сектанта с атеистом, а самое главное, могли сортировать политические «букеты» — сковывать вместе анархистов и эсеров, эсдека и чернопередельца.

Чтобы не поссориться с прикованным к тебе человеком, нужна была величайшая выдержка обоих, либо слепое преклонение молодого перед старшим и страстное желание старшего передать все лучшее, что есть в его душе, — товарищу.

Подчас человеческая воля, перед которой ставилось новое, сильнейшее испытание, еще более крепла. Закалялся характер, дух.

Так прошли кандалные сроки Михаила Степанова, сроки ношения ручных и ножных кандалов.

Шли обыкновенные каторжные годы — номер, бубновый туз на халате были уже привычными, незаметными.

В это время Михаил Степанович, молодой человек — двадцати двух лет, — встретился в Шлиссельбурге с Серго Орджоникидзе. Серго был выдающимся пропагандистом, и много дней проговорили они со Степановым в Шлиссельбургской тюрьме. Встреча и дружба с Орджоникидзе сделали Михаила Степанова из эсера-максималиста — большевиком-эсдеком.

Он поверил верой Серго в будущее России, в свое будущее. Михаил еще молод, если даже «вечная» будет отбыта день в день, все же он выйдет на волю моложе сорока лет и еще сумеет послужить новому знамени. Он будет ждать эти двадцать лет.

Но ждать пришлось гораздо меньше. Февраль семнадцатого года открыл двери царских тюрем, и Степанов очутился на воле гораздо раньше, чем ждал и готовился. Он нашел Орджоникидзе, вступил в партию

большевиков, принимал участие в штурме Зимнего, а после Октябрьской революции кончил военные курсы, ушел на фронт красным командиром и подвигался по военной лестнице от фронта к фронту, все выше и выше.

На Тамбовском, Антоновском фронте комбриг Степанов командовал сводным отрядом бронепоездов и командовал небезуспешно.

Антоновщина шла на убыль. Против Красной армии на Тамбовщине стояли весьма своеобразные части. Жители местных деревень, превращавшиеся внезапно в регулярное войско со своими командирами.

В отличие от многих других банд времен гражданской войны Антонов следил за «моральным состоянием частей» и вдохновлял своих солдат через своих политических комиссаров, созданных им по образцу комиссаров Красной армии.

Сам Антонов давно был осужден революционным трибуналом, приговорен заочно к смерти, объявлен вне закона. По всем частям Красной армии был разослан приказ Верховного командования, требующий немедленного расстрела Антонова при поимке и опознании как врага народа.

Антоновщина шла на убыль. И вот однажды комбригу Степанову доложили, что операция полка ВЧК увенчалась полным успехом и что Антонов, сам Антонов, захвачен.

Степанов велел привести пленника. Антонов вошел и остановился у порога. Свет «летучей мыши», повешенной у двери, падал на угловатое, жесткое и вдохновенное лицо.

Степанов велел конвоиру выйти и ждать за дверью. Потом он подошел к Антонову вплотную — он был чуть не на голову ниже Антонова — и сказал:

— Сашка, это ты?

Они были скованы одной цепью в Шлиссельбурге целый год и ни разу не поссорились.

Степанов обнял связанного пленника, и они поцеловались.

Степанов долго думал, долго ходил по вагону молча, а Антонов печально улыбался, глядя на старого товарища. Степанов рассказал Антонову о приказе — впрочем, это не было новостью для пленника.

— Я не могу тебя расстрелять и не расстреляю, — сказал Степанов, когда решение как будто было найдено. — Я найду способ дать тебе свободу. Но ты дай, в свою очередь, слово — исчезнуть, прекратить борьбу против Советской власти, все равно это движение обречено на гибель. Дай мне слово, твое честное слово...

И Антонов, которому было легче — нравственные муки товарища по каторге он хорошо понимал, — дал это честное слово. И Антонова увели.

Трибунал был назначен на завтра, а ночью Антонов бежал. Трибунал, который должен был лишний раз судить Антонова, судил вместо него начальника караула, который плохо расставил посты и этим дал возможность бежать столь важному преступнику. Членами трибунала были и сам Степанов, и его родной брат. Начальник караула был обвинен и приговорен к году тюрьмы условно — за неправильную расстановку постов.

Как случилось так, что Степанов не знал, что Антонов — бывший политкаторжанин? В то недолгое время, что Михаил Степанов пробыл на Тамбовском фронте, он не успел ознакомиться с одной, самой важной листовкой Антонова. В этой листовке Антонов писал: «Я — старый народоволец, был на царской каторге много лет. Не чета вашим вождям Ленину и Троцкому, которые, кроме ссылки, ничего и не видали. Я был закован в кандалы и так далее». С этой листовкой Степанову пришлось познакомиться много позднее.

А тогда казалось, что все кончено и совесть чиста — и перед Антоновым, чью жизнь спас Степанов, и перед Советской властью, ибо Антонов исчезает, и антоновщине — конец.

Но случилось не так: Антонов и не думал держать своего слова. Он явился, вдохновляя свои «зеленые» войска, и бои вспыхнули с новой силой.

— Вот тогда я и поседел, — говорит Степанов. — Не позже. Вскоре общее командование принял Тухачевский, его энергичные действия по ликвидации антоновщины увенчались полным успехом — орудийным огнем были сметены наиболее зловредные села. Антоновщина шла к концу. Сам Антонов лежал в лазарете в сыпном тифу, и когда лазарет был окружен красноармейскими конниками, брат Антонова застрелил его на больничной койке и застрелился сам. Так умер Александр Антонов.

Кончилась гражданская, Степанов демобилизовался и поступил под начало Орджоникидзе, который был тогда народным комиссаром Рабоче-крестьянской инспекции. Член партии с 1917 года, Степанов и поступил туда управделами НК РКИ.

Было это в 1924 году. Так он служил там год, два и три года, а к концу третьего года стал замечать что-то вроде слежки за собой — кто-то просматривал его бумаги, переписку.

Много ночей провел Степанов без сна. Вспоминал каждый шаг своей жизни, каждый день своей жизни — все было в ней яснее ясного, кроме той, антоновской истории. Но ведь Антонов-то мертв. С братом своим Степанов не делился ничем, никогда.

Вскоре его вызвали на Лубянку, и следователь крупного чекистского чина спросил неторопливо: не было ли случая, чтобы Степанов, будучи командиром Красной армии, в военной обстановке, отпустил на свободу захваченного в плен Александра Антонова.

И Степанов рассказал правду. Тогда раскрылись все тайны.

Оказывается, той тамбовской летней ночью Антонов бежал не один. Он и захвачен был вместе с одним из своих офицеров. Тот, после смерти Антонова, бежал

на Дальний Восток, перешел границу к атаману Семенову и несколько раз приходил оттуда как диверсант и был захвачен, и сидел на Лубянке, и «пошел в дознание». И строка в одиночной камере свою подробную исповедь, он упомянул, что в таком-то году он был захвачен в плен красными вместе с Антоновым и в ту же ночь бежал. Антонов ему ничего не говорил, но он, как царский офицер, думает, что здесь имело место предательство со стороны красного командования. Эти несколько строк из летописи сумбурной и беспорядочной жизни были взяты на поверку. Найден был протокол трибунала, где начальник караула Грешнев получил свой год условно за неправильную расстановку постов.

Где теперь Грешнев? Взялись за архивы армейские — давно демобилизован, живет на родине, крестьянствует. У него — жена, трое маленьких детей в деревушке под Кременчугом. Грешнева внезапно арестовывают и везут в Москву.

Если бы Грешнева арестовали во время гражданской войны, он, может быть, и на смерть пошел бы, но не выдал своего командира. Но время идет, что ему война и его командир — Степанов? У него трое детей мал мала меньше, молодая жена, жизнь впереди. Грешнев рассказал, что он выполнил просьбу Степанова, да не просьбу, а может, приказ — что, дескать, побег нужен для пользы дела и что командир обещает, что Грешнева не засудят.

Оставляют Грешнева и берутся за Степанова. Его судят, приговаривают к расстрелу, заменяют десятью годами лагеря, везут на Соловки.

В 1933 году летом я шел по Страстной площади. Пушкин еще не перешагнул площади и стоял в конце или, вернее, в начале Тверского бульвара — там, где его поставил Опекушин, понимавший, что за штука архитектурное согласие камня, металла и неба. Кто-то сзади ткнул меня палкой. Я оглянулся — Степанов! Он

уже давно освободился, работал начальником аэропорта. Трость была все та же.

— Ты все еще хромаешь?

— Да. Последствия цинги. По-медицинскому это называется контрактурой.

————oOo————

БЕРДЫ ОНЖЕ

Анекдот, превратившийся в мистический символ... Живая реальность, ибо с подпоручником Кижже общались люди, как с живым человеком, — всё, что так хорошо рассказал нам Юрий Тынянов, — долгое время не принималось мной как запись были. Поразительная история павловского времени была для меня лишь гениальной остротой, злой шуткой какого-либо досужего вельможи-современника, превратившейся, помимо воли автора, в яркое свидетельство черт примечательного царствования. Лесковский часовой — история того же плана, утверждающая преемственность нравов самодержавия. Но самый факт царевой «описки» внушал мне сомнения — до 1942 года.

Побег был обнаружен лейтенантом Куршаковым на станции Новосибирск. Всех арестантов вывели из теплушек и под мелким холодным дождем считали, «перекликали» по списку на статью и срок — всё было напрасно. В строю по пять было тридцать восемь полных рядов, а в тридцать девятом ряду стоял один человек, а не два, как было при отправке. Куршаков проклинал минуту, когда он согласился принять этап без «личных дел», прямо по списку, где под номером шестьдесят значился бежавший арестант. Список был затёрт; притом бумагу никак нельзя было уберечь от дождя. От волнения Куршаков едва разбирал фамилии, да и буквы в самом деле расплылись. Номера 60 не было. Половина пути уже была пройдена. За такие потери взыскивали строго, и Куршаков уже прощался с погонами и офицерским пайком. Боялся он и отправки на фронт. Шел второй год войны, а Куршаков счастливо служил в конвойной охране. Он зарекомендовал себя исполнительным и аккуратным офицером. Десятки раз возил он этапы, большие и маленькие, водил эшелоны, бывал и в спецконвесе, и никогда не было у него побега.

Его даже наградили медалью «За боевое отличие» — такие медали выдавали и в глубоком тылу.

Куршаков сидел в теплушке, где помещалась охрана, и дрожащими, скользкими от дождя пальцами перебирал содержимое своего злополучного «пакета» — продовольственный аттестат, письмо из тюрьмы в адрес лагерей, куда он вез этап, и список, список, список. И из всех бумаг, из всех строк он видел только цифру «192». А 191 арестант был заперт в закрытых наглухо вагонах. Промокшие люди ругались и, стацив с себя пиджаки и пальто, старались подсушить одежду на ветру у щели дверей вагона.

Куршаков был растерян, подавлен побегом. Конвойные, свободные от наряда, пугливо молчали в углу вагона, а на лице помощника Куршакова, старшины Лазарева, отражалось попеременно все то, что было на лице его начальника — беспомощность, страх...

— Что делать? — сказал Куршаков. — Что делать?

— Дай-ка список.

Куршаков протянул Лазареву несколько измятых, сколотых булавкой бумажных листов.

— Номер шестьдесят, — прочел Лазарев. — Он же Берды, статья сто шестьдесят вторая, срок десять лет. — Вот, — сказал Лазарев, вздыхая. — Вот. Зверь какой-то.

Частое общение с воровским миром приучило конвойных пользоваться «блатной феней», воровским словарем, где зверями называются жители Средней Азии, Кавказа и Закавказья.

— Зверь, — подтвердил Куршаков. — И говорить-то, наверное, по-русски не умеет. Мычал, наверное, на поверках. Шкуру с нас, брат, снимут за этого... — и Куршаков приблизил листок к глазам и с ненавистью прочел — Берды...

— А, может, и не снимут, — внезапно окрепшим голосом выговорил Лазарев. Блестящие бегающие глаза его поднялись вверх. — Есть одна думка. — Он быстро зашептал в ухо Куршакова.

Лейтенант недоверчиво покачал головой:

— Не выйдет ведь ничего...

— Попытать можно, — сказал Лазарев. — Фронт-то, небось... Война, небось.

— Действуй, — сказал Куршаков. — Здесь простоим еще суток двое — я на станции узнавал.

— Денег дай, — сказал Лазарев.

К вечеру он вернулся.

— Туркмен, — сказал он Куршакову.

Куршаков пошел к вагонам, открыл дверь первой теплушки и спросил у заключенных — нет ли среди них человека, знающего хоть несколько слов по-туркменски. В теплушке ответили, что нет, и Куршаков дальше не ходил. Он перевел «с вещами» одного из заключенных в ту теплушку, откуда бежал арестант, а в первый вагон конвойные втолкнули какого-то оборванного человека, охрипшего, кричащего что-то важное, страшное на непонятном языке.

— Поймали, проклятые, — сказал высокий арестант, освобождая беглому место. Тот обнял ноги высокого и заплакал.

— Брось, слышь ты, брось, — хрипел высокий.

Беглец что-то быстро говорил.

— Не понимаю, брат, — сказал высокий. — Ешь вот суп, у меня в котелке остался.

Беглец похлебал супу и заснул. Утром он снова кричал и плакал, выскочил из вагона и кинулся в ноги Куршакову. Конвоиры загнали его обратно в вагон и до самого конца пути беглец лежал под нарами, вылезая только тогда, когда раздавали пищу. Он молчал и плакал.

Сдача этапа прошла вполне благополучно для Куршакова. Отпустив несколько ругательств по адресу тюрьмы, пославшей этап без «личных дел», дежурный комендант вышел принимать этап и начал переключку по списку. Пятьдесят девять человек отошли в сторону, а шестидесятый не выходил.

— Это беглец, — сказал Куршаков. — Он у меня

в Новосибирске сорвался, да мы его нашли. На базаре. Вот горюшка-то хватили. Я вам покажу его. Зверь — по-русски ни слова.

Куршаков вывел за плечо Берды. Затворы винтовок щелкнули, и Берды вошел в лагерь.

— Как его фамилия?

— А вот, — Куршаков указал.

— Он же Берды, — прочел комендант. — Статья сто шестьдесят вторая, срок десять лет. Зверь, а боевой . . .

Комендант твердой рукой написал против фамилии Берды: «Склонен к побегу, пытался бежать во время следования».

Через час Берды вызвали. Он обрадованно вскочил, ему казалось, что всё разъяснится, сейчас он будет свободен. Он весело бежал впереди конвоира.

Его отвели в конец двора, к бараку, отгороженному тройным рядом колючей проволоки, толкнули в ближайшую дверь, в вонючую темноту, откуда гудели голоса.

— Зверюга, братцы . . .

Я встретился с Берды Онже в больнице. Он уже немного говорил по-русски и рассказал, как три года назад на базаре в Новосибирске с ним долго пытался разговориться русский солдат, патрульный, как думает Берды. Солдат повел туркмена для выяснения личности на вокзал. Солдат разорвал документы Берды и втокнул его в арестантский вагон. Настоящая фамилия Берды — Тошаев, он крестьянин глухого аула близ Чарджоу. В поисках хлеба и работы вместе с земляком, знавшим по-русски, доплелись они до Новосибирска, товарищ ушел куда-то на базаре. Он, Тошаев, подавал уже несколько заявлений, ответа еще нет. «Личного дела» на него так и не пришло, и он числился в группе «безучетников» — лиц, содержащихся в заключении без документов. Он уже привык откликаться на фамилию Онже, ему хочется домой, здесь холодно, он часто болеет, на родину писал, но сам писем не по-

лучал — возможно, потому, что его часто переводят с места на место.

Берды Онже выучился говорить по-русски, но за три года не научился есть ложкой. Он брал обеими руками миску — суп всегда бывал чуть теплый — миска не могла обжечь ни пальцев, ни губ... Берды пил суп, а то, что оставалось на дне, вытаскивал пальцами... Кашу он ел также пальцами, отложив в сторону ложку. Это было потехой всей палаты. Разжевав кусочек хлеба, Берды превращал его в тесто и раскатывал вместе с золой, выгребая ее из печки. Туго замесив тесто, он скатывал шарик и сосал его. Это был «гашиш», «анаша», опиум. Над этим эрзацем не смеялись — каждому приходилось не раз крошить сухие березовые листья или смородинный корень и курить вместо махорки.

Берды удивился, что я сразу понял суть дела: ошибка машинистки, занумеровавшей продолжение «кличек» того человека, который шел под номером 59, беспорядок и путаница в торопливых тюремных этапах военного времени, рабский страх Куршаковых и Лазаревых перед своим начальством.

Но ведь был же живой человек — номер пятьдесят девятый; он-то мог сказать, что кличка «Берды» принадлежит ему? Мог, конечно. Но каждый развлекается, как может. Каждый рад смущению в рядах начальства. Навести начальство на истинный путь может только фраер, а не вор. А пятьдесят девятый номер был вор.



ОГОНЬ И ВОДА

Я бывал в огне и не один раз. Мальчишкой я пробегал по улицам горящего деревянного города и на всю жизнь запомнил яркие освещенные дневные улицы, как будто солнца городу не хватало и он сам попросил огня. Безветренная тревога горящего светлоголубого раскаленного неба. Сила копилась в самом огне, в самом нарастающем пламени. Никакого ветра не было, но городские дома рычали, дрожа всем телом, и швыряли горящие доски на крыши домов через улицу.

Внутри было просто, сухо, тепло, светло, и я мальчишкой без труда, без страха прошел эти пропустившие меня живым и тут же сгоревшие до тла улицы. Сгорело все заречье и только река спасла главную часть города.

Это чувство покоя в разгар пожара испытал я и еще раз — взрослым. Детство давно уже кончилось, и — заключенным — я кончал срок в геологической разведке на Урале. Загорелся склад экспедиции, и, хоть склад был близко от реки, — пожарной машины не было, а ведрами, цепью ведер заливать растущий огонь было поздно.

В складе хранилось много добра, и начальник экспедиции — он понимал, что наказание за пожар последует неотвратимо да еще с каким-нибудь политическим диверсионным акцентом. Начальник звал помочь, но никто из заключенных не вошел в огонь. Начальник обещал всякие блага — свободу, зачеты рабочих дней — сто дней за день, за час пожара. Я — хоть и не верил в эти пустые обещания — я вошел в огонь, я не боялся пожара. Кто-то из начальства, видя, что мы не гибнем, не сгоряем, переступил порог распахнутых ворот горящего склада.

Была ночь. В складе было темно, и мы не добрались бы до нивеллиров, до теодолитов, вовсе не раскопали бы мешков с порохом — а мешков этих было много, — если

бы не огонь. Пожар осветил стены, осветил склад, как подсвечивают сцену. Стало сухо, тепло и светло. Мы вытащили почти всё на берег речки. Только гора одежды в углу — спецовок, костюмов, тулупов, валенок — сгорела.

Начальник был скорее обозлен, чем обрадован, — неприятность со складом грозила по-прежнему: за сгоревшую одежду наверняка придется платить. Я не получил ни лишнего дня зачетов рабочих дней. Никто не сказал мне даже спасибо за борьбу с этим пожаром, с этим огнем. Но чувство бесстрашия вблизи огня, детское мое чувство окрепло.

Таежных пожаров я видел немало. Ступал по горячему синему, пышному, пережженному, как ткань, мху метровой толщины. Пробирался через поваленный пожаром лиственный лес. Лиственницы выдирало с корнем и валило не ветром — огнем. Огонь был как буря, он сам создавал бурю, валил деревья, оставляя навечно черный след по тайге. И падал в бессилье на берегу какого-нибудь ручья. По сухой траве пробегало светлое, желтое пламя. Трава колебалась, шевелилась, как будто там пробежала змея. Но змеи на Колыме не водятся.

Желтое пламя взбегало на дерево, на ствол лиственницы и, уже набирая силу, огонь ревел, сотрясая ствол. Эти судороги деревьев, предсмертные судороги были везде одинаковы. Гиппократову маску дерева видел я не однажды.

Над больницей целых три дня лил дождь, и потому я думал о пожаре, вспоминал огонь. Дождь спас бы город, склад геологов, горящую тайгу. Вода сильнее огня.

Всех выздоравливающих больных «гоняли» за ягодами, за грибами за речку — там была пропасть голубики, брусники, заросли чудовищные скользких разноцветных масляток с шляпкой скользкой и холодной. Грибы казались холодными, холоднокровными живыми существами, вроде змей — только не грибами.

Грибы рождаются поздно, после дождей, рождаются

не каждый год, но если уже уродились — окружают каждую палатку, заполняют каждый лес, каждый подлесок.

Собрать в корзины, произвести сортировку — грибы поступали на соленье, на сушку, на маринад к дяде Саше, больничному повару, который хоть в колдовстве над грибами вспоминал свое славное поварское прошлое в ресторане «Прага» и свое женевское кулинарное образование. Дядя Саша был шефом правительственных обедов, и когда-то, во время оно, ему была доверена сервировка обеда в честь приезда Буллита. Обед в русском вкусе, в русском жанре. Борщ, щи, поросенок с кашей. Ассистенты дяди Саши привезли из Костромы пятьсот глиняных горшочков — по порции каши в каждый горшочек. Выдумка была удачной.

Буллит похвалил кашу. Но поросенка! Поросенка Буллит отодвинул в сторону, а кашу съел и попросил вторую порцию. Дядю Сашу наградили орденом Ленина.

Вскоре дядя Саша был арестован. В его деле было записано, что директор московского ресторана «Прага» Филиппов звал дядю Сашу к себе на работу шеф-поваром, обещал квартиру, огромную ставку, заграничные поездки. «После того как я отказался перейти в «Прагу», Филиппов предложил мне отравить правительство. И я согласился».

Дядя Саша руководил нашей работой. Сбор «дикоростов» — ягод, грибов — один из колымских психозов.

За этими дикорастущими ходим мы каждый день.

Сегодня было холодно, дул холодный ветер, но дождь перестал, сквозь рваные тучи виднелось бледное осеннее небо и было ясно, что дождя сегодня не будет.

Надо было идти. Больной в больнице для заключенных чувствует себя не вполне уверенно, если он не делает что-то для врача, для больницы: женщины — вышивку, какой-нибудь столяр — стол. Инженер расчерчивает впрок какие-нибудь бланки таблиц. Черноработчий приносит — корзину грибов, ведро ягод.

Можно, нужно было идти за грибами. После дождя —

урожай. В небольшой лодке втроем мы переправились через речушку, — как делали каждое утро. Вода чуть-чуть прибывала, бежала чуть-чуть быстрее, чем обычно. Волны были темнее, чем всегда.

Сафонов показал пальцем на воду, показал вверх по течению, и мы все трое поняли, что он хотел сказать.

— Успеем. Грибов богато, — сказал Веригин.

— Не назад же возвращаться, — сказал я.

— Давайте так, — сказал Сафонов, — к четырем часам вот против той горы бывает солнце. в четыре возвращаться на берег. Лодку привяжем повыше...

Мы разошлись в разные стороны — у всех были любимые грибные места.

Но с первых шагов по лесу я увидел, что спешить не надо, что грибное царство здесь под ногами. Шляпки опять были с шапку, с ладонь — наполнить две большие корзины было недолго.

Я вынес корзины к поляне, около тракторной дороги, чтобы найти сразу, и пошел налегке вперед, чтобы хоть одним глазком взглянуть — какие же грибы выросли там, на лучших моих участках, давно примеченных.

Я вошел в лес, и грибная душа была потрясена — везде стояли огромные боровики, отдельно друг от друга, выше травы, ростом выше брусничных кустов — твердые упругие свежие грибы были необыкновенными.

Подхлестываемые дождевой колымской водой грибы выросли в чудовища, с полуметровыми шляпками, стояли — куда только ни глянь, и грибы все были так здоровы, так свежи, так крепки, что никакого другого решения нельзя было принять. Вернуться назад — выбросить в траву, что было собрано раньше, и приехать в больницу с этим вот грибным чудом в руках.

Так я и сделал.

На все было нужно время, но я рассчитал, что дошагаю по тропе в полчаса.

Я спустился с пригорка, раздвинул кусты — холодная вода на метры залила тропу. Тропа исчезла под водой, пока я собирал грибы.

Лес шелестел, холодная вода поднималась все выше. Гудело все сильней. Я поднялся по горке и вдоль горы держал направо к месту нашей встречи. Грибов я не бросил — две тяжелые корзины, связанные полотенцем, свисали с моих плеч.

Вверху я подошел к роще, где должна была быть лодка. Роща была вся залита водой, вода всё прибывала.

Я выбрался на берег, на пригорок.

Река ревела, вырывая деревья и бросая их в поток. От леса, к которому мы причалили утром, не осталось ни куста — деревья были подмыты, вырваны и унесены. Страшная сила этой мускулистой воды была похожа на борца. Тот берег был скалистым — река отыгралась на правом, на моем, на лиственном берегу. Речушка, через которую мы переправлялись утром, превратилась давно в чудовище.

Темнело, и я понял, что мне надо в темноте уходить в горы и там подождать рассвета, подальше от ледяной бешеной воды. Промокший до нитки, поминутно оступаясь в воду, перескакивая в темноте с кочки на кочку, я выволок корзины к подножью горы. Осенняя ночь была черной, беззвездной, холодной, глухое рычанье реки не давало мне прислушаться к голосам — да и где я мог слышать чьи-либо голоса?

В распадке неожиданно засиял свет, и не сразу я понял, что это не вечерняя звезда, а костер. Костер беглецов? Геологов?. Рыболовов? Сенокосчиков? Я пошел на огонь, оставив две корзины у большого дерева до свету, а маленькую взял с собой.

Расстояния в тайге обманчивы — изба, скала, лес, река, море могут быть неожиданно близко или неожиданно далеко. Решение «да или нет» было простое. Огонь — на него надо идти, не раздумывая. Огонь был новой важной силой в моей нынешней ночи. Спасительной силой. Я собрался брести неутомимо, хоть наощупь — ведь ночной огонь был, а значит там были люди, была жизнь, было спасенье.

Я шел по распадку, не теряя огонь из виду, и через

полчаса, обогнув огромный камень, вдруг увидел костер прямо перед собой, вверху, на небольшой каменной площадке. Костер был разожжен перед низенькой, как камень, палаткой. У костра сидели люди. Люди не обратили на меня ни малейшего внимания. Что они здесь делают, я не спрашивал, а подошел к костру и стал греться. Мне хотелось есть, но хлеба в колымской тайге у встречных не просят. Это были заключенные сенокосчики больницы — той самой больницы, для которой я собирал грибы.

Попросить хлеба нельзя, но попросить пустую консервную банку можно, и я попросил котелок, закопченный и смятый, зачерпнул воды и сварил в ней один из грибов-гигантов.

Размотав грязную тряпку, старший косец молча протянул мне кусочек соли, и скоро вода завизжала, запрыгала, забелела пеной и жаром. Я съел свой безвкусный чудо-гриб, запил крутым кипятком и немного согрелся.

Я задремал у костра и медленно, неслышно подошел рассвет, наступал день — и я пошел к берегу, не благодаря сенокосчиков за приют. Две моих корзины у дерева были видны за версту. Вода уже спадала. Я прошел по лесу, цепляясь за уцелевшие деревья — со сломанными ветками, сорванной корой. Я шел по камням, иногда наступая на заносы горного песка. Я подошел к берегу. Да, это был берег — новый берег — зыбкая линия половодья. Река бежала, еще тяжелая от дождей, но было видно, что вода садится.

Далеко, далеко, на другом берегу, как на другом берегу жизни, — увидел я фигурки людей, машущих руками. Увидел лодку. Я замахал руками, меня поняли, узнали. Лодку подняли вдоль берега на шестах, километра на два выше того места, где я стоял. Сафонов и Веригин причалили ко мне много ниже. Сафонов протянул мне мою сегодняшнюю пайку 600 граммов хлеба, но есть мне не хотелось.

Я выволок свои корзины с чудо-грибами. Дождь, да я

тащил грибы через лес, задевая о деревья ночью, — в корзине валялись только обломки, обломки грибов.

— Выбросить, что ли? — сказал Веригин.

— Нет, зачем же...

— Мы свои вчера бросили. Едва успели перегнать лодку. А о тебе так подумали, — твердо сказал Сафонов, — с нас больше будет спроса за лодку, чем за тебя.

— За меня немного спроса, — сказал я.

— Вот то-то. Ни нам, ни начальнику за тебя немного спросу, а за лодку... Правильно я сделал?

— Правильно, — сказал я.

— Садись, — сказал Сафонов, — и бери эти корзины проклятые.

И мы оттолкнулись от берега и пустились в плавание — утлый челнок по бурной, еще грозовой реке.

В больнице меня встретили без ругани и без радости. Сафонов был прав, когда позаботился раньше всего о лодке.

Я пообедал, поужинал, позавтракал, и снова пообедал и поужинал — съел весь свой двухдневный рацион, и меня стало клонить в сон. Я согрелся. Но мне хотелось для большего блаженства чаю — простого кипятка, конечно. Настоящий чай только начальство пьет.

Я сел у печки в бараке, поставил на огонь котелок с водой. На укрощенный огонь укрощенную воду. И скоро котелок забурился, закипел. Но я уже спал...



ОБЛАВА

Виллис с четырьмя бойцами круто свернул с трассы и, газуя, поскакал по больничным кочкам, по зыбкой, коварной, засыпанной белым известняком дороге. Виллис пробивался к больнице, и сердце Криста заняло в тревоге, привычной тревоге при встрече с начальством, с конвоем, с судьбой.

Виллис рванулся и увяз в болоте. От трассы до больницы было метров пятьсот. Этот кусочек дороги главврач больницы строила хозяйственным способом, государственным способом субботников, которые на Колыме называют ударниками. Это тот самый способ, которым велись все стройки пятилетки. Выздоровливающих больных выгоняли на эту дорогу — принести камень, два камня, носилку щебня. Санитары из больных — штатных не полагалось, больничка для заключенных — ходили на эти ударники-субботники без возражений — иначе их ждал прииск, золотой забой. На эти субботники никогда не посылали тех, кто работал в хирургическом отделении, — поцарапанные, раненые пальцы выводили работников хирургического отделения из строя надолго. Но для того чтобы убедить в этом лагерное начальство, нужно было указание Москвы. Этой привилегии — не работать на ударниках, на субботниках — завидовали другие заключенные болезненно, безумно. Казалось бы, что завидовать? Ну, отработал два-три часа на ударнике, как все люди. Но оказывается — товарищей освобождают от этой работы, а тебя не освобождают. И это безмерно обидно, запоминается на всю жизнь.

Больные, врачи, санитары — каждый брал камень, а то и два, подходил к краю топи и бросал камни в болото.

Таким способом строил дороги, засыпал моря Чингисхан, только людей у Чингисхана было больше, чем у

главврача этой Центральной районной больницы для заключенных, как она витиевато называлась.

У Чингисхана было больше людей да и засыпал он моря, а не бездонную вечную мерзлоту, таявшую в короткое колымское лето.

Летняя дорога много уступала «зимнику», не могла заменить снег и лед. Чем больше таяло болото, тем бездонней было оно, тем больше требовалось камня, и вереница больных не могла за три лета загрузить дорогу надежно. Только под осень, когда земля уже схватывалась морозом и оттаивание вечной мерзлоты прекращалось, можно было добиться успеха на этом чингисхановом строительстве. Безднажность этой затеи давно была ясна и главврачу, и больным работникам, но все давно привыкли к бессмысленности труда.

Каждое лето выздоравливающие больные, врачи, фельдшера, санитары носили камень на эту проклятую дорогу. Болото чавкало, расступалось, и всасывало, всасывало камень без конца. Дорога, посыпанная белым искристым известняком, была вымощена ненадежно.

Это была чарусá, топь, непроходимое болото, а дорожка, посыпанная белым некрепким известняком, только показывала путь, давала направление. Эти пятьсот метров заключенный, начальник, конвоир мог перебраться с плиты на плиту, с камня на камень, переступая, перескакивая, переходя. Больница стояла на пригорке — десяток одноэтажных барачков, открытых ветрам со всех четырех сторон. Зоны из колючей проволоки вокруг больницы не было. За теми, кого выписывали, присылался конвой из управления за шесть километров от больницы.

Виллис дал газу, прыгнул и окончательно завяз. Бойцы спрыгнули с машины, и тут Крест увидел необычайное. На старых шинелях бойцов были новенькие погоны. А у человека, который вылез из машины, на плечах были погоны серебряные. Крест видел погоны впервые. Только на съемках фильмов Крест видел погоны да еще в кино, на экране, в журналах вроде

«Солнца России». Да еще после революции в сумерках провинциального города, где родился Крист, рвали погоны с плеч какого-то пойманного на улице офицера, стоявшего на вытяжку перед... Перед кем стоял этот офицер? Этого Крист не помнил. После раннего детства было позднее детство, и юность такая, где каждый год по количеству впечатлений, по резкости их, по важности жизненной был таким, в который вместились бы десятки жизней. Крист думал, что в его пути не было офицеров и солдат. Сейчас офицер и солдаты вытаскивали виллис из болота. Не было нигде видно кинооператора, не было видно режиссера, приехавшего на Колыму ставить какую-то современную пьесу. Здешние пьесы разыгрывались неизменно с участием самого Криста — до других пьес Кристу не было дела. Было ясно, что приехавший виллис, солдаты, офицер играют акт, сцену с участием Криста. С погонами — прапорщик. Нет, теперь называется иначе: лейтенант...

Виллис проскочил самое ненадежное место — машина подбежала к больнице, к пекарне, где одноногий пекарь, благословлявший судьбу за инвалидность, за одноногость, выскочил, отдавая по-солдатски честь офицеру, вылезавшему из кабинки виллиса. На плечах офицера сверкали красивые серебряные звездочки — две новеньких звездочки. Офицер вылез из виллиса, одноногий сторож сделал быстрое движение, прохромал, прыгнул куда-то вверх, в сторону. Но офицер смело и небрежливо удержал одноногого за бушлат.

— Не нужно.

— Гражданин начальник, разрешите...

— Не нужно, я сказал. Заходи в пекарню. Мы сами справимся.

Лейтенант взмахнул руками, указывая вправо и влево, и трое солдат побежали, окружая внезапно обезлюдевший безмолвный больничный поселок. Шофер вылез из машины. А лейтенант с четвертым солдатом бросился на крыльцо хирургического отделения.

С горки, стуча каблуками солдатских сапог, спуска-

лась женщина — главврач, предупредить которую опоздал одноногий сторож.

Двадцатилетний начальник отдельного лагерного пункта, бывший фронтовик, но избавленный от фронта ущемленной грыжей, — а может быть, это только так говорили, — а вернее всего, была не грыжа, а блат — высокая рука, переставившая лейтенанта — с производством в следующий чин — от танков Гудериана на Колыму.

Прииски просили людей, людей. Хищническая, старательская добыча золота, запрещенная раньше, теперь поощрялась правительством. Лейтенант Соловьев был послан доказать свое умение, понимание, знание — и свое право.

Начальники лагерных учреждений не занимаются лично отправкой этапов, не лезут в историю болезни, не осматривают зубы людей и лошадей, не ощупывают мускулы рабов.

В лагере все это делают врачи.

Двадцатилетний Соловьев не верил никому.

Списочный состав заключенных — рабочей силы приисков — таял с каждым летним днем, с каждой колымской ночью выход на работу становился все меньше и меньше. Люди из золотых забоев шли под сопку, в больницу.

Управление района выжало давно все, что могло; сократило все, что можно, кроме, разумеется, личных денщиков или дневальных, как их зовут по-колымски, кроме дневальных высшего начальства, кроме личных поваров, личной прислуги из заключенных. Все было вычищено повсюду.

Только одна подчиненная молодому начальнику «часть» не давала должной отдачи — больница! Тут-то и скрыты резервы. Преступники-врачи скрывают симулянтов.

Мы, резервы, знали, зачем приехал в больницу начальник, зачем приблизился его виллис к воротам больницы. Впрочем, ворот и оград в больнице не было. Ра-

йонная больница стояла среди таежного болота на пригорке, два шага в сторону — брусника, бурундуки, белки. Больница называлась «Беличьей», хотя ни одной белки там давно не было. В горном распадке под пышным багровым мхом бежал холодный, ледяной ручей. Там, где ручей впадает в речку, и стоит больница. И ручей и речка безымянны.

Топографию местности лейтенант Соловьев знал, когда планировал свою операцию. Оцепить такую больницу в таежном болоте и роты солдат не хватило бы. Диспозиция была иная. Военные знания лейтенанта не давали ему покоя, искали выхода в его беспрюирышной смертной игре, в сражении с бесправным арестантским миром.

Охотничья эта игра волновала кровь Соловьева, охота за людьми, охота за рабами. Лейтенант не искал литературных сравнений — это была военная игра, операция, давно им задуманная, «день Д».

Из больницы конвоиры выводили людей, добычу Соловьева. Всех одетых, всех, кого начальник застал на ногах, а не на койке, и снятых с койки, загар которых вызвал подозрение у Соловьева, вели к складу, где был поставлен виллис. Шофер вынул пистолет.

— Ты кто?

— Врач.

— К складу! Там разберем.

— Ты кто?

— Фельдшер.

— К складу!

— Ты кто?

— Ночной санитар.

— К складу.

Лейтенант Соловьев лично проводил операцию пополнения рабсилы на золотых приисках.

Самоллично начальник осмотрел все шкафы, все чердаки, все подполья, где, по его мнению, могли скрываться те, кто прятался от металла, от «первого металла».

Одноногий сторож был поставлен тоже к складу — там разберем.

Четыре женщины, медицинские сестры, были доставлены к складу. Там разберем.

Восемьдесят три человека тесно стояли около склада. Лейтенант произнес краткую речь.

— Я покажу, как собирают этапы. Разгромим ваше гнездо. Бумаги!

Шофер достал из планшета начальника несколько листков бумаги.

— Врачи — выходи!

Вышло три врача — больше в больнице и не было.

Фельдшеров вышло двое — остальные четверо остались в строю. Соловьев держал в руках штатную ведомость больницы.

— Женщины — выходите; остальные — ждать!

Из больничной конторы Соловьев позвонил по телефону. Еще вчера заказанные им два грузовика вышли в больницу.

Соловьев взял химический карандаш, бумагу.

— Подходи записываться. Без статьи и срока. Только фамилии — там разберут. Ну!

И начальник собственной рукой составил список этапа — этапа на золото, на смерть.

— Фамилия?

— Я болен.

— Чем он болен?

— Полиартрит, — сказала главврач.

— Ну, я таких слов не знаю. Здоровый лоб. На прииск.

Главврач не стала спорить.

Крист стоял в толпе — и знакомая злоба стучала в его виски. Крист уже знал, что надо делать.

Крист стоял и думал спокойно: «Вот как тебе мало доверяют, начальник, что ты лично обыскиваешь больничные чердаки, заглядываешь своими светлыми глазами под каждую больничную койку. Ты ведь мог только распорядиться и всех прислали бы и без этого спек-

такля. Если ты начальник, хозяин лагерной службы на приисках, собственной рукой пишешь списки, ловишь собственной рукой... Так я тебе покажу, как надо бегать. Пусть дадут хоть минуту на сборы...»

— Пять минут на сборы! Быстро!

Вот этих-то слов Крист и ждал. И войдя в барак, где жил, Крист не взял вещей — взял только телогрейку, шапку-ушанку, кусок хлеба, спички, махорку, газету, — вывалил в карман все свои «зачапки», сунул в карман телогрейки пустую консервную банку и вышел — но не к складу, а за барак, в тайгу, легко обойдя часового, того, для которого операция, охота была уже кончена.

Крист целый час шел вверх по ручью, пока не выбрал надежное место, лег на сухой мох и стал ждать.

Что тут за расчет был? А расчет был такой. Если это простая облава — кого схватят на улице, того и сунут в машину, привезут на прииск, — то из-за одного человека машину держать до ночи не будут. Но если это правильная охота, то за Кристом пришлют вечером, даже в больницу не впустят и постараются достать Криста, вырыть из-под земли и дослать.

Срок за такую отлучку не дадут. Если пуля не попала пока Крист уходил — а в Криста и не стреляли, — то Крист снова будет санитаром в больнице. А если надо отправить именно Криста — это сделает главврач и без лейтенанта Соловьева.

Крист зачерпнул воды, напился, покурив в рукав, полежал, и когда солнце стало садиться, пошел вниз по распадку к больнице.

На мостках Крист встретил главврача. Главврач улыбнулась, и Крист понял, что он будет жить.

Мертвая, опустевшая больница оживала. Новые больные одевались в старые халаты и назначались санитарями, начиная, быть может, путь к спасению. Врачи и фельдшеры раздавали лекарства, мерили температуру, считали пульс тяжелобольных.

ПРОТЕЗЫ

Лагерный изолятор был старый, старый. Казалось, толкни деревянную стенку карцера — и стена упадет, рассыплется изолятор, раскатятся бревна. Но изолятор не падал, и семь одиночных карцеров верно служили. Конечно, любое слово, сказанное громко, слышали бы соседи. Но те, кто сидели в карцере, боялись наказания. Дежурный надзиратель ставил на камере мелом крест — и камера лишалась горячей пищи. Ставил два креста — лишалась и хлеба. Это был карцер по лагерным преступлениям; всех, подозреваемых в чем-то более опасном, увозили в управление.

Сейчас впервые внезапно были арестованы все начальники лагерных учреждений из заключенных — все заведующие. Клеилось какое-то крупное дело, готовился какой-то лагерный процесс. По чьей-то команде.

И вот все мы, шестеро, стояли в тесном коридоре изолятора, окруженные конвоирами, чувствуя и понимая только одно: что нас опять зацепили зубья той же машины, что и несколько лет назад, что причину мы узнаем лишь завтра, не раньше.

Всех раздевали до белья и заводили каждого в отдельный карцер. Кладовщик записывал принятые на хранение вещи, заталкивал в мешки, привязывал бирки, писал. Следователь — я знал его фамилию — Песнякевич — управлял «операцией».

Первый был на костылях. Он сел на скамейку возле фонаря, положил костыли на пол и стал раздеваться. Стальной корсет обнажился.

— Снимать?

— Конечно.

Человек стал развязывать веревки корсета, и следователь Песнякевич нагнулся помочь.

— Уличаешь, старый приятель? — по-блатному сказал человек, вкладывая в слово «уличаешь» блатной, не оскорбительный смысл.

— Узнаю, Плева.

Человек в корсете был Плева, заведующий портновской мастерской лагеря. Это было важное место с двадцатью мастерами, работавшими на заказ и на вольный заказ по разрешению начальства.

Голый человек свернулся на скамейке. Стальной корсет лежал на полу — шла запись в протоколе отобранных вещей.

— Как записывать эту штуку? — спросил кладовщик изолятора у Плева, толкая носком сапога корсет.

— Стальной протез — корсет, — ответил голый человек.

Следователь Песнякевич отошел в сторону, и я спросил у Плева.

— Ты правда знал этого легаша по воле?

— А как же, — сказал Плева жестко. — Его мать в Минске бордель держала, а я туда ходил. Еще при Николае Кровавом.

Из глубины коридора вышел Песнякевич и четыре конвоира. Конвоиры взяли Плева за ноги и под руки внесли в карцер. Замок щелкнул.

Следующим был заведующий конбазой Караваев. Бывший буденовец, в гражданскую он потерял руку. Караваев постучал железом протеза о стол дежурного.

— Вы, суки.

— Снимай свое железо. Сдавай руку.

Караваев взмахнул отвязанным протезом, но на конвоармейца навалились конвоиры и втолкнули его в карцер. Донесся витиеватый мат.

— Слушай ты, Ручкин, — заговорил заведующий изолятором, — за шум лишаем горячей пищи.

— Иди ты со своей горячей пищей.

Заведующий изолятором вынул из кармана кусок мела и поставил на карцере Караваева крест.

— Ну, кто же распишется, что сдал руку?

— Да никто не распишется. Поставь какую-нибудь птичку, — скомандовал Песнякевич.

Была очередь врача, доктора нашего Житкова. Глухой старик, он сдал ушной слуховой рожок. Следующим был полковник Панин, заведующий столярной мастерской. У полковника оторвало ногу снарядом где-то в Восточной Пруссии на германской. Столяр он был превосходный и рассказывал мне, что у дворян часто детей обучали какому-нибудь ручному ремеслу. Старик Панин отстегнул протез и ускакал на одной ноге в свой карцер.

Нас оставалось двое — Шор, Гриша Шор, старший бригадир, и я.

— Смотри, как ловко идет, — сказал Гриша, им овладевала нервная веселость ареста, — тот ногу, этот руку, а я вот сдам — глаз. — И Гриша ловко вынул свой правый фарфоровый глаз и показал мне его на ладони.

— Да разве у тебя искусственный глаз? — удивленно сказал я. — Никогда не замечал.

— Плохо замечаешь. Да и глаз хорошо подобрался, удачно.

Пока записывали Гришин глаз, заведующий изолятором развеселился и хихикал неудержимо.

— Тот, значит, руку, тот ногу, тот ухо, тот спину, а этот — глаз. Все части тела соберем. А ты что? — он внимательно оглядел меня голого.

— Ты что сдашь? Душу сдашь?

— Нет, — сказал я. — Душу я не сдам.



КУРСЫ

Раньше всего:

Человек не любит вспоминать плохое. Это свойство людской природы делает жизнь легче. Проверьте себя. Ваша память стремится удержать хорошее, светлое и забыть тяжелое, черное. При тяжелых условиях жизни не завязывается никакая дружба. Память вовсе не безразлично «выдает» все прошлое подряд. Нет, она выбирает такое, с чем радостнее, легче жить. Это — как бы защитная реакция организма. Это свойство человеческой природы по существу есть искажение истины. Но что есть истина?

Из многих лет моей колымской жизни лучшее время — месяцы ученья на фельдшерских курсах при лагерной больнице близ Магадана. Такого же мнения держатся все заключенные, побывавшие хотя месяц-два на 23 километре магаданской «трассы».

Курсанты съезжались со всех концов Колымы — с Севера и с Юга, с Запада и с Юго-запада. Самый южный Юг был много севернее того поселка на побережье, куда они приехали.

Курсанты из дальних управлений старались занять нижние нары — не потому, что наступала весна, а из-за недержания мочи, которое было почти у каждого «черного» заключенного. Темные пятна давних отморожений на щеках были похожи на казенное тавро, на печать, которой их клеймила Колыма. На лицах провинциалов была одна и та же угрюмая улыбка недоверия, затаенной злобы. Все «горняки» чуть прихрамывали — они побывали близ полюса холода, достигали полюса голода. Командировка на фельдшерские курсы была недобрым приключением. Каждому казалось, будто он — мышшь, полумертвая мышшь, которую кошка-судьба выпустила из когтей и собирается поиграть немножко. Ну, что ж — мышши тоже ничего не имеют против такой игры — пусть знает это кошка.

Провинциалы жадно докуривали махорочные сигарки «пижонов» — кидаться, чтоб подобрать окурочек на глазах у всех, они все же не решались, хотя для золотых приисков и оловянных рудников открытая охота за «бычками» была поведением, вполне достойным истинного лагерника. И только видя, что кругом никого нет, провинциал быстро хватал окурочек и совал в карман, расплющив его у себя в кулаке, чтобы потом на досуге свернуть «самостоятельную» папиросу. Многие пижоны, прибывшие недавно из-за моря — с парохода, с этапа, — сохраняли «вольную» рубашку, галстук, кепку.

Женька Кац поминутно доставал из кармана крошечное солдатское зеркалаще и осторожно причесывал свои густые кудри ломаным гребешком. Стриженным наголо провинциалам поведение Каца казалось фатовством, но замечаний ему не делали, «жить не учили» — это запрещено неписанным законом лагерей.

Курсантов разместили в чистеньком бараке «вагонного типа», т. е. с двухэтажными нарами с отдельным местом для каждого. Говорят, что такие нары гигиеничней и притом ласкают глаз начальства — как же, каждому отдельное место. Но вшивые ветераны, прибывшие из дальних мест, знали, что мяса на их костях недостаточно, чтобы согреться в одиночку, а борьба со вшами одинаково трудна и при «вагонных», и при «сплошных» нарах. Провинциалы с грустью вспоминали сплошные нары дальних таежных барачков, вонь и душный уют пересылок.

Кормили курсантов в столовой, где питалась обслуга больницы. Обеды были много «гуще» приисковых. «Горняки» подходили за добавкой — им давали. Подходили второй раз — опять повар спокойно наполнял протянутую в окно миску. На приисках так никогда не бывало. Мысли медленно двигались по опустевшему мозгу, и решение созревало все яснее, все категоричнее — нужно было во что бы то ни стало остаться на этих курсах, стать «студентом», сделать, чтоб и завтрашний день был похож на сегодняшний. Завтрашний день —

это завтрашний день буквально. Никто не думал о фельдшерской работе, о медицинской квалификации. О таком далеком загадывать боялись. Нет, только завтрашний день с такими же щами на обед, с вареной камбалой, с пшенной кашей на ужин, с затихающей болью остеомиелитов, упрятанных в рваные портянки, сунутые в ватные, самодельные бурки.

Курсанты изнемогали от слухов, один другого тревожнее, от «лагерных параш». То говорят, что к экзаменам не будут допущены заключенные старше 30 лет? 40 лет? В бараке будущих курсантов были люди и девятнадцати, и пятидесяти лет. То говорят, что курсы не будут открывать вовсе — раздумали, средств нет, и завтра же курсантов пошлют на общие работы и — самое страшное — *возвратят* на прежнее место жительства, на золотые прииски и оловянные рудники.

И верно, на следующий день курсантов подняли в шесть часов утра; выстроили у вахты и повели километров за десять — равнять дорогу. Лесная работа дорожника, о которой мечтал всякий приисковый заключенный, здесь показалась всем необыкновенно тяжелой, оскорбительной, несправедливой. Курсанты «наработали» так, что на следующий день их уже не посылали.

Был слух, что начальник запретил совместное обучение мужчин и женщин. Что статью пятьдесят восьмую, пункт 10 (антисоветская агитация), доселе признаваемую вполне «бытовой статьей», не будут допускать к экзаменам. *К экзаменам!* Вот главное слово. Ведь должны быть приемные экзамены. Последние приемные экзамены моей жизни были экзамены в университет. Это было очень, очень давно. Я ничего не мог припомнить. Клетки мозга не тренировались целый ряд лет, клетки мозга голодали и утратили навсегда способность поглощения и выдачи знаний. Экзамен! Я спал беспокойным сном. Я не мог найти никакого решения. Экзамен «в объеме семи классов». Это было невероятно. Это вовсе не вязалось и с работой на воле, и с жизнью в заключении. Экзамен!

К счастью, первый экзамен был по русскому языку. Диктант — страницу из Тургенева — прочитал нам местный знаток русской словестности, фельдшер из заключенных Борский. Диктант был удостоен Борским высшей отметки, и я был освобожден от устного зачета по русскому языку. Ровно двадцать лет назад в актовом зале Московского университета писал я письменную работу — приемный экзамен — и был освобожден от сдачи устных испытаний. История повторяется — один раз как трагедия, другой раз как фарс. Назвать фарсом мой случай было нельзя.

Медленно, с ощущением физической боли, перебирал я клетки памяти — что-то важное, интересное должно было мне открыться. Вместе с радостью первого успеха пришла радость припоминания — я давно забыл свою жизнь, забыл университет.

Следующим экзаменом была математика — письменная работа. Я, неожиданно для себя, быстро решил задачу, предложенную на экзамене. Нервная собранность уже сказывалась, остатки сил мобилизовались и чудесным, необъяснимым путем выдали нужное решение. За час до экзамена и через час после экзамена я не решил бы такой задачи.

Во всевозможных учебных заведениях существует обязательный экзаменационный предмет «Конституция СССР». Однако, учитывая «контингенты», начальники из КВО Управления лагеря вовсе сняли сей скользкий предмет к общему удовольствию.

Третьим предметом была химия. Экзамен принимал бывший кандидат химических наук, бывший научный сотрудник Украинской Академии Наук А. И. Бойченко — нынешний заведующий больничной лабораторией, самолюбивый остряк и педант. Но дело было не в человеческих качествах Бойченко. Химия для меня была предметом непосильным по-особому. Химию проходят в средней школе. Моя средняя школа приходится на годы гражданской войны. Случилось так, что школьный преподаватель химии Соколов, бывший офицер,

был расстрелян во время ликвидации заговора Нуланса в Вологде, и я навек остался без химии. Я не знал — из чего состоит воздух, а формулу воды помнил лишь по старинной студенческой песне:

Сапоги мои «тово»,
Пропускают H_2O .

Последние годы показали, что жить можно и без химии, и я стал забывать о всей этой истории, как вдруг на сороковом году моей жизни оказалось, что требуются знания химии — и именно по программе средней школы.

Как я, написавший в анкете — образование законченное среднее, незаконченное высшее, объясню Бойченко, что вот только химии я не изучал?

Я ни к кому не обращался за помощью — ни к товарищам, ни к начальству, жизнь моя тюремная и лагерная приучила полагаться только на себя. Началась «химия». Я помню весь этот экзамен и по сей день.

— Что такое окислы и кислоты?

Я начал объяснять что-то путаное и неверное. Я могу ему рассказать о бегстве Ломоносова в Москву, о расстреле откупщина Лавуазье, но окислы...

— Скажите мне формулу извести.

— Не знаю.

— А формулу соды?

— Не знаю.

— Зачем же вы пришли на экзамен? Я ведь записываю вопросы и ответы в протокол.

Я молчал. Но Бойченко был немолод, он понимал кое-что. Недовольно он взгляделся в список моих предыдущих отметок: две пятерки. Он пожал плечами.

— Напишите знак кислорода.

Я написал букву «Н» большое.

— Что вы знаете о периодической системе элементов Менделеева?

Я рассказал. В рассказе моем было мало «химическо-

го» и много Менделеева. О Менделееве я кое-что знал. Как же — ведь он был отцом жены Блока!

— Идите, — сказал Бойченко.

Назавтра я узнал, что получил тройку по химии и зачислен, зачислен на фельдшерские курсы при Центральной больнице Управления северовосточных лагерей НКВД.

Я ничего не делал два следующих дня: лежал на койке, дышал барачной вонью и смотрел в прокопченный потолок. Начинался очень важный, необычайно важный период моей жизни. Я ощущал это всем своим существом. Я вступал на дорогу, которая могла спасти меня. Нужно было готовиться не к смерти, а к жизни. И я не знал, что труднее.

Нам выдали бумагу — огромные листы, обгорелые с краев, — след прошлогоднего пожара от взрыва, уничтожившего весь городок Находку. Из этой бумаги мы сшили тетради. Нам выдали карандаши и перья.

Шестнадцать мужчин и восемь женщин! Женщины сидели в левой части класса поближе к свету, мужчины — справа, где потемнее. Коридор в метр шириной разделял класс. У нас были новенькие узкие столы с нижней полочкой. Я и в средней школе учился на таких точно столах.

Позднее мне случилось попасть в рыбацкий поселок Олу — около ольской эвенской школы стояла нарта, и я долго разглядывал загадочную конструкцию, пока наконец не сообразил, что это такое — нарта Эрисмана.

Учебников у нас не было никаких, а из наглядных пособий — несколько плакатов по анатомии.

Научиться было геройством, а научить — подвигом.

*

Сначала о героях. Никто из нас — ни женщины, ни мужчины — не думал стать фельдшером для того, чтобы пожить в лагере без забот, поскорей превратиться в «лепилу».

Для некоторых — и меня в том числе — курсы были спасением жизни. И хотя мне было под сорок лет, я «выкладывался» полностью и занимался на пределе сил и физических, и душевных. Кроме того, я рассчитывал кое-кому помочь, а кое с кем свести счеты — десятилетней давности. Я надеялся снова стать человеком.

Для других курсы давали профессию на всю жизнь, расширяли кругозор, имели немалое общеобразовательное значение, сулили твердое общественное положение в лагере.

За первым столом на первом месте от прохода сидел Мин Гарипович Шабаев — татарский писатель, Мин Шабай, осужденный по статье «аса», жертва тридцать седьмого года.

Русским языком Шабаев владел хорошо, записывал лекции по-русски, хотя, как я выяснил через много лет, писал он прозу на татарском языке. В лагере многие скрывают свое прошлое. Это объяснимо и логично не только для бывших следователей и прокуроров. Писатель, как интеллигент, как человек умственного труда, «очкарик», в местах заключения всегда вызывает ненависть и у товарищей, и у начальства. Шабаев понял это давно, выдавая себя за торгового работника, и в разговоры о литературе не вмешивался — так было лучше всего, спокойней всего, по его мнению. Он всем улыбался и вечно что-то жевал. Одним из первых курсантов он начал приобретать отечный вид — «опухать»: приисковские годы не прошли даром для Мина Гариповича. От курсов он был в полном восхищении.

— Понимаешь, мне сорок лет, и я впервые узнал, что печень-то у человека одна. Я думал — две, всего ведь по два.

Наличие у человека селезенки приводило Мина Гариповича в полный восторг.

После освобождения Мин Гарипович не стал работать фельдшером, а вернулся на милую его сердцу снабженческую работу. Стать агентом снабжения — перспекти-

ва еще более ослепляющая, чем медицинская карьера.

Рядом с Шабаетым сидел Бокис — огромных размеров латыш, будущий чемпион Колымы по пинг-понгу. В больнице он «приземлился» уже не один год, сначала как больной, потом как санитар из больных. Врачи обещали и устроили Бокису «диплом». Уже с фельдшерским дипломом Бокис выехал в тайгу, увидел золотые прииски. Тайга была для него страшным призраком, но баялся он в ней не того, чего нужно бояться, — растреления собственной души. Равнодушие — это еще не подлость.

Третьим сидел Бука — одноглазый солдат второй мировой войны, осужденный за мародерство. Прииск в три месяца выбросил Буку обратно — на больничную койку. Семилетнее образование Буки, покладистый характер, украинская хитреца — все это сложилось вместе, и Бука был принят на курсы. Одним глазом Бука увидел на прииске не меньше, чем многие видят двумя; самое главное увидел — что свою судьбу нужно строить в стороне от пятьдесят восьмой статьи и множества ее разновидностей. На курсах не было человека скрытнее Буки.

Месяца через два Бука заменил черную повязку искусственным глазом. Только в больничном наборе не оказалось карих глаз и пришлось взять голубой. Впечатление было сильное, но скоро все привыкли — раньше, чем сам Бука, — к разноцветным букиным глазам. Я пытался утешить Буку рассказом о глазах Александра Македонского, Бука вежливо меня выслушал — глаза Александра Македонского были чем-то вроде «политики» — Бука промышчал нечто неопределенное и отошел в сторону.

Четвертым, в углу у стены, сидел Лабутов, как и Бука — солдат мировой войны. Радист, человек бойкий, самолюбивый, он изготовил миниатюрный приемник, которым слушал фашистское радио. Рассказал товарищу, был изобличен. Трибунал дал ему десять лет по «аса». Лабутов имел десятилетнее образование, лю-

бил вычерчивать всяческие схемы наподобие штабных карт огромного размера, со стрелками, знаками, с названием занятия, скажем, по анатомии — «Операция», «Сердце». Колымы он не знал. В тот весенний день, когда нас «выгнали на работу», Лабутов вздумал выкупаться в ближайшей канаве, и мы с трудом удержали его. Фельдшер вышел из него хороший, особенно позднее, когда он постиг тайны физиотерапии, что для него как электрика и радиста было нетрудно, и укрепился на постоянную работу в кабинет электролечения.

Во втором ряду сидели Черников, Кац и Малинский. Черников был самодовольный, вечно улыбающийся мальчик — тоже фронтовик, осужденный по какой-то уголовной статье. Он и не нюхал Колымы — на курсы поступил из Маглага, из Городского лагерного отделения. Грамотный достаточно, чтобы учиться, он справедливо полагал, что с курсов его не выгонят, если будут и «нарушения», быстро сошелся с одной из курсанток.

Женька Кац, приятель Черникова, был бойкий бытовичок, чрезвычайно дорожающий своими пышными кудрями. Как староста курсов был незлобив и не имел никакого авторитета. Уже после окончания курсов, работая на амбулаторном приеме, услышав от врача, осматривающего больного: «Марганцу!», Женька положил на рану не марлю, смоченную слабым раствором «калиум гиперманганикум», засыпал рану темно-фиолетовыми кристалликами марганца. Больной, прекрасно знавший, как лечат ожоги, не отвел руки, не запротестовал, не моргнул глазом. Это был старый колымчанин. Небрежность Женьки Каца освободила его от работы чуть не на месяц. На Колыме удача бывает редко. Ее надо хватать крепко и держать, пока есть силы.

Малинский был моложе всех в классе. Ему было девятнадцать лет; призывник последнего года войны, воспитанный в военное время с моралью нетвердой, Костя Малинский был осужден за мародерство. Случай

привел его в больницу, где одним из врачей работал его дядя — московский терапевт. Дядя помог ему устроиться на курсы. Курсы Костю интересовали мало. Порочная его природа, а, может быть, просто молодость постоянно толкала его на разные лагерные авантюры: получение масла по поддельному талону, продажа обуви, поездка в Магадан. У него вечно были объяснения по этой части (только ли по этой части?) у «уполномоченных». Кто-то ведь должен был быть осведомителем.

Курсы дали Косте профессию. Через несколько лет я встретился с ним в поселке Ола. Костя выдавал там себя за фельдшера, окончившего двухлетние курсы военного времени, и я невольно мог быть причиной разоблачения лжи.

В 1957 году я ехал с Костей в одном автобусе в Москве — велюровая шляпа, мягкое пальто.

— Что ты делаешь?

— По медицине, по медицине пошел, — кричал мне Костя на прощанье.

Остальные курсанты были люди из горных управлений, люди другой судьбы.

Орлов был «литёрка», осужденный «по литерной» статье, т. е. «тройками» или Особым совещанием.

Московский механик Орлов «доплывал» на приисках трижды. Как шлак колымская машина выбросила его в местную больницу, и оттуда он попал на курсы. Ставкой была жизнь. Орлов ничего не знал, кроме занятий, как ни бесконечно трудно давалась ему медицина. Постепенно он втянулся в занятия, поверил в свое будущее.

Учитель средней школы, географ Суховенченко был старше Орлова — ему было за сорок лет. В заключении он был около восьми лет из десяти — оставалось уже немного. Притом Суховенченко был из тех, кто уцелел, укрепился — он уже имел спокойную работу и мог выжить. Он отбыл стаж «доходяги» и остался в живых. Он работал геологом, коллектором, помощником на-

чальника партии. Но все это благо могло внезапно исчезнуть, как дым, — достаточно было сменить начальника, у Суховенченко ведь не было диплома. А память о приисковых годах была слишком свежа. Возможность получить путевку на курсы была. Курсы предполагались восьмимесячные — до окончания «срока» осталось бы совсем немного. Была бы приобретена хорошая лагерная профессия. Суховенченко бросил геологическую партию и получил фельдшерское образование. Но медика из него не вышло — то ли года были не те, то ли качества души иные. Окончив курсы, Суховенченко почувствовал, что не может лечить, не имеет силы воли для решения. Перед ним были живые люди, а не камни для коллекций. Поработав немного фельдшером, Суховенченко вернулся к профессии геолога. Стало быть, он был из тех, кого зря учили. Порядочность, доброта его были вне всякого сомнения. «Политики» он боялся, как огня, но доносить не пошел бы.

У Силайкина не было семи классов, человек он был уже пожилой, учиться было очень трудно. Если Кундуш, Орлов, я с каждым днем чувствовали себя все увереннее, Силайкину было все труднее. Но он продолжал учиться, рассчитывая на свою память, память у него превосходная, на свое умение ловчить и не только ловчить, но и понимать людей. По наблюдениям Силайкина, преступников вовсе нет, кроме блатарей. Все прочие заключенные вели себя на воле так, как все другие — столько же воровали у государства, столько же ошибались, столько же нарушали закон, как и те, кто не был осужден по статьям Уголовного кодекса и продолжал заниматься каждый своей работой. Тридцать седьмой год подчеркнул это с особой силой — уничтожив всякую простую гарантию у русских людей. Тюремь стало никак не обойти, никому не обойти.

Преступники на воле и в лагере только одни — блатари. Силайкин был умен, он был великий сердцеведец

и, осужденный за мошенничество, был по-своему порядочным человеком. Есть порядочность от чувства, от сердца. И есть порядочность от ума. Не честных убеждений, а «честных привычек» не хватало Силайкину. Он был правдив, потому что понимал, что сейчас это выгодно. Он не сделал ни одного поступка против правил потому, что понимал, что этого делать нельзя. В людей он не верил и личную корысть считал главным двигателем общественного прогресса. Он был остроумен. На занятии по общей хирургии, когда опытнейший преподаватель Меерзон никак не мог втолковать курсантам «супинацию» и «пропацию», Силайкин встал, попросил слова и протянул руку с ладонью лодочкой вверх — «супу дай» и повернул ладонь — «пронесли мимо». Все, в том числе и Меерзон, запомнили, вероятно, на всю жизнь мрачную мнемонику Силайкина и оценили его колымское остроумие. Выпускные экзамены Силайкин сдал вполне благополучно и работал фельдшером — на прииске. Работал, вероятно, хорошо, потому что был умен и «понимал жизнь». «Понимать жизнь» — это, по его мнению, было главным.

Столь же грамотным был его сосед по столу Логвинов, Илюша Логвинов. Логвинов, осужденный за разбой, не будучи блатарем, все больше и больше попадал под влияние уголовного рецидива. Он видел ясно силу блатарей в лагере — силу и нравственную и материальную. Начальство заискивало перед блатарями, боялось блатарей. Блатарям в лагере был «родной дом». Они почти не работали, пользовались всяческими привилегиями и, хоть у них за спиной тайком составлялись этапные списки и время от времени приезжал «черный ворон» с конвоем и забирал особо разгулявшихся блатарей, но такова была жизнь — и на новом месте блатарям не было хуже. В штрафных зонах они были тоже хозяевами.

Логвинов, сам из трудовой семьи, совершивший преступление во время войны, видел, что его ждет одна дорога. Начальник лагеря, читавший «дело» Логвинова,

уговорил его поступить на курсы. Экзамен был кое-как сдан, началась учеба страстная, безнадежная. Предметы медицины были слишком сложной материей для Илюши. Но он нашел в себе душевные силы не отступить, окончил курсы и работал ряд лет старшим фельдшером большого терапевтического отделения. Он освободился, женился, завел семью. Курсы открыли ему дорогу в жизнь.

Шла вводная лекция по общей хирургии. Преподаватель перечислил имена людей, стоявших на вершинах мировой медицины.

«. . . и в наше время один ученый сделал открытие — переворот в хирургии, в медицине вообще . . .

Мой сосед нагнулся вперед и выговорил:

— Флеминг.

— Кто это сказал? Встаньте!

— Я.

— Фамилия?

— Кундуш.

— Садитесь.

Я ощутил чувство резкой обиды. Я-то вовсе не знал, кто такой Флеминг. Я просидел в тюрьме и лагере почти десять лет с тридцать седьмого года без газет и без книг и ничего не знал, кроме того, что была и кончилась война, что есть какой-то пенициллин, что есть какой-то стрептоцид. Флеминг!

— Кто ты такой? — спросил я Кундуша впервые. Ведь мы вдвоем приехали из Западного Управления по разверстке, обоим нао направил на курсы наш общий спаситель врач Андрей Максимович Пантюхов. Мы вместе голодали, он — меньше, я — больше, но оба мы знали, что такое прииск. О друг друге мы не знали ничего.

И Кундуш рассказал удивительную историю.

В 1941 году он был назначен начальником укрепленного района острова Диксон. Строители не спеша возводили доты и дзоты, пока июльским утром не рассеялся в бухте туман, и гарнизон о. Диксона увидел на рейде

прямо перед собой немецкий линкор «Адмирал Шеер». Рейдер подошел поближе и в упор расстрелял все незаконченные укрепления, превратил все в пепел и груды камней. Кундуш получил десять лет. История была интересна и поучительна, в ней была только одна неясность — статья Кундуша: «аса». Такую статью не могли дать за «халатность», обнаруженную «Адмиралом Шеером». Когда мы сошлись побольше, я узнал, что Кундуш был осужден по пресловутому «делу НКВД» — одному из массовых открытых или закрытых «процессов» времени Лаврентия Берия: «ленинградское дело», «дело НКВД», «Рыковский процесс», «Бухаринский процесс», «Кировское дело» — все это и были «этапы большого пути». Кундуш был горячим, порывистым человеком, не всегда умевшим сдержать вспыльчивость и в лагере. Был человеком безусловно порядочным, особенно после того, как воочию увидел «практику» мест заключения. Его собственная работа в недалеком прошлом — зав. отделом у Заковского в Ленинграде — предстала перед ним в истинном, подлинном виде. Не потерявший интереса к книге, к знанию, к новости, умеющий ценить шутку Кундуш был одним из самых привлекательных курсантов. Фельдшером он проработал несколько лет, но после освобождения перешел на работу снабженца, стал стивидором в Магаданском порту, пока не был реабилитирован и вернулся в Ленинград.

Любитель книг, особенно примечаний и комментариев, никогда не пропускающий напечатанного мелким шрифтом, Кундуш обладал широкими, но разбросанными знаниями, с удовольствием беседовал на всякие отвлеченные темы и по всем вопросам имел какой-то свой взгляд. Вся его натура протестовала против лагерного режима, против насилия. Личное свое мужество он доказал позднее в смелой поездке на свидание к заключенной девушке-испанке, дочери кого-то из членов Мадридского правительства.

Кундуш был рыхлого сложения. Все мы, конечно,

ели кошек, собак, белок и ворон и, конечно, конскую падаль — если могли достать. Но, став фельдшерами, мы этого не делали. Кундуш, работая в нервном отделении, сварил в стерилизаторе кошку и съел ее один. Скандал едва удалось потушить. С господином Голодом Кундуш встречался на прииске и хорошо запомнил его лицо.

Все ли рассказывал Кундуш о себе? Кто знает? Да и зачем это знать? «Не веришь — прими за сказку». В лагере не спрашивают ни о прошлом, ни о будущем.

Слева от меня сидел Баратели, грузин, осужденный за какое-то служебное преступление. Русским языком он владел плохо. На курсах он нашел «земляка» — преподавателя фармакологии, нашел поддержку и материальную и моральную. Прийти поздно вечером в «кабинку» при больничном отделении, где сухо и тепло, как в летнем хвойном лесу, напиться чаю с сахаром или поест не спеша перловой каши с крупными брызгами подсолнечного масла, чувствовать ноющую расслабляющую радость всех оживающих мускулов — разве это не предел чудес для человека с прииска? А Баратели был на прииске.

Кундуш, я и Баратели сидели за четвертым столом. Третий стол был короче других — там был выступ печки-голландки, и сидели за этим столом двое — Сергеев и Петрашкевич. Сергеев был «бытовичок», бывший в заключении агентом снабжения, — фельдшерская школа ему была не очень нужна. Занимался он необрежно. На первых практических занятиях по анатомии в морге — чего-чего, а трупов в распоряжении курсантов было сколько угодно — Сергеев упал в обморок и был отчислен.

Петрашкевич не упал бы в обморок. Он был с прииска, да притом «литёрник» по «казровской» статье. Литера эта была нередкой в тридцать седьмом году: «осужден как член семьи» и больше ничего. Так получали «срока» дети, отцы, матери, сестры и прочие родственники осужденных. Дед Петрашевича (не отец, а

дед!) был видным украинским националистом. По этим соображениям в 1937 году был расстрелян отец Петрашевича — украинский учитель. Сам Петрашевич, школьник шестнадцати лет, получил «десять рокив» «как член семьи».

Я неоднократно замечал, что заключение, особенно северное, как бы консервирует людей — их духовный рост, их способности замирают на уровне времени ареста. Этот некробоз длится до освобождения. Человек, просидевший в тюрьме или лагере двадцать лет, не приобретает опыта обычной жизни — школьник остается школьником, мудрый — только мудрым, но не мудрейшим.

Петрашкевичу было двадцать четыре года. Он бегал по классу, кричал, привешивал за спину Шабаева или Силайкина какие-то бумажки, пускал голубей, смеялся. Отвечал преподавателям с полной школьной выкладкой. Но был он парень неплохой, фельдшером стал хорошим. «Политики» чурался, как огня, и боялся читать газеты.

Организм мальчика был недостаточно силен для Колымы. Петрашкевич умер от туберкулеза через несколько лет, не успев выбраться на «большую землю».

Женщин было восемь. Старостой была Муза Дмитриева, в прошлом какой-то партийный или скорее профсоюзной работник — это занятие кладет неизгладимое клеймо на все повадки, манеры и интересы. Было ей лет сорок пять, и «доверие начальства» она старалась оправдать. Ходила она в какой-то бархатной кацавейке и хорошем шерстяном платье. Во время войны американских шерстяных вещей было пожертвовано огромное количество колымчанам. Конечно, в глубину тайги, до приисков эти подарки не доходили, да и на побережье их постаралось расхватать местное начальство — выпрашивая или просто отбирая у заключенных эти свитеры и фуфайки. Но кое у кого из магаданских жителей остались эти «тряпки». И Муза их сохранила.

В курсовые дела она не мешалась, ограничивая свою «власть» лишь женской группой. Дружбу Муза водила с самой молоденькой курсанткой — Надей Егоровой, оберегая Надю от соблазнов лагерного мира. Надя этой опекой тяготилась не очень, и Муза не могла препятствовать бурному развитию романа Нади с лагерным поваром.

— Путь к сердцу женщины лежит через желудок, — Силайкин с удовольствием повторял эти слова. Перед Надей и ее соседкой Музой появлялись диетические блюда — всякие тефтели, рамштексы, блинчики. Порция была двойная и даже тройная. Штурм был недолгим, Надя сдалась. Благодарная Муза продолжала охранять Надю — уже не от повара, а от лагерного начальства.

Занималась Надя плохо. Зато она отводила душу в «культбригаде». Культбригада, клуб, «художественная самодеятельность» — единственное место в лагере, где мужчинам и женщинам разрешено встречаться. И хотя недремлющее око лагерного надзора следит, чтоб отношения мужчин и женщин не перешагнули границу дозволенного, — а по местному обычаю доказать адюльтер надо столь же веско, как это делал полицейский комиссар в «Милом друге» Мопассана. Надзиратели наблюдают, ловят. Терпения не всегда хватает, ибо — по Стендалю — узник больше думает о своей решетке, чем тюремщик о своих ключах. Надзор ослабевает.

Если в культбригаде и нельзя рассчитывать на любовь в ее самом древнем и вечном варианте, то все равно: репетиции кажутся заключенному другим миром, более похожим на тот, в котором он жил когда-то. Это — немаловажное соображение, хотя лагерный цинизм и не позволяет признаться в таких чувствах. Вполне реальный выигрыш в мелких преимуществах, которые получает культработник, — внезапная выписка махорки, сахара. Разрешение не стричь волос —

не последнее дело в лагере. Из-за стрижки волос возникали целые побоища, скандалы, в которых участвовали вовсе не актеры, и не воры...

Пятидесятилетний Яков Заводник, бывший комиссар Колчаковского фронта (однокашник Зеленского, расстрелянного по Рыковскому процессу секретаря МК), отбивался кочергой от лагерных парикмахеров и попал из-за волос на штрафной прииск. Что это такое? Разве Самсонова сила — не легенда? В чем причина сего аффекта? Ясно, что психика повреждена желанием утвердить себя хоть в малом, в ничтожном — еще одно свидетельство великого смещения масштабов.

Уродливость тюремной жизни — отдельная жизнь мужчин и женщин — в культбригаде как-то сглаживается. В конечном счете это — тоже обман, но все же он дороже «низких истин». Все, кто может пиццать и петь, все, кто читал дома стихи и играл в домашних спектаклях, кто брэнчал на мандолине и плясал «четку», — все «имеют шанс» попасть в культбригаду.

Надя Егорова пела в хоре. Танцевать она не умела, двигалась по сцене неуклюже, но ходила «на репетиции». Бурная личная жизнь отнимала у нее много времени.

Елена Сергеевна Мелодзе, грузинка, была тоже «членом семьи» своего расстрелянного мужа. Взволнованная до глубины души его арестом Мелодзе наивно думала, что ее муж в чем-то виноват, — она успокоилась, когда попала в тюрьму сама. Все стало ясным, логичным, простым — таких, как она, оказались десятки тысяч.

Разница между подлецом и честным человеком заключается вот в чем: когда подлец попадает невинно в тюрьму, он считает, что только он не виноват, а все остальные — враги государства и народа, преступники и негодяи. Честный человек, попав в тюрьму, считает, что раз его могли невинно упечь за решетку, то и с его соседями по нарам могло случиться то же.

Здесь — «Гегель и книжная мудрость,
И смысл философии всей» —
событий 1937 года.

К Мелодзе вернулось душевное спокойствие, ровное, веселое настроение. На Эльгене, женской таежной «командировке», Мелодзе на тяжелые работы не попала. И вот она — на фельдшерских курсах. Медички из нее не вышло. После освобождения (срок ее наказания кончился в начале пятидесяти годов) ее «прикрепили», как и всех, кто освобождался тогда, на колымское местожительство пожизненно. Она вышла замуж.

Рядом с Мелодзе сидела жизнерадостная смешливая Галочка Базарова, молодая девушка, осужденная за какие-то проступки во время войны. Галочка всегда смеялась, даже хохотала, что ей вовсе не шло, — у нее были редкие огромные зубы. Но это ее не смущало. Курсы дали ей профессию операционной сестры — целый ряд лет после освобождения она проработала в Магаданской больнице, где на первые заработки надела на зубы коронки из нержавеющей стали и сразу похорошела.

За Базаровой сидела Айно — белозубая финка. Срок ее начался военной зимой 1939-40 года. Русскому языку она научилась в заключении и, будучи девушкой работающей, по-фински аккуратной, она обратила на себя внимание кого-то из врачей и попала на курсы. Учиться ей было трудно, но она училась и выучилась на сестру... Жизнь на курсах ей нравилась.

Рядом с Айно сидела маленькая женщина. Ни фамилии, ни лица ее я вспомнить не могу. Или это была какая-нибудь разведчица или действительно тень человека.

На следующей скамейке сидела Маруся Дмитриева, приятельница Черникова, со своей подругой Тамарой Никифоровой. Обе осуждены по «бытовым» статьям, обе не бывали в тайге, обе учились охотно.

Рядом с ними сидела черноглазая Валя Цуканова, кубанская казачка — больная из больницы. На первые занятия она ходила еще в больничном халате. Она бывала в тайге и училась весьма успешно. Следы голода и болезни нескоро сошли с ее лица, но когда сошли, оказалось, что Валя — красавица. Когда она окрепла, начала «крутить любовь», не дождавшись окончания курсов. Многие за ней ухаживали, но безуспешно. Сошлась она с кузнецом и на свидания бегала в кузню. После освобождения работала ряд лет фельдшером на отдельном участке.

*

Нам хотелось учиться, а нашим преподавателям хотелось учить. Они соскучались по живому слову, по передаче знаний, которая до ареста составляла смысл их жизни. Профессора и доценты, кандидаты медицинских наук, лекторы курсов усовершенствования врачей, они впервые за многие годы получили выход своей энергии. Преподавателями курсов были все, кроме одного, — пятьдесят восьмой статьи.

Начальство внезапно сообразило, что познание тайн воротного кровообращения не обязательно связано с антисоветской пропагандой, и курсы были обеспечены высококвалифицированными преподавателями. Правда, слушателями должны были быть «бытовики». Но где найти столько бытовиков с семилетним образованием? Бытовики и так отбывали срок на привилегированных должностях и не нуждались ни в каких курсах. О том, чтобы привлечь на курсы «пятьдесят восьмую», высокое начальство и слышать не хотело. В конце концов был найден компромисс: «аса» и пункт десятый пятьдесят восьмой статьи — как нечто почти бытовое — были допущены к испытаниям.

Было составлено и вывешено на стене расписание. Расписание! Все, как в настоящей жизни. Машина, похожая на тяжело нагруженный, кое-как собранный ста-

ренький таежный грузовик, неуверенно двинулась по ухабам и болотам Колымы.

Первой лекцией была анатомия. Читал сей предмет больничный патологоанатом Давид Уманский, семидесятилетний старик.

Эмигрант царского времени, Уманский получил диплом доктора медицины в Брюсселе. Жил и работал в Одессе, где врачебная практика была удачной — за несколько лет Уманский стал собственником многих домов. Революция показала, что дома — не самый надежный вид вклада. Уманский вернулся к врачебной деятельности. К половине тридцатых годов он, чувствуя тогдашние ветры, решил забраться подальше и нанялся на работу в Дальстрой. Это его не спасло. Он «прошел по разверсткам» Дальстрой, в 1938 году был арестован и осужден на 15 лет. С того времени он работал заведующим моргом больницы. Хорошо работать ему мешало презрение к людям, обида на свою жизнь. У него хватало ума не ссориться с лечащими врачами — на вскрытиях он мог бы доставить им много неприятностей, — а, может быть, это был не ум, а презрение, и он уступал в спорах на «секции» из простого чувства презрения.

Ум у доктора Уманского был ясный. Он был неплохим лингвистом — это было его хобби, любимое дело. Он знал много языков, изучил в лагере восточные и пытался вывести законы формирования языков, тратя на это все свободное время у себя в морге, где он жил вместе с ассистентом-фельдшером Дунаевым. Попутно, легко и как бы шутя, прочел Уманский и курс латинского языка для будущих фельдшеров. Уж что это был за латинский язык, не знаю, но родительный падеж в рецептурных записях стал даваться мне легко.

Доктор Уманский был человеком живым, откликавшимся на любое политическое событие и имеющим свое продуманное мнение по любому вопросу международной или внутренней жизни. «Самое главное, дорогие друзья, — говорил он на своих частных беседах, —

выжить и пережить Сталина. Смерть Сталина — вот что принесет нам свободу». Увы, Уманский умер в Магадане в 1952 году, не дождавшись того, чего ждал столько лет.

Читал он неплохо, но как-то нехотя. Это был самый равнодушный из всех преподавателей. Время от времени устраивались опросы, повторения, анатомия общая сменялась анатомией частной. Лишь один раздел своей науки Уманский категорически отказался читать: анатомию половых органов. Ничто не могло его убедить, и курсанты закончили обучение, так и не получив знаний по этому разделу из-за чрезмерной стыдливости брюссельского профессора. Какие причины были у Уманского? Ему казалось, что и нравственный, и культурный, и образовательный уровень курсантов недостаточно высок, чтоб подобные темы не вызывали нездорового интереса. Этот нездоровый интерес вызывался и в гимназиях — анатомическим атласом, например, и Уманский это помнил. Он был неправ — «провинциалы», например, конечно, отнеслись бы к вопросу со всей серьезностью.

Человеком он был порядочным и раньше многих преподавателей увидел в курсантах — людей. Доктор Уманский был убежденным вейсманистом. Рассказывая нам о делении хромосом, он вскользь сообщил, что сейчас, кажется, есть другая теория деления хромосом, но он просто эту новую теорию не знает и решается нам излагать только хорошо известное. Так мы и воспитались вейсманистами. Полное торжество вейсманистов при изобретении электронного микроскопа не застало доктора Уманского в живых. Это торжество доставило бы старому доктору радость.

Названия костей, названия мышц зубрили мы наизусть, разумеется, русское, а не латинское название. Мы зубрили вдохновенно, увлеченно. В зубрежке всегда есть какое-то демократическое начало: мы были все равны перед наукой — анатомией. Никто не старался

ничего понять. Старались просто запомнить. Лучше всех шло дело у Базаровой и Петрашкевича — вчерашних школьников (если исключить время заключения, которое у Петрашкевича подходило к восьми годам).

Тщательно зубря урок, я вспомнил общежитие I-го Московского университета в 1926 году — Черкаску, где ночью по темным коридорам ходили пьяные от занятий медики и зубрили, зубрили, заткнув уши пальцами. Общежитие грохотало, смеялось, жило. Жизнерадостные фоновцы, литературоведы, историки смеялись над бедными зубрилами от медицины. Мы презирали науку, где надо не понимать, а зубрить.

Через двадцать лет я зубрил анатомию. За эти двадцать лет я хорошо понял, что такое специальность, что такое точные науки, что такое медицина, что такое инженерное дело. И вот — привел бог случай заняться этим самому.

Мозг еще был способен и брать, и отдавать знания.

Доктор Благоразумов читал «Основы санитарии и гигиены». Предмет был скучен, оживить лекции островами Благоразумов не решался, а, может быть, не умел по соображениям политического благоразумия — он помнил тридцать восьмой год, когда всех специалистов, всех врачей, инженеров, бухгалтеров заставляли работать с тачкой и кайлом, согласно «спецуказаний», присланных из Москвы. Благоразумов два года возил тачку, трижды «доходил» от голода, холода, цинги и побоев. На третий год ему разрешили врачевать в качестве фельдшера на медпункте при враче-«бытовике». Много врачей умерло в том году. Благоразумов остался живой и твердо запомнил: никаких бесед, ни с кем. Дружба только вокруг «выпить-закусить». В больнице его любили. Докторские запои скрывались фельдшерами, а когда скрыть было нельзя — Благоразумова таскали в карцер, в кондей. Он выходил из карцера и продолжал чтение лекций. Это никому не казалось странным.

Читал он старательно, заставляя записывать важное под диктовку, проверяя систематически записи и усвоение — словом, Благоразумов был преподавателем добросовестным и благоразумным.

*

Фармакологию читал больничный фельдшер Гогоберидзе, бывший директор Закавказского фармакологического института. Русским языком он владел хорошо, и грузинского акцента и речи его было не больше, чем у Сталина. В прошлом Гогоберидзе был видным партийцем — его подпись есть на сапроновской «Платформе 15». Время с 1928 года по 1937-й он провел в ссылке, а в 1937 году ему был объявлен новый приговор — пятнадцатилетний срок колымских лагерей. Гогоберидзе было под шестьдесят лет. Гипертония мучила его. Он знал, что скоро умрет, но не боялся смерти. Он ненавидел мерзавцев и, избоблив своего доктора по фамилии Кроль в отделении, где он работал, во взятках и поборках с заключенных, Гогоберидзе избил врача и заставил того отдать обратно чьи-то хромовые сапоги и «шкоты» в полоску. С Колымы Гогоберидзе не уехал. Он был освобожден с пожизненной ссылкой в Нарым, но испросил разрешения заменить Нарым на Колыму. Он жил в поселке Ягодный и там умер в начале пятидесятых годов.

Единственным «бытовиком» среди наших преподавателей был доктор Кроль — харьковский специалист по кожным и венерическим болезням. Все наши учителя пытались воспитать в нас нравственную порядочность и рисовали в лирических отступлениях от лекций тот идеал моральной чистоты, воспитать силу ответственности за великое дело помощи больному, да еще больному заключенному, да еще заключенному на Колыме — повторяя, кто как сумел, то самое, что было внушено в их молодости институтами, факультетами медицины, врачебной присягой. Все, кроме Кроля. Кроль чертил

нам другие перспективы, подходил к нашей будущей работе с другой, лучше ему известной стороны. Он не уставал рисовать нам картины материального благоденствия фельдшеров. «Заработаете на масло», — хихикал Кроль и плотноядно улыбался. У Кроля были вечные дела с ворами — они приходили даже в перерыв между лекциями. Что-то он продавал, покупал, менял, мало стесняясь своих студентов. Лечение импотенции начальствующих лиц давало большой доход Кролю, охраняло его во время заключения. Кроль брался за какие-то таинственные знахарские операции в этом направлении — судить его было некому, связи у него были большие.

Две плюхи, которые он получил от фельдшера Гогоберидзе, не вывели Кроля из себя.

— Погорячился, брат, погорячился, — говорил он позеленевшему от злобы Гогоберидзе.

Кроль пользовался общим презрением и товарищей-преподавателей, и курсантов. К тому же преподавал он путано, не обладая талантом учить. Кожные болезни — тот раздел, который после курсов пришлось мне перечитать внимательно с карандашом и бумагой.

Ольга Степановна Семеняк, бывший доцент кафедры диагностической терапии Харьковского медицинского института, не читала лекций на наших курсах. Но мы проходили у нее практику. Она научила меня выстукивать, выслушивать больного. К концу практики она подарила мне старенький стетоскоп — это одна из немногих моих колымских реликвий. Ольге Степановне было около пятидесяти лет, ее десятилетний срок еще не кончился. Осуждена она была за контрреволюционную агитацию. На Украине оставались ее муж и двое детей — все погибли во время войны. Война кончилась, кончился и срок заключения Ольги Степановны, но ей было некуда ехать. Она осталась в Магадане после освобождения.

На женском участке Эльген Ольга Степановна провела несколько лет. Она нашла в себе силы справиться

со своим великим горем. Ольга Степановна была человеком наблюдательным и видела, что в лагере только одна группа людей сохраняет в себе человеческий образ — религиозники: церковники и сектанты. Личное несчастье заставило Семеняк сблизиться с сектантами. В своей «кабинке» она дважды в день молилась, читала Евангелие, старалась делать добрые дела. Добрые дела было делать ей нетрудно. Никто не может сделать больше добрых дел, как лагерный врач, но мешал характер — упрямый, вспыльчивый, заносчивый. На совершенствование в этом направлении Семеняк не обращала внимания.

Заведующей она была строгой, педантичной и персонал держала в ежовых рукавицах. К больным была всегда внимательна.

После рабочего дня «студентов» кормили обедом в больничной «раздатке». Семеняк обычно сидела тут же, пила чай.

— А что вы читаете?

— Ничего, кроме лекций.

— Вот прочтите, — она протянула мне маленькую книжку, похожую на молитвенник. Это был томик Блока, малой серии «Библиотеки поэта».

Дня через три я вернул ей стихи.

— Понравились?

— Да. — Мне было совестно сказать, что я хорошо знаю, знал эти стихи.

— Прочтите мне «Девушка пела в церковном хоре».

Я прочел.

— Теперь — «О дальней Мэри, светлой Мэри».

— Хорошо. Теперь вот эту...

Я прочел «В голубой далекой спальне».

— Вы понимаете, что мальчик-то умер...

— Да, конечно.

— Умер мальчик, — повторила Ольга Степановна сухими губами и свела в морщины свой белый крутой лоб. Она помолчала.

— Дать вам что-нибудь еще?

— Да, пожалуйста.

Ольга Степановна открыла ящик письменного стола и вынула книжку, похожую на томик Блока. Это было Евангелие.

— Почитайте, почитайте. Особенно вот это — «К коринфянам» апостола Павла.

Через несколько дней я вернул ей книгу. Та безрелигиозность, в которой я прожил всю сознательную жизнь, не сделала меня христианином. Но более достойных людей, чем религиозники, в лагерях я не видел. Растление охватывало души всех, и только религиозники держались. Так было и пятнадцать, и пять лет назад.

В кабинке Семеняк познакомился я со строительным десятником из заключенных Васей Шевцовым. Вася Шевцов, красавец лет двадцати пяти, пользовался огромным успехом у всех лагерных дам. В отделении Семеняк он навещал раздатчицу Нину. Толковый, способный парень, он видел многое ясно и ясно объяснял, но запомнился он мне по особому поводу. Я поругал Васю за Нину — она была беременна.

— Сама ведь лезет, — сказал Шевцов. — Что тут придумаешь? Я в лагере вырос. С мальчиков в тюрьме. Сколько я их, этих баб, имел — веришь ли, и счесть нельзя. И знаешь что? Ведь ни с одной ни часу не спал я на кровати. А все как-то — то в сенях, то в сарае, чуть ли не на ходу. Веришь? — так рассказывал Вася Шевцов, первый больничный красавец.

Николай Сергеевич Минин, хирург-гинеколог, заведовал женским отделением. Лекций он у нас не читал, мы проходили «практику», практику без всякой теории.

В большие бураны больничный поселок заносило снегом до крыш, и только по дыму труб можно было ориентироваться. У каждого отделения вырублены были ступеньки вниз — к входной двери. Мы вылезли из своего общежития наверх, побежали к женскому отделению и вошли в мининский кабинет в половине девятого, надели халаты и, приоткрыв дверь, скольз-

нули в комнату. Шла обычная пятиминутка, сдача сестрой ночного дежурства. Минин, огромный седобородый старик, сидел за маленьким столом и морщился. Рапорт ночного дежурства кончился, и Минин махнул рукой. Все зашумели... Минин повернул голову направо. На небольшом стеклянном подносе старшая сестра принесла стаканчик голубоватой жидкости. Запах был знакомым. Минин взял стаканчик, выпил и разгладил седые усы.

— Ликер «Голубая ночь», — сказал он, подмигивая курсантам.

Я несколько раз был на его операциях. Оперировал он всегда «под мухой», но уверял, что руки дрожать не будут. Операционные сестры утверждали то же самое. Но после операции, когда он «размывался», полоща руки в большом тазу, толстые мощные пальцы его дрожали мелкой дрожью, и он грустно разглядывал свои непослушные, трясущиеся руки.

— Отработался, Николай Сергеевич, отработался, — тихонько говорил он себе. Но продолжал оперировать еще несколько лет.

До Колымы он работал в Ленинграде. Арестован был в тридцать седьмом году, года два возил тачку на Колыме. Был он соавтором большого учебника по гинекологии. Фамилия второго автора была Серебряков. После ареста Минаина учебник стал выходить с одной фамилией Серебрякова. На сутяжнические хлопоты после освобождения у Минаина не хватило сил. Его освободили, как всех, без права выезда с Колымы. Он стал пить еще больше, а в 1952 году повесился в своей комнате в поселке Дебин.

После революции старый большевик Николай Сергеевич Минин вел переговоры с АРА от имени Советского правительства, встречался с Нансеном. Позднее читал лекции по радио по антирелигиозным вопросам.

Все его очень любили — как-то выходило так, что Минин всем хотел добра, хотя ничего никому не делал, ни хорошего, ни плохого.

Доктор Сергей Иванович Куликов читал «туберкулез». В тридцатых годах усердно внушалось гражданам «Большой земли», что климат Колымы и климат Дальнего востока — одно и то же. Колымские горы, якобы, благоприятствуют лечению туберкулеза и стабилизируют состояние легочных больных, во всяком случае. Ревнителю сего утверждения забывали, что колымские сопки покрыты болотами, что реки золотых районов проложили себе путь в болотах, что лесотундра Колымы — самое вредное место для легочников. Забывали про почти поголовную заболеваемость туберкулезом у эвенков, якутов, юкагиров Колымы. В больницах для заключенных туберкулезные отделения не планировались. Но бацилла Коха есть бацилла Коха, и туберкулезные отделения пришлось создавать — весьма вместительные.

Сергей Иванович был, по видимости, сед и дряхл, заметно глуховат, но бодр душой и телом. Предмет свой он считал главнейшим, сердился, когда ему противоречили. Помалкивал, но, слыша важные газетные новости, усмехался и сверкал глазами.

Доктор Куликов отбыл десять лет по какому-то пункту пятьдесят восьмой статьи. Когда освободился, получил «пожизненное прикрепление». На Колыму к нему приехала семья: старушка-жена и дочь — тоже врач-туберкулезник.

Химик Бойченко вел лабораторную практику курсантов. Меня он запомнил хорошо и относился с полным презрением к человеку, не знающему химии.

Курс нервных болезней читала Анна Израилевна Понизовская. К этому времени она была на свободе и даже успела защитить кандидатскую диссертацию. Ряд лет в заключении довелось ей проработать с крупным невропатологом, профессором Скобло, который много и помог ей в оформлении темы, — так говорили в больнице. С профессором Скобло она встречалась уже после моего знакомства с ним — в 1939 году весной мы с ним вместе мыли полы на магаданской пересылке.

Мир мал, Анна Израилевна была дамой чрезвычайно важной. Она любезно согласилась прочесть несколько лекций на курсах фельдшеров. Само чтение лекций обставлялось столь торжественно, что я из всех ее лекций запомнил только шелковое черное шуршащее платье Анны Израилевны и резкий запах ее духов — ни у одной нашей курсантки не было духов. Повар подарил, правда, Наде Егоровой крошечный флакончик дешевого одеколona «Сирень», но Надя так его осторожно и жадно нюхала во время занятий, что на два ряда назад не доносилось никакого запаха. А, может быть, мешал вечный насморк мой, полученный на Колыме.

Помню, что приносили в класс какие-то плакаты-схемы условного рефлекса, должно быть, но был ли от этого толк — не знаю.

Психические заболевания решили нам вовсе не читать, сокращая и без того куцую программу. А преподаватели были — председатель приемной комиссии курсов доктор Сидкин был больничным психиатром.

Болезни уха, горла, носа читал нам доктор Задер, чистокрвный венгр. Писанный красавец с бараньими глазами, доктор Задер знал по-русски очень плохо и передать что-либо курсантам почти не мог. Читать он вызвался для практики в русском языке. Занятия с ним были прямой потерей времени.

Мы донимали Меерзона, который к тому времени был назначен главным врачом больницы: как же мы будем знать то, что читает Задер.

— Ну, если вы только этого не будете знать, то ничего, — отвечал в своей обычной манере Меерзон.

На Колыму Задер попал только что — сразу после войны. В 1956 году он был реабилитирован, но дело было в конце года, он решил не возвращаться в Венгрию, а получив кучу денег при расчете с Дальстроем, поселился где-то на юге. С доктором Задером вскоре после того, как он принял зачеты от всех курсантов, случилась одна история.

Доктор Януш Задер, отоляринголог, был венгерским военнопленным, «салашистом», стало быть. «Термин» его был 15 лет. Он быстро выучился по-русски, он был медик, время, когда медиков держали на общих работах, прошло (и притом, это указание касалось только литеры «Т» — т. е. троцкистов), притом, специальность его была самая дефицитная — ухо, горло и нос. Он оперировал и лечил удачно. Работал он в хирургическом отделении как ординатор — это было нагрузкой к его основной специальности. На полостных операциях он ассистировал — обычно заведующему хирургическим отделением, хирургу Меерзону. Словом, доктору Задеру везло, даже среди вольнонаемных он имел кое-какую клиентуру, он был одет в «вольное», носил длинные волосы и был сыт и мог бы быть и пьян, но спирта он не брал в рот ни капли. Известность его все росла и росла, пока не произошла одна история, которая лишила нашу больницу отоляринголога на долгое время.

Все дело в том, что эритроцит, т. е. красный кровяной шарик, живет 21 день. Живая человеческая кровь находится в непрерывном обновлении. Но кровь, выведенная из человеческого организма, не может жить более 21 дня. При хирургическом отделении, как и положено, была своя станция переливания крови, куда сдавали кровь доноры — и вольнонаемные, и заключенные; вольнонаемные получали I рубль за кубик, а заключенные в 10 раз меньше. Для какого-либо гипертоника это был основательный доход, брали по 300-400 гр. в месяц — сдай, это тебе нужно для леченья, и, кроме того, ты получишь дополнительный паек и деньги. Из заключенных донорами была обслуга (санитары и т. п.), которая и держалась при больнице потому, что давала больным кровь. В переливании крови здесь нуждались больше, чем где-нибудь на земле, но, конечно, переливания крови назначались не по общим медицинским показаниям, в части истощения, например, а лишь в тех случаях, когда это нужно было вследствие или подготовки к операции, или уж особен-

но тяжелого состояния в терапевтических отделениях.

В станции переливания крови всегда был запас заранее взятой крови. И наличие этого запаса было гордостью нашей больницы. Во всех других больницах если и переливали кровь, то непосредственно — от человека к человеку. Донор и реципиент лежали на соседних столах во время этой манипуляции.

Кровь, сроки хранения которой прошли, выбрасывалась.

Недалеко от больницы был свиновхоз, где время от времени при забоях свиней копили кровь и привозили ее в больницу. Здесь в кровь наливали раствор лимонно-кислого натрия для предупреждения свертываемости и давали больным пить эту жидкость, нечто вроде самодельного гематогена, очень питательную и любимую больными, питание которых состояло из всяких юшек и перловых каш. Выдачи гематогена для больных не были новостью. Случилось так, что заведующий хирургическим отделением врач Меерзон уехал в командировку, и заведывание отделением перешло к доктору Задеру.

Во время обхода отделения он счел себя обязанным посетить и станцию переливания крови, где обнаружил, что у значительного запаса крови уже выходит срок хранения, и выслушал сообщение медсестры о ее намерении вылить эту кровь. Доктора Задера это удивило. «Разве эту кровь надо выбрасывать?» — спросил он. Сестра сказала, что так делается всегда.

— Перелейте эту кровь в чайники и выдайте ее тяжелым больным, — распорядился Задер. Сестра раздавала кровь, и больные были этим очень довольны. «В будущем, — сказал венгерец, — всю кровь, которая стареет, выдавайте таким же образом». Так началась практика раздачи донорской крови в палатах. Когда заведующий отделением вернулся, он закатил скандал на высоких нотах: что фашист Задер поит больных человеческой кровью — ни больше, ни меньше. Больные узнали об этом в тот же день, ибо в больницах

слухи распространяются еще быстрее, чем в тюрьмах, и тех, которые получали когда-то кровь, стало рвать. Задер был устранен от работы без всяких объяснений, и детальная докладная записка, уличающая Задера во всевозможных преступлениях, полетела в Санитарное управление. Растерявшийся Задер пытался объяснить, что ведь никакой принципиальной разницы нет между переливанием в вену и приемом через рот, что эта кровь — хорошее дополнительное питание, но никто его не слушал. Волосы Задеру остригли, вольнонаемный пиджачок сняли и в арестантской робе его перевели в бригаду Лурье на лесозаготовку, и доктор Задер уже успел попасть на стахановскую доску лесного участка, когда явилась комиссия Санитарного управления, обеспокоенная, впрочем, не самим фактом такого переливания крови, но тем обстоятельством, что ушная и горловая клиентура осталась без врача. По счастливой случайности комиссию эту возглавил майор медицинской службы, только что демобилизованный из армии и всю войну проработавший в хирургических отделениях медсанбата. Ознакомившись с материалами «обвинения», он никак не мог понять — в чем дело? За что преследуется Задер? И когда было выяснено, что Задер раздавал больным человеческую кровь, «давал пить кровь», майор сказал, пожимая плечами:

— На фронте я это делал четыре года. А что, здесь нельзя это делать? Я ведь не знаю, я здесь недавно.

Задер был возвращен в хирургическое отделение из леса, несмотря на письменный протест бригадира лесозаготовок, который считал, что у него по чьему-то капризу берут лучшего лесоруба.

Но интерес к работе Задер потерял и никаких рационализаторских предложений больше не вносил.

*

Доктор был подлец законченный. Говорили, что он взяточник и самоснабженец, но разве на Колыме были

начальники иных привычек? Мстительные выскочки — и это простительно.

Доктор Доктор ненавидел заключенных. Не то, что плохо или недоверчиво к ним относился. Нет, он их тиранил, унижал повседневно и повсечасно, придирался, оскорблял и широко использовал свою безграничную власть (в пределах больницы) для наполнения карцеров, штрафных участков. Бывших заключенных он не считал за людей и неоднократно грозил хирургу Трауту, например, что дать новый срок Трауту доктор Доктор не задумается. Каждый день свозили ему в квартиру то свежую рыбу — бригада «больных» ловила на море сетями, — то парниковые овощи, то мясо со свиновхоза — и все это в количествах, достаточных для прокормления Гулливера. Доктор Доктор имел прислугу — дневального из заключенных, и тот помогал ему в реализации всех приношений. С «материка» в адрес доктора Доктора шли посылки с махоркой — валютой Колымы. Начальником больницы он был целый ряд лет, пока наконец другой гангстер не свалил доктора Доктора. Начальнику Доктора показалось, что «отчисления» маловаты.

Но все это было после, а во времена курсов доктор Доктор был царь и бог. Ежедневно устраивались собрания, и Доктор выступал там с речами, сильно забирая в сторону культа личности. По части всяких клеветнических «меморандумов» Доктор тоже был большой мастер и мог «оформить» кого угодно.

Был он начальником мстительным, мелко мстительным.

«Вот ты мне не поклонился при встрече, а я на тебя напишу донос, да не просто донос, а официальный «меморандум». Напишу «кадровый троцкист и враг народа», и уж будь покоен — штрафной прииск тебе обеспечен».

Собственное детище, курсы огорчали доктора Доктора. Слишком много там оказалось курсантов пятьдесят восьмой статьи — доктор Доктор побаивался за свою карьеру. Типичный администратор тридцать седьмого

гда, доктор Доктор уволился было из Дальстроя к концу сороковых годов, но, увидя, что все остается по-прежнему и что на «материке» надо работать, вернулся на колымскую службу. Хотя «процентные надбавки» надо было выслуживать заново, Доктор очутился в привычной обстановке.

«Посетив» курсы перед выпускными экзаменами, доктор Доктор благожелательно выслушал доклад об успехах учащихся, обвел всех курсантов своими светло-голубыми стеклянными глазами и спросил:

— А банки-то все могут ставить?

Почтительный хохот преподавателей и «студентов» был ему ответом. Увы, именно банок-то мы и не научились ставить — никто из нас не думал, что эта нехитрая процедура имеет свои секреты.

*

Глазные болезни преподавал доктор Лоскутов. Мне выпало счастье знать и ряд лет работать вместе с Федором Ефимовичем Лоскутовым — одной из самых примечательных фигур Колымы. Батальонный комиссар времени гражданской войны — колчаковская пуля навеки засела в левом легком, — Лоскутов получил медицинское образование в начале двадцатых годов и работал как военный врач в армии. Случайная шуточка по адресу Сталина привела его в военный трибунал. Со сроком в три года он приехал на Колыму и первый год работал слесарем на прииске «Партизан». Потом был допущен к врачебной работе. Трехлетний срок подходил к концу. Это было время, известное по Колыме и по всей России под названием «гаранинщины», хотя правильней было бы назвать это время «павловщиной» по имени тогдашнего начальника Дальстроя. Полковник Гаранин был только заместителем Павлова, начальником лагерей, но именно он был председателем расстрельной тройки и подписывал весь 1938 год бесконечные списки расстрелянных. В 1938 году было

страшно освобождаться по 58 статье. Всем, кто кончал срок, грозило «новое дело», созданное, навязанное, организованное. Спокойней было иметь в приговоре лет десять, пятнадцать, чем три, пять. Легче было дышать.

Лоскутов был осужден снова — колымской «тройкой» во главе с Гараниным — на десять лет. Способный врач, он специализировался на глазных болезнях, оперировал, был ценнейшим специалистом. Санитарное управление держало его близ Магадана, на 23 километре — в нужных случаях его отвозили с конвоем в город Магадан для консультаций, операций. Один из последних земских врачей, Лоскутов был универсалом: он мог делать несложные полостные операции, знал гинекологию и был специалистом по болезням глаз.

В 1947 году, когда новый срок его подходил к концу, было снова сфабриковано дело уполномоченным Симановским. В больнице арестовали нескольких фельдшеров и сестер и осудили их на разные сроки. Сам Лоскутов вновь получил десять лет. На этот раз настаивали, чтобы его удалили из Магадана и передали в Берлаг — новый, «внутренний» лагерь на Колыме для политических рецидивистов со строгим режимом. Несколько лет больничному начальству удавалось отстоять Лоскутова от Берлага, но в конце концов он туда попал и *по третьему сроку!* с применением зачетов *освободился* в 1954 году. В 1955 году был полностью реабилитирован по всем трем срокам.

Когда он освободился, у него была одна смена белья, гимнастерка и штаны.

Человек высоких нравственных качеств, доктор Лоскутов всю свою врачебную деятельность, всю свою жизнь лагерного врача подчинил одной задаче: активной постоянной помощи людям, арестантам по преимуществу. Эта помощь была отнюдь не только медицинской. Он всегда кого-то устраивал, кого-то рекомендовал на работу после выписки из больницы. Всегда

кого-то кормил, кому-то носил передачи — тому щепотку махорки, тому кусок хлеба.

Попасть к нему в отделение (он работал как терапевт) считали больные за счастье.

Он беспрерывно хлопотал, ходил, писал.

И так не месяц, не год, а целых двадцать лет изо дня в день, получая от начальства только дополнительные сроки наказания.

В истории мы знаем такую фигуру. Это — тюремный врач Федор Петрович Гааз, о котором написал книжку А. Ф. Кони. Но время Гааза было другим временем. Это были шестидесятые годы прошлого столетия — время нравственного подъема русского общества. Тридцатые годы двадцатого столетия таким «подъемом» не отличались. В атмосфере доносов, клеветы, наказаний, бесправия, получая один за другим тюремные приговоры по провокационно созданным делам, творить добрые дела было гораздо труднее, чем во времена Гааза.

Одному Лоскутов устраивал выезд на материк как инвалиду, другому подыскивал легкую работу — не спрашивая у больного ничего, распоряжался его судьбой умно и полезно.

У Федора Ефимовича Лоскутова было маловато грамотности — в школьном смысле этого слова: он пришел в медицинский институт с низким образованием. Но он много читал, хорошо наблюдал жизнь, много думал, свободно судил о самых различных предметах — он был широко образованным человеком.

В высшей степени скромный человек, неторопливый в рассуждениях — он был фигурой примечательной. Был у него недостаток — его помощь была, на мой взгляд, чересчур неразборчива, и потому его пробовали «оседлать» блатари, чувствуя пресловутую «слабину». Но впоследствии он хорошо разобрался и в этом.

Три лагерных приговора, тревожная колымская жизнь с угрозами начальства, с унижениями, с неуверенностью в завтрашнем дне не сделали из Лоскутова ни скептика, ни циника.

И выйдя на настоящую волю, получив реабилитацию и кучу денег вместе, он так же раздавал их, кому надо, так же помогал и не имел лишней пары белья, получая несколько тысяч рублей в месяц.

Таков был преподаватель глазных болезней. После окончания курсов мне пришлось проработать несколько недель — первых моих фельдшерских недель — именно у Лоскутова. Первый вечер закончился в процедурной. Привели больного с загортанным абсцессом.

— Что это такое? — спросил меня Лоскутов.

— Загортанный абсцесс.

— А лечение?

— Выпустить гной, следя, чтобы больной не захлебнулся жидкостью.

— Положите инструменты кипятить.

Я положил в стерилизатор инструменты, вскипятил, вызвал Лоскутова.

— Готово.

— Ведите больного.

Больной сел на табуретку, с открытым ртом. Лампочка освещала его гортань.

— Мойте руки, Федор Ефимович.

— Нет, это вы мойте, — сказал Лоскутов. — Вы и будете делать эту операцию.

Холодный пот пробежал у меня по спине. Но я знал, хорошо знал, что пока своими руками не сделаешь чего-либо, ты не можешь сказать, что умеешь это делать. Нетрудное вдруг оказывается непосильным, сложное — невероятно простым.

Я вымыл руки и решительно подошел к больному. Широко раскрытые глаза больного укоризненно и испуганно глядели на меня.

Я примерился, проткнул созревший абсцесс тупым концом ножа.

— Голову! Голову! — закричал Федор Ефимович.

Я успел согнуть голову больного вперед, и он выхаркнул гной прямо на полы моего халата.

— Ну, вот и все. А халат смените.

На следующий день Лоскутов откомандировал меня в «полустационар» больницы, поручив мне перемерить у всех артериальное давление. Захватив аппарат Роза-Рогги, я перемерил у всех шестидесяти и записал на бумагу. Это были гипертоники. Я измерял давление там целую неделю, по десять раз у каждого, и только потом Лоскутов показал мне карточки этих больных.

Я радовался, что произвожу эти измерения в одиночестве. Много лет позже я сообразил, что это было рассчитанным приемом — дать мне освоиться спокойно; иначе надо было вести себя в первом случае, где требовалась срочность решения, смелая рука.

Всякий день открывалось что-то новое и в то же время явно знакомое — из лекционного материала.

Симулянтов и аггравантов Федор Ефимович не разоблачал.

— Им только кажется, — говорил грустно Лоскутов, — что они агграванты и симулянты. Они больны гораздо серьезней, чем думают сами. Симуляция и аггравация на фоне алиментарной дистрофии и духовного маразма лагерной жизни — явление неописанное, неописанное...

*

Александр Александрович Малинский, читавший курс внутренних болезней, был вымытый, раскормленный сангвиник, чисто выбритый, седой, начинающий полнеть весельчак. Губы у него были темно-розовые, сердечком. Да аристократические родинки на длинных ножках дрожали на его багровой спине — таким он представлял иногда курсантам в больничной бане, в парильне. Спал он — единственный из колымских врачей, да мне кажется, единственный из всех колымчан — в сшитой на заказ мужской длинной рубаше до щиколоток. Это было обнаружено во время пожара в его отделении. Пожар удалось сразу потушить, и о нем

быстро забыли, но о нижней ночной рубашке доктора Малинского больница толковала много месяцев.

Бывший лектор курсов усовершенствования врачей в Москве, он с трудом приспособлялся к уровню курсантских знаний.

Холодок отчуждения был постоянно между лектором и слушателями. Александр Александрович хотел бы порвать эту завесу, но не знал, как это сделать. Он сочинил несколько пошловатых анекдотов — это не сделало предмет его занятий более доступным.

Наглядность? Но даже в лекциях по анатомии мы обходились без скелета. Уманский рисовал нам мелом на доске нужные кости.

Малинский читал лекции, от всего сердца стараясь дать нам как можно больше сведений. Очень зная лагерь — он был арестован в тридцать седьмом году, — Малинский дал в лекциях много важных советов в части медицинской этики в ее лагерном преломлении. «Научитесь верить больному», — горячо призывал Александр Александрович, подпрыгивая у доски и постукивая мелом. Речь шла о «прострелах», «люмбаго», но мы понимали, что этот призыв касается материй более важных — здесь речь идет о поведении *настоящей* медицины в лагере, о том, что уродливость лагерной жизни не должна уводить медика с его настоящих путей.

Мы многим обязаны доктору Малинскому — сведениями, знаниями, и, хотя всегдашнее его стремление держаться от нас на значительном расстоянии, по нашему мнению, и как бы на горе не внушало нам симпатии, мы признавали его достоинства.

Колымский климат Александр Александрович переносил хорошо. Уже после реабилитации он по собственному желанию остался доживать свою жизнь в Сеймчане в одном из овощных хозяйств Колымы.

Александр Александрович регулярно читал газеты, но мнениями ни с кем не делился — опыт, опыт... Книги читал он только медицинские.

Заведующей курсами была вольнонаемная договорница врач Татьяна Михайловна Ильина, сестра Сергея Ильина, известного футболиста, как рекомендовалась она сама. Татьяна Михайловна была дама, старавшаяся до мелочей попадать в «тон» высшему начальству. Она сделала большую карьеру на Колыме. Ее духовный подхалимаж был почти беспределен. Когда-то она просила принести что-либо почитать «получше». Я принес драгоценность: однотомник Хэмингуэя с «Пятой колонной» и «48 рассказами». Ильина повертела вишневого цвета книжку в руках, полистала.

— Нет, возьмите обратно: это — роскошь, а нам нужен черный хлеб.

Это были явно чужие, ханжеские слова, и выговорила она их с удовольствием, но не совсем кстати. После такого афронта я забыл думать о роли книжного советника доктора Ильиной.

Татьяна Михайловна была замужем. На Колыму она приехала с двумя детьми — женой при муже. Муж ее, боевой офицер, после войны подписал договор с Дальстроем и приехал с семьей на Северо-восток: там сохранялись офицерские пайки, чины и льготы, а семья была большая, двое детей. Он был назначен начальником политотдела одного из Горных управлений Колымы — должность немаленькая, почти генеральская и притом с перспективами. Но Николаев — фамилия мужа Татьяны Михайловны была Николаев — был человеком наблюдательным, совестливым и отнюдь не карьеристом. Приглядевшись к тому бесправию, спекуляции, доносам, воровству, подсиживанию, самоснабжению, взяткам и казнокрадству, и всем жестокостям, которые творят колымские начальники над заключенными, Николаев начал пить. Деморализующее влияние людской жестокости он понял и осудил глубоко и бесповоротно. Жизнь открылась ему самыми страшными страницами, много страшнее, чем были фронтовые годы. Он был не взяточник, не подлец. Он начал пить.

От должности начальника политотдела он был быстро

отстранен и за короткий срок — всего за два-три года — проделал карьеру сверху вниз и дошел до малооплачиваемой и невлиятельной должности инспектора КВЧ больницы для заключенных. Рыбная ловля стала его вынужденной страстью. Глубоко в тайге, на берегу реки Николаев чувствовал себя лучше, спокойней. Когда сроки его договора кончились, он уехал на «материк».

Татьяна Михайловна не последовала за ним. Напротив, она вступила в партию, положила начало карьере. Детей они разделили: девочка досталась отцу, мальчик — матери.

Но все это случилось после, а сейчас доктор Ильина была заботливой и тактичной заведующей нашими курсами. Побаяваясь заключенных, она старалась иметь с ними дела поменьше и даже, кажется, прислугу из заключенных себе еще не завела.

*

Хирургию — «общую» и «частную» — читал Меерзон. Меерзон был учеником Спасокукоцкого, хирургом с большим будущим, крупной научной судьбы. Но — он был женат на родственнице Зиновьева и в 1937 году арестован и осужден на 10 лет — как глава какой-то террористической, вредительской, антисоветской организации . . . В 1946 году, когда открылись фельдшерские курсы, он только что освободился из заключения. (На «общих» работах ему довелось работать меньше года — все заключение он был хирургом.) Тогда начали входить в моду «пожизненные прикрепления» — пожизненно был прикреплен и Меерзон. Только что освобожденный, он был сугубо осторожен, сугубо официален, сугубо неприступен. Разбитая вдребезги большая судьба, озлобление искали выход и находили в острогах, в насмешливости . . .

Лекции читал он превосходно. Меерзон был десять лет лишен любимой преподавательской работы — бе-

седы «на ходу» с операционными сестрами были, конечно, не в счет — впервые он видел перед собой аудиторию, «студентов», «курсантов», жаждущих получить медицинские знания. И хоть состав курсантов был очень пестрым — это не смущало Меерзона. Сначала его лекции были увлекательными, огненными. Первый же опрос был ушатом ледяной воды, вылитой на разгорячившегося Меерзона. Аудитория была слишком простой: слова «элемент», «форма» подлежали разъяснению и разъяснению подробному. Меерзон это понял, он был крайне огорчен, но не подал виду и постарался приспособиться к уровню. Равняться приходилось на последнего — на финку Айно, на завмага Силантьева и т. д.

— Образуется свищ, — говорил профессор. — Кто знает, что такое свищ?

Молчание.

— Это — дыра, дыра такая...

Лекции потускнели, хотя и не утратили своего делового содержания.

Как и подобает хирургу, Меерзон относился с явным презрением ко всем другим медицинским специальностям. У себя в отделении заботу персонала о стерильности он довел почти до столичных высот, требуя скрупулезного выполнения требований хирургических клиник. В других же отделениях он вел себя с нарочитым пренебрежением. Приходя на консультации, он никогда не снимал полушубка и шапки и в полушубке садился на кровать к больному — в любом терапевтическом отделении. Это делалось нарочно, выглядело как оскорбление. Палаты были все же чистыми, и мокрые следы от валенок Меерзона долго затирали ворчащие санитары, когда консультант уходил. Это было одним из развлечений хирурга — язык у Меерзона был подвешен хорошо, и он всегда был готов «излить» на терапевта свою желчь, свою злость, свое недовольство миром.

На лекциях он не развлекался. Излагая все ясно,

точно, исчерпывающе, он умел найти понятные всем примеры, живые иллюстрации и, если видел, что усвоение идет хорошо, — радовался. Он был ведущим хирургом больницы и позднее — главным врачом, и на наших курсах мнение его имело решающее значение во всех вопросах внутрикурсовой жизни. Все его действия на виду у курсантов, все его разговоры были продуманы и целесообразны.

В первый день посещения нами «настоящей» операции, когда мы толпились в углу операционной в стерильных халатах, впервые надетых, в фантастических марлевых полумасках, Меерзон оперировал. Ассистировала его постоянная операционная сестра — Нина Дмитриевна Харченко, договорница, секретарь комсомольской организации больницы. Меерзон подавал отрывистые команды.

— Кохер!

— Иглу!

И Харченко хватала со столика инструменты и бережно вкладывала в протянутую в сторону, затянутую светло-желтой резиновой перчаткой руку хирурга.

Но вот она подала не то, что нужно, и Меерзон грубо выругался и, взмахнув рукой, бросил пинцет на пол. Пинцет зазвенел, Нина Дмитриевна покраснела и робко подала нужный инструмент.

Мы были обижены за Харченко, обозлены на Меерзона. Мы считали, что он не должен был так делать. Хотя бы ради нас, если он такой уж грубиян.

После операции мы обратились к Нине Дмитриевне со словами сочувствия.

— Ребята, хирург отвечает за операцию, — сказала она серьезно и доверительно. В голосе ее не было смущения и обиды.

Будто поняв все, что творилось в душе неопитов, следующее свое занятие Меерзон посвятил особой теме. Это была блестящая лекция об ответственности хирурга, о воле хирурга, о необходимости сломать волю больного, о психологии врача и психологии больного.

Лекция эта вызвала единодушное восхищение, и со времени этой лекции мы — в своей курсантской среде — поставили Меерзона выше всех.

Столь же блестящей, прямо-таки поэтической была его лекция «Руки хирурга», где речь о существовании медицинской профессии, о понятии стерильности шла в высоком накале. Меерзон читал ее для себя, почти не глядя на слушателей. В ней было много рассказов. И паника, охватившая клинику Спасокукоцкого при таинственном заражении больных при чистых операциях, — разгаданная бородавка на пальце ассистента. Это была лекция о строении кожи, о хирургической безупречности.

И почему ни один хирург, ни операционная сестра или фельдшер хирургического отделения не имеет права участвовать в лагерных «ударниках», не имеет права на физическую работу. И за этим мы видели страстную многолетнюю борьбу хирурга Меерзона с безграмотным лагерным начальством.

Иногда в день, посвященный проверке усвоенного, Меерзон успевал сделать опрос скорее, чем рассчитывал. Остаток времени был посвящен интереснейшим рассказам «по поводу»: о выдающихся русских хирургах, об Оппеле, Федорове, и особенно о Спасокукоцком, которого Меерзон боготворил. Все было остроумно, умно, полезно, все было самое «настоящее». Менялся наш взгляд на мир, мы делали медиками благодаря Меерзону. Мы учились медицинскому мышлению и учились успешно. Каждый из нас был другим после восьмимесячных этих курсов по программе двухлетних школ.

Из Магадана впоследствии Меерзон переехал в Нексикан — в Западное управление. В 1952 году был внезапно арестован и увезен в Москву — его пытались «пришить» к «делу врачей», и вместе с ними он был освобожден в 1953 году. Вернувшись на Колыму, Меерзон проработал там недолго, боясь оставаться долее в

столь «зыбкой» и опасной местности. Он уехал на «материк».

*

При больнице был клуб, но курсанты туда не ходили — кроме девушек, Женьки Каца и Борисова.

Нам казалось кощунством потратить хоть час свободного времени на что-либо, кроме занятий. Мы занимались день и ночь. Сначала я пытался переписывать записи набело в беловую тетрадку — но на это не хватало ни времени, ни бумаги.

Лагерная больница была уже переполнена людьми с войны — русские эмигранты из Маньчжурии, пленные японцы, которым вместо хлеба выдавали рис, — многие сотни людей, осужденных как шпионы военными трибуналами, — но все это еще не приобрело того розмаха, который приобрели репрессии немного позже, к концу навигации 1946 года, когда пять тысяч заключенных, привезенных на пароходе «Ким», в декабре были залиты водой из брандспойтов во время затянувшегося рейса. Работу по перевозке, ампутациям этих отмороженных мы вели уже полноправными фельдшерами и не в Магадане.

*

Каждый день нас мучили сомнения — не закроют ли курсы? Слухи, один страшнее другого, мешали мне спать. Но занятия понемногу шли, шли и, наконец, настал день, когда крайние нытики и маловеры должны были перевести с облегчением дух.

Прошло более трех месяцев, а курсы все работали. Начались новые сомнения — выдержим ли мы выпускной экзамен? Ведь курсы были учреждением вполне официальным, они давали право лечить. Правда, в 1953 г. санитарный отдел Дальстроя разъяснял Калининскому горздраву, что окончившие эти курсы могут лечить только на Колыме, но столь странные границы

медицинский знаний не были приняты во внимание на местах.

Большим огорчением было то, что программа была сокращена и давала права медсестры или медбрата. Но и это было дело второстепенное. Хуже было то, что на руки не давали никаких документов. «Справки будут вложены в ваши личные дела», — объясняла Ильина. Оказалось, что в личных делах никаких следов нашего медицинского образования нет. После освобождения кое-кому из нас пришлось собирать свидетельства, заверенные преподавателями курсов.

После трех месяцев занятий время стало двигаться очень, очень быстро. Приближающийся день экзаменов не радовал — экзамен подводил итог нашей замечательной жизни на 23 километре. Мы, выдавшие Колыму, мы, ветераны тридцать седьмого года, знали, что лучшей жизни не будет. И потому тревожились и грустили, впрочем, умеренно, ибо Колыма научила нас не рассчитывать долее, чем на день, вперед.

День экзамена приближался. Уже открыто говорили, что больницу эту переводят за 500 километров вглубь тайги — на «левый берег» реки Колымы, в поселок Дебин.

За месяц до окончания курсов устроен был пробный экзамен по всем предметам. Я не придавал значения этому случаю и только после выпускного экзамена сообразил, что все билеты, которые курсанты получили на настоящем экзамене, были — по всем предметам — повторением вопросов «предварительного» экзамена. Конечно, члены комиссии — высокое начальство из санотдела Дальстроя — могли задавать и задавали дополнительные вопросы. Но основа уверенности для выпускника, основа впечатления для экзаменатора была уже заложена в удачном знакомом билете. Я помню свой билет по хирургии — «варикозное расширение вен».

Еще до экзаменов прошел успокоительный слух, что выпущены будут все, обязательно все, никто не будет

лишен скромных медицинских прав. Это всех обрадовало. Слух оказался верным.

Понемногу наши знакомства укреплялись, расширялись. Мы уже не были посторонними, мы были посвященными, мы были членами великого врачебного ордена. Так смотрели на нас и врачи, и больные.

Мы перестали быть обыкновенными людьми. Мы стали специалистами.

Я чувствовал себя — впервые на Колыме — необходимым человеком: больнице, лагерю, жизни, самому себе. Я чувствовал себя полноправным человеком, на которого никто не мог кричать и издеваться над ним.

И хотя многие начальники сажали меня в карцер за разные проступки против лагерного режима, выдуманные и действительные, я и в карцере оставался человеком, нужным больнице. Я выходил из карцера опять на фельдшерскую работу.

Разбитое в куски самолюбие получило тот необходимый клей, цемент, при помощи которого можно было восстановить разбитое вдребезги.

Курсы шли к концу, и молодые ребята завели себе девушек, как полагается. Но те, кто был постарше, не позволил чувству любви вмешаться в будущее. Любовь была слишком дешевой ставкой в лагерной игре. Нас учили воздержанию годами и учили не зря.

Острейшее самолюбие росло во мне. Чужой отличный ответ на любом занятии я воспринимал как личное оскорбление, как обиду. Я должен был уметь ответить на все вопросы преподавателя.

Знания наши росли понемногу, а главное — расширялся интерес, и мы спрашивали, спрашивали врачей — пусть наивно, пусть глупо. Но врачи не считали наивным и глупым ни один наш вопрос. На все давался ответ всякий раз с достаточной категоричностью. Ответы вызывали новые вопросы. На медицинские споры между собой мы еще не отваживались. Это было бы слишком самонадеянно.

Но . . . однажды меня позвали вправить вывих плеча.

Врач давал наркоз «рауш», а я вправлял — ногой — по гиппократову способу. Под пяткой что-то щелкнуло, и плечевая кость вошла на свое место. Я был счастлив. Татьяна Михайловна Ильина, присутствовавшая при вправлении вывиха, сказала:

— Вот как хорошо вас учили, — и я не мог не согласиться с ней.

Разумеется, я ни разу не был ни в кинематографе, ни на постановках культбригады, которая в Магадане, да и больнице была вполне грамотной и отличалась выдумкой и вкусом, какие могут пробиться сквозь цензурные заслоны КВЧ. Магаданской культбригадой руководил в то время Л. В. Варпаховский, нынешний главный режиссер Московского театра им. Ермоловой. У меня не было времени, да и медленно раскрывающиеся тайны медицины интересовали меня гораздо больше.

Медицинская терминология перестала быть абра-кадаброй. Я брался за чтение медицинских статей и книг без прежнего бессилия и без страха.

Я уже не был человеком обыкновенным. Я обязан был уметь оказывать первую помощь, уметь разобраться в состоянии тяжелобольного, хотя бы в общих чертах. Я обязан был видеть опасность, угрожающую жизни людей. Это было и радостно, и тревожно. Я боялся — выполню ли я свой высокий долг.

Я знал, как взяться за сифонную клизму, за аппарат Боброва, за скальпель, за шприц . . .

Я умел перестелить постельное белье у тяжелобольного и мог научить этому санитаров. Я мог объяснить санитарам — для чего производится дезинфекция, уборка.

Я узнал тысячу вещей, которых я не знал раньше, — нужных, необходимых, полезных людям вещей.

Курсы кончились, новых фельдшеров стали отправлять мало-помалу на места для работы. Вот и список, в руках конвоира список, в котором есть и моя фами-

лия. Но я сажусь в машину последний. Я везу больных на левый берег. Машина битком набита, я сажусь у самого края спиной к борту. Пока я усаживался, у меня сдвинулась рубашка и ветер дует в щель борта машины. В руках у меня сверток с пузырьками: валерьянкой, ландышевыми каплями, с иодом, нашатырем. В ногах — туго набитый мешок с моими учебными тетрадями фельдшерских курсов. Не один год эти тетради были для меня лучшей опорой, пока наконец во время моего отъезда медведь, забравшийся в таежную амбулаторию, не изорвал в клочья все мои записи, переколов все банки и пузырьки.



СМЫТАЯ ФОТОГРАФИЯ

Одно из самых главных чувств в лагере — безбрежность унижения, но и чувство утешения, что всегда, в любых обстоятельствах есть кто-то хуже тебя. Эта ступенчатость многообразна. Это утешение спасительно, и, может быть, в нем скрыт главный секрет человека. Это чувство спасительно и в то же время это примирение с непримиримым.

Крист только что спасся от смерти, спасся до завтрашнего дня не более, ибо завтрашний день арестанта — это та тайна, которую нельзя разгадывать. Крист — раб, червь — червь-то уж наверняка, ибо, кажется, только у червя из всего живого мира нет сердца.

Крист положен в больницу, сухая пелларгозная кожа шелушится — морщины написали на лице Христа его последний приговор. Пытаясь на дне души, в последних уцелевших клеточках своего костлявого тела найти какую-то силу — физическую и духовную, — чтобы прожить до завтрашнего дня, Крист надевает грязный халат санитаря, метет палаты, заправляет койки, моет, меряет температуру больным.

Крист уже бог — и новые голодные, новые больные смотрят на Христа как на свою судьбу, как на божество, которое может помочь, может избавить их — от чего, больной и сам не знает. Больной знает только, что перед ним — санитар из больных, который может замолвить слово врачу, и больному дадут пролежать лишний день в больнице. Или даже, выписавшись, передаст свой пост, свою мисочку супа, свой санитарный халат — больному.

Крист надел халат и стал божеством.

— Я тебе рубашку постираю. Рубашку. В ванной — ночью. И высушу на печке.

— Здесь нет воды. Возят.

— Ну, сбереги полведра.

Кристу давно хотелось выстирать свою гимнастерку. Он бы и сам выстирал, но валился без ног от усталости. Гимнастерка была приисковая — вся просолилась от пота, обрывки только, а не гимнастерка. И, может быть, первая же стирка превратит ее, гимнастерку, в прах, в пыль, в тлен. Один карман был оторван, но второй цел, и в нем лежало все, что Кристу было почему-то важно и нужно.

И все-таки нужно было выстирать. Просто больница, Крист — санитар, а рубашка грязная. Он вспомнил, как несколько лет тому назад его взяли переписывать карточки в хозчасть — карточки декадного довольствия, по проценту выработки. И как все жившие с ним в бараке ненавидели его за эти бессонные ночи, дающие лишний талон на обед. И как Криста тотчас же «продали», «сплавили», обратясь к кому-то из штатных бухгалтеров-бытовиков и показав на ворот Криста, по которому ползла голодная, бледная, как Крист, вошь. И как Крист был в эту же минуту вытащен из конторы чьей-то железной рукой и выброшен на улицу.

Да, лучше было бы выстирать гимнастерку.

— Ты будешь спать, а я постираю. Кусочек хлебца, а если хлеба нет, то так.

У Криста не было хлеба. Но на дне души кто-то кричал, что надо остаться голодным, а рубашку все-таки выстирать. И Крист перестал сопротивляться чужой, страшной воле голодного человека.

Спал Крист как всегда — забудьтем, а не сном.

Месяц назад, когда Крист не лежал еще в больнице, а шатался в огромной толпе доходяг — от столовой до амбулатории, от амбулатории до барака в белой мгле лагерной зоны, — случилась беда. У Криста украли кисет. Пустой кисет, разумеется. Никакой махорки в кисете не было не первый год. Но в кисете Крист хранил — зачем? — фотографии и письма жены: много писем, много фотографий. И хотя эти письма Крист никогда не перечитывал и фотографии не разглядывал — это было слишком тяжело, — он берег эту пачку до

лучшего, наверное, времени. Объяснить было трудно, зачем эти письма, написанные крупным детским почерком, возил Крест по всем своим арестантским путям. При обысках письма не отбирали. Груда писем копилась в кисете. И вот кисет украли. Подумали, наверное, что там деньги, что среди фото вложен какой-нибудь тончайший рубль. Рубля не оказалось... Крест не нашел этих писем никогда. По известным правилам краж, которые блюдутся на воле, документы надо подбрасывать в мусорные ящики, фотографии отсылать по почте или выбрасывать на свалку. Но Крест знал, что эти остатки человечности вытравлены дочиста в колымском мире. Письма сожгли, конечно, в каком-нибудь костре, в лагерной печке, чтобы барак осветился внезапно светлым ночным огнем. Но фотографии — фотографии-то зачем?

— Не найдешь, — сказал Кресту сосед. — Блатные забрали.

— Им-то зачем?

— Ах ты! Женская фотография?

— Ну да.

— А для сеансу.

И Крест перестал спрашивать.

В кисете Крест держал старые письма. Новое же письмо и новая фотография — маленькая паспортная — хранились в левом, единственном кармане гимнастерки.

Крест спал как всегда — забытеем. И проснулся с ощущением: что-то должно быть сегодня хорошее. Вспоминал Крест недолго. Чистая рубашка! Крест сбросил свои тяжелые ноги с топчана и вышел на кухню. Вчерашний больной встретил Креста.

— Сушу, сушу. На печке сушу.

Вдруг Крест почувствовал холодный пот.

— А письмо?

— Какое письмо?

— В кармане!

— Я не расстегивал карманов. Разве мне можно расстегивать ваши карманы?

Крист протягнул руки к рубашке. Письмо было цело, влажное, сырое письмо. Гимнастерка была суха, письмо же было влажное, в подтеках воды или слез. Фотография была смыта, стёрта, искажена и только общим обликом напоминала знакомое Кристу лицо.

Буквы письма были стерты, но Крист знал все письмо наизусть и прочел каждую фразу. Это было последнее письмо от жены, полученное Кристом. Недолго носил он это письмо. Слова его письма скоро окончательно выгорели, растворились, да и текст Крист стал помнить нетвердо. Фотография же окончательно истлела, исчезла после какой-то особенно тщательной дезинфекции в Магадане на фельдшерских курсах, превративших Криста в истинное уже, а не выдуманное колымское божество.



ПОГОНЯ ЗА ПАРОВОЗНЫМ ДЫМОМ

Да, это было моей мечтой: услышать гудок паровоза, увидеть белый паровозный дым, стелющийся по откосу железнодорожной насыпи.

Я ждал белый дым, ждал живой паровоз.

Мы ползли, изнемогая и не решаясь бросить бушлаты, полушубки, пятнадцать всего километров нам осталось до дома, до барачков. Но мы боялись бросить бушлаты и полушубки прямо на дороге, бросить в кювет и бежать, идти, ползти, избавиться от страшной тяжести одежды. Мы боялись бросить бушлаты — одежда через несколько минут превратится зимой ночью в мерзлый куст стланика, в камень обледеневший. Ночью мы никогда не найдем одежды, она потеряется в зимней тайге, как терялась телогрейка летом среди кустов стланика, если не привязать к самой вершине кустов, как веху, веху жизни. Мы знали, что без бушлатов и полушубков мы не спасемся. И мы ползли, теряя силы, согреваясь в поту и — лишь остановить движение — чувствуя, как мертвящий холод проползает по бессильному телу, потерявшему свою главную способность — быть источником тепла, простого тепла, рождающего если не надежду, то злобу.

Мы ползли все вместе, вольные и заключенные. Шофер, у которого кончился бензин, остался ждать помощи, которую вызовем мы. Остался, собрав костер из единственного сухого дерева, которое оказалось под рукой, — из дорожных вешек. Спасение шофера грозило, может быть, смертью другим машинам — ведь все дорожные вешки были собраны, сломаны и положены в костер, горящий небольшим, но спасительным огнем, и шофер согнулся над костром, над пламенем, время от времени подкладывая очередную палочку, щепочку — шофер даже не думал согреться, погреться. Он только берег жизнь... Если бы шофер бросил машину, уполз вместе с нами по холодным острым камням горного

шоссе, бросил груз — он получил бы срок. Шофер ждал, а мы ползли — за помощью.

Я полз, стараясь не сделать ни одной лишней мысли, мысли были, как движения, — энергия не должна быть потрачена ни на что другое, как только на царапанье, переваливание, перетаскивание своего собственного тела вперед по зимней ночной дороге.

И всё же паровозным дымом казалось наше собственное дыхание на пятидесятиградусном морозе. Серебряные лиственницы в тайге казались взрывом паровозного дыма. Белая мгла, которой было закрыто небо и наполнена наша ночь, тоже была паровозным дымом, дымом моей многолетней мечты. В этом безмолвии белом я услышал не шум ветра, услышал музыкальную фразу с неба и ясный, мелодичный, звонкий человеческий голос, звучащий прямо в морозном воздухе над нами. Музыкальная фраза была галлюцинацией, звуковым миражем, в ней было что-то от паровозного дыма, заполнившего мое ущелье. Человеческий голос был только продолжением, логическим продолжением этого зимнего музыкального миража.

Но я увидел, что этот голос слышу не я один. Все ползущие слышали этот голос. Холодея, но не в силах двинуться. В голосе с неба было что-то большее, чем надежда, большее, чем наше черепашьё движение к жизни. Голос с неба повторял:

«Передаю сообщение ТАСС. Пятнадцать врачей . . . Их незаконно обвинили, они ни в чем не повинны, их признания получены путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия».

Врачей отпустили. Вот это номер! А как же почта Лидии Тимашук и орден? Как журналистка Ольга Четкина, прославлявшая бдительность и героиню этой самой бдительности, бдительность олицетворенную, персонифицированную бдительность, бдительность, показанную на одобрение всему миру? . .

Ибо смерть Сталина не произвела на нас, многоопытных, надлежащего впечатления.

Уже давно играла какая-то небесная музыка, когда мы поползли вперед. Никто не сказал ни слова — каждый справлялся с новостью сам.

Уже замерцали огни поселка. Навстречу к ползущим выходили их жены, подчиненные и начальники. Навстречу мне не вышел никто — я сам должен был доползти до барака, до комнаты, до койки, зажечь и растопить железную печку. И когда я согрелся, напился горячей воды, согретой в кружке прямо в печке на горящих дровах, выпрямился перед огнем, чувствуя, как теплый свет пробегает по моему лицу — не вся же кожа лица была отморожена раньше, были ведь и сохранившиеся пятна, дольки, части, — я принял решение.

На следующий день я подал заявление об увольнении.

— Увольнение — в руке Божией, — насмешливо сказал начальник района, но заявление принял, и с очередной почтой это заявление увезли.

«На Колыме я семнадцать лет. Прошу меня уволить. Я не пользуюсь как бывший заключенный никакими правами на выслугу лет, на начисления. Расходов по моему увольнению государство почти не несет. Прошу».

Через две недели я получил ответ: отказ без всяких мотивировок. Тут же я написал протест прокурору, требуя вмешательства и так далее.

Суть была в том, что если возникает какая-нибудь надежда, — должны быть сняты или разбиты всякие юридические оковы, чтобы формальности, бумажки не задержали. Скорее всего — переписка моя бесполезна. А вдруг...

В клубе сорвали портрет Берии, а я всё писал, писал... Арест Берии не укрепил меня в моих надеждах. Те события совершались как бы сами по себе, и тайная их связь с моей судьбой не ощущалась явно. Не о Берии мне надо было думать.

Прокурор ответил через две недели. Это был про-

курор, занимавший высокие должности в соседнем управлении. Прокурор был снят с работы и переведен в захолустье. Жена прокурора торговала швейными машинами по удешевленным ценам, об этом даже был написан фельетон. Прокурор пробовал обороняться наиболее привычным оружием — доносил, что дневальный начальника управления Азбукина торгует среди заключенных махоркой по десять рублей за сигарку. А махорку получает в посылках с «материка» самолетами, чуть ли не дипломатической почтой — по особым весовым багажным нормам для высшего начальства, а то и вовсе без всяких норм. За столом начальника управления садилось по двадцати человек ежедневно, и никакие полярные ставки, никакие выслуги лет не могли покрыть расходов на вино, на фрукты. Начальник управления был нежный семьянин, отец двух детей. Все расходы покрывала продажа махорки: десять рублей самодельная папироса, восемь спичечных коробков, шестьдесят папирос в пачке-осьмушке. Шестьсот рублей осьмушка, 50 граммов, — игра стоила свеч.

Прокурор, посягнувший на способ обогащения, был немедленно снят и переведен к нам, в захолустье. Прокурор следил за выполнением закона, быстро отвечая на письма, вдохновленный ненавистью к начальству, разгоряченный борьбой с начальством.

Я написал второе заявление: «Мне было отказано в увольнении. Теперь, посылая вам справку прокурора...»

Через две недели я получил отказ. Без всякой мотивировки — как будто мне был нужен заграничный паспорт, когда не объясняют причины отказа.

Я написал областному прокурору, прокурору Магаданской области, и получил ответ, что я имею право на увольнение и выезд. Борьба «высших сил» перешла в какую-то новую стадию. Каждый «поворот руля» оставляет следы в виде многочисленных приказов, разъяснений, разрешений. Нащупывалось какое-то соответствие, мои заявления попадали, как говорят блатные, «в цвет». В цвет времени?

Через две недели я получил отказ. Без всякой мотивировки. И хоть я писал многократно слезные письма моему начальнику — начальнику санотдела управления фельдшеру Цапко, никаких ответов от Цапко я не получил.

Триста километров было от моего участка до управления, до ближайшего врачебного участка.

Я понял, что нужна личная встреча. И Цапко приехал вместе с новым начальником лагерей, обещал мне многое, всё обещал, даже увольнение.

— Подберу, как поедem назад. Да оставайся еще на зиму. Весной уедешь.

— Нет. Если даже меня не уволят совсем, из вашего управления я обязательно уйду.

Мы расстались. Август переходил в сентябрь. Кончился обратный ход рыбы из ручьев. Но я не интересовался ни вершами, ни взрывами, после которых всплывала рыба, и белые брюха горбуши и кеты качались на горных волнах, заносились в речные затоны и гнили, тухли.

Должен был прийти случай. И случай пришел. Наш район посетил сам начальник Дорожного управления инженер-полковник Кондаков. Ночевал он в избе начальника района. Торопясь, боясь, что Кондаков заснет, я постучал в дверь.

— Войдите.

Кондаков сидел за столом, расстегнув китель и растирая натертый воротником красный след, опоясывавший круглую белую шею.

— Фельдшер района. Разрешите обратиться по личному делу.

— В дороге я ни с кем не разговариваю.

— Я это предвидел, — холодно и спокойно сказал я. — Я написал вам письмо-заявление. Вот конверт — там всё сказано. Не откажите прочесть в то время, когда найдете нужным.

Кондакову стало неловко, и он перестал возиться с воротом гимнастерки. Как-никак Кондаков был инже-

нером, человеком с высшим, пусть техническим образованием.

— Садитесь. Расскажите, в чем дело.

Я сел и рассказал.

— Если всё так, как вы говорите, я обещаю вам уволить вас, как только вернусь в управление. Дней через десять.

И Кондаков записал в крошечную книжечку мою фамилию.

Через десять дней мне позвонили из управления — друзья позвонили, если у меня были там друзья. Или просто любопытные, зрители, а не актеры, которые спокойно, много часов подряд, много лет следят, как рыба вырывается из дырявой верши, как лиса отгрызает лапу, чтобы уйти из капкана. Следят, не делая попытки ослабить капкан и выпустить лису. Просто следят за борьбой зверя и человека.

Телефонограмма — из района в управление за мой собственный счет. Разрешение на такую телеграмму я вымолил у начальника района... Никакого ответа.

Колымская зима наступила. Лед затянул ручьи, и только кое-где на быстринах текла, бежала, жила вода, дымящаяся, как паровозный пар.

Нужно было спешить, спешить.

— Я отправляю тяжелобольного в управление, — доложил я начальнику. У больного был разыгравшийся язвенный стоматит на почве недоедания, авитаминоза; язвенный стоматит, который так легко смешать с дифтерией. На такие отправки мы имели право, более того — обязаны были отправлять. По приказу, по закону, по совести.

— А кто будет сопровождать?

— Я.

— Сам?

— Да. На неделю закроем медпункт.

Такие случаи бывали и раньше, и начальник об этом знал.

— Я опись составлю. Во избежание кражи. И шкаф под пломбу уполномоченного.

— Вот это правильно. — Начальник успокоился.

Мы выехали на попутных, замерзали, отогреваясь через каждые тридцать километров, и на третьи сутки, еще засветло, добрались до управления в желто-белой дневной колымской мгле.

Первый человек, которого я увидел, был фельдшер Цапко, начальник санотдела.

— Привез тяжелобольного, — доложил я, но Цапко смотрел не на больного, а на чемоданы. У меня были даже чемоданы — фанерные; самодельные, где были книги, дешевый мой костюм, белье, подушка, одеяло... Цапко всё понял.

— Без начальника разрешения на отъезд не даю.

Пошли к начальнику. Это был маленький начальник по сравнению с инженером-полковником Кондаковым. По нетвердости его тона, неуверенности ответов я понял, что пришли какие-то новые приказы, новые «разъяснения»...

— Не хочешь оставаться еще на зиму? — Был конец октября. Зима была уже в разгаре.

— Нет.

— Ну, что ж. Раз не хочет, не держите...

— Слушаюсь, товарищ начальник! — Цапко вытянулся перед начальником лагеря, щелкнул каблуками, и мы вышли в грязный коридор.

— Ну, так вот, — с удовольствием сказал Цапко. — Ты добился, чего хотел. Мы тебя увольняем на все четыре стороны. На материк поедешь. На твое место назначен фельдшер Новиков. Он, как и я, — с фронта, с войны. Поедете с ним назад к тебе — там всё сдашь по всей форме и тогда приезжай за расчетом.

— За триста километров? Да снова сюда — да ведь на эту поездку месяц уйдет. Не меньше.

— Больше я сделать ничего не могу. Всё сделал.

Я понял, что и беседа с начальником лагеря была обманом, приготовлена была заранее.

На Колыме нельзя советоваться ни с кем. У заключенного и у бывшего заключенного нет друзей. Первый же советчик побежит к начальнику, чтобы рассказать, выдать товарища, проявить свою бдительность.

Цапко давно ушел, а я всё сидел на полу в коридоре и курил, курил.

«А что это за Новиков? Фельдшер с фронта?»

Я нашел Новикова. Это был оглушенный Колымой человек. Его одиночество, трезвость, неуверенный взгляд говорили, что Колыма для Новикова оказалась совсем не такой, совсем не такой, какую он ждал, начиная охоту за длинными рублями. Новиков был слишком новичком, слишком фронтовиком.

— Слушай, — сказал я. — Ты с фронта. Я здесь семнадцать лет. Отбыл два срока. Сейчас меня увольняют. Я увижу семью. На фельдшерском пункте моем всё в порядке. Вот опись. Всё под пломбой. Подпиши приемный акт заглазно...

Новиков подписал, не советуясь ни с кем.

Я не пошел к Цапко докладывать о том, что акт подписан. Я пошел прямо в бухгалтерию. Бухгалтер просмотрел мои документы — все справки, все бумаги.

— Ну что ж, — сказал. — Можешь получить расчет. Только есть одна заковыка. Вчера получена телефонограмма из Магадана — все увольнения прекратить до весны, до будущей навигации.

— Да что мне навигация. Ведь я самолетом.

— Так приказ общий, сам ведь знаешь. Не вчера родился.

Я снова сидел на полу в конторе и курил, курил. Прошел Цапко.

— Не уехал еще?

— Нет, не уехал.

— Ну, бывай...

Разочарование было почему-то неглубоким. К таким ударам в спину я привык. Но сейчас не должно было ничего случиться плохого. Я всем телом, всей волей своей еще был в движении, в стремлении, в борьбе.

Просто что-то было не додумано. Какая-то ошибка есть у судьбы в холодном ее расчете, в игре со мной. Вот ее ошибка. Я пошел к секретарю начальника, того самого инженер-полковника Кондакова — он снова был в отъезде.

— Была вчера телефонограмма о прекращении увольнений?

— Была.

— Но ведь я, — я чувствовал, как пересохло горло, и едва выговаривал слова, — ведь я уволен еще месяц назад. По приказу 65. Ко мне не должна относиться вчерашняя телефонограмма. Я уже уволен. Месяц назад. Я — в пути, в дороге...

— Да, вроде так, — согласился лейтенант. — Пойдем к бухгалтеру!

Бухгалтер согласился с нами, но сказал:

— Подождем возвращения Кондакова. Пусть он решает.

— Ну, — сказал лейтенант. — Не советую. Приказ сам Кондаков подписывал. По собственному. Никто ему не подкладывал на подпись. Он с тебя шкуру сдерет за невыполнение.

— Хорошо, — сказал бухгалтер, косо взглянув на меня. — Только, — бухгалтер пощелкал пальцами, — дорога за свой собственный счет.

Билет до Москвы самолетом и поездом стоил три с половиной тысячи рублей, и я имел право на оплату дороги Дальстроем, моим Хозяином собственно четырнадцати заключенных и трех вольных — не вольных, а вольнонаемных лет.

Но по тону главного бухгалтера я понял, что здесь он не сделает мне ни малейшей уступки.

На книжке моей бывшего зэка, без начислений за выслугу лет, за три года скопилось шесть тысяч рублей.

Зайцы, которых я ловил, варил, жарил и ел, рыба, которую я ловил, варил, жарил и ел, — помогли мне скопить эту удивительную сумму.

Я заплатил в кассу деньги, получил аккредитив на три

тысячи, документы, пропуск до аэропорта Оймякона и стал искать машину попутную. Машина скоро нашлась. Двести рублей — двести километров. Я продал одеяло, подушку (к чему всё это в самолете?), продал книги медицинские тому же Цапко по казенной цене — уж Цапко продаст учебники и справочники по цене удешевленной. Но мне некогда было об этом думать.

Хуже было другое. Я потерял талисман — самодельный нож, который возил с собой много лет. Я спал на мешках с мукой и выронил его, очевидно, из кармана. Чтобы найти нож, надо было разгружать машину.

Рано утром мы приехали в Оймякон, где я работал год назад, в Томтор, в милое мое почтовое отделение, где столько писем я отправил и столько писем получил. Слез около гостиницы аэропорта.

— Слышь, ты, — сказал шофер грузовика, — ты ничего не потерял?

— Я нож потерял на муке.

— Вот он. Я доску кузовную открыл, нож выпал на дорогу. Доброе «пёрышко».

— Возьми это пёрышко себе. На память. Мне не нужен больше талисман.

Но радость моя была преждевременной. В Оймяконском порту нет рейсовых самолетов, и пассажиров скопилось еще с осени на десятки машин. Списки по четырнадцать человек, ежедневная переключка. Транзитная жизнь.

— Когда был последний самолет?

— Был неделю назад.

Значит, придется тут просидеть до весны. Зря я отдал свой талисман шоферу.

Я пошел в лагерь к прорабу, где год назад работал фельдшером.

— На материк собрался?

— Да. Помоги уехать.

— Завтра к Вельтману вместе пойдём.

— А капитан Вельтман всё еще начальником аэропорта?

— Да. Только он не капитан, а майор. Нашивки новые недавно получил.

Утром прораб и я вошли в кабинет Вельтмана, поздоровались.

— Вот наш малый уезжает.

— А что же он сам не пришел? Он меня знает не хуже, чем тебя, прораб.

— Да просто для крепости, товарищ майор.

— Хорошо. У тебя вещи где?

— Все со мной, — я показал маленький фанерный чемоданчик.

— Вот и отлично. Иди в гостиницу и жди.

— Да я...

— Молчать! Делай, как приказано. А ты, прораб, трактор завтра дашь, равнять аэродром, а... Без трактора...

— Дам, дам, — сказал, улыбаясь, Супрун.

Я распрощался и с Вельтманом, и с прорабом и вошел в коридор гостиницы; ступая через ноги и тела, добрался до свободного места у окна. Здесь было, правда, похолодней, но потом, через несколько самолетов, через несколько очередей, я передвинусь к печке, к самой печке.

Прошел какой-нибудь час, и лежавшие вскочили на ноги, прислушиваясь жадно к небу, к гуду.

— Самолет!

— Грузовой дуглас!

— Не грузовой, а пассажирский.

По коридору метался дежурный аэропорта в шапке-ушанке с кокардой, держа в руках список — тот самый список на четырнадцать человек, который уже не первый месяц учили здесь наизусть.

— Все, кого вызывал, быстрее покупайте билеты. Летчик пообедает — и в путь.

— Семенов!

— Есть!

— Галицкий!

— Есть!

— А почему моя фамилия вычеркнута? — бесновался четырнадцатый. — Я же в очереди тут третий месяц!

— Что вы мне говорите? Это начальник порта вычеркнул. Вельтман — своей рукой. Только что. Вас отправят со следующим самолетом. Достаточно? А если хотите спорить, — вот кабинет Вельтмана. Он — там... Он вам и объяснит.

Но на объяснения четырнадцатый не решился. Мало ли что может случиться? Физиономия четырнадцатого Вельтману не понравится. И тогда не только не увезут на следующем самолете, а вычеркнут вовсе из списков. Бывало и такое.

— А кого вписали?

— Да вот неразборчиво, — дежурный с кокардой взглядывался в новую фамилию и вдруг выкрикнул мою фамилию.

— Вот я.

— К кассиру — быстро.

Я думал: не буду играть в благородство, я не откажусь, я уеду, улечу. За мной семнадцать лет Колымы.

Я бросился к кассиру последний, вытаскивая неприготовленные документы, комкая деньги, роняя на пол вещи.

— Беги быстро, — сказал кассир. — Ваш летчик уже пообедал, а сводки плохие — надо погоду проскочить, добраться до Якутска.

Этот неземной разговор я слушал чуть дыша.

Летчик во время посадки подрулил самолет поближе к двери столовой. Посадка давно была кончена. Я бежал со своим фанерным чемоданчиком к самолету. Неся в стынущих пальцах покрытый инеем самолетный билет, я задыхался от бега.

Дежурный по аэродрому проверил мой билет, посадил в люк. Летчик задвинул люк, прошел в кабину.

— Воздух!

Я добрался до места, до кресла, не в силах думать ни о чем, не в силах ничего понимать.

Сердце стучало, стучало целых семь часов, пока самолет не оказался внезапно на земле. Якутск.

В Якутском аэропорту мы спали в обнимку с новым моим товарищем — соседом по самолету. Нужно было высчитать самый дешевый путь до Москвы; хоть у меня путевые документы были до Джамбула, я понимал, что колымские законы вряд ли действуют на Большой Земле. Вероятно, можно будет устроиться на работу и на жизнь и не в Джамбуле. У меня еще будет время об этом размыслить.

А пока — дешевле всего до Иркутска самолетом, а там поездом до Москвы. Пять суток там. Или можно еще до Новосибирска, а там — тоже в Москву по железной дороге. Какой самолет раньше отправляется... Я купил билет на Иркутск.

До самолета оставалось несколько часов, и за эти несколько часов я прошел Якутск, взглядываясь в замороженную Лену, в молчащий одноэтажный, похожий на большую деревню город. Нет, Якутск еще не был городом, не был Большой Землей. В нем не было паровозного дыма.



ПОЕЗД

На иркутском вокзале я лег под свет электрической лампочки, ясный и резкий, — как-никак в поясе у меня были защиты все мои деньги. В полотняном поясе, который мне шили в мастерской два года назад, и ему, наконец, предстояло послужить свою службу. Осторожно ступая через ноги, выбирая дорожки между телами грязными, вонючими, рваными, ходил по вокзалу милиционер, и — что было еще лучше — военный патруль с красными повязками на рукавах, с автоматами. Конечно, милиционеру было бы не справиться со шпаной — и это, вероятно, было установлено гораздо ранее моего появления на вокзале. Не то что я боялся, — что у меня украдут деньги. Я давно уже ничего не боялся, а просто с деньгами было лучше, чем без денег. Свет падал мне в глаза, но тысячи раз ранее падал мне свет в глаза, и я выучился превосходно спать при свете. Я поднял воротник бушлата, именуемого в официальных документах полупальто, всунул руки в рукава покрепче, чуть-чуть опустил валенки с ног; пальцам стало свободно, и я заснул. Сквозняков я не боялся. Все было привычно: паровозные гудки, двигавшиеся вагоны, вокзал, милиционер, базар около вокзала — как будто я видел только многолетний сон и сейчас проснулся. И я испугался, и холодный пот выступил на коже. Я испугался страшной силе человека, желанью и уменью забывать. Я увидел, что я готов забыть все, вычеркнуть двадцать лет из своей жизни. И каких лет! И когда я это понял, я победил сам себя. Я знал, что я не позволю моей памяти забыть все, что видел. И я успокоился и заснул.

Я проснулся, перевернул портянки сухой стороной, умылся снегом — черные брызги летели во все стороны — и отправился в город. Это был первый настоящий город за 18 лет. Якутск был большой деревней. Лена отошла от города далеко, но жители боялись ее возвра-

щения, ее размылов, и песчаное русло-поле было пустым, там была только вьюга. Здесь, в Иркутске были большие дома, бегодня жителей, магазины.

Я купил там пару трикотажного белья — такого белья я не носил 18 лет. Мне доставляло несказанное удовольствие стоять в очередях, платить, протягивать чек. Номер? Я забыл номер. Самый большой. Продавщица неодобрительно покачала головой. 55? Вот-вот. И она завернула мне белье, которого и носить не пришлось, ибо мой номер был 51 — это я выяснил уже в Москве. Продавщицы были одеты все в синие одинаковые платья. Я купил еще помазок и перочинный нож. Эти чудесные вещи стоили баснословно дешево. На севере все такое было самодельным — и помазки, и перочинные ножи.

Я зашел в книжный магазин. В букинистическом отделении продавали «Русскую Историю» Соловьева — за 850 рублей все тома. Нет, книг я покупать до Москвы не буду. Но подержать книги в руках, постоять около прилавка книжного магазина — это было как хороший мясной борщ... Как стакан живой воды.

В Иркутске наши дороги разделились. Еще в Якутске, вчера, мы ходили по городу все вместе и билеты на самолет брали все вместе, в очередях стояли все вместе, вчетвером — доверять кому-либо деньги никому не приходило в голову. Это было не принято в нашем мире. Я дошел до моста и посмотрел вниз: на кипящую, зеленую, прозрачную до дна Ангару — могучую, чистую. И трогая замерзшей рукой холодные бурные перила, вдыхая запах бензина и зимней городской пыли, я глядел на торопливых пешеходов и понял, насколько я горожанин. Я понял, что самое дорогое, самое важное для человека время — когда рождается родина, пока семья и любовь еще не родились. Это время детства и ранней юности. И сердце мое сжалось. Я слал привет Иркутску от всей души. Иркутск был моей Вологдой, моей Москвой.

Когда я подходил к вокзалу, кто-то ударил меня по

плечу. «С тобой будут говорить», — сказал беленький мальчик в телогрейке и отвел меня в темноту. Немедленно из мрака вынырнул невысокий человек, внимательно на меня глядя.

Я увидел по взгляду, с кем я имею дело. Трусливый и наглый, лстивый и ненавидящий был этот, так хорошо знакомый мне взгляд. Из темноты виднелись еще какие-то рожи, мне их знать было не надо, они появятся в свое время — с ножами, с гвоздями, с пиками в руках... Сейчас передо мной было только одно лицо с бледной, землистой кожей, с опухшими веками, с крошечными губами, как бы приклеенными к скошенному выбритому подбородку. «Ты кто?» — он выставил грязную руку с длинными ногтями. Отвечать было необходимо. Никакой защиты ни патруль, ни милиционер тут оказать не могли.

— Ты — с Колымы? — Да, с Колымы. — Ты где работал там? — Фельдшером на партиях. — Фельдшером? Лепилой? Кровь, значит, пил нашего брата. Есть с тобой разговор.

Я сжимал в кармане купленный новенький перочинный ножик и молчал. Надеяться можно было только на случай, на какой-нибудь случай. Терпение и случай — вот что спасало и спасает нас. И случай пришел. Два кита, на которых стоит арестантский мир.

Тьма расступилась. «Я знаю его». — На свет появилась новая фигура, вовсе мне не знакомая. У меня была великая память на лица. Но этого человека я не видел никогда.

— Ты? — палец с длинным ногтем описал полукруг.

— Да, он работал в Колыме, — сказал неизвестный. — Говорят, человек. Помогал нашим. Хвалили.

Палец с ногтем исчез.

— Ну, иди, — злобно сказал вор. — Мы подумаем.

Счастье было в том, что ночевать мне в вокзале было больше не надо. Поезд на Москву отходил вечером.

Утром был тяжелый свет электрических ламп — мутных, никак не хотевших погаснуть. В хлопающие

двери виднелся иркутский день, холодный, светлый. Тучи людей, загромождавшие проходы, заполнявшие всякий квадратный сантиметр цементного пола, засаленной скамейки, — если кто-нибудь встанет, двинется, уйдет. Нескончаемое стояние в очереди перед кассой — билет на Москву, на Москву, а там видно будет... Не в Джембул, как указано в документах. Но кому нужны эти колымские документы в этой свалке людей, в этом бесконечном движении. Наступившая наконец моя очередь у окошка, судорожные движения, чтобы достать деньги, просунуть пачку блестящих кредиток в кассу, где они исчезнут — неминуемо исчезнут, как исчезла вся жизнь до этой минуты. Но чудо продолжалось совершаться, и окошечко выбросило какой-то твердый предмет, шероховатый, твердый, тоненький, как ломтик счастья, — билет на Москву. Кассирша что-то кричала вроде того, что это — поезд смешанный, что плацкартное место — в смешанном вагоне, что настоящее можно взять только на завтра или на послезавтра. Но я не понял ничего, кроме слов завтра и сегодня. Сегодня, сегодня. И сжимая крепко билет, пытаюсь оцупать все его грани своей бесчувственной, отмороженной кожей, я выдрался, выбрался на свободное место. Я был человек с самолета, у меня не было лишних вещей — только небольшой фанерный баульчик. Я был человек с Дальнего Севера, у меня не было лишних вещей — только маленький фанерный чемодан, тот самый, который я безуспешно пытался продать в Адыгалахе, собирая деньги на поездку в Москву. Дорогу мне не оплатили, — но это все было пустяки. Главное — это твердая картонная дощечка железнодорожного билета.

Отдышавшись где-то в вокзальном углу — место мое под яркой лампой было, конечно, занято, — я пошел через город, к вокзалу.

Посадка уже началась. На горке стоял игрушечный поезд, неправдоподобно маленький, просто несколько грязных картонных коробок поставлены были рядом —

среди сотен других, где жили дорожники или эксплуатационники, где было развешено замороженное белье, хлопающее под ударами ветра.

Мой поезд ничем не отличался от этих вагонных составов, превращенных в общежития.

Состав не был похож на поезд, следующий в столько-то часов в Москву, а был похож на общежитие. И там и тут спускались со ступенек вагонов люди, и там и тут по воздуху двигались какие-то вещи над головами движущихся людей. Я понял, что у поезда нет самого главного, нет жизни, нет обещания движения — нет паровоза. Действительно, ни у одного из общежитий не было паровоза. Мой состав был похож на общежитие. И я не поверил бы, что эти вагоны могут увезти меня в Москву, — но посадка уже шла.

Бой, страшный бой у входа в вагон. Кажется, что работа вдруг кончилась на два часа раньше, чем надо, и все прибежали домой, в барак, к теплой печке и рвутся в двери.

Какие там проводники... Каждый искал свое место сам, сам закреплялся и укреплялся. Моя плацкартная средняя полка была, конечно, занята каким-то пьяным лейтенантом, беспрерывно рыгающим. Я стащил лейтенанта на пол и показал ему свой билет. «У меня тоже билет на это место есть», — миролюбиво объяснил лейтенант, икнул, соскользнул на пол и тут же заснул.

Вагон все набивался и набивался людьми. Вверх поднимались и исчезали где-то вверху огромные какие-то тюки, чемоданы. Запахло резкой вонью овчинных тулупов, людского пота, грязи, карболки.

— Пересылка, пересылка, — повторял я, лежа на спине, вдвинутый в узкое пространство между средней и верхней полкой. Снизу вверх прополз мимо меня лейтенант с расстегнутым воротом, с красным помятым лицом. Лейтенант уцепился за что-то вверху, подтянулся на руках и исчез...

В суматохе, в крике вагонной этой транзитки я так и не услышал самого главного, что мне хотелось и надо

было услышать, о чем я мечтал семнадцать лет, что стало для меня неким символом «материка», символом жизни, символом Большой Земли. Я не услышал гудка паровоза. Я и не подумал о нем во время сражения за место в вагоне. Гудка я не услышал. Но дрогнули и качнулись вагоны, и вагон наш, наша пересылка, начал куда-то перемещаться, как будто я начинаю засыпать и барак плывет перед моими глазами.

Я заставил себя понять, что я еду — в Москву.

На стрелочном каком-то перегоне, тут же у Иркутска, вагон трянуло, и сверху вывалилась и повисла фигура лейтенанта, крепко, впрочем, вцепившегося в верхнюю полку, на которой он спал. Лейтенант рыгнул, и прямо на мое место, а также и на полку моего соседа — обрушилась блевотина. Блевотина была неудержимой. Сосед снял свою шубу — не телогрейку, не бушлат, а пальто-москвичку с меховым воротником, и, матерясь неудержимо, стал счищать блевотину.

У соседа моего было бесконечное количество каких-то плетеных корзин, зашитых в рогожу и не зашитых. Время от времени из глубины вагона появлялись какие-то женщины, укутанные в деревенские платки, в полушубках, с точно такими же плетеными корзинами на плечах. Женщины что-то кричали моему соседу, тот махал им приветственно рукой.

— Своячenea! В Ташкент к родным поехала, — объяснял он мне, хотя я и не требовал никаких объяснений.

Ближайшую свою плетенку сосед охотно раскрывал и показывал. Кроме пиджачной потрепанной пары да еще кое-каких вещичек, в плетенке ничего не было. Зато было много фотографий — семейных и групповых — на огромных паспарту, фотографий, часть которых была еще дагерротипами. Фотография покрупнее извлекалась из плетенки, и сосед мой охотно и подробно объяснял, кто где тут стоит, кто убит на войне, а кто получил орден, кто учится на инженера. «А вот — я», — непременно тыкал он в фотографию куда-то посредине, и все, кому он показывал эти фото-

графии, покорно, вежливо и сочувственно кивали головой.

На третий день совместной жизни в этом трясущемся вагоне сосед мой, составив обо мне представление полное, ясное и безусловно правильное, хотя я ничего о себе не рассказывал, сказал мне быстро, пока внимание других соседей было чем-то отвлечено.

— У меня в Москве пересадка. Ты поможешь мне одну плетенку вытащить через проходную? Сквозь весы?

— Меня же встречают в Москве.

— Ах, да. Я и забыл, что у вас — встреча.

— А что ты везешь?

— Что? Семечки. А из Москвы галоши повезем...

Ни на одной из станций я не выходил. Еда у меня была. Я боялся, что поезд обязательно уйдет без меня, что случится что-нибудь плохое — не может же счастье быть бесконечным.

Напротив на средней полке лежал какой-то человек в шубе, бесконечно пьяный, без шапки и рукавиц. Пьяные друзья посадили его в вагон, вручили билет проводнице. Сутки он ехал, потом где-то слез, вернулся с бутылкой какого-то темного вина, выпил ее прямо из горлышка, бросил бутылку — на пол вагона. Бутылку ловко подхватила проводница и унесла ее в свое проводничье логово, заваленное одеялами, которых никто не брал в смешанном вагоне, простынями, которые никому не понадобились. За барьером из одеял в том же купе проводников на верхней, третьей полке обосновалась проститутка, едущая с Колымы, а, может быть, и не проститутка, а превращенная Колымой в проститутку... Дама эта сидела недалеко от меня на нижнем месте, и качающийся свет тусклой вагонной свечи по временам падал на бесконечно утомленное лицо, на покрашенные чем-то, только не губной помадой, губы. Потом к ней кто-то подходил, что-то говорил, и она исчезала в купе проводников. «Пятьдесят

рублей», — сказал лейтенант, уже протрезвившийся и оказавшийся весьма милым молодым человеком.

Мы играли с ним в очень интересную игру. Когда в вагон садился новый пассажир, каждый из нас старался угадать профессию этого пассажира, возраст, занятие. Мы обменивались наблюдениями, потом он садился к пассажиру, заговаривал с ним и приходил ко мне с ответом.

Так дама с накрашенными губами, но с ногтями без следа лака была нами определена как медицинский работник, а леопардовая шуба, в которую дама была одета, — явно искусственная, поддельная шубка, — говорила, что ее обладатель — скорее медицинская сестра или фельдшер, но не врач. Врач не носил бы искусственную шубку. О нейлоне, синтетике тогда еще не слыхивали. Заключение наше оказалось верным.

Время от времени мимо нашего купе пробегал откуда-то изнутри вагона двухлетний ребенок на кривых ножках, грязный, оборванный, голубоглазый. Бледные щечки его были покрыты какими-то лишаями. Через минуту-две вслед за ним шагал уверенно и твердо молодой отец — в телогрейке с тяжелыми, крепкими, рабочими темными пальцами. Он ловил мальчика. Малыш смеялся, улыбаясь отцу, и отец улыбался мальчику и в радостном восторге возвращал малыша на место — в одном из купе нашего вагона. Я узнал их историю. Обычную колымскую историю. Отец — бытовик какой-то, только что освобожденный, уезжал на материк. Мать ребенка не захотела возвращаться, и отец ехал с сыном, твердо решив вырвать ребенка, а может быть, и себя — из цепких объятий Колымы. Почему не поехала мать? Может быть, эта была обычная история. Нашла другого, полюбила колымскую вольную жизнь — она уже была вольняшкой и не хотела попасть на материке в положение человека второго сорта... А может быть, молодость отцветала. Или любовь, колымская любовь, кончилась — мало ли что? А может быть, и еще страшнее. Мать отбывала по пятьдесят восьмой статье —

самой бытовой из всех бытовых — и знала, чем ей грозит возвращение на Большую Землю. Новым сроком, новыми мученьями. На Колыме тоже нет гарантий от срока, но — ее не будут ловить, как ловили всех на материке.

Я ничего не узнал и ничего не хотел узнавать. Благородство, порядочность, любовь к своему ребенку, которого отец и видел-то, наверно, немного — ведь ребенок был в яслях, в детском саду.

Неумелые руки отца, расстегивающие детские штанишки, огромные разноцветные пуговицы, пришитые грубыми, неумелыми, но добрыми руками. Счастье отца и счастье мальчика. Этот двухлетний малыш не знал слова «мама». Он кричал: «Папа, папа!» И он, и темнокожий слесарь играли друг с другом, с трудом находя место среди пьяных, среди картежников, среди спекулянтских корзин и тюков. Эти-то два человека в нашем вагоне были, конечно, счастливы.

Пассажиру, который спал вторые сутки от Иркутска, который проснулся лишь затем, чтобы выпить, проглотить новую бутылку водки, или коньяка, или настойки, дальше спать не пришлось. Поезд трянуло. Спящий пассажир рухнул на пол и застонал, застонал. Вызванная проводниками медицинская помощь определила, что у пассажира перелом плеча. Его уволокли на носилках, и он исчез из моей жизни.

Внезапно в вагоне возникла фигура моего спасителя, или сказать спаситель будет слишком громко — дело ведь тогда не дошло до чего-нибудь важного, кровавого. Знакомый мой сидел, меня не узнавая и как бы не желая узнавать. Все же мы переглянулись с ним, и я подошел к нему. «Хочу хоть до дому доехать, посмотреть родных», — вот последние слова этого блатаря, которые я слышал.

Вот это все: и резкий свет лампы на иркутском вокзале, и спекулянт, везущий с собой чужие фотографии для камуфляжа, и блевотина, которую извергала на

мою полку глотка молодого лейтенанта, и грустная проститутка на третьей полке купе проводников, и двухлетний грязный ребенок, счастливо кричащий «папа! папа!», — вот это все и запомнилось мне как первое счастье, непрерывное счастье «воли».

Ярославский вокзал. Шум, городской прибой Москвы — города, который был мне роднее всех городов мира. Остановившийся вагон. Родное лицо жены, встречающей меня — так же, как и раньше, когда я возвращался из многочисленных своих поездок. На этот раз командировка была длительной — почти семнадцать лет. А самое главное — я возвращался не из командировки. Я возвращался из ада.



III. ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

ПРОКУРАТОР ИУДЕИ

Пятого декабря тысяча девятьсот сорок седьмого года в бухту Нагаево вошел пароход «Ким» с человеческим грузом. Рейс был последний, навигация кончилась. Сорокаградусными морозами встречал гостей Магадан. Впрочем, на пароходе были привезены не гости, а истинные хозяева этой земли — заключенные.

Все начальство города прибыло, явилось в порт. Все бывшие в городе грузовики встречали в Нагаевском порту пришедший пароход «Ким». Солдаты, кадровые войска окружили мол, и выгрузка началась.

За пятьсот километров от бухты все свободные приисковые машины двинулись к Магадану порожняком, подчиняясь зову селектора.

Мертвых бросали на берегу и возили на кладбище, складывая в братские могилы, не привязывая бирок, а составив только акт о необходимости эксгумации в будущем.

Наиболее тяжелобольных, но еще живых — развозили по больницам для заключенных в Магадане, Оле, Армани, Дукче.

Больных в состоянии средней тяжести болезни везли в Центральную больницу для заключенных — на левый берег Колымы. Больница туда только что переехала с 23 километра. Приди бы пароход «Ким» на год раньше — ехать за 500 километров не пришлось бы.

Заведующий хирургическим отделением Кубанцев, только что из армии, с фронта, был потрясен зрелищем этих людей, этих страшных ран. В каждой приехавшей из Магадана машине были трупы умерших в пути.

Хирург понимал, что это «легкие», транспортабельные, те, что полегче, а самых тяжелых оставляли на месте.

Хирург повторял слова генерала Радищева, которые где-то сразу после войны удалось ему прочитать: «Фронтовой опыт солдата не может подготовить человека к зрелищу смерти в лагерях».

Кубанцев терял хладнокровие. Не знал, что приказать, с чего начать. Колыма обрушила на фронтового хирурга слишком большой груз. Но надо было что-то делать. Санитары снимали больных с машин, несли на носилках в хирургическое отделение. В хирургическом отделении носилки стояли по всем коридорам тесно. Запахи мы запоминаем, как стихи, как человеческие лица. Запах этого лагерного гноя навсегда остался во вкусовой памяти Кубанцева. Всю жизнь он вспоминал потом этот запах. Казалось бы, гной пахнет везде одинаково и смерть везде одинакова. Так нет. Всю жизнь Кубанцеву казалось, что это пахнут раны тех первых его больных на Колыме. Кубанцев курил, курил и чувствовал, что теряет выдержку, не знает, что приказать санитарам, фельдшерам, врачам.

— Алексей Алексеевич, — услышал Кубанцев голос рядом. Это был Браудэ, хирург из заключенных, бывший заведующий этим же самым отделением, только что смещенный с должности приказом высшего начальства лишь потому, что Браудэ был бывшим заключенным, да еще с немецкой фамилией.

— Разрешите мне командовать. Я все это знаю. Я здесь десять лет.

Взволнованный Кубанцев уступил место командиру и работа завертелась. Три хирурга начали операции одновременно — фельдшеры вымыли руки как ассистенты. Другие фельдшеры делали уколы, наливали сердечникам лекарства.

— Ампутации, только ампутации, — бормотал Браудэ. Он любил хирургию, страдал, по его собственным словам, если в его жизни выдавался день без одной операции, без одного разреза.

— Сейчас скучать не придется, — радовался Браудэ. — А Кубанцев хоть парень и неплохой, а растерялся. Фронтовой хирург! У них там все инструкции, схемы, приказы, а вот вам живая жизнь, Колыма!

Но Браудэ был не злой человек. Снятый без всякого повода со своей должности, он не возненавидел своего преемника, не делал ему гадости. Напротив, Браудэ видел растерянность Кубанцева, чувствовал его глубокую благодарность. Как-никак у человека семья, жена, сын-школьник. Офицеры получают паек, высокая ставка, длинный рубль. А что у Браудэ? Десять лет срока за плечами, очень сомнительное будущее. Браудэ был из Саратова, ученик знаменитого Краузе, и сам обещал очень много. Но тридцать седьмой год вдребезги разбил всю судьбу Браудэ. Так Кубанцеву ли он будет мстить за свои неудачи? . . .

И Браудэ командовал, резал, ругался. Браудэ жил, забывая себя, и хоть в минуты раздумья часто ненавидел эту свою презренную забывчивость — переделаться не мог.

Сегодня решил: уйду из больницы. Уеду на материк. Скоро и сказке конец, а мы еще не знаем начала.

Пятого декабря тысяча девятьсот сорок седьмого года в бухту Нагаево вошел пароход «Ким» с человеческим грузом — тремя тысячами заключенных. В пути заключенные подняли бунт, и начальство приняло решение залить все трюмы водой. Все это было сделано при сорокаградусном морозе. Что такое отморожение III-IV степеней, как говорил Браудэ, или обморожение, как выражался Кубанцев, — Кубанцеву дано было знать в первый день его колымской службы ради выслуги лет.

Все это надо было забыть, и Кубанцев, дисциплинированный и волевой человек, так и сделал. Заставил себя забыть.

Через семнадцать лет Кубанцев вспомнил имя-отчество каждого фельдшера из заключенных, каждую медсестру, вспомнил, кто с кем из заключенных

«жил», имея в виду лагерные романы. Вспомнил чин каждого начальника из тех, что поподлее. Одного только не вспомнил Кубанцев — парохода «Ким» с тремя тысячами отороженных заключенных.

У Анатоля Франса есть рассказ «Прокуратор Иудеи». Там Понтий Пилат не может через семнадцать лет вспомнить Христа.



БОЛЬ

Это — странная история, такая странная, что и понять ее нельзя тому, кто не был в лагере, кто не знает темных глубин уголовного мира, блатного царства. Лагерь — это дно жизни. Преступный мир — это не дно дна. Это совсем, совсем другое, нечеловеческое.

Есть банальная фраза: история повторяется дважды — первый раз как трагедия, второй раз как фарс.

Нет. Есть еще третье отражение тех же событий, того же сюжета, отражение в вогнутом зеркале подземного мира. Сюжет невообразим и все же реален, существует взаправду, живет рядом с вами.

В этом вогнутом зеркале чувств и поступков отражаются вполне реальные виселицы на приисковых «правилках», «судах чести» блатарей. Здесь играют в войну, повторяют спектакли войны, и льется живая кровь.

Есть мир высших сил, мир гомеровских богов, спускающихся к нам, чтобы показать себя и своим примером улучшить человеческую породу. Правда, боги опаздывают. Гомер хвалил ахеян, а мы восхищаемся Гектором — нравственный климат немножко изменился. Иногда боги зовут людей на небо, чтобы сделать человека «высоких зрелищ» зрителем. Все это разгадано поэтом давно. Есть мир и подземный ад, откуда люди иногда возвращаются, не исчезают навсегда. Зачем они возвращаются? Сердце этих людей наполнено вечной тревогой, вечным ужасом темного мира, отнюдь не загробного.

Этот мир — реальной, чем гомеровские небеса.

Шелгунов «тормозился» на пересылке во Владивостоке — оборванный, грязный, голодный, недобитый конвоем отказчик от работы. Надо было жить, а на кобляках, как на тележках для газовых печей Освенцима,

везли и везли за море пароход за пароходом, этап за этапом. За морем, откуда не возвращался никто, Шелгунов уже побывал в прошлом году, в прибольничной «долине смерти» и дождался обратной отправки на материк — на золото шелгуновские кости не брали.

Сейчас опасность опять приближалась, вся зыбкость арестантского жития ощущалась Шелгуновым все явственней. И не было выхода из этой зыбкости, из этой ненадежности.

Пересылка, огромный поселок, перерезанный в разных направлениях правильными квадратами зон, опутанный проволокой и простреливаемый с сотни караульных вышек, освещенный, просвеченный тысячей «юпитеров», слепящих слабые арестантские глаза.

Нары этой огромной пересылки — ворот на Колыму — то внезапно пустели, а то вновь наполнялись измученными грязными людьми — новыми этапами с воли.

Пароходы возвращались, пересылка отрыгала новую порцию людей, пустела и вновь наполнялась.

В зоне, где жил Шелгунов — самой большой зоне пересылки, — очищались все бараки, кроме девятого. В девятом жили блатари. Там гулял сам Король — главарь. Надзиратели туда не показывались, лагерная обслуга каждый день подбирала у крыльца трупы «качавших права» с Королем.

В этот барак повара тащили с кухни свои лучшие блюда, и лучшие вещи — «тряпки» — всех этапов непременно «игрались» в девятом, королевском бараке.

Шелгунов, прямой потомок землевольцев Шелгуновых, отец которого был на воле академиком, а мать — профессором, с детских лет жил книгами и для книг; книголюб и книгочей, он всосал русскую культуру с молоком матери. Деятнадцатый век, золотой век человечества формировал Шелгунова.

Делись знанием. Верь людям, люби людей — так учила великая русская литература, и Шелгунов давно чувствовал в себе силы воздать обществу полученное по наследству. Жертвовать собой — для любого.

Восставать против неправды, как бы мелка она ни была, особенно если неправда — близко.

Тюрьма и ссылка были первым ответом государства на попытки Шелгунова жить так, как его учили книги, как учил девятнадцатый век.

Шелгунов был поражен низостью людей, которые окружали его. В лагере не было героев. Шелгунов не хотел верить, что девятнадцатый век обманул его. Глубокое разочарование в людях во время следствия, этапа, транзитки вдруг сменилось прежней бодростью, прежней восторженностью. Шелгунов искал и встретил то, что он хотел, то, о чем он мечтал — живые примеры. Он встретил силу, о которой много читал раньше и вера в которую вошла в кровь Шелгунова. Это был блатной, преступный мир.

Начальство, которое тогда было, презирало соседей и друзей Шелгунова и самого Шелгунова — и боялось и благоговело перед уголовниками.

Вот мир, который смело поставил себя против государства, мир, который может помочь Шелгунову в его слепой романтической жажде добра, жажде и мщенья...

— У вас тут нет романиста?

Кто-то переобувался, поставив ногу на нары. По галстуку, носкам в мире, где много лет существовали только портянки, Шелгунов безошибочно определил — из девятого барака.

— Есть один. Эй, писатель!

— Здесь писатель!

Шелгунов вывернулся из темноты.

— Пойдем-ка к Королю — тиснешь чего-нибудь.

— Я не пойду.

— Как же это ты не пойдешь? До вечера не доживешь, дурачок!

Художественная литература хорошо подготовила Шелгунова к встрече с преступным миром. Благоговей, Шелгунов переступил порог девятого барака. Все его нервы, вся его тяга к добру были напряжены, звенели, как струны. Шелгунов должен был добиться успеха,

завоевать внимание, доверие, любовь высокого слушателя — хозяина тут, Короля. И Шелгунов успеха добился. Все его злоключения кончились в тот самый миг, когда сухие губы Короля раздвинулись в улыбке.

Что Шелгунов «тискал» — дай бог памяти? С беспрюигрышной карты — «Графа Монтекросто» Шелгунов и ходить не захотел. Нет. Хроники Стендаля и автобиография Челлини, кровавые легенды итальянского средневековья воскресил перед Королем Шелгунов.

— Молодчик, молодчик! — хрипел Король. — Хорошо похавали культуру.

Ни о какой лагерной работе для Шелгунова не могло быть и речи с этого вечера. Ему принесли обед, табак, а на следующий день перевели в девятый барак на постоянную прописку, если такая прописка бывает в лагере.

Шелгунов стал придворным романистом.

— Что невесел, романист?

— О доме думаю, о жене...

— Ну...

— Да вот, следствие, этап, пересылка. Ведь переписываться не дают, пока на золото не привезут.

— Эх, ты, олень. А мы на что? Пиши твоей красотке, и мы отправим — без почтовых ящичков, по нашей железной дороге. А, романист?

— Да я вам век буду служить.

— Пиши.

И раз в неделю Шелгунов стал отправлять письма в Москву.

Жена Шелгунова была артистка, московская артистка из генеральской семьи.

Когда-то в час ареста они обнялись.

— Пусть год или два не будет писем. Я буду ждать, я буду с тобой всегда.

— Письма придут раньше, — уверенно, по-мужски успокаивал жену Шелгунов. — Я найду свои каналы.

И по этим каналам ты будешь мои письма получать. И отвечать на них.

— Да! Да! Да!

— Звать ли романиста? Не надоел ли? — заботливо спросил своего шефа Коля Карзубый. — Не привезли ли Петюнчика из нового этапа... Можно из наших, а можно из пятьдесят восьмой.

Петюнчиками блатные называют педерастов.

— Нет. Зови романиста. Культуры мы похавали, правда, достаточно. Но все это — романы, теория. Мы с этим фраером еще в одну игру играем. Времени у нас предостаточно.

.

— Мечта моя, романист, — сказал Король, когда все обряды отхода ко сну были выполнены — и пятки почесаны, и крест надет на шею, и на спину поставлены тюремные «банки» — щипки с подсечкой, — мечта моя, романист, чтобы мне письма с воли такая баба писала, как твоя. Хороша! — Король повертел в руках изломанную, истертую фотографию Марины, жены Шелгунова, пронесенную Шелгуновым через тысячи обысков, дезинфекций и краж.

— Хорошо! Для сеанса годится. Генеральская дочь! Артистка! Счастливые вы, фраера, — а у нас одни сифилюги. А на триппер и внимания не обращаешь. Ну, кимаем. Уже сон снится.

И на следующий вечер романист не тискал романов.

— Чем-то ты мне по душе, фраер. Олень и олень, а есть капля жульнической крови в тебе. Напиши-ка письмо жене товарища моего, человека, одним словом. Ты — писатель. Понежней, да поумней. Если ты столько романов знаешь. Небось ни одна не устоит против твоего письма. А мы что — темный народ. Пиши. Человек переписет и отправит. У вас даже имя одинаковое — Александр. Вот смехота. Правда, у него Александр только по этому делу, по которому идет. Но ведь все равно Александр. Шура, значит, Шурочка.

— Никогда таких писем не писал, — сказал Шелгунов. — Но попробовать могу.

Каждое письмо, смысл письма Король рассказывал устно, а Шелгунов-Сирано замыслы Короля обращал в жизнь.

Пятьдесят таких писем написал Шелгунов.

— В одном было: «Я во всем признался, прошу советскую власть простить меня» . . .

— Разве уркачи, то есть блатные, — невольно прерывая письмо, спросил Шелгунов, — просят о прощении?

— А как же? — сказал Король. — Эта ксива — кукла, маскировка, туфта. Военная хитрость.

Больше Шелгунов не спрашивал, а покорно писал все, что ему диктовал Король.

Шелгунов перечитывал письма вслух, исправлял стиль, гордился силой своего непотухшего мозга. Король одобрял, чуть раздвигая губы в своей королевской улыбке.

Все кончается. Кончилось и писание писем для Короля. А может быть, была важная причина, шел слух, лагерная «параша», что Короля отправят-таки в этап на Колыму — куда он отправил, убивая и обманывая, столько. Сонного, значит, схватят, свяжут руки и ноги и — на пароход. Пора было кончать переписку, и так уж чуть не год Шелгунов-Сирано говорил слова любви Роксане голосом Кристиана. Но надо кончить игру поблатному, чтоб живая кровь выступила . . .

Кровь запеклась на виске человека, труп которого лежал перед очами Короля.

Шелгунов хотел закрыть лицо, укоризненно глядящие глаза.

— Ты видишь, это кто? Это и есть твой тезка, Шура, для которого ты письма писал. Его сегодня оперативники заделали начисто, топором отрубили голову. Видно, шел закрытый шарфом. Пиши.

— Пишет товарищ вашего Шуры! Шуру вчера расстреляли, и я спешу написать вам, что последними его словами . . .

— Написал? — сказал Король. — Мы перепишем — и лады. Больше не надо писать писем.

— Это письмо я мог бы и без тебя написать, — улыбнулся Король. — Нам дорого образование, писатель. Мы люди тэмны...

Шелгунов написал похоронное письмо.

Король как в воду глядел — был схвачен ночью и отправлен за море.

А Шелгунов, не найдя связь с домом, потерял и надежды. Он бился в одиночку год, второй, третий — скитался от больницы до работы, негодую на жену, которая оказалась стервой или трусихой, которая не воспользовалась «верными каналами» связи и забыла его, Шелгунова, и растоптала всякую память о нем.

Но случилось так, что и лагерный ад кончается, и Шелгунов освободился, приехал в Москву.

Мать сказала, что о Марине ничего не знает. Отец умер. Шелгунов разыскал подругу Марины, сослуживицу по театру, и вошел в квартиру, где она жила.

Подруга закричала.

— Что случилось? — сказал Шелгунов.

— Ты не умер, Шура...

— Как умер? Когда я здесь стою?

— Вечно жить будете, — вывернулся из соседней комнаты человек. — Такая примета.

— Вечно жить — это, пожалуй, не нужно, — тихо выговорил Шелгунов. — Но в чем дело? Где Марина?

— Марина умерла. После того как тебя расстреляли, она бросилась под поезд. Только не там, где Анна Каренина, а в Расторгуеве. Положила голову под колеса. Голову ровно, чисто отрезали. Ты ведь признался во всем, а Марина не хотела слушать, верила в тебя.

— Признался?

— Да ты сам написал. А о том, что тебя расстреляли, — написал твой товарищ. Да вот ее сундучок.

В сундучке были все пятьдесят писем, которые Шелгунов написал Марине по своим каналам из Владивостока. Каналы работали отлично, но не для фраеров.

Шелгунов сжег свои письма, убившие Марину. Но где же письма Марины, где фотография Марины, посланная во Владивосток? Шелгунов представил Короля, читающего письма любви. Посланную Мариной фотографию тонкого тела Марины, нежного ее лица. Представил, как это фото служит Королю «для сеанса». И Шелгунов заплакал. Потом он плакал каждый день, всю жизнь.

Шелгунов бросился к матери, чтоб найти хоть что-нибудь, хоть строчку, написанную рукой Марины. Пусть не ему. Такие письма нашлись, два истертые письма, и Шелгунов выучил эти письма наизусть.

Генеральская дочь, артистка пишет письма блатарю. В блатном языке есть слово «хлестаться» — это значит хвалиться, и пришло это слово в блатную феню из большой литературы. Хлестаться — значит быть Хлестаковым. Королю было чем похлестаться: «Этот фраер — романист. Умора. Милый Шура. Вот как надо писать письма, а ты, сука позорная, двух слов связать не могла...» Король читал отрывки из своего собственного романа Зое Талитовой — проститутке.

— У меня нет образования.

— Нет образования. Учитесь, твари, как жить.

Все это легко видел Шелгунов, стоя в темном московском подъезде. Сцена Сирано, Кристиана и Роксаны, разыгранная в девятом кругу ада, почти что на льду Дальнего Севера. Шелгунов поверил блатарям, и они заставили его убить свою жену собственными руками.

Два письма истлели, но чернила не выгорели, бумага не превратилась в прах.

Каждый день Шелгунов читал эти письма. Как их хранить вечно? Каким клеем замазывать щели, трещины в этих темных листочках почтовой бумаги, белой когда-то? Только не жидким стеклом. Жидкое стекло сожжет, уничтожит.

Но все же — письма можно склеить так, что они будут жить вечно. Любой архивист знает этот способ,

особенно архивист литературного музея. Надо заставить письма говорить — вот и все.

Милое женское лицо укрепилось на стекле рядом с русской иконой двенадцатого века, чуть повыше иконы Богородицы-троеручицы. Женское лицо, фотография Марины здесь была вполне уместной и — превосходило икону... Чем Марина не богородица, чем не святая? Чем? Почему столько женщин — святые, равноапостольные, великомученицы, а Марина — только актриса, актриса, положившая голову под поезд? Или православная религия не принимает в ангельский чин самоубийц? Фотография пряталась среди икон и сама была иконой.

Иногда ночами Шелгунов просыпался и, не зажигая света, ощупывал, искал на столе фотографию Марины. Отмороженные в лагере пальцы не могли отличить иконы от фотографии, дерева от картона.

А может быть, Шелгунов был просто пьян. Пил Шелгунов каждый день. Конечно, водка — вред, алкоголь — яд, а антабус — благо. Но что делать, если на столе икона Марины.

.

— А ты помнишь этого фраера, этого романиста, писателя, Генка. А? Или уже забыл давно? — спрашивал Король, когда пришло время отхода ко сну и все обряды были выполнены.

— Отчего же забыл? Помню. Это был еще тот лох, тот осел! — И Генка помахал растопыренными пальцами руки над своим правым ухом.



ПРОКАЖЕННЫЕ

Сразу после войны в больнице была сыграна драма — вернее, развязка драмы.

Война подняла со дна жизни и вынесла на свет такие пласты, такие куски жизни, которые всегда и везде скрывались от яркого солнечного света. Это — не уголовщина и не подпольные кружки. Это — совсем другое.

Во время военных действий были сломаны лепрозории, и прокаженные смешались с населением. Тайная ли это или явная война? Химическая или бактериологическая?

Пораженные проказой легко выдавали себя за раненых, за увечных во время войны. Прокаженные смешались с бегущими на восток, вернулись в настоящую, хоть и страшную, жизнь, где их принимали за жертвы войны, за героев, быть может.

Прокаженные жили, работали. Надо было кончиться войне, чтобы о прокаженных вспомнили врачи, и страшные картотеки лепрозориев стали пополняться снова.

Прокаженные жили среди людей, разделяя отступление, наступление, радость или горечь победы. Прокаженные работали на фабриках, на земле. Становились начальниками и подчиненными. Солдатами они только не становились никогда — мешали культи пальцев, похожие, неотличимые от военных травм. Прокаженные и выдавали себя за увечных войны — единицы среди миллионов.

Сергей Федоренко был заведующим складом. Инвалид войны, он ловко справлялся со своими непослушными обрубками пальцев и хорошо выполнял свое дело. Его ждали карьера, партбилет, но, добравшись до денег, Федоренко начал пить, гулять, был арестован, судим и приплыл с одним из рейсов колымских кораб-

лей в Магадан как осужденный на десять лет по бытовой статье.

Здесь Федоренко переменял свой диагноз. Хотя и здесь хватало увечных, саморубов, например. Но было выгоднее, моднее, незаметнее раствориться в море отморожений.

Вот так я его и встретил в больнице — последствия отморожения III-IV степени, незаживающая рана, культя стопы, культя пальцев обеих кистей.

Федоренко лечился. Лечение не давало результатов. Но ведь всякий больной боролся с лечением, как мог и умел. Федоренко после многих месяцев трофических язв выписался и, желая задержаться в больнице, Федоренко стал санитаром, попал старшим санитаром в хирургическом отделении мест на триста. Больница эта была больница центральная, на тысячу коек только заключенных. В пристройке, на одном из этажей была больница для вольнонаемных.

Случилось так, что врач, который вел историю болезни Федоренко, заболел, и вместо него «записывать» стал доктор Красинский, старый военный врач, любитель Жюль Верна (почему?), человек, в ком колымская жизнь не отбила желания поболтать, побеседовать, обсудить.

Осматривая Федоренко, Красинский был поражен чем-то — он и сам не знал, чем. Со студенческих лет поднималась эта тревога. — Нет, это не трофическая язва, не обрубок от взрыва, от топора. Это медленно разрушающаяся ткань. — Сердце Красинского застучало. Он вызвал Федоренко еще раз и потащил его к окну, к свету, жадно вглядываясь в лицо, сам себе не веря. Это — лепра! Это — львиная маска. Человеческое лицо, похожее на морду льва. Красинский лихорадочно листал учебники. Взял большую иглу и несколько раз уколол белое пятнышко, которых было немало на коже Федоренко. Никакой боли! Обливаясь потом, Красинский написал рапорт по начальству. Больной Федоренко был изолирован в отдельную палату, кусочки

кожи для биопсии были отправлены в центр, в Магадан, а оттуда — в Москву. Ответ пришел недели через две. Лепра! Красинский ходил именинником. Начальство переписывалось с начальством о выписке наряда в колымский лепрозорий. Там лепрозорий на острове расположен, а на обоих берегах стоят наведенные на переправу пулеметы. Наряд, нужен был наряд.

Федоренко не отрицал, что он был в лепрозории и что прокаженные, предоставленные самим себе, бежали на волю. Одни — догонять отступавших, другие — встречать гитлеровцев. Так, как и в жизни. Федоренко ждал отправки спокойно, но бушевала больница. Вся больница. И те, которых избивали на допросах и чья душа была превращена в прах тысячами допросов, а тело изломано, измучено непосильной рабстой — со сроками двадцать пять и пять, сроками, которые нельзя было прожить, выжить, остаться в живых... Все трепетали, кричали, проклинали Федоренко, боялись проказы.

Это тот же самый психический феномен, который заставляет беглеца отложить хорошо подготовленный побег потому, что в лагере в этот день дают табак — или «ларек». Сколько есть лагерей, столько есть таких странных примеров, далеких от логики.

Человеческий стыд, например. Где его границы и мера? Люди, у которых погибла жизнь, растоптаны будущее и прошлое, вдруг оказывались во власти какого-то пустячного предрассудка, какой-то чепухи, которую люди не могут почему-то переступить, не могут почему-то отвергнуть. И это внезапное проявление стыда возникает как тончайшее человеческое чувство, и вспоминается потом всю жизнь как что-то настоящее, как что-то бесконечно дорогое. В больнице был случай, когда фельдшеру, который не был еще фельдшером, а просто «помогал», поручили брить женщин, брить женский этап. Развлекающееся начальство приказало женщинам брить мужчин, а мужчинам — женщин. Каждый развлекается, как умеет. Но парикмахер-мужчина умо-

лял своего начальника сделать этот обряд «санобработкой» и никак не хотел подумать, что ведь загублена жизнь; что все эти развлечения лагерного начальства — это все лишь грязная накипь на этом страшном котле, где намертво варится его собственная жизнь.

Это человеческое, смешное, нежное обнаруживается в людях внезапно.

В больнице была паника. Ведь Федоренко работал несколько месяцев там. Увы, «продромальный период» заболевания до появления внешних признаков болезни у проказы продолжается несколько лет. Мнительные были обречены сохранить страх в своей душе навеки, вольные и заключенные — все равно.

Паника была в больнице. Врачи лихорадочно искали — у больных и у себя — эти белые, нечувствительные пятнышки. Иголка стала вместе с фонендоскопом и молоточком неотделимой принадлежностью врача для первичного осмотра.

Больного Федоренко приводили и раздевали перед фельдшерами, врачами. Надзиратель с пистолетом стоял поодаль больного. Доктор Красинский, вооруженный огромной указкой, рассказывал о лепре, протягивая палку то к львиному лицу бывшего санитаря, то к его отваливающимся пальцам, то к блестящим белым пятнам на его спине.

Пересмотрены были буквально все жители больницы, вольные и заключенные, и вдруг белое пятнышко, нечувствительное белое пятнышко оказалось на спине Шуры Лещинской, фронтowej сестры — ныне дежурной женского отделения. Лещинская в больнице была недавно, несколько месяцев. Никакой львиной маски. Вела Лещинская себя не строже и не снисходительней, не громче и не развязней, чем любая больничная «сестра» из заключенных.

Лещинская была заперта в одной из палат женского отделения, а кусочек ее кожи увезен в Магадан, в Москву на анализ. И ответ пришел: лепра!

Дезинфекция после проказы — трудное дело. Пола-

гается сжигать домик, в котором жил прокаженный. Так велют учебники. Но сжечь, выжечь одну из палат огромного двухэтажного дома, дома-гиганта! На это никто не решался. Подобно тому, как при дезинфекции дорогих меховых вещей идут на риск, оставляя заразу, но сохраняя пушное богатство — лишь символически псбрызгав на драгоценные меха, ибо от «жарилки», от высокой температуры погибнут не только микробы, погибнут и сами вещи. Начальство молчало бы даже в случае чумы или холеры.

Кто-то взял на себя ответственность не сжигать. Палату, в которой был заперт Федоренко, ожидавший отправки в лепрозорий, тоже не сжигали. А просто залили все фенолом, карболкой, опрыскивали многократно.

Сейчас же появилась новая важная тревога. И Федоренко, и Лещинская каждый занимал по большой палате в несколько коек.

Ответ и наряд — наряд на двух человек, конвой на двух человек — все еще не приходил, не приезжал, как ни напоминало начальство в своих ежедневных, вернее, еженощных телефонограммах в Магадан.

Внизу, в подвале было выгорожено помещение и построены две маленькие камеры для арестантов-прокаженных. Туда перевели Федоренко и Лещинскую. Запертые на тяжелый замок, с конвоем, прокаженные были оставлены ждать приказа, наряда в лепрозорий, конвоя.

Сутки прожили в своих камерах Федоренко и Лещинская, а через сутки смена часовых нашла камеры пустыми.

В больнице началась паника. Все в камерах было на месте, окна и двери.

Красинский догадался первый. Они ушли через пол.

Силач Федоренко разобрал бревна, вышел в коридор, ограбил хлебрезку, операционную хирургического отделения и, собрав весь спирт, все настойки из

шкафчиков, все «кодеинчики», уволок добычу в подземную нору.

Прокаженные выбрали место, выгородили ложе, набросали на него одеял, матрасов, загородились бревнами от мира, конвоя, больницы, лепрозория и прожили вместе, как муж и жена, несколько дней, три дня, кажется.

На третий день и сыскные люди, и сыскные собаки охраны нашли прокаженных. Я тоже шел в этой группе по высокому подвалу больницы. Фундамент там был очень высокий. Разобрали бревна, и в глубине, не вставая, лежали обнаженные оба прокаженных. Изуродованные темные руки Федоренко обнимали белое, блестящее тело Лещинской. Оба были пьяны.

Их закрыли одеялами и унесли в одну из камер, не разлучая больше.

Кто же закрывал их одеялом, кто прикасался к этим страшным телам? Особый санитар, которого нашли в больнице для «обслуживания», давая (с разъяснения высшего начальства) по 7 дней зачета за один рабочий день. Выше, стало быть, чем на вольфраме, на олове, на уране. Семь дней за день. Статья тут не имела на этот раз значения. Найден был фронтовик, сидевший за измену родине, имевший двадцать пять и пять и наивно полагавший, что своим геройством уменьшит срок, приблизит день возвращения на свободу.

Заклученный Корольков — лейтенант с войны — дежурил у камеры круглосуточно. У дверей камеры и спал. А когда приехал конвой с «острова», заключенного Королькова взяли вместе с прокаженными как «обслуживание». Больше я ничего никогда не слыхал ни о Королькове, ни о Федоренко, ни о Лещинской.

В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ

— Этап с Золотистого!

— Чей прииск?

— Сучий.

— Вызывай бойцов на обыск. Не справишься ведь сам.

— А бойцы прохлопают. Кадры.

— Не прохлопают. Я постою в дверях.

— Ну, разве так.

Этап, грязный, пыльный, сгружался. Это был этап «со значением» — слишком много широкоплечих, слишком много повязок, процент хирургических больных чересчур велик для этапа с прииска.

Вошел дежурный врач Клавдия Ивановна, вольнонаемная женщина.

— Начнем?

— Подождем, пока придут бойцы для обыска.

— Новый порядок?

— Да. Новый порядок. Сейчас вы увидите в чем дело, Клавдия Ивановна.

— Проходи на середину — вот ты, с костылями. Документы!

Нарядчик подал документы — направление в больницу. «Личные дела» нарядчик оставил себе, отложил.

— Снимай повязку. Дай бинты, Гриша. Наши бинты. Клавдия Ивановна, прошу вас осмотреть перелом.

Белая змейка бинта скользнула на пол. Ногой фельдшер отбросил бинт в сторону. К транспортной шине был прибинтован не нож, а копьё, большой гвоздь — самое портативное оружие сучьей войны. Падая на пол, копьё зазвенело, и Клавдия Ивановна побледнела.

Бойцы подхватили копьё.

— Снимайте все повязки.

— А гипс?

— Ломайте весь гипс. Наложат завтра новый.

Фельдшер, не глядя, прислушивался к привычным звукам кусков железа, падающих на каменный пол. Под каждой гипсовой повязкой было оружие. Заложено — и загипсовано.

— Вы понимаете, что это значит, Клавдия Ивановна?

— Понимаю.

— И я понимаю. Рапорта мы по начальству писать не будем, а на словах начальнику санчасти прииска скажем — да, Клавдия Ивановна?

— Двадцать ножей, — сообщил врачу надзиратель, — на пятнадцать человек этапа.

— Это вы называете ножами? Скорее это копья.

— Теперь, Клавдия Ивановна, всех здоровых — назад. И идите досматривать фильм. Вы понимаете, Клавдия Ивановна, на этом прииске безграмотный врач однажды написал диагноз о травме, когда больной упал с машины и разбился, — «проляпус из машины», на манер «проляпус ректи» — выпадение прямой кишки. Но загипсовывать оружие он научился.

Безнадежные злобные глаза смотрели на фельдшера.

— Ну, кто болен — будет положен в больницу, — сказала Клавдия Ивановна. Подходите по одному.

Хирургические больные, ожидая обратной отправки, матерились, не стесняясь. Утраченные надежды развязали им языки. Блатари материли дежурного врача, фельдшера, охрану, санитаров.

— Тебе еще глаза прорежем, — задыхался блатарь.

— Что ты можешь мне сделать, дерьмо? Сонного зарезать только. Вы в тридцать седьмом пятьдесят восьмую статью и забивали палкой в забое немало. Стариков и всяких Иван-Иванычей забыли?

Но не только за «хирургическими» блатарями надо было следить. Гораздо большее было разоблачать попытки попасть в туберкулезное отделение, где больной в тряпочке привозил «бацилльный харчок» — явно туберкулезного больного готовили к осмотру врача. Врач говорил: «Харкай в баночку» — делался экстренный анализ на присутствие бацилл Коха. Перед осмотром

врача больной брал в рот отравленный бациллами харчок — и заражался туберкулезом, конечно. Зато попадал в больницу, спасался от самого страшного — приисковой работы в золотом забое. Хоть на час, хоть на день, хоть на месяц.

Больнее было разоблачать тех, которые привозили в бутылочке кровь или царапали себе палец, чтобы прибавить каплю крови в собственную мочу и с «гематурией» войти в больницу, полежать хоть до завтра, хоть неделю. А там — что бог даст.

Таких было немало. Эти были пограмотней. Туберкулезный харчок в рот бы не взяли для госпитализации. Слыхали эти люди и о том, что такое белок, для чего берут анализ мочи. Какая в нем польза больному. Месяцы, проведенные на больничных койках, многому их научили. Были больные с контрактурами, ложными, — под наркозом, под «раушем» им разгибали коленный и локтевой суставы. А раза два контрактура, сращение было настоящим, и обманутый врач силой разорвал живые ткани, разгибая колено. Переусердствовал, не рассчитал своей собственной силы.

Большинство было с «мостырьками» — прокол язвы иглой, сильно смазанной керосином, вызывал подожное воспаление. Этих больных можно принять, а можно и не принять. Жизненных показаний тут нет.

Особенно много «мостырьщиков»-женщин из совхоза Эльген, а потом, когда был открыт особый женский золотой прииск Дебин — с тачкой, лопатой и кайлом для женщин, — количество мостырьщиков с этого прииска резко увеличилось. Это был тот самый прииск, где санитарки зарубили топором врача, прекрасного врача по фамилии Шицель, седую крымчанку. Раньше Шицель работала при больнице, но «анкета» увела ее на прииск и на смерть.

Клавдия Ивановна идет досматривать «постановку» лагерной культбригады, а фельдшер ложится спать. Но через час его будят: «Этап. Женский этап с Эльгена».

Это этап — где будет очень много вещей. Это дела

надзирателей. Этап небольшой, и Клавдия Ивановна вызывается принять весь этап сама. Фельдшер благодарит и засыпает и тут же просыпается от толчка, от слез, горьких слез Клавдии Ивановны. Что такое там случилось?

— Я не могу больше жить здесь. Не могу больше. Я брошу дежурство.

Фельдшер плещет в лицо пригоршню холодной воды из крана и, утираясь рукавом, выходит в приемную комнату.

Хохочут все! Больные, приезжая охрана, надзиратели. Отдельно на кушетке мечется из стороны в сторону красивая, очень красивая девушка. Девушка не первый раз в больнице.

— Здравствуйте, Валя Громова.

— Ну вот, хоть теперь человека увидела.

— Что тут за шум?

— Меня в больницу не кладут.

— А почему ее в самом деле не кладут? У ней с туберкулезом неблагополучно.

— Да ведь это кобёл, — грубо вмешивается нарядчик. — О ней постановление было. Запрещают принимать.

— Да ведь спала же без меня. Или без мужа...

— Врут они все, — кричит Валя Громова бесстыдно.

— Видите, какие у меня пальцы. Какие ногти...

Фельдшер плюет на пол и уходит в другую комнату. У Клавдии Ивановны истерический приступ.



ГЕОЛОГИ

Ночью Криста разбудили, и дежурный надзиратель провел его по бесконечным темным коридорам в кабинет начальника больницы. Подполковник медицинской службы еще не спал. Львов, уполномоченный МВД, сидел у стола начальника и рисовал на листке бумаги каких-то равнодушных птичек.

— Фельдшер приемного покоя Крист явился по вашему вызову, гражданин начальник.

Подполковник махнул рукой, и пришедший с Кристом дежурный надзиратель исчез.

— Слушай, Крист, — сказал начальник, — к тебе привезут гостей.

— Этап придет, — сказал уполномоченный.

Крист выжидательно молчал.

— Вымоешь их. Дезинфекция и прочее.

— Слушаюсь.

— Ни один человек знать об этих людях не должен. Никакого общения.

— Доверяем тебе, — разъяснил уполномоченный и закашлялся.

— С дезкамерой я один не управлюсь, гражданин начальник, — сказал Крист. — Там управление камерой далеко от смесителя с горячей и холодной водой. Пар и вода разобщены.

— Значит . . .

— Нужен еще санитар, гражданин начальник.

Начальники переглянулись.

— Пусть будет санитар, — сказал уполномоченный.

— Так ты понял? Никому ни слова.

— Понял, гражданин начальник.

Крист и уполномоченный вышли. Начальник встал, загасил верхний свет и стал надевать шинель.

— Откуда такой этап? — негромко спросил Крист у уполномоченного, проходя сквозь глубокий тамбур ка-

бинета, — московская мода, которой подражали везде, где были кабинеты начальников, штатских или военных — все равно.

— Откуда?

Уполномоченный расхохотался.

— Ах, Крист, Крист, никак не думал, что ты мне можешь задать такой вопрос... И выговорил холодно: — Из Москвы самолетом.

— Значит, лагеря не знают. Тюрьма, следствие и все прочее. Первая щелочка на вольный воздух, как кажется им — всем, кто не знает лагеря. Из Москвы самолетом...

Следующей ночью гулкий просторный большой вестибюль наполнился чужим народом — офицерами, офицерами, офицерами. Майоры, подполковники, полковники. Даже один генерал был — низенький, молодой, черноглазый. Ни одного солдата в конвое не было.

Худощавый и рослый старик, начальник больницы, с трудом сгибался, рапортуя маленькому генералу.

— Все готово к приему.

— Отлично, отлично.

— Баня!

— Начальник махнул Кристу рукой, и двери приемного покоя растворились.

Толпа офицерских шинелей расступилась. Золотой звездный свет погон померк — все внимание приезжих и встречающих было отдано маленькой группе грязных людей в истерепанных каких-то лохмотьях, но не казенных — нет, еще своих, гражданских, следственных, выношенных на подстилках, на полах тюремной камеры.

Двенадцать мужчин и одна женщина.

— Анна Петровна, — пожалуйста, — проговорил арестант, пропуская женщину вперед.

— Что вы — идите и мойтесь. Я отдохну, пока вы моетесь.

Дверь приемного покоя закрылась.

Все десять человек стояли вокруг Криста и жадно

глядели ему в глаза, пытаюсь разгадать что-то, еще не спрашивая.

— Вы давно на Колыме? — спросил самый храбрый, разглядев Криста «Ивана Ивановича».

— С тридцать седьмого.

— В тридцать седьмом мы все были еще...

— Замолчи, — вмешался другой, постарше.

— Вошел надзиратель, секретарь парторганизации больницы Хабибулин, особо доверявший Кристу начальник. Хабибулин наблюдал и за приезжими, и за Кристом.

— А бритье?

— Парикмахер вызван, — сказал Хабибулин. — Это — перс из блатных, Юрка.

Перс из блатных, Юрка, скоро явился со своим инструментом. Он получил инструкцию на вахте и только мычал.

Внимание приезжих вновь обратилось к Кристу.

— А мы вас не подведем?

— Как вы можете меня подвести, господа инженеры, — так, должно быть?

— Геологи.

— Господа геологи.

— А где мы?

— На Колыме. В 500 километрах от Мзгадана.

— Ну, прощайте. Хорошая это штука — баня.

Геологи были — все! — с заграничной, зарубежной работы. Получили «срок» от 15 до 25. И распорядилось их судьбой особое управление, где было так мало солдат и так много офицеров и генералов.

Колыме и Дальстрою «хозяйство» этих генералов не подчинялось. Колыма давала только горизонт — воздух из зарешеченных окон, большой паек, баню три раза в месяц, постель и белье без вшей, крышу. О прогулках и кино речи не было еще. Москва выбрала геологам их заполярную дачу.

Какую-то большую работу по специальности предло-

жили сделать начальству эти геологи — очередная вариация прямого котла Рамзина.

Искру творческого огня можно выбивать обыкновенной палкой — это хорошо известно после «перековки» и многочисленных Беломорканалов. Подвела шкала пищевых «поощрений и взысканий», зачеты рабочих дней и надежда — и вот рабский труд превращается в труд благословенный.

Через месяц приехал маленький генерал. Геологи пожелали ходить в кино, кино для заключенных и вольных. Маленький генерал «согласовал» вопрос с Москвой и разрешил геологам кино. Балкон-ложу, где сидело раньше начальство, разгородили, укрепили тюремными решетками. В соседстве с начальством на киносеансы поместили геологов.

Книг из лагерной библиотеки геологам не давали. Только техническую литературу.

Секретарь парторганизации, старый дальстроевец Хабибулин, впервые за свою надзирательскую жизнь собственными руками таскал узлы с бельем геологов в прачечную. Это угнетало надзирателя больше всего на свете.

Еще через месяц приехал маленький генерал, и геологи попросили занавески на окна.

— Занавески, — грустно говорил Хабибулин, — занавески им понадобились.

Маленький генерал был доволен. Работа геологов двигалась вперед. Раз в десять дней ночью отпирался приемный покой и геологи мылись в бане.

Крист мало вел разговор с ними. Да и что могли ему рассказать следственные геологи такого, чего Крист бы не знал за свою лагерную жизнь.

Тогда внимание геологов обратилось на парикмахера-перса.

— Ты не говори много с ними, Юрка, — сказал как-то Крист.

— Этот фраер еще будет меня учить. — И перс выругался матерно.

Прошла еще одна баня; перс пришел явно выпивши, и может быть, «начифирился» или «хватил кодеинчику». Только держался он слишком бойко, заторопился домой, выскочил с вахты на улицу, не дожидаясь попутного провожатого в лагерь, и в открытое окно Крист услышал сухой щелчок револьверного выстрела. Перс был убит надзирателем, тем самым, которого он только что брил. Скрюченное тело лежало у крыльца. Дежурный врач пощупал пульс, подписал акт. Пришел другой парикмахер, Ашот, — армянский террорист из той самой боевой группы армянских эсеров, которая убила в 1926 году трех турецких министров во главе с Талаатбеом — виновником армянской резни 1915 года, когда был уничтожен миллион армян... Следственная часть проверила «личное дело» Ашота, и брить геологов ему больше не пришлось. Нашли кого-то из блатарей, да и самый принцип был изменен — каждый раз брил новый парикмахер. Так считалось безопаснее — не наладят связи. В Бутырской тюрьме так меняют часовых — скользящей системой постов.

Геологи ни о персе, ни об Ашоте ничего не узнали. Работа их двигалась успешно, и приехавший маленький генерал разрешил геологам получасовую прогулку. Это тоже было сущим унижением для старшего надзирателя Хабибулина. Надзиратель в лагере покорных, трусливых, бесправных людей — начальник большой. А здесь надзирательская служба в ее чистом виде не понравилась Хабибулину.

Все грустнее становились его глаза, все краснее нос. Хабибулин запил решительно. И однажды упал с моста вниз головой в Колыму, но был спасен и не прервал своей важной надзирательской службы. Покорно таскал узлы белья в прачечную, покорно мел комнату, меняя занавески на окнах.

— Ну, как жизнь? — спрашивал Хабибулина Крист — как-никак они дежурили тут вместе больше года.

— Плохая жизнь, — выдохнул Хабибулин.

Приехал маленький генерал. Работа геологов шла отлично. Радуюсь, улыбаясь, генерал обходил тюрьму геологов. Генералу выходила награда за их работу.

Вытянувшись в струнку у порога, Хабибулин провожал генерала.

— Ну, хорошо, хорошо. Вижу, что не подвели, — весело говорил маленький генерал.

— А вы, — генерал перевел глаза на стоявших у порога надзирателей, — вы обращайтесь с ними пожебливей. А то я вас, суки, в гроб вколочу!

И генерал удалился.

Хабибулин, шатаясь, дошел до приемного покоя, выпил у Криста двойную порцию валерьянки и написал рапорт о немедленном переводе с работы на любую другую.

Показал рапорт Кристу, ища сочувствия. Крист пытался объяснить надзирателю, что для генерала важнее эти геологи, чем сотня Хабибулиных, но оскорбленный в своих лучших чувствах старший надзиратель не захотел понять этой простой истины.

Геологи исчезли в одну из ночей.

—————oOo—————

МЕДВЕДИ

Котенок вылез из-под топчана и едва успел прыгнуть обратно — геолог Филатов швырнул в него сапогом.

— Чего ты бесишься? — сказал я, откладывая в сторону засаленный том «Монтекристо».

— Не люблю кошек. Вот это — другое дело, — Филатов притянул к себе серого густошерстного щенка и потрепал его по шее. — Чистый овчар. Куси его, Казбек, куси, — геолог науськивал щенка на котенка. Но на носу щенка были две свежих царапины от кошачьих когтей, и Казбек только глухо рычал, но не двигался.

Житья котенку у нас не было. Пятеро мужчин вымещало на нем скуку безделья — разлив реки задержал наш отъезд. Южиков и Кочубей, плотники, вторую неделю играли в шестьдесят шесть на будущую получку. Счастье было переменным. Повар открыл дверь и крикнул:

— Медведи! — Все опрометью бросились к двери.

Итак, нас было пятеро, винтовка была у нас одна — у геолога. Топоров всем не хватало, и повар захватил с собой кухонный нож, острый, как бритва.

Медведи шли по горе за ручьем — самец и самка. Они трясли, ломали, выдергивали с корнями молодые листовенницы, швыряли их в ручей. Они были одни на свете в этом таежном мае, и люди подошли к ним с подветренной стороны очень близко — шагов на двести. Медведь был бурый, с рыжеватым отливом, вдвое крупнее медведицы, старик — желтые крупные клыки были хорошо видны.

Филатов — он был лучшим стрелком — сел и положил винтовку на ствол упавшей листовенницы, чтоб бить с упора, навверняка. Он водил стволом, ища дорогу пуле между листьями кустов, начинающих желтеть.

— Бей, — рычал повар с побелевшим от азарта лицом, — бей!

Медведи услышали шорох. Реакция их была мгновенной, как у футболиста во время матча. Медведица помчалась вверх по склону горы — за перевал. Старый медведь не побежал. Повернул морду в сторону опасности и, оскалив клыки, он медленно пошел по горе — к заросли стланиковых кустов. Он явно принимал опасность на себя, он, самец, жертвовал жизнью, чтоб спасти свою подругу, он отвлекал от нее смерть, он прикрывал ее бегство.

Филатов выстрелил. Он, как я уже говорил, был хорошим стрелком — медведь упал и покатился по склону в ущелье, пока лиственница, которую он сломал, играя, полчаса назад, не задержала тяжелого тела. Медведица давно исчезла.

Все было таким огромным — небо, скалы, — что медведь казался игрушечным. Убит он был наповал. Мы связали ему лапы, продели шест и, качаясь от тяжести огромной туши, спустились на дно ущелья, на скользкий двухметровый лед, который еще не успел растаять. Волоком мы подтащили медведя к порогу нашей избушки.

Двухмесячный щенок, который за свою короткую жизнь не видал медведей, забился под койку, обезумев от страха. Котенок повел себя не так. Он, в бешенстве, бросился на медвежью тушу, с которой мы впятером снимали шкуру. Котенок рвал куски теплого мяса, хватал крошки свернувшейся крови, плясал на узловатых красных мускулах зверя...

Шкура вышла в четыре квадратных метра.

— Пудов на двенадцать мяска-то, — повторял повар каждому.

Добыча была богатая, но так как вывезти ее и продать было нельзя, то она была разделена тут же поровну. Котелки и сковороды геолога Филатова кипели день и ночь, пока он не заболел желудком. Южиков и Кочубей, убедившись, что для расчетов по карточной игре медвежье мясо — материал неподходящий, засо-

лили каждый свою долю в выложенных из камня ямах и каждый день ходили проверять сохранность. Повар упрятал мясо неизвестно куда — он знал какой-то секрет засолки, но никому его не открыл. А я — кормил котенка и щенка, и мы трое расправились с медвежьим мясом благополучней всех. Воспоминаний об удачной охоте хватило на два дня. Ссориться стали лишь на третий день, к вечеру.



ОЖЕРЕЛЬЕ КНЯГИНИ ГАГАРИНОЙ

Тюремное следственное время скользит по памяти и не оставляет заметных и резких следов. Для каждого следственного тюрьма, ее встречи, ее люди — не главное. Главное же, на что тратятся все душевные, все духовные и нервные силы в тюрьме, — борьба со следователем. То, что происходит в кабинетах допросного корпуса, лучше запоминается, чем тюремная жизнь. Ни одна книга, прочитанная в тюрьме, не остается в памяти — только «срочные» тюрьмы были университетом, из которого выходят звездочеты, романисты, мемуаристы. Книги, прочитанные в следственной тюрьме, — не запоминаются. Для Криста не поединок со следователем играл главную роль. Крист понимал, что он обречен, что арест — это осуждение, заклятие. И Крист был спокоен. Он сохранил способность наблюдать, сохранил способность действовать вопреки убаюкивающему ритму тюремного режима. Крист не раз встречался с пагубной человеческой привычкой — рассказывать самое главное о себе, высказать всего себя соседу, соседу по камере, по больничной койке, по вагонному купе. Эти тайны, хранимые на дне людской души, были иной раз ошеломительны, невероятны.

Сосед Криста справа, механик Волоколамской фабрики, в ответ на просьбу вспомнить самое яркое событие жизни, самое хорошее, что в жизни случилось, сообщил, весь сияя от переживаемого воспоминания, что по карточкам в 1933 году получил двадцать банок овощных консервов, и когда вскрыл дома — все банки оказались мясными консервами. Каждую банку механик рубил топором пополам, заперевшись на ключ от соседней, — все банки были с мясом, ни одна не оказалась овощной. В тюрьме не смеются над такими воспоминаниями. Сосед Криста слева, генеральный

секретарь общества политкаторжан Александр Георгиевич Андреев, сдвинул свои серебряные брови к переносице. Черные глаза его заблестели. — Да, такой день в моей жизни есть — 12 марта 1917 года. Я — вечник царской каторги. Волею судеб тридцатилетнюю годовщину этого события я встретил в тюрьме здесь, с вами.

С противоположных нар слез стройный и пухлый человек.

— Разрешите мне принять участие в вашей игре. Я — доктор Миролюбов, Валерий Андреевич, — доктор слабо и жалобно улыбнулся.

— Садитесь, — сказал Крист, освобождая место. Сделать это было очень просто — только подогнуть ноги. Никаким другим способом освободить место было нельзя. Миролюбов тут же влез на нары. Ноги доктора были в домашних тапочках. Крист удивленно поднял брови.

— Нет, не из дома, но в Таганке, где я сидел два месяца, порядки попроще.

— Таганка ведь уголовная тюрьма?

— Да, уголовная, конечно, — рассеянно подтвердил доктор Миролюбов.

— С вашим приходом в камеру, — сказал Миролюбов, поднимая глаза на Криста, — жизнь изменилась. Игры стали более осмысленными. Не то, что этот ужасный «жучок», которым все увлекались... Ждали даже «оправки», чтобы вволю поиграть в жучка в уборной. Наверное, опыт есть...

— Есть, — сказал Крист печально и твердо.

Миролюбов заглянул в глаза Кристу своими выпуклыми, добрыми, близорукими глазами.

— Очки у меня блатари забрали. В Таганке.

В мозгу Криста бегло, привычно пробегали вопросы, предположения, догадки... Ищет совета. Не знает, за что арестован. Впрочем...

— А почему вас перевели из Таганки сюда?

— Не знаю. Ни одного допроса два месяца. А в Таганке... Меня ведь вызвали как свидетеля по делу о

квартирной краже. У нас в квартире пальто украли у соседа. Допросили меня и предъявили постановление об аресте . . . Абракадабра. Ни слова — вот уже третий месяц. И перевели в Бутырки.

— Ну, что ж, — сказал Крист. — Набирайтесь терпения. Готовьтесь к сюрпризам. Не такая уж тут абракадабра. Организованная путаница, как выражался критик Иуда Гроссман-Рощин. Помните такого? Соратник Махно? — Нет, не помню, — сказал доктор. Надежда на всеведение Криста угасла, и блеск в миролюбовских глазах исчез.

Художественные узоры сценарной ткани следствия были очень, очень разнообразны. Это было известно Кристу. Привлечение по делу о квартирной краже — пусть в качестве свидетеля — наводило на мысль о знаменитых «амальгамах». Во всяком случае таганские приключения доктора Миролюбова были следственным камуфляжем, бог знает зачем нужным поэтам из НКВД.

— Поговорим, Валерий Андреевич, о другом. О лучшем дне жизни. О самом, самом ярком событии вашей жизни.

— Да, я слышал, слышал ваш разговор.

— У меня есть такое событие, перевернувшее всю мою жизнь. Только все, что случилось со мной, не похоже ни на рассказ Александра Георгиевича — Миролюбов склонился влево к генеральному секретарю общества политкаторжан, — ни на рассказ этого товарища — Миролюбов склонился вправо, к волоколамскому механику . . .

— В 1901 году я был первокурсником-медиком, студентом Московского университета. Молодой был. Возвышенных мыслей. Глупый. Недогадливый.

— «Лох» по-блатному? — подсказал Крист.

— Нет, не «лох». Я немножко после Таганки понимаю по-блатному. А вы откуда?

— Изучал по самоучителю, — сказал Крист.

— Нет, не лох, а такой... «гаудеамус». Ясно? Вот так.

— К делу, ближе к делу, Валерий Андреевич, — сказал волоколамский механик.

— Сейчас буду ближе. У нас здесь так мало свободного времени... Читаю газеты. Огромное объявление. Княгиня Гагарина потеряла свое брильянтовое ожерелье. Семейная драгоценность. Нашедшему — пять тысяч рублей. Читаю газету, комкаю, бросаю в мусорный ящик. Иду и думаю: вот бы мне найти это ожерелье. Половину матери послал бы. На половину съездил бы за границу. Пальто хорошее купил бы. Абонемент в Малый театр. Тогда еще не было Художественного. Иду по Никитскому бульвару. Да не по бульвару, а по доскам деревянного тротуара — еще там гвоздь один вылезал постоянно, как наступишь. Сошел на землю, чтоб обойти этот гвоздь, и смотрю — в канаве... Словом, нашел ожерелье. Посидел на бульваре, помечтал. Подумал о своем будущем счастье. В университет не пошел, а пошел к мусорному ящику, достал свою газету, развернул, прочитал адрес.

Звоню... Звоню. Лакей. — Насчет ожерелья. — Выходит сам князь. Выбегает жена. — Двадцать лет мне тогда было. Двадцать лет. Испытание было большим. Проба всего, с чем я вырос, чему научился... Надо было решать сразу — человек я или не человек. — Я сейчас принесу деньги. — Это — князь. — Или, может быть, вам чек? Садитесь. — А княгиня здесь же в двух шагах от меня. Я не сел. Говорю: Я — студент. Я принес ожерелье не затем, чтобы получить какую-то награду.

— Ах, вот что, — сказал князь. — Простите нас. Прощу к столу, позавтракаем с нами. — И жена его, Ирина Сергеевна, поцеловала меня.

— Пять тысяч, — зачарованно выговорил волоколамский механик.

— Большая проба, — сказал генеральный секретарь общества политкаторжан. — Так я первую свою бомбу бросал в Крыму.

— Потом я стал бывать у князя чуть не каждый день. Влюбился в его жену. Три лета подряд за границу с ними ездил. Врачом уже. Так я и не женился. Прожил жизнь холостяком из-за этого ожерелья... И потом — революция. Гражданская война. В гражданскую войну я хорошо познакомился с Путной, с Витовтом Путной. Был у него домашним врачом. Путна был хороший мужик, но, конечно, не князь Гагарин. Не было в нем чего-то... этакого. Да и жены такой не было.

— Просто вы стали старше на двадцать лет, на двадцать лет старше «гаудеамуса».

— Может быть...

— А где сейчас Путна?

— Военный атташе в Англии.

Александр Георгиевич, сосед слева, улыбнулся.

— Я думаю, разгадку ваших бедствий, как любил выражаться Мюссе, следует искать именно в Путне, во всем этом «комплексе». А?

— Но каким образом?

— Это уж следователи знают. Готовьтесь к бою под Путной — вот вам совет старика.

— Да вы моложе меня.

— Моложе не моложе, просто во мне гаудеамуса было меньше, а бомб больше, — улыбнулся Андреев. — Не будем ссориться.

— А ваше мнение?

— Я согласен с Александром Георгиевичем, — сказал Крест.

Миролюбов покраснел, но сдержался. Тюремная ссора вспыхивает, как пожар в сухом лесу. И Крест, и Андреев об этом знали. Миролюбову это еще предстояло узнать.

Пришел такой день, такой допрос, после которого Миролюбов двое суток лежал вниз лицом и не ходил на прогулку.

На третьи сутки Валерий Андреевич встал и подошел к Кресту, трогая пальцами покрасневшие веки голубых своих, бессонных глаз. Подошел и сказал:

— Вы были правы.

Прав был Андреев, а не Крист, но тут была тонкость в признании своих ошибок, тонкость, которую и Крист, и Андреев хорошо почувствовали.

— Путна?

— Путна. Все это слишком ужасно, слишком. — И Валерий Андреевич заплакал. Двое суток он крепился и все же не выдержал. И Андреев, и Крист не любили плачущих мужчин.

— Успокойтесь.

Ночью Криста разбудил горячий шепот Миролюбова.

— Я вам все скажу. Я гибну непоправимо. Не знаю, что делать. Я домашний врач Путны. И сейчас меня допрашивают не о квартирной краже, а — страшно подумать — о подготовке покушения на правительство.

— Валерий Андреевич, — сказал Крист, отгоняя от себя сон и зевая. — В нашей камере ведь не только вы в этом обвиняетесь. Вон лежит неграмотный Лёнька из Тумского района Московской области. Лёнька развинчивал гайки на полотне железной дороги. На грузила, как чеховский злоумышленник. Вы ведь сильны в литературе, во всех этих гаудеамусах. Лёньку обвиняют во вредительстве и терроре. И никакой истерики. А рядом с Лёнькой лежит брюхач Воронков, шеф-повар кафе «Москва» — бывшее кафе «Пушкин» на Страстной, бывали? В коричневых тонах пущено было это кафе. Воронкова переманивали в «Прагу» на Арбатскую площадь — директором там был Филиппов. Так вот в воронковском деле следовательской рукой записано — и каждый лист подписан Воронковым! — что Филиппов предлагал Воронкову квартиру из трех комнат, поездки за границу для повышения квалификации. Поварское дело ведь умирает... «Директор ресторана «Прага» Филиппов предлагал мне все это в случае моего согласия на переход, а когда я отказался — предложил мне отравить правительство. И я согласился». Ваше дело, Валерий Андреевич, тоже из отдела «техники на грани фантастики».

— Что вы меня успокаиваете? Что вы знаете? Я с Путной вместе чуть не с революции. С гражданской войны. Я — свой человек в его доме. Я был с ним вместе и в Приморье, и на юге. Только в Англию меня не пустили. Визы не дали.

— А Путна — в Англии?

— Я уже вам говорил — был в Англии. Был в Англии. Но сейчас он не в Англии, а здесь, с нами.

— Вот как.

— Третьего дня, — шептал Миролюбов, — было два вопроса. На первом мне было предложено написать все, что я знаю о террористической работе Путны, о его суждениях на этот счет. Кто у него бывал. Какие велись разговоры. Я все написал. Подробно. Никаких террористических разговоров я не слышал, никто из гостей... Потом был перерыв. Обед. И меня кормили обедом тоже. Из двух блюд. Горох на второе. У нас в Бутырках все дают чечевицу из бобовых, а там — горох. А после обеда, когда мне дали «покурить», вообще-то я не курю, но в тюрьме стал привыкать. Сели снова «записывать». Следователь говорит: «Вот вы, доктор Миролюбов, так преданно защищаете, выгораживаете Путну, вашего многолетнего хозяина и друга. Это делает вам честь, доктор Миролюбов. Путна к вам относился не так, как вы к нему...»

— Что это значит?

— А вот что. Вот пишет сам Путна. Почитайте. И следователь дал мне многостраничные показания, написанные рукой самого Путны.

— Вот как...

— Да. Я почувствовал, что седею. В заявлении этом Путна пишет: «Да, в моей квартире готовилось террористическое покушение, плёлся заговор против членов правительства, Сталина, Молотова. Во всех этих разговорах принимал самое ближайшее участие, самое активное участие Климент Ефремович Ворошилов». И последняя фраза, выжженная в моем мозгу: «Все это

может подтвердить мой домашний врач доктор Миролюбов».

Крист свистнул. Смерть придвинулась слишком близко к Миролюбову.

— Что делать? Что делать? Как говорить? Почерк Путны не подделан. Я знаю его почерк слишком хорошо. И руки не дрожали, как у царевича Алексея после кнута, — помните эти исторические сыскные дела, этот протокол допроса петровского времени?

— Искренне завидую вам, — сказал Крист, — что любовь к литературе все преодолевает. Впрочем, это любовь к истории. Но если уж хватает душевных сил на аналогии, на сравнения, хватит и для того, чтобы разумно разобраться в вашем деле. Ясно одно: Путна арестован.

— Да, он здесь.

— Или на Лубянке. Или в Лефортове. Но не в Англии. Скажите мне, Валерий Андреевич, по чистой совести — были ли хоть какие нибудь неодобрительные суждения, — Крист закрутил свои воображаемые усы, — хотя бы в самой общей форме.

— Никогда.

— Или: «В моем присутствии никогда». Эти следственные тонкости вам должны быть известны.

— Нет, никогда. Путна — вполне правоверный товарищ. Военный. Грубоватый.

— Теперь еще один вопрос. Психологически — самый важный. Только по совести.

— Я везде отвечаю одинаково.

— Ну, не сердитесь, маркиз Поза. Мне кажется, вы смеетесь надо мной.

— Нет, не смеюсь. Скажите мне откровенно, как Путна относился к Ворошилову.

— Путна его ненавидел, — горячо выдохнул Миролюбов.

— Вот мы и нашли решение, Валерий Андреевич. Здесь — не гипноз, не работа господина Орнальдо, не уколы, не медикаменты. Даже не угрозы, не выстойки

на «конвейере». Это — холодный расчет обреченного. Последнее сражение Путны. Вы — пешка в такой игре, Валерий Андреевич. Помните в «Полтаве»...

Утратить жизнь — и с нею честь.
Врагов с собой на плаху весть.

— Друзей с собой на плаху весть, — поправил Мироллюбов.

— Нет. «Друзей» — это читалось для вас и для таких, как вы, Валерий Андреевич, милый мой гаудеамус. Тут расчет больше на врагов, чем на друзей. Побольше прихватить врагов. Друзей возьмут и так.

— Но что же делать мне, мне?

— Хотите добрый совет, Валерий Андреевич?

— Добрый или злой, мне все равно. Я не хочу умирать.

— Нет, только добрый. Показывайте только правду. Если Путьна захотел солгать перед смертью — это его дело. Ваше спасение — только правда, одна правда, ничего, кроме правды.

— Я всегда говорил только правду.

— И «показывал» правду? Тут есть много оттенков. Ложь во спасение, например. Или: интересы общества и государства. Классовые интересы отдельного человека и личная мораль. Формальная логика и логика не формальная.

— Только правду!

— Тем лучше. Значит, есть опыт показывать правду. На этом стойте.

— Немного вы мне посоветовали, — разочаровано сказал Мироллюбов.

— Случай нелегкий, — сказал Крист. — Будем верить, что «там» — отлично знают, что к чему. Понадобится ваша смерть — умрете. Не понадобится — спасетесь.

— Печальные советы.

— Других нет.

Крист встретил Миролюбова на пароходе «Кулу» — пятый рейс навигации 1937 года. Рейс Владивосток — Магадан.

Личный врач князя Гагарина и Витовта Путны поздоровался с Кристом холодно — ведь Крист был свидетелем душевной слабости, опасного какого-то часа его жизни и — так чувствовал Миролюбов — ничем не помог Валерию Андреевичу в трудный, смертный момент.

Крист и Миролюбов пожали друг другу руки.

— Рад видеть вас живым, — сказал Крист. — Сколько?

— Пять лет. Вы издеваетесь надо мной. Ведь я не виноват ни в чем. А тут пять лет лагерей. Колыма.

— Положение у вас было очень опасное. Смертельно опасное. Счастье не изменило вам, — сказал Крист.

— Подите вы к чёрту с таким счастьем.

И Крист подумал: Миролюбов прав. Это слишком русское счастье — радоваться, что невинному дали пять лет. Ведь могли бы дать десять, даже вышака.

На Колыме Крист и Миролюбов не встречались. Колыма велика. Но из рассказов, из рассказов Крист узнал, что счастья доктора Миролюбова хватило на все пять лет его лагерного срока. Миролюбов был освобожден в войну, работал врачом на прииске, состарился и умер до XX съезда партии.



АКАДЕМИК

Оказалось, что беседу с академиком очень трудно напечатать. Не потому, что академик наговорил чепухи, нет. Это был академик с большим именем, многоопытный любитель всевозможных интервью, а беседовал он на хорошо ему знакомую тему. Журналист, посланный для беседы, обладал достаточной квалификацией. Это был хороший журналист, а тридцать лет назад — очень хороший. Причина была в стремительности научного прогресса. Журнальные сроки — «гранки», «верстки», издательские «графики» — безнадежно отставали от движения науки. Осенью пятидесяти седьмого года, четвертого октября, был запущен спутник. О подготовке к его запуску академик знал кое-что, а журналист ничего не знал. Но и академику, и журналисту, и редактору журнала было ясно, что не только границы информации после запуска спутника должны быть раздвинуты, но и сам тон статьи изменен. Статья в ее первом варианте должна была дышать ожиданием больших, исключительных событий. Сейчас эти события наступили. Поэтому через месяц после беседы академик слал в редакцию длиннейшие телеграммы из ялтинского санатория, телеграммы за собственный счет, с оплаченным ответом. Умело приоткрывая занавес кибернетических тайн, академик стремился во что бы то ни стало быть «на уровне» и в то же время не сказать лишнего. Редакция, которую занимали те же заботы о современности и своевременности, вносила исправления в статью академика до последней минуты.

Гранки статьи были посланы в Ялту специальным самолетным курьером и, испещренные помарками академика, вернулись в редакцию.

— Бальзаковская правка, — сокрушенно сказал заведующий редакцией. Все было улажено, увазано, вычитано. Громоздкая колымага издательской техники

выехала на проторенные колеи. Но ко времени верстки в космос полетела Лайка, и академик из Румынии, где он находился на конгрессе мира, слал новые телеграммы, умоляя, требуя. Редакция заказывала срочные международные телефонные переговоры с Бухарестом.

Наконец журнал вышел в свет, и редакция немедленно утратила интерес к статье академика.

Но все это было после, а сейчас журналист Голубев поднимался по узкой мраморной лестнице огромного дома на главной улице города, где жил академик. Дом был одних лет с журналистом. Он был построен во время домостроительного бума в начале столетия. Коммерческие квартиры: ванна, газ, телефон, канализация, электричество.

В подъезде стоял стол дежурного дворника. Электрическая лампочка была приспособлена так, чтобы свет падал на лица входящих. Это чем-то напоминало следственную тюрьму.

Голубев назвал фамилию академика, дежурный дворник позвонил по телефону, получил ответ, сказал журналисту «пожалуйста» и распахнул перед Голубевым украшенные бронзовым литьем двери лифта.

— Бюро пропусков, — лениво подумал Голубев. — Уж чего-чего, а бюро пропусков он за свою жизнь повидал немало.

— Академик живет на шестом этаже, — почтительно сообщил дежурный дворник. Лицо его не выразило удивления, когда Голубев прошел мимо открытой двери лифта и шагнул на чистую узкую мраморную лестницу. Лифта Голубев после болезни не переносил — ни подъема, ни спуска, особенно спуска с его коварной «невесомостью».

Отдыхая на каждой площадке, Голубев добрался до шестого этажа. Шум в ушах немножко утих, стук сердца стал равномернее, дыхание ровнее. Голубев постоял перед дверью академика, вытянул руки и осторожно проделал несколько гимнастических движений

головой — так рекомендовали врачи, лечившие журналиста.

Голубев перестал вертеть головой, нащупал в кармане платок, авторучку, блокнот и твердой рукой позвонил.

Популярный академик открыл дверь сам. Он был молод, вертляв, с быстрыми черными глазами и выглядел гораздо моложе, свежее Голубева. Перед беседой журналист просмотрел в библиотеке энциклопедические словари, а также несколько биографий академика — депутатских и научных — и знал, что он, Голубев, и академик — сверстники. Листая статьи по вопросам будущей беседы, Голубев обратил внимание, что академик метал громы и молнии со своего научного Олимпа в кибернетику, объявленную им «вреднейшей идеалистической квазинаукой». «Воинствующая лженаука» — так выражался академик два десятка лет тому назад. Беседа, для которой приехал Голубев к академику, и должна была касаться современного значения кибернетики.

Академик зажег свет, чтобы Голубев мог раздеться.

В огромном зеркале с бронзовой рамой, стоящем в передней, отражались они оба — академик в черном костюме с черным галстуком, черноволосый, черноглазый, гладколицый, подвижной и прямая фигура Голубева и его утомленное лицо со множеством морщин, похожих на глубокие шрамы. Но голубые глаза Голубева сверкали, пожалуй, помоложе, чем блестящие живые глаза академика.

Голубев повесил на вешалку свое негибкое, новенькое пальто из искусственной кожи. Рядом с потертым коричневым кожаным, подбитым елотом пальто хозяина оно выглядело вполне прилично.

— Прощу, — сказал академик, отворяя дверь налево. — И прощу извинить меня. Я сейчас вернусь.

Журналист осмотрелся. Анфилада комнат уходила вглубь в двух направлениях — прямо и налево. Двери были стеклянные, с низом из красного дерева, и где-то в глубине возникали тени людей при полном безмолвии.

Голубеву не приходилось жить в квартирах, где комнаты были бы расположены анфиладой, но он помнил кинофильм «Маскарад», квартиру Арбенина. Академик появился где-то далеко и снова исчез, и снова появился, и снова исчез, как Арбенин в фильме.

Направо в первой большой комнате — дальше опять начиналась анфилада — светлой, со стеклянными дверями, с венецианскими окнами стоял огромный концертный белый рояль. Рояль был закрыт, и на крышке толпились, мешая друг другу, какие-то фарфоровые фигурки. На великолепных подставках стояли вазы, вазочки, статуи, статуэтки. На стенах висели тарелочки, коврики. Два просторных кресла были обиты белым в тон роялю. Где-то в глубине за стеклом двигались человеческие тени.

Голубев вошел в кабинет академика. Крошечный кабинетик был темен, узок и казался чуланом. Книжные полки по всем четырем стенам сжимали комнату. Маленький, вроде игрушечного, резной письменный столик красного дерева, казалось, прогибался под тяжестью огромной мраморной чернильницы с крышкой из вызолоченной бронзы. Три стены книжных полок библиотеки бли отведены справочникам, а одна — собственным сочинениям академика. Биографии и автобиографии, уже знакомые Голубеву, стояли тут же. Втиснутый в эту же комнату, задыхался черный маленький рояль. К роялю был прижат круглый стол для корреспонденции, заваленный свежими техническими журналами. Голубев перенес груду журналов на рояль, подвинул стул и положил авторучку и два карандаша на край стола. Дверь в прихожую академик оставил открытой.

— Как в «тех» кабинетах, — лениво подумал Голубев.

Везде — на черном рояле, на книжных полках — стояли кувшинчики, фарфоровые и глиняные фигурки. Голубев взял в руки пепельницу в виде головы Мефистофеля. Давно когда-то любил он фарфор, стекло,

поражался чуду человеческих рук в Эрмитаже — белой фарфоровой фигурке «Сон», где лицо спящего в кресле человека было покрыто тончайшим платком, и казалось, что сотрудники музея накинули на статую кусочек марли, чтоб фигурка не запылилась, а это была не марля, а тончайший фарфоровый платок. И много еще других чудес человеческого умения помнил Голубев. Но голова Мефистофеля — грузная, провинциальная — была непонятна. С полок трубили глиняные бараны, прижавшись к корешкам книг, как к деревьям, сидели зайцы с львиными мордами. Личная память?

Два добротных кожаных чемодана с наклейками иностранных гостиниц стояли около двери. Наклеек было много, чемоданы — новы.

Академик возник на пороге, перехватывая взгляд Голубева и сразу все объясняя:

— Прошу прощения. Завтра уезжаю в Грецию самолетом. Прошу.

Академик протискался к письменному столу, занял удобную позицию.

— Я думал о предложении вашей редакции, — сказал он, глядя на форточку; ветер вносил в комнату желтый пятипалый кленовый лист, похожий на отрубленную кисть человеческой руки. Лист повертелся в воздухе и упал на пол. Академик нагнулся, изломал сухой лист в пальцах и бросил его в плетеную корзиночку, которая прижалась к ножке письменного столика.

— И согласился, — продолжал академик. — Я наметил три главных пункта моего ответа, моего выступления, мнения — называйте это как хотите.

Академик ловко извлек из-под огромной чернильницы крошечный листок бумаги, где каракулями было записано несколько слов.

— Вопрос первый формулируется мной так.

— Я попрошу вас, — сказал Голубев, бледнея, — говорить чуть-чуть громче. Дело в том, что я плохо слышу. Прошу прощения.

— Ну, что вы, что вы, — вежливо сказал академик.

— Вопрос первый формулируется... Так достаточно?

— Да, благодарю вас.

— Итак, первый вопрос...

Черные бегающие глаза академика смотрели на руки Голубева. Голубев понимал, вернее, не понимал, а чувствовал всем телом, о чем академик думает. Он думает о том, что присланный к нему журналист не владеет стенографией. Это слегка обидело академика. Конечно, есть журналисты, не знающие стенографии, особенно из пожилых. Академик посмотрел на темное морщинистое лицо журналиста. Есть, конечно. Но ведь в таких случаях редакция посылает второго человека — стенографистку. Могла бы прислать одну стенографистку, без журналиста — это было бы еще лучше. «Природа и вселенная», например, всегда присылает ему только стенографистку. Ведь не думает же редакция, пославшая этого немолодого журналиста, что журналист может задавать острые вопросы ему, академику. Ни о каких острых вопросах не идет речь. И никогда не шла. Журналист — это дипломатический курьер, — думал академик, — если не просто курьер. Он, академик, теряет время из-за того, что нет стенографистки. Стенографистка — это элементарно, это, если угодно, вежливость редакции. Редакция поступила с ним невежливо.

Вот на Западе — там всякий журналист владеет стенографией, умеет писать на пишущей машинке. А сейчас — будто сто лет назад, где-нибудь в кабинете Некрасова. Какие журналы были сто лет назад? Кроме «Современника», он никаких не помнит, а ведь, наверное, были.

Академик был самолюбивым человеком, весьма чувствительным человеком. В поступке редакции ему чудилось неуважение. Притом — он знал это по опыту — живая запись неизбежно изменит беседу. Придется много тратить труда на правку. Да и теперь: на беседу был отведен час — больше часа академик не

может, не имеет права. Его время дороже, чем время журналиста, редакции.

Так думал академик, диктуя привычные фразы интервью. Впрочем, он не подал и виду, что он рассержен или удивлен. «Вино, разлитое в стаканы, надо пить», — припомнил он французскую поговорку. Академик думал по-французски; из всех языков, которые он знал, он больше всего любил французский — лучшие научные журналы по его специальности, лучшие детективные романы... Академик произнес французскую фразу вслух, но журналист, не владеющий стенографией, не откликнулся на нее — этого академик и ждал.

Да, вино разлито, — думал академик, диктуя, — решение принято, дело уже начато и не в привычках академика останавливаться на полдороге. Он успокоился и продолжал говорить.

В конце концов, это своеобразная техническая задача: уложиться ровно в час, диктуя не быстро, чтоб журналист успел записать, и достаточно громко — тише, чем с кафедры в институте, и тише, чем на конгрессах мира, но значительно громче, чем в своем кабинете, — примерно так, как на лабораторных занятиях. Увидев, что все эти задачи разрешены удачно и досадные неожиданные трудности побеждены, академик развеселился.

— Простите, — сказал академик, — вы не тот Голубев, что много печатался во времена моей молодости, моей научной молодости, в начале тридцатых годов? За его статьями все молодые ученые следили тогда. Я, как сейчас, помню название одной его статьи — «Единство науки и художественной литературы». В те годы, — академик улыбнулся, показывая свои хорошо отремонтированные зубы, — были в моде такие темы. Статья бы и сейчас пригодилась для разговора о физиках и лириках с кибернетиком Полетаевым. Давно все это было, — вздохнул академик.

— Нет, — сказал журналист. — Я не тот Голубев.

Я знаю, о ком вы говорите. Тот Голубев умер в тридцать восьмом году.

И Голубев твердым взглядом посмотрел в быстрые черные глаза академика.

Академик издал неясный звук, который следовало оценить как сочувствие, понимание, сожаление.

Голубев писал, не отдыхая. Французскую поговорку насчет вина он понял не сразу. Он знал язык и забыл, давно забыл, а сейчас незнакомые слова ползли по его утомленному, иссохшему мозгу. Тарабарская фраза медленно двигалась, будто на четвереньках, по темным закоулкам мозга, останавливалась, набирала силы и доползла до какого-то освещенного угла, и Голубев с болью и страхом понял ее значение на русском языке. Суть была не в ее содержании, а в том, что он понял ее, — она как бы открыла, указала ему на новую область забытого, где тоже надо все восстанавливать, укреплять, поднимать. А сил уже не было — ни нравственных, ни физических, и казалось, что гораздо легче ничего нового не вспоминать. Холодный пот выступил на спине журналиста. Очень хотелось курить, но врачи запретили табак — ему, курившему сорок лет. Запретили — и он бросил: струсил, захотел жить. Воля была нужна не для того, чтобы бросить курить, а для того, чтобы не слушать советов врачей.

В дверь просунулась женская голова в парикмахерском шлеме. — Услуги на дому, — отметил журналист.

— Простите, — и академик вылез из-за роля и выскользнул из комнаты, плотно притворив дверь.

Голубев помахал затекшей рукой и очинил карандаш.

Из передней слышался голос академика — энергичный, в меру резкий, никем не перебиваемый, безответный.

— Шофер, — пояснил академик, возникая в темноте, — не может никак сообразить, к какому часу подать машину.

— Продолжим, — сказал академик, заходя за роля

и перегибаясь через него, чтобы Голубеву было слышнее.

— Второй раздел — это успехи теории информации, электроники, математической логики — словом, всего того, что принято называть кибернетикой.

Пытливые черные глаза встретились с глазами Голубева, но журналист был невозмутим. Академик бодро продолжал: «В этой модной науке сперва мы немножко отстали от Запада, но быстро выправились, и теперь идем впереди. Подумываем об открытии кафедр математической логики и теории игр».

— Теории игр?

— Именно, она еще называется теория Монтекарло, — грассируя, протянул академик. — Поспеваем за веком. Впрочем, вам...

— Журналисты никогда не поспевали за веком, — сказал Голубев. — Не то, что ученые...

Голубев передвинул пепельницу с головой Мефистофеля. — Вот залюбовался пепельницей, — сказал он.

— Ну, что вы, — сказал академик. — Случайная покупка. Я ведь не коллекционер, не «аматер», как говорят французы, а просто на глине отдыхает глаз.

— Конечно, конечно, прекрасное занятие. — Голубев хотел сказать увлечение, но побоялся звука «у», чтобы не вылетел зубной протез, вставленный совсем недавно. Протез не переносил звука «у».

— Ну, благодарю вас, — сказал Голубев, вставая и складывая листочки. — Желаю вам всего хорошего. Гранки пришлем.

— Там, в случае чего, — сказал академик, поморщившись, — пусть в редакции сами прибавят то, что нужно. Я ведь человек науки, могу не знать.

— Не беспокойтесь. Все вы увидите в гранках.

— Желаю удачи.

Академик вышел проводить журналиста в переднюю, зажег свет и с сочувствием смотрел, как Голубев на-

пяливает на себя свое чересчур новое, негнущееся пальто. Левая рука с трудом попала в левый рукав пальто, и Голубев покраснел от натуги.

— Война? — с вежливым вниманием спросил академик.

— Почти, — сказал Голубев. — Почти. — И вышел на мраморную лестницу.

Плечевые суставы Голубева были разорваны на допросах в тридцать восьмом году.



АЛМАЗНАЯ КАРТА

В тридцать первом году на Вишере были часты грозы.

Прямые короткие молнии рубили небо, как мечи. Кольчуга дождя сверкала и звенела; скалы были похожи на руины замка.

— Средние века, — сказал Вилемсон, спрыгивая с лошади. — Челноки, кони, камни... Отдохнем у Робин Гуда.

Могучее двуногое дерево стояло на пригорке. Ветер и старость сорвали кору со стволов двух сросшихся тополей — босой гигант в коротких штанах был и впрямь похож на штоландского героя. Робин Гуд шумел и размахивал руками.

— Ровно десять верст до дому, — сказал Вилемсон, привязывая лошадей к правой ноге Робин Гуда. Мы спрятались от дождя в маленькой пещере под столом и закурили.

Начальник геологической партии Вилемсон не был геологом. Он был военный моряк, командир подводной лодки. Лодка сбилась с курса, всплыла у берегов Финляндии. Экипаж был отпущен, но командира Маннергейм продержал целых полгода в зеркальной камере. Вилемсон был в конце концов выпущен, приехал в Москву. Невропатологи и психиатры настояли на демобилизации, с тем чтобы Вилемсону работать где-нибудь на чистом воздухе, в лесу, в горах. Так он стал начальником геологической разведочной группы.

С последней пристани мы поднимались десять суток вверх по горной реке — на шестах проталкивая челнок-осиновку вдоль берегов. Пятые сутки мы ехали верхом, потому что реки уже не было — осталось только каменистое русло. Еще день лошади шли тайгой по вьючной тропе, и путь казался бесконечным.

В тайге все неожиданно, все — явление: луна, звезды,

зверь, птица, человек, рыба. Незаметно поредел лес, разошлись кусты, тропа превратилась в дорогу, и перед нами возникло огромное кирпичное замшелое здание без окон. Круглые пустые окна казались бойницами.

— Откуда кирпич? — спросил я, пораженный необыкновенностью старого строения в таежной глуши.

— Молодец, — крикнул Вилемсон, осаживая коня. — Увидел! Завтра все поймешь!

Но и на другой день я ничего не понял. Мы снова были в пути, мы скакали по лесной дороге странной прямизны. Молодой березняк кое-где перебежал дорогу, ели с обеих сторон протягивали друг другу косматые старые лапы, порыжелые от старости, но синее небо не покрывалось ветвями ни на минуту. Красный от ржавчины вагонный скат рос из земли, как дерево без сучьев и листьев. Мы остановили лошадей.

Это — узкоколейка, — сказал Вилемсон. — Шла от завода до склада — того, кирпичного. Вот, слушай. Здесь когда-то, еще при царе, была бельгийская железорудная концессия. Завод, две домны, узкоколейка, поселок, школа, певицы из Вены. Концессия давала большие барыши. Железо плавил в баржах по паводкам — весной и осенью. Срок концессии кончился в 1912 году. Русские промышленники во главе с князем Львовым, которым не давали спокойно спать сказочные барыши бельгийцев, просили у царя передать дело им. Они добились успеха — концессия бельгийцам не была продлена. От оплаты затрат бельгийцы отказались. Они ушли. Но, уходя, взорвали все — завод и домны, в поселке камня на камне не оставили. Даже узкоколейку разобрали до последнего стыка рельс. Все надо было начинать сначала. Не на это рассчитывал князь Львов. Не успели начать заново — война. Затем — революция, гражданская война. И вот сейчас, в 1930 году — мы здесь. Вот домны. — Вилемсон показал куда-то вправо, но, кроме бурной зелени, я не увидел ничего.

— А вот и завод, — сказал Вилемсон.

Перед нами было большое неглубокое ущелье, падь,

сплошь заросшая молодым лесом. Посредине ущелье горбилось, и горб смутно напоминал остов какого-то разрушенного здания. Тайга затянула остатки завода, и на обломанной трубе, как на вершине скалы, сидел бурый ястреб.

— Надо знать, чтобы видеть, что здесь был завод, — сказал Вилемсон. — Завод без человека. Знатная работа. Всего двадцать лет. Двадцать травяных поколений: порея, осоки, кипрея... И нет цивилизации. И ястреб сидит на заводской трубе.

— У человека такой путь гораздо длиннее, — сказал я.

— Гораздо короче, — сказал Вилемсон. — Людских поколений надо меньше. — И, не постучав, он открыл дверь ближайшей избы.

Серебряноголовый огромный старик в кастановом черном сюртуке старинного покроя, в золотых очках сидел за грубым столом, отструганным, отмытым добела. Подагрические синеватые пальцы обнимали темный переплет толстой кожаной книги с серебряными застежками. Голубые глаза с красными старческими прожилками спокойно смотрели на нас.

— Здравствуйте, Иван Степанович, — сказал Вилемсон, подходя. — Вот, гостя к вам привел. — Я поклонился.

— Все роете? — захрипел старик в золотых очках. — Пустое дело, пустое. Угостили бы вас чаем, ребята, да все в разгоне. Бабы с малышами по ягоды ушли, сыны на охоте. Засим простите. У меня это время особое, — и Иван Степанович постучал пальцем по толстой книге.

— Впрочем, вы мне не мешаете.

Застежка щелкнула, и книга открылась.

— Что за книга? — спросил я неволью.

— Библия, сынок. Других книг не держу в доме уже двадцать лет... Мне слушать лучше, чем читать, — глаза ослабли.

Я взял в руки библию. Иван Степанович улыбнулся. Книга была на французском языке.

— Я не умею по-французски.

— То-то, — сказал Иван Степанович и затрепал страницами. Мы вышли.

— Кто это такой? — спросил я Вилемсона.

— Бухгалтер, бросивший вызов миру. Иван Степанович Бугреев, вступивший в борьбу с цивилизацией. Он — единственный, кто остался в этой глуши с 12-го года. Был у бельгийцев главным бухгалтером. Уничтожением заводов был так ошеломлен, что сделался последователем Руссо. Видите, какой патриарх. Ему лет семьдесят, я думаю. Восемь сыновей. Дочерей у него нет. Старуха-жена. Внуки. Дети грамотны. Они успели выучиться в школе. Внучат старик учить грамоте не дает. Рыбная ловля, охота, огород какой-то, пчелы и французская библия в дедовском пересказе — вот их жизнь. Верст за сорок здесь есть поселок, школа, магазин. Я ухаживаю за ним — есть слухи, что он хранит подземную карту здешних краев, осталась от бельгийских разведок. Возможно, что это и правда. Разведки-то были — я сам встречал в тайге чьи-то старые шурфы. Не дает старик карту. Не хочет сократить нам работу. Придется обойтись без нее.

Мы ночевали в избе у старшего сына Ивана Степановича — Андрея. Андрею Бугрееву было лет сорок.

— Что же не пошел шурфовщиком ко мне? — сказал Вилемсон.

— Отец не одобряет, — сказал Андрей Бугреев.

— Заработал бы денег!

— Да денег-то у нас хватает. Здесь ведь зверя богато. Лесозаготовки тоже. Да и по хозяйству работы много — дед ведь на каждого план составляет. Трехлетний, — улыбнулся Андрей.

— Вот, возьми газету.

— Не надо. Отец узнает. Да и читать я почти разучился.

— А сын? Ему ведь пятнадцатый год.

— А Ванюшка и вовсе неграмотен. Отцу скажите, а

со мной что говорить. — И Андрей Иванович стал яростно стаскивать сапоги.

— А что, верно здесь школу строить будут?

— Верно. Через год откроют.

— А ты, вот, на разведку и работать не хочешь. Мне каждый человек дорог.

— Где все твои-то? — сказал Андрей Иванович, деликатно меняя тему разговора.

— На Красном Ключе. По старым шурфам ковыряемся. У Ивана Степановича ведь есть карта, а, Андрей?

— Нету у него никакой карты. Враки это все. Брехня.

На свет вдруг выскочило встревоженное и озлобленное лицо Марьи, андреевой жены.

— Нет, есть! Есть! Есть!

— Марья!

— Есть! Есть! Я десять лет назад сама видела.

— Марья!

— На черта хранить эту проклятую карту? Зачем Ванюшка неграмотный? Живем, как звери. Травой скоро зарастем!

— Не зарастете, — сказал Вилемсон... — Будет поселок. Город будет. Завод будет. Жизнь будет. И хоть певичек венских не будет, зато школы, театры. Ванюшка твой еще станет инженером.

— Не станет, не станет, — заплакала Марья. — Ему уж жениться пора. А кто за него пойдет, за неграмотного?

— Что за шум? — Иван Степанович стоял на пороге. — Ты, Марья, иди к себе — спать пора. Андрей, за женой плохо смотришь. А вы, граждане хорошие, в семью мою ссор не вносите. Карта у меня есть, и я ее не дам — не нужно все это для жизни.

— Нам не очень нужна ваша карта, — сказал Вилемсон. — Мы за год работы свою вычертим. Богатства открыты. Завтра Васильчиков привезет чертежи — будем лес валить для поселка.

Иван Степанович вышел, хлопнув дверью. Все заторопились спать.

Я проснулся от присутствия многих людей. Рассвет осторожно входил в комнату. Вилемсон сидел у стены прямо на полу, вытянув грязные босые ноги, и вокруг него громко дышало все семейство Бугреевых, все его восемь сыновей, восемь снох, двадцать внучат и пятнадцать внучек. Впрочем, внучата и внучки дышали где-то на крыльце. Не было только самого Ивана Степановича да его старушки-жены — востроносенькой Серафимы Ивановны.

— Так будет? — спрашивал задыхающийся голос Андрея.

— Будет.

— А как же он? — И все Бугреевы глубоко вздохнули и замерли.

— А что он? — спросил Вилемсон твердо.

— Дед умрет, — жалобно выговорил Андрей, и все Бугреевы вздохнули снова.

— Может быть, и не умрет, — неуверенно сказал Вилемсон.

— И бабка умрет. — И снохи заплакали.

— Мать ни в коем случае не умрет, — заверил Вилемсон и добавил: впрочем, она женщина пожилая.

Вдруг все зашумели, зашевелились. Внучата помоложе юркнули в кусты, снохи бросились к своим избам. От дедовской избы к нам медленно шел Иван Степанович, держа в обеих руках огромную, грязную, пахнущую землей связку бумаг.

— Вот она, карта. — Иван Степанович держал в руках пергаментные слежавшиеся листы, и пальцы его дрожали. Из-за его могучей спины выглядывала Серафима Ивановна.

— Вот — отдаю. Двадцать лет. Сима, прости. Андрей, Петр, Николай, все сродники — простите. — Бугреев заплакал.

— Ну, полно, полно, Иван Степанович, — сказал Вилемсон. — Не волнуйся. Радуйся, а не огорчайся. — И велел мне держаться поближе к Бугрееву. Старик вовсе не думал умирать. Он скоро успокоился, помолодел и болтал с утра до вечера, хватая за плечи меня, Вилемсона, Васильчикова, — все рассказывал о бельгийцах, как что было, где стояло, какие были прибыли у хозяев. Память у старика была хорошая.

В пергаментной, пахнувшей землей связке бумаг была подземная карта этого края, составленная бельгийцами. Руды: золото, железо... Драгоценные камни: топаз, бирюза, берилл... Самоцветы: агат, яшма, горный хрусталь, малахит... Не было только тех камней, ради которых и приехал сюда Вилемсон.

Иван Степанович не отдал алмазной карты. Алмазы на Вишере нашли только через тридцать лет.



НЕОБРАЩЕННЫЙ

Я бережно храню свой старый складной стетоскоп. Это — подарок в день окончания фельдшерских лагерных курсов от Нины Семеновны, руководителя практики по внутренним болезням.

Стетоскоп этот — символ и знак возвращения моего к жизни, обещание свободы, обещание воли, сбывшееся обещание. Впрочем, свобода и воля — разные вещи. Я никогда не был вольным, я был только свободным во все взрослые мои годы. Но все это было позже, много позже того самого дня, когда я принял этот подарок с чуть затаенной болью, с чуть затаенной грустью — как будто не мне, а кому-то другому следовало подарить этот стетоскоп — символ и знак главной моей победы, главной моей удачи на Дальнем Севере, на рубеже смерти и жизни. Я отчетливо чувствовал все это — не знаю, понимал ли, но чувствовал безусловно, укладывая стетоскоп рядом с собой под вытертое лагерное одеяло. бывшее солдатское, одеяло второго, а то и третьего срока, которые давались курсантам. Я гладил стетоскоп отмороженными пальцами, и пальцы не понимали — дерево это или железо. Однажды из мешка, собственного мешка, я наощупь вынул стетоскоп вместо ложки. И в этой ошибке был глубокий смысл.

Бывшие заключенные, которым лагерь достался легко — если комунибудь лагерь может быть лёгок, — считают самым трудным временем своей жизни послелагерное бесправие, послелагерные скитания, когда никак не удавалось обрести бытовую устойчивость — ту самую устойчивость, которая помогла им выжить в лагере. Эти люди как-то приспособились к лагерю и лагерь приспособился к ним — давая им еду, крышу и работу. Привычки нужно было резко менять. Люди увидели крушение своих надежд, столь скромных. Доктор Калембет, отбывший пять лет своего лагерного

срока, не справился с послелагерной волей и через год покончил с собой, оставив записку: «Дураки жить не дают». Но дело было не в дураках. Другой врач, доктор Миллер, с необычайной энергией всю войну доказывал, что он не немец, а еврей — кричал об этом на каждом углу, в каждой анкете. Еще был третий, доктор Браудэ — пересидел три года из-за своей фамилии, и доктор Миллер знал, что судьба шутить не любит. Доктору Миллеру удалось доказать, что он не немец. Доктор Миллер был освобожден в срок. Но уже через год вольной жизни доктора Миллера он был обвинен в космополитизме. Впрочем, доктора Миллера еще не обвиняли. Грамотный начальник, читавший газеты и следивший за художественной литературой, пригласил доктора Миллера для предварительной беседы. Ибо приказ есть приказ, а угадать «линию» раньше приказа — большое удовольствие грамотных начальников. То, что началось в центре, обязательно дойдет в свое время до Чукотки, до Индигирки и Яны, до Колымы. Доктор Миллер все это хорошо понимал. В поселке Аркагала, где Миллер работал врачом, в яме для нечистот утонул поросенок. Поросенок задохся в дерьме, но был вытащен, и началась одна из самых острых тяжб; в разрешении вопроса участвовали все общественные организации. Вольный поселок — человек сто начальников и инженеров с семьями — требовали, чтобы поросенок был отдан в вольную столовую, это была бы редкость — свиная отбивная, сотни свиных отбивных. У начальства текли слюнки. Но начальник лагеря Кучеренко настаивал, чтобы поросенок был продан в лагерь, — и весь лагерь, вся зона обсуждали судьбу поросенка несколько дней. Все остальное было забыто. В поселке шли собрания — партийной организации, профсоюзной организации, бойцов отряда охраны.

Доктор Миллер, бывший зэка, начальник санитарной части поселка и лагеря, должен был решить этот острый вопрос. И доктор Миллер решил — в пользу лагеря. Был написан акт, в котором говорилось, что

поросенок утонул в дерьме, но может быть использован для лагерного котла. Таких актов на Колыме немало. Компот, который провонял керосином. «К продаже в магазине поселка вольнонаемных не годится, но может быть промыт и продан в лагерный котел».

Вот этот акт о поросенке Миллер подписал за день до беседы о космополитизме. Это — простая хронология, то, что остается в памяти как жизненно важное, отметное.

После беседы со следователем Миллер не пошел домой, а вошел в зону, надел халат, открыл свой кабинет, шкаф, достал шприц и ввел себе в вену раствор морфия.

Зачем весь этот рассказ — о врачах самоубийцах, о поросенке, утонувшем в нечистотах, о радости заключенных, которой не было границ? А вот зачем.

Для нас — для меня и для сотен тысяч других, которые работали в лагере не врачами, — послелагерное время было сплошным счастьем, ежедневным, еже-часным. Слишком грозен был ад за нашими плечами, и никакие мытарства по спецотделам и отделам кадров, никакие скитания, никакое бесправие тридцать девятой статьи паспортной системы не лишали нас этого ощущения счастья, радости — по сравнению с тем, что мы видели в нашем вчерашнем и позавчерашнем дне.

Для курсанта фельдшерских курсов попасть на практику в третье терапевтическое отделение было большой честью. Третьим отделением руководила Нина Семеновна — бывший доцент кафедры диагностической терапии Харьковского медицинского института.

Только два человека, два курсанта из тридцати могли проходить месячную эту практику в третьем терапевтическом отделении.

Практика, живое наблюдение за больными — ах, как это бесконечно далеко от книги, от «курса». Медиком нельзя стать по книгам — ни фельдшером, ни врачом.

В третье отделение пойдут только двое мужчин — я и Бокис.

— Двое мужчин? Почему?

Нина Семеновна была сгорбленная, зеленоглазая старая женщина, седая, морщинистая, недобрая.

— Двое мужчин? Почему?

— Нина Семеновна ненавидит женщин.

— Ненавидит?

— Ну, не любит. Словом, двое мужчин. Счастливы.

Староста курсов, Муза Дмитриевна, привела меня и Бориса пред зеленые очи Нины Семеновны.

— Вы давно здесь?

— С тридцать седьмого.

— А я — с тридцать восьмого. На Эльгене была сначала. Триста родов там приняла, а до Эльгена роды не принимала. Потом война — муж у меня погиб в Киеве. И двое детей. Мальчишки. Бомба.

Вокруг меня умерло больше людей, чем в любом сражении войны. Умерло без всякой войны, до всякой войны. И все же. Горе бывает разное, как и счастье.

Нина Семеновна села на койку больного, отвела одеяло.

— Ну, начнем. Берите в руки стетоскоп, приставьте к груди больного и слушайте... Французы слушают через полотенце. Но стетоскоп — вернее, надежней всего. Я не поклонница фонендоскопов — врач-барин пользуется фонендоскопом, ему лень нагнуться к больному. Стетоскоп... То, что я показываю вам, — вы не найдете ни в одном учебнике. Слушайте.

Скелет, обтянутый кожей, покорно выполнял команду Нины Семеновны. Выполнял и мои команды.

— Слушайте этот коробчатый звук, этот глухой отенок. Запомните его на всю жизнь, как и эти кости, эту сухую кожу, этот блеск в глазах. Запомните?

— Запомню. На всю жизнь.

— Помните, какой звук был вчера? Слушайте больного снова. Звук изменился. Описывайте все это — записывайте в историю болезни. Смело. Твердой рукой.

В палате было двадцать больных.

— Интересных больных сейчас нет. А то, что вы видели, — это голод, голод и голод.

— Садитесь слева. Вот сюда, на мое место. Берите больного левой рукой за плечи. Тверже, тверже. Что слышится?

Я рассказывал.

— Ну, пора обедать. Идите, вас покормят в раздатке.

Раздобревшая раздатчица Шура щедрой рукой налила нам «докторский» обед. Темные глаза сестры-хозяйки улыбались мне, но больше улыбались самой себе, внутрь себя самой...

— Почему это, Ольга Томасовна?

— А-а, вы заметили. Я всегда думаю о другом. О прошлом. О вчерашнем. Стараюсь не видеть сегодняшнего.

— Сегодняшнее — не очень плохое, не очень страшное.

— Налить вам еще супу?

— Налейте.

Мне было не до темных глаз. Урок у Нины Семеновны, овладение лечебным искусством важнее было мне всего на свете.

Нина Семеновна жила в отделении в комнате, называемой на Колыме «кабинкой». Никто никогда, кроме хозяйки, не входил туда. Убирала и подметала пол хозяйка сама. Мыла ли она сама пол — не знаю. В открытую дверь была видна жесткая, плохо застеленная койка, больничная тумбочка, табуретка, белёные стены. Был еще кабинетик рядом с кабинкой, только дверь открывалась в палату, а не в сени. В кабинете — стол вроде письменного, две табуретки, кушетка.

Все было так, как и в других отделениях, и чем-то непохоже — цветов, что ли, здесь не было — ни в кабинке, ни в кабинете, ни в палате. А может быть, строгость Нины Семеновны, ее безулыбчатость виновата? Темно-зеленым, изумрудным огнем ее глаза вспыхивали как-то невпопад, не к месту. Глаза вспыхивали без связи с разговором, с делом. Но глаза жили не сами по себе — а жили вместе с чувствами и мыслями Нины Семеновны.

В отделении не было дружбы, даже самой поверх-

ностной дружбы — санитарок, медсестер. Все приходило на работу, на службу, на дежурство, и было видно, что истинная жизнь сотрудников третьего терапевтического отделения — в женском бараке, после службы, после работы. Обычно в больницах лагерных истинная жизнь приклеивается, прилипает к месту и времени работы — в отделение идут радостно, чтоб скорее расстаться с проклятым баракком.

В третьем терапевтическом отделении не было дружбы. Санитарки и сестры не любили Нину Семеновну. Только уважали. Боялись. Боялись страшного Эльгена, совхоза Колымского, где и в лесу, и на земле работают женщины заключенные.

Боялись все, кроме Шуры-раздатчицы.

— Мужиков водить сюда — трудное дело, — говорила Шура, с грохотом зашвыривая вымытые миски в шкаф.

— Но я уж, слава богу, на пятом месяце. Скоро отправят в Эльген — освободят! Мамок освобождают каждый год: один у нашего брата шанс.

— Пятьдесят восьмую не освобождают.

— У меня десятый пункт. Десятый пункт освобождают. Не троцкисты. Катюшка тут в прошлом году на моем месте работала. Ее мужик, Федя, сейчас со мной живет — Катюшку освободили с ребенком, приходила прощаться. Федя говорит: «Помни, я тебя освободил». Это уж не по сроку, не по амнистии, не по зеленому прокурору, а собственным способом, самым надежным... И верно — освободил. Кажется, и меня освободил...

Шура доверительно показала на свой живот.

— Наверное, освободил.

— Вот то-то и оно. Из отделения этого проклятого я уйду.

— А что тут за тайна, Шура?

— Увидишь сам. Давайте-ка лучше — завтра воскресенье — варить медицинский суп. Хоть Нина Семеновна и не очень любит эти праздники... Разрешит все же...

Медицинский суп — это был суп из медикаментов — всевозможных кореньев, мясных кубиков, растворенных в физиологическом растворе — и соли не надо, — как восхищенно сообщила мне Шура... Кисели черничные и малиновые, шиповник, блинчики.

Медицинский обед был одобрен всеми. Нина Семеновна доела свою порцию и встала.

— Зайдите ко мне в кабинет.

Я вошел.

— У меня есть книжка для вас.

Нина Семеновна порылась в ящике стола и достала книжку, похожую на молитвенник.

— Евангелие?

— Нет, не Евангелие, — медленно сказала Нина Семеновна, и зеленые глаза ее заблестели. — Нет, не Евангелие. Это — Блок. Берите. — Я взял в руки благоговейно и робко грязно-серый томик малой серии «Библиотеки поэта». Грубой, еще приисковой кожей отмороженных пальцев моих проверил по корешку, не чувствуя ни формы, ни величины книги. Две бумажных закладки были в томике.

— Прочтите мне вслух эти два стихотворения. Где закладки.

— «Девушка пела в церковном хоре». «В голубой далекой спальне». Я когда-то знал наизусть эти стихи.

— Вот как? Прочтите.

Я начал читать, но сразу забыл строчки. Память отказывалась «выдавать» стихи. Мир, из которого я пришел в больницу, обходился без стихов. В моей жизни были дни, и немало, когда я не мог вспомнить и не хотел вспоминать никаких стихов. Я радовался этому как освобождению от лишней обузы — не нужной в моей борьбе в нижних этажах жизни, в подвалах жизни, в выгребных ямах жизни. Стихи там только мешали мне.

— Читайте по книжке.

Я прочел оба стихотворения, и Нина Семеновна заплакала.

— Вы понимаете, что мальчик-то умер, умер. Идите, читайте Блока.

Я с жадностью читал и перечитывал Блока всю ночь, все дежурство. Кроме «Девушки» и «Голубой спальни», там были «Заклятые огнем и мраком», там были огненные стихи, посвященные Волоховой. Эти стихи разбудили совсем другие силы. Через три дня я вернул Нине Семеновне книжку.

— Вы думали, что я даю вам Евангелие. Евангелие у меня тоже есть. Вот... Похожий на Блока, но не грязно-голубой, а темно-коричневый томик был извлечен из стола.

— Читайте Апостола Павла. К коринфянам... Вот это.

— У меня нет религиозного чувства, Нина Семеновна. Но я, конечно, с великим уважением отношусь...

— Как? Вы, проживший тысячу жизней? Вы — воскресший?.. У вас нет религиозного чувства? Разве вы мало видели здесь трагедий?

Лицо Нины Семеновны сморщилось, потемнело, седые волосы рассыпались, выбились из-под белой врачебной шапочки.

— Вы будете читать книги, журналы?..

— Журнал Московской патриархии?

— Нет, не Московской патриархии, а оттуда...

Нина Семеновна взмахнула белым рукавом, похожим на ангельское крыло, показывая вверх... Куда? За проволоку зоны? За больницу? За ограду вольного поселка? За море? За горы? За границу? За рубеж земли и неба?

— Нет, — сказал я неслышным голосом, холодея от внутреннего своего опустошения.

— Разве из человеческих трагедий выход только религиозный? — Фразы ворочались в мозгу, причиняя боль клеткам мозга. Я думал, что я давно забыл такие слова. И вот вновь явились слова — и, главное, пови-

нуюсь моей собственной воле. Это было похоже на чудо. Я повторил еще раз, как бы читая написанное или напечатанное в книжке.

— Разве из человеческих трагедий выход только религиозный?

— Только, только. Идите.

Я вышел, положив Евангелие в карман, думая почему-то не о коринфянах, и не об апостоле Павле, и не о чуде человеческой памяти, необъяснимом чуде, только что случившемся, а совсем о другом. И представив себе это «другое», я понял, что я вновь вернулся в лагерный мир, в привычный лагерный мир. Возможность «религиозного выхода» была слишком случайной и слишком неземной. Положив Евангелие в карман, я думал только об одном: дадут ли мне сегодня ужин.

Теплые пальцы Ольги Томасовны взяли меня за локоть. Темные глаза ее смеялись.

— Идите, идите, — сказала Ольга Томасовна, подвигая меня к выходной двери.

— Вы еще не обращенный. Таким ужин у нас не дают.

На следующий день я вернул Евангелие Нине Семеновне, и она резким движением запрятала книжку в стол.

— Ваша практика кончается завтра. Давайте я подпишу вашу карточку, вашу зачетку. И вот вам подарок — стетоскоп.



ВИЗИТ МИСТЕРА ПОППА

Мистер Попп был директором американской фирмы, которая ставила газгольдеры на первой очереди Березникхимстроя. Заказ был крупным, работа шла хорошо, и вице-директор счел необходимым лично присутствовать при сдаче работ.

На Березниках строили разные фирмы. Капиталистический интернационал, как говорил М. Грановский, начальник строительства. Немцы — котлы «Ганомага»; паровые машины — английской фирмы Браун-Бовери; американцы — газгольдеры. Хромало у немцев — потом это все было объявлено вредительством. Хромало у англичан на электроцентрали. Потом это тоже было объявлено вредительством.

Я работал тогда на электроцентрали, на ТЭЦ, и хорошо помню приезд главного инженера фирмы Бабкок-Вилькоккс мистера Холмса. Это был очень молодой человек, лет тридцати. На вокзале Холмса встретил начальник Химстроя Грановский, но Холмс в гостиницу не поехал, а поехал прямо к котлам, на монтаж. Один из английских монтеров снял пальто с Холмса, надел на инженера спецовку, и Холмс провел три часа в котле, слушая объяснения монтера. Вечером было совещание. Из всех инженеров мистер Холмс был самым молодым. На все доклады, на все замечания мистер Холмс отвечал одним коротким словом, которое переводчик переводил так: «Мистера Холмса это не беспокоит». Однако Холмс провел на комбинате две недели, котел пошел процентов на 20 проектной мощности — Грановский подписал акт, и мистер Холмс вылетел в Лондон.

Через несколько месяцев мощность котла пала, и на конференцию был вызван свой специалист — Леонид Константинович Рамзин. Герой сенсационного процесса Рамзин, как и следовало по условию, не был еще освобожден, не награжден орденом Ленина, не получил еще Сталинской премии. Все это было в дальнейшем, и Рам-

зин об этом знал и держался на электростанции весьма независимо. Приехал он не один, а со спутником весьма выразительного вида, и с ним же уехал. В котел, как мистер Холмс, Рамзин не полез, а сидел в кабинете технического директора станции Кастеннера, тоже ссыльного, осужденного по вредительству на шахтах в Кизеле.

Номинальным директором ТЭЦ был некто Рачев, бывший красный директор, малый неплохой и не занимающийся вопросами, в которых он ничего не понимал. Я работал в Бюро экономики труда на ТЭЦ и много лет потом возил с собой заявление кочегаров на имя Рачева. На этом заявлении, где кочегары жаловались на многочисленные свои нужды, была характернейшая, простодушнейшая рачевская резолюция: «Зав. СЭТ. Прошу разобраться и по возможности отказать».

Рамзин дал несколько практических советов, но весьма невысоко оценил работу Холмса.

Мистер Холмс появлялся на станции в сопровождении не Грановского — начальника строительства, а его заместителя, главного инженера Чистякова. Нет ничего в жизни более догматического, чем дипломатический этикет. Так вот Грановский, хотя свободного времени у него было сколько угодно, не считал для себя возможным сопровождать по строительству главного инженера фирмы. Вот если бы сам хозяин приехал...

Мистера Холмса сопровождал по строительству главный инженер Чистяков, грузный, массивный — то, что называется в романах «барского вида». В конторе комбината у Чистякова был огромный кабинет, напротив кабинета Грановского, где Чистяков проводил немало часов, запершись с молодой курьершей конторы.

Я был тогда молод и не понимал того физиологического закона — почему большие начальники живут, кроме своих жен, с курьершами, стенографистками, секретаршами. У меня были часто дела к Чистякову, и матерился я у этой запертой двери немало.

Я жил в той же самой гостинице близ содового за-

вода, где в одной из комнат Константин Паустовский строчил свой «Карабугаз». Судя по тому, что Паустовский рассказал о том времени — тридцатый и тридцать первый год, — он вовсе не увидел главного, чем были окрашены эти годы для всей страны, для всей истории нашего общества.

Здесь, на глазах Паустовского, проводился великий эксперимент растления человеческих душ, распространенный потом на всю страну и обернувшийся кровью тридцать седьмого года. Именно здесь и тогда проводился первый опыт новой лагерной системы — самообхрана, «перековка», питание в зависимости от выработки, зачеты рабочих дней в зависимости от результатов труда. Система, которая достигла расцвета в Беломорканале и потерпевшая крах на Москанале, где и до сих пор находят человеческие кости в братских могилах.

Эксперимент на Березниках проводил Берзин. Не сам, конечно, Берзин. Берзин был всегда верным исполнителем чужих идей — кровавых или бескровных, все равно. Но директор Вишхимза — тоже строительство первой пятилетки — был тоже Берзин. Ему был подчинен по лагерю Филиппов, а Вишерский лагерь, куда входили и Березники, и Соликамск с его калиевыми рудниками, был огромным. Только на Березниках было три-четыре тысячи человек.

Здесь и именно здесь был решен вопрос — быть или не быть лагерям после проверки рублем, заработком. После опыта Вишеры — удачного по мнению начальства — лагеря охватили весь Советский Союз, и не было области, где бы не было лагеря, не было стройки, где бы не работали заключенные. Именно после Вишеры число заключенных в стране достигло 12 миллионов человек. Именно Вишера знаменовала начало нового пути мест заключения. Исправдома были переданы в НКВД, и те принялись за дело, воспетые поэтами, драматургами, кинорежиссерами.

Вот чего не увидел Паустовский, увлеченный своим Карабугазом!

В конце тридцать первого года со мной в комнате гостиницы жил молодой инженер Левин. Он работал на Березникхимстрое как переводчик с немецкого языка и был прикреплен к одному из иностранных инженеров. Когда я спросил Левина — почему он, инженер-химик по образованию, работает простым переводчиком за триста рублей в месяц, он сказал: «Да, конечно, но так лучше. Ответственности никакой. Вот пуск откладывают десятый раз, да сто человек посадят, — а я? Я — переводчик. Притом работаю я мало, времени свободного сколько угодно. Я его трачу с пользой». Левин улыбнулся.

Улыбнулся и я.

— Не поняли?

— Нет.

— А не заметили, что я возвращаюсь под утро?

— Нет, не заметил.

— Вы не наблюдательны. Я занимаюсь работой, которая приносит мне достаточный доход.

— Что же это?

— Я в карты играю.

— В карты?

— Да. В покер.

— С иностранцами?

— Ну, зачем с иностранцами? С иностранцами, кроме следственного дела, я нажить ничего не могу.

— Со своими?

— Конечно. Здесь холостяков — тьма. И ставки большие. А денег у меня — живу и благодарю папу: он хорошо меня выучил в покер играть. Да вы не хотите ли попробовать? Я мигом научу.

— Нет, благодарю вас.

Случайно я вставил Левина в повествование о мистере Поппе, рассказ о котором я никак не могу начать.

Монтаж у американской фирмы шел отлично, заказ был крупным, и вице-директор приехал в Россию сам. М. Грановский, начальник Березникхимстроя, был временно и тысячекратно извещен о приезде мистера

Поппа. Рассудив, в силу дипломатического протокола, что он, М. Грановский, старый член партии и начальник строительства крупнейшего объекта первой пятилетки, выше хозяина американской фирмы, Грановский решил лично на станции Усолье (позднее эта станция стала называться Березниками) мистера Поппа не встречать. Не солидно. А встретить в конторе, у себя в комнате.

М. Грановскому было известно, что американский гость едет в специальном поезде — паровоз и вагон гостя; о времени прибытия поезда на ст. Усолье начальник строительства знает еще за трое суток по телеграмме из Москвы.

Ритуал встречи был разработан заранее: гостю подают личную машину начальника строительства, и шофер везет гостя в гостиницу для иностранцев, где уже трое суток как директор гостиницы, партиец-выдвиженец Цыпляков оставляет для заморского гостя лучшую комнату гостиницы для иностранцев. После туалета и завтрака мистер Попп должен быть доставлен в контору, после чего должна была начаться деловая часть свидания, расписанная по минутам.

Экстренный поезд с заморским гостем должен был прийти в 9 часов утра, и еще с вечера личный шофер Грановского был вызван, проинструктирован и обматерен неоднократно.

— Може я, товарищ начальник, с вечера пригоню машину на станцию. Там и переночую, — беспокоился шофер.

— Ни в коем случае. Надо показать, что у нас все делается минута в минуту. Поезд гудит, замедляет ход, и ты подъезжаешь к станции. Только так.

— Хорошо, товарищ начальник.

Измученный многократными репетициями — машина десять раз ходила на станцию порожняком, — шофер исчислял скорость, рассчитывал время. В ночь перед приездом мистера Поппа шофер М. Грановского заснул, и ему снится суд...

Дежурный по гаражу — с ним никаких доверитель-

ных переговоров начальник строительства не вел — разбудил шофера по звонку со станции, и, быстро заведя машину, шофер помчался встречать мистера Поппа.

Грановский был человек деловой. Он пришел в этот день в свой кабинет к 6 часам, провел два совещания, три «накачки». Слушал малейший шум внизу, раздвигал шторы и выглядывал в окно на дорогу. Заморского гостя не было.

В половине десятого со станции позвонил дежурный, помощник начальника строительства. Грановский взял трубку и услышал глухой голос с сильным иностранным акцентом. Голос выразил удивление, что мистера Поппа так плохо встречают. Машины нет. Мистер Попп просит прислать машину.

Грановский осатанел. Сбегая через две ступеньки, тяжело дыша, он добрался до гаража.

— Уехал в половине восьмого ваш шофер, товарищ начальник.

— Как в половине восьмого?

Но загудела машина. Шофер, улыбаясь пьяной улыбочкой, перешагнул порог гаража.

— Ты что же, так твою перетак...

Но шофер объяснил. В половине восьмого пришел московский пассажирский. С ним из отпуска вернулся начальник финансовой части строительства Грозовский с семьей и вызвал машину Грановского, как делал всегда раньше. Шофер пытался объяснить про мистера Поппа. Но Грозовский объяснил все это ошибкой — он ничего не знает, и приказал шоферу немедленно ехать на станцию. Шофер поехал. Он думал, что с иностранцами отменили, и вообще Грозовский, Грановский — он не знает, кого слушать, у него голова кругом идет. А потом поехали за четыре километра на новый поселок Чуртан, где была новая квартира Грозовского, шофер помогал носить вещи, потом хозяева угощали с дороги...

— Разговор с тобой будет после. Кто важней на свете — Грозовский или Грановский? А пока — гони на станцию.

Шофер прилетел на станцию еще не было десяти часов. Настроение мистера Поппа было неважное.

Шофер, не разбирая дороги, мчал мистера Поппа в гостиницу для иностранцев. Мистер Попп расположился в номере, умылся, переоделся и успокоился.

Волновался теперь Цыпляков, комендант гостиницы для иностранцев — так он назывался тогда: не директор, не заведующий, а комендант. Дешевле ли обходилась такая должность, чем, например, «директор водяной будки», — не знаю; но только называлась эта должность именно так.

Секретарь мистера Поппа появился на пороге номера. — Мистер Попп просит завтрак.

Комендант гостиницы взял в буфете две больших конфеты без бумажек, два бутерброда с повидлом, два с колбасой, укрепил все это на подносе и, прибавив два стакана чаю, весьма жидкого, внес в номер мистера Поппа.

Немедленно секретарь вынес поднос обратно и поставил на тумбочку у двери номера. Мистер Попп этого наверняка есть не будет.

Цыпляков бросился на доклад к начальнику строительства, но Грановский уже все знал — ему доложили по телефону.

— Что ж ты, сука старая, — ревел Грановский. — Ты же меня позоришь, ты государство позоришь! Сдавай должность! На работу! В песчаный карьер! Лопату в руки! Вредители! Гады! Сгною в лагерях!

Седой Цыпляков, ждавший, пока начальник отмотается, подумал: верно сгноит.

Пора было переходить к деловой части визита, и тут Грановский немного успокоился. Фирма работала на строительстве хорошо. Газгольдеры ставили в Соликамске и в Березниках. Мистер Попп обязательно побывает и в Соликамске. За этим он приехал и вовсе не хочет сказать, что он огорчен. Да он и не огорчен. Удивлен скорее. Все это пустяки.

На строительство Грановский пошел с мистером Поп-

пом сам, отбросив свои дипломатические расчеты, отложив все совещания, все встречи. И в Соликамск Грановский сам сопровождал мистера Поппа, с ним и вернулся. Акты были подписаны, довольный мистер Попп собирался домой, в Америку.

— У меня есть время, — сказал мистер Попп Грановскому, я сэкономил недели две благодаря хорошей работе наших, — гость помолчал, — и ваших мастеров. Прекрасная река Кама. Я хочу поехать на пароходе вниз по Каме до Перми, а то и до Нижнего Новгорода. Это можно?

— Конечно, — сказал Грановский.

— А пароход я могу зафрахтовать?

— Нет. У нас ведь другой строй, мистер Попп.

— А купить?

— И купить нельзя.

— Ну, если нельзя купить пассажирский пароход, понимаю — он нарушит циркуляцию по водной артерии — то, может быть, буксирный, а? Вот вроде такой «Чайки», — и мистер Попп показал на буксирный пароход, проплывавший мимо окон кабинета начальника строительства.

— Нет, и буксирный нельзя. Я прошу вас понять...

— Конечно, я много слышал... Купить — это было бы всего проще. Я в Перми оставляю его. Подарю вам.

— Нет, мистер Попп, — у нас не берут таких подарков.

— Так что же делать? Ведь это абсурд! Лето, прекрасная погода. Одна из лучших рек в мире, она ведь и есть подлинная Волга — я читал. Наконец, время. Время у меня есть. А уехать нельзя. Запросите Москву.

— Что Москва? Далеко Москва, — процитировал по привычке Грановский.

— Ну, решайте. Я — ваш гость. Как вы скажете, так и будет.

Грановский попросил полчаса на размышление, вызвал к себе в кабинет начальника пароходства Миро-

нова и начальника оперсектора ОГПУ Озолса. Грановский рассказал о желании мистера Поппа.

Мимо Березников ходили тогда всего два пассажирских парохода — «Красный Урал» и «Красная Татария». Рейсы: Чердынь—Пермь. Миронов сказал, что «Красный Урал» вниз, около Перми и прибыть никак скоро не может. Вверху к Чердыни подходит «Красная Татария». Если ее быстро вернуть назад — а тут помогут твои молодцы, Озолс, и гнать вниз без остановок, то завтра днем «Красная Татария» придет на пристань Березников. Мистер Попп может ехать.

— Садись на селектор, — сказал Грановский Озолсу, — и жми на своих. Пусть ваш человек сядет на пароход и едет, не дает тратить зря время, не останавливаться. Скажи — государственное задание.

Озолс соединился с Анновым — пристанью Чердыни. «Красная Татария» вышла из Чердыни.

— Жми!

— Жмем.

Начальник строительства посетил мистера Поппа в его гостиничном номере — комендант был уже другой — и сообщил, что пассажирский пароход завтра в два часа дня будет иметь честь принять на свой борт дорогого гостя.

— Нет, — сказал мистер Попп, — скажите точно, чтобы нам не торчать на берегу.

— Тогда в пять часов. В четыре я пришлю машину за вещами.

В пять часов Грановский, мистер Попп и его секретарь пришли на дебаркадер. Парохода не было.

Грановский попросил прощения, отлучился и кинулся к селектору ОГПУ.

— Да еще Ичер не проходил.

Грановский застонал. Добрых два часа.

— Может быть, мы вернемся в номер, и когда пароход придет — приедем. Закусим, — предложил Грановский.

— По-завтра-каем, вы хотите сказать, — выразительно выговорил мистер Попп. — Нет, благодарю вас.

Сейчас прекрасный день. Солнце. Небо. Мы подождем на берегу.

Грановский остался на дебаркадере с гостем, улыбался, что-то говорил, поглядывал на мыс в верхнем течении, откуда должен вот-вот показаться пароход.

Тем временем сотрудники Озолса и сам начальник райотдела сидели на всех проводах и жали, жали, жали.

В восемь часов вечера «Красная Татария» показалась из-за мыса и медленно стала приближаться к дебаркадере. Грановский улыбался, благодарил, прощался. Мистер Попп благодарил, не улыбаясь.

Пароход подошел. И тут-то и возникла та неожиданная трудность, задержка, которая чуть не свела в гроб сердчнобольного М. Грановского, и трудность, которая была преодолена лишь благодаря опытности и распорядительности начальника райотдела Озолса.

Пароход оказался занят, набит людьми. Рейсы были редки, людей ездила чертова гибель, и забиты были все палубы, все каюты, даже машинное отделение. Мистеру Поппу на «Красной Татарии» не было места. Не только все билеты в каюты были проданы. В каждой катили в отпуск в Пермь секретари райкомов, начальники цехов, директора предприятий основного значения.

Грановский почувствовал, что он теряет сознание. Но у Озолса было гораздо больше опыта в таких делах.

Озолс поднялся на верхнюю палубу «Красной Татарии» с четырьмя своими молодцами, с оружием и в форме.

— Выходи все! Выноси вещи!

— Да у нас билеты! До Перми билеты!

— Черт с тобой, с твоими билетами! Выходи вниз, в трюм. Даю три минуты на размышление.

— Конвой поедет с вами до Перми. Я объясню дорогой.

Через пять минут верхняя палуба была очищена, и мистер Попп вступил на палубу «Красной Татарии».

ЛАГЕРНАЯ СВАДЬБА

К устью Улса быстро приближался челнок. Горная река была так крута, что челнок был виден на реке весь, как нарисованный. Челнок уже входил в тихие воды озера, образованного слиянием Улса и Кутима, того самого озера, на которое совсем недавно садился гидроплан Берзина, главного начальника. Пилотом Берзина был Володя Гипус, летчик, осужденный за вредительство, но с «детским» сроком на три года. Берзин был слишком опытен и умен, чтобы заглядывать в «дело» Гипуса, когда брал летчика-вредителя своим личным пилотом.

Прилет Берзина и был самым ярким событием нынешнего года. Кроме, конечно, вахминовской свадьбы.

Челнок приближался.

— Начальник едет, — виновато сказал Шурка Вениаминов, секретарь «общей части».

— И не один, — сказал я, начальник отдела труда. Мы стояли на берегу и ждали, пока долблена причалит. Челнок ткнулся носом в песок, Шурка и я придержали лодку, пока приехавшие выгрузились. Начальник района Степанов и его заместитель Александров — оба вернулись вместе в один и тот же миг. Раньше начальники вместе никуда не ездили и вместе не возвращались.

— Ну, как ваша свадьба? — спросил Степанов.

— Это не наша свадьба, гражданин начальник, это Вахминова свадьба.

— Сколько водки выпито?

— Сколько выписано было, столько и выпито.

— Не два же литра?

— Два, гражданин начальник.

— А не десять? Не двадцать, как мне в Кутиме говорили?

— Два, гражданин начальник.

— Пиши, Вениаминов, приказ. Всем участникам

свадьбы из заключенных по пятнадцать суток изолятора...

Степанов помолчал и поглядел куда-то мимо меня, добавил:

— С выводом... всех вольнонаемных — на губу и по выговору. С занесением в личное дело.

— А вы дураки! — сказал Александров, бывший начальник артиллерии Черноморского побережья, царский офицер, отбывший срок и оставшийся на службе в лагере. — Дураки! Взрослые люди! Надо было пригласить на свадьбу этого Сапрыкина, уполномоченного и начальника отряда. Ведь не дети вы. Надо было подождать возвращения — моего или Андрея Максимо- вича. Спешите всё. Торопитесь.

— А я с Азаровым за один стол не сяду, — сказал Вениаминов хмурно. — Да и Сапрыкин. Зачем нам Сапрыкин на свадьбе? Ваш заместитель, техрук района Кранов был.

— Кранов бывает всюду, где можно выпить на дзоровщинку, — сказал Степанов. — Знали ведь это?

— Знали.

— Ну, зови жениха.

Курьер побежал за Вахминовым, начальником КВЧ.

Гримасы «перековки» были не только мрачные, угрю- мые. Были гримасы и веселые.

Среди огромного количества приказов, которые при- сылала в начале тридцатых годов во время «перековки» Москва, было очень много попыток нащупать какой-то новый путь давления на арестанта.

Меры, поощрения, выполненный план стимулиро- вались не только пайкой, не только «шкалой питания».

Лучшими «изотовцами» в лагере были свои изотовцы, как после были «стахановцы» и «стахановская» пайка на Колыме.

В 1931 году «перековка» началась. В 1929 году заклю- ченным, систематически перевыполнявшим норму, раз- решалось жениться. Документы «личного дела» слу- жили юридической основой для регистрации.

Приезжающим женам не надо было везти «московского» разрешения на свидание. «Московское» полагалось брать «вредителям», вообще пятьдесят восьмой статье... Сроки этого свидания, сутки или часы, оговоренные приказом, дробились по желанию мужа и жены чуть ли не на минуты.

На Витаахе, где находилось управление Вишерского лагеря, был выстроен специальный дом-гостиница — Дом свиданий. Так этот дом и был назван во всех документах того времени: Дом свиданий!

Шел уже четырнадцатый год с начала революции. Название никому не казалось странным. Память у людей коротка.

Ударница могла назвать своим мужем любого заключенного... И получить свидание в Доме свиданий. Начальство следило только, чтобы в книге Дома свиданий не числилась пятьдесят восьмая статья.

Дом свиданий и его практика вызвали новый вопрос ГУЛАГу: можно ли заключенным жениться на заключенных в качестве поощрения за отличную работу? Разъяснение ГУЛАГа было получено и разослано по всем отделениям. Можно, если по анкете «личного дела» заключенный не состоял в браке. Северный район Вишерского лагеря получил это разъяснение.

Не откладывая в долгий ящик, Вахминов, начальник КВЧ, подал заявление о желании вступить в брак со своей делопроизводительницей Раисой Колесниченко.

Вахминов был ленинградский чекист, пьянчужка, потерявший наган во время шумной пьянки в «Астории».

— Очнулся, понимаешь, в канаве. Наган и кобур через плечо повешен. Пустой кобур.

Вахминова судили, дали три года. Он обжаловал приговор в Москву, Москва пересмотрела дело. Срок наказания был увеличен: пять лет. Вахминов решил прекратить переписку с высокими организациями и с головой ушел в воспитательную лагерную работу.

Среди сотен всевозможных «КВЧ», которые я встре-

чал в своей жизни, Вахминов еще был один из лучших. Пить он вовсе не пил. Только вот на свадьбе.

Рая Колесниченко была дочь какого-то сектанта крупного. Рае хотелось только одного: забыть отца, вообще забиться, забиться в угол куда-нибудь, не отличаться от подруг, соседей, знакомых, встречаемых ни одеждой, ни интересами, ни походкой, ни поведением.

С Вахминовым Рая жила уже давно и сейчас обрадовалась официальному предлогу, поводу.

В районе как раз гостил разъездной коллектив «Синей блузы» — подружки Рае нашлись.

По левую руку невесты сидела узкоглазая, узкогубая Шура Фанарина, стукачка из блатных. Рядом с ней — Сорокин, руководитель синеблузного коллектива. «Синяя блуза» в столицах уже умирала, и сам создатель жанра Южанин после неудачного побега за границу жил в лагерях. Все начинается в Москве, но не в Москве кончается. Уральская лагерная «Синяя блуза» была последним кругом по воде от камня, брошенного когда-то в стоячую воду эстрадного искусства с великой силой. Тексты к ораториям «Синей блузы» писал и я, и как полезный автор был дружен с синеблузниками. С участка на участок передвигалась «Синяя блуза» верхом... Вьючные лошади и лошади верховые. Болота, речки, дожди.

На центральном участке, где мы жили, был клуб. При клубе — художник, осужденный на десять лет по делу розенкрейцеров в Москве, по странному делу масонов.

Этим летом к художнику приехала жена, но он был не в ладах с начальством — портрет, что ли, отказался писать, и жене дали свидание ровно на столько часов, сколько разрешила Москва. Жена добиралась за сотни верст от железной дороги, вверх по реке, вверх, вверх...

Вместе с женой художника приехала жена инженера Шишова. Инженер Шишов был в заграничной командировке в Германии, учился там, женился, вернулся в Москву. Шли переговоры о юридическом оформлении

приезда жены, о разрешении ей приехать. Разрешение было выдано, но Шишов был арестован. Женщина не вернулась назад, а, не зная ни слова по-русски, отправилась на Северный Урал на каторгу искать мужа. И нашла. Свидание их, тоже разрешенное Москвой, было свободное — вольная квартира, прогулка. Инженер и молодая немка ходили по берегу, обнявшись, ходили, ходили. Потом она уехала. Не зная языка, без провожатых.

Вениаминов и я хотели пригласить инженера и его жену на свадьбу, но бывший чекист Вахминов отклонил наше предложение.

По правую руку жениха сидел заместитель начальника района, техрук из местных Краснов. Краснов знал, что свадьба разрешена, что водки выписано два литра, но вместо двух заведующий складом продал десять — сведения стукачей были самые точные. Впрочем, что это за стукачи, это — начальник отряда Азаров и местный уполномоченный райотдела, вполне официальный муж.

Азаров и Сапрыкин радировали в управление: «Отсутствие начальника района идет пьянка» и так далее.

Радист Костя Покровский не был приглашен на свадьбу, потому что он не то слишком комсомолец, не то слишком трусоват.

Пришел и ответ: начальнику выговор, всем участникам пьянки — взыскание.

Но за столом мы еще ничего не знали и поднимали бокалы и кричали «горько».

Слева от Сорокина сидела Зоя Ивановна, синевлузница, спокойная и добрая сорокалетняя баба. Рядом с ней — Юрик Загорский, блатарь в годах, который мог отбивать чечетку и петь.

Рядом с Юриком сидела Сима Врублевская — незаметная, некрасивая девушка с очень красивыми глазами. На эту самую Симу я стал обращать внимание только после того, как Катя Аристахова, подружка моя

тогдашняя, сказала мне как-то: «Удивляюсь вам, дуракам мужчинам. Никто из вас и не посмотрит на Симу, а я была с ней в бане — лучше бабы здесь нет».

Рядом с Красновым, такой же работник из местных, сидел комендант лагеря Михайлов. Потом Шурка Вениаминов и я. Мы были соседями Вахминова по комнате, сослуживцами, арестантами такими же.

Выпили, покричали «горько» и разошлись.

Ответ пришел утром: всем — взыскание за пьянку, начальнику — выговор. А приказ о свадьбах, о замужествах и женитьбах как рычаге выполнения и перевыполнения плана, приказ был отменен Москвой как ошибочный.

Мы сидели в изоляторе. Суток восемь. Ходили туда ночевать. Ведь «с выводом».

Только кончился мой изолятор, Костя Покровский, не приглашенный на свадьбу радист, принес радиограмму из управления. Высылается освобождение. В списке была и моя фамилия. Я собрал вещи и «сплыл» на челноке двести верст.



ПОТОМОК ДЕКАБРИСТА

О первом гусаре, знаменитом декабристе, написано много книг. Пушкин в уничтоженной главе «Евгения Онегина» так написал:

«Друг Марса, Вакха и Венеры . . .»

Рыцарь, умница, необъятных познаний человек, слово которого не расходилось с делом. И какое большое это было дело!

О втором гусаре, гусаре-потомке, расскажу все, что знаю.

На Кадыкчане, где мы — голодные и бессильные — ходили, натирая в кровавые мозоли грудь, вращая египетский круговой ворот и вытаскивая из уклона вагонетки с породой, шла «зарезка» штольни — той самой шахты, которая сейчас известна на всю Колыму. Египетский труд — мне довелось его видеть, испытать самому.

Подходила зима 1940-41 года, бесснежная, злая, колымская. Холод сжимал мускулы, обручем давил на виски. В дырявых брезентовых палатках, где мы жили летом, поставили железные печки. Но этими печами отапливался «вольный воздух».

Изобретательное начальство готовило людей к зиме. Внутри палатки был построен второй, меньший каркас — с прослойкой воздуха сантиметров десять. Этот каркас (кроме потолка) был обшит толем и рубероидом, и получилась как бы двойная палатка — немногим теплей, чем брезентовая.

Первые же ночевки в этой палатке показали, что это — гибель, и гибель скорая. Надо было выбираться отсюда. Но как? Кто поможет? За одиннадцать километров был большой лагерь — Аркагала, где работали шахтеры. Наша «командировка» была участком этого лагеря. Туда, туда — в Аркагалу!

Но как?

Традиция арестантская требует, чтобы в таких случаях раньше всего, прежде всего обратились к врачу. На Кадыкчане был фельдшерский пункт, а на нем работал «лепилой» какой-то недоучка-врач из бывших студентов Московского медицинского института — так говорили в нашей палатке.

Нужно большое усилие воли, чтобы после рабочего дня найти в себе силы подняться и пойти в амбулаторию, «на прием». Одеваться и обуваться, конечно, не надо — все на тебе от бани до бани, — а сил нет. Жаль тратить отдых на тот «прием», который, возможно, кончится издевательством, может быть, побоями (и такое бывало). А самое главное — безнадежность, сомнительность удачи. Но в поисках случая нельзя пренебрегать ни малейшим шансом — это мне говорило тело, измученные мускулы, а не опыт, не разум.

Воля слушалась только инстинкта — как это бывает у зверей.

Через дорогу от палатки стояла избушка-убежище разведочных партий, поисковых групп, а то и «секретов» оперативники, бесконечных таежных патрулей.

Геологи давно ушли, и палатку сделали амбулаторией — «кабинкой», в которой стоял топчан, шкаф с лекарством и висела занавеска из старого одеяла. Одеяло отгораживало койку-топчан, где жил «доктор».

Очередь на прием выстраивалась прямо на улице, на морозе.

Я протискался в избушку. Тяжелая дверь вдавила меня внутрь. Голубые глаза, большой лоб с залысиной и прическа — непременно прическа: волосы — утверждение себя. Волосы в лагере — свидетельство положения. Стригут ведь всех наголо. А тех, кого не стригут, — им все завидуют. Волосы — своеобразный протест против лагерного режима.

— Москвич? — это «доктор» спрашивал у меня.

— Москвич.

— Познакомимся.

Я назвал свою фамилию и пожал протянутую руку. Рука была холодная, чуть влажная.

— Лунин.

— Громкая фамилия, — сказал я, улыбаясь.

— Родной правнук. В нашем роде старшего сына называют либо Михаил, либо Сергей. Поочередно. Тот, пушкинский, был Михаил Сергеевич.

— Это нам известно. — Чем-то очень не лагерным дышала эта первая беседа. Я забыл свою просьбу, не решился внести в этот разговор неподобающую ноту. А я — голодал. Мне хотелось хлеба и тепла. Но доктор об этом еще не подумал.

— Закуривай!

Отмороженными розовыми пальцами я стал скручивать папиросу.

— Да больше бери, не стесняйся.

— У меня дома о прадеде — целая библиотека. Я ведь студент медфака. Недоучился. Арестовали. У нас все в роду военные, а я вот — врач. И не жалею.

— Марса, стало быть, по боку. Друг Эскулапа, Вакха и Венеры.

— Насчет Венеры тут слабо. Зато насчет Эскулапа вольготно. Только диплома нет. Если мне бы да диплом, я бы им показал.

— А насчет Вакха?

— Есть спиртишко, сам понимаешь. Но я ведь рюмку выпью — и порядок. Пьянею быстро. Я ведь и вольный поселок обслуживаю, так что сам понимаешь. Приходи.

Я плечом приоткрыл дверь и вывалился из амбулатории.

— Ты знаешь, москвичи — это такой народ, больше всех других — киевлян там, ленинградцев — любят вспоминать свой город, улицы, катки, дома, Москва-реку...

— Я не природный москвич.

— А такие-то еще больше вспоминают, еще лучше запоминают...

Я приходил несколько вечеров в конце приема — выкуривал папиросу, махорочную, боялся попросить хлеба.

Сергей Михайлович, как всякий, кому лагерь достался легко — из-за удачи, из-за работы, — мало думал за других и плохо мог понять голодных: его участок, Аркагала, еще не голодала в то время. Приисковские беды обошли Аркагалу стороной.

— Хочешь, я тебе сделаю операцию — кисту твою на пальце срежу.

— Ну, что ж.

— Только, чур, освобождать от работы не буду. Это мне, понимаешь, неудобно.

— А как же работать с оперированным пальцем?

— Ну, как-нибудь.

Я согласился, и Лунин вырезал довольно искусно кисту «на память». Когда через много лет я встретился с женой, в первую минуту встречи она с крайним удивлением, сжимая мои пальцы, искала эту самую «лунинскую» кисту.

Я увидел, что Сергей Михайлович просто очень молод, что ему нужен собеседник пограмотнее, что все его взгляды на лагерь, на «судьбу» не отличаются от взглядов любого вольного начальника, что даже блатными он склонен восхищаться, что суть бури тридцать восьмого года прошла мимо него.

А мне был дорог любой час отдыха, день отдыха — мускулы, уставшие на всю жизнь на золотом прииске, ныли, просили покоя. Мне дорог был каждый кусок хлеба, каждая миска супчику — желудок требовал пищи, и глаза помимо моей воли искали на полках хлеб. Но я заставлял себя вспоминать Китай-город, Никитские ворота, где застрелился писатель Андрей Соколов, где Штерн стрелял в машину немецкого посла, — историю улиц Москвы, которую никто никогда не напишет.

— Да, Москва, Москва. А скажи — сколько у тебя было женщин?

Полуголодному человеку было немыслимо поддержи-

вать такой разговор, но молодой хирург слушал только себя и не обижался на молчание.

— Послушай, Сергей Михайлович, ведь наши судьбы — это преступление, самое большое преступление века.

— Ну, я этого не знаю, — недовольно сказал Сергей Михайлович. — Это все жида мутят.

Я пожал плечами.

Вскоре Сергей Михайлович добился своего перевода на участок, на Аркагалу, и я думал, без грусти и обиды, что еще один человек ушел из моей жизни навсегда, и какая это, в сущности, легкая штука — расставанье, разлука. Но все оказалось не так.

Начальником участка Кадыкчан, где я работал на египетском вороте, как раб, был Павел Иванович Киселев. Немолодой беспартийный инженер. Киселев избивал заключенных каждодневно. «Выход» начальника на участок сопровождался побоями, ударами, криком.

Безнаказанность? Дремлющая где-то на дне души жажда крови? Желание отличиться на глазах высшего начальства? Власть — страшная штука.

Зельфугаров, мальчик-фальшивомонетчик из моей бригады, лежал на снегу и выплевывал разбитые зубы.

— Всех родных моих, слышь, расстреляли за фальшивую монету, а я был несовершеннолетний — меня на пятнадцать лет в лагерь. Отец следователю говорил — возьми пятьсот тысяч, наличными, настоящими, прекрати дело... Следователь не согласился.

Мы, четверо сменщиков на круговом вороте, остановились около Зельфугарова. Корнеев, крестьянин сибирский, блатарь Леня Семенов, инженер Вронский и я. Блатарь Леня Семенов говорил:

— Только в лагере и учиться работать на механизмах: берись за всякую работу — отвечать ты не будешь, если сломаешь лебедку или подъемный кран. Понемногу научишься. — Рассуждение, которое в ходу у молодых колымских хирургов.

А Вронский и Корнеев были моими знакомыми, не

друзьями, а просто знакомыми еще с Черного озера — с той командировки где я возвращался к жизни.

Зельфугаров, не вставая, повернул к нам окровавленное лицо с распухшими грязными губами.

— Не могу встать, ребята. Под ребро бил. Эх, начальник, начальник!

— Иди к фельдшеру.

— Боюсь, хуже будет. Начальнику скажет.

— Вот что, — сказал я, — конца этому не будет. Есть выход. Приедет начальник Дальстройугля или еще какое большое начальство, выйти вперед и в присутствии начальства дать по морде Киселеву. Прозвонит на всю Колыму, и Киселева снимут, безусловно переведут. А тот, кто ударит, примет срок. Сколько лет дадут за Киселева?

Мы шли на работу, вертели ворот, ушли в барак, поужинали, хотели ложиться спать. Меня вызвали в «контору».

В конторе сидел, глядя в землю, Киселев. Он был не трус и угроз не любил.

— Ну, что? — сказал он весело. — На всю Колыму прогремит, а? Я вот под суд тебя отдам — за покушение. Иди отсюда, сволочь!..

Донести мог только Вронский, но как? Мы все время были вместе.

С тех пор жить на участке мне стало легче. Киселев даже не подходил к вороту и на работе бывал с мелкокалиберкой, а в шахту-штольню, уже углубленную, не спускался.

Кто-то вошел в барак.

— К доктору иди.

«Доктором», сменившим Лунина, был некто Колесников — тоже недоучившийся медик, молодой высокий парень из заключенных.

В амбулатории за столом сидел Лунин в полушубке.

— Собирай вещи, поедем сейчас на Аркагалу. Колесников, пиши направление.

Колесников сложил лист бумаги в несколько раз,

оторвал крошечный кусочек, чуть больше почтовой марки, тончайшим почерком вывел: «В санчасть лагеря Аркагала».

Лунин взял бумажку и побежал:

— Пойду визу у Киселева возьму.

Вернулся он огорченный.

— Не пускает, понимаешь. Говорит — ты ему по морде дать обещал. Ни в какую не соглашается.

Я рассказал всю историю.

Лунин разорвал «направление».

— Сам виноват, — сказал он мне. — Какое твое дело до Зельфугарова, до всех этих... Тебя-то не били.

— Меня били раньше.

— Ну, до свиданья. Машина ждет. Что-нибудь придумаем. — И Лунин сел в кабину грузовика.

Прошло еще несколько дней, и Лунин приехал снова.

— Сейчас иду к Киселеву. Насчет тебя.

Через полчаса он вернулся.

— Все в порядке. Согласился.

— А как?

— Есть у меня один способ укрощать сердце строптивых. — И Сергей Михайлович изобразил разговор с Киселевым.

— Какими судьбами, Сергей Михайлович? Садитесь. Закуривайте.

— Да нет, некогда. Я вам тут, Павел Иванович, акты о побоях привез — мне оперативка переслала для подписи. Ну, прежде чем подписывать, я решил спросить у вас, правда ли все это?

— Неправда, Сергей Михайлович. Враги мои готовы...

— Вот и я так думал. Я не подпишу этих актов. Все равно уж, Павел Иванович, ничего не исправишь, выбитых зубов не вставишь обратно.

— Так, Сергей Михайлович. Прошу ко мне домой, там жена наливочку изготовила. Берег к Новому году, да ради такого случая...

— Нет, нет, Павел Иванович. Только услуга за услугу. Отпустите на Аркагалу Андреева.

— Вот этого уж никак не могу. Андреев — это что называется . . .

— Ваш личный враг?

— Да-да.

— Ну, а это мой личный друг. Я думал, вы повнимательней отнесетесь к моей просьбе. Возьмите, посмотрите акты о побоях.

Киселев помолчал:

— Пусть едет.

— Напишите аттестат.

— Пусть приходит сам.

.

Я шагнул за порог «конторы». Киселев глядел в землю.

— Поедете на Аркагалу. Возьмите аттестат.

Я молчал. Конторщик выписал «аттестат», и я вернулся в амбулаторию.

Лунин уже уехал, но меня ждал Колесников.

— Поедешь вечером, часов в девять. Острый аппендицит! — и протянул мне бумажку.

Больше ни Киселева, ни Колесникова я никогда не видел. Киселева вскоре перевели в другое место, на Эльген, и там он был убит через несколько месяцев, случайно. В квартиру, в домик, где он жил, забрался ночью вор. Киселев, услышав шаги, схватил со стены двустволку заряженную, взвел курок и бросился на вора. Вор кинулся в окно, и Киселев ударил его в спину прикладом и выпустил заряд из обоих стволов в свой собственный живот.

Все заключенные во всех угольных районах Колымы радовались этой смерти. Газета с объявлением о похоронах Киселева переходила из рук в руки. В шахте во время работы измятый клочок газеты освещали рудничной лампочкой аккумулятора. Читали, радовались и кричали «ура». Киселев умер! Бог все-таки есть!

Вот от Киселева-то и выручил меня Сергей Михайлович.

Аркагалинский лагерь обслуживал шахту. На сто подземных рабочих, сто шахтеров — тысяча obsługi всяческой.

Голод подступал к Аркагале. И, конечно, раньше всего голод вошел в бараки пятьдесят восьмой статьи.

Сергей Михайлович сердился:

— Я не солнышко, всех не обогрею. Тебя устроили дневальным в химлабораторию, надо было жить, надо было уметь жить. По-лагерному, понял? — хлопал меня Сергей Михайлович по плечу. — До тебя тут работал Димка. Так вот продал весь глицерин — две бочки стояло — по двадцать рублей пол-литровая банка; медок, говорил, ха-ха-ха! Для заключенного все хорошо.

— Для меня это не годится.

— А что же для тебя годится?

Служба дневального была ненадежной. Меня быстро — насчет этого были строгие указания — перевели на шахту. Есть хотелось все больше.

Сергей Михайлович носился по лагерю. Была у него страсть: начальство в любом его виде прямо завораживало нашего доктора. Лунин невероятно гордился своей дружбой или хоть тенью дружбы с любым лагерным начальством, стремился показать свою близость к начальству, хвалился ею и мог об этой призрачной близости говорить целыми часами.

Я сидел у него на приеме голодный, боясь попросить кусок хлеба, и слушал бесконечную похвальбу.

— А что начальство? Начальство — это, брат, власть. Несть власти, аще не от бога — ха-ха-ха! Надо уметь угодить ему — и все будет хорошо.

— Я могу с удовольствием угодить ему прямо в рожу.

— Ну, вот видишь. Слушай, давай так договоримся: ты можешь ко мне ходить — ведь скучно, наверно, в общем бараке?

— Скучно?!

— Ну, да. Ты приходи. Посидишь, покуришь. В бараке ведь и покурить не дадут. Ведь я знаю — в сто

глаз глядят на папиросу. Только не проси меня освободить от работы. Этого я не могу, то есть могу, но мне неудобно. Дело твое. Пожрать, сам понимаешь, где я могу и взять — это дело моего санитаря. Я сам за хлебом не хожу. Так что, если в случае тебе нужно будет хлеба — скажешь санитару Николаю. Неужели ты, старый лагерник, хлеба не можешь достать? Послушай, вот что жена начальника Ольга Петровна сегодня говорила. Меня ведь приглашают и выпить.

— Я пойду, Сергей Михайлович.

Настали дни голодные и страшные. И как-то раз, не в силах справиться с голодом, вошел я в амбулаторию.

Сергей Михайлович сидел на табуретке и листоновскими щипцами срывал помертвевшие ногти с отмороженных пальцев скорченного грязного человека. Ногти один за другим падали со стуком в пустой таз. Сергей Михайлович заметил меня.

— Вчера вот полтаза таких ногтей набросал.

Из-за занавески выглянуло женское лицо. Мы редко видели женщин, да еще близко, да еще в комнате, лицом к лицу. Она показалась мне прекрасной. Я поклонился, поздоровался.

— Здравствуйте, — низким чудесным голосом сказала она. — Сережа, это твой товарищ? Что ты рассказывал?

— Нет, — сказал Сергей Михайлович, бросая листоновские щипцы в таз и отходя к раковине мыть руки.

— Николай, — сказал он вошедшему санитару, — убери таз и вынеси ему — он кивнул на меня — хлеба.

Я дождался хлеба и ушел в барак. Лагерь есть лагерь. А женщина эта, нежное и прелестное лицо которой помню я и сейчас — хоть никогда ее больше не видел, — была Эдит Абрамовна, вольнонаемная, партийная, договорница, медицинская сестра с прииска Ольчан. Она влюбилась в Сергея Михайловича, сошлась с ним, добилась его перевода на Ольчан, добилась его досрочного освобождения уже во время войны. Ездила в Ма-

гадан к Никишову, начальнику Дальстроя, хлопотать за Сергея Михайловича, и когда ее исключили из партии за связь с заключенным — обычная «мера пресечения» в таких случаях, — передала вопрос в Москву и добилась снятия судимости с Лунина, добилась, что ему разрешили сдать экзамен в Московском университете, получить диплом врача, восстановиться во всех правах, и вышла за него замуж формально.

А когда потомок декабриста получил диплом, он бросил Эдит Абрамовну и потребовал развода.

— Родственников у нее, как у всех жидов! Мне это не годится.

Эдит Абрамовну он бросил, но Дальстрой ему бросить не удалось. Пришлось вернуться на Дальний Север — хоть на три года. Уменье ладить с начальством принесло Луину, дипломированному врачу, неожиданно крупное назначение — заведующим хирургическим отделением центральной больницы для заключенных на Левом берегу в поселке Дебин. А я к этому времени — к 1948 году — был старшим фельдшером хирургического отделения.

Назначение Лунина было как внезапный удар грома.

Дело в том, что хирург Рубанцев, заведующий отделением, был фронтовой хирург — майор медицинской службы — дельный, опытный работник, приехавший сюда после войны отнюдь не на три дня. Одним Рубанцев был плох — он не ладил с «высоким» начальством, ненавидел подхалимов, лжецов и вообще был не ко двору Щербакова — начальника санотдела Колымы. Договорник, приехавший настроенным врагом заключенных, Рубанцев, умный человек самостоятельных суждений, скоро увидел, что его обманывали в «политической» подготовке. Подлецы, самоснабженцы, клеветники, бездельники — таковы были товарищи Рубанцева по службе. А заключенные — всех специальностей, в том числе и врачебной, — были теми людьми, которые вели больницу, лечение, дело. Рубанцев понял правду и не стал ее скрывать. Он подал заявление о

переводе в Магадан, где была средняя школа, — у него был сын школьного возраста. В переводе ему было отказано устно. После больших хлопот, через несколько месяцев ему удалось устроить сына в интернат, километрах в 90 от Дебина. Работу Рубанцев уже вел уверенно, разгонял бездельников и рвачей. Об этих угрожающих спокойствию действиях было незамедлительно сообщено в Магадан, в штаб Щербакова.

Щербаков не любил «тонкостей» в обращении. Матерщина, угрозы, дача «дел» — все это годилось для заключенных, для бывших заключенных, но не для договорника, фронтового хирурга, награжденного орденами.

Щербаков разыскал старое заявление Рубанцева и перевел его в Магадан. И хоть учебный год был в полном разгаре, хоть дело в хирургическом отделении было налажено — пришлось все бросить и уехать...

С Луниным мы встретились на лестнице. У него было свойство краснеть при смущении. Он налился кровью. Впрочем, угостил меня закурить, порадовался моим успехам, моей «карьере» и рассказал об Эдит Абрамовне.

Александр Александрович Рубанцев уехал. На третий же день в процедурной была устроена пьянка — хирургический спирт пробовал и главный врач Ковалев, и начальник больницы Винокуров, которые побаивались Рубанцева и не посещали хирургическое отделение. Во врачебных кабинетах начались пьянки с приглашением заключенных медсестер, санитарок, словом, стоял дым коромыслом. Операции чистого отделения стали проходить с вторичным заживлением — на обработку операционного поля не стали тратить драгоценного спирта. Полупьяные начальники шагали по отделению взад и вперед.

Больница эта была моей больницей. После окончания курсов в конце 1946 года я приехал сюда с больными. На моих глазах больница выросла — это было бывшее здание Колымполка, и когда после войны какой-то специалист по военной маскировке забраковал здание

— видное среди гор за десятки верст, — его передали больнице для заключенных. Хозяева, Колымполк, уезжая, выдернули все водопроводные и канализационные трубы, какие можно было выдернуть из огромного трехэтажного каменного здания, а из зрительного зала клуба вынесли всю мебель и сожгли ее в котельной. Стены были побиты, двери сломаны. Колымполк уезжал по-русски. Все это восстановили мы по винтику, по кирпичику.

Собрались врачи, фельдшера, которые пытались сделать все как можно лучше. Для очень многих это был священный долг — отплатить за медицинское образование — помощь людям.

.

Все бездельники подняли головы с уходом Рубанцева. — Зачем ты берешь спирт из шкафа?

— Пошел ты знаешь куда, — объявила мне сестра. — Теперь, слава богу, Рубанцева нету, Сергей Михайлович распорядился...

Я был поражен, подавлен поведением Лунина. Кутеж продолжался.

На очередной пятиминутке Лунин смеялся над Рубанцевым:

— Не сделал ни одной операции язвы желудка, хирург называется!

Это был вопрос не новый. Действительно, Рубанцев не делал операций язвы желудка. Больные терапевтических отделений с этим диагнозом были заключенными — истощенными, дистрофиками, — и не было надежд, что они перенесут операцию. «Фон нехорош», — говаривал Александр Александрович.

— Трус, — кричал Лунин и взял к себе из терапевтического отделения двенадцать таких больных. И все двенадцать были оперированы — и все двенадцать умерли. Опыт и милосердие Рубанцева вспомнились больничным врачам.

— Сергей Михайлович, так работать нельзя.

— Ты мне указывать не будешь!

Я написал заявление о вызове комиссии из Магадана. Меня перевели в лес, на лесную командировку. Хотели на штрафной прииск, да уполномоченный райотдела отсоветовал — теперь не тридцать восьмой год. Не стоит.

Приехала комиссия, и Лунин был «уволен из Дальстроя». Вместо трех лет ему пришлось «отработать» всего полтора года.

А я через год, когда сменилось больничное начальство, вернулся из фельдшерского пункта лесного участка заведывать приемным покоем больницы.

Потомка декабриста я встретил как-то в Москве на улице. Мы не поздоровались.

.

Только через шестнадцать лет я узнал, что Эдит Абрамовна еще раз добилась возвращения Лунина на работу в Дальстрой. Вместе с Сергеем Михайловичем приехала она на Чукотку, в поселок Певек. Здесь был последний разговор, последнее объяснение, и Эдит Абрамовна бросилась в воду, в реку Певек, утонула, умерла.

Иногда сновтворные не действуют, и я просыпаюсь ночью. Я вспоминаю прошлое и вижу женское прелестное лицо, слышу низкий голос: «Сережа, это — твой товарищ? . . .»



КОМБЕДЫ

В трагических страницах России тридцать седьмого и тридцать восьмого года есть и лирические строки, написанные своеобразным почерком. В камерах Бутырской тюрьмы — огромного тюремного организма, со сложной жизнью множества «корпусов», «подвалов» и «башен», переполненных до предела, до обмороков следственных заключенных, во всей свистопляске арестов, этапов без приговора и срока, в камерах, набитых живыми еще людьми, — сложился любопытный обычай, традиция, державшаяся не один десяток лет.

Неустанно насаждаемая «бдительность», переросшая в шпиономанию, была болезнью, охватившей всю страну. Каждой мелочи, пустяку, обмолвке придавался зловеший тайный смысл, подлежащий истолкованию в следственных кабинетах.

Вкладом тюремного ведомства было запрещение вещевых и продовольственных передач следственным арестантам. Мудрецы юридического мира уверяли, что оперируя двумя французскими булками, пятью яблоками и парой старых штанов, можно сообщить в тюрьму любой текст, даже кусок из «Анны Карениной».

Эти «сигналы с воли» — продукт воспаленного мозга ретивых служаек учреждения — пресекались надежно. Передачи отныне могли быть только денежными, а именно — не более пятидесяти рублей в месяц каждому арестанту. Перевод мог быть только в круглых цифрах — 10, 20, 30, 40, 50 рублей; так уберегались от возможности разработки новой «азбуки» сигналов цифрового порядка.

Проще всего, надежней всего было вовсе запретить передачи — но эта мера была оставлена для следователя, ведущего «дело». «В интересах следствия» он имел право запретить переводы вообще. Был тут и некоторый коммерческий интерес — магазин, «лавочка»,

Бутырской тюрьмы многократно увеличила свои обороты со времени, когда были запрещены вещевые и продовольственные передачи.

Отвергнуть всякую помощь родных и знакомых администрация почему-то не решалась, хотя и была уверена, что и в этом случае никакого протеста ни внутри тюрьмы, ни вне ее, «на воле», подобное действие не вызовет.

Ущемлению, ограничению и без того призрачных прав следственных заключенных русский человек не любит быть свидетелем на суде. По традиции, в русском процессе свидетель мало отличается от обвиняемого, и его «прикосновенность» к делу служит определенной отрицательной характеристикой на будущее. Еще хуже положение следственных заключенных. Все они — будущие «срочники», ибо считается, что «жена Цезаря не имеет пороков», и органы внутренних дел не ошибаются. Никого зря не арестуют. За арестом логически следует приговор; малый или большой срок наказания получает тот или иной следственный арестант — зависит или от удачи заключенного, от «счастья», или от целого комплекса причин, куда входят и клопы, кусавшие следователя в ночь перед докладом, и голосование в американском конгрессе.

Выход из дверей следственной тюрьмы по сути дела один — в «черный ворон», тюремный автобус, везущий приговоренных на вокзал. На вокзале — погрузка в теплушки, медленное движение бесчисленных арестантских вагонов по железнодорожным путям и, наконец, один из тысяч «трудовых» лагерей.

Эта обреченность накладывает свой отпечаток на поведение следственных арестантов. Беззаботность, молодечество сменяется мрачным пессимизмом, упадком духовных сил. Следственный арестант на допросах борется с призраком, призраком исполинской силы. Арестант привык иметь дело с реальностями, сейчас с ним сражается Призрак. Однако это «пламя — жжет, а эта пика — больно колет». Все жутко реально, кроме самого «дела». Вздвигнутый, подавленный своей борьбой

с фантастическими видениями, пораженный их величиной арестант теряет волю. Он «подписывает» все, что придумал следователь, и с этой минуты сам становится фигурой того нереального мира, с которым он боролся, становится пешкой в страшной и темной кровавой игре, разыгрываемой в следовательских кабинетах.

— Куда его повели?

— В Лефортово. Подписывать.

Следственные знают о своей обреченности. Знают это и те люди тюрьмы, которые находятся по ту сторону решетки, — тюремная администрация. Коменданты, дежурные, часовые, конвоиры привыкают смотреть на следственных не как на будущих, а как на сущих арестантов.

Подследственный арестант спросил в 1937-м году на проверке сменного дежурного караульного коментанта что-то о вводимой тогда новой конституции. Комендант резко ответил:

— Это вас не касается. Ваша конституция — это уголовный кодекс.

Следственных заключенных в лагере также ждали «перемены». В лагере всегда полно следственных — ибо получить срок вовсе не значило избавить себя от перманентного действия всех статей уголовного кодекса. Они «действовали» так же, как и «на воле», только все — доносы, наказания, допросы — было еще более обнажено, еще более грубо-фантастично.

Когда в столице были запрещены продовольственные и вещевые передачи, на тюремной «периферии» — в лагерях — был введен особый «следственный паёк» — кружка воды и триста граммов хлеба в день. Карцерное положение, на которое были переведены следственные, быстро приблизило их к могиле.

Этим «следственным пайком» пытались добиться «лучшей из улик» — собственного признания подследственного, подозреваемого, обвиняемого.

В Бутырской тюрьме 1937 года разрешались денежные передачи — не более 50 рублей в месяц. На эту

сумму каждый, имеющий деньги, зачисленные на его лицевой счет, мог приобрести продукты в тюремной «лавочке», мог истратить четыре раза в месяц по тринадцать рублей — «лавочки» бывали раз в неделю. Если при аресте у следственного было денег больше — деньги зачислялись на его лицевой счет, но истратить он не мог более 50 рублей.

Наличных денег, конечно, не было, выдавались квитанции, и расчет велся на обороте этих квитанций — рукой продавца магазина и обязательно красными чернилами.

Для общения с начальством и поддержания товарищеской дисциплины в камере с незапамятных времен существует институт камерных старост.

Администрация тюрьмы каждую неделю за день до «лавочки» вручает старосте на поверке грифельную доску и кусок мела. На этой доске староста должен сделать заранее расчет заказов всех покупок, которые хотят сделать арестанты камеры. Обычно лицевая сторона грифельной доски — это продукты в их общем количестве, а на обороте записано, из чьих именно заказов составились эти количества.

На этот расчет уходит обычно целый день, ведь тюремная жизнь переполнена событиями всякого рода — масштаб этих событий для всех арестантов значителен. Утром следующего дня староста и с ним один-два человека уходят в магазин за покупками. Остаток дня уходит на делёж принесенных продуктов — развешенных по «индивидуальным заказам».

В тюремном магазине был большой выбор продуктов — масло, колбаса, сыры, белые булки, папиросы, махорка...

Тюремный рацион тюремного питания разработан раз навсегда. Если б арестанты забыли день недели, они могли бы узнать его по запаху обеденного супа, по вкусу единственного блюда ужина. По понедельникам был всегда в обед гороховый суп, а в ужин каша овсяная, по вторникам — пшенный суп и перловая каша.

За шесть месяцев следственного жития каждое тюремное блюдо появилось ровно двадцать пять раз — пища Бутырской тюрьмы всегда славилась своим разнообразием.

Тот, кто имел деньги, хотя бы эти четыре раза по тринадцать рублей, мог прикупить сверх тюремной «баланды» и «шрапнели» кое-что повкуснее, питательнее, полезнее.

Тот, кто денег не имел, никаких закупок, конечно, не мог делать. В камере всегда были люди без копейки денег — не один и не два человека. Это мог быть привезенный иногородний, арестованный где-либо на улице и «наисекретнейше». Его жена металась по всем тюрьмам и комендантурам, и отделениям милиции города, тщетно пытаясь узнать адрес мужа. Правилом было уклонение от ответа, полное молчание всех «учреждений». Жена носила посылку из тюрьмы в тюрьму — может быть, примут, значит, ее муж жив, а не примут — тревожные ночи ждали ее.

Или это был арестованный отец семейства; сразу же после ареста от него заставили отшатнуться его жену, детей, родственников. Мучая его непрерывными допросами с момента ареста, следователь пытался вынудить у него «признание» в том, чего тот никогда не делал. В качестве меры воздействия, кроме угроз и избиения, — арестанта лишали денег.

Родные и знакомые с полным основанием боялись ходить в тюрьму и носить передачи. Настойчивость в передачах, в поисках, в справках влекла зачастую за собой подозрение, нежелательные и серьезные неприятности по службе и даже арест — бывали и такие случаи.

Были и другого рода безденежные арестанты. В шестдесят восьмой камере был Ленька, подросток лет семнадцати, родом из Тумского района Московской области — из места, глухого для тридцатых годов.

Ленька — толстый, белолицый, с нездоровой кожей, давно не видавшей свежего воздуха, — чувствовал себя

в тюрьме великолепно. Кормили его так, как в жизни не кормили. Лакóмствами из лавки угощал чуть не каждый. Курить он приучился папиросы, а не махорку. Он умилялся всему — как тут интересно, какие хорошие люди, — целый мир открылся перед неграмотным парнем из Тумского района. Следственное дело свое он считал какой-то игрой, наваждением — дело его ничуть не беспокоило. Ему хотелось только, чтобы эта его тюремная следственная жизнь, где так сытно, чисто и тепло, длилась бесконечно.

Дело у него было удивительное. Это было точное повторение ситуации чеховского «Злоумышленника». Ленька отвинчивал гайки от рельс полотна железной дороги на грузила и был пойман на месте преступления и привлечен к суду, как вредитель, по седьмому пункту пятьдесят восьмой статьи. Чеховского рассказа Ленька никогда не слышал, а «доказывал» следователю, как классический чеховский герой, что он не отвинчивает двух гаек сряду, что он «понимает» . . .

На показаниях тумского парня следователь строил какие-то необыкновенные «концепции» — самая невинная из которых грозила Леньке расстрелом. Но «связать» с кем-либо Леньку следствию не удавалось — и вот Ленька сидел в тюрьме второй год в ожидании, пока следствие найдет эти «связи».

Люди, у которых нет денег на лицевом счету тюрьмы, должны питаться казенным пайком без всякой добавки. Тюремный паек — скучная штука. Даже небольшое разнообразие в пище окрашивает арестантскую жизнь, делает ее как-то веселее.

Вероятно, тюремный паек (в отличие от лагерного) в калориях своих, в белках, жирах и углеводах выведен из каких-то теоретических расчетов, опытных норм. Расчеты эти опираются, вероятно, на какие-нибудь «научные» работы — трудами такого рода ученые любят заниматься. Столь же вероятно, что в Московской следственной тюрьме контроль за изготовлением пищи и доведением калорий до живого потреби-

теля поставлен на достаточную высоту. И, вероятно, в Бутырской тюрьме проба — отнюдь не издевательская формальность, как в лагере. Какой-нибудь старый тюремный врач, отыскивая в акте место, где ему нужно поставить свою подпись, утверждающую раздачу пищи, попросит, может быть, повара положить ему побольше чечевицы, наикалорийнейшего блюда. Врач пошутит, что вот арестанты жалуются на пищу зря, — он, доктор, и то с удовольствием съел мисочку — впрочем, врачам пробу дают в тарелках — нынешней чечевицы.

На пищу в Бутырской тюрьме никогда не жаловались. Не потому, что пища эта была хороша. Следственному арестанту не до пищи, в конце концов. И даже самое нелюбимое арестантское блюдо — вареная фасоль, которую готовили здесь как-то удивительно невкусно, фасоль, которая получила энергичное прозвище «блюдо с проглотом», — даже фасоль не вызывала жалоб.

Лавочная колбаса, масло, сахар, сыр, свежие булки — были лакомствами. Каждому, конечно, было приятно их съесть за чаем, не казенным кипятком с «малиновым» напитком, а настоящим чаем, заваренным в кружку из огромного ведерного чайника красной меди, чайника царских времен, чайника, из которого пили, может быть, народовольцы.

Конечно, «лавочка» была радостным событием в жизни камеры. Лишение «лавочки» было тяжелым наказанием, всегда приводящим к спорам, ссорам, — такие вещи переживаются арестантами очень тяжело. Случайный шум, услышанный коридорным, спор с дежурным комендантом — все это расценивалось как дерзость; наказанием за нее было лишение очередной «лавочки».

Мечты восьмидесяти человек — размещенных на двадцати местах — шли прахом. Это было тяжелое наказание.

Для тех следственных, кто не имел денег, лишение

лавочки должно было быть безразличным. Однако это было не так.

Продукты принесены, начинается вечернее чаепитие. Каждый купил, что хотел. Те же, у кого денег нет, чувствуют себя лишними на этом общем празднике. Только они не разделяют того нервного подъема, который наступает в день «лавочки».

Конечно, их все угощают. Но можно выпить кружку чаю с чужим сахаром и чужим белым хлебом, выкурить чужую папиросу — одну и другую — все это вовсе не так, как «дома», как если бы он купил все это на свои собственные деньги. Безденежный настолько деликатен, что боится съесть лишний кусок.

Изобретательный коллективный мозг тюрьмы нашел выход, устраняющий ложность положения безденежных товарищей, щадящий их самолюбие и дающий почти официальное право каждому безденежному пользоваться лавочкой. Он может вполне самостоятельно тратить свои собственные деньги, покупая то, что хочется.

Откуда же берутся эти деньги?

Здесь-то и рождается вновь знаменитое слово времен военного коммунизма, времен первых лет революции. Слово это — комбеды, комитеты бедноты. Кто-то безвестный бросил это название в тюремной камере, и слово удивительным образом привилось, укрепилось, поползло из камеры в камеру — перестуком, запиской, спрятанной где-нибудь под скамейку в бане, а еще проще — при переводе из тюрьмы в тюрьму.

Бутырская тюрьма славится своим образцовым порядком. Огромная тюрьма на двенадцать тысяч мест при непрерывном круглосуточном движении текучего ее населения: каждый день возят в рейсовых тюремных автобусах на Лубянку и с Лубянки на допросы, на очные ставки, на суд, перевозят в другие тюрьмы...

Внутри тюремная администрация за «камерные» проступки сажает следственных заключенных в Полицейскую, Пугачевскую, Северную и Южную башни — в

них особые, «штрафные» камеры. Есть и карцерный корпус, где в камерах лечь нельзя, и спать можно только сидя.

Пятую часть населения камеры ежедневно куда-либо водят — либо в «фотографию», где снимают по всем правилам анфас и в профиль, и номер прикреплен к занавеске, около которой садится арестант; либо «играть на рояле» — процедура дактилоскопии обязательна и почему-то никогда не считалась оскорбительной процедурой. Или на допрос, в допросный корпус, по бесконечным коридорам исполинской тюрьмы, где при каждом повороте провожающий гремит ключом о медную пряжку собственного пояса, предупреждая о движении «секретного арестанта». И пока не ударят где-то в ладоши (на Лубянке в ладоши хлопают, отвечая на прищелкивание пальцами вместо звяканья ключами), провожающий не пускает арестанта вперед.

Движение непрерывно, бесконечно — входные ворота никогда не закрываются надолго, и не было случая, чтобы однодельцы попали в одну и ту же камеру.

Арестант, перешагнувший порог тюрьмы, вышедший из нее хоть на секунду, если вдруг его поездка отменена, не может вернуться обратно без дезинфекции всех вещей. Таков порядок, санитарный закон. У тех, кого часто возили на допросы на Лубянку, — одежда быстро пришла в ветхость. В тюрьме и без того верхняя одежда изнашивается много быстрее, чем на воле, — в одежде спят, ворочаются на досках «щитов», которыми застланы нары. Вот эти доски вкупе с частыми энергичными вошебойками-жарилками быстро разрушают одежду каждого следственного.

Как ни строг учет, но «тюремщик думает о своих ключах меньше, чем арестант о побеге», — так говорит автор «Пармской обители».

«Комбеды» возникли стихийно, как арестантская самозащита, как товарищеская взаимопомощь. Кому-то вспомнились в этом случае именно «комитеты бедноты». И как знать — автор, вложивший новое содержа-

ние в старый термин, быть может, сам участвовал в настоящих комитетах бедноты русской деревни первых революционных лет. Комитеты взаимопомощи — вот чем были тюремные комбеды.

Организация комбедского дела сводилась к самому простому виду товарищеской помощи. При выписке «лавочки» каждый, кто выписывал себе продукты, должен был отчислить десять процентов в комбед. Общая денежная сумма делилась на всех «безденежных» камеры — каждый из них получал право самостоятельной выписки продуктов из «лавочки».

В камере с населением 70-80 человек постоянно бывало 7-8 человек безденежных. Чаще всего бывало, что деньги приходили, «должник» пытался вернуть данное ему товарищами, но это не было обязательно. Просто он, в свою очередь, отчислял те же десять процентов, когда мог.

Каждый «комбедчик» получал 10-12 рублей в «лавочку» — тратил сумму, почти одинаковую с «денежными» людьми. За комбед не благодарили. Это выглядело как право арестанта, как непреложный тюремный обычай.

Долгое время, годы, быть может, тюремная администрация не догадывалась об этой «организации» — или не обращала внимания на верноподданческую информацию камерных стукачей и тюремных сексотов. Трудно думать, что о комбедах не доносили. Просто администрация Бутырок не хотела повторить печального опыта безуспешной борьбы с пресловутой игрой в «спички».

В тюрьме всякие игры воспрещены. Шахматы, вылепленные из хлеба, разжеванного «всей камерой», немедленно конфисковывались и уничтожались при обнаружении их бдительным оком наблюдающего через «волчок» часового. Самое выражение «бдительное око» приобретало в тюрьме свой подлинный, отнюдь не фигуральный смысл. Это был обрисованный «волчком» внимательный глаз часового.

Домино, шашки — все это строжайше запрещено в следственной тюрьме. Книги не запрещены, и тюремная библиотека богата, но следственный арестант читает, не извлекая из чтения никакой другой пользы, кроме отвлечения от собственных важных и острых дум. Сосредоточиться над книгой в общей камере невозможно. Книги служат развлечением, отвлечением, заменяют домино и шашки.

В камерах, где содержатся уголовники, в ходу карты — в Бутырской тюрьме карт нет. И нет там никаких игр, кроме «спичек».

Это — игра для двоих.

В спичечной коробке пятьдесят спичек. Для игры оставляют тридцать и закладывают их в крышку, ставя ее вертикально, «на попа». Крышку встряхивают, поднимают, спички высыпаются на стол.

Играющий первым берет спичку двумя пальцами и, действуя ею как рычагом, отбрасывает или отодвигает в сторону все спички, какие можно выбрать из груды, не потревожив других. При сотрясении двух спичек вместе он теряет право играть. Дальше играет другой — до первой своей ошибки.

«Спички» — это самая обыкновенная детская игра в бирюльки, только приспособленная изобретательным арестантским умом к тюремной камере.

В «спички» играла вся тюрьма, с завтрака до обеда и с обеда до ужина, с увлечением и азартом.

Появились свои «спичечные» чемпионы, завелись наборы спичек особого качества — залоснившиеся от постоянного употребления. Таких спичек не зажигали, прикуривая папиросы.

Игра эта сберегла много нервной энергии арестантам, внесла кое-какой покой в их смятенную душу.

Администрация была бессильна уничтожить эту игру, запретить ее. Спички-то ведь были разрешены. Они и выдавались (поштучно), и продавались в магазине.

Корпусные коменданты пробовали ломать коробки, но ведь и без коробок можно было обойтись в игре.

Администрация в этой борьбе с игрой в бирюльки была посрамлена — все ее демарши ни к чему дельному не привели. Вся тюрьма продолжала играть в «спички».

По этой же самой причине, боясь посрамления, администрация смотрела сквозь пальцы и на комбеды, не желая ввязываться в бесславную борьбу.

Но, увы, слух о комбедах полз все выше, все дальше и достиг Учреждения, откуда и последовал грозный приказ — ликвидировать комбеды, в самом названии которых чудился вызов, некая апелляция к революционной совести.

Сколько нравоучений было прочтено на поверках. Сколько криминальных бумажек с зашифрованным подсчетом расходов и заказов при покупках было захвачено в камерах при внезапном обыске! Сколько старост побывало в Полицейской и Пугачевской башнях, где были карцеры и штрафные палаты.

Все было напрасно: комбеды существовали, несмотря на все предупреждения и санкции.

Проверить действительно было очень трудно. При том корпусной комендант, надзиратель, долго работая в тюрьме, несколько иначе смотрит на арестантов, чем его высокий начальник, и подчас в душе становится на сторону арестанта, против начальника. Не то, чтобы он помогал арестанту. Нет, он просто смотрит на проступки сквозь пальцы, когда можно посмотреть сквозь пальцы, он не видит, когда можно не видеть, он просто менее придирчив. Особенно если надзиратель не молод. Для арестанта лучше всего тот начальник, который немолод и в небольших чинах. Сочетание этих двух условий почти обещают относительно приличного человека. Если он к тому же еще и выпивает — тем лучше. Карьеры такой человек не ищет, а карьера надзирателя тюремного и особенно лагерного — на крови заключенных.

Но Учреждение требовало ликвидации комбедов, и тюремное начальство безуспешно пыталось добиться этого.

Была сделана попытка взорвать комбеды изнутри — это было, конечно, самое хитрое из решений. Комбеды были организацией нелегальной, любой арестант мог воспротивиться отчислениям, которые делались насильно. Тот, кто не желал платить такие «налоги», не хотел содержать комбеды, мог протестовать и в случае своего отказа, протеста нашел бы тотчас же полную поддержку тюремной администрации. Еще бы — ведь тюремный коллектив не государство, чтобы взимать налоги, значит, комбеды — это вымогательство, «рэкет», грабеж...

Бесспорно, любой арестант мог отказаться от отчислений. Не хочу — и баста! Деньги мои, и никто не имеет права посягать и т. д. При таком заявлении никаких вычетов не производилось и все заказанное доставлялось полностью.

Однако кто рискнет на такое заявление? Кто рискнет противопоставить себя тюремному коллективу — людям, которые с тобой двадцать четыре часа в сутки, и только сон спасает тебя от недружелюбных, враждебных взглядов товарищей? В тюрьме невольно каждый ищет душевную поддержку в соседе и ставить себя под бойкот — слишком страшно. Это — пострашней угроз следователя, — хотя никаких «физических» мер воздействия тут не принимается.

Тюремный бойкот — это орудие войны нервов. И не дай бог никому испытать на себе подчеркнутое презрение товарищей.

Но если антиобщественный гражданин слишком толстокож и упрям — у старосты есть еще более оскорбительное, еще более действенное оружие.

Лишить арестанта пайки в тюрьме никто не вправе (кроме следователей, которым это бывает нужно для «ведения дела»), и упрямец получит свою миску супа, свою порцию каши, свой хлеб.

Пищу раздает раздатчик по указанию старости (это одна из прерогатив камерного старосты). Нары — по стенам камеры, разделены проходом от двери до окна.

У камеры четыре угла, и пищу раздают с каждого из них по очереди, день — с одного, день — с другого. Смена эта нужна для того, чтобы повышенная нервная возбудимость арестантов не была растревожена каким-нибудь пустяком, вроде «вершков» и «корешков» бутырской баланды, чтобы уравнивать шансы всех на густоту, на температуру супа... — мелочей в тюрьме нет.

Староста подает перед раздачей разрешительную команду и добавляет: а последнему дайте такому-то (имярек) — тому, кто не хочет считаться с комбедами.

Это унижительное, непереносимое оскорбление может быть сделано четырежды за бутырский день — там утром и вечером дают чай, в обед — суп, в ужин — кашу.

Во время раздачи хлеба «воздействие» может быть оказано пятый раз.

Звать корпусного коменданта для разбора подобных дел — рискованно, ведь вся камера будет показывать против нашего упряма. В таких случаях положено коллективно лгать, «корпусной» не найдет правды.

Но эгсист, жадюга — человек твердого характера. Притом он только себя считает невинно арестованным, а всех своих тюремных сожителей — преступниками. Он вдоволь толстокож, вдоволь упряма. Бойкот товарищей он переносит легко — эти интеллигентские штучки не заставят его потерять терпение и выдержку. На него могла бы подействовать «тёмная» — старинный метод внушения. Но никаких «темных» в Бутырках не бывает. Эгоист уже готов торжествовать победу — бойкот не оказывает надлежащего действия.

Но в распоряжении старосты, в распоряжении людей тюремной камеры есть еще одно решительное средство. Ежедневно на вечерней поверке, при сдаче дежурства очередной, вступающий на смену корпусной комендант задает по уставу вопрос, обращенный к арестантам: «Заявления есть?»

Староста делает шаг вперед и требует перевести бой-

котированного упрянца в другую камеру. Никаких причин перевода объяснять не нужно, достаточно потребовать. Не позже чем через сутки, а то и раньше перевод будет сделан обязательно — публичное предупреждение снимает со старост ответственность за поддержание дисциплины в камере.

Не переведут — упрянца могут избить или убить, чего доброго: душа арестанта темна, а подобные происшествия ведут за собой неприятные многократные объяснения дежурного корпусного коменданту, по начальству.

Если будет следствие по этому тюремному убийству, сейчас же выяснится, что «корпусной» был предупрежден. Лучше уж перевести в другую камеру похорошему, уступить такому требованию.

Прийти в другую камеру переведенным, а не с «воли» — не очень приятно. Это всегда вызывает подозрения, настороженность новых товарищей — не доносчик ли это? «Хорошо, если он только за отказ от комбеда переведен к нам», — думает староста новой камеры. «А если что-нибудь похуже?» Староста будет пытаться узнать причину перевода — запиской, засунутой на дно мусорного ящика в уборной, перестуком либо по системе декабриста Бестужева, либо по азбуке Морзе.

Пока не будет получен ответ, «новичку» нечего рассчитывать на сочувствие и доверие новых товарищей. Проходит много дней, причина перевода выяснена, страсти улеглись, но — и в новой камере есть свой комбед, свои отчисления.

Все начинается сначала — если начнётся, ибо в новой камере наученный горьким опытом упрямец поведет себя иначе. Его упорство сломлено.

В следственных камерах Бутырской тюрьмы не было никаких комбедов — пока разрешались вещевые и продуктовые передачи, а пользование тюремным магазином было практически неограничено.

Комбеды возникли во второй половине тридцатых

годов как любопытная форма «собственной жизни» следственных арестантов, форма самоутверждения бесправного человека: тот крошечный участок, где человеческий коллектив, сплоченный, как это всегда бывает в тюрьме в отличие от «воли» и лагеря, при полном бесправии своем, находит точку приложения своих духовных сил для настойчивого утверждения известного человеческого права жить по-своему. Эти духовные силы противопоставлены всем и всяческим тюремным и следственным регламентам и одерживают над ними победу.



МАГИЯ

В стекло стучала палка, и Голубев узнал ее. Это был стек начальника отделения.

— Сейчас иду, — заорал Голубев в окно, надел брюки и застегнул ворот гимнастерки. В эту же самую минуту на пороге комнаты возник курьер начальника Мишка и громким голосом произнес обычную формулу, которой начинался каждый рабочий день Голубева.

— К начальнику!

— В кабинет?

— На вахту!

Но Голубев уже выходил.

Легко работалось с этим начальником. Он не был жесток с заключенными, умен, и хотя все высокие материи неизменно переводил на свой грубый язык, но понимал что к чему.

Правда, тогда была в моде «перековка», и начальник просто хотел в незнакомом русле держаться верного фарватера. Может быть. Может быть. Тогда Голубев не думал об этом.

Голубев знал, что у начальника — Стуков была его фамилия — было много столкновений с высшим начальством, много ему «шили» дел в лагере, но ни подробности, ни сути этих не кончившихся ничем дел, не начатых, а прекращенных следствий он не знал.

Голубева Стуков любил за то, что тот не брал взяток, не любил пьяных. Почему-то Стуков ненавидел пьяных... Еще любил за смелость, наверное.

Стуков был человек пожилой, одинокий. Очень любил всякие новости техники, науки, и рассказы о Бруклинском мосте приводили его в восторг. Но Голубев не умел рассказывать ничего, что было бы похоже на Бруклинский мост.

Зато это Стукову рассказывал Миллер, Павел Петрович Миллер, инженер-шахтинец.

Миллер был любимцем Стукова, жадного слушателя всяких научных новостей.

Голубев догнал Стукова у вахты.

— Спишь все.

— Я не сплю.

— А что этап пришел из Москвы — знаешь? Через Пермь. Я и говорю — спишь. Бери своих и будем отбирать людей.

Отделение стояло на самом краю вольного мира, на конце железнодорожного пути — дальше следовали многодневные пешие этапы тайгой, и Стукову было дано право оставлять требуемых людей самому.

Это была магия изумительная, фокусы из области прикладной психологии, что ли, фокусы, которые показывал Стуков, начальник, состарившийся на работе в местах заключения. Стукову нужны были зрители, и только Голубев, наверное, мог оценить его удивительный талант, способность, которые долгое время казались Голубеву сверхъестественными, до той минуты, пока не почувствовал, что и сам обладает этой же магической силой.

Высшее начальство разрешало оставить в отделении пятьдесят плотников. Перед начальником выстраивался этап, да не по одному в ряд, а по три и по четыре.

Стуков медленно шел вдоль этапа, похлопывая стеклом по своим неначищенным сапогам. Рука Стукова время от времени поднималась.

— Выходи ты — ты. И ты. Нет, не ты. Вон — ты...

— Сколько вышло?

— Сорок два.

— Ну вот, еще восемь.

— Ты... Ты... Ты.

Переписывали фамилии, отбирали «личные дела».

Все пятьдесят умели обращаться с топором и пилой.

— Тридцать слесарей!

Стуков шел вдоль этапа, чуть хмурясь.

— Выходи ты... Ты... Ты... А ты — назад. Из блатных, что ли?

— Из блатных, гражданин начальник.

Без единой ошибки выбирались тридцать слесарей. Надо было десять канцеляристов.

— Можешь отобрать на глаз?

— Нет.

— Тогда пойдем.

— Выходи ты... Ты... Ты...

Вышло шесть человек.

— Больше в этом этапе счетоводов нет.

Проверили по «делам», и верно: больше нет. Подобрали канцеляристов из следующих этапов.

Это была любимая игра Стукова, ошеломлявшая Голубева. Сам Стуков радовался как ребенок своей магической способности и мучился, если терял уверенность. Он не ошибался, просто терял уверенность и прекращал прием людей.

Голубев всякий раз с удовольствием смотрел на эту игру, ничего общего не имеющую ни с жестокостью, ни с чужой кровью.

Поражался знанию людей. Поражался той извечной связи между душой и телом.

Столько раз Голубев видел эти фокусы, эту демонстрацию таинственной силы начальника. За ней не стояло ничего, кроме многолетнего опыта работы с заключенными. Одежда арестанта сглаживает различия, и это только облегчает задачу — прочесть профессию человека по его лицу, рукам.

— Сегодня кого будем отбирать, гражданин начальник?

— Двадцать плотников. Да вот еще получил телефонограмму из управления — отобрать всех, кто работал раньше в органах, — Стуков усмехнулся, — и имеет бытовые или служебные статьи. Снова, значит, сядут за следовательский стол. Ну, что ты об этом думаешь?

— Ничего я не думаю. Приказ и приказ.

— А ты понял, как я плотников отбирал?

— Пожалуй...

— Я просто крестьян отбираю, крестьян. Всякий крестьянин — плотник. И добросовестных работников тоже ищу из крестьян. И не ошибаюсь. А уж как мне по глазам работников органов узнать — не скажу. Бегают, что ли, у них глаза? Говори.

— Я не знаю.

— И я не знаю. Ну, может быть, под старость научусь. Еще до пенсии.

Этап был выстроен, как всегда, вдоль вагонов. Стуков произнес свою обыкновенную речь о работе, зачетах, протянул руку и прошел раза два вдоль вагонов.

— Мне нужны плотники. Двадцать человек. Но отбирать буду я сам, не шевелиться.

— Выходи ты... ты... ты... Вот и все. Отбирайте «дела».

Пальцы начальника нащупали какую-то бумажку в кармане френча.

— Не расходись. Есть еще дело.

Стуков поднял руку с бумажкой.

— Есть среди вас работники органов?

Две тысячи арестантов молчали.

— Есть, спрашиваю, среди вас, кто раньше работал в органах? В органах!

Из задних рядов, расталкивая пальцами соседей, энергично продирался худощавый человек, действительно с бегающими глазами.

— Я работал осведомителем, гражданин начальник.

— Пошел прочь! — с презрением и удовольствием сказал Стуков.



РЯБОКОНЬ

Соседом Рябокonia по больничной койке — по топчану с матрасом, набитым рубленым стлаником, был Петерс, латыш, дравшийся, как все латыши, на всех фронтах гражданской войны. Колыма была последним фронтом Петерса. Огромное тело латыша было похоже на утопленника — иссиня-белое, вспухшее, вздутое от голода. Тело с кожей, где разглажены все складки, исчезли все морщины — все понятно, все рассказано, все объяснено. Петерс молчал много суток, боясь сделать лишнее движение, — пролежни уже пахли, смердели. И только белесоватые глаза внимательно следили за врачом, за доктором Ямпольским, когда тот входил в палату. Доктор Ямпольский, начальник санчасти, не был доктором. Не был он и фельдшером. Доктор Ямпольский был просто стукач и нахал, доносами пробивший себе дорогу. Но Петерс этого не знал, и надежда появлялась в его глазах.

Ямпольского знал Рябоконь — как-никак Рябоконь был бывший вольняшка. Но Рябоконь одинаково ненавидел и Петерса, и Ямпольского. И злобно молчал.

Рябоконь был непохож на утопленника. Огромный, костистый, с иссохшими жилами. Матрас был короткий, одеяло закрывало только плечи — но Рябоконю было все равно. С койки свисали ступни гулливеровского размера, и желтые костяные пятки, похожие на бильярдные шары, стучали о деревянный пол из накатника, когда Рябоконь двигался, чтобы согнуться или высунуть голову в окно, — костистые плечи нельзя было протолкнуть наружу к небу, к свободе.

Доктор Ямпольский ждал смерти латыша с часу на час — таким дистрофикам положено умирать скоро. Но латыш тянул жизнь, увеличивал средний койко-день. Ждал смерти латыша и Рябоконь. Петерс лежал на единственном в больнице длинном топчане, и после ла-

тыша доктор Ямпольский обещал эту койку Рябоконию. Рябоконию дышал у окна, не боясь холодного пьяного весеннего воздуха, дышал всей грудью и думал, как он ляжет на койку Петерса после того, как Петерс умрет, и можно будет вытянуть ноги — хоть на несколько суток. Нужно только лечь, лечь и вытянуться — отдохнут какие-то важные мускулы, и Рябоконию будет жить.

Врачебный обход кончился. Лечить было нечем — марганцовка и иод творили чудеса даже в руках Ямпольского. Ямпольский держался, накапливал опыт и стаж. Смерти ему не ставились в вину. Да и кому они в вину ставились?

— Сегодня мы сделаем тебе ванну, теплую ванну. Хорошо?

Злоба мелькнула в белесоватых глазах Петерса, но он не сказал, не шепнул ничего.

Четыре санитары из больных и доктор Ямпольский затолкали огромное тело Петерса в деревянную бочку из-под солидола, отпаренную, вымытую.

Доктор Ямпольский заметил время на наручных часах — подарок любимому доктору от блатарей прииска, где Ямпольский работал раньше до этой нынешней каменной мышеловки.

Через пятнадцать минут латыш захрипел. Санитары и доктор вытащили больного из бочки и затащили на топчан, на длинный топчан. Латыш выговорил ясно:

— Белье! Белье!

— Какое белье? — сказал доктор Ямпольский. — Белья у нас нет!

— Это он предсмертную рубаху просит, — догадался Рябоконию.

И взглядываясь в дрожащий подбородок Петерса, на закрывающиеся глаза, шарящие по телу вздутые синие пальцы, Рябоконию подумал, что смерть Петерса — его, Рябоконево, счастье не только из-за длинной койки, но и потому, что Петерс и он были старые враги — встречались в боях где-то под Шепетовкой.

Рябокоть был махновец. Мечта его сбылась — он лег на койку Петерса. А на койку Рябокотня лег я — и слушаю его рассказы.

Рябокоть торопился рассказывать, я торопился запоминать. Оба мы были знатоками и смерти, и жизни.

— Ты думаешь, Махно был антисемит? Пустяки все это. Ваша агитация. Его советчики — евреи. Иуда Гроссман, Роцин, Барон. Я простой боец с тачанкой, был в тех двух тысячах, что батька увел в Румынию. Ну, в Румынии мне не показалось. Через год перешел обратно границу. Дали мне три года ссылки, потом вернулся, был в колхозе, а в тридцать седьмом замели...

— Профилактически? «Пять рокив далеких таборив».

Грудная клетка Рябокотня была кругла, огромна — ребра выступали, как обручи на бочке. Казалось, умри Рябокоть раньше Петерса, из грудной клетки махновца можно было бы сделать обручи для бочки — предсмертного купанья латыша по рецепту доктора Ямпольского.

Кожа была натянута на скелет, весь Рябокоть казался пособием для изучения анатомии — послушным живым пособием-каркасом, а не муляжем. Говорил он немного, но еще находил силы сберечь себя от пролежней, поворачиваясь на койке, вставая, ходя. Сухая кожа шелушилась по всему телу, и синие пятна будущих пролежней обозначались на бедрах и пояснице.

— Ну, пришел я. Трое нас. Махно на крыльце.

— Стрелять умеешь?

— Умею, батька!

— А ну, скажи, если на тебя нападут трое, что будешь делать?

— Что-нибудь придумаю, батька!

— Вот правильно сказал. Сказал бы — «порубаю всех!» — не взял бы тебя в отряд. На хитрость надо, на хитрость... А впрочем, что Махно? Махно и Махно. Атаман. Все умрем. Слышал — умер он...

— Да. В Париже.

— Царство ему небесное. Спать пора.

Рябокоть натягивал ветхое одеяло на голову, обнажая ноги до колен, храпел.

— Слышь ты.

— Ну?

— Расскажи про Маруську, про ее банду.

Рябокоть откинул одеяло с лица.

— Ну, что? Банда и банда. То с нами, то с вами. Она — анархистка, Маруська. Двадцать лет была на каторге. Бежала из московской Новинской тюрьмы. Ее Слащев расстрелял в Крыму. Да здравствует анархия! Крикнула и умерла. Знаешь, кто она была? Никифорова ее фамилия. Гермафродит самый настоящий. Слышал? Ну, спим.

Когда пятилетний срок природного махновца кончился, Рябокотня освободили без выезда с Колымы. На «материк» не вывозили. Махновцу пришлось работать грузчиком на том же самом складе, где он «ишачил» пять лет в чине зэка. Вольняшкой, свободным человеком на том же самом складе, на той же самой работе. Это было непереносимое оскорбление, которое не многие выносили. Кроме специалистов, конечно. А так у заключенного главная надежда: что-то изменится, переменится с освобождением. Отъезд, отправка, перемена места тоже могут успокоить, спасти.

Зарплата была малая. Воровать со склада, как раньше? Нет, планы у Рябокотня были другие.

Вместе с тремя бывшими зэка Рябокоть ушел «во льды» — бежал в глухую тайгу. Организовалась бандитская шайка — вся из «фраеров», чуждая уголовному миру, но воздухом этого мира дышавшая несколько лет.

Это был единственный на Колыме побег «вольняшек» — не заключенных, которых караулят и считают на поверках четырежды в день, а вольных граждан. Среди них был главный бухгалтер прииска, бывший заключенный, как и Рябокоть. Договорников в шайке, конечно, не было, договорники ездят за длинным рублем, а все — бывшие зэки.

Четыре убийцы грабили на тысячекилометровой трассе — на центральном шоссе — целый год. Год гуляли, грабя машины, квартиры в поселках. Завладели грузовиком, гараж ему — горный распадок.

Рябоконь и друзья легко шли на убийство. Нового срока никто не боялся. Месяц, год, десять лет, двадцать лет — все почти одинаково... Но кончилось так, как кончаются все такие дела. Какая-то ссора, неправильный дележ добытого. Потеря авторитета атамана-бухгалтера. Сведения какие-то бухгалтер дал ложные. Суд. Двадцать пять и пять поражения в правах. Тогда не расстреливали за убийство...

Душевную легкость в убийстве Рябоконь пронес сквозь жизнь из Гуляй-Поля.

—oOo—

ЖИТИЕ ИНЖЕНЕРА КИПРЕЕВА

Много лет я думал, что смерть есть форма жизни, и, успокоенной зыбкостью суждения, я вырабатывал формулу активной защиты своего существования на горестной этой земле.

Я думал, что человек тогда может считать себя человеком, когда в любой момент всем своим телом чувствует, что он готов покончить с собой, готов вмешаться сам в собственное свое житие. Это сознание и дает волю на жизнь.

Я проверял себя — многократно — и, чувствуя силу на смерть, — оставался жить.

Много позже я понял, что я просто построил себе убежище, ушел от вопроса, ибо в момент решения я не буду таким, как сейчас, когда жизнь и смерть — волевая пора. Я ослабею, изменюсь, изменю себе. Я не стал думать о смерти, но почувствовал, что прежнее решение нуждается в каком-то другом ответе, что обещания самому себе, клятвы юности слишком наивны и очень условны.

В этом убедила меня история инженера Кипреева.

Я никого в жизни не предал, не продал. Но я не знаю, как бы держался, если бы меня били. Я прошел все свои следствия удачейшим образом — без битья, без метода номер три. Мои следователи во всех моих следствиях не прикасались ко мне пальцем. Это случайность, не более. Я просто проходил следствие рано — в первой половине тридцать седьмого года, когда пытки еще не применялись.

Но инженер Кипреев был арестован в 1938 году, и вся грозная картина битья на следствии была ему известна. И он выдержал это битье, кинувшись на следователя, и, избитый, посаженный в карцер. Но пункта подписи следователи легко добились от Кипреева: его припугнули арестом жены, и Кипреев «подписал».

Вот этот страшный нравственный удар Кипреев пронес сквозь всю жизнь. Немало в жизни арестантской есть унижений, растлений. В дневниках людей освободительного движения России есть страшная травма — просьба о помиловании. Это считалось позором до революции, вечным позором. И после революции в обществе политкаторжан и ссыльно-поселенцев не принимали категорически так называемых «подаванцев», т. е. когда-либо по любому поводу просивших царя об освобождении, о смягчении наказания.

В тридцатых годах не только «подаванцам» все прощалось, но даже те, кто «подписал» на себя и других заведомую ложь, подчас кровавую, — прощались.

Живые примеры давно состарились, давно сгибли в лагере, в ссылке, а те, что сидели и проходили следствие, были сплошь «подаванцы». Поэтому никто и не знал, каким нравственным пыткам обрек себя Кипреев, уезжая на Охотское море — во Владивосток, в Магадан.

Кипреев был инженер-физик из того самого Харьковского физического института, где раньше всего в Советском Союзе подошли к ядерной реакции. Там работал и Курчатов. Харьковский институт не избежал «чистки». Одной из первых жертв в атомной нашей науке был инженер Кипреев.

Кипреев знал себе цену. Но его начальники цену Кипрееву не знали. Притом оказалось, что нравственная стойкость мало связана с талантом, с научным опытом, научной страстью даже. Это были разные вещи. Зная о побоях на следствии, Кипреев подготовил себя очень просто — он будет защищаться как зверь, отвечать ударом на удар, не разбирая, кто исполнитель, а кто — создатель этой системы, метода номер три. Кипреев был избит, брошен в карцер. Все начиналось сначала. Физические силы изменяли, а вслед за физической изменяла душевная твердость. Кипреев «подписал». Угрожали арестом жены. Кипрееву было безмерно стыдно за эту слабость, за то, что при встрече с грубой силой он, интеллигент Кипреев, — уступил.

Тогда же, в тюрьме, Кипреев дал себе клятву на всю жизнь никогда не повторить позорного своего поступка. Впрочем, только Кипрееву его действие казалось позорным. Рядом с ним на нарах лежали также подписавшие, оклеветавшие. Лежали и не умирали. У позора нет границ — вернее, границы всегда личны, и требования к самому себе иные у каждого жителя следственной камеры.

С пятилетним сроком Кипреев явился на Колыму, уверенный, что найдет путь к досрочному освобождению, сумеет вырваться на волю, на материк. Конечно, инженера оценят. И инженер заработает зачеты рабочих дней, освобождение, скидку срока. И хотя Кипреев с презрением относился к лагерному труду физическому — он скоро понял, что ничего, кроме смерти, в конце этого пути нет. Работать, где можно было применить хоть тень специальных знаний, которые были у Кипреева, — он выйдет на волю. Хоть квалификацию не потеряет.

Опыт работы на прииске, сломанные пальцы, попавшие в скрепер, физическая слабость, щуплость даже — все это привело Кипреева в больницу, а после больницы на пересылку.

Беда была еще и в том, что инженер не мог не изобретать, не искать научных технических решений в том хаосе лагерного быта, в котором инженер жил.

Лагерь же, лагерное начальство смотрело на Кипреева как на раба, не более. Энергия Кипреева, за которую он сам себя клял тысячу раз, искала выхода.

Только ставка в этой игре должна быть достойной инженера, ученого. Эта ставка — свобода.

Колыма не только потому «чудная планета», что там «девять месяцев в году» зима. Там в войну сто рублей платили за яблоко, а ошибка в распределении свежих помидоров, привезенных с материка, приводила к кровавым драмам. Все это — и яблоки, и помидоры — разумеется, для вольного, вольнонаемного мира, к которому заключенный Кипреев не принадлежал. «Чудная

планета» не только потому, что там «закон — тайга». Не потому, что Колыма — сталинский спецлагерь уничтожения.

Не потому, что там «дефицит» — махорка, чифирь-чай; что это валюта колымская, истинное ее золото, за которое приобретается все.

И все же дефицитней всего было стекло — стеклянные изделия, лабораторная посуда, инструменты. Хрупкость стекла усиливали морозы, а норма «боя» не увеличивалась. Простой градусник медицинский стоил рублей триста. Но подпольных базаров на градусники не существовало. Врачу надо заявить уполномоченному райотдела о предложении, ибо медицинский градусник прятать труднее, чем «Джиоконду». Но врач никаких заявлений не подавал. Он просто заплатил триста рублей и приносил градусник из дому мерить температуру тяжелым больным.

На Колыме консервная банка — поэма. Жестяная консервная банка — это мерка, удобная мерка, всегда под рукой. Это мерка воды, крупы, муки, киселя, супа, чая. Это кружка для «чифиря», в ней так удобно «подварить чифирку». Кружка эта стерильна — она очищена огнем. Чай, суп разогревают, кипятят в печке, на огне костра.

Трехлитровая банка большая — это классический котелок «доходяг», с проволочной ручкой, которая удобно прикреплена к поясу. А кто на Колыме не был или не будет доходягой?

Стеклобанка — это свет в раме деревянного переплета, ячеистом, рассчитанном на обломки стекла. Это прозрачная банка, в которой так удобно хранить медикаменты в амбулатории.

Пол-литровая банка — посуда для третьего блюда лагерной столовой.

Но не термометры, не лабораторная посуда, не консервные банки — главный стеклянный дефицит на Колыме.

Главный дефицит — это электролампа.

На Колыме — сотни приисков, рудников, тысячи участков, разрезов, шахт, десятки тысяч золотых, урановых, оловянных, вольфрамовых забоев, тысячи лагерных командировок, вольнонаемных поселков, лагерных зон и барачных отрядов охраны, и всюду нужен свет, свет, свет. Колыма девять месяцев живет без солнца, без света. Бурный, незакатный солнечный свет не спасает, не дает ничего.

Есть свет и энергия от сдвоенных тракторов, от локомотива.

Промприборы, бутари, забои требуют света. Подсвеченные юпитерами забои удлиняют ночную смену, делают производительней труд.

Везде нужны электролампы. Их возят с материка — трехсотки, пятисотки и в тысячу свечей, — готовые осветить барак и забой. Неровный свет движков обрекает лампы на преждевременный износ.

Электролампа — это государственная проблема на Колыме.

Не только забой должен быть подсвечен. Должна быть подсвечена зона, колючая проволока с караульными вышками по норме, которую Дальний Север увеличивает, а не уменьшает.

Отряду охраны должен быть обеспечен свет. Простой активировкой (как в приисковом забое) тут не обойдешься, тут люди, которые могут бежать, и хотя ясно, что бежать зимой некуда и никто на Колыме зимой никогда не бежал, — закон остается законом, и если нет света или нет ламп, разносят горящие факелы вокруг зоны и оставляют их на снегу до утра, до света. Факел — это тряпка в мазуте или бензине.

Электролампы перегорают быстро. И восстановить их нельзя.

Кипреев написал докладную записку, удивившую начальника Дальстроя. Начальник уже почувствовал орден на своем кителе, кителе, конечно, а не френче и не пиджаке.

Восстановить лампы можно — лишь бы было цело стекло.

И вот по Колыме полетели грозные приказы. Все перегоревшие лампочки бережно доставлять в Магадан. На промкомбинате, на 47 километре был построен завод. Завод восстановления электрического света.

Инженер Кипреев был назначен начальником цеха завода.

Весь остальной персонал, штатная ведомость, выросшая вокруг ремонта электроламп, — был только вольнонаемным. Удача была пущена в надежные, вольнонаемные руки. Но Кипреев не обращал на это внимания. Его-то создатели завода не могут не заметить.

Результат был блестящим. Конечно, после ремонта лампы долго не работали. Но сколько-то часов, сколько-то суток золотых Кипреев сберег Колыме. Этих суток было очень много. Государство получило огромную выгоду, военную выгоду, золотую выгоду.

Директор Дальстроя был награжден орденом Ленина. Все начальники, имевшие отношение к ремонту электроламп, получили ордена.

Однако ни Москва, ни Магадан даже не подумали отметить заключенного Кипреева. Для них Кипреев был раб, умный раб и больше ничего.

Все же директор Дальстроя не считал возможным вовсе забыть своего таежного корреспондента.

На великий колымский праздник, отмеченный Москвой, в узком кругу, на торжественном вечере в честь — чью честь? — директора Дальстроя, каждого из получивших ордена и благодарности; ведь, кроме правительственного указа, директор Дальстроя издал свой приказ о благодарностях, награждениях, поощрениях. Всем участвовавшим в ремонте электроламп, всем руководителям завода, где был цех по восстановлению света, были кроме орденов и благодарностей, еще заготовлены американские посылки военного времени. Эти посылки, входившие в поставку по ленд-лизу, состояли из костюма, галстука, рубашки и ботинок. Костюм, кажется,

пропал при перевозке, зато ботинки — краснокожие американские ботинки на толстой подошве — были мечтой каждого начальника.

Директор Дальстроя посоветовался с помощником — и все решили, что о лучшем счастье, о лучшем подарке инженер-зэк не может и мечтать.

О сокращении срока инженеру, о полном его освобождении директор Дальстроя и не предполагал просить Москву в это тревожное время, политическое время. Раб должен быть доволен и старым ботинкам хозяина, костюмом с хозяйского плеча.

Об этих подарках говорил весь Магадан, вся Колыма. Здешние начальники получили орденов и благодарностей предостаточно. Но американский костюм, ботинки на толстой подошве — это было вроде путешествия на Луну, полет в иной мир.

Настал торжественный вечер, блестящие картонные коробки с костюмами громоздились на столе, затянутом красным сукном.

Директор Дальстроя прочел приказ, где, конечно, имя Кипреева не было упомянуто, не могло быть упомянуто.

Начальник политуправления прочел «список на подарки». Последней была названа фамилия Кипреева. Инженер вышел к столу, ярко освещенному лампами — его лампами, — и взял коробку из рук директора Дальстроя.

Кипреев выговорил отдельно и громко: «Американских обносков я носить не буду» — и положил коробку на стол.

Тут же Кипреев был арестован и получил восемь лет дополнительного срока по статье — какой, я не знаю, да это и не имеет никакого значения на Колыме, никого не интересует.

Впрочем — какая статья за отказ от американских подарков? Не только, не только. В заключении следователя по новому делу Кипреева сказано: «Говорил, что Колыма — это Освенцим без печей».

Этот второй срок Кипреев встретил спокойно. Он по-

нимал, на что идет, оказываясь от американских подарков. Но кое-какие меры личной безопасности инженер Кипреев принял. Меры были вот какие. Кипреев попросил знакомого написать письмо жене на материк, что он, Кипреев, умер. И перестал писать письма сам.

С завода инженер был удален на прииск, на общие работы. Вскоре война кончилась, лагерная система сделалась еще сложнее — Кипреева как сугубого рецидивиста ждал номерной лагерь.

Инженер заболел и попал в центральную больницу для заключенных. Здесь в работе Кипреева была большая нужда — надо было собрать и пустить рентгеновский аппарат, собрать из старья, из деталей-инвалидов. Начальник больницы доктор Доктор обещал освобождение, скидку срока. Инженер Кипреев мало верил в такие обещания, он «числился больным» — а зачеты дают только штатным работникам больницы. Но в обещание начальника хотелось верить, рентгенокабинет — не прииск, не золотой забой.

Здесь мы встретили Хиросиму.

— Это она — бомба, это то, чем мы занимались в Харькове.

— Самоубийство Форрестола. Поток издевательских телеграмм.

— Ты знаешь, в чем дело? Для западного интеллигента принимать решение сбросить атомную бомбу очень сложно, очень тяжело. Депрессия психическая, сумасшествие, самоубийство — вот цена, какую платит за такие решения западный интеллигент. Наш Форрестол не сошел бы с ума.

— Сколько встречал ты хороших людей в жизни? Настоящих, которым хотелось бы подражать, служить.

— Сейчас вспомню: инженер-вредитель Миллер и еще человек пять.

— Это очень много.

Ассамблея подписала протокол о геноциде.

— Геноцид? С чем его едят?

Мы подписали конвенцию. Конечно, тридцать седьмой

год — это не геноцид. Это истребление врагов народа. Можно подписывать конвенцию.

— Режим закручивают на все винты. Мы не должны молчать. Как в букваре: «Мы не рабы — рабы не мы». Мы должны сделать что-то, доказать самим себе.

— Самим себе доказывают только собственную глупость. Жить, выжить — вот задача. И не сорваться... Жизнь серьезнее, чем ты думаешь.

. ,

Зеркала не хранят воспоминаний. Но то, что у меня прячется в моем чемодане, трудно назвать зеркалом — обломок стекла, как будто поверхность воды замутилась, и река осталась мутной и грязной навсегда, забывчивив что-то важное, что-то бесконечно более важное, чем хрустальный поток, прозрачный, откровенный до дна реки. Зеркало замутилось и уже не отражает ничего. Но когда-то зеркало было зеркало, было подарком бескорыстным и пронесенным мною через два десятилетия — лагеря, воли, похожей на лагерь, и всего, что было после двадцатого съезда партии. Зеркало, подаренное мне, не было коммерцией инженера Кипреева — это был опыт, научный опыт, след этого опыта во тьме рентгеновского кабинета. Я сделал к этому зеркальному куску деревянную оправу. Не сделал — заказал. Оправа до сих пор цела, ее делал какой-то столяр из латышей, выздоравливающий больной — за пайку хлеба. Я уже мог тогда дать пайку хлеба за такой сугубо личный, сугубо легкомысленный заказ.

Я смотрю на эту оправу — грубую, покрашенную масляной краской, какой красят полы, — в больнице шел ремонт, и столяр выпросил «чуток» краски. Поток раму лакировал — лак давно стерся. В зеркало ничего не видно, а когда-то я брился перед ним в Оймяконе, и все вольняшки завидовали мне. Завидовали мне до 1953 года, когда в поселок кто-то вольный, кто-то мудрый прислал посылку из зеркал, дешевых зеркал. И эти крошечные копеечные зеркала — круглые и квадрат-

ные — продавались по ценам, напоминающим цены на электролампы. Но все снимали с книжки деньги и покупали. Зеркала были распроданы в один день, в один час.

Тогда мое самодельное зеркало уже не вызывало зависть моих гостей.

Зеркало со мной. Это — не амулет. Приносит ли это зеркало счастье — не знаю. Может быть, зеркало привлекает лучи зла, отражает лучи зла, не дает мне раствориться в человеческом потоке — где никто, кроме меня, не знает Колымы и не знает инженера Кипреева.

Кипрееву было все равно. Какой-то уголовник, почти блатной, рецидивист пограмотней, приглашенный начальником для обучения грамотный блатарь, постигающий тайну рентгенокабинета, включающий и выключающий рычаги, блатарь, что шел по фамилии Рогов, учился у Кипреева делу рентгенотехники.

Тут у начальства были намерения немалые, и меньше всего начальство думало о Рогове, блатаре. Нет, но Рогов поселялся с Кипреевым в рентгенокабинете, стало быть, контролировал, следил, доносил, участвовал в государственной работе как друг народа. Постоянно информировал, предупреждал всякие беседы, визиты. И если не мешал, то доносил, блюл.

Это была главная цель начальства. А кроме того, Кипреев готовил смену самому себе — из бытовиков.

Как только Рогов научился бы делу — это была профессия на всю жизнь, — Кипреева послали бы в берлаг, номерной лагерь для рецидивистов.

Все это Кипреев понимал и не собирался противоречить судьбе. Он учил Рогова, не думая о себе.

Удача Кипреева была в том, что Рогов плохо учился. Как всякий бытовик, понимающий главное — что начальство не забудет бытовиков ни при каких обстоятельствах, — Рогов не очень внимательно учился. Но пришел час. Рогов сказал, что он может работать, и Кипреева отправили в номерной лагерь. Но в рентгеноагрегате что-то разладилось, и через врачей Кипреева

снова прислали в больницу. Рентгенокабинет заработал.

*

К этому времени относится опыт Кипреева с блендой.

Словарь иностранных слов 1964 года так объясняет слово «бленда»: 3) диафрагма (заслонка с произвольно изменяемым отверстием), применяемая в фотографии, микроскопии и рентгеноскопии.

Двадцать лет назад в словаре иностранных слов «бленды» нет. Это новинка военного времени — попутное изобретение, связанное с электронным микроскопом.

В руки Кипреева попала оборванная страница технического журнала, и бленда была применена в рентгенокабинете в больнице для заключенных на Левом берегу Колымы.

Бленда была гордостью инженера Кипреева — его надеждой, слабой надеждой, впрочем. О бленде было доложено на врачебной конференции, послан доклад в Магадан, в Москву. Никакого ответа.

*

— А зеркало ты можешь сделать?

— Конечно.

— Большое. Вроде трюмо.

— Любое. Было бы серебро.

— А ложки серебряные?

— Годятся.

Толстое стекло для столов в кабинетах начальников было выписано со склада и перевезено в рентгенокабинет.

Первый опыт был неудачен, и Кипреев в бешенстве расколол молотком зеркало.

Один из этих осколков — мое зеркало, кипреевский подарок.

Второй раз все прошло удачно, и начальство получило из рук Кипреева свою мечту — трюмо.

Начальник даже и не думал чем-нибудь отблагодарить Кипреева. К чему? Грамотный раб и так должен

быть благодарен, что его держат в больнице на койке. Если бы бленда нашла внимание начальства, получена была бы благодарность — не больше. Вот трюмо — это реальность, а бленда — миф, туман... Кипреев был вполне согласен с начальником.

Но по ночам, засыпая на топчане в углу рентгенокабинета, дождавшись ухода очередной бабы от своего помощника, ученика и осведомителя, Кипреев не хотел верить ни Колыме, ни самому себе. Ведь бленда же не шутка. Это технический подвиг. Нет, ни Москве, ни Магадану не было дела до бленды инженера Кипреева.

В лагере не отвечают на письма и напоминать не любят. Приходится только ждать. Случая, какой-то важной встречи.

Все это трепало нервы — если эта шагреневая кожа еще была цела, изорванная, истрепанная.

Надежда для арестанта — всегда кандалы. Надежда — всегда несвобода. Человек, надеющийся на что-то, меняет свое поведение, чаще кривит душой, чем человек, не имеющий надежды. Пока инженер ждал решения об этой проклятой бленде, он прикусил язык, пропускал мимо ушей все шуточки нужные и не нужные, которыми развлекалось его ближайшее начальство, не говоря уж о помощнике, который ждал дня и часа своего, когда будет хозяином. Рогов и зеркала уж научился делать — прибыль, «навар» обеспечен.

О бленде знали все. Шутили над Кипреевым все — в том числе секретарь парторганизации больницы аптекарь Кругляк. Мордастый аптекарь был неплохой парень, но горяч, а главное — его учили, что заключенный — это чернь. А этот Кипреев... Аптекарь приехал в больницу недавно, истории восстановления электрических лампочек никогда не слышал. Никогда не подумал, что стоило собрать рентгеновский кабинет в глухой тайге на Дальнем Севере.

Бленда казалась Кругляку ловкой выдумкой Кипреева, желанием «раскинуть темноту», «зарядить туфту» — этим-то словам аптекарь уже научился.

В процедурной хирургического отделения Кругляк обругал Кипреева. Инженер схватил табуретку и замахнулся на секретаря парторганизации. Тут же табуретку у Кипреева вырвали, увели его в палату.

Кипрееву грозил расстрел. Или отправка на штрафной прииск, в спецзону, что хуже расстрела. У Кипреева в больницы было много друзей, и не по зеркалам только. История с электролампочками была хорошо известна, свежа. Ему помогали. Но тут пятьдесят восемь и пункт восемь — террор.

Пошли к начальнику больницы. Это сделали женщины-врачи. Начальник больницы Винокуров не любил Кругляка. Винокуров ценил инженера, ждал результатов на запрос о бленде, а главное, был незлой человек. Начальник, который не использовал своей власти для зла. Самоснабженец, карьерист, Винокуров не делал людям добра, но и зла не хотел никому.

— Хорошо, я не передам материал уполномоченному для начала дела против Кипреева только в одном случае, — сказал Винокуров, — если не будет рапорта Кругляка, самого пострадавшего. Если будет рапорт — дело начнется. Штрафной прииск — это минимум.

— Спасибо.

С Кругляком говорили мужчины, говорили его друзья.

— Неужели ты не понимаешь, что человека расстреляют? Ведь он бесправен. Это не я и не ты.

— Но он руку поднял.

— Руку он не поднял, этого никто не видал. А вот если бы я ругался с тобой, то по второму слову дал бы тебе по роже, — потому ты во все лезешь, ко всем цепляешься.

Кругляк, добрый малый по существу, совсем непригодный для колымских начальников, — сдался на угрозы. Кругляк не подал рапорта.

Кипреев остался в больнице. Прошел еще месяц, и в больницу приехал генерал-майор Деревянко, заместитель директора Дальстроя по лагерю — самый высший начальник для заключенных.

В больнице начальство любило останавливаться. Там было где остановиться большому северному начальству, было где выпить и закусить, было где отдохнуть.

Генерал-майор Деревянко, облачившись в белый халат, ходил из отделения в отделение, разминаясь перед обедом. Настроение генерал-майора было радужным, и Винокуров решил рискнуть.

— Вот у меня есть заключенный, сделавший важную для государства работу.

— Что за работа?

Начальник больницы кое-как объяснил генерал-майору, что такое бленда.

— Я хочу на досрочное представить этого заключенного.

Генерал-майор поинтересовался анкетными данными и, получив ответ, помычал.

— Вот что я тебе скажу, начальник, — сказал генерал-майор, — там бленда блендой, а ты лучше отправь этого инженера... Корнеева...

— Кипреева, товарищ начальник.

— Вот-вот, Кипреева. Отправь его туда, где ему положено быть по анкетным данным.

— Слушаюсь, товарищ начальник.

Через неделю Кипреева отправили, а еще через неделю разладился рентген, и Кипреева вызвали снова в больницу.

Теперь уже было не до шуток — Винокуров боялся, чтоб гнев генерал-майора не обрушился на него.

Начальник управления не поверит, что рентген разладился. Кипреев был назначен в этап, но заболел и остался.

Теперь не могло быть и речи о работе в рентген-кабинете. Кипреев понял это хорошо.

У Кипреева был мастоидит — простуженная голова на лагерной приисковой койке. Операция была жизненным показателем. Но никто не хотел верить ни температуре, ни докладам врачей. Винокуров бушевал, требуя скорейшей операции.

Лучшие хирурги больницы собирались делать мастоидит кипреевский. Хирург Браудэ был чуть не специалист по мастоидитам. На Колыме простуд больше, чем надо, и Браудэ был очень опытен, сделал сотни таких операций. Но Браудэ должен был только ассистировать. Операцию должна была делать доктор Новикова, крупный отоларинголог, ученица Волчека, много лет проработавшего в Дальстрое. Новикова никогда не была в заключении, но уже много лет работала только на северных окраинах. И не потому, что длинный рубль. А потому, что на Дальнем Севере Новиковой многое прощалось. Новикова была алкоголичка запойная. После смерти мужа талантливая умница, красавица скиталась годами по Дальнему Северу. Начинала блестяще, а потом срывалась на долгие недели.

Новиковой было лет пятьдесят. Выше ее не было по квалификации человека. Сейчас ушница была в запое, запой кончался, и начальник больницы разрешил задержать Кипреева на несколько дней.

В эти несколько дней Новикова поднялась. Руки у нее перестали трястись, и ушница блестяще сделала операцию Кипрееву — прощальный, вполне медицинский подарок своему рентгентехнику. Ассистировал ей Браудэ, и Кипреев лег в больницу.

Кипреев понял, что надеяться больше нельзя, что в больнице он больше оставлен не будет ни на один лишний час.

Ждал его номерной лагерь, где на работу ходили строем по пять, локти в локти, где по тридцать собак окружали колонну людей, когда их гоняли.

В этой безнадежности последней Кипреев не изменил себе. Когда заведующий отделением выписал больному с операцией мастоидита, серьезной операцией, заключенному-инженеру — спецзаказ, то есть диетическое питание, улучшенное питание, Кипреев отказался, заявив, что в отделении на триста человек есть больные тяжелее его, с большим правом на спецзаказ.

И Кипреева увезли.

.....

Пятнадцать лет я искал инженера Кипреева. Посвятил его памяти пьесу — это решительное средство для вмешательства человека в загробный мир.

Мало было написать о Кипрееве пьесу, посвятить его памяти. Надо было еще, чтоб на центральной улице Москвы в коммунальной квартире, где живет моя давняя знакомая, сменилась соседка. По объявлению, по обмену.

Новая соседка, знакомясь с жильцами, вышла и увидела пьесу, посвященную Кипрееву, на столе; повертела пьесу в руках. «Совпадают буквы инициалов с моим знакомым. Только он не на Кольме, а совсем в другом месте». Моя знакомая позвонила мне. Я отказался продолжать разговор. Это — ошибка. К тому же по пьесе герой — врач, а Кипреев — инженер-физик.

— Вот именно, инженер-физик.

Я оделся и поехал к новой жилище коммунальной квартиры.

Очень хитрые узоры плетет судьба. А почему? Почему понадобилось столько совпадений, чтобы воля судьбы сказала так убедительно? Мы мало ищем друг друга, и судьба берет наши жизни в свои руки.

Инженер Кипреев остался в живых и живет на севере. Освободился еще десять лет назад. Был увезен в Москву и работал в закрытых лагерях. После освобождения вернулся на север. Хочет работать на севере до пенсии.

Я повидался с инженером Кипреевым.

— Ученым я уже не буду. Рядовой инженер — так. Вернуться бесправным, отставшим, все мои сослуживцы, сокурсники — давно лауреаты.

— Что за чушь!

Нет, не чушь. Мне легче дышится на севере. До пенсии будет легче дышаться.

ЛИДА

Лагерный срок, последний лагерный срок Криста, таял. Мертвый зимний лед подтачивался весенними ручейками времени. Крист выучил себя не обращать внимания на зачеты рабочих дней — средство, разрушающее волю человека, предательский призрачный надежды, вносящий растленье в арестантские души. Но ход времени был все быстрее — к концу срока всегда бывает так; блаженны освободившиеся внезапно, досрочно.

Крист гнал от себя мысли о возможной свободе, о том, что называется в мире Криста свободой.

Это очень трудно — освобождаться. Крист знал это по собственному опыту. Знал, как приходится переучиваться жизни, как трудно входить в мир других масштабов, других нравственных мерок, как трудно воскрешать те понятия, которые жили в душе человека до ареста. Не иллюзиями были эти понятия, а законами другого, раннего мира.

Освобождаться было трудно — и радостно, — ибо всегда находились, вставали со дна души силы, которые давали Кристу уверенность в поведении, смелость в поступках и твердый взгляд в рассвет завтрашнего своего дня.

Крист не боялся жизни, но знал, что и шутить с ней нельзя, что жизнь — штука серьезная.

Крист знал и другое — что выходя на свободу, он становился навеки «меченым», навеки «клейменым» — навеки предметом охоты для гончих собак, которых в любой момент хозяева жизни могут спустить с поводка.

Но Крист не боялся погони. Сил было еще много — душевных даже побольше, чем раньше, физических — поменьше . . .

Охота тридцать седьмого года привела Криста в тюрьму, к новому, увеличенному сроку, а когда и этот

срок был отбыт, получен новый — еще больше. Но до расстрела было еще несколько ступеней, несколько ступеней этой страшной движущейся живой лестницы, соединяющей человека и государство.

Освободиться было опасно. За любым заключенным, у которого кончался срок, на последнем году начиналась правильная охота — не приказом ли Москвы предписанная и разработанная, — а ведь «волос не упадет» и так далее. Охота из провокаций, доносов, допросов. Звуки страшного лагерного оркестра-джаза, октета «семь дуют, один стучит», раздавались в ушах ждущих освобождения все громче, все явственней. Тон становился все более зловецим, и мало кто мог благополучно — и случайно! — проскочить эту вершу, эту «морду», этот невод, сесть и выплыть в открытое море, где для освобождающегося не было ориентиров, не было безопасных путей, безопасных дней и ночей.

Все это Крист знал, очень хорошо понял и знал, давно знал, берегся как мог. Но уберечься было нельзя.

Сейчас кончался третий, десятилетний срок, а число арестов, начатых «дел», попыток дать срок, которые кончились для Криста ничем — то есть были его победой, его удачей, — и сосчитать было трудно. Крист и не считал. Это плохая примета в лагере.

Когда-то Крист, девятнадцатилетним мальчиком, получил свой первый срок. Самоотверженность, жертвенность даже, желание не командовать, а делать все своими руками жило в душе Криста всегда, жило вместе со страстным чувством неподчинения чужой команде, чужсму мнению, чужой воле. На дне души Криста хранилось всегда желание помериться силами с человеком, сидящим за следовательским столом, — воспитанное детством, чтением, людьми, которых Крист видел в юности и о которых он слышал. Таких людей было много в России, в книжной России по крайней мере, в опасном мире книг.

Крист был приобщен к «движению» во всех карточках Союза, и когда был дан сигнал к очередной

травле, уехал на Колыму со смертным клеймом «КРТД». Литерник, литёрка, обладатель самой опасной буквы «Т». Листочек тонкой папиросной бумаги, вклеенный в «личное дело» Криста, листочек тонкой прозрачной бумаги — «спецуказание Москвы»; текст был отпечатан на стеклографе очень слепо, очень неудачно — или это был десятый какой-нибудь экземпляр с пишущей машинки, — у Криста был случай подержать в руках этот смертный листочек, а фамилия была вписана твердой рукой безмятежно ясным почерком канцеляриста, будто и текста не надо — тот, кто пишет вслепую, не глядя вставит фамилию, закрепит чернила в нужной строке. «На время заключения лишить телеграфной почтовой связи, использовать только на тяжелых физических работах, доносить о поведении раз в квартал».

«Спецуказания» были приказом убить, не выпускать живым, и Крист это понимал. Только думать об этом было некогда. И — не хотелось думать.

Все «спецуказанцы» знали, что этот листок папиросной бумаги обязывает всякое будущее начальство — от конвоира до начальника управления лагерями — следить, доносить, принимать меры, что если любой маленький начальник не будет активен в уничтожении тех, кто обладает «спецуказаниями», — то на этого начальника донесут свои же товарищи, свои сослуживцы. И что он встретит неодобрение от начальства высшего. Что лагерная карьера его — безнадежна, если он не участвует активно в выполнении московских приказов.

На угольной разведке заключенных было мало. Бухгалтер разведки, по совместительству секретарь начальника, «бытовичок» Иван Богданов разговаривал с Кристом несколько раз. Была хорошая работа — сторожем. Сторож, эстонец-старик, умер от сердечной слабости. Крист мечтал об этой работе. И не был на нее поставлен... И ругался. Иван Богданов слушал его.

— У тебя — спецуказание, — сказал Богданов.

— Я знаю.

— Знаешь, как это устроено?

— Нет.

— «Личное дело» — в двух экземплярах. Один — с человеком, как его паспорт, а другой — «хранить в управлении лагерей». Тот, другой, конечно, недоступен, но никто-никто там не сверялся. Суть в здешнем листочке, в том, что идет с тобой.

Вскоре Богданова куда-то переводили, и он пришел прощаться к Кристу прямо на работу, к разведочному шурфу. Маленький костерчик — дымарь — отгонял комаров от шурфа. Иван Богданов сел на край шурфа и вынул из-за пазухи бумажку, тончайшую выцветшую бумажку.

— Я уезжаю завтра. Вот твои «спецуказания».

Крист прочел. Запомнил навечно. Иван Богданов взял листочек и сжег на костре, не выпуская из рук листка, пока не сгорела последняя буква.

— Желаю тебе...

— Будь здоров.

Сменился начальник — у Криста было много-много начальников в жизни, — сменился секретарь начальника.

Крист стал сильно уставать в шахте и знал, что это значит. Освободилась должность лебедчика. Но Крист никогда не имел дела с механизмами и даже на радиолу смотрел с сомнением и неуверенностью. Но Семенов, блатарь, уходящий с работы лебедчика на лучшую работу, успокоил Криста.

— Ты, фраер, такой «лох», нет спасения. Вы все такие — фраера. Все. Чего ты боишься? Заключение не должен бояться никаких механизмов. Тут-то и учиться. Ответственности никакой. Нужна только смелость, и все. Берись за рычаги, не держи меня здесь, а то и мой шанс пропадет...

Хотя Крист знал, что блатарь — это одно, а фраер, особый фраер, с литером «КРТД», — это совсем, совсем другое, когда речь идет об ответственности, — уверенность Семенова передалась ему.

Нарядчик был прежний и спал тут же в углу барака. Крист пошел к нарядчику.

— У тебя же спецуказания.

— А я откуда знаю?

— Ты-то не знаешь. Да и я, положим, «дела» твоего не видал. Попробуем.

Так Крист стал лебедчиком, включал и выключал рычаги электрической лебедки, разматывал стальной тросс, опуская вагонетки в шахту. Отдохнул немного. Месяц отдохнул. А потом приехал какой-то «бытовик»-механик, и Крист опять был послан в шахту, катал вагонетки, насыпал уголь и размышлял, что механик-«бытовик» не останется и сам на такой ничтожной, без «навара», работе как шахтный лебедчик, — что только для «литерок» вроде Криста шахтная лебедка — рай, а когда механик-«бытовик» уйдет — Крист снова будет двигать эти благословенные рычаги и включать рубильник лебедки.

Ни один день из лагерного времени не был забыт Кристом. Оттуда, с шахты его увезли в спецзону, судили, дали вот этот самый срок, которому близок конец.

Крист сумел кончить фельдшерские курсы, остался в живых и — что еще важнее — приобрел независимость — важное свойство медицинской профессии на Дальнем Севере, в лагере. Сейчас Крист заведывал приемным покоем огромной лагерной больницы.

.

Но уберечься было нельзя. Буква «Т» в литере Криста была меткой, тавром, клеймом, приметой, по которой травили Криста много лет, не выпуская из ледяных золотых забоев на шестидесятиградусном колымском морозе. Убивая тяжелой работой, непосильным лагерным трудом, прославляемым как дело чести, дело славы, дело доблести и геройства, убивая побоями начальников, прикладами конвоиров, кулаками бригадиров,

тычками парикмахеров, локтями товарищей... Убивая голодом — «юшкой» лагерного «супчика».

Крист знал, видел и наблюдал бессчетное количество раз, что никакая другая статья уголовного кодекса так не опасна для государства, как его, Криста, литера с буквой «Т». Ни измена родине, ни террор, ни весь этот страшный букет «пунктов» пятьдесят восьмой статьи. Четырехбуквенный литер Криста был приметой зверя, которого надо убить, которого приказано убить.

За этим «литером» охотился весь конвой всех лагерей страны прошлого, настоящего и будущего — ни один начальник на свете не захотел бы проявить слабости в уничтожении такого «врага народа».

Сейчас Крист — фельдшер большой больницы, ведет большую борьбу с блатарями — с тем миром уголовщины, который государство призвало себе на помощь в тридцать седьмом году, чтобы уничтожить Криста и его товарищей.

В больнице Крист работал очень много, не жалея ни времени, ни сил. Высшее начальство, по постоянному повелению Москвы, не раз давало приказ о снятии таких, как Крист, на общие работы, отправке. Но начальник больницы был старым колымчанином и знал цену энергии таких людей. Начальник хорошо понимал, что Крист вложит и вкладывает в свою работу очень много. А Крист — знал, что начальник это понимает.

И вот срок заключения таял медленно, как зимний лед в стране, где нет преображающих жизнь весенних теплых дождей, а есть только медленная разрушительная работа то холодного, то жгучего солнца. Срок таял, как лед уменьшался. Конец срока был близок.

Страшное приближалось к Кристу. Все будущее будет отравлено этой важной справкой о судимости, о статье, о литере «КРТД». Этот литер закроет дорогу в любом будущем Криста, закроет на всю жизнь в любом месте страны, на любой работе. Эта буква не только лишит паспорта, но на вечные времена не даст

устроиться на работу, не даст выехать с Колымы. Крист внимательно следил за освобождениями тех немногих, кто, подобно Кристу, дожид до освобождения, имея в прошлом тавро с буквой «Т» — в своем московском приговоре, в своем лагерном паспорте-формуляре, в своем «личном деле».

Крист пытался представить себе меру этой косной силы, управляющей людьми, оценить ее трезво.

В лучшем случае его оставят после срока на той же работе, на старом месте. Не выпустят с Колымы. Оставят до первого сигнала, до первого рога на травлю . . .

Что делать? Может быть, проще всего — веревка . . . Так многие решали этот же самый вопрос. Нет! Крист будет биться до конца. Биться как зверь, биться, как его учили в этой многолетней травле человека государством.

Много ночей не спал Крист, думая о своем скором, неотвратимом освобождении. Он не проклинал, не боялся. Крист искал.

Озарение пришло, как всегда, внезапно. Внезапно, но после страшного напряжения — напряжения не умственного, не сил сердца, а всего существа Криста. Пришло, как приходят лучшие стихи, лучшие строки рассказа. Над ними думают день и ночь безответно, и приходит озарение, как радость точного слова, как радость решения. Не радость надежды — слишком много разочарований, ошибок, ударов было на пути Криста.

Но озарение пришло. Лида . . .

Крист давно работал в этой больнице. Его неизменная преданность интересам больницы, его энергия, постоянное вмешательство в любые больничные дела — всегда на пользу больнице! — создало заключенному Кристу особое положение. Фельдшер Крист был не заведующим приемным покоем, то была вольнонаемная должность. Заведующим был неизвестно кто: штатная ведомость была всегда ребусом, который ежемесячно решали два человека — начальник больницы и главный бухгалтер.

Всю свою сознательную жизнь Крист любил фактическую власть, а не показной почет. И в писательском деле Криста когда-то — в молодые годы — манила не слава, не известность, а сознание собственной силы и умения написать, сделать что-то новое, свое, чего никто другой сделать не может.

Юридическими хозяевами приемного покоя были дежурные врачи, но их дежурило тридцать, и преемственность — приказов, текущей лагерной «политики» и прочих законов мира заключенных и их хозяев — хранилась только в памяти Криста. Вопросы эти тонки, не всякому доступны. Но они требуют внимания и выполнения, и дежурные врачи это хорошо понимали. Практически решение вопроса о госпитализации любого больного принадлежало Кристу. Врачи это знали, даже имели словесные, конечно, прямые указания начальника.

Года два назад дежурный врач из заключенных отвел Криста в сторону...

— Тут девушка одна.

— Никаких девушек.

— Подожди. Я сам ее не знаю. Тут вот в чем дело.

Врач зашептал Кристу на ухо грубые и безобразные слова. Суть дела была в том, что начальник лагерного учреждения, лагерного отделения преследует свою секретаршу — бытовичку, конечно. Лагерного мужа этой бытовички давно сгноили на штрафном прииске по приказу начальника. Но жить с начальником девушка не стала. И вот теперь проездом — этап везут мимо — делает попытку лечь в больницу, чтобы ускользнуть от преследования. Из центральной больницы больных не возвращают после выздоровления назад: пошлют в другое место. Может быть, туда, куда руки начальника этого не дотянутся.

— Вот что, — сказал Крист. — Ну-ка, давай эту девушку.

— Она здесь. Войди, Лида!

Невысокая белокурая девушка встала перед Кристом и смело встретила его взгляд.

Ах, сколько людей прошло в жизни перед глазами Криста. Сколько тысяч глаз понято и разгадано. Крист ошибался редко, очень редко.

— Хорошо, — сказал Крист. — Кладите ее в больницу.

Начальничек, который привез Лиду, бросился в больницу — протестовать. Но для больничных надзирателей младший лейтенант — не большой чин. В больницу его не пустили. До полковника — начальника больницы — лейтенант так и не добрался, попал только к майору — главврачу. С трудом дождался приема, положил свое дело. Главный врач попросил лейтенанта не учить больничных врачей, кто больной, а кто не больной. А потом — почему лейтенанта интересует судьба его секретарши? Пусть попросит другую в местном лагере. И ему пришлют. Словом, у главного врача нет больше времени. Следующий! . .

Лейтенант уехал, ругаясь, и исчез из лидиной жизни навсегда.

Случилось так, что Лида осталась в больнице, работала кем-то в конторе, участвовала в художественной самодеятельности. Статьи ее Крист так и не узнал — никогда не интересовался статьями людей, с которыми встречался в лагере.

Больница была большая. Огромное здание в три этажа. Дважды в сутки конвой приводил «смену» obsługi из лагерной зоны — врачей, сестер, фельдшеров, санитаров, и обслуга бесшумно раздевалась в гардеробной и бесшумно растекалась по отделениям больницы, и только дойдя до места работы, превращалась в Василия Федоровича, Анну Николаевну, Катю или Петю, Ваську или Женьку, «длинного» или «рябую» в зависимости от должности — врача, сестры, санитары больничного — и лица «внешней» obsługi.

Крист не ходил в лагерь при круглосуточной его работе. Иногда он и Лида видели друг друга, улыбались

друг другу. Все это было два года назад. В больнице уже дважды сменились начальники всех «частей». Никто и не помнил, как положили Лиду в больницу. Помнил — только Крист. Нужно было узнать, помнит ли это и Лида.

Решение было принято, и Крист во время сбора обслуги подошел к Лиде.

Лагерь не любит сентиментальности, не любит долгих и ненужных предисловий и разъяснений, не любит всяких «подходов».

И Лида, и Крист были старыми колымчанами.

— Слушай, Лида, ты работаешь в учетной части?

— Да.

— Документы на освобождение ты печатаешь?

— Да, — сказала Лида. — Начальник печатает и сам. Но он печатает плохо, портит бланки. Все эти документы всегда печатаю я.

— Скоро ты будешь печатать мои документы.

— Поздравляю... Лида смахнула невидимую пылинку с халата Криста.

— Будешь печатать старые судимости, там ведь есть такая графа?..

— Да, есть.

— В слове «КРТД» пропусти букву «Т».

— Я поняла, — сказала Лида.

— Если начальник заметит, когда будет подписывать, — улыбнешься, скажешь, что ошиблась. Испортила бланк...

— Я знаю, что сказать...

Облуга уже строилась на выход.

Прошло две недели, и Криста вызвали и вручили справку об освобождении без буквы «Т».

Два знакомых инженера и врач поехали вместе с Кристом в паспортный отдел, чтобы видеть, какой паспорт получит Крист. Или ему откажут, как... Документы сдавались в окошечко, ответ через четыре часа. Крист пообедал у знакомого врача без волнения.

Во всех таких случаях надо уметь заставить себя обедать, ужинать, завтракать.

Через четыре часа окошечко выбросило лиловую бумажку годовичного паспорта.

— Годичный? — спросил Крист, недоумевая и вкладывая в вопрос особенный свой смысл.

Из окошечка показалась выбритая военная физиономия.

— Годичный. У нас нет сейчас бланков пятилетних паспортов. Как вам положено. Хотите побыть до завтрашнего дня — паспорта привезут, мы перепишем. Или этот годовой вы через год обменяете?

— Лучше я этот через год обменяю.

— Конечно. — Окошечко захлопнулось.

Знакомые Криста были поражены. Один инженер назвал это удачей Криста, другой видел давно ожидаемое смягчение режима, ту первую ласточку, которая обязательно, обязательно сделает весну. А врач видел в этом божью волю.

.

Крист не сказал Лиде ни одного слова благодарности. Да она и не ждала. За такое — не благодарят. Благодарность — неподходящее слово.



АНЕВРИЗМА АОРТЫ

Дежурство Геннадий Петрович Зайцев принял в девять часов утра, а уже в половине одиннадцатого пришел этап больных — женщин. Среди них была та самая больная, о которой Геннадия Петровича предупредил Подшивалов, — Екатерина Гловацкая. Темноглазая, полная, она понравилась Геннадию Петровичу, очень понравилась.

— Хороша? — спросил фельдшер, когда больных увели мыться.

— Хороша...

— Это... — и фельдшер прошептал что-то на ухо доктору Зайцеву.

— Ну и что ж, что Сенькина? — громко сказал Геннадий Петрович. — Сенькина или Венькина, а попытка — не пытка.

— Ни пуха, ни пера. От всей души!

К вечеру Геннадий Петрович отправился в обход больницы. Дежурные фельдшера, зная зайцевские привычки, наливали в мензурки необычайные смеси из «тинктура абсенти» и «тинктура валериани», а то и ликер «Голубая ночь», попросту денатурированный спирт. Лицо Геннадия Петровича краснело всё больше, коротко стриженные седые волосы не скрывали багровой лысины дежурного врача. До женского отделения Зайцев добрался в одиннадцать вечера. Женское отделение уже было заложено на железные засовы во избежание покушения насильников-блатарей из мужских отделений. В двери был тюремный «глазок», или «волчок», и кнопка электрического звонка, ведущего на вахту, в помещение охраны.

Геннадий Петрович постучал, «глазок» мигнул, и загремели засовы. Дежурная ночная сестра отперла дверь. Слабости Геннадия Петровича были ей достаточно известны, и она относилась к ним со всем снисхождением арестанта к арестанту.

Геннадий Петрович прошел в процедурку, и сестра подала ему мензурку с «Голубой ночью». Геннадий Петрович выпил.

— Позови мне из сегодняшних эту... Гловацкую.

— Да ведь... — сестра укоризненно показала головой.

— Не твое дело. Зови ее сюда...

.

Катя постучала в дверь и вошла.

Дежурный врач запер дверь на задвижку.

Катя присела на край кушетки. Геннадий Петрович расстегнул ее халат, сдвинул воротник халата и зашептал:

— Я должен тебя выслушать... твое сердце... Твоя заведующая просила... Я по-французски... без стетоскопа...

Геннадий Петрович прижался волосатым ухом к теплой груди Кати. Всё происходило так, как и десятки раз раньше, с другими. Лицо Геннадия Петровича побагровело, и он слышал только глухие удары собственного сердца. Он обнял Катю. Внезапно он услышал какой-то странный и очень знакомый звук. Казалось, где-то рядом мурлыкает кошка или журчит горный ручей. Геннадий Петрович был слишком врачом — ведь как-никак он был когда-то ассистентом Плетнева.

Собственное сердце билось всё тише, всё ровней. Геннадий Петрович вытер вспотевший лоб вафельным полотенцем и начал слушать Катю сначала. Он попросил ее раздеться, и она разделась, встревоженная его изменившимся тоном, тревогой, которая была в его голосе и глазах.

Геннадий Петрович слушал еще и еще раз — кошачье мурлыканье не умолкало.

Он походил по комнате, щелкая пальцами, и отпер задвижку. Ночная дежурная сестра, доверительно улыбаясь, вошла в комнату.

— Дайте мне историю болезни этой больной, — ска-

зал Геннадий Петрович. — Уведите ее. Простите меня, Катя.

Геннадий Петрович взял папку с историей болезни Гловацкой и сел к столу.

.

— Вот видите, Василий Калиныч, — говорил начальник больницы новому парторгу на другое утро, — вы — колымчанин молодой, вы всех подлостей господ каторжан не знаете. Вот почитайте, что нынче дежурный врач отхватил. Вот рапорт Зайцева.

Парторг отошел к окну и, отогнув занавеску, поймал свет, рассеянный толстым заоконным льдом, на бумагу рапорта.

— Ну?

— Это, кажется, очень опасно . . .

Начальник захохотал.

— Меня, — сказал он важно, — меня господин Подшивалов не проведет.

Подшивалов был заключенный, руководитель кружка художественной самодеятельности «крепостного театра», как шутил начальник.

— При чем же?

— А вот при чем, мой дорогой Василий Калиныч. Эта девка — Гловацкая — была в культбригаде. Артисты ведь, знаете, пользуются кое-какой свободой. Она — баба Подшивалова.

— Вот что

— Само собой разумеется, как только это было обнаружено — ее из бригады мы турнули на штрафной женский прииск. В таких делах, Василий Калиныч, мы разлучаем любовников. Кто из них полезней и важней — оставляем у себя, а другого — на штрафной прииск . . .

— Это не очень справедливо. Надо бы обоих . . .

— Отнюдь. Ведь цель-то — разлука. Полезный человек остается в больнице. И волки сыты, и овцы целы.

— Так, так . . .

— Слушайте дальше. Гловацкая уехала на штрафной,

а через месяц ее привозят бледную, больную — они ведь там знают, какую глотнуть белену, — и кладут в больницу. Я утром узнаю — велю выписать к черту. Ее увозят. Через три дня привозят снова. Тут мне сказали, что она — великая мастерица вышивания, они ведь в Западной Украине все мастерицы. Моя жена попросила на недельку положить Гловацкую — жена готовит мне какой-то сюрприз ко дню рождения, вышивку, что ли, я не знаю, что... Словом, я вызываю Подшивалова и говорю ему: если ты дашь мне слово не пытаться видеться с Гловацкой — положу ее на неделю. Подшивалов клянется и благодарит.

— И что же? Виделись они?

— Нет, не виделись. Но он сейчас действует через подставных лиц. Вот Зайцев — слов нет, врач неплохой. Даже знаменитый в прошлом. Сейчас настаивает, рапорт написал: «У Гловацкой аневризма аорты». А все находили невроз сердца, стенокардию. Присылали со штрафного с пороком сердца, с фальшивкой — наши врачи разоблачили сразу. Зайцев, изволишь видеть, пишет, что «каждое неосторожное движение Гловацкой может вызвать смертельный исход». Видал, как заряжают!

— Да-а, — сказал парторг, — только ведь еще терапевты есть, дали бы другим.

Другим терапевтам начальник показывал Гловацкую и раньше, до зайцевского рапорта. Все они послушно признали ее здоровой. Начальник приказал выписать ее.

.

В кабинет постучали. Вошел Зайцев.

— Вы бы хоть волосы пригладили перед тем как войти к начальнику.

— Хорошо, — ответил Зайцев, поправляя свои волосы. — Я к вам, гражданин начальник, по важному делу: отправляют Гловацкую. У нее аневризма аорты тяжелая. Любое движение...

— Вон отсюда! — заорал начальник. — До чего дошли подлецы! В кабинет являются.

Катя собрала вещи после традиционного неторопливого обыска, сложила в мешок, встала в ряды этапа. Конвойный выкликнул ее фамилию, она сделала несколько шагов — и огромная больничная дверь вытолкнула ее наружу. Грузовик, накрытый брезентом, стоял у больничного крыльца. Задняя крышка была откинута. Стоявшая в кузове машины медицинская сестра протянула Кате руку. Из густого морозного тумана выступил Подшивалов. Он помахал Кате рукавицей. Катя улыбнулась ему спокойно и весело, протянула медсестре руку и прыгнула в машину.

Тотчас же в груди Кати стало горячо до жжения, и, теряя сознание, она увидела в последний раз перекошенное страхом лицо Подшивалова и обледенелые больничные окна.

— Несите ее в приемный покой, — распорядился дежурный врач.

— Правильней ее нести в морг, — сказал Зайцев.



КУСОК МЯСА

Да, Голубев принес эту кровавую жертву. Кусок мяса вырезан из его тела и брошен к ногам всемогущего бога лагерей. Чтобы умиловать бога. Умиливать или обмануть? Жизнь повторяет шекспировские сюжеты чаще, чем мы думаем. Разве Леди Макбет, Ричард III, король Клавдий — только средневековая даль? Разве Шейлок, который хотел вырезать из тела венецианского купца фунт живого человеческого мяса, разве Шейлок — сказка? Конечно, червеобразный отросток слепой кишки, рудиментарный орган, весит меньше фунта. Конечно, кровавая жертва приносилась с соблюдением полной стерильности. И всё же . . . Рудиментарный орган оказался вовсе не рудиментарным, а нужным, действующим, спасающим жизнь . . .

Конец года наполняет жизнь заключенных тревогой. Всех, кто держится за свои места нетвердо (а кто из арестантов уверен, что держится твердо?), разумеется, из пятьдесят восьмой статьи, завоевавших после многолетней работы в забое, в голоде и холоде призрачное, неуверенное счастье нескольких месяцев, нескольких недель на работе по специальности или любимым «придурком» — бухгалтером, фельдшером, врачом, лаборантом; всех, кто пробился на должности, кои положено занимать вольнонаемным (а вольнонаемных нет) или «бытовикам» (а бытовики мало ценят эти «привилегированные работы», ибо могут устроиться на такую работу всегда, а потому пьянствуют и кое-кто похуже).

На штатных должностях работает пятьдесят восьмая. И работает хорошо. Отлично. И безнадежно. Ибо придет комиссия и снимет с работы, да и начальнику выговор даст. И начальник не хочет портить отношений с этой высшей комиссией и заранее убирает всех, кому не положено быть на этих привилегированных должностях.

Хороший начальник ждет приезда комиссии; пусть комиссия поработает сама — кого ей удастся снять, сни-

мет и увезет. Недолго увезти. А кого не снимет, тот останется, останется надолго — на год, до следующего декабря. Или самое малое — на полгода. Начальник похуже, поглупей самолично снимет, не ожидая приезда комиссии, чтобы рапортовать, что всё в порядке. Начальник самый плохой и менее всех опытный выполняет честно приказы высшего начальства и не допускает пятьдесят восьмую статью ни к каким работам, кроме кайла и тачки, пилы и топора. У этого начальника дело идет всего хуже. Таких начальников быстро снимают.

Вот эти наезды — налеты комиссий — бывают всегда к концу года; у высшего начальства свои недоделки по части контроля, и к концу года эти недоделки старается высшее начальство устранить. И посылает комиссии. А кто едет и сам. Сам. И командировочные идут, и «точки» не остались без личного надзора — есть где «галочку» об исполнении поставить, да просто промяться, прокатиться, а то и показать свой нрав, свою силу, свою величину.

Всё это известно и заключенным, и начальникам — от маленьких и до самых высших с крупными звездами на погонах. Игра эта не новая, обряд хорошо знакомый. И все же волнующий, опасный и неотвратимый.

Приезд этот декабрьский может «переломить судьбу» многим и быстро свести в могилу вчерашних счастливых.

Никаких перемен к лучшему ни для кого в лагере после таких приездов не бывает. Заключенные, особенно пятьдесят восьмая статья, ничего от таких приездов хорошего не ждут. Ждут только плохого.

Еще со вчерашнего вечера поползли слухи, лагерный «перепуг», те самые «параша», которые всегда сбываются. Приехало, говорят, какое-то начальство с целой машиной «бойцов» и тюремным автобусом, «черным вороном», чтобы везти свою добычу в каторжные лагеря, засуетились местные начальники, большие стали маленькими рядом с хозяевами жизни и смерти — какими-то незнакомыми капитанами, майорами и подполковника-

ми. Подполковник прятался где-то в глубине кабинетов, а капитаны и майоры бегали по двору с какими-то списками, и в этих списках наверняка была фамилия Голубева. Голубев это чувствовал, знал. Но еще ничего не объявляли, никого не вызывали. Еще никого в зоне не «списывали».

С полгода назад, во время очередного приезда в поселок «черного ворона», очередной охоты на людей, Голубев, которого тогда не было в списках, стоял около вахты рядом с заключенным-хирургом. Хирург работал в больнице не только хирургом, а лечил от всех болезней.

Очередную партию пойманных, изловленных, разоблаченных арестантов заталкивали в «черный ворон». Хирург прощался со своим другом — того увозили.

А Голубев стоял рядом с хирургом. И когда машина уползла, поднимая облако пыли, и скрылась в горном ущелье, хирург сказал, глядя в глаза Голубева, сказал про своего друга, уехавшего на смерть:

— Сам виноват. Приступ острого аппендицита — и остался бы здесь.

Голубев хорошо запомнил эти слова. Запомнил не мысль, не суждение. Это было зрительное воспоминание: твердые глаза хирурга, машина в облаке пыли...

— Тебя ищет нарядчик, — подбежал кто-то, и Голубев увидел нарядчика.

— Собирайся!

В руках нарядчика были бумажки — список. Список был небольшой.

— Сейчас, — сказал Голубев.

— На вахту придешь.

Но Голубев пошел не на вахту. Держась обеими руками за правую половину живота, он застонал и заковылял в сторону санчасти.

На крыльцо вышел хирург, тот самый хирург, и что-то отразилось в его глазах, какое-то давнее воспоминание. Может быть, пыльное облако, скрывающее автомашину, увозившую навсегда другого хирурга.

Осмотр был недолог.

— В больницу. И вызывайте операционную сестру. Ассистентом вызывайте врача с вольного поселка. Срочная операция.

В больнице, километрах в двух от зоны, Голубева раздели, вымыли, записали.

Два санитаря ввели и посадили Голубева на операционный стол. Привязали его к столу холщевыми лентами.

— Сейчас будет укол, — услышал он голос хирурга. — Но ты, кажется, парень храбрый.

Голубев молчал.

— Отвечай! Сестра, поговорите с больным.

— Больно?

— Больно.

— Так всегда с местной анестезией, — слышал Голубев голос хирурга, объясняющий что-то ассистенту. — Одни слова, что обезболивание. Вот он . . .

— Еще потерпи!

Голубев дернулся всем телом от острой боли, но боль почти мгновенно перестала быть острой. Хирурги что-то заговорили наперебой, весело, громко.

Операция шла к концу.

— Ну, удалили твой аппендицит. Сестра, покажите больному его мясо. Видишь?

Сестра поднесла к лицу Голубева змееобразный кусочек кишки размером в полкарандаша.

— Инструкция требует показать больному, что разрез сделан не даром, что отросток действительно удален, — объяснял хирург вольнонаемному своему ассистенту. — Вот для вас и практика небольшая.

— Я вам очень благодарен, — сказал вольнонаемный врач, — за урок.

— За урок гуманности, за урок человеколюбия, — туманно выразился хирург, снимая перчатки.

— Если что-нибудь такое, вы меня обязательно вызывайте, — сказал вольнонаемный врач.

— Если что-нибудь такое, — обязательно вызову, — сказал хирург.

Санитары, выздоравливающие больные в чиненных белых халатах, внесли Голубева в больничную палату. Палата была маленькая, послеоперационная, но операций в больнице было немного, и сейчас там лежали вовсе не хирургические больные.

Голубев лежал на спине, бережно касаясь бинта, замотанного наподобие набедренной повязки индийских факиров, каких-то йогов. Такие рисунки Голубев видел в журналах своего детства, а после чуть не целую жизнь не знал, есть такие факиры или йоги в действительности или их нет. Но мысль об йогов скользнула в мозг и исчезла. Волевое напряжение, нервное потрясение спадало, и приятное чувство исполненного долга переполняло тело Голубева, и каждая клетка его тела пела, мурлыкала что-то хорошее. От отправки в каторжную неизвестность Голубев пока избавился. Это — отсрочка. Сколько дней заживает рана? Семь-восемь. Значит, через две недели снова опасность. Две недели — срок очень далекий, тысячелетний, достаточный для того, чтобы подготовиться к новым испытаниям. Да ведь срок заживления раны — семь-восемь дней по учебнику, «первичным натяжением», как сказали врачи. А если рана загноится? Если наклейка, закрывающая рану, отстанет от кожи раньше времени? Голубев бережно прощупал наклейку, твердую, уже подсыхающую, пропитанную гуммиарабиком марлю. Прощупал сквозь бинт. Да . . . Это — запасный выход, резерв еще на несколько дней, а то и месяцев. Если понадобится.

Голубев вспомнил большую приисковую палату, где он лежал с год назад. Там чуть не все больные отматывали свои повязки, подсыпали спасительную грязь, настоящую грязь с пола, расцарапывали, растравляли раны. Тогда эти ночные перевязки у Голубева — новичка — вызывали удивление, чуть не презрение. Но год прошел, и настроения больных стали Голубеву по-

нятны, вызывали чуть не зависть. Теперь он может воспользоваться тогдашним опытом.

Голубев заснул и проснулся оттого, что чья-то рука отогнула одеяло с его лица (Голубев всегда спал полагерному, укрывался с головой, стараясь прежде всего согреть, защитить голову). Над Голубевым склонялось чье-то очень красивое лицо, с усиками и прической под польку или под бокс. Словом, голова была вовсе не арестантской, и Голубев, открыв глаза, подумал, что это — воспоминание вроде йогов или сон, может быть, страшный сон, а может быть, и не страшный.

— Фраерюга, — прохрипел разочарованно человек, закрывая лицо Голубева одеялом. — Фраерюга. Нет людей.

Но Голубев отогнул одеяло бессильными своими пальцами и поглядел на человека. Этот человек знал Голубева, и Голубев знал его. Бесспорно. Но не торопиться, не торопиться узнавать. Нужно хорошо вспомнить. Вспомнить всё. И Голубев вспомнил. Человек с прической под бокс был... Вот человек снимает у окна рубашку, и сейчас Голубев увидит на его груди клубок переплетающихся змей... Человек повернулся, и клубок переплетающихся змей явился перед глазами Голубева. Это был Кононенко, блатарь, с которым Голубев был вместе на пересылке несколько месяцев назад, многосрочник-убийца, видный блатарь, который несколько лет уже «тормозился» в больших следственных тюрьмах. Как только приходил срок выписки, Кононенко убивал на пересылке кого-нибудь, всё равно, кого, любого «фраера», — душил полотенцем. Полотенце, казенное полотенце было любимым орудием убийства у Кононенко, его авторским почерком. Его арестовывали, заводили новое дело, снова судили, добавляли новый двадцатилетний срок к многим сотням лет, уже числящимся за Кононенко. После суда Кононенко старался попасть в больницу, «отдохнуть», потом снова убивал, и всё начиналось сначала. Расстрелы бла-

тарей были тогда отменены. Расстреливать можно было только «врагов народа», по пятьдесят восьмой.

«Сейчас Кононенко в больнице, — размышлял Голубев спокойно, а каждая клетка тела радостно пела и ничего не боялась, веря в удачу. — Сейчас Кононенко в больнице. Проходит больничный «цикл» — зловещие фазы своих превращений. Завтра, а может быть, послезавтра, по программе Кононенко — очередное убийство. Не напрасны ли все старания Голубева — операция, страстное напряжение воли? Вот его, Голубева, и придушит Кононенко как очередную свою жертву. Может быть, не нужно было и уклоняться от отправки в ка-торжные лагеря, где прикрепляют бубновый туз — прикрепляют шестизначный номер на спине — и дают полосатую одежду? Но зато там не бьют, не растаскивают «жиры». Зато там нет многочисленных Коноенок.

Койка Голубева была у окна. Напротив него лежал Кононенко. А у двери, ногами в ноги Кононенко, лежал третий, и лицо этого третьего Голубев видел хорошо, ему не надо было поворачиваться, чтобы увидеть это лицо. И этого больного Голубев знал. Это был Подосенов, вечный больничный житель.

Открылась дверь, вошел фельдшер с лекарствами.

— Казаков! — крикнул он.

— Здесь, — крикнул Кононенко, вставая.

— Тебе ксива, — и передал сложенную в несколько раз бумажку.

«Казаков? — билось в мозгу Голубева, не останавливаясь. — Но ведь это не Казаков, а Кононенко». И внезапно Голубев понял, и на теле его выступил холодный пот.

Всё оказывалось гораздо хуже. Никто из трех не ошибался. Это был Кононенко, «сухарь», как говорят блатные о принявших на себя чужое имя; и под чужим именем, именем Казакова, со статьями Казакова, «сменщиком» он положен в эту больницу. Это еще хуже, еще опасней. Если Кононенко — только Кононенко, его жертвой может быть Голубев, а может, и не Голубев.

Тут есть еще выбор, случайность, возможность спасения. Но если Кононенко — Казаков, тогда для Голубева нет спасения. Если только Кононенко заподозрит — Голубев умрет.

— Ты что, встречал меня раньше? Что ты на меня смотришь, как удав на кролика. Или кролик на удава? Как это правильно говорится по-вашему, по-ученому?

Кононенко сидел на табуретке перед койкой Голубева и крошил бумажку-ксиву своими жесткими крупными пальцами, рассыпая крошки по одеялу Голубева.

— Нет, не встречал, — прохрипел Голубев, бледнея.

— Ну вот и хорошо, что не встречал, — сказал Кононенко, снимая полотенце с гвоздя, вбитого в стену над койкой, и встряхивая полотенцем перед лицом Голубева. — Я еще вчера собрался удавить вот этого «доктора», — он кивнул на Подосенова, и на лице того изобразился безмерный ужас. — Ведь что подлец делает, — весело говорил Кононенко, указывая полотенцем в сторону Подосенова. — В мочу — вон баночка стоит под койкой — подбалтывает собственную кровь... Оцарапает палец и каплю крови добавляет в мочу. Грамотный. Не хуже доктора. Заключительный лабораторный анализ — в моче кровь. Наш «доктор» остается. Ну, скажи, достоин такой человек жить на свете или нет?

— Не знаю.

— Не знаешь? Знаешь. А вчера — тебя принесли. Ты со мной на пересылке был, не так ли? До моего тогдашнего суда. Тогда я шел как Кононенко.

— В глаза я тебя не видал, — сказал Голубев.

— Нет, видал. Вот я и решил. Чем «доктора» — тебя сделаю начисто. Чем он виноват? — Кононенко показал на бледное лицо Подосенова, к которому медленно-медленно прилиwała, возвращаясь обратно, кровь. — Чем он виноват? Он свою жизнь спасает. Как ты или, например, я...

Кононенко ходил по палате, пересыпая с ладони на ладонь бумажные крошки полученной записки.

— И «сделал» бы тебя, отправил бы на луну, и рука бы не дрогнула. Да вот фельдшер ксиву принес, понимаешь... Мне надо отсюда быстро выбираться. Суки наших режут на прииске. Всех воров, что в больнице, вызвали «на помощь». Ты жизни такой не знаешь... Ты, фраерюга!

Голубев молчал. Он знал эту жизнь. Как «фраер», конечно, со стороны.

После обеда Кононенко выписали, и он ушел из жизни Голубева навсегда.

Пока третья койка пустовала, Подосенов успел перебраться на край койки Голубева, уселся ему в ноги и зашептал:

— Казаков обязательно нас удавит, обоих. Надо сказать начальству.

— Пошел ты к такой-то матери, — сказал Голубев.



МОЙ ПРОЦЕСС

Нашу бригаду посетил сам ФЕДОРОВ. Как всегда при подходе начальства, колеса тачек закрутились быстрее, удары кайл стали чаще, громче. Впрочем, немного быстрее, немного громче — тут работали старые лагерные волки, им было плевать на всякое начальство, да и сил не было. Убыстрение темпа работы было лишь трусливой данью традиции, а, возможно, и уважением к своему бригадиру — того обвинили бы в заговоре, сняли бы с работы, судили, если бы бригада остановила работу. Бессильное желание найти повод для отдыха было бы понято как демонстрация, как протест! Колеса тачек вертелись быстрее, но больше из вежливости, чем из страха.

ФЕДОРОВ, чье имя повторялось десятками опаленных, потрескавшихся от ветра и голода губ, — был уполномоченным райотдела на прииске. Он приближался к забою, где работала наша бригада.

.

Мало есть зрелищ, столь же выразительных, как поставленные рядом краснорожие от спирта, раскормленные, грузные, отяжелевшие от жира фигуры лагерного начальства в блестящих, как солнце, новеньких, вонючих овчинных полушубках, в меховых расписных якутских малахаях и руковицах-«крагах» с ярким узором, — и фигуры «доходяг», оборванных «фитилей» в «дымящихся» клочками ваты, изношенных телогрейках, доходяг с одинаковыми грязными костистыми лицами и голодным блеском ввалившихся глаз. Композиции такого именно рода были ежедневны, ежечасны — и в «этапных» вагонах Москва—Владивосток, и в рваных лагерных палатках из простого брезента, где зимовали на полосе холода заключенные, не раздеваясь, не моясь, где волосы примерзали к стенам па-

латки и где согреться было нельзя. Крыши палаток были прорваны — камни во время близких взрывов в забоях попадали в палатку, а один большой камень так и остался в палатке навсегда — на нем сидели, ели, делили хлеб...

ФЕДОРОВ двигался не спеша по забою. С ним шли и еще люди в полушубках — кем они были, мне не было дано знать.

Время было весеннее, неприятное время, когда ледяная вода выступала везде, а летних резиновых чуней еще не выдавали, на ногах у всех была зимняя обувь — матерчатые «бурки» из старых стеганых ватных брюк с подошвой из того же материала, промокавшие в первые десять минут работы. Пальцы ног, отмороженные, кровоточащие, стыли нестерпимо. В чунях первые недели было не лучше — резина легко передавала холод вечной мерзлоты, и от ноющей боли некуда было деться.

ФЕДОРОВ прошелся по забою, что-то спросил, и наш бригадир, почтительно изогнувшись, доложил что-то. Федоров зевнул, и его золотые, хорошо починенные зубы отразили солнечные лучи. Солнце было уже высоко — надо думать, что Федоров предпринял прогулку после ночной работы. Он снова спросил что-то.

Бригадир кликнул меня: я только что прикатил пустую тачку с полным фасоном бывалого тачечника — ручки тачки поставлены вверх, чтоб отдыхали руки, перевернутая тачка колесом вперед — и подошел к начальству.

— Ты и есть Андреев? — спросил Федоров.

Вечером меня арестовали.

Выдавали летнее обмундирование — гимнастерки, бумажные брюки, портянки, чуни, был один из важных дней года в жизни заключенного. В другой, еще более важный осенний день, выдавали зимнюю одежду. Выдавали какую придется — «подгонка» по «номерам» и «ростам» шла уже в бараке, позже.

Подошла моя очередь, и завхоз сказал:

— Тебя Федоров вызывает. Придешь от него — получишь . . .

Тогда я не понял настоящего смысла завхозовых слов.

Какой-то неведомый штатский отвел меня на окраину поселка, где стоял крошечный домик уполномоченного райотдела.

Я сидел в сумерках перед темными окнами избы Федорова, жевал прошлогоднюю соломинку и ни о чем не думал. У завалинки избы была добротная скамейка, но заключенным не полагалось садиться на скамейки начальства. Я поглаживал и почесывал под телогрейкой свою сухую, как пергамент, потрескавшуюся, грязную кожу и улыбался. Что-то обязательно хорошее ждало меня впереди. Удивительное чувство облегчения, почти счастья охватило меня. Не надо было завтра и послезавтра идти на работу, не надо было махать кайлом, бить этот проклятый камень, когда от каждого удара вздрагивают тонкие, как бичевка, мускулы.

Я знал, что всегда рискую получить новый срок. Лагерные традиции на сей счет мне были хорошо известны. В 1938 году, в самом грѳзном колымском году «пришивали дела» в первую очередь тем, кто имел маленький срок, кто кончал срок. Так делали всегда. А сюда, в штрафную зону на Джелгалу, я приехал «пересидчиком». Мой срок кончился в январе сорок второго года, но я освобожден не был, а «оставлен в лагерях до окончания войны» — как тысячи, десятки тысяч других. До конца войны! День было прожить трудно, не то что год. Все «пересидчики» становились объектом особенно пристального внимания следственных властей. «Дело» мне усиленно «клеили» и на Аркагале, откуда я приехал на Джелгалу. Однако не склеили. Добились только перевода в штрафную зону, что, конечно, само по себе было зловещим признаком. Но зачем мучить себя мыслями о том, чего я не могу исправить?

Я знал, конечно, что нужно быть сугубо осторожным в разговорах, в поведении: ведь я не фаталист. И все же — что меняется от того, что я все знаю, все пред-

вижу? Всю жизнь свою я не могу заставить себя называть подлеца честным человеком. И думаю, что лучше совсем не жить, если нельзя говорить с людьми вовсе или говорить противоположное тому, что думаешь.

Что толку в человеческом опыте? — говорил я себе, сидя на земле под темным окном Федорова. Что толку знать, чувствовать, догадываться, что этот человек — доносчик, стукач, а тот — подлец, а вот тот — мстительный трус? Что мне выгоднее, полезнее, спасительнее вести с ними дружбу, а не вражду. Или, по крайней мере, — помалкивать. Надо только лгать — и им, и самому себе, и это невыносимо трудно, гораздо труднее, чем говорить правду. Что толку, если своего характера, своего поведения я изменить не могу? Зачем же мне этот проклятый *опыт*?

Свет в комнате зажегся, занавеска задернулась, дверь избы распахнулась, и дневальный с порога помахал мне рукой, приглашая войти.

Всю малюсенькую, низенькую комнатку-служебный кабинет уполномоченного райотдела занимал огромный письменный стол с множеством ящиков, заваленный папками, карандашами, тетрадями. Кроме стола, в эту комнату с трудом вмещалось два самодельных стула. На одном, крашеном, сидел Федоров. Второй, некрашенный, залоснившийся от сотен арестантских задов, предназначался для меня.

Федоров указал мне на стул, зашелестел бумагами, и «дело» началось...

Судьбу заключенного в лагере «ломают», то есть могут изменить три причины: тяжелая болезнь, новый срск или какая-нибудь необычайность. Необычайности, случайности не так уж мало в нашей жизни.

Слабея с каждым днем в забоях Джелгалы, я надеялся, что попаду в больницу, а там я умру или поправлюсь, или меня отправят куда-нибудь. Я падал от усталости, от слабости и передвигался, шаркая ногами по земле, — незначительная неровность, камешек, тонкое бревнышко на пути были непреодолимы. Но каждый

раз на амбулаторных приемах врач наливал мне в жестяной черпачок порцию раствора марганцовки и хрипел, не глядя мне в глаза: «Следующий!» Марганцовку давали внутрь от дизентерии, смазывали ею отморозения, раны, ожоги. Марганцовка была универсальным и уникальным лечебным средством в лагере. Освобождения от работы мне не давали ни разу — простодушный санитар объяснял, что «лимит исчерпан». Контрольные цифры по группе «В» — «временно освобожденных от работы» — действительно имелись для каждого лагпункта, для каждой амбулатории. «Завысить» лимит никому не хотелось — слишком мягкосердечным врачам и фельдшерам из заключенных грозили общие работы. План был Молохом, который требовал человеческих жертв.

Зимой Джелгалу посетило большое начальство. Приехал Драбкин, начальник колымских лагерей.

— Вы знаете, кто я? Я — тот, который главнее всех. — Драбкин был молодой, недавно назначенный.

Окруженный толпой телохранителей и местных начальников, он обошел бараки. В нашем бараке еще были люди, не утратившие интереса к беседам с высоким начальством. Драбкина спросили:

— Почему здесь держат десятки людей без приговоров — тех, чей срок давно кончился?

Драбкин был вполне готов к этому вопросу:

— Разве у вас нет приговора? Разве вам не читали бумажку, что вы задержаны до конца войны? Это и есть приговор. Это значит, что вы должны находиться в лагере.

— Бессрочно?

— Не перебивайте, когда с вами говорит начальник. Освободить вас будут по ходатайствам местного начальства. Знаете, такие характеристики? — и Драбкин сделал неопределенный жест рукой.

.

А сколько было тревожной тишины за моей спиной, оборванных разговоров при приближении обреченного человека, сочувственных взглядов — не улыбок, конечно, не усмешек: люди нашей бригады давно отучились улыбаться. Многие в бригаде знали, что Кривицкий с Заславским «подали» на меня что-то. Многие сочувствовали мне, но боялись показать это — как бы я их не «взял по делу», если сочувствие будет слишком ясным. Позже я узнал, что бывший учитель Фертюк, приглашенный Заславским в свидетели, отказался наотрез, и Заславскому пришлось выступать со своим постоянным партнером Кривицким. Два свидетельских показания — требуемый законом минимум.

.

Когда потерял силы, когда ослабел — хочется драться неудержимо. Это чувство — задор ослабевшего человека — знакомо каждому заключенному, кто когда-нибудь голодал. Голодные дерутся не по-людски. Они делают разбег для удара, стараются бить плечом, уку-сить, дать подножку, сдавить горло... Причин, чтобы ссора возникла, — бесконечное множество. Заключенного все раздражает: и начальство, и предстоящая работа, и холод, и тяжелый инструмент, и стоящий рядом товарищ. Арестант спорит с небом, с лопатой, с камнем и с тем живым, что находится рядом с ним. Малейший спор готов перерасти в кровавое сражение. Но доносов заключенные не пишут. Доносы пишут Кривицкие и Заславские. Это тоже дух тридцать седьмого года.

«Он меня назвал дураком, а я написал, что он хотел отравить правительство. Мы сочлись! Он мне — цитату, а я ему — ссылку. Да не ссылку, а тюрьму или «высшую меру».

Мастера сих дел, Кривицкие и Заславские, частенько и сами попадали в тюрьму. Это значит, что кто-то воспользовался их собственным оружием.

В прошлом Кривицкий был заместителем министра

оборонной промышленности, а Заславский — очеркистом «Известий». Заславского я бил неоднократно. За что? За то, что схитрил, что взял бревно «с вершинки» вместо «комелька», за то, что все разговоры в звене передает бригадире или заместителю бригадира — Кривицкому. Кривицкого бить мне не приходилось — мы работали в разных звеньях, но я ненавидел его за какую-то особую роль, которую он играл при бригадире, за постоянное безделье на работе, за вечную «японскую» улыбку на лице.

.

— Как к вам относится бригадир?

— Хорошо.

— С кем у вас в бригаде плохие отношения?

— С Кривицким и Заславским.

— Почему?

— Я объяснил, как мог.

— Ну, это чепуха. Так и запишем: плохо относятся Кривицкий и Заславский потому, что с ними были ссоры во время работы.

Я подписал.

Поздно ночью мы шли с конвоиром в лагерь, но не в барак, а в низенькое здание в стороне от зоны, в лагерный изолятор.

— Вещи у тебя в бараке есть?

— Нет. Все на себе.

— Тем лучше.

.

Говорят, допрос — борьба двух волей: следователя и обвиняемого. Вероятно, так. Только как говорить о воле человека, который измучен постоянным голодом, холодом и тяжелой работой в течение многих лет — когда клетки мозга иссушены, потеряли свои свойства. Влияние длительного, многолетнего голода на волю человека, на его душу — совсем другое, чем какая-либо

тюремная голодовка или пытка голодом, доведенная до необходимости искусственного питания. Тут мозг человека еще не разрушен и дух его еще силен. Дух еще может командовать над телом. Если бы Димитрова готовили к суду колымские следователи, мир не знал бы Лейпцигского процесса.

.

— Ну, так как же?

.

Самое главное — собери остатки разума, догадайся, пойми, узнай: заявление на тебя могли написать только Заславский с Кривицким. (По чьему требованию? По чьему плану, по какой контрольной цифре?) Взгляни, как насторожился, как заскрипел стулом следователь, едва ты назвал эти имена. Стой твердо — заяви отвод! Отвод Кривицкому и Заславскому! Победи — и ты на «свободе». Ты опять в бараке, на «свободе». Сразу кончится эта сказка, эта радость одиночества, темный уютный карцер, куда свет и воздух проникают только через дверную щель, — и начнется: барак, развод на работу, кайло, тачка, серый камень, ледяная вода. Где правильная дорога? Где спасение? Где удача?

.

— Ну, так как же? Хотите, я по вашему выбору вызову сюда десять свидетелей из вашей бригады. Назовите любые фамилии. Я пропущу их через свой кабинет, и все они покажут против вас. Разве не так? Ручаюсь, что так. Ведь мы с вами люди взрослые.

.

Штрафные зоны отличаются музыкальностью названия: «Джелгала», «Золотистый»... Места для штрафных зон выбираются с умом. Лагерь Джелгалы расположен на высокой горе, приисковые забои — внизу, в ущелье. Это значит, что после многочасовой изнури-

тельной работы люди будут ползти по обледенелым, вырубленным в снегу ступенькам, хватаясь за обломки обмороженного тальника, ползти вверх, выбиваясь из последних сил, таща на себе «дрова» — ежедневную порцию дров для отопления барака. Это, конечно, понимал начальник, выбравший место для штрафной зоны. Понимал он и другое: что сверху по лагерной горе можно будет скатывать, скидывать тех, кто упирается, кто не хочет или не может идти на работу, так и делали на утренних разводах Джелгалы. Тех, кто не шел, рослые надзиратели хватали за руки и за ноги, раскачивали и бросали вниз. Внизу ждала лошадь, запряженная в «волокушу». К волокуше за ноги привязывали отказчиков и везли на место работы.

Человек оттого, может быть, и стал человеком, что был физически крепче, выносливее любого животного. Таким он и остался. Люди не умирали оттого, что их голова простучит по джелгалинским дорогам два километра. Вскачь ведь не ездят на волокуше.

Благодаря такой топографической особенности на Джелгале легко удавались так называемые «разводы без последнего» — когда арестанты стремятся сами юркнуть, скатиться вниз, не дожидаясь, когда их скинут в пропасть надзиратели. «Разводы без последнего» в других местах обычно проводились с помощью собак. Джелгалинские собаки в разводах не участвовали.

.

Была весна, и сидеть в карцере было не так уж плохо. Я знал к этому времени и вырубленный в скале, в вечной мерзлоте карцер Кадыкчана, и изолятор «Партизана», где надзиратели нарочно выдергали весь мох, служивший прокладкой между бревнами. Я знал срубленный из зимней лиственницы, обледенелый, дымящийся паром карцер прииска «Спокойный», и карцер «Черного Озера», где вместо пола была ледяная вода, а вместо нар — узкая скамейка. Мой арестантский

опыт был велик — я мог спать и на узкой скамейке, видел сны и не падал в ледяную воду.

Лагерная этика позволяет обманывать начальство, «заряжать туфту» на работе — в замерах, в подсчетах, в качестве выполнения. В любой плотничной работе можно словчить, обмануть. Одно только дело положено делать добросовестно — строить лагерный изолятор. Барак для начальства может быть срублен небрежно, но тюрьма для заключенных должна быть тепла, добротна. «Сами ведь сидеть будем». И хотя традиция эта культивируется блатными, по преимуществу, все же рациональное зерно в таком совете есть. Но это — теория. На практике клин и мох царствуют всюду, и лагерный изолятор — не исключение.

Карцер на Джелгале был особенного устройства — без окна, живо напоминая известные «сундуки» Бутырской тюрьмы. Щель в двери, выходящей в коридор, заменяла окно. Здесь я просидел месяц на карцерном пайке — триста граммов хлеба и кружка воды. Дважды за этот месяц дневальный изолятора совал мне миску супу.

Закрывая лицо надушенным платком, следовательно Федоров изволил беседовать со мной:

— Не хотите ли газетку — вот видите, Коминтерн распушен. Вам это будет интересно.

Нет, мне не было это интересно. Вот закурить бы.

— Уж извините. Я некурящий. Вот видите — вас обвиняют в восхвалении гитлеровского оружия.

— Что это значит?

— Ну, то, что вы одобрительно отзывались о наступлении немцев.

— Я об этом почти ничего не знаю. Я не видел газет много лет. Восемь лет.

— Ну, это не самое главное. Вот вы сказали как-то, что стахановское движение в лагере — фальшь и ложь.

В лагере было три вида пайков — «котлового довольства» заключенных, стахановский, ударный и производственный, кроме штрафных, следственных, этап-

ных. Пайки отличались друг от друга количеством хлеба, качеством блюд. В соседнем забое горный смотритель отмерил каждому рабочему расстояние — урок и прикрепил там папиросу из махорки. Вывезешь грунт до отметки — твоя папироса, стахановец.

— Вот как было дело, — сказал я. — Это уродство, по-моему.

— Потом вы говорили, что Бунин — великий русский писатель.

— Он действительно великий русский писатель. За то, что я это сказал, можно дать срок?

— Можно. Это — эмигрант. Злобный эмигрант.

«Дело» шло на лад. Федоров был весел, подвижен.

— Вот видите, как мы с вами обращаемся. Ни одного грубого слова. Обратите внимание — никто вас не бьет, как в тридцать восьмом году. Никакого давления.

— А триста граммов хлеба в сутки?

— Приказ, дорогой мой, приказ. Я ничего не могу поделаться. Приказ. Следственный паек.

— А камера без окна? Я ведь слепну, да и дышать нечем.

— Так уж и без окна? Не может этого быть. Откуда-нибудь свет попадает.

— Из дверной щели снизу.

— Ну, вот-вот.

— Зимой бы застлало паром.

— Но сейчас ведь не зима.

— И то верно. Сейчас уж не зима.

.

— Послушайте, — сказал я. — Я болен. Обессилен. Я много раз обращался в медпункт, но меня никогда не освобождают от работы.

— Напишите заявление. Это будет иметь значение для суда и следствия.

Я потянулся за ближайшей авторучкой — их мно-

жество, всяких размеров и фабричных марок, лежало на столе.

— Нет, нет, простой ручкой, пожалуйста.

— Хорошо.

Я написал: многократно обращался в амбулаторные зоны — чуть не каждый день. Писать было очень трудно — практики в этом деле у меня маловато.

Федоров разгладил бумажку.

— Не беспокойтесь. Все будет сделано по закону.

В тот же вечер замки моей камеры загремели, и дверь открылась. В углу, на столике дежурного горела «колымка» — четырехлучевая бензиновая лампочка из консервной банки. Кто-то сидел у стола в полушубке, в шапке-ушанке.

— Подойди.

Я подошел. Сидевший встал. Это был доктор Мохнач, старый колымчанин, жертва тридцать седьмого года. На Колыме работал на общих работах, потом был допущен к врачебным обязанностям. Был воспитан в страхе перед начальством. У него на приемах в амбулатории зоны я бывал много раз.

— Здравствуйте, доктор.

— Здравствуй. Разденься. Дыши. Не дыши. Повернись. Нагнись. Можно одеваться.

Доктор Мохнач сел к столу, при качающемся свете «колымки» написал:

«Заключенный Шаламов В. Т. практически здоров. За время нахождения в зоне в амбулаторию не обращался.

Зав. амбулаторией врач Мохнач».

Этот текст мне прочли через месяц на суде.

.

Следствие шло к концу, а я никак не мог уразуметь, в чем меня обвиняют. Голодное тело ныло и радовалось, что не надо работать. А вдруг меня выпустят и пошлют снова в забой? Я гнал эти тревожные мысли.

.

На Колыме лето наступает быстро, торопливо. В один из допросов я увидел горячее солнце, синее небо, услышал тонкий запах лиственницы. Грязный лед еще лежал в оврагах, но лето не ждало, пока растает грязный лед.

Допрос затянулся, мы что-то «уточняли», и конвойный еще не увел меня, а к избушке Федорова подвели другого человека. Этим другим человеком был мой бригадир Нестеренко. Он шагнул в мою сторону и глухо выговорил: «был вынужден, пойми, был вынужден» — и исчез в двери федоровской избушки.

Нестеренко писал на меня заявление. Свидетелями были Заславский и Кривицкий. Но Нестеренко вряд ли когда-нибудь слышал о Бунине. И если Заславский и Кривицкий были подлецами, то Нестеренко спас меня от голодной смерти, взяв в свою бригаду. Я был там не хуже и не лучше любого другого рабочего. И не было у меня злобы против Нестеренко. Я слышал, что он в лагере третий срок, что он старый соловчанин. Он был очень опытным бригадиром — понимал не только работу, но и голодных людей, не сочувствовал, а именно понимал. Это дается далеко не каждому бригадиру. Во всех бригадах давали после ужина «добавки» — черпачок жидкого супа из остатков. Обычно бригадиры давали эти черпаки тем, кто лучше других поработал сегодня, — такой способ рекомендовался официально лагерным начальством. Раздаче «добавок» придавалась публичность, чуть ли не торжественность. Добавки использовались и в производственных, и в воспитательных целях. Не всегда тот, кто работал больше всех, работал лучше всех. И не всегда лучший хотел есть «юшку».

В бригаде Нестеренко «добавки» давали самым голодным — по соображению и по команде бригадира, разумеется.

.

Однажды в шурфе я выдолбал огромный камень. Мне было явно не под силу вытащить огромный валун из шурфа. Нестеренко увидел это, молча спрыгнул в шурф, выкайлил камень и вытолкнул его наверх...

Я не хотел верить, что он написал на меня заявление. Впрочем...

.

Говорили, что в прошлом году из этой же бригады ушли в трибунал два человека — Ежиков и через три месяца — Исаев, бывший секретарь одного из сибирских обкомов партии. А свидетели были все те же — Кривицкий и Заславский. Я не обратил внимания на эти разговоры.

.

— Вот тут подпишите. И вот тут.

Ждать пришлось недолго. Двадцатого июня двери распахнулись, и меня вывели на горячую коричневую землю, на слепящее, обжигающее солнце.

— Получай вещи — ботинки, фуражку. В Ягодное пойдешь.

— Пойдешь?

Два солдата разглядывали меня внимательно.

— Не дойдет, — сказал один. — Не возьмем.

— То есть как это вы не возьмете? — сказал Федоров. — Я позвоню в опергруппу.

Солдаты эти не были настоящим конвоем, заказанным заранее, занаряженным. Два оперативника возвращались в Ягодное — восемнадцать верст тайгой, — и попутно должны были доставить меня в ягоднинскую тюрьму.

— Ну, ты сам-то как? — говорил оперативник, — дойдешь?

— Не знаю. — Я был совершенно спокоен. И торо-

питься мне некуда. Солнце было слишком горячим — обожгло щеки, отвыкшие от яркого света, от свежего воздуха. Я сел к дереву. Приятно было посидеть на улице, вдохнуть упругий, замечательный воздух, запах зацветающего шиповника. Голова моя закружилась.

— Ну, пойдём.

Мы вошли в ярко-зеленый лес.

— Ты можешь идти быстрее?

— Нет.

Прошли бесконечное количество шагов. Ветки тальника хлестали по моему лицу. Спотыкаясь о корни деревьев, я кое-как выбрался на поляну.

— Слушай, ты, — сказал оперативник постарше. — Нам надо в кино в Ягодное. Начало в восемь часов. В клубе. Сейчас два часа дня. У нас за лето первый выходной день. За полгода кино в первый раз.

Я молчал.

Оперативники посоветовались.

— Ты отдохни, — сказал молодой. Он расстегнул сумку. — Вот тебе хлеб белый. Килограмм. Ешь, отдохни и пойдём. Если бы не кино — черт с ним. А то кино.

Я съел хлеб, вылизал крошки с ладони, лег к ручью и осторожно напился — холодной и вкусной ручьевого воды. И потерял окончательно силы. Было жарко, хотелось только спать.

— Ну? Пойдешь?

Я молчал.

Тогда они стали меня бить долго, старательно. Топтали меня, и я кричал и прятал лицо в ладони. Впрочем, в лицо они не били — это были люди опытные.

Били меня долго, старательно. И чем больше они меня били, тем было яснее, что ускорить наше общее движение к тюрьме — нельзя.

Много часов брели мы по лесу и в сумерках вышли на «трассу» — шоссе, которое тянулось через всю Колыму, шоссе среди скал и болот, двухтысячекилометровая дорога, вся построенная от тачки и кайла.

.

Я почти потерял сознание и едва двигался, когда был доставлен в ягоднинский изолятор. Дверь камеры откинулась, открылась, и опытные руки дежурного дверью *вдавили* меня внутрь. Было слышно только частое дыхание людей. Минут через десять я попытался опуститься на пол и лег к столбу под нары. Еще через некоторое время ко мне подползли сидевшие в камере воры — обыскать, отнять что-нибудь; но их надежда на поживу была тщетной. Кроме вшей, у меня ничего не было. И, засыпая под раздраженный рев разочарованных блатарей, я заснул.

.

На следующий день в три часа дня вызвали меня на суд.

Было очень душно. Нечем было дышать. Восемь лет я круглые сутки был на чистом воздухе, и мне было нестерпимо жарко в крошечной комнате военного трибунала. Бóльшая половина комнатухи в двенадцать квадратных метров была отдана трибуналу, сидевшему за деревянным барьером. Меньшая — подсудимым, конвою, свидетелям. Я увидел Заславского, Кривицкого и Нестеренку. Грубые некрашенные скамейки стояли вдоль стен. Два окна с чистыми переплетами по колымской моде с мелкой ячеей, будто в Березовской избе суриковского Меншикова. В такой раме использовалось битое стекло — в этом-то и была конструкторская идея, учитывающая трудную перевозку, хрупкость и многое другое — например, стеклянные консервные банки, распиленные пополам в продольном направлении. Все это, конечно, — заботы об окнах квартир начальства и учреждений. В бараках заключенных никаких стекол не было.

Свет в такие окна проникал рассеянный, мутный, и на столе у председателя трибунала горела электрическая лампа без абажура.

Суд был очень коротким. Председатель зачитал краткое обвинение по пунктам. Опросил свидетелей — подтверждают ли они свои показания на предварительном следствии. Неожиданно для меня свидетелей оказалось не трое, а четверо — изъявил желание принять участие в моем процессе некто Шайлевич. С этим свидетелем я не встречался и не говорил ни разу в своей жизни — он был из другой бригады. Это не помешало Шейлевичу быстро отбарабанить положенное: Гитлер, Бунин... Я понял, что Федоров взял Шайлевича на всякий случай — если я неожиданно заявлю отвод Заславскому и Кривицкому. Но Федоров беспокоился напрасно.

— Вопросы к трибуналу есть?

— Есть. Почему с прииска Джелгалы приезжает в трибунал уже третий обвиняемый по пятьдесят восьмой статье, а свидетели все одни и те же?

— Ваш вопрос не относится к делу.

Я был уверен в суровости приговора — убивать было традицией тех лет. Да еще суд в годовщину войны, 22 июня. Посовещавшись минуты три, члены трибунала — их было трое — вынесли «десять лет и пять лет поражения в правах»...

— Следующий!

В коридоре задвигались, застучали сапогами. На другой день меня перевели на пересылку. Началась не однажды испытанная мной процедура оформления нового «личного дела» — бесконечные отпечатки пальцев, анкеты, фотографирование. Теперь я уже назывался имярек, статья пятьдесят восемь, пункт десять, срок десять и пять поражения. Я уже не был литерником со страшной буквой «Т». Это имело значительные последствия и, может быть, спасло мне жизнь.

.

Я не знал, что стало с Нестеренко, с Кривицким. Ходили разговоры, что Кривицкий умер. А Заславский

вернулся в Москву, стал членом Союза писателей, хоть и не писал в жизни ничего, кроме доносов. Я видел его издали. Дело все-таки не в Заславских, не в Кривицких. Сразу после приговора я мог убить доносчиков и лжесвидетелей. Убил бы их наверняка, если б вернулся после суда на Джелгалу. Но лагерный порядок предусматривает, чтоб вновь приговоренные никогда не возвращались в тот лагерь, откуда их привезли на суд.



ЖЕНЩИНА БЛАТНОГО МИРА

Аглаю Демидову привезли в больницу с фальшивыми документами. Не то, чтоб было подделано ее «личное дело», ее арестантский паспорт. Нет, с этой стороны было всё в порядке; только у «личного дела» была новая желтая обложка — свидетельство того, что срок наказания Аглаи Демидовой был начат снова и недавно. Она приехала, называясь тем самым именем, под каким и два года назад ее привозили в больницу. Ничего не изменилось из ее «установочных данных», кроме срока — двадцать пять лет. А два года назад папка ее личного дела была синего цвета, и срок был — десять лет.

К нескольким двузначным цифрам, выставленным чернилами в графе «статья», добавилась еще одна цифра — трехзначная. Но всё это было самое настоящее, неподдельное. Подделаны были ее медицинские документы — косая история болезни, эпикриз, лабораторные анализы. Подделаны людьми, занимавшими вполне официальное положение и имевшими в своих руках и штампы, и печати, и свое доброе или недоброе — это всё равно — имя. Много часов понадобилось начальнику санчасти прииска, чтобы выклеить фальшивую историю болезни, чтобы сочинить липовый медицинский документ с подлинным артистическим вдохновением.

Диагноз туберкулеза легких являлся как бы логическим следствием хитроумных ежедневных записей. Толстая пачка температурных листов с диаграммами типичных туберкулезных кривых, заполненные бланки невозможных лабораторных анализов с угрожающими показателями. Такая работа для врача подобна письменному экзамену, где по билету требуется описать туберкулезный процесс, развившийся в организме до степени, когда срочная госпитализация больного — единственный выход.

Такую работу можно проделать и из спортивного чувства — суметь доказать центральной больнице, что и на прииске — не лыком шиты. Просто приятно вспомнить всё по порядку, что ты учил когда-то в институте. Ты, конечно, никогда не думал, что свои знания тебе придется применить столь необычайным «художественным» образом.

Самое главное: Демидова должна быть положена в больницу во что бы то ни стало. И больница не может, не вправе отказать в приеме такой больной, пусть у врачей явится хоть тысяча подозрений.

Подозрения возникли сразу же, и пока вопрос о приеме Демидовой решался в местных «высших сферах», сама она сидела одна в огромной комнате приемного покоя больницы. Впрочем, «одна» она была лишь в «честертоновском» значении этого слова. Фельдшер и санитары приемного покоя шли, очевидно, не в счет. И также не в счет шли два конвоира Демидовой, не отходившие от нее ни на шаг. Третий конвоир с бумагами скитался где-то в канцелярских дебрях больницы.

Демидова не сняла даже шапки и только расстегнула ворот овчинного полушубка. Она торопливо курила папиросу за папиросой, бросая окурки в деревянную плевательницу с опилками.

Она металась по приемному покою от венецианских зарешеченных железом окон к дверям, и, повторяя ее движения, за ней кидались ее конвоиры.

Когда вернулся дежурный врач вместе с третьим конвоиром, уже стемнело по-северному быстро и пришлось зажечь свет.

— Не кладут? — спросила Демидова конвоира.

— Нет, не кладут, — хмуро сказал тот.

— Я знала, что не положат. Это всё Крошка виновата. Запорола врачу, а мне мстят.

— Никто тебе не мстит, — сказал врач.

— Я лучше знаю.

Демидова вышла впереди конвоиров, хлопнула выходная дверь, затрещал мотор грузовика.

Сейчас же отворилась неслышно внутренняя дверь, и в приемный покой вошел начальник больницы с целой свитой из офицеров спецчасти.

— А где она? Эта Демидова?

— Уже увезли, гражданин начальник.

— Жаль, жаль, что я ее не посмотрел. А всё вы, Петр Иванович, с вашими анекдотами... — и начальник со своими спутниками вышел из приемного покоя.

Начальнику хотелось взглянуть хоть одним глазком на знаменитую воровку Демидову, история ее и в самом деле не совсем обыкновенная.

Полгода назад воровку Аглаю Демидову, осужденную за убийство «нарядчицы» на десять лет (Демидова полотенцем удушила слишком бойкую нарядчицу), везли с суда на прииск. Конвоир был один, ибо в дороге ночевок не было — всего несколько часов езды на автомашине от поселка управления, где судили Демидову, до того прииска, где она работала. Пространство и время на Крайнем Севере — величины схожие. Часто пространство меряют временем: так делают кочевые якуты, от сопки до сопки шесть переходов. Все, живущие около главной артерии — шоссейной дороги, измеряют расстояние перегонами автомашины.

Конвоир Демидовой был из сверхсрочных молодых «стариков», давно привыкший к вольностям конвойной жизни, к ее особенностям, где конвоир — полный господин арестантских судеб. Не в первый раз «сопровождал» он «бабу», всегда такая поездка сулила известные развлечения, какие не слишком часто выпадают на долю рядового «стрелка» на севере.

В дорожной столовой все трое — конвоир, шофер и Демидова — пообедали. Конвоир для храбрости выпил спирту (на севере водку пьет только очень высокое начальство) и повел Демидову в кусты. Тальник, лозняк или молодая осина были в изобилии вокруг любого таежного поселка.

В кустах конвоир положил автомат на землю и подступил к Демидовой. Демидова вырвалась, схватила

автомат и двумя перекрестными очередями всадила девять пуль в тело сластолюбивого конвоира. Забросив автомат в кусты, она вернулась к столовой и уехала на одной из проходящих мимо машин. Шофер поднял тревогу, труп конвоира и его автомат были найдены очень скоро, а сама Демидова задержана через двое суток в нескольких сотнях километров от места ее романа с конвоиром. Демидову снова судили, дали ей двадцать пять лет. Работать она не хотела и раньше, грабила своих соседей по бараку, и приисковое начальство решило любой ценой отделаться от блатарки. Была надежда, что после больницы ее не возвратят на прииск, а пошлют куда-нибудь в другое место.

Демидова была магазинной и квартирной воровкой, «городушницей» по терминологии «уркачей».

Блатной мир знает два разряда женщин: собственно воровок, чьей профессией являются кражи, как и у мужчин-блатарей, и проституток, подруг блатарей.

Первая группа значительно меньше численностью, чем вторая, и в кругу уркачей, считающих женщину существом низшего порядка, пользуется некоторым уважением — вынужденным признанием ее заслуг и деловых качеств. Обычно сожительница какого-либо вора (слово «вор», «воровка» всё время употребляется в смысле принадлежности к подземному ордену уркачей), воровка нередко участвует в разработках планов краж, в самих кражах. Но в мужских «судах чести» она участия не принимает. Такие правила продиктовала сама жизнь — в местах заключения мужчины и женщины разобщены, и это обстоятельство внесло некоторое различие в быт, привычки и правила того или другого пола. Женщины всё же мягче, их «суды» не так кровавы, не так жестоки приговоры. Убийства, совершаемые женщинами-блатарками, более редки, чем на «мужской половине» блатного дома.

Вовсе исключено, что «воровка» может «жить» с каким-либо «фраером».

Проститутки — вторая, бóльшая группа женщин, свя-

занная с блатным миром. Это известные подружки воров, добывающие для них средства к жизни. Само собой, проститутки участвуют, когда надо, и в кражах, и в «наводках», и в «стрёме», и в укрывательстве, и в сбыте краденного, но полноправными членами «преступного мира» они вовсе не являются. Они — непременные участницы кутежей, но и мечтать не могут о «правилках».

Потомственный «урка» с детских лет учится презрению к женщине. «Теоретические», «педагогические» занятия чередуются с наглядными примерами старших. Существо низшее, женщина создана лишь затем, чтобы насытить животную страсть вора, быть мишенью его грубых шуток и предметом публичных побоев, когда блатарь «гуляет». Живая вещь, которую блатарь берет во временное пользование.

Послать свою подругу-проститутку в постель начальника, если это нужно для пользы дела, — обычный, всеми одобряемый «подход». Она и сама разделяет это мнение. Разговоры на эти темы всегда крайне циничны, предельно лаконичны и выразительны. Время дорого.

Воровская этика сводит на нет и ревность, и «черемуху». По освященному стариной обычаю вору-вожаку, наиболее «авторитетному» в данной воровской компании, принадлежит выбор своей временной жены — лучшей проститутки.

И если вчера, до появления этого нового вожака, эта проститутка спала с другим воров, считаясь его собственной вещью, которую он мог одолжить товарищам, то сегодня все эти права переходят к новому хозяину. Если завтра он будет арестован, проститутка снова вернется к прежнему своему дружку. А если и тот будет арестован, ей укажут, кто будет новым ее владельцем. Владелец ее жизни и смерти, ее судьбы, ее денег, ее поступков, ее тела.

Где же тут жить такому чувству, как ревность? . . . Ему просто нет места в этике блатарей.

Вор, говорят, — человек, и ничто человеческое ему не

чуждо. Возможно, что бывает жаль уступить свою подругу, но закон есть закон, и блюстители «идейной» чистоты, блюстители чистоты блатных нравов (без всяких кавычек) укажут немедленно на ошибку возревновавшего вора. И он подчинится закону.

Бывают случаи, когда нрав и истеричность, свойственная почти всем уркачам, толкает блатаря на защиту «своей бабы». Тогда этот вопрос уже становится суждением «правил», и блатные «прокуроры» требуют наказания виновного, взывая к авторитету тысячелетних установлений.

Обычно же до ссоры дело не доходит, и проститутка покорно спит с новым ее хозяином.

Никакого дележа женщин, никакой любви «втроем» в блатном мире не существует.

В лагере мужчины и женщины разобщены. Однако в местах заключения есть больницы, пересылки, амбулатории, клубы, где мужчины и женщины всё же видят и слышат друг друга.

Изобретательности же заключенных, их энергии в достижении поставленной цели можно поражаться. Удивительно, какое колоссальное количество энергии тратится в тюрьме, чтобы добыть кусочек мятой жести и превратить ее в нож — орудие убийства или самоубийства. Внимание надзирателей всегда слабее внимания заключенного — это мы знаем от Стендаля, который в «Пармской обители» говорит: «Тюремщик меньше думает о своих ключах, чем арестант о побеге».

В лагере огромна энергия блатаря, направленная на свидание с какой-нибудь проституткой.

Важно найти место, куда эта проститутка должна прийти, а в том, что она придет, блатарь никогда не сомневается. Карающая рука настигнет виновную. И вот она переодевается в мужское платье, спит вне программы с надзирателем или нарядчиком, чтобы в назначенный час проскользнуть туда, где ее ждет вовсе ей незнакомый любовник. Любовь разыгрывается то-ропливо, как летнее цветение трав на Крайнем Севере.

Проститутка пойдет назад в женскую зону, попадет на глаза надзирателю, ее посадят в карцер, приговорят к месячному заключению в изоляторе, отправят на штрафной прииск — всё это она перенесет безропотно и даже гордо: она выполнила свой проституточный долг.

В большой северной больнице для заключенных был случай, когда к видному блатарю, больному хирургического отделения, сумели привести проститутку на целую ночь на больничную койку, и там она спала по очереди со всеми восемью ворами, находившимися в то время в палате. Дежурному санитару из заключенных пригрозили ножом, дежурному вольнонаемному фельдшеру подарили костюм, сдернутый с кого-то в лагере; хозяин его опознал, подал заявление; усилий скрыть это дело было приложено очень много.

Девушка эта была отнюдь не расстроена, не смущена, когда ее обнаружили утром в палате мужской больницы.

— Ребята просили выручить их, я и пришла, — спокойно объяснила она.

Не трудно догадаться, что блатары и их подруги почти сплошь сифилитики, а о хронической гонорее даже в наш пенициллиновый век и говорить не приходится.

Известно классическое выражение: «сифилис не позор, а несчастье». Здесь сифилис не только не позор, но считается счастьем, а не несчастьем заключенного. Это еще один пример пресловутого «смещения масштабов».

Прежде всего, принудительное лечение венериков обязательно, и это знает каждый блатарь. Он знает, что «притормозится», что в глухое место он со своим сифилисом не попадет, а будет жить и лечиться в сравнительно благоустроенных поселках — там, где есть врачи-венерологи, специалисты. Всё это настолько хорошо рассчитано и угадано, что венериками себя заявляют даже те блатары, которых Бог миловал от четырех и трех крестов реакции Вассермана. И нетвердость отрицательного лабораторного ответа в этой реакции блатарям тоже отлично известна. Поддельные язвы, лживые

жалобы — дело обычное наряду с истинными язвами и вескими жалобами.

Венерических больных, подлежащих лечению, собирают в особые зоны. Когда-то в таких зонах вовсе не работали, и это было самым подходящим «убежищем Монрепо» для блатарей. Позднее эти «зоны» устраивались на особых приисках или лесных командировках, где, кроме сальварсана и пайка питания, арестанты должны были работать по обычным нормам.

Но фактически никогда в таких зонах настоящего «спроса» работы не было, и жилось в этих зонах много легче, чем на обычном прииске.

Венерические мужские зоны были всегда местом, откуда в больницу поступали молодые «женивы» блатарей, зараженные сифилисом через задний проход. Блатари почти сплошь педерасты. В отсутствие женщины они развращали и заражали мужчин — под угрозой ножа чаще всего, реже за «тряпки» (одежду) или за хлеб.

Говоря о женщине в блатном мире, нельзя пройти мимо целой армии этих «зоек», «манек», «дашек» и прочих существ мужского пола, окрещенных женскими именами. Поразительно то, что на эти женские имена носители их откликались самым нормальным образом, не видя в этом ничего позорного или оскорбительного для себя.

Кормиться за счет проститутки не считается зазорным для вора — личное общение с воровой проституткой должна ценить очень высоко. С другой стороны, сутенерство — одна из «заманчивых» деталей профессии, весьма нравящаяся мужской воровской молодежи.

Скоро, скоро нас осудят,
На Первомайский поведут,
Девки штатные увидят,
Передачу принесут, —

поется в тюремной песне. «Штатные девки» — это и есть проститутки.

Но бывают случаи, когда чувство, заменяющее любовь, а также чувство самолюбия, чувство жалости к самой себе толкает женщину блатного мира на «незаконные» поступки.

Конечно, с воровки тут спроса больше, чем с проститутки. Воровка, живущая с надзирателем, совершает измену, по мнению блатных начетчиков. Ее могут избить, указывая на ее ошибку, а то и просто прирезать как «суку».

Проститутке такой поступок не будет вменен в грех.

В этих конфликтах женщины с законом ее мира вопрос решается не всегда одинаково и зависит от личных качеств человека.

Тамара Цулукидзе, двадцатилетняя красавица-воровка, бывшая подруга видного тбилисского уркача, сошлась в лагере с начальником культурно-воспитательной части Грачевым — бравым тридцатилетним лейтенантом, красавцем-холостяком.

У Грачева была еще одна любовница в лагере, полька Лещевская, одна из знаменитых «артисток» лагерного театра. Когда он сошелся с Тамарой, она не потребовала бросить Лещевскую. Лещевская же ничего не имела против Тамары. Бравый Грачев жил сразу с двумя «женами», склоняясь к мусульманскому обычаю. Будучи человеком опытным, он старался распределять свое внимание поровну между обеими, и это ему удавалось. Делилась не только любовь, но и ее материальные проявления: каждый съестной подарок готовился Грачевым в двух экземплярах. С помадой, лентами и духами он поступал точно таким же образом — и Лещевская, и Цулукидзе получали в один и тот же день совершенно одинаковые ленты, одинаковые склянки с духами, одинаковые платочки.

Это выглядело весьма трогательно. Притом Грачев был парень видный, чистоплотный. И Лещевская, и Цулукидзе (они жили в одном бараке) были в восторге от тактичности своего общего возлюбленного. Однако подругами они не стали, и когда внезапно Тамара была

приглашена держать ответ перед больничными ворами, Лещевская втайне злорадствовала.

Однажды Тамара заболела — лежала в больнице, в женской палате. Ночью двери палаты открылись, и на порог шагнул, гремя костылями, посол уркачей. Блатной мир протягивал к Тамаре свою длинную руку.

Посол напомнил ей законы блатной собственности на женщину и предложил ей явиться в хирургическое отделение и выполнить «волю пославшего».

Здесь были, по словам посла, люди, знавшие того тбилисского блатаря, чьей подругой считалась Тамара Цулукидзе. Сейчас его здесь заменял Сенька Гундосый. В его объятия и должна была незамедлительно проследовать Тамара.

Тамара схватила кухонный нож и бросилась на хромого блатаря. Его едва отбили санитары. Угрожая и матерно понося Тамару, посол удалился. Тамара на следующее же утро выписалась из больницы.

Попыток возвратить заблудшую дочь под блатные знамена было сделано немало и всякий раз безуспешно. Тамару ударили ножом, но рана была пустяковой. Пришел конец срока наказания, и она вышла замуж за какого-то надзирателя — за человека с револьвером, а блатному миру она так и не досталась.

Синеглазая Настя Архарова, курганская машинистка, не была ни воровкой, ни проституткой и по своей воле навеки связала свою судьбу с воровским миром.

Всю жизнь с юных лет Настю окружало подозрительное уважение, зловещее почтение таких людей, о которых Настя читала в детективных романах. Это уважение, замеченное Настей еще «на воле», существовало и в тюрьме, и в лагере — везде, где появлялись блатары.

Тут не было ничего таинственного — старший брат Насти был видным уральским «скокарем», и Настя с юных лет купалась в лучах его уголовной славы, его удачливой воровской судьбы. Незаметным образом Настя оказалась в кругу блатарей, их интересов и дел и не отказала помочь спрятать украденное. Первый трех-

месячный срок укрепил и ожесточил ее, накрепко связал ее с блатным миром. Пока она была в своем городе, вору, боясь гнева брата, не решались пользоваться Настей как блатной собственностью. По «социальному» положению своему она стояла ближе к воровкам, проституткой же вовсе не была и в качестве воровки отпавилась в обычные дальние путешествия на казенный счет. Здесь уже не было брата, и в первом же городе, куда она попала после первого освобождения, ее сделал своей женой местный вожак-блатарь, попутно заразив ее гонореей. Его вскоре арестовали, и он спел Насте на прощанье воровскую песенку: «Тобой завладеет кореш мой». С «корешом» (т. е. товарищем) Настя жила также недолго — того посадили в тюрьму, и на Настю предъявил права очередной владелец. Насте он был отвратителен физически — какой-то вечно слонявый, больной каким-то лишаем. Она пробовала защититься именем брата, ей было указано, что и брат ее не вправе нарушать великие законы блатного мира. Ей пригрозили ножом, и она прекратила сопротивление.

В больнице Настя покорно являлась на «любовные» вызовы, часто сидела в карцере и много плакала — не то слезы у нее были слишком близко, не то слишком страшила ее собственная судьба, судьба двадцатидвухлетней девушки.

Востоков, пожилой врач больницы, растроганный Настиной судьбой, похожей, впрочем, на тысячи других таких же судеб, обещал ей помочь устроиться машинисткой в контору, если она изменит свою жизнь. «Это не в моей воле, — писала красивым почерком Настя, отвечая врачу. — Меня не спасти. А если Вам хочется сделать мне что-нибудь хорошее, то купите мне чулки капроновые самого маленького размера. Готовая для вас на всё Настя Архарова».

Воровка Сима Сосновская была татуирована с ног до головы. Удивительные, переплетающиеся между собой сексуальные сцены самого мудреного содержания весьма затейливыми линиями покрывали всё ее тело. Только

лицо, шея и руки до локтя были без «наколок». Сима эта была известна в больнице своей дерзкой кражей — она сняла золотые часы с руки конвоира, который по дороге решил воспользоваться благосклонностью смазливой Симы. Характер у Симы был гораздо более мирный, чем у Аглаи Демидовой, а то лежать бы конвоиру в кустах до второго пришествия. Она смотрела на это, как на забавное приключение, и считала, что золотые часы — не слишком дорогая цена за ее любовь. Конвоир же чуть не сошел с ума и до последней минуты требовал вернуть часы и обыскивал Симу дважды без всякого успеха. Больница была недалеко, этап был многочисленный — на скандал в больнице конвоир не решался. Золотые часы остались у Симы. Вскоре часы были пропиты, и след их затерялся.

В моральном кодексе блатаря, как в Коране, декларировано презрение к женщине. Женщина — существо презренное, низшее, достойное побоев, недостойное жалости. Это относится в равной степени ко всем женщинам — любая представительница другого, не блатного мира презирается блатарем. Изнасилование «хором» — не такая уж редкая вещь на приисках Крайнего Севера. Начальники перевозят своих жен в сопровождении охраны; женщина одна не ходит и не ездит вовсе никуда. Маленькие дети охраняются подобным же образом: растление малолетних девочек — всегдашняя мечта любого блатаря. Эта мечта не всегда остается только мечтой.

В презрении к женщине блатарь воспитывается с самых юных лет. Проститутку-подругу он бьет настолько часто, что та перестает, говорят, чувствовать любовь во всей ее полноте, если почему-либо она не получит очередных побоев. Садистские наклонности воспитываются самой этикой блатного мира.

Никакого товарищеского, дружеского чувства к «бабе» блатарь не должен иметь. Не должен он иметь и жалости к предмету своих подземных увеселений. Никакой справедливости в отношении к женщине своего же

мира быть не может — женский вопрос вынесен за ворота этической «зоны» блатарей.

Но есть одно-единственное исключение из этого мрачного правила. Есть одна-единственная женщина, которая не только ограждена от покушения на ее честь, но которая поставлена высоко на пьедестал. Женщина, которая поэтизирована блатным миром, женщина, которая стала предметом лирики блатарей, героиней уголовного фольклора многих поколений.

Эта женщина — мать вора.

Воображению блатаря рисуется злой и враждебный мир, окружающий его со всех сторон. И в этом мире, населенном его врагами, есть только одна светлая фигура, достойная чистой любви, уважения и поклонения. Это — мать.

Культ матери при злобном презрении к женщине вообще — вот этическая формула уголовщины в женском вопросе, высказанная с особой тюремной сентиментальностью. О тюремной сентиментальности написано много пустого. В действительности это — сентиментальность убийцы, поливающего грядку с розами кровью своих жертв. Сентиментальность человека, перевязывающего рану какой-нибудь птичке и способного через час эту птичку живую разорвать собственными руками, ибо зрелище смерти живого существа — лучшее зрелище для блатаря.

Надо знать истинное лицо авторов культа матери, культа, овейного поэтической дымкой.

С той же самой безудержностью и театральностью, которая заставляет блатаря «расписываться» ножом на трупе убитого ренегата или насиловать женщину публично, среди бела дня на глазах у всех, или растлеть трехлетнюю девочку, или заражать сифилисом мужчину, «зойку», — с той же самой экспрессией блатарь поэтизирует образ матери, обоготворяет ее, делает ее предметом тончайшей тюремной лирики и обязывает всех выказывать ей всяческое заочное уважение.

На первый взгляд чувство вора к матери — как бы

единственное человеческое, что сохранилось в его уродливых, искаженных чувствах. Блатарь всегда якобы почтительный сын, всякие грубые разговоры о любой чужой матери пресекаются в блатном мире. Мать — некий высокий идеал и в то же время нечто совершенно реальное, что есть у каждого. Мать, которая все простит, которая всегда пожалеет.

«Чтобы жить могли, работала мамаша. А я тихонько начал воровать. Ты будешь вор, такой, как твой папаша, — твердила мне, роняя слезы, мать».

Так поется в одной из классических песен уголовщины «Судьба».

Понимая, что во всей бурной и короткой жизни вора только мать останется с ним до конца, вор щадит ее в своем цинизме.

Но и это единственное якобы светлое чувство лживо, как все движения души блатаря.

Прославление матери — камуфляж, восхваление ее — средство обмана и лишь в лучшем случае более или менее яркое выражение тюремной сентиментальности.

И в этом возвышенном, казалось бы, чувстве вор лжет с начала до конца, как в каждом своем суждении. Никто из воров никогда не послал своей матери ни копейки денег, даже по-своему не помог ей, пропивая, прогуливая украденные тысячи рублей.

В этом чувстве к матери нет ничего, кроме притворства и театральной лживости.

Культ матери — это своеобразная дымовая завеса, прикрывающая неприглядный воровской мир.

Культ матери, не перенесенный на жену и на женщину вообще, — фальшь и ложь.

Отношение к женщине — лакмусовая бумажка всякой этики.

Заметим здесь же, что именно культ матери, сосуществующий с циничным презрением к женщине, сделал Есенина еще три десятилетия назад столь популярным автором в уголовном мире. Но об этом — в своем месте.

Воровке или подруге вора, женщине, прямым или

косвенным образом вошедшей в «преступный мир», за-
прещаются какие бы то ни было «романы» с «фраера-
ми». Изменницу, впрочем, в таких случаях не убивают,
не «заделывают начисто». Нож — слишком благородное
оружие, чтобы применять его к женщине, — для нее
достаточно палки или кочерги.

Совсем другое дело, если речь идет о связи мужчины-
вора с «вольной женщиной». Это — честь и доблесть,
предмет хвастливых рассказов одного и тайной зависти
многих. Такие случаи не так уж редки. Однако вокруг
них обычно воздвигаются такие горы сказок, что уло-
вить истину очень трудно. Машинистка превращается
в прокуроршу, курьерша — в директора предприятия,
продащица — в министра. Небывальщина оттесняет
истину куда-то вглубь сцены, в темноту, и разобраться
в спектакле немислимо.

Не подлежит сомнению, что какая-то часть блатарей
имеет семьи в своих родных городах, семьи, давно уже
пскинутые блатными мужьями. Жены их с малыми
детьми сражаются с жизнью, каждая на свой лад. Бы-
вает, что мужья возвращаются из мест заключения к
своим семьям, возвращаются обычно ненадолго. «Дух
бродяжий» влечет их к новым странствиям, да и мест-
ный уголовный розыск способствует быстрейшему
отъезду блатаря. А в семьях остаются дети, для ко-
торых отцовская профессия не кажется чем-то ужас-
ным, а вызывает жалость и, более того, желание пойти
по отцовскому пути, как в песне «Судьба»:

В ком сила есть с судьбою побороться,
Веди борьбу до самого конца.
Я очень слаб, но мне еще придется
Продолжить путь умершего отца.

Потомственные воры — это и есть кадровое ядро пре-
ступного мира, его «вожди» и «идеологи».

От вопроса отцовства, воспитания детей блатарь неизменно далек — эти вопросы вовсе исключены из блатного Талмуда. Будущее дочерей (если они где-нибудь есть) представляется вору совершенно нормальным в карьере проститутки, подруги какого-либо знатного вора. Вообще никакого морального груза (даже в блатарской специфичности) на совести блатаря тут не лежит. То, что сыновья станут ворами, тоже представляется вору совершенно естественным.



ЭСПЕРАНТО

Бродячий актер, актер-арестант напомнил мне эту историю. После концерта лагерной культбригады главный актер, он же режисер и театральный плотник, назвал фамилию Скоросеева.

Мозг мой обожгло, и я вспомнил пересылку тридцать девятого года, тифозный карантин и нас пятерых, выдержавших, выстоявших все-все отправки, все этапы, все «выстойки» на морозе и все же пойманных лагерной сетью и выкинутых в безбрежность тайги.

Мы пятеро не узнали, не знали и не хотели знать друг о друге ничего, пока этап наш не дошел до того места, где нам нужно было работать и жить. Мы встретили новость этапа по-разному: один из нас сошел с ума, думая, что его ведут расстреливать, а его вели к жизни. Другой хитрил и почти перехитрил судьбу. Третий — я! — был человеком с золота, равнодушным скелетом. Четвертый — мастер на все руки, семидесяти с лишком лет. Пятый был... Скоросеев, — говорил он, привставая на цыпочки, чтобы заглянуть каждому в глаза. — Скоро сею... понимаете?

Мне было все равно, а от каламбуров я был отучен навеки. Но мастер на все руки поддержал разговор.

— Кем ты работал?

— Агрономом в Наркомземе.

Начальник угольной разведки, принимавший этап, полистал «дело» Скоросеева.

— Гражданин начальник, я еще могу...

— Сторожем поставлю...

В разведке Скоросеев работал сторожем ревностно. Не отходил ни на минуту с поста — боялся, что любой оплошностью воспользуется товарищ, — донесет, продаст, обратит внимание начальника. Лучше не рисковать.

Однажды целую ночь шла густая метель. Сменщик Скоросеева был галичанин Нарынский — русский военно-

пленный первой мировой войны, получивший срок за подготовку заговора для восстановления Австро-Венгрии и чуть-чуть гордившийся таким небывалым, редким «делом» среди туч троцкистов и вредителей. Нарынский, принимая от Скоросеева дежурство, смеясь сказал, что Скоросеев даже в снег, в метель не сдвинулся со своего поста. Преданность была замечена. Скоросеев укреплялся.

В лагере пала лошадь. Это было не очень большой потерей — на Дальнем Севере лошади работают плохо. Но мясо! Мясо! Шкуру надо было снять, труп замерз в снегу. Мастеров и желающих не нашлось. Вызвался Скоросеев. Начальник удивился и обрадовался — шкура и мясо! Шкура к отчету, мясо — в котел. О Скоросееве говорил весь барак, весь поселок. Мясо, мясо! Труп лошади затащили в баню, и Скоросеев оттаял труп, снял с него шкуру, выпотрошил. Шкура застыла на морозе и была вынесена в склад. Мяса нам есть не пришлось — в последнюю минуту начальник передумал: ведь не было ветеринара, подписи на акте не было! Труп лошади порубили на куски, составили акт и сожгли на костре в присутствии начальника и прораба.

Угля, который искала наша разведка, не находилось. Понемногу — по пять, по десять человек — стали уходить из лагеря этапы. Вверх по горе, по таежной тропе уходили эти люди из моей жизни навсегда.

Там, где мы жили, была все-таки разведка, не прииск, и каждый это понимал. Каждый стремился удержаться тут подольше. Каждый «тормозился», как мог. Один стал работать необычайно старательно. Другой — молиться дольше обычного. Тревога вошла в нашу жизнь.

Прибыл конвой. Из-за гор прибыл конвой. За людьми? Нет, конвой не увел, не увел никого!

Ночью в бараке был устроен обыск. У нас не было книг, не было ножей, не было химических карандашей, газет, бумаги — что же искать?

Отбирали вольную одежду, у многих вольная одежда

была, — ведь в этой разведке работали и вольнонаемные, и была разведка бесконвойной. Предупреждение побегов? Выполнение приказа? Перемена режима?

Всё отбиралось без всяких протоколов, без записей. Отбиралось — и всё! Возмущению не было конца. Я вспомнил, как два года тому назад в Магадане отбирали вольную одежду, сотни тысяч меховых шуб у сотенэтапов, у сотен тысяч людей, взятых на Север, на Дальний Север несчастных заключенных. Теплых пальто, свитеров, дорогих костюмов — дорогих, чтобы дать взятку когда-нибудь, спасти свою жизнь в решительный час. Но путь спасения был отрезан в магаданской бане. Горы были выше водонапорной башни, выше банной крыши. Горы теплой одежды, горы трагедий, горы человеческих судеб, которые обрывались внезапно и резко, — всех выходящих из бани обрекая на смерть. Ах, как боролись все эти люди, чтобы уберечь свое добро от блатарей, от открытого разбоя в бараках, вагонах, транзитках. Всё, что было спасено, утаено от блатарей, было отобрано государством в бане. Как просто! Это было два года назад. И вот — снова.

Вольная одежда, что просочилась на прииски, нестигалась позднее. Я вспомнил, как меня разбудили ночью, в бараке обыски шли ежедневно — ежедневно уводили людей. Я сидел на нарах и курил. Новый обыск — за вольной одеждой. У меня не было вольной одежды — все оставлено было в магаданской бане. Но у товарищей моих вольная одежда была. Это были драгоценные вещи — символ иной жизни, истлевшие, рваные, нечиненные — на починку не хватало ни времени, ни сил, — но всё же родные.

Все стояли у своих мест и ждали. Следовательно сидел около лампы и писал акт, акт обыска, изъятия, как это называется на лагерном языке.

Я сидел на нарах и курил, не волнуясь, не возмущаясь. С единственным желанием, чтобы обыск кончился и можно было спать. Но я увидел, как наш дневальный, по фамилии Прага, рубил топором свой

собственный костюм, рвал на куски простыни, кромсал ботинки.

— Только на портянки. Только портянками отдам.

— Возьмите у него топор! — закричал следователь.

Прага бросил топор на пол. Обыск остановился. Вещи, которые рвал, резал, уничтожал Прага, были его вещами, его собственными. Эти вещи не успели еще записать в акт. Прага, видя, что его не хватают за руки, превратил в тряпки всю свою вольную одежду на моих глазах. И на глазах следователя.

Это было год назад. И вот — снова.

Все были взволнованы, возбуждены, долго не засыпали.

— Никакой разницы между блатарями, которые нас грядят, и государством для нас нет, — сказал я. И все согласились со мной.

Сторож Скоросеев уходил на дежурство, на свою смену часа на два раньше нас. Строем по два, как позволяла таежная тропа, мы добрались до конторы злые, обиженные — наивное чувство справедливости живет в человеке очень глубоко и, может быть, неискоренимо. Казалось бы, что обижаться? Злиться? Возмущаться? Ведь это тысячный пример — этот проклятый обыск. На дне души что-то клокотало, сильнее воли, сильнее жизненного опыта. Лица арестантов были темными от гнева.

На крыльце конторы стоял сам начальник Виктор Николаевич Плуталов. У начальника было тоже темное от гнева лицо. Наша крошечная колонна остановилась перед конторой, и сейчас же меня вызвали в кабинет Плуталова.

— Так ты говоришь, — покусывая губы, посмотрел на меня Плуталов исподлобья, с трудом неудобно усаживаясь на табуретку за письменным столом, — что государство хуже блатарей?

Я молчал. Скоросеев! Нетерпеливый человек господин Плуталов не замаскировал своего стукача, не дождался часа два! Или тут дело в чем-то другом?

— Мне нет дела до ваших разговоров. Но если мне доносят или, как по-вашему, дуют?

— Дуют, гражданин начальник.

— А может быть, стучат?

— Стучат, гражданин начальник.

— Иди на работу. Ведь сами вы готовы съесть друг друга. Политики! Всемирный язык. Все понимают друг друга. Ведь я начальник — мне надо что-то делать, когда мне дуют...

Плуталов плюнул от ярости.

Прошла неделя, и с очередным этапом я уехал из разведки, из благословенной разведки на большую шахту, где в первый же день встал вместо лошади за египетский ворот лебедки, упираясь грудью в бревно.

Скоросеев остался в разведке.

Шел концерт лагерной самодеятельности, и бродячий актер — конференсье — объяснял номер, выбегал в артистическую — одну из больничных палат — поднимать дух неопытных концертантов. — Концерт идет хорошо! Хорошо идет концерт, — шептал он на ухо каждому участнику. — Хорошо идет концерт, — объявлял он громогласно и прохаживался по артистической, вытирал грязной какой-то тряпкой пот с горячего своего лба.

Всё было, как у больших, да и сам бродячий актер был на воле большим актером. Кто-то очень знакомым голосом читал на эстраде рассказ Зоценко «Лимонад». Конференсье склонился ко мне:

— Дай закурить.

— Закури.

— Вот не поверишь, — внезапно сказал конференсье, — если б не знал, кто читает, думал бы, что это сука Скоросеев.

— Скоросеев? — я понял, чьи интонации напомнил мне голос со сцены.

— Да. Я ведь эсперантист. Понял? Всемирный язык. Не какой-нибудь «бейсик инглиш». И срок за эсперанто. Я член московского общества эсперантистов.

— По пятьдесят восьмой, шесть? За шпионаж?

— Ясное дело.

— Десять?

— Пятнадцать.

— А Скоросеев?

— Скоросеев — заместитель председателя правления общества. Он-то всех и запродал, всем дал дела . . .

— Маленький такой?

— Ну да.

— А где он сейчас?

— Не знаю. Удавил бы его своей рукой. Я прошу тебя как друга, — мы были знакомы с актером часа два, не больше, — если увидишь, если встретишь, прямо бей по морде. По морде, и половина грехов тебе простится.

— Так-таки половина?

— Простится, простится.

Но чтец рассказа Зоценко «Лимонад» уже вылезал со сцены. Это был не Скоросеев, а тонкий, длинный, как великий князь романовского рода, барон, барон Мендель — потомок Пушкина. Я разочаровался, разглядывая потомка Пушкина, а конференсье уже выводил на сцену следующую жертву. «Над седой равниной моря ветер тучи собирает . . .»

— Слушайте, — зашептал барон, склоняясь ко мне, — разве это стихотворение? «Ветер воет, гром грохочет»? Стихи бывают не такие. Страшно подумать, что в то самое время, в тот же самый год, день и час Блок написал «Заклятие огнем и мраком», а Белый — «Золото в лазури» . . .

Я позавидовал счастью барона — отвлекся, убежать, спрятаться, скрыться в стихи. Я этого делать не умел.

Ничего не было забыто. И много лет прошло. Я приехал в Магадан после освобождения, пытаюсь по-настоящему освободиться, переплыть это страшное море, по которому двадцать лет назад привезли меня на Колыму. И хотя я знал, как трудно будет жить в бесконечных моих скитаниях, я не хотел и часу оставаться по своей воле на проклятой колымской земле.

Денег у меня было в обрез. Попутная машина — рубль за километр — привезла меня вчера в Магадан. Белая тьма окутывала город. У меня тут есть знакомые. Должны быть. Но знакомых на Колыме ищут днем, а не ночью. Ночью никто не откроет даже на знакомый голос. Нужна крыша, нары, сон.

Я стоял на автобусном вокзале и глядел на пол, сплошь покрытый телами, вещами, мешками, ящиками. В крайнем случае... Холод только тут был, как на улице, градусов пятьдесят. Железная печка не топилась, а дверь беспрестанно хлопала.

— Кажется, знакомый?

Я обрадовался даже Скоросееву в этот лютый мороз. Мы пожали друг другу руки сквозь рукавицы.

— Идем ночевать ко мне, тут у меня свой дом. Я ведь давно освободился. Выстроил в кредит. Женился даже. — Скоросеев захохотал. — Чаю попьем...

И было так холодно, что я согласился. Долго мы ползли по горам и рывтинам ночного Магадана, затянутого холодной, мутно-белой мглой.

— Да, построил дом, — говорил Скоросеев, пока я курил, отдыхая, — кредит. Государственный кредит. Решил вить гнездо. Северное гнездо.

Я напился чаю. Лег и заснул. Но спал плохо, не смотря на дальний свой путь. Чем-то плохо был прожит вчерашний день.

Когда я проснулся, умылся и закурил, я понял, почему я прожил вчерашний день плохо.

— Ну, я пойду. У меня тут знакомый живет.

— Да вы оставьте чемодан. Найдете знакомых — вернетесь.

— Нет, не стбит второй раз на гору лезть.

— Жили бы у меня. Как-никак старые друзья.

— Да, — сказал я. — Прощайте.

Я застегнул полушубок, взял чемодан и уже схватился за ручку двери. — Прощайте.

— А деньги? — сказал Скоросеев.

— Какие деньги?

— А за койку, за ночевку. Ведь это же не бесплатно.

— Простите меня, — сказал я. — Я не сообразил.

Я поставил чемодан, расстегнул полушубок, нашарил в карманах деньги, заплатил и вышел в бело-желтую дневную мглу.

—oOo—

НАЧАЛЬНИК БОЛЬНИЦЫ

— Подожди, ты еще подзайдешь, подзасекнешься, — по-блатному грозил мне начальник больницы доктор Доктор — одна из самых зловещих фигур Колымы... Встань как полагается!

Я стоял «как полагается», но был спокоен. Обученного фельдшера с дипломом не бросят на растерзание любому зверю, не выдадут доктору Доктору — шел сорок седьмой, а не тридцать седьмой, — и я, видевший кое-что такое, что доктор Доктор и придумать не может, был спокоен и ждал одного — пока начальник удалится. Я был старшим фельдшером хирургического отделения.

Травля началась недавно, после того как доктор Доктор обнаружил в моем «личном деле» судимость по литеру «КРТД», а доктор Доктор был чекистом, политотдельщиком, пославшим на смерть немало «КРТД», и вот в его руках, в его больнице, окончивший его курсы, появился фельдшер, подлежащий ликвидации.

Доктор Доктор пробовал обратиться к помощи уполномоченного НКВД. Но уполномоченный был фронтовик Бакланов, молодой, с войны. Нечистые делишки самого доктора Доктора — для него специальные рыболовы возили рыбу, охотники били дичь, самоснабжение начальства шло на полный ход, — и сочувствия у Бакланова доктор Доктор не нашел.

— Ведь с ваших же курсов, только окончил. Сами же принимали.

— Это в кадрах прохлопали. Концов не найдешь.

— Ну, — сказал уполномоченный. — Если будет нарушать — совершать, словом, мы уберем. Поможем вам.

Доктор Доктор пожаловался на плохие времена и стал терпеливо ждать. Начальники тоже могут ждать терпеливо промаха подчиненных.

Центральная лагерная больница была большою, на

тысячу коек. Врачи из заключенных были всех специальностей. Вольнонаемное начальство просило и добилось разрешения открыть при хирургическом отделении две палаты для вольных — одну мужскую, другую женскую для срочных послеоперационных. В моей палате лежала одна девушка, которую привезли с аппендицитом, а аппендицит не оперировали, а повели консервативно. Девушка была бойкая, секретарь комсомольской организации горного управления, кажется. Когда ее привезли, галантный хирург Браудэ показывал новой пациентке отделения, болтал что-то о... переломах и спондилитах, показывал все отделения подряд. На улице был шестидесятиградусный мороз, и в станции переливания крови печей не было — мороз закуржавил все окно, и за металл нельзя было хвататься голый рукой, но галантный хирург распахнул станцию переливания крови, и все отшатнулись назад, в коридор.

— Вот здесь мы обычно принимаем женщин.

— Без особенного успеха, вероятно, — сказала гостья, согревая дыханием руки.

Хирург смутился.

Вот эта-то бойкая девушка повадилась ко мне в дежурку. Там стояла мороженая брусника, миска брусники, и мы говорили допоздна. Но однажды часов в 12 двери дежурки распахнулись, и вошел доктор Доктор. Без халата, в кожаной куртке.

— В отделении все в порядке. Вижу. А вы — кто? — обратился доктор Доктор к девушке.

— Я вольная. Лежу здесь в женской палате. Пришла за градусником.

— Завтра вас здесь не будет. Я ликвидирую этот бардак.

— Бардак? Кто это такой? — сказала девушка.

— Это начальник больницы.

— Ах, вот это и есть доктор Доктор? Слышала, слышала. Тебе будет что-нибудь за меня? За бруснику?

— Ничего не будет.

— Ну, на всякий случай завтра я к нему схожу. Я ему такого начитаю, что он поймет свое место. А если тебя тронут, даю тебе честное слово...

— Ничего мне не будет.

Девушку не выписали, свидание ее с начальником больницы состоялось, и все затихло до первого общего собрания, на котором доктор Доктор выступал с докладом о падении дисциплины.

— Вот в хирургическом отделении фельдшер сидит в операционной с женщиной, — доктор Доктор спутал дежурку с операционной, — и ест бруснику.

— С кем это? — зашептали в рядах.

— С кем? — крикнул кто-то из вольнонаемных.

Но доктор Доктор не назвал фамилии.

Молния ударила, а я ничего не понял. Старший фельдшер отвечает за питание — начальник больницы решил навести самый простой удар.

Перемерили кисель, и десять граммов киселя не хватило. С великим трудом мне удалось доказать, что выдают маленьким черпачком, а вытряхивают на большую тарелку — неизбежно пропадет десять граммов из-за того, что «липнет ко дну».

Молния предупредила меня, хотя она и без грома.

На другой день гром ударил без молнии.

Один из палатных врачей попросил оставить его больному, умирающему, ложку чего-нибудь повкуснее, и я, обещав, велел раздатчику оставить полмиски, четверть миски какого-нибудь супа из диетического стола. Это не было законно, но практиковалось всегда и везде в любом отделении. В обед толпа большого начальства во главе с доктором Доктором влетела в отделение.

— А это кому? — на печке грелось полмиски диетического супа.

— Это доктор Гусегов для своего больного просил.

— У больного доктора Гусегова нет диетического питания.

— Подать сюда доктора Гусегова.

Доктор Гусегов, заключенный, да еще по 58-1-а, из-

мена родине, побелел от страха, явившись пред светлые очи начальства. Он недавно был взят в больницу после многих лет заявлений, просьб. И вот неудачное распоряжение.

— Я не давал такого указания, гражданин начальник.

— Значит вы, господин старший фельдшер, врете. Вводите нас в заблуждение, — бушевал доктор Доктор. — Подзашел, сознайся. Подзасекнулся.

Жаль мне было доктора Гусетова, но я его понимал. Я молчал. Молчали и все остальные члены комиссии — главврач, начальник лагеря. Бесновался один доктор Доктор.

— Снимай халат и в лагерь. На общие! В изоляторе сгною!

— Слушаюсь, гражданин начальник.

Я снял халат и сразу превратился в обыкновенного арестанта, которого толкали в спину, на которого кричали, — давненько я не жил в лагере... А где барак обслуги?

— Тебе не в барак обслуги, а в изолятор.

— Ордера еще нет.

— Сажай его пока без ордера.

— Нет, не приму без ордера. Начальник лагеря не велел.

— Начальник больницы небось выше, чем начальник лагеря.

— Верно, выше, но для меня только начальник лагеря начальство.

В бараке обслуги сидеть мне пришлось недолго — ордер выписали быстро, и я вошел в лагерный изолятор, в вонючий карцер, такой же вонючий, как и десятки карцеров, в которых я сидел раньше.

Я лег на нары и пролежал до завтрашнего утра. Утром пришел нарядчик. Мы знали друг друга и раньше.

— Трое суток тебе дали с выводом на общие работы. Выходя, получишь рукавицы, и — песок возить на тачке в котловане под новое здание охраны. Комедия

была. Начальник Олпа рассказывал. Доктор Доктор требует на штрафной прииск навечно... В номерной лагерь перевести.

— Если за такие проступки на штрафной или в номерной лагерь, то ведь каждого надо. А мы фельдшера обученного лишимся.

Вся комиссия знала о трусости Гусегова, знал и доктор Доктор, но — бесился еще больше.

— Ну, тогда две недели общих работ.

— И это не годится. Слишком тяжелое наказание. Неделю с выводом на работу в больницу, — предложил уполномоченный Бакланов.

— Да вы что? Если не будет общих работ, тачки, то никакого наказания не будет. Если только ходить ночевать в изолятор, то это одна проформа.

— Ну, ладно — сутки с выводом на общие работы.

— Трое суток.

— Ну, хорошо.

И вот я через много лет снова берусь за ручки тачки, за машину ОСО — две ручки, одно колесо.

Я — старый тачечник Колымы. Я обучен в тридцать восьмом году на золотом прииске всем тонкостям тачечного дела. Я знаю, как нажимать на ручки, чтоб упор был в плечо, знаю, как катить пустую тачку назад — колесом вперед, ручки держа вверх, чтобы отливала кровь. Я знаю, как перевернуть тачку одним движением, как вывернуть и поставить на трап.

Я — профессор тачечного дела. Я охотно катал тачки, показывал класс. Охотно развернул и выровнял камушком трап. Уроки тут не давались. Просто — тачка, наказание и все. Никакому учету работа эта — карцерная — не подлежала. Несколько месяцев я не выходил из трехэтажного огромного здания центральной больницы, обходился без свежего воздуха — шутил, что наглотался чистого воздуха на прииске на двадцать лет вперед и на улицу не хожу. И вот теперь дышу чистым воздухом, вспоминаю тачечное ремесло. Две ночи и три дня пробыл я на этой работе. Вечером третьего дня на-

вестил меня начальник лагеря. За всю свою лагерную практику на Колыме ему еще не приходилось встречать такой меры наказания за проступок, которую требовал доктор Доктор, и начальник лагеря пытался что-то понять.

Он остановился у трапа.

— Здравствуйте, гражданин начальник.

— Сегодня твоя каторга кончается, можешь больше в изолятор не ходить.

— Спасибо, гражданин начальник.

— Но сегодня доработай до конца.

— Слушаюсь, гражданин начальник.

Перед самым отбоем — перед ударом в рельс — явился доктор Доктор. С ним были два его адъютанта, комендант больницы Постель и Гриша Кобеко, больничный зубной протезист.

Постель, бывший работник НКВД, сифилитик, заразивший сифилисом двух или трех медсестер, которых пришлось отправить в вензону, в женскую венерическую зону на лесную командировку, где живут только сифилитики. Красавец Гриша Кобеко был больничный стукач, осведомитель и работодатель — достойная доктора Доктора компания.

Начальник больницы подошел к котловану, и трое тачечников, оставив работу, поднялись и встали по стойке смирно.

Доктор Доктор разглядывал меня с величайшим удовлетворением.

— Вот ты где... Вот это для тебя самая работа и есть. Понял. Вот это и есть самая твоя работа.

Свидетелей, что ли, привел доктор Доктор, чтобы спровоцировать что-либо, хоть маленькое нарушение. Изменилось время, изменилось. Это понимает и доктор Доктор, понимаю это и я. Начальник и фельдшер — это не то, что начальник и простой работяга. Далеко не то.

— Я, гражданин начальник, могу быть на всякой работе. Я могу быть даже начальником больницы.

Доктор Доктор выругался матом и удалился по направлению к вольному поселку. Ударили в рельс, и я пошел не в лагерь, не в зону, как два последних дня, а в больницу.

— Гришка, воды, — закричал я. И попросил чего-нибудь после ванны.

Но я плохо знал доктора Доктора. Комиссии проверки сыпались на отделение чуть не каждый день.

А в ожидании приезда высшего начальства доктор Доктор сходил с ума.

Доктор Доктор добрался бы до меня, да другие вольные начальники сгубили его карьеру, подставили ножку, выперли с хорошей должности.

Внезапно доктор Доктор был отпущен в отпуск на материк, хотя никогда в отпуск не просился. Приехал вместо него другой начальник.

Прощальный обход. Новый начальник грузен, ленив, тяжело дышит. Хирургическое отделение на втором этаже — быстро шли, запыхались. Увидев меня, доктор Доктор не мог отказать себе в развлечении.

— Вот это та самая контрреволюция, о котором я тебе внизу говорил, — показывая на меня пальцем, громко говорил доктор Доктор. — Все собирался снять, не успел. Советую тебе сделать это немедленно, сразу же. Больничный воздух будет чище.

— Постараюсь, — равнодушно сказал толстый начальник, и я понял, что он ненавидит доктора Доктора не меньше, чем я.



СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И ВОРОВСКОЙ МИР

*... Все они убийцы или воры,
Как судил им рок.
Полюбил я грустные их взоры
С впадинами щек.
Много зла от радости в убийцах,
Их сердца просты.
Но кривятся в почернелых лицах
Голубые рты.*

Сергей ЕСЕНИН

Ранней грязной уральской весной двигался пеший этап. Шел 1929 год, последний год, когда в России был всего один концентрационный лагерь, единственный СЛОН — Соловецкий Лагерь Особого Назначения. Открывалось четвертое отделение СЛОН'а на Северном Урале. Остров Соловки, Кемь, Ухта-Печора еще в прошлом году бросили туда своих «опытных» заключенных.

Еще всё было впереди — и Соловецкая расстрельная комиссия, и Соловки как символ произвола, где подвизался знаменитый «Курилка», где при отправке с участка на участок заключенные требовали, чтобы им завязывали руки за спиной и чтобы это необычайное условие перехода было записано в акте. Такова была самозащита арестантов от лаконичной формулы «убит при побеге» или «убит при попытке к бегству». Контролировали только количество выпущенных пуль: если выпущено две, значит, был предупредительный выстрел, и всё в порядке. Единственная выпущенная пуля как причина смерти считалась обвинением, достаточным для наложения мер взыскания, вплоть до... гауптвахты.

Всё было впереди — и фильм «Соловки», где на киноленту заснят председатель «разгрузочной комиссии» Иван Гаврилович Филиппов, старый путиловский то-

карь, затем начальник больших лагерей, замученный в Магаданской тюрьме в 1938 году. Как раз Филиппов был начальником того лагеря на Урале, куда шел этап. Всё было впереди. Еще вместо тысяч лагерей был только один-единственный лагерь — Соловецкий.

СЛОИОН был единственным тогдашним лагерем, но отнюдь не первым в послереволюционной России. Первый лагерь был открыт в 1924 году в Холмогорах, на родине Ломоносова. Там содержались матросы — участники Кронштадтского мятежа. Вернее, половина участников, точнее — четыре номера той страшной шеренги, в которую были построены все мятежники на Кронштадтском молу после подавления мятежа.

После расчета на первый-второй нечетные номера по команде шагнули на пять шагов вперед и были расстреляны.

Четыре номера получили по десять лет и после тюремного заключения были посланы в Холмогоры. Матросы жили там плохо, произвол был почище Соловецкого, и когда вести о нем дошли до Москвы, для ареста лагерных начальников была двинута целая воинская часть. Комендант лагеря, латыш Ойе застрелился, остатки матросов разослали по ссылкам.

В 1925 году был на месте монастыря открыт концлагерь: уголовники, белогвардейцы и сектанты — вот три группы заключенных в этих первых лагерях.

Открытие четвертого отделения СЛОИОН'а, вскоре преобразованного в самостоятельный лагерь, было началом «лагерной эпохи», существовавшей без малого тридцать лет.

«Этап», который шел на север по уральским деревням, был этапом из книжек — так всё было похоже на читанное раньше у Короленко, у Толстого, у Фигнер, у Морозова...

Пьяные конвоиры, с безумными глазами раздающие подзатыльники и оплеухи, и поминутно — щелканье затворами винтовок... Сектант-федоровец, проклинаящий «драконов»; свежая солома на земляном полу

сараев этапных изб; таинственные татуированные люди в инженерских фуражках, бесконечные проверки, переключки, счет, счет, счет . . .

Последняя ночь перед пешим этапом — ночь спасения. И, глядя на лица товарищей, те, которые знали есенинские стихи, а в 1929 году таких было немало, подивились исчерпывающе точным словам поэта:

Но кривятся в почернелых лицах
Голубые рты.

Рты у всех были именно голубыми, а лица — черными. Рты у всех кривились — от боли, от многочисленных кровоточащих трещин.

Однажды, когда идти почему-то было легче, или перегон был короче, чем другие, — настолько, что все за светло расположились на ночевку, отдохнули, — в углу, где лежали воры, послышалось негромкое пение, скорее речитатив с самодельной мелодией:

Ты меня не любишь, не жалеешь . . .

Вор допел романс, собравший много слушателей, и важно сказал:

— Запрещенное.

— Это Есенин, — сказал кто-то.

— Пусть будет Есенин, — сказал певец.

Уже в это время — всего через три с лишним года после смерти поэта — популярность его в блатных кругах была очень велика. Это был единственный поэт, «принятый» и «освященный» блатными, которые вовсе не жалуют стихов.

Позднее блатные сделали его «классиком» — отзываться о нем с уважением стало хорошим тоном среди воров.

С такими стихотворениями, как «Сыпь, гармоника», «Снова пьют здесь, дерутся и плачут», знаком каждый грамотный блатарь. «Письмо к матери» известно очень хорошо. «Персидские мотивы», поэмы, ранние стихи вовсе неизвестны.

Чем же Есенин близок душе блатаря?

Прежде всего, откровенная симпатия к блатному миру проходит через все стихи Есенина. Неоднократно высказанная прямо и ясно. Мы хорошо помним:

Всё живое особой метой
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.

Блатари эти стихи тоже хорошо помнят. Так же, как и более ранние (1915) — «В том краю, где желтая крапива . . .», и многие, многие другие стихотворения.

Но дело не только в прямых высказываниях. Дело не только в строках «Черного человека», где Есенин дает себе чисто блатарскую самооценку:

Был человек тот авантюрист,
Но самой высокой
И лучшей марки.

Настроение, отношение, тон целого ряда стихотворений Есенина близки блатному миру.

Какие же родственные нотки слышат блатари в есенинской поэзии?

Прежде всего, это нотки тоски, все, вызывающее жалость, все, что роднится с «тюремной сентиментальностью».

И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Стихи о собаке, о лисице, о коровах и лошадях понимаются блатарями, как слово человека, жестокого к человеку и нежного к животным.

Но . . . блатари могут приласкать собаку и тут же ее разорвать живую на куски — у них моральных барьеров нет, а любознательность их велика, особенно в вопросе «выживет или не выживет»? Начав еще в детстве с наблюдений над оборванными крыльями пойманной ба-

бочки и над птичкой с выколотыми глазами, блатарь, повзрослев, выкальвывает глаза человеку из того же чистого интереса, что и в детстве.

И за стихами Есенина о животных им чудится родственная им душа. Они не воспринимают этих стихов с трагической серьезностью. Им это кажется ловкой рифмованной декларацией.

Нотки вызова, протеста, обреченности — все эти элементы есенинской поэзии чутко воспринимаются блатарями. Им не нужны какие-нибудь «Кобыльи корабли» или «Пантократор». Блатари — реалисты. В стихах Есенина они многого не понимают и непонятное отвергают. Наиболее же простые стихи цикла «Москвы кабацкой» воспринимаются ими как ощущение, синхронное их душе, их подземному быту с проститутками, с мрачными подпольными кутежами.

Пьянство, кутежи, воспевание разврата — всё это находит отклик в воровской душе.

Они проходят мимо есенинской пейзажной лирики, мимо стихов о России — это ни капли не интересует блатарей.

В стихах же, которые им известны и по-своему дороги, они делают смелые купюры. Так, в стихах «Сыпь, гармоника» отрезана ими последняя строфа из-за слов:

Дорогая, я плачу,
Прости, прости . . .

Матерщина, вмонтированная Есениным в стихи, вызывает всегдашнее восхищение. Еще бы. Ведь речь любого блатаря уснащена самой сложной, самой многоэтажной, самой совершенной матерной руганью. Это — лексикон, быт.

И вот перед ними поэт, который не забывает эту «важную для них» сторону дела.

Поэтизация хулиганства тоже способствует популярности Есенина среди воров, хотя, казалось бы, с этой стороны он в воровской среде не должен был иметь сочувствия. Ведь воры стремятся в глазах «фраеров»

резко отделить себя от хулиганов, они и в самом деле — явление вовсе иное, чем хулиганы, неизмеримо более опасное. Однако в глазах «простого человека» хулиган еще страшнее вора.

Есенинское хулиганство, прославленное стихами, воспринимается ворами как происшествие их «шалмана», их подземной гулянки, бесшабашного и мрачного кутежа.

Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не уйти назад.

Каждое стихотворение «Москвы кабацкой» имеет нотки, отзывающиеся в душе блатаря; что им до глубокой человечности, до светлой лирики существа есенинских стихов.

Им нужно достать оттуда иные, созвучные им строчки. А эти строчки есть, тон этот — обиженного на мир, оскорбленного миром человека — есть у Есенина.

Есть и еще одна сторона есенинской поэзии, которая сближает его с понятиями, царящими в блатарском мире, с кодексом этого мира.

Дело идет об отношении к женщине. К женщине блатарь относится с презрением, считая ее низшим существом. Женщина не заслуживает ничего лучшего, кроме издевательств, грубых шуток, побоев.

Блатарь вовсе не думает о детях; в его морали нет таких обязательств, нет понятий, связывающих его с «потомками».

Кем будет его дочь? Проституткой? Воровкой? Кем будет его сын? Блатарю решительно всё равно. Да разве по «закону» не обязан вор уступить свою подругу более «авторитетному» товарищу?

Но я детей по свету растерял,
Свою жену
Легко отдал другому.

И здесь нравственные принципы поэта вполне соответ-

ствуют тем правилам и вкусам, которые освящены воровскими традициями, бытом.

Пей, выдра, пей!

Есенинские стихи о пьяных проститутках блатные знают наизусть и давно взяли их «на вооружение». Точно так же «Есть одна хорошая песня у соловушки...» и «Ты меня не любишь, не жалеешь...» с самодельной мелодией включены в золотой фонд уголовного «фольклора», так же, как:

Не храпи, запоздалая тройка!
Наша жизнь пронеслась без следа.
Может, завтра больничная койка
Упокоит меня навсегда.

«Больничная» койка воровскими певцами заменяется «тюремной».

Кульм матери, наряду с грубо циничным и презрительным отношением к женщине-жене, — характерная примета воровского быта.

И в этом отношении поэзия Есенина чрезвычайно тонко воспроизводит понятия блатного мира.

Мать для блатаря — предмет сентиментального умиления, его «святая святых». Это тоже входит в правила хорошего поведения вора, в его «духовные» традиции. Совмещенное с хамством к женщине вообще слащаво-сентиментальное отношение к матери выглядит фальшивым и лживым. Однако культ матери — официальная идеология блатарей.

Первое «Письмо к матери» («Ты жива еще, моя старушка? . . .») знает буквально каждый блатарь. Этот стих — блатная «Птичка Божия».

Да и все другие есенинские стихотворения о матери, хоть и не могут сравниться в популярности своей с «Письмом», всё же известны и одобрены.

Настроения поэзии Есенина в некоторой своей части с удивительно угаданной верностью совпадают с понятиями блатного мира. Именно этим и объясняется большая, особая популярность поэта среди воров.

Стремясь как-то подчеркнуть свою близость к Есенину, как-то демонстрировать всему миру свою связь со стихами поэта, блатари, со свойственной им театральностью, татуируют свои тела часто перевернутыми цитатами из Есенина. Наиболее популярные строки, встречавшиеся у весьма многих молодых блатарей посреди разных сексуальных картинок, карт и кладбищенских надгробий:

Как мало пройдено дорог,
Как много сделано ошибок.

Или:

Коль гореть — так уж гореть стораю,
Кто сторел, того не подожжешь.

Ставил я на пиковую даму,
А сыграл бубнового туза.

Думается, что ни одного поэта мира не пропагандировали еще подобным образом.

Этой своеобразной чести удостоился только Есенин, «признанный» блатным миром.

Признание — это процесс. От беглой заинтересованности при первом знакомстве до включения стихов Есенина в обязательную «библиотеку молодого блатаря» с одобрения всех главарей подземного мира прошло два-три десятка лет. Это были те самые годы, когда Есенин не издавался или издавался мало («Москва кабацкая» и до сих пор не издается). Тем больше доверия и интереса вызывал поэт у блатарей.

Блатной мир не любит стихов. Поэзии нечего делать в этом мрачном мире. Есенин — исключение. Примечательно, что его биография, его самоубийство вовсе не играли никакой роли в его успехе здесь.

Самоубийств профессиональные уголовники не знают, процент самоубийств среди них равен нулю. Трагическую смерть Есенина наиболее грамотные воры объясняли тем, что поэт все-таки не был полностью вором, был вроде «порчака», «порченого фраера», от которого, дескать, можно всего ждать.

Но, конечно, — и это скажет каждый блатарь, грамотный и неграмотный, — в Есенине была «капля жульнической крови».



ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА

От начала и конца этих событий прошло, должно быть, много времени: ведь месяцы на Крайнем Севере считаются годами — так велик опыт, человеческий опыт, приобретенный там. В этом признается и государство, увеличивая оклады, умножая льготы работникам Севера. В этой стране надежд, а стало быть, стране слухов, догадок, предположений, гипотез любое событие обрастает легендой раньше, чем доклад-рапорт местного начальника об этом событии успевает доставить на высоких скоростях фельдъегерь в какие-нибудь «высшие сферы».

Стали говорить: когда заезжий высокий начальник посетовал, что культработа в лагере хромает на обе ноги, «культорг» майор Пугачев сказал гостю:

— Не беспокойтесь, гражданин начальник, мы готовим такой концерт, что вся Колыма о нем заговорит.

Можно начать рассказ прямо с донесения врача-хирурга Браудэ, командированного из центральной больницы в район военных действий.

Можно начать также с письма Яшки Кученя, санитаря из заключенных, лежавшего в больнице. Письмо это было написано левой рукой — правое плечо Кученя было прострелено винтовочной пулей навывлет.

Или с рассказа доктора Потаниной, которая ничего не видала и ничего не слыхала и была в отъезде, когда произошли неожиданные события. Именно этот отъезд следователь определил как «ложное алиби», как преступное бездействие или как это еще называется на юридическом языке.

Аресты тридцатых годов были арестами людей случайных. Это были жертвы ложной и страшной теории о разгорающейся классовой борьбе по мере укрепления социализма. У профессоров, партработников, военных, инженеров, крестьян, рабочих, наполнивших тюрьмы

того времени до предела, не было за душой ничего положительного, кроме, может быть, личной порядочности, наивности, что ли, — словом, таких качеств, которые скорее облегчали, чем затрудняли карающую работу тогдашнего «правосудия». Отсутствие единой объединяющей идеи ослабляло моральную стойкость арестантов чрезвычайно. Они не были ни врагами власти, ни государственными преступниками, и, умирая, они так и не поняли, почему им надо было умереть. Их самолюбию, их злобе не на что было опереться. И, разобщенные, они умирали в белой колымской пустыне — от голода, холода, многочасовой работы, побоев и болезней. Они сразу выучились не заступаться друг за друга, не поддерживать друг друга. К этому и стремились начальство. Души оставшихся в живых подверглись полному растлению, а тела их не обладали нужными для физической работы качествами.

На смену им после войны пароход за пароходом шли «репатриированные» — из Италии, Франции, Германии прямой дорогой на крайний северо-восток.

Здесь было много людей с иными навыками, с привычками, приобретенными во время войны, — со смелостью, умением рисковать, веривших только в оружие. Командиры и солдаты, летчики и разведчики...

Администрация лагерная, привыкшая к ангельскому терпению и рабской покорности «троцкистов», нимало не беспокоилась и не ждала ничего нового.

Новички спрашивали у уцелевших «аборигенов»:

— Почему вы в столовой едите суп и кашу, а хлеб уносите в барак? Почему не есть суп с хлебом, как ест весь мир?

Улыбаясь трещинами голубого рта, показывая вырванные цингой зубы, местные жители отвечали наивным новичкам:

— Через две недели каждый из вас поймет и будет делать так же.

Как рассказать им, что они никогда еще в жизни не знали настоящего голода, голода многолетнего, лома-

ющего волю? И что нельзя бороться со страстным, охватывающим тебя желанием продлить возможно дольше процесс еды: в бараке с кружкой горячей безвкусной снеговой «топленой» воды доесть, дососать свою «пайку» хлеба в величайшем блаженстве.

Но не все новички презрительно качали головой и отходили в сторону.

Майор Пугачев понимал кое-что и другое. Ему было ясно, что их привезли на смерть — сменить вот этих живых мертвецов. Привезли их осенью; глядя на зиму, никуда не побежишь; но летом, если и не убежать вовсе, то умереть — свободным.

И всю зиму плелась сеть этого чуть не единственного за двадцать лет заговора.

Пугачев понял, что пережить зиму и после этого «бежать» могут только те, кто не будет работать на общих работах, в забое. После нескольких недель бригадных трудов никто не побежит никуда.

Участники заговора медленно, один за другим, продвигались в «обслужу»: Солдатов стал поваром, сам Пугачев — культоргом, был фельдшер, два бригадира, а бывший механик Иващенко чинил оружие в отряде охраны.

Но без конвоя их не выпускали никого «за проволоку».

Началась ослепительная колымская весна, без единого дождя, без ледохода, без пения птиц. Исчез помаленьку снег, сожженный солнцем. Там, куда лучи солнца не доставали, снег в ущельях, оврагах так и лежал, как слитки серебряной руды, до будущего года.

И намеченный день настал.

В дверь крошечного помещения вахты у лагерных ворот, вахты с выходом и внутрь лагеря и наружу за лагерь, где по уставу всегда дежурят два надзирателя, постучали. Дежурный зевнул и посмотрел на часы-ходики. Было пять часов утра. «Только пять», — подумал дежурный.

Дежурный откинул крючок и впустил стучавшего.

Это был лагерный повар, заключенный Горбунов, пришедший за ключами от кладовой с продуктами. Ключи хранились на вахте, и трижды в день повар Горбунов ходил за этими ключами. Потом приносил обратно.

Надо бы дежурному самому отпирать этот шкаф на кухне, но дежурный знал, что контролировать повара — безнадежное дело, что никакие замки не помогут, если повар захочет украсть, и доверял ключи повару. Тем более в пять часов утра.

Дежурный проработал на Колыме больше десятка лет, давно получал двойное жалование и тысячи раз давал в руки поварам ключи.

— Возьми, — и дежурный взял линейку и склонился графить утреннюю рапортничку.

Горбунов зашел за спину дежурного, снял с гвоздя ключ, положил его в карман и схватил дежурного сзади за горло. В ту же минуту дверь отворилась, и на вахту, в дверь со стороны лагеря вошел Иващенко, механик. Иващенко помог Горбунову задушить надзирателя и затащить его труп за шкаф. Наган надзирателя Иващенко сунул себе в карман. В то окно, что наружу, было видно, как по тропе возвращается второй дежурный. Иващенко поспешно надел шинель убитого, фуражку, застегнул ремень и сел к столу, как надзиратель. Второй дежурный открыл дверь и шагнул в темную конуру вахты. В ту же минуту он был схвачен, задушен и брошен за шкаф.

Горбунов надел его одежду. Оружие и военная форма были уже у двоих заговорщиков. Всё шло по росписи, по плану майора Пугачева. Внезапно на вахту явилась жена второго надзирателя, тоже за ключами, которые случайно унес муж.

— Бабу не будем душить, — сказал Горбунов. И ее связали, затолкали полотенце в рот и положили в угол.

Вернулась с работы одна из бригад. Такой случай был предвиден. Конвоир, вошедший на вахту, был сразу обезоружен и связан двумя «надзирателями». Винтовка

попала в руки беглецов. С этой минуты командование принял майор Пугачев.

Площадка перед воротами простреливалась с двух угловых караульных вышек, где стояли часовые. Ничего особенного часовые не увидели.

Чуть раньше времени построилась на работу бригада, но кто на севере может сказать, что рано и что поздно? Кажется, чуть раньше. А может быть, чуть позже.

Бригада — десять человек — строем по два двинулась по дороге в забой. Впереди и сзади в шести метрах от строя заключенных, как положено по уставу, шагали конвойные в шинелях, один из них с винтовкой в руках.

Часовой с караульной вышки увидел, что бригада свернула с дороги на тропу, которая проходила мимо помещения отряда охраны. Там жили бойцы конвойной службы — весь отряд в шестьдесят человек.

Спальная конвойных была в глубине, а сразу перед дверями было помещение дежурного по отряду и пирамиды с оружием. Дежурный дремал за столом и в полусне увидел, что какой-то конвоир ведет бригаду заключенных по тропе мимо окна охраны.

«Это, наверное, Черненко, — не узнавая конвоира, подумал дежурный. — Обязательно напишу на него рапорт».

Дежурный был мастером склочных дел и не упустил бы возможности сделать кому-нибудь пакость на законном основании.

Это было его последней мыслью. Дверь распахнулась, в казарму вбежали три солдата. Двое бросились к дверям спальни, а третий застрелил дежурного в упор. За солдатами вбежали арестанты, все бросились к пирамиде — винтовки и автоматы были в их руках. Майор Пугачев с силой распахнул дверь в спальню казармы. Бойцы еще в белье, босые кинулись было к двери, но две автоматных очереди в потолок остановили их.

— Ложись, — скомандовал Пугачев, и солдаты заползли под койки. Автоматчики остались караулить у порога.

«Бригада», не спеша, стала переодеваться в военную форму, складывать продукты, запасаться оружием и патронами.

Пугачев не велел брать никаких продуктов, кроме галет и шоколада. Зато оружия и патронов было взято сколько можно.

Фельдшер повесил через плечо сумку с аптечкой первой помощи.

Беглецы почувствовали себя снова солдатами.

Перед ними была тайга, но страшнее ли она болот Стохода?

Они вышли на трассу, на шоссе Пугачев поднял руку и остановил грузовик.

— Вылезай! — он открыл дверцу кабины грузовика.

— Да я...

— Вылезай, тебе говорят.

Шофер вылез. За руль сел лейтенант танковых войск Георгадзе, рядом с ним — Пугачев. Беглецы-солдаты влезли в машину, и грузовик помчался.

— Как будто здесь поворот.

— Бензин весь!..

Пугачев выругался.

Они вошли в тайгу, как ныряют в воду, — исчезли сразу в огромном молчаливом лесу. Справляясь с картой, они не теряли заветного пути к свободе, шагая напрямиком через удивительный здешний бурелом.

Деревья на севере умирали лежа, как люди. Могучие корни их были похожи на исполинские когти хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей вниз, к вечной мерзлоте отходили тысячи мелких щупальцев-отростков. Каждое лето мерзлота чуть отступала, и в каждый вершок оттаявшей земли немедленно вползал и укреплялся там коричневый корень-щупалец.

Деревья здесь достигали зрелости в триста лет, медленно поднимая свое тяжелое могучее тело на этих слабых корнях.

Поваленные бурей деревья падали навзничь головами

все в одну сторону и умирали, лежа на мягком толстом слое мха, яркого розового или зеленого цвета.

Стали устраиваться на ночь, быстро, привычно.

И только Ашот с Малининым никак не могли успокоиться.

— Что вы там? — спросил Пугачев.

— Да вот Ашот мне всё доказывает, что Адама из рая на Цейлон выслали.

— Как на Цейлон?

— Так у них, магометан, говорят, — сказал Ашот.

— А ты что — татарин, что ли?

— Я не татарин, жена — татарка.

— Никогда не слыхал, — сказал Пугачев, улыбаясь.

— Вот-вот, и я никогда не слыхал, — подхватил Малинин.

— Ну, — спать! . .

Было холодно, и майор Пугачев проснулся. Солдатов сидел, положив автомат на колени, весь — внимание. Пугачев лег на спину, отыскивал глазами Полярную звезду — любимую звезду пешеходов. Созвездия здесь располагались не так, как в Европе, в России, — карта звездного неба была чуть скошенной, и Большая Медведица отползала к линии горизонта. В тайге было молчаливо, строго; огромные узловатые лиственницы стояли далеко друг от друга. Лес был полон той тревожной тишины, которую знает каждый охотник. На этот раз Пугачев был не охотником, а зверем, которого выслеживают, — лесная тишина для него была трижды тревожна.

Это была первая его ночь на свободе, первая вольная ночь после долгих месяцев и лет страшного крестного пути майора Пугачева. Он лежал и вспоминал, как началось то, что сейчас раскручивается перед его глазами, как остросюжетный фильм. Будто киноленту всех двенадцати товарищей по побегу Пугачев собственной рукой закрутил так, что вместо медленного ежедневного вращения события замелькали со скоростью неверо-

ятной. И вот надпись «конец фильма» — они на свободе. И начало борьбы, игры, жизни . . .

Майор Пугачев вспомнил немецкий лагерь, откуда он бежал в 1944 году. Фронт приближался к городу. Он работал шофером на грузовике внутри огромного лагеря на уборке. Он вспомнил, как разогнал грузовик и повалил колючую однорядную проволоку, вырывая наспех поставленные столбы. Выстрелы часовых, крики, бешеная езда по городу, в разных направлениях, брошенная машина, дорога ночами к линии фронта и встреча-допрос в особом отделе. Обвинение в шпионаже, приговор — двадцать пять лет тюрьмы.

Майор Пугачев вспомнил приезды эмиссаров Власова с его «Манифестом», приезд к голодным, измученным, истерзанным русским солдатам.

— От вас ваша власть давно отказалась. Всякий пленный — изменник в глазах вашей власти, — говорили власовцы. И показывали московские газеты с приказами, речами. Пленные знали и раньше об этом. Недаром только русским пленным не посылали посылок. Французы, американцы, англичане — пленные всех национальностей получали посылки, письма, у них были землячества, дружба; у русских — не было ничего, кроме голода и злобы на всё на свете. Немудрено, что в «Русскую освободительную армию» вступило много заключенных из немецких лагерей военнопленных.

Майор Пугачев не верил власовским офицерам до тех пор, пока сам не добрался до красноармейских частей. Всё, что власовцы говорили, было правдой. Он был не нужен власти. Власть его боялась.

Потом были вагоны-теплушки с решетками и конвоем — многодневный путь на Дальний Восток, море, трюм парохода и золотые прииски Крайнего Севера. И голодная зима.

Пугачев приподнялся и сел. Солдатов помахал ему рукой. Именно Солдатову принадлежала честь начать это дело, хоть он и был одним из последних, вовлечен-

ных в заговор. Солдатов не струсил, не растерялся, не продал. Молодец Солдатов!

У ног его лежал летчик капитан Хрусталева, судьба которого сходна с пугачевской. Подбитый немецкий самолет, плен, голод, побег — трибунал и лагерь. Вот Хрусталева повернулся боком — одна щека краснее, чем другая — «належал» щеку. С Хрусталевым с первым несколько месяцев тому назад заговорил о побеге майор Пугачев. О том, что лучше смерть, чем арестантская жизнь, что лучше умереть с оружием в руках, чем устать от голода и работы под прикладами, под сапогами конвойных.

И Хрусталева, и майор были людьми дела, и тот ничтожный шанс, ради которого жизнь двенадцати людей сейчас была поставлена на карту, был обсужден самым подробным образом. План был в захвате аэродрома, самолета. Аэродромов было здесь несколько, и вот сейчас они идут к ближайшему аэродрому тайгой.

Хрусталева и был тот бригадир, за которым беглецы послали после нападения на отряд, — Пугачев не хотел уходить без ближайшего друга. Вот он спит, Хрусталева, спокойно и крепко.

А рядом с ним Иващенко, оружейный мастер, чинивший револьверы и винтовки охраны. Иващенко узнал всё нужное для успеха: где лежит оружие, кто и когда дежурит по отряду, где склады боепитания. Иващенко — бывший разведчик.

Крепко спят, прижавшись друг к другу, Левицкий и Игнатович — оба летчики, товарищи капитана Хрусталева.

Раскинул обе руки танкист Поляков на спины соседей — гиганта Георгадзе и лысого весельчака Ашота, фамилию которого майор сейчас вспомнить не может. Положив санитарную сумку под голову, спит Саша Малинин, лагерный — раньше военный — фельдшер, собственный фельдшер особой пугачевской группы.

Пугачев улыбнулся. Каждый, наверное, по-своему представлял себе этот побег. Но в том, что всё шло

ладно, в том, что все понимали друг друга с полуслова, Пугачев видел не только свою правоту. Каждый знал, что события развиваются так, как должно. Есть командир, есть цель. Уверенный командир и трудная цель. Есть оружие. Есть свобода. Можно спать спокойным солдатским сном даже в эту пустую бледно-сиреневую полярную ночь со странным светом, когда у деревьев нет теней.

Он обещал им свободу, они получили свободу. Он вел их на смерть — они не боялись смерти.

«И никто ведь не выдал, — думал Пугачев, — до последнего дня». О предполагавшемся побеге знали, конечно, многие в лагере. Люди подбирались несколько месяцев. Многие, с кем Пугачев говорил откровенно, отказывались, но никто не побежал на вахту с доносом. Это обстоятельство мирило Пугачева с жизнью.

— Вот молодцы, вот молодцы, — шептал он и улыбался.

Поели галет, шоколаду, молча пошли. Чуть заметная тропка вела их.

— Медвежья, — сказал Солдатов, сибирский охотник.

Пугачев с Хрусталевым поднялись на перевал, к картографической треноге, и стали смотреть в бинокль вниз на серые полосы — реку и шоссе. Река была как река, а шоссе было полно грузовиков с людьми на большом пространстве в несколько десятков километров.

— Заключенные, наверно, — предложил Хрусталев.

Пугачев взгляделся.

— Нет, это солдаты. Это за нами. Придется разделить, — сказал Пугачев. — Восемь человек пусть ночуют в стогах, а мы вчетвером пройдем по тому ущелью. К утру вернемся, если всё будет хорошо.

Они под лесок вошли в русло ручья. Пора назад.

— Смотри-ка, слишком много, давай по ручью наверх.

Тяжело дыша, они быстро поднимались по руслу ручья, и камни летели вниз прямо в ноги атакующим, шурша и грохоча.

Левицкий обернулся, выстрелил и упал. Пуля попала ему прямо в глаз.

Георгадзе остановился у большого камня, повернулся и очередью из автомата остановил поднимающихся по ущелью солдат, ненадолго — автомат его умолк, и стреляла только винтовка.

Хрусталев и майор Пугачев успели подняться много выше, на самый перевал.

— Иди один, — сказал Хрусталеву майор, — постреляю. — Он бил не спеша, каждого, кто показывался. Хрусталев вернулся, крича: «Идут!» И упал. Из-за большого камня выбегали люди.

Пугачев рванулся, выстрелил в бегущих и кинулся с перевала плоскогорья в узкое русло ручья. На лету он уцепился за ивовую ветку, удержался и отполз в сторону. Камни, задетые им при падении, грохотали, не долетев еще до низу.

Он шел тайгой, без дороги, пока не обессилел.

А над лесной поляной поднялось солнце, и тем; кто притаился в стогах, были хорошо видны фигуры людей в военной форме — со всех сторон поляны.

— Конец, что ли? — сказал Иващенко и толкнул Хачатуряна локтем.

— Зачем конец? — сказал Ашот, прицеливаясь. Щелкнул винтовочный выстрел, упал солдат на тропе.

Тотчас же со всех сторон открылась стрельба по стогам.

Солдаты по команде бросились по болоту к стогам, затрещали выстрелы, раздались стоны.

Атака была отбита. Несколько раненых лежало в болотных кочках.

— Санитар, ползи, — распорядился какой-то начальник.

Из больницы был предусмотрительно взят санитар из заключенных Яшка Кучень, житель Западной Белоруссии. Ни слова не говоря, арестант Кучень пополз к раненому, размахивая санитарной сумкой. Пуля, попавшая в плечо, остановила Кученя на полдороге.

Выскочил, не боясь, начальник отряда охраны — того самого отряда, который разоружили беглецы. Он кричал:

— Эй, Иващенко, Солдатов, Пугачев, сдавайтесь, вы окружены! Вам некуда деться!

— Иди, принимай оружие! — закричал Иващенко из стога.

И Бобылев, начальник охраны, побежал, хлюпая по болоту, к стогам.

Когда он пробежал половину тропы, щелкнул выстрел Иващенко — пуля попала Бобылеву прямо в лоб.

— Молодчик, — похвалил товарища Солдатов. — Начальник ведь оттого такой храбрый, что ему всё равно: его за наш побег или расстреляют, или срок дадут. Ну, держись!

Отовсюду стреляли. Зататакали привезенные пулеметы.

Солдатов почувствовал, как обожгло ему обе ноги, как ткнулась в его плечо голова убитого Иващенко.

Другой стог молчал. С десятков трупов лежало в болоте.

Солдатов стрелял, пока что-то не ударило его в голову, и он потерял сознание.

Николай Сергеевич Браудэ, старший хирург большой больницы, телефонным распоряжением генерал-майора Артемьева, одного из четырех колымских генералов, начальника охраны всего Колымского лагеря, был внезапно вызван в поселок Личан вместе с «двумя фельдшерами, перевязочным материалом и инструментом», — как говорилось в телефонограмме.

Браудэ, не гадая понапрасну, быстро собрался, и полуторатонный, выдавший виды больничный грузовичок двинулся в указанном направлении. На шоссе больничную машину беспрерывно обгоняли мощные студебекеры, груженные вооруженными солдатами. Надо было сделать всего сорок километров, но из-за частых остановок, из-за скопления машин где-то впереди, из-за бес-

прерывных проверок документов Браудэ добрался до цели только через три часа.

Генерал-майор Артемьев ждал хирурга в квартире местного начальника лагеря. И Браудэ, и Артемьев были старые колымчане, судьба их сводила вместе уже не в первый раз.

— Что тут, война, что ли? — спросил Браудэ у генерала, когда они поздоровались.

— Война не война, а в первом сражении двадцать восемь убитых. А раненых посмотрите сами.

И пока Браудэ умывался из рукомойника, привязанного у двери, генерал рассказал ему о побеге.

— А вы, — сказал Браудэ, закуривая, — вызвали бы самолеты, что ли? Две-три эскадрильи, и бомбили, бомбили... Или прямо атомной бомбой.

— Вам всё смешки, — сказал генерал-майор. — А я без всяких шуток жду приказа. Да еще хорошо — уволят из охраны, а то ведь с преданием суду. Всякое бывало.

Да, Браудэ знал, что всякое бывало. Несколько лет назад три тысячи человек были посланы зимой пешком в один из портов, где склады были на берегу, и были уничтожены бурей, пока этап шел. Из трех тысяч человек в живых осталось человек триста. И заместитель начальника управления, подписавший распоряжение о выходе этапа, был принесен в жертву и отдан под суд.

Браудэ с фельдшерами до вечера извлекали пули, ампутировали, перевязывали. Раненые были только солдаты охраны — ни одного беглеца среди них не было.

На другой день к вечеру привезли опять раненых. Окруженные офицерами охраны два солдата принесли носилки с первым и единственным беглецом, которого увидел Браудэ. Беглец был в военной форме и отличался от солдат только небритостью. У него были огнестрельные переломы обеих голеней, огнестрельный перелом левого плеча, рана головы с повреждением теменной кости. Беглец был без сознания.

Браудэ оказал ему первую помощь и, по приказу Артемьева, вместе с конвоирами повез раненого к себе в большую больницу, где были надлежащие условия для серьезной операции.

Всё было кончено. Невдалеке стоял военный грузовик, покрытый брезентом, — там были сложены тела убитых беглецов. И рядом — вторая машина с телами убитых солдат.

А майор Пугачев полз по краю ущелья.

Можно было распустить армию по домам после этой победы, но еще много дней грузовики с солдатами разъезжали взад и вперед по всем участкам двухтысячекилометрового шоссе.

Двенадцатого — майора Пугачева — не было.

Солдатово долго лечили и вылечили — чтобы расстрелять. Впрочем, это был единственный смертный приговор из шестидесяти — такое количество друзей и знакомых беглецов угодило «под трибунал». Начальник местного лагеря получил десять лет. Начальник санитарной части доктор Потанина по суду была оправдана, и едва закончился процесс, она переменяла место работы. Генерал-майор Артемьев как в воду глядел — он был снят с работы, уволен со службы в охране.

.

Пугачев с трудом сполз в узкую горловину пещеры — это была медвежья берлога, зимняя квартира зверя, который давно уже вышел и бродит по тайге. На стенах пещеры и на камнях ее дна попадались медвежьи волоски.

«Вот как скоро всё кончилось, — думал Пугачев. — Приведут собак и найдут. И возьмут».

И, лежа в пещере, он вспомнил свою жизнь — трудную мужскую жизнь, жизнь, которая кончается сейчас на медвежьей таежной тропе. Вспомнил людей — всех, кого он уважал и любил, начиная с собственной матери. Вспомнил школьную учительницу Марию Ивановну,

которая ходила в какой-то ватной кофте, покрытой пырыжевшим вытертым черным бархатом. И много, много людей еще, с кем сводила его судьба, припомнил он.

Но лучше всех, достойнее всех были его одиннадцать умерших товарищей. Никто из тех, других людей его жизни не перенес так много разочарований, обмана, лжи. И в этом северном аду они нашли в себе силы поверить в него, Пугачева, и протянуть руки к свободе. И в бою умереть. Да, это были лучшие люди его жизни.

Пугачев сорвал бруснику, которая кустилась на камне у самого входа в пещеру. Сизая морщинистая прошлогодняя ягода лопнула у него в пальцах, и он облизал пальцы. Перезревшая ягода была безвкусна, как снеговая вода. Ягодная кожица пристала к иссохшему языку.

Да, это были лучшие люди. И Ашота фамилию он знал теперь — Хачатурян.

Майор Пугачев припомнил их всех — одного за другим — и улыбнулся каждому. Затем вложил в рот дуло пистолета и последний раз в жизни выстрелил.



БУКИНИСТ

Из ночи я был переведен в день — явное повышение, утверждение, удача на опасном, но спасительном пути санитаря «из больных». Я не заметил, кто занял мое место, — сил для любопытства у меня не оставалось в те времена, я берёг каждое свое движение, физическое или душевное — как-никак, мне уже приходилось воскресать, и я знал, как дорого обходится ненужное любопытство.

Но краем глаза в ночном полусне я видел бледное, грязное лицо, заросшее густой рыжей щетиной, провалы глаз, глаз неизвестного цвета, скрюченные отмороженные пальцы, вцепившиеся в дужку закопченного котелка. Барачная больничная ночь была так темна и густа, что огонь бензинки, колеблемый, сотрясаемый будто бы ветром, не мог осветить коридор, потолок, стену, дверь, пол и вырывал из темноты только кусочек всей ночи: угол тумбочки и склонившееся над тумбочкой бледное лицо. Новый дежурный был одет в тот же халат, в котором дежурил я, грязный, рваный халат, расхожий халат для больных. Днем этот грязный халат висел в больничной палате, а ночью напяливался на телогрейку дежурного санитаря «из больных». Фланель была необычайно тонкой, просвечивала — и всё же не лопалась; больные боялись или не могли сделать резкое движение, чтобы халат не распался на части.

Полукруг света раскачивался, колебался, метался. Казалось, холод, а не ветер, не движение воздуха, а сам холод качает этот свет над тумбочкой дежурного санитаря. В световом пятне качалось лицо, искаженное голодом, грязные скрюченные пальцы нашаривали на дне котелка — то, чего нельзя было поймать ложкой. Пальцы, даже отмороженные, нечувствительные пальцы, были надежнее ложки — я понял суть движения, язык жеста.

Все это мне было не надо знать — я ведь был дневной санитар.

Но через несколько дней — поспешный отъезд, неожиданное ускорение судьбы внезапным решением — и кузов грузовика, сотрясающегося от каждого рывка автомашины, ползущей по вымерзшему руслу безымянной речки, по таёжному «зимнику» к Магадану, к югу. В кузове грузовика взлетают и ударяются о дно с деревянным стуком, перекатываются, как деревянные поленья, два человека. Конвоир сидит в кабине, а я не знаю — ударяет меня дерево или человек. На одной из кормежек жадное чавканье соседа показалось мне знакомым, и я узнал скрюченные пальцы, бледное грязное лицо.

Мы не говорили друг с другом -- каждый боялся спугнуть свое счастье, арестантское счастье. Машина спешила — дорога кончалась в одни сутки.

Мы оба ехали на фельдшерские курсы, по лагерному наряду. Магадан, больница, курсы — всё это было как в тумане, в белой колымской мгле. Есть ли вехи, дорожные вехи? Принимают ли пятьдесят восьмую? Только десятый пункт. А у моего соседа по кузову машины? Тоже десятый, «АСА». Литер «антисоветская агитация». Приравнивается к десятому пункту.

Экзамен по русскому языку. Диктант. Отметки выставляют в тот же день. Пятерка. Письменная работа по математике — пятерка. Устное испытание по математике — пятерка. От тонкости «Конституции СССР» будущие курсанты избавлены — это все знали заранее... Я лежал на нарах, грязный, все еще подозрительно вшивый — работа санитаром не уничтожила вшей, — а может быть, мне это только казалось: вшивость — это один из лагерных психозов. Давно уже нет вшей, а никак не заставишь себя привыкнуть не к мысли (что мысль?), к чувству, что вшей больше нет; так было в моей жизни и дважды, и трижды. А «Конституция» или «Астория» или политэкономия — все это не для нас. В Бутырской тюрьме, еще во время следствия, де-

журный корпусной кричал: «Что вы спрашиваете о Конституции? Ваша конституция — это уголовный кодекс!». И корпусной был прав. Да, уголовный кодекс был нашей конституцией. Давно это было. Тысячу лет назад. Четвертый предмет — химия. Отметка — тройка.

Ах, как рванулись заключенные курсанты к знаниям, где ставкой была жизнь. Как бывшие профессора медицинских институтов рванулись вдальбивать спасительную науку в неучей, в болванов, никогда не интересовавшихся медициной, — от кладовщика Силайкина до татарского писателя Мин-Шабая...

Хирург, кривя тонкие губы, спрашивает:

— Кто изобрел пенициллин?

— Флеминг! — это отвечаю не я, а мой сосед по районной больнице. Рыжая щетина сбрита. Нездоровая бледная пухлость щек осталась (навалился на суп — мельком соображаю я).

Я был поражен знаниями рыжего курсанта. Хирург разглядывал торжествующего «Флеминга». Кто же ты, ночной санитар? Кто? Кем же ты был на воле?

— Я капитан. Капитан инженерных войск. В начале войны был начальником укрепленного района острова Диксон. Строили мы укрепления спешно. Осенью сорок первого года, когда рассеялась утренняя мгла, мы увидели в бухте рейдер немецкий «Граф фон Шпрее». Рейдер расстрелял наши укрепления в упор. И ушел. А мне дали десять лет. «Не веришь — прими за сказку».

Все курсанты занимались ночи напролет, впитывая, вбирая знания со всей страстью приговоренных к смерти, которым вдруг дают надежду жить.

Но Флеминг, после какого-то делового свидания с начальством, повеселел, приволок на занятия в барак роман, и поедая вареную рыбу — остатки чьего-то чужого пира, — небрежно листал книгу.

Поймав мою ироническую улыбку, Флеминг сказал:

— Все равно — мы учимся уже три месяца — всех, кто удержался на курсах, всех выпустят, всем дадут дипломы. Зачем я буду сходить с ума? Согласись!

— Нет, — сказал я. — Я хочу научиться лечить людей. Научиться настоящему делу.

— Настоящее дело — жить.

В этот час выяснилось, что капитанство Флеминга — только маска, еще одна маска на этом бледном тюремном лице. Капитанство-то не было маской — маской были инженерные войска. Флеминг был следователем НКВД в капитанском чине. Сведения отцеживались, копились по капле — несколько лет. Капля — это мерило времени, подобно водяным часам. Или эта капля падала на голое темя подследственного — водяные часы застенков Ленинграда тридцатых годов. Песочные часы отмеряли время арестантских прогулок, водяные часы — время признания, время следствия. Торопливость песочных часов, мучительность водяных. Водяные часы считали не минуты, отмеряли не минуты, а человеческую душу, человеческую волю, сокрушая ее по капле, подтачивая, как скалу, — по пословице. Этот следовательский фольклор был в большом ходу в тридцатые, а то и в двадцатые годы.

По капле были собраны слова капитана Флеминга и клад оказался бесценным. Бесценным его считал и сам Флеминг — еще бы!

....

— Ты знаешь, какая самая большая тайна нашего времени?

— Какая?

— Процессы тридцатых годов. Как их готовили? Я ведь был в Ленинграде тогда. У Заковского. Подготовка процессов — это химия, медицина, фармакология. Подавление воли химическими средствами. Таких средств — сколько хочешь. И неужели ты думаешь, если средства подавления воли есть — их не будут применять? Женевская конвенция, что ли...

— Обладать химическими средствами подавления воли и не применять их на следствии, на «внутреннем фронте» — это уж чересчур человечно. Поверить в сей

гуманизм в двадцатом веке невозможно. Здесь и только здесь тайна процессов тридцатых годов, открытых процессов, открытых и иностранным корреспондентам, и любому Фейхтвангеру. На этих процессах не было никаких двойников. Тайна процессов была тайной фармакологии...

....

Я лежал на коротких неудобных нарах двухспальной системы в опустевшем курсантском бараке, простреливавшемся лучами солнца насквозь, и слушал эти признания.

....

— Опыты были и раньше — в вредительских процессах, например. Рамзинская же комедия только краем касается фармакологии.

....

Капля по капле сочился рассказ Флеминга — собственная ли его кровь капала на обнаженную мою память? Что это были за капли — крови, слёз или чернил? Не чернил и не слёз.

— Были, конечно, случаи, когда медицина бессильна. Или в приготовлении растворов неверный расчет. Или вредительство. Тогда — двойной страховкой: по правилам.

— Где же теперь эти врачи?

— Кто знает? На луне, вероятно...

....

Следственный арсенал — это последнее слово науки, последнее слово фармакологии.

....

Это был не шкаф «А» — венена, яды — и не шкаф «В» — героин, «сильно действующие». Оказывается, латинское слово герой на русский язык переводится как «сильно действующий». А где хранились медика-

менты капитана Флеминга? В шкафу «П» — в шкафу преступлений или в шкафу «Ч» — чудес.

Человек, который распоряжался шкафом «П» и шкафом «Ч», или высших достижений науки, только на фельдшерских лагерных курсах узнал, что у человека печень — одна, что печень — непарный орган. Узнал про кровообращение — через триста лет после Гарвея.

....

Тайна пряталась в лабораториях, подземных кабинетах, вонючих вивариях, где звери пахли точно так же, как арестанты грязной магаданской транзитки в тридцать восьмом году. Бутырская тюрьма по сравнению с этой транзиткой блистала чистотой хирургической, пахла операционной, а не виварием.

Все открытия науки и техники проверяются в первую очередь в их военном значении — военном даже в будущем, в возможности догадки. И только то, что отсеяно генералами, что не нужно войне, отдается на общее пользование.

Медицина, химия, фармакология давно на военном учете. В институтах мозга во всем мире всегда копился опыт эксперимента, наблюдения. Яды Борджия всегда были оружием практической политики. Двадцатый век принес необычайный расцвет фармакологических, химических средств, управляющих психикой.

Но если можно уничтожить лекарством страх, то тысячу раз возможно сделать обратное — подавить человеческую волю уколами, чистой фармакологией, химией без всякой «физики», вроде сокрушения ребер и топтания каблуками, зубодробительства и тушения папирос о тело последственного.

....

Химики и физики — так назывались эти две школы следствия. Физики — это те, что во главу угла полагали чисто физическое воздействие, видя в побоях средство обнажения нравственного начала мира. Обнажения глубины человеческой сути — и какой же подлой и нич-

точной оказывалась эта человеческая суть. Под палкой изобретатели открывали новое в науке, писали стихи, романы. Страх побоев, желудочная шкала «пайки» творили большие дела.

Битье — достаточно веское психологическое оружие, достаточно эффективное.

Много пользы давал и знаменитый повсеместный «конвейер», когда следователи менялись, а арестанту не давали спать. Семнадцать суток без сна — и человек сходит с ума, не из следственных ли кабинетов почерпнуто это научное наблюдение?!

Но и химическая школа не сдавалась.

Физика могла обеспечить материалом «особые соещения», всяческие «тройки», но для открытых процессов школа физического действия не годилась. Школа физического действия (так, кажется, у Станиславского) не смогла бы поставить открытый кровавый театральный спектакль, не могла бы подготовить «открытые процессы», которые привели в трепет все человечество. Химикам подготовка таких зрелищ была по силам.

....

Через двадцать лет после того разговора я вписываю в рассказ строки газетной статьи:

«Применяя некоторые психофармакологические агенты, можно на определенное время полностью устранить, например, чувство страха у человека. При этом, что особенно важно, нисколько не нарушается ясность его сознания».

«Затем вскрылись еще более неожиданные факты. У людей, у которых «В-фазы» сна подавлялись длительно, в данном случае на протяжении до семнадцати ночей подряд, начинали возникать различные расстройства психического состояния и поведения».

Что это? Обрывки показаний какого-нибудь бывшего начальника управления НКВД на процессе суда над судьями... Предсмертное письмо Вышинского или Рюмина? Нет, это абзацы научной статьи действитель-

ного члена Академии наук СССР. Но ведь все это — и в сто раз больше! — известно, испытано и применено в тридцатых годах при подготовке «открытых процессов».

Фармакология была не единственным оружием следственного арсенала этих лет. Флеминг назвал фамилию, которая была мне хорошо известна.

Орнальдо!

Еще бы! Орнальдо был известный гипнотизер, много выступавший в двадцатых годах в московских цирках, да и не только московских.

Массовый гипноз — специальность Орнальдо. Есть фотографии его знаменитых гастролей. Иллюстрации в книжках по гипнозу. Орнальдо — это псевдоним, конечно. Настоящее имя его Смирнов, М. А. Это — московский врач. Афиши вокруг всей вертушки — тогда афиши расклеивались на круглых тумбах. У Паоло-Свищева фотография была тогда в Столешниковом переулке. В витрине висела огромная фотография человеческих глаз и подпись: «Глаза Орнальдо». Я помню эти глаза до сих пор, помню то душевное смятение, в которое приходил я, когда слышал или видел цирковое выступление Орнальдо. Гипнотизёр выступал до конца двадцатых годов. Есть бакинские фотографии выступлений Орнальдо 1929 года. Потом он перестал выступать.

С начала тридцатых годов Орнальдо — на секретной работе в НКВД.

Холодок разгаданной тайны пробежал у меня по спине.

Часто без всякого повода Флеминг хвалил Ленинград. Верней, признал, что он — не коренной ленинградец. Действительно, Флеминг был вызван из провинции эстетам НКВД двадцатых годов, как достойная смена эстетам. Ему были привиты вкусы — шире обычного школьного образования. Не только Тургенев и Некрасов, но и Бальмонт и Сологуб, не только Пушкин, но и Гумилев.

— А вы, королевские псы, флибустьеры, хранившие золото в тёмном порту.

— Я не путаю?

— Нет, все правильно!

— Дальше не помню. Я — королевский пёс? Государственный пёс?

И улыбаясь — себе и своему прошлому — рассказал с благоговением, как рассказывает пушкинист о том, что держал в руках гусиное перо, перо, которым написана «Полтава», — он прикоснулся к папкам «дела Гумилева», назвав его заговором лицеистов. Можно было подумать, что он коснулся камня Каабы — такое блаженство, такое очищение было в каждой черте его лица, что я невольно подумал — это тоже путь приобщения к поэзии. Удивительная, редчайшая тропка постижения литературных ценностей в следственном кабинете. Нравственные ценности поэзии таким путем, конечно, не постигаются.

— В книгах прежде всего читаю примечания, комментарии. Человек примечаний, человек комментариев.

— А текст?

— Не всегда. Когда есть время.

Для Флеминга и его сослуживцев приобщение к культуре могло быть, как ни кощунственно это звучит, — только в следственной работе. Знакомство с людьми литературной и общественной жизни, искаженное и все-таки чем-то настоящее, подлинное, не скрытое тысячей масок.

Так главным осведомителем по художественной интеллигенции тех лет, постоянным, вдумчивым, квалифицированным автором всевозможных «меморандумов» и обзоров писательской жизни был — и имя это было неожиданно только на первый взгляд — генерал-майор Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. Сорок лет в советской разведке.

— Я эту книгу «Пятьдесят лет в строю» прочитал уже тогда, когда познакомился с обзорами и был представлен самому автору. Или он мне был представлен, — за-

думчиво говорил Флеминг. — Неплохая книга «Пятьдесят лет в строю».

Флеминг не очень любил газеты, газетные известия, радиопередачи. Международные события мало его занимали. Другое дело — события внутренней жизни. Главное чувство Флеминга — темная обида на мрачную силу, которая обещала гимназисту объять необъятное, вознесла высоко и вот бросила в бездну без стыда и без следа. — И никак не мог запомнить правильное окончание знаменитой песни моего детства «Шумел, горел пожар московский».

Приобщение к культуре было своеобразным. Курсы какие-то краткосрочные, экскурсии в Эрмитаж. Человек рос, и вырос следовательно-эстет, шокированный грубой силой, хлынувшей в «органы» в тридцатые годы, сметенный, уничтоженный «новой волной», исповедующей грубую физическую силу, презиращую не только психологические тонкости, но даже «конвейеры» или «выстойки». У новой волны просто терпения не хватало на какие-то научные расчеты, на высокую психологию. Результаты, оказывается, проще получить обыкновенным битьем. Медлительные эстеты сами пошли на луну. Флеминг случайно остался в живых. Новой волне было некогда ждать.

Голодный блеск затухал в глазах Флеминга, и профессиональная наблюдательность вновь подавала свой голос...

— Слышь, я смотрел на тебя во время конференции. Ты думал о своем.

— Я хочу только всё запомнить, запомнить и описать.

Какие-то картины качались в мозгу Флеминга, уже отдохнувшем, уже успокоенном.

....

В нервном отделении, где работал Флеминг, был гигант-латыш, получавший вполне официально тройной паек. Всякий раз, когда гигант принимался за еду,

Флеминг садился напротив, не умея сдерживать восхищения перед могучей жратвой.

Флеминг не расставался с котелком, тем самым котелком, с которым приехал с севера... Это — талисман. Колымский талисман.

В нервном отделении блатари поймали кошку, убили и сварили, угостив Флеминга как дежурного фельдшера, — традиционная «лапа», взятка колымская, колымский калым. Флеминг съел мясо и ничего не сказал о кошке. Это была кошка из хирургического отделения.

Курсанты боялись Флеминга. Но кого не боялись курсанты? В больнице Флеминг работал уже фельдшером, штатным лепилой. Все были к нему враждебны, опасались Флеминга, чувствуя в нем не просто работника органов, но хозяина какой-то необычайно важной, страшной тайны.

Враждебность увеличилась, тайна сгустилась после внезапной поездки Флеминга на свидание с молодой испанкой. Испанка была самая настоящая, дочь какого-то из членов правительства Испанской республики. Разведчица, запутанная в сеть провокаций, получившая срок и выброшенная на Колыму умирать. Но Флеминг, оказывается, не был забыт своими старыми и далекими друзьями, своими прежними сослуживцами. Что-то он должен был узнать от испанки, что-то подтвердить. А больная не ждет. Испанка поправилась и была этапирована на женский прииск. Флеминг внезапно, прервав работу в больнице, едет на свидание с испанкой, двое суток скитаются на автомобильной трассе тысячеверстной, по которой потоком идут машины и стоят заставы оперативников через каждый километр. Флеминг везет, он возвращается после свидания вполне благополучно. Поступок казался бы романтическим, свершенным во имя лагерной любви. Увы, Флеминг не путешествует ради любви, не совершает героических поступков ради любви. Тут действует сила гораздо бóльшая чем любовь, высшая страсть, и эта сила пронесет Флеминга невредимым через все лагерные заставы.

Много раз вспоминал Флеминг тридцатые годы — внезапный поток убийств. Смерть семьи Савинкова. Сын был расстрелян, а семья — жена, двое детей, мать жены — не захотели уехать из Ленинграда. Все покончили с собой, и память Флеминга сохранила строки из детской записки: «Бабушка, мы скоро умрем...»

....

В пятидесятом году Флеминг кончил срок по «делу НКВД», но в Ленинград не вернулся. Не получил разрешения. Жена, хранившая много лет «площадь», приехала в Магадан из Ленинграда, но не устроилась и уехала обратно. Перед двадцатым съездом Флеминг вернулся в Ленинград, в ту самую комнату, в которой жил до катастрофы...

Бешеные хлопоты. Тысяча четыреста пенсии по выслуге лет. Вернуться «по специальности» знатоку фармакологии, обогащенной ныне фельдшерским образованием, не пришлось. Оказалось, все «старые работники», все ветераны сих дел, все оставшиеся в живых эстеты уволены на пенсию. До последнего курьера.

Флеминг поступил на службу — отборщиком книг в букинистическом магазине на Литейном. Флеминг считал себя плотью от плоти русской интеллигенции, хотя и состоящей с интеллигенцией в столь своеобразном родстве и общении. Флеминг до конца не хотел отделять свою судьбу от судьбы русской интеллигенции, чувствуя, может быть, что только общение с книгой сохранит нужную квалификацию, если удастся дожить до лучших времен.

Во времена Константина Леонтьева капитан «инженерных» войск ушел бы в монастырь. Но и мир книг, опасный и возвышенный мир служения книге, окрашенный в фанатизм, как всякое книжное любительство, содержит в себе нравственный элемент очищения. Не в вахтеры же идти бывшему поклоннику Гумилева и знатоку комментариев к стихам и судьбе Гумилева.

Фельдшером — по новой специальности? Нет, лучше букинистом.

— Я хлопочу, все время хлопочу. Рому!

— Я не пью.

— Ах, как это неудачно, неудобно, что ты не пьешь. Катя, он не пьет! Понимаешь? Я хлопочу. Я еще вернусь на свою работу.

— Если ты вернешься на свою работу, — синими губами выговорила Катя, — я повешусь, утоплюсь завтра же.

— Я шучу. Я все время шучу.

— Я хлопочу. Я все время хлопочу. Подаю какие-то заявления, сутяжничаю, езжу в Москву. Ведь меня в партии восстановили. Но как?

Из-за пазухи Флеминга извлечены груды измятых листков.

— Читай. Это — свидетельство Драбкиной. Она у меня на Игарке была. — Я пробежал глазами пространное свидетельство автора «Черных сухарей».

«Будучи начальником лагпункта, относился к заключенным хорошо, за что и был вскоре арестован и осужден...»

Я перебирал грязные, липкие, многократно листанные невнимательными пальцами начальства «показания» Драбкиной...

И Флеминг, склоняясь к моему уху и дыша перегаром рома, хрипло объяснил, что он-то в лагере был «человеком» — вот даже Драбкина подтверждает.

— Тебе все это надо?

— Надо. Я этим заполняю жизнь. А, может быть, чем черт не шутит. Пьем?

— Я не пью.

— Эх. По выслуге лет. Тысячу четыреста. Но мне надо не это...

— Замолчи или я повешусь, — закричала Катя, жена.

— Она у меня сердечница, — объяснил Флеминг.

— Возьми себя в руки. Пиши. Ты владеешь слогом.

По письмам. А рассказ, роман — это ведь и есть доверительное письмо.

— Нет, я не писатель. Я хлопочу...

И, обрызгав слюной мое ухо, зашептал что-то совсем несуразное, как будто и не было никакой Колымы, а в тридцать седьмом году Флеминг сам простоял семнадцать суток на «конвейере» следствия и психика его дала заметные трещины.

— Сейчас издают много мемуаров. Воспоминаний. Например, «В мире отверженных» Якубовича. Пусть издадут.

— Ты написал воспоминания?

— Нет. Я хочу рекомендовать к изданию одну книгу — знаешь какую? Я ходил в Лениздат — говорят, не твое дело...

— Какую же книгу?

— Записки Сансона, парижского палача. Вот это был бы мемуар!

— Парижского палача?

— Да. Я помню — Сансон отрубал голову Шарлотте Кордэ и бил ее по щекам, и щеки на отрубленной голове краснели. И еще: тогда были «балы жертв». У нас бывают «балы жертв»?

— Бал жертв — это относится к термидору, а не просто к послетеррорному времени. Записки же Сансона — фальшивка.

— Так разве в этом дело — фальшивка или нет. Была такая книга? Выпьем рому. Много я перебирал напитков, и лучше всего ром. Ром. Ямайский ром.

Жена собрала обедать — горы какой-то жирной снеди, которая поглощалась почти мгновенно прожорливым Флемингом. Неукротимая жадность к еде осталась навек во Флеминге как психическая травма, осталась, как и у тысяч других бывших заключенных, — на всю жизнь.

Разговор как-то прервался, в наступающих сумерках городских услышал я рядом с собой знакомое колымское чавканье. Я подумал о силе жизни, скрытой в

здоровом желудке и кишечнике, способности поглощать — это и было на Колыме защитным рефлексом жизни у Флеминга. Неразборчивость и жадность. Неразборчивость души, приобретенная за следовательским столом, тоже была подготовкой, своеобразным амортизатором в этом колымском падении, где никакой бездны Флемингу не было открыто — все это он знал и раньше, и это дало ему спасение: ослабляло нравственные мучения — если эти мучения были! Никаких дополнительных душевных травм Флеминг не испытал — он видел худшее и равнодушно смотрел на гибель всех рядом и готов был бороться только за свою собственную жизнь. Жизнь была спасена, но на душе Флеминга остался какой-то тяжелый след, который нужно было стереть, очистить покаянием. Покаянием — обмолвкой, полупонамеком, беседой с самим собой вслух, без сожаления, без осуждения. «Мне попросту не повезло». И все же рассказ Флеминга был покаянием.

....

— Видишь книжечку...?

— Партбилет?

— Угу. Новенький. Но не просто всё было, не просто.

Полгода назад разбирал обком мою партийную реабилитацию. Сидят, читают материалы. Секретарь обкома, чуваш этот, говорит, мертво так, грубо:

— Ну, всё ясно. Пишите решение: восстановить с перерывом стажа.

Меня как обожгло: «с перерывом стажа». Я подумал — если я сейчас не заявлю о своем несогласии с решением, мне в дальнейшем всегда будут говорить — а чего же вы молчали, когда разбиралось ваше дело? Ведь вас для того и вызывают лично на разбор, чтобы вы могли вовремя заявить, сказать... Я поднимаю руку.

— Ну, что у тебя? — мертво так, грубо.

Я говорю: «Я не согласен с решением. Ведь у меня будут всюду на всякой работе требовать объяснения этого перерыва».

— Вот какой ты быстрый, — говорит первый секретарь обкома. — Это ты потому бойкий, что у тебя материальная база — сколько по выслуге лет получаешь?

Он прав, но я перебиваю секретаря и говорю: прошу полной реабилитации без перерыва стажа.

Секретарь обкома вдруг говорит:

— Что ты так жмешь? Что горячишься? Ведь у тебя руки по локоть в крови!

У меня в голове зашумело.

— А у вас, — говорю, — у вас не в крови?

Секретарь обкома говорит:

— Нас не было здесь.

— А там, говорю, — где вы были в тридцать седьмом году? Там у вас не в крови?

Первый секретарь говорит:

— Хватит болтать. Мы можем переголосовать. Иди отсюда.

Я вышел в коридор и вынесли мне решение: «В партийной реабилитации отказать».

Я в Москве хлопотал полгода. Отменили. Но приняли только эту, самую первую формулировку: «Восстановить с перерывом стажа».

Тот, который докладывал мое дело в КПК, сказал — не надо было лаяться в обкоме.

— Я всё хлопочу, сутяжничаю, езжу в Москву и добиваюсь. Пей!

— Я не пью.

— Это не ром, коньяк. Пять звездочек коньяк! Для тебя.

— Убери бутылку.

— Да и верно, убери, унесу, возьму с собой. Не обижайся.

— Не обижусь.

Прошел год, и я получил от букиниста последнее письмо: «Во время моего отъезда из Ленинграда скоро-

постыжно умерла моя жена. Я приехал через полгода, увидел могильный холм, крест и любительское фото — ее в гробу. Не осуждай меня за слабость, я здоровый человек, но не могу ничего сделать — живу как во сне, утратил интерес к жизни. Я знаю: это пройдет, но нужно время. Что видела она в жизни? Хождение по тюрьмам за справками и передачами. Общественное презрение, поездка ко мне в Магадан, жизнь в нужде, а вот сейчас — финал. Прости, потом я напишу тебе больше. Да, я здоров, но здорово ли общество, в котором я живу? Привет».



ЗА ПИСЬМОМ

Полупьяный радист распахнул мои двери.

«Тебе ксива из управления, зайди в мою хавиру», — и исчез в снегу во мгле. Я отодвинул от печки тушки зайцев, привезенных мной из поездки, — на зайцев был урожай, едва успевай ставить петли, и крыша барака была застлана наполовину тушками зайцев, замороженными тушками. Продать их было некуда, так что подарок — десять заячьих тел — не был слишком дорогим, требующим отплаты, оплаты. Но зайцев надо было сначала оттаять. Теперь мне было не до зайцев.

Ксива из управления — телеграмма, радиограмма, телефонограмма на мое имя — первая телеграмма за пятнадцать лет. Оглушительная, тревожная, как в деревне, где любая телеграмма — трагична, связана со смертью. Вызов на освобождение — нет, с освобождением не торопятся, да я и освобожден давно. Я пошел к радисту в его укрепленный замок, станцию с бойницами и тройным палисадом, с тройными калитками за щеколдами, замками, которые открыла передо мной жена радиста, и я протискивался сквозь двери, приближаясь к жилищу хозяина. Последняя дверь, и я шагнул в грохот крыльев, в вонь птичьего помета и продирался сквозь кур, хлопающих крыльями, поющих петухов; сгибаясь, оберегая лицо, я шагнул еще через один порог, но и там не было радиста. Там были только свиньи, вымытые, ухоженные три кабанчика поменьше и матка побольше. И это была последняя преграда.

Радист сидел, окруженный ящиками с огуречной рассадой, ящиками с зеленым луком. Радист впрямь собрался быть миллионером. На Колыме обогащаются и так. Длинный рубль — высокая ставка, полярный паек, начисление процентов — это один путь. Торговля махоркой и чаем — второй. Куроводство и свиноводство — третий.

Притиснутый всей своей фауной и флорой к самому краю стола радист протянул мне стопку бумажек — все были одинаковыми, — как попугай, который должен был вытянуть мое счастье.

Я порылся в телеграммах, но ничего не понял, своей не нашел, и радист снисходительно кончиками пальцев достал мою телеграмму.

«Приезжайте письмом», то есть приезжайте за письмом — почтовая связь сэкономила смысл, но адресат, конечно, понял, о чем речь.

Я пошел к начальнику района и показал телеграмму.

— Сколько километров?

— Пятьсот.

— Ну, что же...

— В пять суток обернусь.

— Добре. Да торопись. Машину ждать не надо. Завтра якуты подбросят тебя на собаках до Барагона. А там оленьи упряжки, почтовые прихватят, если не поспешишь. Главное тебе добраться до центральной трассы.

— Хорошо, спасибо.

Я вышел от начальника и понял, что я не доберусь до этой проклятой трассы, даже до Барагона не доберусь, потому что у меня нет полушубка. Я колымчанин без полушубка. Я был сам виноват. Год назад, когда я освободился из лагеря, кладовщик Сергей Иванович Коротков подарил мне почти новый белый полушубок. Подарил и большую подушку. Но, пытаясь расстаться с больницами, уехать на материк, я продал полушубок и подушку — просто, чтобы не было лишних вещей, которым конец один — их украдут или отберут блатные. Так поступил я в прошлом. Уехать мне не удалось — отдел кадров совместно с магаданским МВД не дал мне выезда, и я, когда деньги вышли, вынужден был поступить снова на службу в Дальстрой. И поступил и уехал туда, где радист и летающие куры, но полушубка не успел купить. Попросить на пять дней у кого-либо — над такой просьбой на Колыме будут смеяться. Оставалось купить полушубок в поселке.

Верно, нашелся и полушубок, и продавец. Только полушубок — черный с роскошным овчинным воротником — был более похож на телогрейку: в нем не было карманов, не было пол, только воротник, широкие рукава.

— Что ты, отрезал полы, что ли? — спросил я у продавца, у надзирателя лагерного Иванова. Иванов был холост, мрачен. Полы он отрезал на рукавицы — краги, модные, — пар пять таких краг вышло из полполушубка, и каждая пара стоила целого полушубка. То, что осталось, — не могло, конечно, называться полушубком.

— А тебе не все равно. Я продаю полушубок. За пятьсот рублей. Ты его покупаешь. Это лишний вопрос — отрезал я полы или нет.

И верно, вопрос был лишний, и я поторопился заплатить Иванову и принес домой полушубок, примерил и стал ждать ночи.

Собачья упряжка — быстрый взгляд черных глаз якута, онемевшие пальцы, которыми я вцепился в нарту, полёт, и едва поворот — речка какая-то, лёд, кусты, бьющие по лицу больно. Но у меня все завязано, все укреплено. Десять минут полета и почтовый поселок, где...

— Марья Антоновна — меня не подбросят?

— Подбросят.

Здесь еще в прошлом году, прошлым летом заблудился маленький якутский мальчик, пятилетний ребенок, и я и Марья Антоновна пытались начать розыски ребенка. Помешала мать. Она курила трубку, долго курила, потом черные свои глаза навела на нас с Марьей Антоновной.

— Не надо искать. Он придет сам. Не заблудится. Это — его земля.

А вот и олени — бубенцы, нарты, палка у каюра. Только эта палка называется хореем, а не остолом, как для собак.

Марья Антоновна, которой так скучно, что она каж-

дого проезжего провожает далеко — за околицу таежную — что называется околицей в тайге.

— Прощайте, Марья Антоновна.

Я бегу рядом с нартами, но больше сажусь, присаживаюсь, цепляюсь за нарты, падаю, снова бегу. К вечеру огни большой трассы, гул ревущих, пробегающих сквозь мглу машин.

Рассчитываюсь с якутами, подхожу к обогревалке — дорожному вокзалу. Печка там не топится — нет дров. Но все-таки — крыша и стены. Здесь уже есть очередь на машины к центру, к Магадану. Очередь не велика — один человек. Гудит машина, человек выбегает во мглу. Гудит машина. Человек уехал. Теперь мне надо выбегать на мороз.

Пятитонка дрожит, едва остановилась ради меня. Место в кабине свободно. Ехать наверху нельзя в такую даль, в такой мороз.

— Куда?

— На Левый берег.

— Не возьму. Я уголь везу в Магадан, а до Левого берега не стоит садиться.

— Я оплачу тебе до Магадана.

— Это — другое дело. Садись. Таксу знаешь?

— Да. Рубль километр.

— Деньги вперед. — Я достал деньги и заплатил.

Машина окунулась в белую мглу, сбавила ход. Нельзя дальше ехать — туман.

— Будем спать, а? На Еврашке. — Что такое еврашка? Еврашка — это суслик, Сусликовая станция. Мы свернулись в кабине при работающем моторе. Пролежали, пока рассвело и белая зимняя мгла не показалась такой страшной, как вечером.

— Теперь чифирку подварить — и едем.

Водитель вскипятил в консервной кружке пачку чая, остудил в снегу, выпил. Еще вскипятил вторачок, снова выпил и спрятал кружку.

— Едем!

— А ты откуда?

Я сказал.

— Бывал у вас. Даже работал в вашем районе шофером. В вашем лагере такой негодяй есть — Иванов, надзиратель. Тулуп у меня украл. Попросил доехать — холодно было в прошлом году — и с концами. Никаких следов. И не отдал. Я через людей передавал. Он говорит, не брал и всё. Собираюсь все сам туда, отнимать тулуп. Черный такой, богатый. Зачем ему тулуп? Разве порежет на краги — и распродаст. Самая мода сейчас. Я бы сам мог эти краги пошить — а теперь ни краг, ни тулупа, ни Иванова.

Я повернулся, смятая воротник своего полушубка.

— Вот такой черный, как у тебя. Сука. Ну, спали, надо прибавить газку.

Машина полетела гудя, ревя на поворотах — водитель был приведен в норму цифирем.

Километр за километром, мост за мостом, прииск за прииском. Уже рассвело. Машины обгоняли друг друга, встречались. Внезапно все затрещало, рухнуло, и наша машина остановилась, причаливая к обочине.

— Все — к черту!! — плясал водитель. — Уголь — к черту! Кабина — к черту! Борт — к черту! Пять тонн угля — к черту!

Сам он даже не был поцарапан, а я не сразу понял, что случилось.

Нашу машину сбила чехословацкая «Татра», встречная. На ее железном борту и царапины не осталось. Водители притормозили машину и вылезли.

— Подсчитай быстро, — кричал водитель «Татры», — что стоит твой ущерб, уголь там, новый борт. Мы заплатим. Только без акта, понял?

— Хорошо, — сказал мой водитель. — Это будет...

— Ладно.

— А я?

— Я посажу тебя на попутку какую-нибудь. Тут километров сорок, довезут. Сделай мне одолжение.

— Сорок километров — это час езды.

Я согласился, сел в кузов какой-то машины и помахал рукой приятелю надзирателя Иванова.

Я еще не успел промерзнуть, как машина начала тормозить — мост. Левый берег. Я слез.

Надо найти место ночевать. Там, где было письмо, ночевать мне было нельзя.

Я вошел в больницу, в которой я когда-то работал. И в лагерной больнице греться посторонним нельзя, и я только на минуту — постоять в тепле — зашел. Шел знакомый вольный фельдшер, и я попросил ночлега.

На следующий день я постучал в квартиру, вошел и мне подали в руки письмо, написанное почерком, мне хорошо известным, стремительным, летящим и в то же время четким, разборчивым.

Это было письмо Пастернака.



ПО ЛЕНД-ЛИЗУ

Свежие тракторные следы на болоте были следами какого-то доисторического зверя, меньше всего это была поставка по ленд-лизу американской техники.

Мы, заключенные, слышали об этих заморских дарах, внесших смятение в чувства лагерного начальства. Поношенные вязаные костюмы, подержанные пуловеры и джемперы, собранные за океаном для колымских заключенных, расхватывали чуть не в драку магаданские генеральские жены. В списках эти шерстяные сокровища обозначались словом «подержанные», что, разумеется, много выразительнее прилагательного «поношенные» или всяких и всяческих «б/у» — «бывших в употреблении», знакомых только лагерному уху. В слове «подержанные» есть какая-то таинственная неопределенность, будто подержали в руках или дома в шкафу — и вот костюм стал «подержанным», не утратив ни одного из своих многочисленных качеств, о которых и думать было нельзя, если бы в документ вводили слово «поношенный».

Колбаса по ленд-лизу была вовсе не подержанной, но мы видели эти сказочные банки только издали. Свиная тушёнка по ленд-лизу, пузатые баночки — вот это блюдо мы хорошо знали. Отсчитанная, отмеренная по очень сложной таблице замены свиная тушёнка, раскраденная жадными руками начальников и еще раз пересчитанная, еще раз отмеренная перед запуском в котел, разваренная там, превратившаяся в таинственные волосинки, пахнущие чем угодно, только не мясом, — свиная тушёнка по ленд-лизу будоражила только наше зрение, но не вкус. Свиная тушёнка по ленд-лизу, запущенная в лагерный котел, никакого вкуса не имела. Желудки лагерников предпочитали что-нибудь отечественное, вроде гнилой старой оленины, которую и в семи лагерных котлах не разварить. Оленина не исчезает, не становится эфемерной, как тушёнка.

Овсяная крупа по ленд-лизу — ее мы одобряли, ели. Всё равно больше двух столовых ложек каши на порцию не выходило.

Но и техника шла по ленд-лизу — техника, которую нельзя съесть: неудобные топорики-томагавки, удобнейшие лопаты с нерусскими, экономящими силу грузчика короткими черенками. Лопаты вмиг переделывались на длинные черенки по отечественному образцу, сама же лопата расплющивалась, чтобы захватить, подцепить побольше грунта.

Глицерин в бочках! Глицерин! Сторож в первую же ночь отчерпал котелком ведро жидкого глицерина, распродал в ту же ночь лагерникам как «американский медок» и обогатился.

А еще по ленд-лизу были огромные черные пятидесятитонные даймонды с прицепами и железными бортами; пятитонные, берущие легко любую гору студебеккеры — лучше этих машин и не было на Колыме. На этих студебеккерах и даймондах развозили по всей тысячеверстной трассе день и ночь полученную по ленд-лизу американскую пшеницу в белых красивых полотняных мешках с американским орлом. Пухлые безвкуснейшие «пайки» выпекались из этой муки. Этот хлеб по ленд-лизу обладал удивительным качеством. Все, кто ел этот хлеб по ленд-лизу, перестали ходить в уборную; раз в пять суток желудок извергал что-то, что и извержением назваться не может. Желудок и кишечник лагерника впитывали этот великолепный белый хлеб с примесью кукурузы, костяной муки и чего-то еще, кажется, простой человеческой надежды, весь без остатка, и не пришло еще время подсчитывать спасенных именно этой заморской пшеницей.

Студебеккеры и даймонды сжигали много бензина. Но и бензин шел по ленд-лизу, светлый авиационный. Отечественные машины — газики — были переоборудованы под дровяное отопление: две печки-колонки, поставленные близ мотора, топились чурками. Возникло слово «чурка» и несколько чурочных комбинатов, во

главе которых были поставлены партийцы-договорники. Техническое руководство на этих чурочных комбинатах обеспечивалось главным инженером, инженером просто, нормировщиком, плановиком, бухгалтерами. Сколько рабочих — два или три — в смену на каждом таком чурочном комбинате пилило на циркулярной пиле чурки, я не помню. Может быть, даже и три. Техника шла по ленд-лизу, и к нам пришел трактор и принес в наш язык новое слово «бульдозер».

Доисторический зверь был спущен с цепи — пущен на своих гусеничных цепях американский бульдозер со сверкающим, как зеркало, широким ножом, навесным металлическим щитом — отвалом. Зеркалом, отражающим небо, деревья и звезды, отражающим грязные арестантские лица. И даже конвойр подошел к заморскому чуду и сказал, что можно бриться перед этим железным зеркалом. Но нам бриться было не надо — такая мысль не могла прийти в наши головы.

На морозном воздухе долго были слышны вздохи, кряхтенье нового американского зверя. Бульдозер кашлял на морозе, сердился. Вот он запыхтел, заворчал и смело двинулся вперед, приминая кочки, легко перебираясь через пни, — заморская помощь.

Теперь нам не надо будет трелевать свинцовые бревна даурской лиственницы — строевой лес и дрова рассыпаны были по лесу на склоне горы. Ручная подтаска к штабелям — это и называется веселым словом «трелевка» — на Колыме непосильна, невыносима. По кочкам, по узким извилистым тропкам, на склоне горы — ручная трелевка непосильна. Посылали во время оно — до тридцать восьмого года — лошадей, но лошади переносят Север хуже людей, оказались слабее людей, умерли, не выдержав этой трелевки. Теперь на помощь нам (нам ли?) пришел отвальный нож заморского бульдозера.

Никто из нас не хотел и думать, что вместо тяжелой непосильной трелевки, которую ненавидели все, нам дадут какую-то легкую работу. Нам просто увеличат

норму на лесоповале — все равно придется делать что-то другое, столь же унижительное, столь же презренное, как всякий лагерный труд. Отмороженные пальцы наши не вылечит американский бульдозер. Но, может быть, — американский солидол! Ах, солидол, солидол. Бочка, в которой был привезен солидол, была атакована сразу же толпой доходят, дно бочки было выбито тут же камнем.

Голодные сказали, что это — сливочное масло по ленд-лизу, и осталось меньше полбочки, когда был поставлен часовой, и начальство выстрелами отогнало толпу доходят от бочки с солидолом. Счастливицы глотали это сливочное масло по ленд-лизу, не веря, что это просто солидол, — ведь целебный американский хлеб тоже был безвкусен, тоже имел этот странный железный вкус. И все, кому удалось коснуться солидола, несколько часов облизывали пальцы, глотали мельчайшие кусочки этого заморского счастья, по вкусу похожего на молодой камень. Ведь камень тоже родился не камнем, а мягким маслообразным существом. Существом, а не веществом. Веществом камень бывает в старости. Молодые жидкие туфы известковых пород в горах зачаровывали глаза беглецов и рабочих геологических разведок. Нужно было усилие воли, чтобы оторваться от этих кисельных берегов, этих молочных рек текучего молодого камня. Но там была гора, скала, распадок, а здесь — поставка по ленд-лизу, изделие человеческих рук...

С теми, кто запустил руки в бочку, не случилось ничего недоброго. Желудок и кишечник, тренированные на Колыме, справились с солидолом. А к остаткам поставили часового, ибо солидол — пища машин, существ бесконечно более важных для государства, чем люди.

И вот одно из этих существ прибыло к нам из-за океана — символ победы, дружбы и чего-то еще.

Триста человек бесконечно завидовали арестанту, сидевшему за рулем американского трактора, — Гриньке Лебеву. Среди заключенных были трактористы и

получше Лебедева, но всё это были пятьдесят восьмая, литерники, литёрки. Принька Лебедев был бытовик, отцеубийца, если поточнее. Каждому из трехсот выдано его земное счастье: стрекоча, сидя за рулем хорошо смазанного трактора, пропрохотать на лесоповал.

Лесоповал отходил всё дальше и дальше. Заготовка строевого леса на Колыме ведется в руслах ручьев, где в глубоких ущельях, вытягиваясь за солнцем, деревья в темноте, укрытые от ветра, набирают высоту. На ветру, на свету, на болотистом склоне горы стоят карлики, изломанные, исковерканные, измученные вечным кружением за солнцем, вечной борьбой за кусочек оттаявшей почвы. Деревья на склонах гор похожи не на деревья, а на уродов, достойных кунсткамеры. И только в темных ущельях по руслам горных речек деревья набирают рост и силу. Заготовка леса подобна заготовке золота и ведется на тех же самых золотых ручьях, так же стремительна, тороплива — ручей, лоток, промывочный прибор, временный барак, стремительный хищнический рывок, оставляющий речку и край без леса — на триста лет, без золота — навечно.

Где-то существует лесничество, но о каком лесоводстве при зрелости лиственницы в триста лет можно говорить на Колыме во время войны, когда в ответ на ленд-лиз делается стремительный рывок золотой лихорадки, обузданной, впрочем, караульными вышками зон?

Много строевого леса, да и заготовленных, раскряжеванных дров было брошено по лесосекам. Много утонуло в снегу «комельков», которые упали на землю, едва взгромоздясь на хрупкие острые арестантские плечи. Слабые арестантские руки, десятки рук не могут поднять на чье-то плечо (и плеча такого нет) двухметровое бревно, оттащить за несколько десятков метров по кочкам, колдобинам и ямам чутунное это бревно. Много леса было брошено из-за непосильности трелевки, и бульдозер должен был помочь нам.

Но для первого своего рейса на Колымской земле, на

русской земле, бульдозеру была дана совсем другая работа.

Мы увидели, как стрекочущий бульдозер повернул налево и стал подниматься на террасу, на уступ скалы, где была старая дорога мимо лагерного кладбища, по которой нас сотни раз гоняли на работу.

Я не задумывался, почему последние недели нас водят на работу другой дорогой, а не гонят по знакомой, выбитой каблуками сапог конвоя и резиновыми чунями заключенных тропе. Новая дорога была вдвое длиннее старой. На каждом шагу были подъемы и спуски. Мы уставали, пока добирались до места работы. Но никто не спрашивал, почему нас водят другой дорогой.

Так надо, таков приказ, и мы ползли на четвереньках, цепляясь за камни, разбивая пальцы о камень в кровь.

Только сейчас я увидел и понял, в чем дело. И поблагодарил Бога, что Он дал мне время и силу видеть всё это.

Лесоповал прошел вперед. Склон горы был оголен, снег, еще неглубокий, выдут ветром. Пеньки выдернуты до последнего — под большие подкладывался заряд аммонала, и пенек взлетал вверх. Пеньки поменьше выворачивались вагами. Еще поменьше — просто руками, как стланиковые кусты...

Гора оголена и превращена в гигантскую сцену спектакля, лагерной мистерии.

Могила, арестантская общая могила, каменная яма, доверху набитая нетленными мертвецами, еще в тридцать восьмом году осыпалась. Мертвецы ползли по склону горы, открывая колымскую тайну.

На Колыме тела предают не земле, а камню. Камень хранит и открывает тайны. Камень надежней земли. Вечная мерзлота хранит и открывает тайны. Каждый из наших близких, погибших на Колыме, каждый из расстрелянных, забитых, обескровленных голодом может быть еще опознан, хоть через десятки лет. На Колыме не было газовых печей. Трупы ждут в камне, в вечной мерзлоте.

В тридцать восьмом году на золотых приисках на рытье таких могил стояли целые бригады, непрерывно буря, взрываая, углубляя огромные серые жесткие холодные каменные ямы. Копать могилы в тридцать восьмом году было легкой работой — там не было «урока», «нормы», рассчитанной на смерть человека, рассчитанной на четырнадцатичасовой рабочий день. Копать могилы было легче, чем стоять в резиновых чунях на босу ногу в ледяной воде золотого забоя — «основного производства», «первого металла».

Эти могилы, огромные каменные ямы, доверху были заполнены мертвецами. Нетленные мертвецы, голые скелеты, обтянутые кожей, грязной, расчесанной, искусанной вшами кожей.

Камень, Север сопротивлялись всеми силами этой работе человека, не пуская мертвецов в свои недра. Камень, уступавший, побежденный, униженный, обещался ничего не забывать, обещался ждать и беречь тайну. Суровые зимы, горячие лета, ветры, дожди за шесть лет отняли мертвецов у камня. Раскрылась земля, показывая свои подземные кладовые, ибо в подземных кладовых Колымы — не только золото, не только олово, не только вольфрам, не только уран, но и нетленные человеческие тела.

Эти человеческие тела ползли по склону, может быть, собираясь воскреснуть. Я и раньше видел издали — с другой стороны ручья — эти движущиеся, зацепившиеся за сучья, за камни предметы, видел сквозь редкий вырубленный лес и думал, что это бревна, не трелеванные еще бревна.

Сейчас гора была оголена, и тайна горы открыта. Могила «разверзлась», и мертвецы ползли по каменному склону. Около тракторной дороги была выбита, вырублена — кем? из барака на эту работу не брали — огромная новая братская могила. Очень большая. И я, и мои товарищи, если замерзнем, умрем, — для нас найдется место в этой новой могиле, новоселье для мертвецов.

Бульдозер сгребал эти окоченевшие трупы, тысячи трупов, тысячи скелетоподобных метвецов. Всё было нетленно: скрюченные пальцы рук, гноящиеся пальцы ног — культы после обморожений, расчесанная в кровь сухая кожа и горящие голодным блеском глаза.

Уставшим, измученным своим мозгом я пытался понять: откуда в этих краях такая огромная могила? Ведь здесь не было, кажется, золотого прииска, я — старый колымчанин. Но потом я подумал, что знаю только кусочек этого мира, огороженный проволочной зоной с караульными вышками, напоминающими шатровые страницы градостроительства Москвы. Высотные здания Москвы — это караульные вышки, охраняющие московских арестантов, вот как выглядят эти здания. И у кого был приоритет: у Кремлевских ли башен-караулок или у лагерных вышек, послуживших образцом для Московской архитектуры? Вышка лагерной зоны — вот была главная идея времени, блестяще выраженная архитектурной символикой.

Я подумал, что знаю только кусочек этого мира, ничтожную маленькую часть, что в двадцати километрах может стоять избушка геологоразведчиков, следящих уран или золотой прииск на тридцать тысяч заключенных. В складках гор можно спрятать очень много.

А потом я вспомнил жадный огонь кипрея, яростное цветение летней тайги, пытающейся скрыть в траве, в листве любое человеческое дело — хорошее и дурное. Что трава еще более забывчива, чем человек. И если забуду я, трава забудет. Но камень и вечная мерзлота не забудут.

Гриня Лебедев, отцебийца, был хорошим трактористом и уверенно управлял хорошо смазанным заморским трактором. Гриня Лебедев тщательно делал свое дело: блестя бульдозерным ножом-щитом, подгребая трупы к могиле, сталкивал в яму, снова возвращался трелевать.

Начальство решило, что первым рейсом, первой ра-

ботой бульдозера, полученного по ленд-лизу, будет не работа в лесу, а гораздо более важное дело.

Работа была кончена. Бульдозер нагреб на новую могилу кучу камней, щебня, и мертвецы скрылись под камнем. Но не исчезли.

Бульдозер приближался к нам. Гриня Лебедев, бытовик, отцеубийца, не смотрел на нас — литерников, пятьдесят восьмую. Грине Лебедеву было поручено государственное задание, и он это задание выполнил. На каменном лице Грини Лебедева была высечена гордость, сознание исполненного долга.

Бульдозер прогрохотал мимо нас — на зеркале-ноже не было ни одной царапины, ни одного пятна.



ГРАФИТ

Чем подписывают смертные приговоры: химическими чернилами, паспортной тушью, чернилами шариковых ручек, ализарином? Можно ручаться, что ни один смертный приговор не подписан простым карандашом.

В тайге нам не нужны чернила. Дождь, слезы, кровь растворят любые чернила, любой химический карандаш. Химические карандаши нельзя посылать в посылках, их отбирают при обысках. Этому две причины. Заключение может подделать документ. Такой карандаш — типографская краска для изготовления воровских карт, «стирок», а стало быть... Допущен только черный карандаш, простой графит. Ответственность графита на Колыме необычайна.

Поговорили с небом картографы, взглядываясь в звездное небо, в солнце, укрепили точку опоры на нашей земле. Над этой точкой опоры, врезанной в камень мраморной доской, на вершине горы, на вершине скалы — укрепили треногу, бревенчатый сигнал. Эта тренога указывает точно место на карте и от нее, от горы, от треноги по распадкам и падям сквозь прогалины, пустыри и редины болот тянется невидимая нить, незримая сеть меридианов и параллелей. В густой тайге прорубают просеки — каждый затес, каждая метка поймана в крест нитей нивелира, теодолита. Земля измерена, тайга измерена и мы ходим, встречая на свежих затесах след картографа, топографа, измерителя земли — черный простой графит.

Колымская тайга исчерчена просеками топографов. И все же просеки есть не везде, а только в лесах, окружающих поселки, «производство». Пустыри, прогалины, редины лесотундры и голые сопки исчерчены только воздушными, воображаемыми линиями. В них нет ни одного дерева, чтобы обозначить привязку, нет надеж-

ных реперов. Реперы ставятся на скалах, по руслам рек, на вершинах гор-гольцов. И от этих надежных, библейских опор тянется измерение тайги, измерение Колымы, измерение тюрьмы. Затесы на деревьях — сетка просек, из которых в трубу теодолита в «крест нитей» увидена и сосчитана тайга.

Да, для затесов годится только черный простой карандаш. Не химический. Химический карандаш расплывется, растворится соком дерева, смоется дождем, росой, туманом, снегом. Искусственный карандаш, химический, не годится для записей о вечности, о бессмертии. Но графит, углерод, сжатый под высочайшим давлением в течение миллионов лет и превращенный если не в каменный уголь, то в бриллиант, или в то, что дороже бриллианта, — в карандаш, в графит, который может записать все, что знал и видел... Бóльшее чудо, чем алмаз, хотя химическая природа и графита, и алмаза — одна.

Инструкция топографам запрещает пользоваться химическим карандашом не только при метках на затесах. Любая легенда или черновик к легенде при глазомерной съемке требует графита для бессмертия. Графит — это природа, графит участвует в круговороте земном, подчас сопротивляясь времени лучше, чем камень. Разрушаются известняковые горы под дождями, ударами ветра, речных волн, а молодая лиственница — ей всего двести лет, ей еще надо жить — хранит на своем затесе цифру-метку о связи библейской тайны с современностью.

Цифра, условная метка выводится на свежем затесе, на источающей сок свежей ране дерева, дерева, источающего смолу, как слезы.

Только графитом можно писать в тайге. У топографов в карманах телогреек, душегреек, гимнастерок, брюк, полушубков всегда огрызки, обломки графитных карандашей.

Бумага, записная книжка, планшет, тетрадка — и дерево с затесом.

Бумага — одна из личин, одно из превращений дерева

в алмаз и графит. Графит — это вечность. Высшая твердость, перешедшая в высшую мягкость. Вечен след, оставленный в тайге графитным карандашом.

Затёс вырубается осторожно. В стволе лиственницы, на уровне пояса делаются два пропила и углом топора отламывается еще живое дерево, чтоб оставить для записи. Образуется крыша, домик, чистая доска с навесом от дождя, готовая хранить запись вечно, — практически вечно до конца шестисотлетней жизни лиственницы.

Раненое тело лиственницы подобно явленной иконе — Богородицы Чукотской, Девы Марии Колымской, ожидающей чуда, являющей чудо.

И легкий, тончайший запах смолы, запах лиственного сока, запах крови, развороченной человеческим топором, вдыхается, как дальний запах детства, запах росного ладана.

Цифра поставлена, и раненая лиственница, обжигаемая ветром и солнцем, хранит эту «привязку», ведущую в большой мир из таежной глуши, — через просеку к ближайшей треноге, к картографической треноге на вершине горы, где под треногой камнями завалена яма, скрывающая мраморную доску, на которой выцарапана истинная долгота и широта. Эта запись сделана вовсе не графитным карандашом. И по тысяче нитей, которые тянутся от этой треноги, по тысячам линий от затеса до затеса мы возвращаемся в наш мир, чтобы вечно помнить о жизни. Топографическая служба — это служба жизни.

Но на Колыме не только топограф обязан пользоваться графитным карандашом. Кроме службы жизни, тут есть еще служба смерти, где тоже запрещен химический карандаш. Инструкция «архива № 3» — так называется отдел учета смертей заключенных в лагере — сказала: на левую голень мертвеца должна быть привязана бирка, фанерная бирка с номером «личного дела». Номер «личного дела» должен быть написан

простым графитным карандашом — не химическим. Искусственный карандаш и тут мешает бессмертию.

Казалось, к чему этот расчет на эксгумацию? На бессмертие? На воскресение? На перенесение праха? Мало ли безымянных братских могил на Колыме — куда валили вовсе без бирок. Но инструкция есть инструкция. Теоретически говоря — все гости вечной мерзлоты бессмертны и готовы вернуться к нам, чтобы мы сняли бирки с их левых голеней, разобрались в знакомстве и родстве.

Лишь бы на бирке поставили номер простым черным карандашом. Номер «личного дела» не смоют ни дожди, ни подземные ключи, ни вешние воды не трогают лед вечной мерзлоты, иногда уступающий летнему теплу и выдающий свои подземные тайны, — только часть, только часть этих тайн.

«Личное дело», формуляр — это паспорт заключенного, снабженный фотокарточками в фас и профиль, отпечатками десяти пальцев обеих рук, описанием особых примет. Работник учета, сотрудник «архива № 3» должен составить акт о смерти заключенного в пяти экземплярах с оттиском всех пальцев и с указанием, выломаны ли золотые зубы. На золотые зубы составляется особый акт. Так было всегда в лагерях испокон века, и сообщения по поводу выломанных зубов в Германии никого на Колыме не удивляли.

Некоторые государства не хотят терять золото мертвецов. Акты о выбитых золотых зубах составлялись испокон века в учреждениях тюремных и лагерных. Тридцать седьмой год принес следствию и лагерям много людей с золотыми зубами. У тех, что умерли в забоях Колымы, — недолго они там прожили — их золотые зубы, выломанные после смерти, были единственным золотом, которое они дали государству в золотых забоях Колымы. По весу в протезах золота было больше, чем эти люди нарыли, нагребли, накайлили в забоях колымских за недолгую свою жизнь.

Пальцы мертвеца должны быть окрашены типограф-

ской краской, и запас этой краски, расход ее очень велик, хранится у каждого работника учета. Потому отрубают руки у убитых беглецов, чтобы для опознания не возить тела, — две человеческие ладони в военной сумке гораздо удобней возить, чем тела, трупы.

Бирка на ноге — это признак культуры. У Андрея Боголюбского не было такой бирки — пришлось узнавать по костям, вспоминать расчеты Бертильона.

Мы верим в дактилоскопию — эта штука нас никогда не подводила, как ни уродовали уголовники кончики своих пальцев, обжигая огнем, кислотой, нанося раны ножом. Дактилоскопия не подводила — пальцев-то десять — отжечь все десять не решался никто из блатарей.

Мы не верим Бертильону — шефу французского уголовного розыска, отцу антропологического принципа в криминологии, где подлинность устанавливается серией обмеров, соотношением частей тела. Открытия Бертильона годятся разве что для художников, для живописцев — расстояния от кончика носа до мочки уха нам ничего не открывали.

Мы верим в дактилоскопию. Печатать пальцы, «играть на рояли» умеют все. В тридцать седьмом, когда замечали всех меченых ранее, каждый привычным движением вставлял свои привычные пальцы в привычные руки сотрудника тюрьмы.

Этот отпечаток хранится вечно в личном деле. Бирка с номером личного дела хранит не только место смерти, но и тайну смерти. Этот номер на бирке написан графитом.

Картограф, пролагатель новых путей на земле, новых дорог для людей, и могильщик, следящий за правильностью похорон, законов о мертвых, обязаны пользоваться одним и тем же — черным графитным карандашом.



СЕНТЕНЦИЯ

Надежде Яковлевне Мандельштам

Люди возникали из небытия — один за другим. Незнакомый человек ложился по соседству со мной на нары, приваливался ночью к моему костлявому плечу, отдавая свое тепло — капли тепла — и получая взамен мое. Были ночи, когда никакого тепла не доходило до меня сквозь обрывки бушлата, телогрейку, и поутру я глядел на соседа, как на мертвеца, и чуть-чуть удивлялся, что мертвец жив, встает по окрику, одевается и выполняет покорно команду. У меня было мало тепла. Немного мяса осталось на моих костях. Этого мяса было достаточно только для злости — последнего из человеческих чувств. Не равнодушие, а злость была последним человеческим чувством — тем, которое ближе к костям. Человек, возникший из небытия, исчезал днем — на угольной разведке было много участков — и исчезал навсегда. Я не знаю людей, которые спали рядом со мной. Я никогда не задавал им вопросов и не потому, что следовал арабской пословице: «Не спрашивай и тебе не будут лгать». Мне было все равно — будут мне лгать или не будут, я был вне правды, вне лжи. У блатных на сей предмет есть жесткая поговорка, пронизанная глубоким презрением к задающему вопрос: «Не веришь — прими за сказку». Я не расспрашивал и не выслушивал сказок.

Что оставалось со мной до конца? Злоба. И, храня эту злобу, я рассчитывал умереть. Но смерть, такая близкая совсем недавно, стала понемногу отодвигаться. Не жизнью была замещена смерть, а полусознанием, существованием, которому нет формул и которое не может называться жизнью. Каждый день, каждый восход солнца приносил опасность нового, смертельного толчка. Но толчка не было. Я работал кипятильщиком — легчайшая из всех работ, легче, чем быть сто-

рожем, но я не успевал нарубить дров для титана, кипятильника системы «Титан». Меня могли выгнать — но куда? Тайга далеко, поселок наш, «командировка» по-колымскому, — это как остров в таежном мире. Я еле таскал ноги, расстояние в двести метров от палатки до работы казалось мне бесконечным, и я не один раз садился отдыхать. Я и сейчас помню все выбоины, все ямы, все рытвины на этой смертной тропе; ручей, перед которым я ложился на живот и лакал холодную вкусную целебную воду. Двуручная пила, которую я таскал то на плече, то волоком, держа за одну ручку, казалась мне грузом невероятной тяжести.

Я никогда не мог вовремя вскипятить воду, добиться, чтобы титан закипал к обеду.

Но никто из рабочих, из вольняшек, — все они были вчерашними заключенными — не обращал внимания, кипела ли вода или нет. Колыма научила нас всех различать питьевую воду только по температуре. Горячая, холодная, а не кипяченая и сырая.

Нам не было дела до диалектического скачка перехода количества в качество. Мы не были философами. Мы были работягами, и наша горячая питьевая вода этих важных качеств скачка не имела.

Я ел, равнодушно стараясь съесть все, что попадалось на глаза, — обрезы, обломки съестного, прошлогодние ягоды на болоте. Вчерашний или позавчерашний суп из «вольного» котла. Нет, вчерашнего супа у наших вольняшек не оставалось.

В палатке нашей было два ружья, два дробовика. Куропатки не боялись людей, и первое время птицу били прямо с порога палатки. Добыча запекалась целиком в золе костра или варилась, когда очищалась бережно. Пух-перо — на подушку, тоже коммерция, верные деньги — приработок вольных хозяев ружей и таежных птиц. Выпотрошенные, оципаные куропатки варились в консервных банках — трехлитровых, подвешенных к кострам. От этих таинственных птиц я никогда не находил никаких остатков. Голодные воль-

ные желудки мельчили, мололи все птичьи кости без остатка. Это тоже было одно из чудес тайги.

Я никогда не попробовал ни кусочка от этих куропаток. Мое — были ягоды, корни травы, пайка. И я — не умирал. Я стал все более равнодушно, без злобы смотреть на холодное красное солнце, на горы-гольцы, где все — скалы, повороты ручья, лиственницы, тополя — было угловатым и недружелюбным. По вечерам с реки поднимался холодный туман — и не было часа в таежных сутках, когда мне было бы тепло.

Отмороженные пальцы рук и ног ныли, гудели от боли. Ярко-розовая кожа пальцев так и оставалась розовой, легко ранимой. Пальцы были вечно замотаны в какие-то грязные тряпки, оберегая руку от новой раны, от боли, но не от инфекции. Из больших пальцев на обеих ногах сочился гной, и не было гною конца.

Меня будили ударом в рельс. Ударом в рельс снимали с работы. После еды я сразу ложился на нары, не раздеваясь, конечно, и засыпал. Палатка, в которой я спал, и жил, виделась мне как сквозь туман — где-то двигались люди, слышалась громкая матерная брань, возникали драки, наступало мгновенно безмолвие перед опасным ударом. Драки быстро угасали — сами по себе, никто не удерживал, не разнимал, просто глохли моторы драки, и наступала ночная холодная тишина с бледным высоким небом сквозь дырки брезентового потолка, с храпом, хрипом, стонами, кашлем и беспамятной руганью спящих.

Однажды ночью я ощутил, что слышу стоны и хрипы. Ощущение было внезапным, как озарение, и не обрадовало меня. Позднее, вспоминая эту минуту удивления, я понял, что потребность сна, забытья, беспамятства стала меньше — я «выспался», как говорил Моисей Моисеевич Кузнецов, наш кузнец, умница из умниц.

Появилась настойчивая боль в мышцах. Какие уж у меня были тогда мышцы — не знаю, но боль в них была, злила меня, не давала отвлечься от тела. Потом появилось у меня нечто иное, чем злость или злоба. По-

явилось равнодушие — бесстрашие. Я понял, что мне все равно — будут меня бить или нет, будут давать обед и пайку — или нет. И хотя в разведке, на бесконвойной командировке, меня не били — бьют только на приисках, — я, вспоминая прииск, мерил свое мужество мерой прииска. Этим равнодушием, этим бесстрашием был переброшен мостик какой-то от смерти. Сознание, что бить здесь не будут, не бьют, рождало новые силы, новые чувства.

За равнодушием пришел страх, не очень сильный страх — боязнь лишиться этой спасительной жизни, этой спасительной работы кипятильщика, высокого холодного неба и ноющей боли в изношенных мускулах. Я понял, что боюсь уехать отсюда на прииск. Боюсь, и все. Я никогда не искал лучшего от хорошего в течение всей своей жизни. Мясо на моих костях день ото дня росло. Зависть — вот как называлось следующее чувство, которое вернулось ко мне. Я позавидовал мертвым своим товарищам — людям, которые погибли в тридцать восьмом году. Я позавидовал и живым соседям, которые что-то жуют, соседям, которые что-то закуривают. Я не завидовал начальнику, прорабу, бригадиру — что был другой мир.

Любовь не вернулась ко мне. Ах, как далека любовь от зависти, от страха, от злости. Как мало нужна людям любовь! Любовь приходит тогда, когда все человеческие чувства уже вернулись. Любовь приходит последней, возвращается последней, да и возвращается ли она? Но не только равнодушие, зависть и страх были свидетелями моего возвращения к жизни. Жалость к животным вернулась раньше, чем жалость к людям.

Как самый слабый в этом мире шурфов и разведочных канав, я работал с топографом — таскал за топографом рейку и теодолит. Бывало, что для скорости передвижения топограф прилаживал ремни теодолита за свою спину, а мне доставалась только легчайшая раскрашенная цифрами рейка. Топограф был из заключенных. С собой для смелости — тем летом было много

беглецов в тайге — топограф таскал мелкокалиберную винтовку, выпросив оружие у начальства. Но винтовка нам только мешала. И не только потому, что была лишней вещью в нашем трудном путешествии. Мы сели отдохнуть на поляне, и топограф, играя мелкокалиберной, прицелился в красногрудого снегиря, подлетевшего рассмотреть поближе опасность, увести в сторону. Если надо — пожертвовать жизнью. Самочка снегиря сидела где-то на яйцах — только этим и объяснялась безумная смелость птички. Топограф вскинул винтовку, и я отвел ствол в сторону.

— Убери ружье!

— Да ты что? С ума сошел?

— Оставь птицу и всё.

— Я начальнику доложу.

— Черт с тобой и с твоим начальником.

Но топограф не захотел ссориться и ничего начальнику не сказал. Я понял: что-то важное вернулось ко мне.

Не один год я не видел газет и книг и давно выучил себя не сожалеть об этой потере. Все пятьдесят моих соседей по палатке, по брезентовой рваной палатке, чувствовали так же — в нашем бараке не появилось ни одной газеты, ни одной книги. Высшее начальство — прораб, начальник разведки, десятник — спускались в наш мир без книг.

Язык мой, присковый грубый язык, был беден — как бедны были чувства, еще живущие около костей. Подъем, развод по работам, обед, конец работы, отбой, гражданин начальник, разрешите обратиться, лопата, шурф, слушаюсь, бур, кайло, на улице холодно, дождь, суп холодный, суп горячий, хлеб, пайка, оставь покурить — двумя десятками слов обходился я не первый год. Половина из этих слов была ругательствами. Существовал в юности, в детстве анекдот, как русский обходился в рассказе о путешествии за границу всего одним словом в разных интонационных комбинациях. Богатство русской ругани, ее неисчерпаемая оскорбительность, раскрылись передо мной не в детстве и не в

юности. Анекдот с ругательством выглядел здесь, как язык какой-нибудь институтки. Но я не искал других слов. Я был счастлив, что не должен искать какие-то другие слова. Существуют ли эти другие слова, я не знал. Не умел ответить на этот вопрос.

Я был испуган, ошеломлен, когда в моем мозгу, вот тут — я это ясно помню — под правой теменной костью — родилось слово, вовсе не пригодное для тайги, слово, которого и сам я не понял, не только мои товарищи. Я прокричал это слово:

— Сентенция! Сентенция!

Я захохотал.

— Сентенция! — кричал я прямо в северное небо, в двойную зарю, еще не понимая значения этого родившегося во мне слова. А если это слово возвратилось — тем лучше! Великая радость переполнила меня.

— Сентенция!

— Вот псих!

— Псих и есть! Ты — иностранец, что ли? — язвительно спрашивал горный инженер Вронский, тот самый Вронский. Три табачинки.

— Вронский, дай закурить.

— Нет, у меня нету.

— Ну, хоть три табачинки.

— Три табачинки? Пожалуйста.

Из кисета, полного махорки, извлекались грязным ногтем три табачинки.

— Иностранец? — вопрос переводил нашу судьбу в мир провокаций и доносов, следствий и добавок срока.

Но мне не было дела до провокационного вопроса Вронского. Находка была огромной.

Чувство злости — последнее чувство, с которым человек уходил в небытие, в мертвый мир. Мертвый ли? Даже камень не казался мне мертвым, не говоря уже о траве, деревьях, реке. Река была не только воплощением жизни, не только символом жизни, но и самой жизнью. Ее вечное движение, покой, неумолчный, свой какой-то разговор, свое дело, которое заставляет воду

бежать вниз по течению сквозь встречный ветер, пробиваясь сквозь скалы, пересекая степи, луга. Река, которая меняла высушенное солнцем, обнаженное русло, и чуть-чуть видной водной ниточкой пробираясь где-то в камнях, повинуюсь извечному своему долгу, ручейком, потерявшим надежду на помощь неба — на спасительный дождь. Первая гроза, первый ливень — и вода меняла берега, ломала скалы, кидала вверх деревья и бешено мчалась вниз той же самой вечной своей дорогой...

Сентенция! Я сам не верил себе, боялся, засыпая, что за ночь это вернувшееся ко мне слово исчезнет. Но слово не исчезало.

Сентенция! Пусть так переименуют речку, на которой стоял наш поселок, наша командировка «Рио-рита». Чем это лучше «Сентенции»? Дурной вкус хозяина земликартографа ввел на мировые карты «Рио-риту». И исправить нельзя.

Сентенция — что-то римское, твердое, латинское было в этом слове. Древний Рим для моего детства был историей политической борьбы, борьбы людей, а Древняя Греция была царством искусства. Хотя и в Древней Греции были политики и убийцы, а в Древнем Риме — было немало людей искусства. Но детство мое обострило, устремило, сузило и разделило два этих очень разных мира. Сентенция — римское слово.

Неделю я не понимал, что значит слово «сентенция». Я шептал его, пугал и смешил им соседей. Я хотел загадки, объяснения, перевода... А через неделю понял — и содрогнулся от страха и радости. Страху потому, что пугался возвращения в тот мир, куда мне не было возврата. Радости — потому, что видел, что жизнь возвращается ко мне помимо моей собственной воли.

Прошло много дней, пока я научился вызывать из глубины мозга все новые и новые слова, одно за другим. Каждое приходило с трудом, каждое возникало внезапно и отдельно. Мысли и слова не возвращались потоком. Каждое возвращалось поодиночке, без конвоя

других знакомых слов и возникало раньше на языке, а потом — в мозгу.

А потом настал день, когда все, все пятьдесят рабочих бросили работу и побежали в поселок, к реке, выбираясь из своих шурфов, канав, бросая недопиленные деревья, недоваренный суп в котле. Все бежали быстрее меня, но и я доковылял вóвремя, помогая себе в этом беге с горы руками.

Из Магадана приехал начальник. День был ясный, горячий, сухой. На огромном листовенном пне, что у входа в палатку, стоял патефон. Патефон играл, преодолевая шипенье иглы, играл какую-то симфоническую музыку.

И все стояли вокруг — убийцы и конокрады, блатные и фраера, десятники и работяги. И начальник стоял рядом. И выражение лица у него было такое, будто он сам написал эту музыку для нас, для нашей глухой таежной командировки. Шеллачная пластинка кружилась и шипела, кружился сам пень, заведенный на все свои триста кругов, как тугая пружина, закрученный на целых триста лет . . .



СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ПЕРВАЯ СМЕРТЬ	
ПО СНЕГУ	17
НА ПРЕДСТАВКУ	18
НОЧЬЮ	25
ПЛОТНИКИ	28
ОДИНОЧНЫЙ ЗАМЕР	34
ПОСЫЛКА	37
ДОЖДЬ	42
КРАЖА	46
«КАНТ»	48
СУХИМ ПАЙКОМ	54
ИНЖЕКТОР	70
АПОСТОЛ ПАВЕЛ	72
ЯГОДЫ	78
СУКА ТАМАРА	81
ШЕРРИ-БРЕНДИ	87
ДЕТСКИЕ КАРТИНКИ	94
СТУЩЕННОЕ МОЛОКО	98
ТИПИНА	103
ХЛЕБ	111
ЗАКЛИНАТЕЛЬ ЗМЕЙ	119
ТАТАРСКИЙ МУЛЛА И ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ	126
ТЕРМОМЕТР ПРИШКИ ЛОГУНА	134
ПЕРВАЯ СМЕРТЬ	142
ТЕТЯ ПОЛЯ	147
ГАЛСТУК	152
ДВЕ ВСТРЕЧИ	159
ТАЙГА ЗОЛОТАЯ	164
ВАСЬКА ДЕНИСОВ, ПОХИТИТЕЛЬ СВИНЕЙ	169
СЕРАФИМ	173
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ	182
ДОМИНО	186
ГЕРКУЛЕС	197
ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ	201
СТЛАНИК	212

КРАСНЫЙ КРЕСТ	214
ЗАГОВОР ЮРИСТОВ	223
ТИФОЗНЫЙ КАРАНТИН	242

II. АРТИСТ ЛОПАТЫ

ПРИПАДОК	263
НАДПРОБНОЕ СЛОВО	265
КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ	280
ПОЧЕРК	292
УТКА	297
БИЗНЕСМЕН	300
КАЛИГУЛА	304
АРТИСТ ЛОПАТЫ	306
РУР	320
БОГДАНОВ	327
ИНЖЕНЕР КИСЕЛЕВ	333
ЛЮБОВЬ КАПИТАНА ТОЛЛИ	344
КРЕСТ	354
ПЕРВЫЙ ЧЕКИСТ	362
ВЕЙСМАНИСТ	373
ПРИЧАЛ АДА	382
В БОЛЬНИЦУ	385
ИЮНЬ	392
МАЙ	401
ХРАБРЫЕ ГЛАЗА	408
В БАНЕ	413
КЛЮЧ АЛМАЗНЫЙ	419
ЗЕЛЕНый ПРОКУРОР	428
МАРСЕЛЬ ПРУСТ	479
БЕЗЫМЯННАЯ КОШКА	484
ПЕРВЫЙ ЗУБ	491
ЭХО В ГОРАХ	499
БЕРДЫ ОНЖЕ	511
ОГОНЬ И ВОДА	516
ОБЛАВА	523
ПРОТЕЗЫ	530
КУРСЫ	533

СМЫТАЯ ФОТОГРАФИЯ	583
ПОГОНЯ ЗА ПАРОВОЗНЫМ ДЫМОМ	587
ПОЕЗД	600

III. ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

ПРОКУРАТОР ИУДЕИ	611
БОЛЬ	615
ПРОКАЖЕННЫЕ	624
В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ	630
ГЕОЛОГИ	634
МЕДВЕДИ	640
ОЖЕРЕЛЬЕ КНЯГИНИ ГАГАРИНОЙ	643
АКАДЕМИК	655
АЛМАЗНАЯ КАРТА	663
НЕОБРАЩЕННЫЙ	670
ВИЗИТ МИСТЕРА ПОППА	679
ЛАГЕРНАЯ СВАДЬБА	689
ПОТОМОК ДЕКАБРИСТА	695
КОМБЕДЫ	709
МАГИЯ	725
РЯБОКОНЬ	729
ЖИТИЕ ИНЖЕНЕРА КИПРЕЕВА	734
ЛИДА	750
АНЕВРИЗМА АОРТЫ	761
КУСОК МЯСА	766
МОЙ ПРОЦЕСС	775
ЖЕНЩИНА БЛАТНОГО МИРА	793
ЭСПЕРАНТО	809
НАЧАЛЬНИК БОЛЬНИЦЫ	817
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И ВОРОВСКОЙ МИР	824
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА	833
БУКИНИСТ	848
ЗА ПИСЬМОМ	865
ПО ЛЕНД-ЛИЗУ	871
ГРАФИТ	880
СЕНТЕНЦИЯ	885

